

Екатерина Цимбаева. Грибоедов

*Первой и самой замечательной читательнице этой книги —
МОЕЙ МАМЕ*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Профессор Челленджер, герой «Затерянного мира» Конан Дойла, считал популяризаторов науки по сути своей паразитами, использующими достижения ученых в целях наживы или саморекламы. Это суждение близко к истине, если популяризаторы движутся по следам чужих мыслей и повторяют в легкой форме то, что было сказано до них серьезно. Однако порой фантазия заставляет их идти не позади, а впереди науки; тогда они раньше всех видят ее отдаленные горизонты, стремятся к ним и зовут за собой своих читателей. Так, великие идеи К. Э. Циолковского об освоении космоса стали известны во многом благодаря Я. И. Перельману, автору «Занимательной физики» и других увлекательных книжек, который поверил в них прежде настоящих физиков. Конечно, в роли быстрых на ногу и умом первопроходцев популяризаторы вполне могут завязнуть вместе с читателями в трясине бессмыслицы, в то время как ученые никогда не сойдут с твердой почвы фактов.

И все же популяризаторы иногда приносят пользу, а не только развлекают тех, кто не имеет охоты разбираться в специальных трудах. Данная книга отчасти являет собой подобный пример. До сих пор нет ни научной, ни даже художественной биографии Александра Сергеевича Грибоедова, охватывающей всю его жизнь, труды и многообразную деятельность. Существует огромная литература о «Горе от ума»; великолепные исследования о Грибоедове-дипломате, музыканте; о его связях с декабристами, писателями его эпохи; о грибоедовских Москве и Петербурге; о его предках, сослуживцах, друзьях, знакомых, матери, жене... Но по таинственным причинам никто не пытался свести накопленные знания воедино. А дело ведь не просто в том, чтобы опубликовать их под одной обложкой. Дело в том, что в разрозненных работах, касающихся какой-то одной сферы жизни Грибоедова, не учитываются или неверно оцениваются факты, связанные с другой ее сферой. Авторы книг о Грибоедове-дипломате или литераторе не интересуются его военной карьерой или музыкальными способностями, а между тем его дипломатический талант невозможно вполне понять, не зная характер его службы в Отечественную войну, а процесс творчества недостаточно проясняется без данных о его абсолютном музыкальном слухе. В этом удивительном человеке все было цельно, все взаимосвязано. Вполне осознавая это обстоятельство, ученые на практике мало обращают на него внимания, поэтому литература грибоедоведения (уродливое, но принятое слово!) полна дискуссий, противоречий, белых пятен и нерешенных вопросов. Победит ли все трудности последовательное и обоснованное изложение биографии Грибоедова? Во всяком случае, чем больше будет таких попыток, чем больше возможностей их сравнить, тем ближе окажется истина. Многих специалистов останавливает то, что о Грибоедове слишком мало известно, особенно о его детстве и юности. Однако в наше время это старое, еще пушкинское, представление почти не соответствует действительности.

В художественных произведениях Грибоедову повезло еще меньше. Известный роман Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» посвящен последнему году его жизни. Ученые всегда резко и справедливо критиковали концепцию Тынянова: советский историк М. В. Нечкина назвала ее «крайне неправильной», а современный грибоедовед С. А. Фомичев заявил, что герой романа «столь же художественно убедителен, сколь и исторически недостоверен». И не просто недостоверен, а откровенно враждебен подлинному Грибоедову, каким он предстает в своих сочинениях, дневниках, письмах, в воспоминаниях о нем друзей и недругов! Большинство этих источников Тынянов читал или мог читать, но

сознательно пренебрег ими. Он рисовал образ человека, пожертвовавшего убеждениями ради карьеры, предавшего единомышленников-декабристов, подавленного угрызениями совести и противного себе и автору. Это — совершенно ложная картина, но она показалась Тынянову интереснее правды. Он был напитан идеалами Серебряного века с его воспеванием раздвоения личности, бесплодных сомнений, неверия в будущее и гибели всего достойного. Он просто не мог понять людей Золотого века, которым колебания, упадок духа и склонность к самоубийству были глубоко чужды. Знай Тынянов Грибоедова лично, он или вовсе не написал бы свой роман, или написал бы его в том же духе. Право романиста — по-своему представлять героя, но персонаж с историческим именем не следует смешивать с реальным прототипом. Кроме «Смерти Вазир-Мухтара» существуют еще два или три биографических романа о Грибоедове, но они никогда не пользовались широкой популярностью.

Что говорить об ученых и романистах, если даже в серии «ЖЗЛ», выпустившей с 1933 года более восьмисот книг о великих людях всех стран и эпох, не была издана биография Грибоедова! Настала пора восполнить этот пробел. Автор, профессиональный историк, специалист по общественной мысли XIX века, предпринял попытку создать научный труд в возможно более художественной форме. Все факты, вплоть до мельчайших, взяты из источников; все диалоги и внутренние монологи также были записаны самим Грибоедовым или мемуаристами (некоторые из них не обладали литературным навыком, поэтому изредка цитаты приводятся не только в современной орфографии, что является общим правилом, но и в соответствии с разговорной, а не книжной речью XIX века: «оный» заменяется на «этот» и т. п.).

В книге упомянуты и использованы все художественные, публицистические произведения Грибоедова (кроме разрозненных заметок), чья принадлежность его перу достаточно доказана, вся его переписка и все сколько-нибудь достоверные сведения о нем, взятые из воспоминаний современников, — поэтому читатели получают возможность сами о нем судить.

«Горе от ума» — воистину великое творение, ибо неисчерпаемо. Тысячи филологов, историков и театроведов писали о нем почти два века, но и тысяча первому нашлось что сказать. Суждения, высказанные в этой книге относительно персонажей бессмертной комедии, основаны на грибоедовских характеристиках, не замеченных или искаженных в прежних работах. Так, незавидная репутация полковника Скалозуба, будто бы получившего награду не военными заслугами, а штабными интригами, основана на прямом недоразумении и восходит к М. В. Нечкиной, по непонятной рассеянности спутавшей даты старого и нового стиля. Как оказалось, много неизвестного и интересного можно найти и в образах других героев пьесы.

«Горе от ума» считается знакомым всем, кто получил хотя бы неполное среднее образование в русской школе. Однако изучить по программе — не значит знать. Если бы Грибоедов предполагал, что его станут «проходить», он не взялся бы за перо. Но никто не застрахован от попадания в классики. «Горе от ума» — прекрасная комедия, и читателям, добравшимся до шестой главы, было бы полезно держать ее в руках или в голове.

Повествование в книге ведется как бы изнутри эпохи. Рассказчик не только не подозревает о существовании XX или XXI века, но и в 1817 году, например, не знает, что произойдет в 1821-м. Такой прием обычно используется в детективах, но он имеет свои достоинства и в историческом сюжете, заставляя читателя проживать жизнь вместе с героем, не представляя, что ждет впереди. Более того, Рассказчик глядит на мир в основном глазами героя (кроме, естественно, пролога и эпилога): то, что тот лично не видел и не слышал, сообщается исключительно по слухам, идет ли речь о московском пожаре 1812 года, восстании декабристов или нападении на тегеранское посольство. Потомки часто неверно оценивают поступки и творчество исторических лиц, потому что не сознают степень их осведомленности об окружавшем их мире.

За спиной Рассказчика незримо присутствует Историк. Он не имеет своего голоса в

книге, кроме как в редких примечаниях и двух особо выделенных местах, но он представляет себе значимость происходящих событий и их последствия. Поэтому, с точки зрения современных читателей, книга имеет один недостаток: она требует внимания. Любые факты от самых первых строк, любые самые второстепенные персонажи будут так или иначе всплывать в новом свете в третьей, седьмой или даже последней главах; ни один эпизод не упоминается впустую. Рассказчик по возможности старается напомнить, где прежде встречалось то или иное имя, но читатель, пропустивший его в начале, может потерять потом нить повествования. Ведь начать читать биографию с середины — все равно что встретить взрослого человека, ничего о нем не зная: многое в нем будет непонятно.

Каковы бы ни были взаимоотношения Героя, Рассказчика и Историка, все они говорят одним языком — языком автора. Этот язык отчасти стилизован под эпоху, и все слова, сколь ни кажутся современными, принадлежат времени Грибоедова. Трудно поверить, но предки знали русский язык гораздо лучше, чем это представляется потомкам с их самомнением. Стилизация не заходит далеко. Следуя мудрым советам Вальтера Скотта, автор избегает выражений явно позднейшего происхождения, по возможности использует конструкции фраз, свойственные началу XIX века, но не старается искусственно архаизировать речь, делая ее не похожей ни на одно наречие, которым когда-либо говорили в России.

Весьма часто в текст встроены подлинные выражения и целые куски, заимствованные из мемуаров и дневников эпохи, без указания источника. По ним автор выверяет достоверность собственного стиля. Все эпиграфы принадлежат современникам Грибоедова, которых он знал лично или мог читать, либо же французским мыслителям, которых в ту пору знал наизусть всякий образованный человек; только эпиграфы пролога взяты из русской литературы XVIII века.

Что же касается образа Александра Сергеевича Грибоедова, то, создавая его, автор опирается на всю полноту имеющихся данных, однако широко пользуется своими правами сочинителя научно-художественного произведения. Там, где Историк мог бы только высказать гипотезу и привести другие возможные интерпретации фактов или их отсутствия, автор выбирает версию, кажущуюся ему наиболее правильной, и выдает ее за непреложную истину. Абсолютное большинство трактовок явлений и событий принадлежит автору или — чтобы быть скромнее — как бы продиктовано самим героем, логикой его жизни, развитием его личности, как она постепенно вырисовывалась в процессе работы «от пролога к эпилогу». Но хотелось бы подчеркнуть, что все эти трактовки, допустимые в полухудожественном произведении, основываются на серьезном научном материале.

Насколько соответствует образ героя книги подлинному Александру Сергеевичу Грибоедову, мог бы, вероятно, судить только он сам. Во всяком случае, этот образ более историчен и, смеем думать, более привлекателен, чем тыняновский герой. Читатели сами смогут решить, нравится он им или нет. Со своей стороны, автор откровенно признается, что, начиная книгу, относился к Грибоедову весьма прохладно, высоко ценя «Горе от ума», но не его создателя. Однако к третьей главе он проникся к герою симпатией, к пятой полюбил его, к шестой стал его понимать, к восьмой — глубоко ему сочувствовать и с большим трудом окончил девятую главу: так отчаянно не хотелось убивать героя.

Пролог ПРЕДКИ

*Который век достиг толь лучезарной славы?
В тебе исправилась испорченные нравы,
В тебе открылся путь свободный в храм наук...*
И. И. Дмитриев

По преданию, предками Грибоедовых были польские шляхтичи братья Гржибовские, пришедшие в Россию в 1605 году в свите самозванного царя Лжедмитрия I. Самозванец

привлек их посулами богатых русских земель, но, вступив, сверх ожиданий, на престол, не торопился выполнять обещания. Впрочем, поляки не возлагали на него надежд и не собирались тратить время на бесплодные ожидания у подножия трона. На родине они привыкли избирать монархов, судить их и свергать по своему усмотрению, не питали к ним почтения и превыше всего ставили свободы шляхетской республики. Избираемые короли тоже не любили своих подданных, и лет за тридцать до описываемых событий один французский принц, возведенный на трон Речи Посполитой, тайно бежал из страны, предпочтя получить корону Франции (он стал королем Генрихом III). Спустя годы поляки вспоминали тайное бегство короля едва ли не с умилением. После Генриха они временно нашли достойного монарха — Стефана Батория, но на смену ему, на беду себе, выбрали шведа Сигизмунда Вазу, изгнанного из Швеции и мечтавшего вернуться туда с помощью польского войска. Сигизмунд III вверг своих подданных в бесконечные и бессмысленные войны, ставшие началом конца Великой Польши. От этих-то бед и разорений Гржибовские ушли в Россию, желая приобрести приличествующее их дворянскому званию состояние.

Новая страна им понравилась. Москва изумила величиной и многолюдством, роскошью недавно законченных белых городских стен и удивительной резьбой новых деревянных стен четвертого пояса укреплений. Местные жители носили длинные одежды и длинные бороды и не знали шпаг. Но язык их был понятен, да и обычаи напоминали польские. Крестьяне так же нищенствовали, города так же бедствовали, бояре самоуправствовали, дворяне искали сражений. С севера грозили те же шведы, с юга — тот же крымский хан. Царей не уважали, а несколько месяцев назад даже свергли и убили юного наследника царя Бориса Годунова.

Но поляки не знали, что подобное состояние было для России отнюдь не привычно. Крестьяне и города разорились за двадцать пять лет Ливонской войны, за семь лет опричнины Ивана IV да за два года жестокого неурожая трехлетней давности. И бояре не были прежде столь сильны и дерзки, но осмелели после смерти Грозного. И расправа с царем московской толпы была делом совсем новым, прежде в убийствах принимала участие одна знать. Даже бороды вошли в обычай не более семидесяти лет назад, а прежде москвиты ходили гладко выбритые — и в те времена бородатые европейцы считали бритье нелепым пережитком татарского ига. Ныне вкусы изменились, и бритым полякам бородатые русские казались варварами. А дело было только в моде!

Жизнь в России пришлась Гржибовским по душе. Не успели они осмотреться, как москвичи убили их Самозванца, бояре выбрали на престол Василия Шуйского, восстали крестьяне, явился новый Самозванец, шведы захватили север, поляки — запад, Шуйский отравил своего племянника — талантливого полководца, бояре свергли и постригли в монахи Шуйского, богатейший Троицкий монастырь оказался в осаде. Словом, в стране было где развернуться талантам воинственного человека. Гржибовские охотно ввязались в Смуту. И тем охотнее, что на московский престол был неожиданно приглашен сын ненавистного им Сигизмунда III. Братья решительно выступили против Владислава, и их чаяния совершенно совпали с чувствами русского народа.

Настало грозное время. Поляки, шведы, крестьяне, казаки приближались к Москве. Новые деревянные стены сгорели дотла, новые белые стены закоптились дымом пожаров, голод, мор и резня терзали страну. Но посреди беспорядков и бедствий Смуты Гржибовские не затерялись. Они переменили веру, имена и одежду, нашли русских жен, ибо многие семьи отчаянно нуждались в помощи любого храброго дворянина, способного отстоять дом и добро от своих и чужих грабителей. Братья были смелы и решительны, и победное воцарение Михаила Романова положило начало их преуспеянию.

Такова легенда. А легенды нередко по-своему отражают давно забытую правду. Во всяком случае, первые Грибоедовы известны примерно с 1614 года и вполне могли быть польскими шляхтичами.

Михаил Ефимович Грибоедов получил в 1614 году от нового царя земли в пограничном с Речью Посполитой Вяземском воеводстве — это был особый край, важнейший для государства, ибо после Смуты Россия потеряла Смоленск, путь на Москву остался

незащищенным и от преданности и доблести вязмитин зависело благополучие столицы. Оттого на границе предпочитали селить тех, кто знал польский язык и мог вовремя распознать опасность. Их щедро вознаграждали за службу. Михаил Ефимович был очень богат и оставил трех сыновей: бездетного Ивана, Федора и Андрея. Все трое состояли при дворе и достигли высокого звания стольника.

Федор Грибоедов служил в Москве в приказе Казанского дворца и приобрел дополнительное состояние и вес, заботясь об освоении поволжских владений государя и присвоении доходов с них. В 1648 году царь Алексей Михайлович включил его в число лиц, готовивших Соборное уложение, установившее в стране законы и крепостное право на добрых два века, — его знание польского языка способствовало включению в этот важнейший документ многих положений Литовского статута. В 1664 году дьяк Федор перешел в Разрядный приказ, ведавший подготовкой царских церемоний и созывом дворянского ополчения. Хотя время было мирное, ополчение почти не созывалось, Федор Грибоедов свою выгоду из виду не упускал и честными трудами в войнах и переговорах нажил деревни в Алатырском, Арзамасском, Каширском, Коломенском и Переславль-Залесском уездах. Ему выпало и иное отличие — по велению царя он создал верноподданнейшее сочинение: «Историю, сиречь повесть, или сказания вкратце о благочестно державствующих и святопоживших боговенчаных царях и великих князьях, иже в Российской земли богоугодно державствующих...», кратко называемую «Историей о царях и великих князьях земли Русской». Сие творение Грибоедов составил в тридцати шести частях на основе чужих трудов к полному удовольствию монарха, пожаловавшего его шестьюдесятью рублями денег, сорока соболями и драгоценными материями и прибавившего ему пятьдесят четвертей земли к поместьям. Книгу царь взял в свои покои, поскольку она удовлетворила главное его требование — доказала происхождение дома Романовых от Рюрика и вместе с тем от римского императора Августа, что служило к чести правящей династии. Семнадцатый век не был требователен, и все «доказательства» свелись к простой фразе: «В древних летах в Российское царствие выехал из Прусской земли государя прусского сын Андрей Иоаннович Романов, а прусские государи сродники Августу — кесарю римскому». В этом утверждении не все было правдой, но и не все — ложью. Алексей Михайлович остался доволен и повелел по «Истории» Грибоедова обучать своих детей. Дьяк Федор не успел вполне вкусить царских милостей и умер в 1673 году в преклонных летах. Вскоре скончался и царь. Среди его наследников царь Федор оказался слишком болезненным, царь Иоанн слишком слабым умом, царевна Софья слишком учена, а царь и император Петр слишком деятельным для того, чтобы изучать «Историю». Труд Федора Грибоедова был забыт — и, честно скажем, забыт по заслугам.

У дьяка остался сын Семен, избравший военное поприще и к 1681 году достигший высокого положения полковника стрелецкого войска. Успех вскружил ему голову. Всего лишь дворянин, он пожелал сравняться честью и состоянием с боярами и ближними людьми. Стрельцов он почел неотъемлемой частью своего семейства, вроде крепостных людей, и на их деньги накупил леса, на их подводах привез его в Москву и их руками выстроил себе дом со всеми службами и угодьями. Конечно, строиться в Китай-городе он не осмелился, да там и пустошей уже не осталось, но свое жилище поставил в посаде, в хорошем ровном месте на берегу реки Неглинной. Несколькими годами позже эта местность стала популярной, когда тут поселился фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын.

Во времена полковника Грибоедова здесь было относительно спокойно и безопасно. В Китае же мимо боярских дворов было страшно проходить: две-три сотни, а то и тысяча вечно голодных вооруженных челядинцев, обитавших при знатном лице, выскакивали из-за кирпичной ограды — и горе было случайному прохожему! В дальних же посадах, в оврагах Яузы, в болотах Москвы-реки проезжих поджидали настоящие разбойники и убийцы. В стенах города процветали казенные кабаки и злейшие враги казны, тайные торговцы запретным зельем — табаком. Неочищенная, дурного качества сивушная водка и неочищенный, скверный табак быстро одуряли и толкали на самые гнусные поступки.

Неудивительно, что почтенные женщины не показывались на улице без двадцати-тридцати сопровождающих, а бояре в бунташный семнадцатый век скоро научились жить в каменных палатах, которые прежде считались вредными для здоровья. Эти жилища со сводами в сажень-две толщиной, с крошечными окошками, холодные и сырые, казались потомкам годными только под тюрьму или амбар. Потомки думали, что в семнадцатом веке просто не умели строить удобное жилье. Но предки знали, что делали, а их мрачные особняки служили им добрую службу, защищая от разъяренной черни, грабителей и соседей.

Дом Грибоедова был попроще, деревянный, но обнесен каменной оградой, как полагалось по царскому указу 1681 года. Зато хозяина сопровождали в церковь десятка два вооруженных стрельцов, и он щеголял в желтых сапогах и цветном платье, сшитом теми же стрельцами, и питался с огородов, устроенных на стрелецких землях и на стрелецкие средства. Впрочем, так жил не один Грибоедов. Все стрелецкие полковники, достигшие этого звания одновременно, в 1681 году, когда оно было впервые введено, обустроивались с возможной роскошью и о безопасности и порядке в столице не беспокоились. А кроме них беспокоиться было некому. Глава Стрелецкого приказа князь Юрий Алексеевич Долгорукий, прежде видный воевода Алексея Михайловича, был уже развалиной от старости и паралича, его сын и товарищ по приказу князь Михаил не пользовался уважением, царь Федор Алексеевич умирал, стрельцы волновались, бояре ссорились, деля будущую власть. Так столица оказалась предоставлена вору, убийцам и торговцам опойным зельем.

Но едва царь Федор скончался, все оживилось. Стрельцы вдруг потребовали наказания своим полковникам-притеснителям, пригрозив разграбить их дома, если им не вернут отнятые деньги. Боярская дума, еще не выбравшая нового царя, испугалась остаться без военной поддержки и пообещала выдать полковников на расправу, однако патриарх восстал против подобной меры и его послушались — полковников судили. Было за что! Семену Грибоедову читали такое обвинение: «Били на тебя челом великому государю пятидесятники, десятники и рядовые стрельцы твоего приказа: ты чинил им налоги, обиды и всякие тесноты; для взяток и работ бил их жестоким боем, бил батогами, ругательством...; на огороды и деревни свои на всякие работы посылал стрельцов и детей их...; из государева жалованья вычитал у них деньги и хлеб, отпускал с караулов и за то брал деньги...; деньги на стенной караул и запасы из дворцов брал себе... Будучи в походах, делал им также всякие тягости и на их подводах возил свои запасы. Ты... стрельцов обижал и бил их напрасно».

В следующем веке на битье да крохоборство никто бы и внимания не обратил, но в конце семнадцатого правительство было слабо, а стрельцы чувствовали свою силу. В начале мая полковников Ивана Нелидова, Андрея Дохтурова, Павла Глебова и других били батогами, а полковников Александра Карандеева и Семена Грибоедова — даже кнутом. После порки Грибоедова от службы отставили, поместья отняли и сослали в Тотьму. Стрельцы совсем осмелели, новых полковников не признавали, прогоняли, а самых настойчивых взвели на каланчу и сбросили вниз!

В конце концов первый стрелецкий бунт был подавлен. На престол посадили сразу двух царей — Иоанна и Петра (случай даже для России невиданный). Грибоедову земли вернули, но прежнего значения он не достиг и только под конец жизни, в 1719 году, занял маловажное положение воеводы в Костроме. Наказание кнутом его не образумило — свою резиденцией он, по примеру прежнего костромского воеводы Стрешнева, сделал ратушу, чем вызвал гнев построивших ее купцов. Но при императоре Петре их жалобы остались без рассмотрения.

Семен Федорович жил в своей деревне Хмелитах в Вяземском уезде, в ста пятидесяти верстах к востоку от Смоленска. В 1683 году он выстроил там деревянную церковь. Дом же был самым простым, как бы состоящим из трех изб, соединенных сенями. У полковника не было детей, и в 1706 году, еще при жизни, он передал свои владения племяннику Герасиму, сыну его брата Григория. Эта передача глубоко оскорбила его двоюродных братьев Ивана и Алексея, сыновей Андрея Михайловича. Они очень рассчитывали на наследство дядка Федора, тем более что имели множество детей, а Герасим был холост. Иван Андреевич начал

тяжбу из-за земель, и она тянулась без перерыва более века, пока не сошла на нет за смертью всех потомков. Однако из-за нее Герасим не решался всерьез обосноваться в Хмелитах, а занимался хозяйством у себя в имениях и приумножил наследство.

Он побоялся перестраивать усадебный дом, но украсил изнутри по новому вкусу. Все парадные комнаты были обшиты деревянными панелями и затянуты расписным холстом (и потолки тоже). Росписи изображали сцены охоты, ландшафты или ниспадающие занавеси. Все писалось своими же людьми, но по тогдашним понятиям о живописи считалось недурным. Ведь важнее всего было в то время похвалиться: «Оно, правда, не очень хорошо, да писали свои крепостные мастера».

Герасим умер в 1751 году, почти одновременно со своими кузенами Тимофеем, Михаилом и Иваном, сыновьями Ивана Андреевича, и с племянником Алексеем, сыном Тимофея. Сыновья Алексея Андреевича умерли еще раньше, не оставив потомства. Семейное состояние перешло к старшему в роде — Федору, сыну Алексея Тимофеевича. Его дядя — Иван Михайлович и Михаил Иванович — начали новую тяжбу за наследство, продолжая в то же время старую.

Пока одна ветвь Грибоедовых испытывала взлеты и падения, другая прозябала во Владимирской земле. Лукьян Грибоедов, основатель этого рода, владел небольшой деревней, жил неприметно и остался в памяти только своего семейства. Он имел двух сыновей — Семена и Михаила, в пользу которых приобрел в 1647 году половину деревни Назарово с шестьюдесятью четвертями земли. Там они и провели долгие годы, Семен женился на небогатой соседке Аграфене Мякишевой, родил трех сыновей — Никифора, Леонтия и Михаила — и в 1677 году выкупил другую половину Назарова у соседа Александра Коробова. Леонтий Семенович (мы упоминаем только непосредственных предков нашего героя, чтобы не углубляться в гущу ветвей родословного древа) в 1683 году женился на соседке Антониде Михайловне Бокиной, за которой получил село Горки в шестьдесят пять четвертей. В 1707 году, по смерти Семена Лукьяновича, братья разделили свое Назарово, и Леонтию досталось двадцать четвертей.

У Леонтия Семеновича было три сына — Алексей, Владимир и Никифор. Более всех преуспел Владимир Леонтьевич, занявший в конце Северной войны высокий и выгодный пост комиссара во Владимире. Комиссары в то время ведали всей подготовкой к войне: рекрутами, продовольствием, средствами уезда, и в таком богатом городе, как Владимир, должность приносила немалую прибыль. Правда, была опасность пострадать от гнева Петра I за крупные злоупотребления, но Владимир Леонтьевич в них не был замечен. Напротив, Никифор Леонтьевич служил плохо и был отставлен капралом — чин для дворянина просто неприличный. В 1713 году он женился на дочери соседа Козьмы Ивановича Внукова, погибшего в 1701 году в битве при Нарве. В приданое он получил село Федорково, но с условием содержать у себя тещу и двух незамужних сестер жены, а при замужестве выделить им по пятьдесят рублей деньгами.

Не в пример своему сверстнику Герасиму, Никифор Леонтьевич не отличался и хозяйственностью, имение его не процветало. Но не будем строго судить неудачников. Они принадлежали к несчастному поколению, родившемуся около 1685 года, воспитанному по старинке, а вынужденному жить и служить в России, преобразуемой Петром I. Устаревшие привычки и взгляды, незнание языков и новых понятий препятствовали их продвижению. Потому так охотно они выходили в отставку и уезжали в деревню.

Это были люди добрые и простые. Вставали с солнцем, в первую половину дня много двигались — по работам ли, на охоту, в полдень обедали. Ели много. В простые дни в хорошо поставленном доме подавали два горячих (щи и уху или суп какой), два холодных («закуски» по-нынешнему, но, конечно, не салаты, ибо мешанина совершенно противна русским понятиям о правильном столе, но холодные окорока, заливное, студни, грибы и

прочее), четыре соуса (то есть тушеное мясо или овощи), два жарких (мясо и дичь непременно), два пирожных (то есть разное сладкое — компот, варенье, желе). Да между блюдами каши, зелень, да фрукты и орехи из своего сада во весь оставшийся день. В те времена цветниками не увлекались, сады были все больше фруктовые, со многими деревьями и ореховыми аллеями. Теперь и не знают прежних сортов (что теперь! сто лет назад они уже забылись). А были яблоки «мордочка» — небольшие длинные, кверху узкие, точно мордочка какого-нибудь зверька, и «звонок» — круглые, плоские, и когда поспевали, то зернышки будто в погремушке гремели.

Званный обед, хотя и продолжался три часа, не многим отличался. Припасы были свои, со стороны ничего не покупали, только вместо простой рыбы подавали стерлядей, да гусей или уток заменяли фазанами (но своими, доморощенными). Всё, в общем, было дешево и просто. Само собой, никто не обязан был отведывать четыре соуса и два жарких, но каждый выбирал, что по вкусу. За столом сходилось множество народу — хозяева, какие-нибудь гостящие родственники, подолгу живущая бедная родня, священник, приживалы, шуты. Дом никогда не пустовал. Для человека семнадцатого, восемнадцатого и всех предшествовавших веков не было большего наказания, чем вдруг очутиться в одиночестве. Он всегда был окружен родными, друзьями, слугами, готовыми разделить его радости, горести и заботы, но, в свою очередь, требовавшими внимания и сочувствия своим радостям, горестям и заботам. Никогда, ни на миг никто не оставался один. И это «никогда» действительно означало никогда. Ни одинокие прогулки, ни уединение в своей комнате не были понятны в те века. Слуги, естественно, также были окружены другими слугами, бедняки — многочисленной семьей из многих колен. Одиночество как способ существования отдельных чудаков изобрел девятнадцатый век.

Так жили деревенские помещики в начале восемнадцатого века. Но, как бы ни тешились размеренным существованием в покое и довольстве, они хорошо понимали: подобная жизнь доступна дворянину лишь в старости. В молодые годы, плохо ли, хорошо ли, служить было необходимо. Собственная карьера Никифора Леонтьевича и Герасима Григорьевича не задалась, но уж своих наследников они воспитывали не по старине. В 1717 году было издано знаменитое «Юности честное зерцало», узаконившее новые требования к воспитанию, постепенно утверждавшиеся в России с начала Петровских реформ. Для провинциального дворянства эта книга стала единственным источником сведений о столичных нравах, и родители сообразовались с веяниями эпохи.

К детям отныне следовало относиться строго. Им отнюдь не дозволялось держать себя со старшими дерзостно, перебивать их речи, пренебрегать их словами и не исполнять тотчас их повелений; если позовут из другой комнаты, не переспрашивать: «Чего? Што ты говоришь?» — но немедленно явиться со словами: «Что изволите, государь батюшка?» (или «государыня матушка»), В присутствии взрослых детям надлежало вести себя скромно, без спросу не говорить, без разрешения не присаживаться, севши — держаться прямо, тихо и смирно, руками и ногами не колобродить, в голове не чесать. За столом и в обществе надлежало соблюдать столько стеснительных правил, что всего не перечесать! Наконец, отрок должен был быть бодр, трудолюбив и прилежен, смел и отважен, красноречив и начитан, обучен языкам, танцам, верховой езде и фехтованию. И ни одним требованием нельзя было пренебречь, если желаешь успешно служить при государе «ради чести и прибыли».

Ленивых секли — это считалось наилучшим способом воспитания. Секли даже взрослых сыновей, уже в офицерских чинах. Случалось, били и жен, хотя в дворянской среде это все же было редкостью — делом рук всяких Гвоздиловых и Скотининых.

Такие порядки были обременительны для детей, зато им прививалось стремление поскорее вырасти и стать наравне со взрослыми — и именно этого быстрейшего преодоления детства как незначительной поры жизни и добивались воспитатели. Однако, заботясь о развитии ума и тела, создатели «Юности честного зеркала» как-то позабыли о становлении добрых душевных качеств детей. Они могли быть (и часто были в самом деле) ловки и изящны, храбры на войне и на дуэли, не чужды искусству и даже порой науке, но

обуздывать свой нрав, подавлять первые приступы злобы они не умели — разве только в присутствии императора. Чуть вырастая, становясь господами над слугами и детьми, они не считали нужным сдерживаться и не давали выхода дурному настроению. Легко теряя спокойствие, они быстро и остывали, умели радоваться, умели и беситься всласть. Целебные свойства успокоительных капель еще не были открыты, и медицина восемнадцатого века не придумала для борьбы с истериками ничего действеннее прогулок на свежем воздухе и поглаживания живота шерстяной рукавицей. Но кто же, будучи разъярен, станет гладить себя по животу?!

Впрочем, необузданное поколение оказалось в России случайным и быстро исчезнувшим явлением. Людей допетровской поры в известной мере сдерживали церковные предписания, людей, родившихся в конце восемнадцатого века, — правила приличия. Но в послепетровскую эпоху церковь потеряла лицо, безбожие вошло если не в сердца, то в моду, а европейская внешняя благопристойность еще не привилась. Только во второй половине восемнадцатого века жили люди, не подвластные ни Богу, ни общественному мнению.

Зато они красиво одевались. Не только женщины, но и мужчины носили одежду нежных и ярких цветов, с рисунком, кружевами, бантами и драгоценностями. Бальные платья украшали золотым или серебряным шитьем. Толпа пестрела и искрилась, окутанная легким белым облаком из осыпавшейся с париков муки. От муки чихалось, но это своеобразно скрывали... чихая от табака. Табак не курили, не жевали, а нюхали, изящно беря щепотку из роскошных дорогих табакерок. Нюхали табак и дамы, и девицы. Полезнее ли это для здоровья, чем курение, — не нам судить, но для общества в целом отсутствие ядовитого дыма было, несомненно, полезнее.

Жизнь стала интереснее, чем полувеком ранее. В моду вошли карточные игры, особенно азартная «мушка» и спокойный, сложный ломбер. Всё же карты еще не имели огромной популярности, состояний за зеленым столом пока не проигрывали.

В моду вошли музыка и театр — всё в исполнении своих крепостных артистов, ибо других (кроме иностранных) еще не было. Не было и театральных зданий, все они появились только в конце восемнадцатого века. Спектакли обычно устраивались в залах, оранжереях или просто в саду.

В моду вошли сложные, многофигурные танцы, со взаимной слаженностью нескольких пар. Хороших танцоров было мало, но танцы, как балет, были приятны не только исполнителям, но и зрителям.

В моду вошли дуэли, как правило, на пистолетах. Дуэльная пара продавалась в особых ящичках, с пулями и шомполами. В России их не производили — дуэли запрещены! — и дворяне вынуждены были тайком ввозить их из-за границы. Купить их было трудно и дорого, использовать можно только раз, поскольку пристрелка не допускалась дуэльным кодексом. Казалось бы, проще драться на шпагах — они-то всегда под рукой. Но фехтованию нигде путем не обучали — учителей не хватало даже в Петербурге. Только кавалерийские офицеры владели искусством сабельного боя, однако на саблях дуэлей не устраивали.

И в моду вошли корсеты. Дамы привыкали к ним с детства и не замечали стеснения, но природу не обманешь. Никогда не было в высшем обществе столько смертей родами и никогда не рождалось столько горбатых и кривобоких детей, как в 1750–1770-е годы. Большинство умирало во младенчестве, но и взрослых, горбатых спереди и сзади, было немало. Телесные недостатки стали настолько привычны, что почти не привлекали внимания. Вот в такой среде жили и преуспевали деды нашего главного героя.

Дед его по отцу, Иван Никифорович Грибоедов, в родном доме не получил достаточного образования, но в пятнадцать лет был отослан в Петербург и зачислен рядовым в гвардейский Преображенский полк. В ту пору солдаты гвардии набирались уже не только из дворян, но и из крестьян, что уравнивало дворянских недорослей с бывшими крепостными в казарменном быту. Однако они имели все преимущества по службе и обязательно

обучались математике, языкам и военной науке. В остальном солдаты были так же грубы и разнузданны, как и офицеры, но ставки в их играх были меньше и не столь разорительны для провинциального юнца. Иван Никифорович овладел немецким языком, но служил рядовым почти пять лет и мог уже опасаться, что повторит жалкую участь своего отца, отставного капрала. Только двадцати лет он был, наконец, произведен в капралы.

В конце 1741 года преображенцы совершили переворот и возвели на престол дочь Петра I Елизавету. Закончился почти десятилетний период «бироновщины», когда все значительные посты в стране доставались иностранцам, а старая боярская знать оказывалась то в ссылке, а то и на эшафоте. Вскоре по восшествии Елизаветы Петровны началась Русско-шведская война. Грибоедов участвовал и в перевороте, и в войне, сражался при Гельсингфорсе и Фридрихсгаме, но выдвинуться не сумел. Вероятно, ему не доставало воинских доблестей, а может быть, просто удачи. В годы войны он постепенно продвигался в унтер-офицерских чинах и в 1749 году получил сержантство, что считалось уже офицерским званием в гвардии, поскольку гвардейские звания были двумя классами выше, чем армейские. После войны он целых шесть лет не получал повышения. Несомненно, одной из причин его прозябания было отсутствие средств, необходимых для поддержания блеска офицерского мундира лучшего полка России. В 1755 году он вышел из гвардии в армию сразу капитаном в новоформирующийся Сибирский гренадерский полк.

В начале Семилетней войны Иван Никифорович попытался снова отличиться, но военная карьера его явно не сложилась, и в 1757 году он вышел в статскую службу, женился и возвратился во Владимир, где переходил от должности к должности, был воеводским товарищем и вдруг возвысился, став в 1779 году председателем губернского магистрата — главой всей судебной системы в губернии. В 1781 году, при выходе в отставку, он был награжден чином надворного советника, вполне приличным для мелкопоместного дворянина.

Грибоедов, хотя и занимал несколько лет высокий административный пост, богатства не нажил. Екатерина II жестко боролась со злоупотреблениями среднего чиновничества, предоставляя безграничные возможности для казнокрадства только высшим сановникам. Иван Никифорович был, однако, честен и сам по себе и, вероятно, не стал бы воровать и без правительственных указов. Состояние он имел круглым счетом в девяносто душ в сельце Федоркове и деревне Назарове (но все пополам с родней), да за женой, дочерью соседа капитана Кочугова, взял сельцо Сущево в двадцать душ, оцениваемое со всеми угодьями всего в тысячу рублей. Прасковья Васильевна была женщиной простой и бережливой, поэтому достатка хватало и на себя, и на содержание мотоватых сыновей Никифора и Сергея, а также дочери Катерины, вышедшей впоследствии за соседа, такого же бедного помещика, капитана Ефима Ивановича Палицына. В губернии Грибоедовы пользовались всеобщим уважением и за свои достоинства, и как старожилы Владимирской земли. В 1792 году род Грибоедовых внесли в «Алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии», в VI часть, куда записывались только древние, благородные семейства. Сделано это было из чистой любезности к Ивану Никифоровичу, поскольку документально подтвердить свою родовитость он не смог. Департамент Герольдии при Сенате не признал древность его рода (и несправедливо: потом нашлись доказательства правоты притязаний Ивана Никифоровича), но, собственно говоря, в Российской империи происхождение не имело значения.

Дед нашего героя по матери, Федор Алексеевич Грибоедов, прожил жизнь богато и счастливо. Он родился в обширном, хотя старомодном поместье своего двоюродного деда Герасима, и здесь же получил начатки знаний под руководством провинциальных учителей. Пятнадцати лет он вступил, по примеру отца, в лейб-гвардии Преображенский полк (как и его сверстник Иван Никифорович, но знакомы они почти не были). Дворяне той поры еще не научились обходить указ об обязательном вступлении в службу рядовыми и не записывали детей в полки с малолетства (а то и до рождения), желая доставить им офицерское звание к

началу действительной службы. Несмотря на это, Федор Алексеевич в казарме почти не жил, а был отпущен домой для совершенствования в языках и науках. Отец не позволил ему лениться и проводить все дни в безделье или на охоте. Юноша выучил французский и немецкий языки, полюбил чтение, живопись и музыку. Федор Алексеевич был по натуре человек веселый и общительный, но в нем рано проявилось какое-то врожденное достоинство, основанное на просвещенности и уверенности в себе. В шестнадцать лет он стал владельцем двух тысяч душ крепостных, пяти тысяч десятин полей и лесов, озер и рек (братьев у него не было, только сестра Анна, замужем за коллежским прокурором Волинским), и, несмотря на происки дядьев, твердо расположился в Хмелитах, будучи уверен в незыблемости своих прав и внушая ту же уверенность губернскому и столичному судейству. Он занялся переустройством вотчины на новый лад и проявил редкие по тем временам хозяйственные способности.

Дом в Хмелитах, подновленный изнутри Герасимом Григорьевичем и еще крепкий, Федору казался нелепым и неудобным. Поставлен он был в очень неудачном месте усадьбы, с видом на огород и скотный двор. В конце семнадцатого века такое местоположение считалось разумным — службы требовали хозяйского пригляда. Но в восемнадцатом веке домовитость ценилась ниже изящности. Федор Алексеевич велел снести дом, а заодно и старую церковь полковника Семена Грибоедова. Огороды и хлева убрали с глаз, и десять лет крепостные мастера вели строительство новой усадьбы. Во время работ хозяин бывал в Хмелитах наездами летом, поскольку должность требовала его присутствия в городе. В те времена в поместьях жили одни старики да порой жены с малолетними детьми. Федор Алексеевич женился на дочери богатого соседа Ивана Игнатьевича Аргамакова, старого друга отца, и его жена с сыном и четырьмя дочерьми в летние месяцы могла останавливаться в родительском доме, пока свой был еще не достроен.

К 1759 году барский особняк, флигели и Казанскую церковь в Хмелитах завершили и отделали. А в 1762 году Федор Алексеевич несказанно обрадовался манифесту преемника Елизаветы Петровны Петра III о праве дворян служить или не служить по своему усмотрению. Дворянство было столь осчастливлено полученной вольностью, что собиралось поставить императору статую из чистого золота. Но не начали еще сбор денег, как Петр III был свергнут своей женой Екатериной и убит по ее невысказанному желанию. С переменой власти русское дворянство ничего не потеряло — напротив, оно вступило в золотой век своего существования.

Федор Алексеевич дослужился до чина гвардейского капитан-поручика и вышел в отставку классом выше, как было принято, к тому же переведясь из гвардии в армию и став, таким образом, бригадиром. Несколькими годами позже бригадир был осмеян в одноименной комедии Фонвизина, да так жестоко, что император Павел совсем отменил этот чин, вычеркнув его из Табели о рангах. Федор Алексеевич, однако, не походил на фонвизинского служаку, неизмеримо превосходя его умом, обширными знаниями и веселостью. Способности, вкус и характер хозяина ярко отразились в новом доме и парке, созданных домашними архитекторами. Хмелиты превратились из заурядного имения в великолепный, почти дворцовый ансамбль — островок обдуманной красоты среди незатейливой простоты деревенских окрестностей.

Русская усадьба — явление исторически позднее. Италия, Франция, Германия и Англия поочередно развивали и совершенствовали искусство садоводства, подхватывали друг у друга идеи, преобразовывали их и воплощали в великих творениях стиля барокко, рококо и ренессанса. Парки итальянских вилл, парки Версаля и Фонтенбло, Гринвича и Виндзора, Сан-Суси и Людвигсбурга прекрасны и несхожи, и все какой-то одной стороной восходят к идеалу, сложившемуся еще в Древнем Риме. Безупречный античный вкус требовал благородной простоты насаждений; деления парка на цветник, участок для пеших прогулок и отдаленную часть для катания на лошадях и в экипажах; соотношения сада с архитектурой зданий и с окружающей местностью. Три части парка должны были быть различны по устройству, но художественно едины; окрестные виды вписаны в пейзаж, расширяя

горизонт; и все это достигнуто без жестокого насилия над природой, без вычурностей и избытка украшательств.

Ни одна европейская страна не воплотила античный идеал. Итальянцы питали склонность к излишней декоративности и не допускали природной естественности линий. Французы боготворили симметрию и не желали замечать окрестностей, по возможности уничтожая их. Лучшим местом для парка они считали бесплодную гладкую равнину, где ничто не бросалось в глаза. Голландцы холили цветы и деревья в кадках, начищали до блеска изразцовые дорожки в садиках и не задумывались о цельности художественного впечатления. Англичане ввели в моду естественный стиль, любили обширные зеленые газоны со стадами оленей, но в порыве усердия искривляли даже от природы ровные участки. Немцы соединили лучшие достижения Англии и Франции, но утяжелили их безвкусной пышностью и ненужной грандиозностью.

Россия оказалась в выгодном положении. Создатели русских парков обладали многими преимуществами. Над ними не тяготели национальные традиции, ибо таковых не было. Они располагали средствами и временем, ибо труд крепостных был бесплатным, а время в избытке. Они обладали вкусом, развитым изучением великих произведений искусства всех стран и эпох. Они не считали совершенным только то, что создано на их родине и в их время, как полагали, например, французы семнадцатого или итальянцы пятнадцатого века. Россиянам похвалиться было нечем, и они охотно и пристально изучали достоинства других культур. Наконец, они не были склонны к чрезмерностям и деталям, которые появляются в период упадка какого-либо стиля, ибо русский стиль еще только зарождался.

В середине восемнадцатого столетия в России появились парки. Они соединили особенности итальянских, французских, английских садов, возвышенные до уровня, неизвестного древним, и связали их в единое целое благодаря античным принципам, не использованным итальянцами, французами и англичанами. Парки императорских резиденций в Павловске, Гатчине, Царском Селе бесподобны. А за ними тянулись дворянские усадьбы по всей России.

Хмелиты считались одним из красивейших поместий страны. Здесь все сулило отраду и покой во вкусе прихотливого восемнадцатого века. Восточные окна дома смотрели в цветник, где глазу приятно было останавливаться на веселой пестроте клумб, белизне мраморных статуй и зелени стриженных изгородей. За цветником начинался регулярный сад, неслучайно пониженный к большому пруду, предназначенный для пешеходных прогулок и праздников под открытым небом. Пышные кринолины модных платьев требовали широких дорожек, где дамы могли бы разминуться, не сбив кружевной отделки юбок. Такой сад создавала не фантазия художника, а ножницы садовника. Здесь не было ни красивых видов, ни разнообразия красок. Растения превращались в элементы архитектуры: липовые аллеи играли роль коридоров, квадратные лужайки, очерченные аккуратными живыми изгородями, заменяли комнаты; кусты, превращенные в пирамиды и шары, несколько украшали садовый интерьер. Царство стриженной природы было бы нестерпимо, если бы не оживлялось благоуханием сирени и жасмина. Белая, розовая, лиловая сирень цвела повсюду вокруг дома и в парке. В начале лета Хмелиты были прекрасны. Но сирень отцветала — и однообразие зелени разбивалось только блеском воды в прудах и разными садовыми затеями: гротами, руинами, мостиками. Французский парк, лишенный нарядной толпы, казался пустым и унылым даже в солнечный день, а под дождем и вовсе являл собой безотрадное зрелище.

Более отдаленная часть парка радовала величиной и прелестью. Естественная красота природы не нуждалась здесь в украшениях. Сочетание цвета листвы, рисунка крон, игра света и тени на открытых и заросших участках создавали плавную смену пейзажных картин, открывавших вид на цветущие луга, склоны ближних возвышенностей и оврагов. Пение птиц, шум леса, запах свежескошенных трав дополняли удовольствие от поездок по парку. Человеческая рука словно бы не касалась этих мест. Извилистые дорожки, похожие на лесные тропы, петляли среди кустов и тенистых рощ, пересекали солнечные полянки среди раскидистых деревьев. По ним легко и мягко было скакать верхом или катиться в коляске.

Посыпанная песком аллея рассекала парк от въездных ворот до цветника, проходила по мостику над прудовой протокой и подводила к самому дому, по стилю похожему на творения придворного архитектора Растрелли. Стены были по последней моде отделаны белой лепниной на голубом фоне. Монотонность фасада перебивалась эффектной овальной лестницей, вводившей прямо на второй этаж в парадный зал с зеркальным расписным сводом.

Главный дом продолжали два флигеля, соединенных с ним светлыми галереями. От двора к западу тянулся ровный травяной газон, обрамленный оградой, в конце которого стояли еще два флигеля, а за оградой — новая Казанская церковь. Здесь парк обрывался над красивым мягким косогором — внизу лежала долина Вязьмы; цепочка прудов извивалась по широкой равнине среди плакучих ив и ракит, а за деревней, куда хватал глаз, расстилались пойменные луга, поля, стояли живописные рощицы, и горизонт скрывался в дымке смоленских лесов.

Дом был устроен роскошно и модно. Комнаты парадной анфилады были отделаны под мрамор и украшены печами в голландских изразцах, зеркалами, милыми статуэтками дрезденского и севрского фарфора, тщательно подобранной мебелью и восточными коврами. Всего в доме насчитывалось до пятидесяти помещений, включая картинную галерею, библиотеку и театр во втором этаже южного флигеля. Собрание живописи и книг составилось не усилиями многих поколений владельцев, а единовременной закупкой всей коллекции. Но что же делать, если предки не имели склонности к изящному?

Их трудно за это осуждать. Даже в середине восемнадцатого века выбор картин и книг был делом нелегким, хотя расцвет художественных школ многих европейских стран пришелся на семнадцатый, а то и пятнадцатый век. Что мог отобрать Федор Алексеевич для своей галереи? Русские художники уже лет тридцать как рисовали портреты, но в провинции их творчество удручало, а лучшие мастера увековечивали только императорскую семью и столичную знать. Ближайшие соседи россиян — поляки — были умелыми, но безжалостными портретистами, прорисовывали каждую морщинку престарелых красавиц и каждую бородавку на вельможных носах. Художники из дальних европейских стран приезжали изредка только в Петербург, по приглашению императоров.

Картины старых мастеров тоже трудно было подобрать — не всё, созданное прежними эпохами, нравилось в восемнадцатом веке. Голландцы, любезные сердцу Петра I, изображали простенькие речные виды, чистенькие городские комнаты и пьяные драки в кабаках. На стенах помещичьего дома эти картины выглядели заурядно и не привлекали внимания: серый полузимний пейзаж и подгулявшие мужички не представляли в России чего-то удивительного. Фламандцы писали роскошные натюрморты с устрицами и пузатыми бокалами, воспевали изобилие рыбных и фруктовых лавок. Эти полотна были приятнее глазу русского дворянина — а все ж сюжет малоувлекательный. (Мы, конечно, не говорим о шедеврах Рубенса, Рембрандта и Ван Дейка, недоступных провинциалам и украсивших только стены императорского Эрмитажа.)

Немцев и англичан не стоило принимать во внимание, а творения великих итальянцев остались в далеком прошлом, были редки и совершенно недостижимы даже для императоров. В картинах испанцев величавость и возвышенность не искупали глубоко католического духа, настораживавшего приходского священника. С его мнением можно было не считаться, но вдруг бы он навлек на хозяина гнев какой-нибудь престарелой богатой тетушки?

Оставались французы. Но сюжеты их картин были часто неприемлемы в семейном доме: изображения обнаженных старческих тел или тел, заживо растерзанных и освежаванных, за пределами Франции никого не привлекали. Батальные полотна Лебрена, живописца Людовика XIV, были эффектны, несмотря на неразборчивую мешанину коней и людей, но — при длине шагов в тридцать — не влезали ни в один дом и даже в Лувре помещались с трудом.

Хмелитскую коллекцию составили в основном мифологические сцены и пейзажи с руинами третьестепенных итальянцев и второстепенных французов, из тех, под чьими

картинами стоят подписи «Неизвестный художник. Портрет неизвестного». Эти же полотна висели в залах Петергофа и Ораниенбаума, но в оригиналах. А у Федора Алексеевича многое было в копиях, рисованных крепостными живописцами с полотен из коллекций богатых вельмож. Плохо обученные мастера знали живопись только по виду, в анатомии и перспективе не разбирались, но бывали прекрасными копиистами, так что подслеповатые хозяева не отличали их работу от подлинника.

С литературой дело обстояло еще хуже. Конечно, в библиотеке Хмелит стояли древнегреческие и латинские авторы (большой частью в переводах на французский); великие французские классицисты — Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Ларошфуко; не великие, но приятные гривуазные авторы французского Регентства — Кребийон-сын, Мариво. Были и недавно изданные сатирические и весьма фривольные на первый взгляд сочинения Вольтера, Дидро, англичан Филдинга и Ричардсона (тоже в переводах на французский). Но писатели, которых сейчас почитают великими, еще не родились, лучшие достижения научной и художественной европейской литературы были делом отдаленного будущего.

Впрочем, существовала русская литература. Ломоносов и Сумароков вызвали из небытия российское стихосложение. К сожалению, поэты следовали убеждению, объявленному их внуками ложным, что поэзия должна быть понятна только посвященным. Очень поучительно читать примечания Антиоха Кантемира, в которых он простым языком объяснял собственные стихи своим же современникам («пойло из Индии» — кофе или шоколад и т. д.). Его последователи продолжали нарочито усложнять язык возвышенных од и нравоучительных басен, и потомкам казалось, что такова и была речь предков. Потомки не брали на себя труд продираться сквозь тягостный стиль — и голос восемнадцатого века не дошел до людей века девятнадцатого. И очень напрасно. Ломоносовские стихи ясны и просты, несмотря на некоторые искажения слов:

Шумит с ручьями бор и дол,
Победа, российская победа!
Но враг, что от меча ушел,
Бойтся собственного следа...

Или

Царей и царств земных отрада.
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!

В 1739 или 1747 годах эти быстрые строки читались с удовольствием. Но важен не только звук, но и смысл. Ломоносов и Сумароков были достойнейшими людьми, воистину благородными. О первом не стоит и говорить: какой русский человек не слышал о его невероятной жажде знаний, о его заслугах перед российской наукой и словесностью! Он писал для царей и часто о царях, но не ради наград и почестей. Никто не был более него независим в делах и суждениях, разве только Сумароков. Тот не склонялся ни перед монархами, ни перед общественным мнением: развелся с женой, фрейлиной Екатерины II, и женился, именно женился, на крепостной! Кто бы из самых смелых либералов девятнадцатого века решился на подобный поступок?!

Оды Сумарокова тяжеловаты, но они почитались таковыми и в его время. Их высокаторжественный слог нравился, как нравятся военные парады: никто ведь не ищет в них простоты и естественности! В прочих стихах он проявлял удивительную легкость слога и рифм:

Не уповайте на князей:

Они рождены от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен.
Земля родит, земля пожрет;
Рожденный всяк, рожден умрет,
Богат и нищ, презрен и славен.

Всего лучше его песни, словно подслушанные у крестьянских певуний. Кто не сможет понять или спеть:

Не грусти, мой свет! Мне грустно и самой,
Что давно я не встречалась с тобой, —
Муж ревнивый не пускает никуда;
Отвернусь лишь, так и он идет туда.

Таков был обычный язык восемнадцатого века.

Федор Алексеевич знал русских авторов, но не столько стихи, сколько пьесы. Хмелиты славились на всю Смоленскую губернию замечательным крепостным театром. Владелец вкладывал в него все силы, вкус и средства. Крепостные актеры по-французски не говорили и ставили, как правило, балеты или оперы, разученные со слуха по-итальянски или даже по-русски, а иногда драмы на родном языке. Трагедии писали тот же Сумароков, Майков, Херасков, Княжнин; последние двое писали и комедии, и комические оперы, и музыкальные мелодрамы. Все это было подражательно и не вполне хорошо, но зрители оставались довольны. Не стоит удивляться, что Федор Алексеевич выписывал русские книги.

Выписывал и журналы: «Всякую всячину» (никто не знал, что в ней печаталась сама императрица Екатерина), «Трутень» и «Живописец» московского масона и издателя Новикова; читал ежегодный «Адрес-календарь», следя за карьерой знакомых и сослуживцев. А газеты не любил — в них, кроме правительственных указов да непроверенных иностранных сообщений, ничего нельзя было отыскать. Жена его, Марья Ивановна, читала французские романы прошлого века — все трехтомные, растянутые и возвышенно нравоучительные. Более других ей нравилась «Принцесса Клевская» графини де Лафайет — бесподобно печальная история о женщине, пожертвовавшей поклонником ради достойного мужа и отказавшейся от брака с любимым даже после смерти супруга. Изящное воспевание долга вызывало невольные слезы, но никакой чувствительности в романе не было, его героиня не столько страдала, сколько рассуждала о страданиях. Зато бытописательную прозу, вроде романов Ричардсона и Дидро, Марья Ивановна не любила, finding грубой и непристойной — да так оно и было в сравнении с благородной красотой французской классики семнадцатого века.

Чтение не было единственным способом рассеять скуку деревенской жизни. Кроме хозяйственных забот и воспитания детей, Грибоедовы имели множество развлечений. Они не страдали от одиночества. Новая Казанская церковь была не только домовою церковью и усыпальницей семьи, но и центром прихода, объединявшего более тридцати селений. В Юрьев день весенний (23 апреля) здесь устраивалась торжественная служба, после которой благословляли весь скот, господский и крестьянский. А 9 мая, в праздник Николы Вешнего, в Хмелитах открывалась ярмарка, собиравшая деревенских ремесленников со всей округи. В церкви находилась икона святого Николая, почитавшаяся за чудотворную и привлекавшая богомольцев из дальних мест, но впоследствии почему-то утратившая популярность. Древнюю икону Смоленской Божией Матери Грибоедовы держали в доме, и в церковь она попала только после смерти последнего в роду.

По церковным праздникам в усадьбу съезжались все соседи и, конечно, оставались к обеду и вечерним развлечениям. Федор Алексеевич умел блеснуть, давал восхитительные праздники в саду, балы и спектакли в собственном театре. Он считался богатейшим землевладельцем в губернии. Ни царские родственники Нарышкины в своем Богородицком,

ни князя Вяземские в Сквородникове с ним и сравниться не могли. Другие соседи и родственники — Аргамаковы, Ефимовичи, Лыкошины, Хомяковы, Нахимовы — были еще беднее, хотя вполне достаточны. Грибоедова не разорило ни дорогостоящее строительство, ни хлебосольные приемы. Имение до поры оправдывало себя. Отличный фруктовый сад, огороды, рыбные пруды и поместительный скотный двор служили столу. Конный завод приносил доход, а крытый манеж для верховой езды манил в плохую погоду соседских сыновей.

Денег хватало, и Грибоедовы жили на широкую ногу. Простота отеческих нравов понемногу исчезала. Теперь вставали по часам, летом и зимой в одно время — в семь или восемь часов. Старики ворчали: «То солнце три часа на небе, а вы в постели, то встаете затемно, свечей не жалуете!» Поутру чаю не пили, а всегда подавали кофе. В Европе так повелось из-за редкости и дороговизны чая, а в России — из подражания Европе. Вообще же китайский чай был повсюду и дешев, потому что поступал по суше в большом количестве благодаря дружеским отношениям с китайскими императорами. К утреннему кофе-питию ничего не подавали, кроме булочек с чухонским маслом, варенья и сладких коржики. Обед отодвинулся к часу дня, а званый — даже к двум часам и был уже более прихотлив. Французские повара приучали столичное дворянство к салатам, рагу, пирожным, пирогам с несъедобной коркой и изысканной начинкой из дичи. Пристрастившись к новым лакомствам во время службы, отставные дворяне желали получать их и в деревне, и только французские протертые супы («жеваное», как их обзывали в России) не привились; уха, щи, каши по-прежнему составляли основу питания. Настоящие французские повара в барских усадьбах встречались нечасто, заморские кушанья стряпали кухарки в меру сил и умения.

Иностранные вина были дороги и редки, поэтому пили большей частью домашние наливки и настойки. Но отнюдь не водку. Пьянство оставалось уделом простолюдинов и невежд, не знавших, как убить праздное время. Образованные же дворяне производство водки, дарованное им в исключительную привилегию императорским указом, обратили в искусство. «Простое вино» они гнали для крестьян и продавали в кабаки, для себя же делали четверной перегонки «русские водки» на травах и ароматных листьях. Их не пили, а употребляли в лечебных целях, как сейчас лекарственные настойки. Русские водки перегонялись с различными добавками, от айвы до яблок — на все буквы алфавита. Отсюда пошла утонченная послеобеденная игра. Водящий тайком капал в стакан по капле каждой водки, название которой начиналось на букву задуманного слова, а отгадчики должны были понять его по запаху! Находились виртуозы, способные определить такие слова, как «Навуходоносор», где смешивались несколько капель одной водки со многими другими.

В пять часов пили чай. Самоваров еще не было. К чаепитию приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячею водой. Чайный прибор и сахар находились в ведении хозяйки, запертые в ее спальне на замок от детей и прислуги. Чайные ложечки были редкостью, и в богатом доме Грибоедовых их было только две: одну хозяйка носила при себе в особом футляре, а другую подавали хозяину. Ужинали обыкновенно в девять часов, чаще всего пирогами — подовыми и простыми, а французскую выпечку оставляли для украшения парадных столов — за ее внешнюю красоту, не за вкус. Кроме званых обедов, устраивали и званые ужины, которые начинались не раньше десяти вечера. Жизнь, в общем, все более сдвигалась к ночи.

Мирное, размеренное течение дней, красивые виды, красивые комнаты, отвлекавшие от случайных мрачных мыслей, нечувствительная смена времен года за окнами могли бы сделать жизнь дружной и веселой семьи счастливой и вечно праздничной. Беды приходили извне.

* * *

*Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро, Будешь
проклято вовек, ввек удивлением всех.*

А. Н. Радищев

Дети Грибоедовых были совсем маленькими, когда в 1771 году разразилась чума. Федор Алексеевич уже вышел в отставку и в Москве не жил, поэтому все уцелели, хотя натерпелись страху, слыша, как из столицы бежал наместник граф Петр Семенович Салтыков, а архиерей Чудова монастыря Амвросий, по малодушию своему, не усмирил озлобившийся народ, а устранился, стал прятаться и за то сам пострадал, приняв мученическую смерть от пьяного повара. Графа же Салтыкова покарала императрица, отправив с позором в отставку, где он и умер с горя год спустя. Успокоил Москву отставной генерал Еропкин, добровольно взявший на себя опасные обязанности сбежавшего начальства, и Григорий Григорьевич Орлов, присланный Екатериной в чумной город, может быть, в смутной надежде избавиться от наскучившего фаворита. Оба вельможи остались живы, но Еропкин получил немалые награды, а князя Орлова императрица послала вскоре заключать мир с турками, а после и вовсе сослала в деревню. Место Орлова при ее особе занял Потемкин.

Чумы дети Грибоедовых не запомнили. Помнить себя они стали с тех пор, как Пугачев навел ужас на всю Россию. Поволжье, где шла его армия, было далеко от смоленских земель, но и в их детских мамушки беспрестанно о нем толковали, и в гостиной вели разговор о его злодеяниях. Напуганные страхом взрослых, малыши боялись уснуть — им казалось, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в комнату и всех их передушит! Но в двери входили только нянюшки, и испуг постепенно проходил.

Крестьяне в Хмелитах не бунтовали. Федор Алексеевич был рачительный хозяин, крепостным спуску не давал, был щедр на плети, но не злобствовал и лишнего не требовал, оброк устанавливал по силам, расчетливо оберегая свои будущие доходы. Жена его была к дворовым строга, могла и собственноручно отшлепать башмачком, держала себя высоко, настоящей барыней — никто при ней и пикнуть не смел. Но все это было в порядке вещей, и, в общем, господ уважали. Когда Пугачева схватили и привезли в 1775 году в Москву, многие дворяне ездили смотреть, как его будут казнить. После соседки рассказывали Марье Ивановне: «Мы были так счастливы, что карета наша стояла против самого места казни, и все подробно видели...» Но Федор Алексеевич возмутился: «Не только не имел желания видеть, как будут казнить злодея, но и слышать-то, как его казнили, не желаю и дивлюсь, как это у вас хватило духу смотреть на такое зрелище».

Он был добр и обходителен. Тогда было обыкновение к обеду и праздникам приезжать со всеми людьми, на тройках и четвернях, и загашиваться по нескольку дней. Для хозяев это было иной раз накладно, но Грибоедов сзывал гостей часто и ко всем был приветлив, говаривал: «Он мой сосед и такой же дворянин, как и я; приехал ко мне в гости, сделал мне честь — моя обязанность принять его радушно».

Со всеми соседями Федор Алексеевич жил в согласии, кроме владельца ближайшего к Хмелитам села Григорьевского Михаила Богдановича Лыкошина. Тот в 1782 году, разбогатев женитьбой, пожелал построить у себя в имении церковь и сделать ее центром нового прихода, о чем подал прошение епископу Смоленскому и Дорогобужскому. Грибоедов возмутился, счел выходку Лыкошина оскорбительной для себя и хмелитской приходской церкви. Епископ принял сторону важного бригадира и Лыкошину не только отказал, но и обсуждать его просьбу не стал. С тех пор соседи друг к другу не ездили, но с прочими Лыкошиными, в том числе с братом Михаила Богдановича Иваном, Федор Алексеевич продолжал общаться.

Дети Грибоедовых дружили между собой. Старший — Алексей — находил большое удовольствие в обществе сестриц: запрягал их в вожжи с бубенчиками и гонял до изнеможения по дому и саду, и был жестоким мучителем кукол. Девочки умирали от усталости и пылали гневом, но от игр с ним не отказывались. Учились тоже вместе. Занятия в классной комнате начинались еще до завтрака и продолжались все утро. Учились говорить и писать по-французски и по-немецки и немножко даже по-русски, изучали историю, географию, мальчика отдельно обучали математике, астрономии и мало ли чему еще.

Самыми важными были уроки музыки и танцев. К урокам танцев приезжали соседки с детьми, и девочки от души веселились, прыгая под музыку. Для них танцы были единственной возможностью подвигаться. Мальчишки же не любили этих уроков. Свою ловкость они проявляли на охоте, куда ходили вместе со старшими, вооруженные настоящими маленькими ружьями. По утрам они много времени проводили в манеже, падая со своих пони, и потому не имели желания и сил крутиться в бальной зале.

Зато музыку все тогда очень любили, в каждом доме непременно стоял инструмент в гостиной и в детской, и даже мальчишки умели играть хоть немного, а девочки — обязательно. Большей частью игра барышень была достаточно хороша, чтобы им самим и их родителям она нравилась, и каждый музыкант, послушав их исполнение, мог бы сказать, что у них хорошая школа, но едва ли пожелал бы услышать их вновь.

Воспитание, полученное детьми Грибоедовых, было по тем временам обыкновенным. В старшем поколении тогда еще встречались знатные барыни, которые с грехом пополам подписывали свое имя каракулями. Но на них уже смотрели с неодобрением. Среди столичного дворянства невежество решительно искоренялось, и редкий молодой человек или девица, рожденные в 1760–1770-е годы, не владели одним-двумя иностранными языками, изящными искусствами и манерами и кое-какими науками. Неграмотную особу совершенно невозможно было выдать замуж, и даже в старозаветных семьях девочек усаживали за букварь. В противном случае пределом их мечтаний оказался бы какой-нибудь Митрофанушка Простаков, а на приличную партию нельзя было надеяться. От барышень стали ожидать даже начитанности (!) — то есть умения рассуждать о новых романах, хотя бы и знаемых понаслышке.

Учение требовало времени, оттого девичество затягивалось. Прежняя традиция выдавать замуж девочек двенадцати-тринадцати лет сохранилась только в глухой провинции да в простонародье, где образование не привилось. А в столичных кругах об этом обычае вспоминали как о чем-то диковинно-древнем. Теперь на барышень пятнадцати-шестнадцати лет не смотрели как на невест, и даже возраст двадцати пяти — тридцати лет не считался стародевичьим.

Около пятнадцатилетнего возраста пути детей временно разошлись. Алексей Грибоедов вступил в Преображенский полк, но уже не солдатом, как его предки, а сразу капралом и вскоре же получил офицерский чин. В полку его научили кутить, дуэлироваться, волокаться за дамами, словом, соответствовать положению гвардейца. Для четырех его сестер настала веселая пора балов, праздников и поиска женихов. К сожалению, девушки не были красавицами, и родители этим огорчались. Приданое им приходилось обещать большое, что уменьшало наследство Алексея, а рассчитывать на хорошую партию, которая принесла бы честь и выгоду семейству, сестрам не приходилось. Всё же их любили и баловали. Летом для них устраивались танцы и музыкальные вечера в Хмелитах, зимой семья переезжала в Москву, где у Федора Алексеевича был собственный дом в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Песках. Крепостные актеры Хмелит исправно развлекали многочисленных гостей, званых и незваных. А для французских пьес, которые во всем превосходили тогдашнюю русскую драматургию, ставили благородные спектакли.

Барышни их особенно любили, как и концерты, поскольку могли в них выставить себя напоказ. Но вот беда, ни один сочинитель не заботился об их интересах! Решительно во всех пьесах мужских ролей бывало неизмеримо больше женских, к тому же женские роли часто оказывались незначительными, без переодеваний, пения и прочих преимуществ. И тем обиднее, что юноши, как правило, не любили играть на сцене и охотно остались бы только зрителями, а между барышнями начинались ссоры из-за ролей. В Хмелитах у хозяйских дочек были все права и возможности получить лучшие роли, и все равно великие комедии и трагедии шли в нещадно урезанном и искаженном виде, но оттого не менее радости доставляли исполнительницам и их родственникам в зале.

Вечерами всех утешали танцы, всё только французские. Главным был менуэт, потом шли гавот, кадрили, котильоны и экосезы. Танцевали одни девицы, замужние дамы — очень

редко, а вдовы — никогда. Кавалеры были довольно плохи, особенно в Москве и провинции, где не стояли гвардейские части; кавалеров к тому же, как всегда, не хватало, и случалось, девушке так и не попадался ни один хороший танцор.

В Москве, как и в деревне, Федор Алексеевич жил очень широко и открыто. В торжественных случаях выезжал только цугом в шесть лошадей в шорах с перьями. На запятках становился «букет». Так называли трех человек, размещавшихся позади кареты: выездного лакея в ливрее, напудренного и в треугольной шляпе; гайдука в красной одежде, непременно высокорослого; и арапа в куртке и шароварах, опоясанного турецкой шалью и в белой чалме. Перед каретой бежали скороходы в ливреях и особых высоких шапках с узенькими полями и длинным козырьком. Они проверяли, может ли проехать карета по той или иной грязи. Когда же барин ехал запросто, то скороходов не брал, на запятках стояли только лакей и арап, а лошадей запрягали четырех, но тоже в шорах. В столице Грибоедов-старший держал три цуга: один для себя, другой для жены и еще запасной и, кроме того, несколько лошадей рассылных, водовозных и прочих, так что на конюшнях набиралось около тридцати лошадей и десятков конюхов при них.

Это не казалось в ту пору чрезмерным. Труд крепостных был дешев, припасы для содержания семьи и дворовых — все свои, оттого держали слуг премножество. В хорошем доме были дворецкий и буфетчик (а то и два), камердинер и горничная, парикмахер, два или три повара с поварятами и кондитер, лакеи и официанты, скороходы, кучера, фореиторы, конюхи, садовники, швейцары, дворники; да еще музыканты и артисты, няни и гувернеры, учителя и архитекторы. Это только в городе. А в деревне еще держали ключницу, псарей и егерей, скотников и всяких мастеровых: портных, сапожников, каретников да женскую прислугу для шитья. Вот и набиралось сотни две, не считая, само собой, крестьян на пашне. Конечно, у кого было всего двадцать душ крепостных, те жили куда скромнее, а у кого их было двадцать тысяч, те тысячу отряжали для домашних работ. Но речь не о крайностях, а о среднем. В *среднем* доме было сто — двести человек прислуги! И казалось, что иначе и быть не может. Понятно, что дворян не была загружена работой, но и вознаграждение получала «по пяти рублей на год да по пяти пощечин на день».

В Москву Федор Алексеевич стал наезжать только тогда, когда дети подросли. А до тех пор, с самого того дня, как полковника Семена выслали за злоупотребления, Грибоедовы в столице не жили. Да и сама она, можно сказать, не жила. В конце семнадцатого века Василий Голицын, Матвей Гагарин и Иван Троекуров выстроили было себе роскошные хоромы на средства, нажитые казнокрадством, но после того как Петр I князя Голицына сослал, князя Гагарина казнил, а князь Троекуров сам умер и со всем потомством, в Москве перестали возводить новые здания. С 1703 года здесь и вовсе было запрещено строить каменные сооружения, кроме церковных — все силы государства переключились на Санкт-Петербург. Город разрастался, расплзался в разные стороны деревянными домишками, заборами и огородами, посреди них торчали колокольни и стояли окруженные пустошами роскошные монастыри, а публичных зданий не было, и знатные особы города избегали. Мощные стены Китая и Белого города словно в насмешку охраняли большую деревню, лишенную к тому же сельской приятности. Даже императорской семье, в ее редкие приезды, негде было остановиться, а приходилось жить у частных лиц самым неудобным образом. Императрица Екатерина рассказывала с содроганием, как однажды ей пришлось больной лежать в проходной комнате, по которой бесконечно пробегали слуги, потому что коридора в доме не было и все покои связывались между собой и с единственным выходом на улицу.

Но с 1770-х годов Москва вышла из забвения, хотя поневоле. Почти одновременно из Петербурга были удалены впавшие в немилость вельможи братья Орловы, граф Кирилл Григорьевич Разумовский, княгиня Екатерина Дашкова. Жить в поместьях целый год им было скучно, особенно их детям, привыкшим к столичному веселью. Приезд богатейших, хотя опальных особ поразил Москву. Она враз переменялась. Сюда потянулись парикмахеры, модистки, портные, галантерейщики, мечтавшие сделаться поставщиками княжеских дворов. Пооткрывались модные лавки, в свою очередь привлечшие

провинциальное барство. В Северной столице деревенским помещикам было неудобно, там жизнь вращалась вокруг двора, и кто не был вхож во дворец, тот чувствовал себя изгоем. Зима в Петербурге обходилась очень дорого, а была совсем неприятна. Страшный ветер, наводнения, нередкие оттепели мешали катаниям в санях, а дороговизна заставляла ютиться в непривычной тесноте за закрытыми окнами, что вредило здоровью.

Не то в Москве. Двор здесь не царил надо всем, каждый жил по своему хотению, по заветам старинного гостеприимства. Меблированных комнат или квартир при трактирах, где пришлось бы жить невесте с кем стена об стену, здесь не существовало. Зато можно было недорого снять этаж или флигель в дворянском доме и вести более или менее общую жизнь с хозяевами. Правда, развлечений особенных пока не было. Дамы с наслаждением посещали лавки. Здесь наконец, после долгого лета, они узнавали новые моды, заказывали новейшего фасона парики в виде башен, украшенных цветами или корабликами, рассматривали образцы только что привезенной кисеи, необыкновенные чепчики и шляпки. У мадам Виль приобретали «шельмовки» — бархатные шубки без рукавов, поражающие ценой и бессмысленностью. Мадам Кампиони славилась гирляндами и бантиками на башмаки и платья. Юбки тогда достигли наибольших размеров, но ткани подешевели. Серебряные и золотые нити не вплетали больше в самую материю, а делали из них сетки и накидывали поверх бальных туалетов. Так выходило и красивее, и дешевле. Одной сеткой украшались все платья, оттого их можно было нашить гораздо больше. Но надевать их было почти некуда, и мать и дочери Грибоедовы покупали наряды для летнего времяпрепровождения в Хмелитах. Там у них и театр свой был, и балы, и прогулки в саду, и катания в каретах.

А в Москве был только театр у Апраксиных, строился Петровский театр на деньги Воспитательного дома и предприимчивого англичанина Медокса, но он еще не открылся, и даже балов почти не устраивали. В 1783 году положили создать Дворянское собрание, но домом оно пока не обзавелось. Мужчины спасались за картами в Английском клубе, а дамам оставалось только ездить друг к другу с визитами и в церковь. Вечерами собирались где-нибудь поиграть в карты, послушать музыку, молодежь пыталась немного танцевать в тесных комнатах старых домов.

Город стало не узнать. Повсюду спешно сносили деревянные постройки и начинали возводить каменные дворцы и публичные здания. Москва превратилась в одну большую и очень грязную стройку. Улицы еще не мостились, только кое-где покрывались досками и бревнами. От этого становилось только хуже: после дождей и таяния снега доски торчали почти стоймя и не было никакой возможности по ним проехать. Зимой, к счастью, это безобразие скрывалось под снегом, и разумные люди приезжали в столицу по первому пути, а уезжали до распутицы. И все равно, вечерами своих лошадей жалели, а запрягали наемных ямских, тем более что в темноте упряжь все равно не видна. Фонари стояли повсюду, но свечные и на расстоянии не менее сорока сажен. При их свете только что на забор не наедешь, но человека можно и не увидеть — сбить с ног.

Из построек новой Москвы при Федоре Алексеевиче готовы были дворец М. Ф. Апраксина, весь изумрудно-лазоревого, чудно украшенный, с изгибающимися стенами, и еще дом известного поэта М. М. Хераскова. Эти барочные здания Грибоедов любил и охотно навещал их владельцев, тем более что разделял их любовь к театру и мог часами доказывать сердившемуся Хераскову превосходство французской драматургии над русской. В свой последний год жизни Федор Алексеевич имел удовольствие увидеть достроенным прекрасный дом П. Е. Пашкова, но умер до того, как туда вселилась огромная семья хозяина.

Остальную Москву Федор Алексеевич не любил, более того — начинал ненавидеть, как и многие старики той поры. В моду на их глазах вдруг вошел беспринципный Матвей Казаков, выстроивший в готическом, презираемом еще Вольтером стиле Петровский дворец, но тотчас же обратившийся к классическому стилю, более всего напоминавшему непривычному глазу казенную архитектуру (вроде удручающе громадного Воспитательного дома), слегка оживленную однообразной колоннадой. Федор Алексеевич, к счастью своему, не дождался до того дня, когда Казакову стали поручать не только присутственные места и

больницы, не только бесчисленные частные дома, но даже церкви! На засилье казаковской школы кое-кто сетовал, но безуспешно — императрица ей покровительствовала. И молодые охотно следовали ее вкусу, поскольку вычурное искусство барокко им успело надоесть и хотелось разнообразия.

Во время последней болезни Грибоедова стали раздражать и церкви, точнее, перезвон их колоколов и часов, влетающий в окна с десяти-пятнадцати соседних колоколен. Если пономарям удавалось бить строго одновременно, от такого боя дрожали стекла в рамах, и закладывало уши, и прерывался беспокойный сон пожилого человека.

Федор Алексеевич скончался 2 марта 1786 года, оставив три тысячи душ крестьян и 55 тысяч рублей долгу. По тем временам наследство было отличное, а долг невелик. Тогда не считали достойным уметь сводить доходы с расходами, в этом видели склонность к расчетливой жизни, что-то купеческое и мещанское. Даже богатейшие вельможи, Потемкин или Валериан Зубов, например, имевшие сорок — пятьдесят тысяч крепостных и бесчисленные богатства, добытые всеми путями, оставляли до миллиона рублей долгов! Так что Грибоедов жил довольно скромно, по средствам, и долги его не обременили имение. Мария Ивановна, вдова, имела собственные средства и более двух тысяч душ, что очень немало. Дочери получили по смерти отца почти по двести душ в разных деревнях каждая и стали желанными невестами.

Алексей Грибоедов, сделавшись хозяином богатого владения, службы не бросил, хотя был всего лишь в чине гвардии поручика и имел самый благовидный предлог для отставки. Он был молод, полон веры в себя и не желал хорониться в деревне, жениться и вести покойную жизнь помещика, охотиться да развлекать соседей. Все его поколение с детства было напитано идеями Просвещения. Не то чтобы Алексей читал французских энциклопедистов, Вольтера или Руссо, или их русских и немецких подражателей, или имел склонность к метафизическим беседам и спорам о политике. Он, как и многие, впитал идеи из воздуха, которым был окружен: из театральных пьес, из журналов, из разъяснений учителей, правительства и даже полковых командиров.

Ему внушили, что достоинство человека, гражданина и патриота определяют не богатство и сословная принадлежность, но дела, служба на благо родины. По-французски эта мысль звучала как призыв покончить с жестким кастовым делением общества, с безграничной властью монарха, дать простор силам всех, кто может принести пользу стране. В переводе на русский она стала означать просто, что величие человека определяется его чином в Табели о рангах. Это бы и неплохо. Если вообразить, что тысячи молодых людей, в том числе не дворян, прекрасно образованных и духовно развитых, вступают одновременно на первую ступень служебной лестницы в равном положении, которое не зависит от денег и титулов предков, то всех выше должен вознестись самый достойный, тот, чье служение будет наиболее полезно государству. Таков был идеал российских правителей, мечтавших сделать всех подданных равными и полными рвения. Никого не смущало, что действительность нимало не соответствовала идеалу. В этом видели даже преимущество.

Тогда верили в Разум. Верили, что всё можно исправить: победить пороки, восторжествовать над злом, утвердить добрые нравы и естественные порядки, согласовать веления природы и благо общества. И чем менее походила Россия на царство Разума, чем больше предстояло труда по его утверждению, тем больше была бы слава в потомках. Достижима ли цель? Такой вопрос и не ставился! Можно ли сомневаться! Только и необходимо, что воспитать детей в понятиях добродетели и доблести (по-французски это выражалось одним словом «vertu»), удалить их от непросвещенных взрослых, заперев на годы в закрытых учебных заведениях, а потом вывести в свет, предоставив им одинаковые возможности для продвижения. Такие люди, несущие в самих себе глубоко осознанный *нравственный закон*, конечно, не стали бы презирать крепостных, уподобляя их скоту. Нет, они увидели бы в крестьянине человека, хотя темного и непросвещенного; стали бы для своих людей отцами и благодетелями, направляя простые их побуждения к общественному благу. Чарующая картина будущего благоденствия России открывалась с высот века

Просвещения. Казалось, уже через поколение-другое наступит царство Разума на земле. В него искренне верили и — кто в малом, кто в большом — стремились внести свою лепту в кажущееся общим дело. Вера в Разум успешно подменяла веру в Бога, а порой и вовсе вытесняла ее. То и дело тот или иной молодой человек объявлял себя вольнодумцем, вольтерьянцем, годами не ходил к исповеди — и никто его за это не преследовал, не порицал. Церковь не пользовалась никаким уважением у правительства и дворянства, оставаясь прибежищем старых дев и пожилых ханжей. Над старухами, вечно отбивающими поклоны в молельнях, смеялась сама императрица в собственных своих пьесах, и с ее легкой руки высшие круги стали презирать истовость и долгие посты. Поколению, рожденному в конце 1760-х годов, будущее улыбалось и жизнь сулила радость.

Каждый год словно бы приближал торжество Разума. В феврале 1786-го императрица запретила слово «раб» в официальных бумагах, и поэт Василий Капнист откликнулся восторженной одой:

Красуйся, счастлива Россия!
Восторгом радостным пылай;
Встречая времена златые,
Главу цветами увенчай...
Да глас твой в песнях возгремит,
Исполнит радости вселенну,
Тебе свободу драгоценну
Екатерина днесь дарит...

Отмена слова воспевалась им как отмена рабства, ибо казалась шагом к совершенному будущему. И стихи Капниста вовсе не были придворной лестью, желанием возвеличить императрицу по ничтожному поводу. Три года ранее он писал и бестрепетно публиковал проникнутую болью и недоумением оду на утверждение крепостного права в украинских землях. Тем отраднее было ему провозглашение вольности — хотя бы на словах.

Капнист был старше Алексея Грибоедова и его сверстников, жар его души успели остудить годы, и не он был выразителем чувств молодого поколения. Лучшими поэтами из молодых почитались Крылов и Карамзин, чьи стихи были светлы и радостны. Им подражали многие, по мере сил.

Алексей Федорович, правда, стихов не писал, даже не читал, разве что на ночь для усыпления. Но к веяниям времени был чуток, хотя выражал свое восприятие делами, а не словами. В ту пору, когда Крылов воспевал свою Анюту, а Карамзин — музу Поэзии, Алексей Грибоедов предавался ратным удовольствиям, всему предпочитая грохот битв и сражения, где решались судьбы страны и вклад каждого был замечен и важен. Он как лев дрался с турками при Суворове во вторую Русско-турецкую кампанию, отличился при Фокшанах и Рымнике, а с наступлением затишья в боевых действиях уехал в Россию.

Карамзин тем временем отправился в путешествие по Европе, надеясь увидеть в ней начала идеального устройства, необходимого Российскому государству. Крылов же затеял в Петербурге издание великолепного сатирического журнала «Почта духов», куда и писал сам все материалы.

1789 год выдался особенным. Началась революция. Не в России — боже упаси! — во Франции. Ее можно было бы предвидеть. Когда 13 июля 1788 года по Франции с юго-запада на северо-восток наискосок через всю страну полосой в 20–30 верст промчался, сметая все на своем пути, невероятный град — градины были весом более полуфунта и неслись со скоростью 70 верст в час! — многие подумали, что это недоброе предзнаменование. И ничего удивительного, что именно 13 июля следующего года парижский народ захватил Арсенал и Ратушу, а 14 июля, падением Бастилии, началась новая страница в истории человечества.

Сначала происходившие события не привлекали особенного внимания. Карамзин, очутившись в апреле 1790 года в Париже, хотя и заявил дежурно: «Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города», но сравнивать Париж прежний и революционный ему не следовало бы, поскольку никогда раньше он там не бывал. «Новые республиканцы с порочными сердцами» ему не понравились, потому что «безначалие хуже всякой власти!» И вообще «всякие насильственные потрясения гибельны». Однако прочие его описания нисколько не передавали тревожного состояния умов и города. Они даже успокаивали московских читателей. В самом деле, выяснилось, что революция не мешала славным гуляньям в аллеях Булонского леса, хотя вместо пяти тысяч блистательных модных карет на нем появилась едва тысяча экипажей и ни одного великолепного. (Для Москвы и тысяча карет была чудом, на гуляньях под Новинским или на Девичьем поле столько никогда не видывали.) И революция не мешала путешественнику всякий день посещать спектакли и оперу, пить кофе, читать журналы, бродить по лавкам Пале-Рояля, по саду Тюильри и Елисейским Полям, отдыхать в «Кафе де Валуа» за чашкой «баваруза» (ароматического сиропа с чаем) и после театра «засыпать глубоким сном с приятною мыслью о будущем». Так спокойно шла революция первые годы, по крайней мере на взгляд проезжего наблюдателя.

Из России она виделась в более мрачном свете. Газеты, по своему обыкновению, не сообщали о том, что театры и кафе открыты, что кофе и баваруаз по-прежнему всюду подаются, что «едва ли сотая часть <народа> действует, а все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре!». До российских читателей доходили только сведения политические, тревожившие правительство. Король Людовик XVI был арестован, вместо Генеральных штатов образовалось Национальное собрание, где все вопросы решали голосованием. Императрица, несмотря на давнюю симпатию к просветителям, решила запретить продажу их сочинений в России и посоветовала русским подданным не ездить во Францию. Когда же на следующий год несчастный Радищев вздумал опубликовать свое «Путешествие из Петербурга в Москву», выбрав для этого самое неудачное время, она объявила его «бунтовщиком хуже Пугачева». Но, конечно, не казнила (хотя, по слухам, едва ли не собиралась), а просто сослала на десять лет в Сибирь.

Эта расправа, не вязавшаяся с мягким нравом государыни, столько сделавшей для русского дворянства, произвела тяжелое впечатление. Вскоре прекратили выходить любимые в провинции «Детское чтение» и «Экономический магазин», журнал А. Т. Болотова, настольная книга разумного помещика, и многие усмотрели в этом гонения на печать, хотя на самом деле с их издателем Н. И. Новиковым просто не продлили договор на аренду типографии Московского университета. Как бы то ни было, в Москве не осталось ни одного журнала, ни одной газеты, кроме правительственных «Московских ведомостей». Даже «Магазин аглинских, французских и немецких новых мод» прекратился в 1791 году, и дамам оставалось мучиться в неизвестности, гадая, на сколько они отстали от европейской жизни. Когда же, спустя десяток лет, восстановились отношения с Европой, все прямо ахнули от ужаса! — так отстали, просто на век.

Потому в обществе обрадовались, когда в Москву вернулся Карамзин и начал выпускать «Московский журнал», где печатал свои «Письма русского путешественника». Их читали нарасхват, и все очень хвалили. Как ни устарели к тому времени его впечатления от Европы, все же они были новее и умнее газетных сообщений. Кроме карамзинского журнала, еще какой-то В. И. Остроков выпускал книжки «Чтения для вкуса, разума и чувствований», но они безнадежно отставали от вкуса и чувств читателей.

Зимой 1793 года русские воспитанники просветителей были поражены казнью Людовика XVI. А летом до России стали доходить слухи, что в Париже к власти пришли якобинцы, чтущие одного Ж. Ж. Руссо, но странно понимающие его идеи.

Руссо в трактате «Об общественном договоре» писал: «Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не всегда видит, в чем оно. Общая воля всегда направлена верно и прямо, но

решение, которое ею руководит, не всегда бывает просвещенным. Ей следует показать вещи такими, какие они есть, иногда — такими, какими они должны ей представляться». Эта заповедь философа легла в основу убеждений якобинцев, а потом — и всех вообще политиков мира. Речи революционеров, особенно речи Робеспьера, тогда не доходили до русской публики, а то бы они вызвали презрение и насмешки. Когда в Париже начался голод, Робеспьер посоветовал ничего не замечать и рисовал положение таким, «каким оно должно представляться»: «...Народ никогда не бывает неправ... Но разве, когда народ поднимается, он не должен иметь перед собою достойную его цель? Разве какие-то жалкие товары должны его занимать?.. Народ должен подняться не для того, чтобы подобрать сахар, а для того, чтобы раздавить разбойников».

К весне 1793 года Робеспьер сформулировал новую заповедь: «Кто не за народ, тот против народа». Или — или. Черное — белое. Настало царство Разума во Франции: «Пусть вся Европа будет против вас, вы сильнее Европы! Французская республика непобедима, как разум; она бессмертна, как истина». Правда, для окончательной победы Разума еще многого не доставало, и якобинец установил «цель революции и предел, к которому мы хотим прийти». Этот пассаж его речи о добродетели (все та же «*vertu*») следовало бы читать по-французски, в русском переводе он многое теряет: «Мы хотим заменить... эгоизм — нравственностью, честь — честностью, обычаи — принципами, благопристойность — обязанностями, тиранию моды — господством разума... наглость — гордостью, тщеславие — величием души, любовь к деньгам — любовью к славе, хорошую компанию — хорошими людьми, интригу — заслугой, остроумие — талантом, блеск — правдой... убожество великих — величием человека, любезный, легкомысленный и несчастный народ — народом великодушным, сильным, счастливым».

И кто бы был против? В таких идеях нет ничего дурного или вредного. Повсюду хотели того же самого. Недаром революция пользовалась сочувствием многих умов в России. Но у той же речи Робеспьера было продолжение — о *средствах*, какими надо было достигнуть поставленной цели: «Если движущей силой народного правительства в период мира должна быть добродетель (*vertu*), то движущей силой народного правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна».

И посыпались головы под ножом гильотины. И уж тут с якобинцами не согласился ни один воспитанник просветителей. Какой террор не пагубен? Как может быть бессильна добродетель?! Вот к чему привело следование Разуму?!!

Крах... Крах всего, во что верили, растерянность, боль, не находящая утешения. Не приведи бог кому-нибудь пережить то, что пережили люди, рожденные в 1760-е годы. Весь их мир рухнул. Уж лучше было лишиться головы на плахе Парижа, лучше было очутиться в каземате, как Новиков, чем остаться в том же привычном мире, где не на что было больше опереться. Все вдруг осознали, что разум не всемогущ, что он не правит миром, что едва ли он вообще существует на свете. Всё, во что верили, показалось лишенным смысла, всё, что делали, — ничтожным. Легче было умереть. В истории и раньше, и позже случались катастрофы, когда погибал в руинах старый мир, а ростки нового еще и не пробивались, но обыкновенно гибель прошлого касалась в равной мере всего народа или только старшего поколения, которое и в обычное-то время всем недовольно. Здесь же невыносимая ноша легла на плечи молодежи, только она была в полной мере воспитана на идеалах просветителей. Крах веры в разум пережить тяжелее всего, ибо после нее не остается ничего... Только чувства. И первые из них — тоска и уныние. И желание бежать от мира, скрыться, спрятаться, чтобы в одиночестве пережить свое отчаяние.

Удалился в чащу леса Крылов. Когда еще привлекало его лоно природы? Давно ли воспевал любовь? Теперь он славит Уединение:

Вдали — и шумный мир исчез,
Исчезло с миром преступленье;

Вдали — и здесь, в уединенье,
Не вижу я кровавых слез.
Здесь мягкий луг и чисты воды
Замена злату и серебру;
Здесь сам веселья я беру
Из рук роскошныя природы.

Но закрыть глаза на происходящее, забыть настоящее мало, надо еще и защититься от него. А как?

Сомкнитесь, горы, вокруг меня!
Сплетитесь, леса дремучи!
Завесой станьте, черны тучи.
Чтоб злости их не видел я.
Удары молнии опасны,
В дубравах страшен мрак ночной,
Ужасен зверя хищный вой —
Но люди боле мне ужасны.

Тут, конечно, пером Крылова водила паника, приступ малодушия. Но уж если такой спокойный и, безусловно, нетрусливый человек не мог удержать вопля потрясенной души, что же чувствовали остальные?

Совершенно о том же, только яснее и немного сдержаннее, писал Карамзин. С горечью вторил он Крылову:

Почто, почто, мой друг, не век
Обманом счастлив человек?
Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет,
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно.

Что же тогда остается делать? Всё то же — бежать в лес, подальше от людей:

Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов.
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б без страха и надежды
Мы в мире жить с собой могли.

И, наконец, Карамзин чеканит лучшие свои строки, первое утешение своему поколению:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают.
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.

Вторым утешением стали карты. В них нашли молодые люди средство забыться, испытать судьбу, которая была слишком мрачна и печальна, чтобы стоило жалеть о проигрыше. В 1790-е годы картежная игра достигла невиданного размаха. Проигрывали не просто свои состояния, но состояния детей и потомков до третьего колена. Разорялись вчистую. Даже флегматичный Крылов, когда прошел первый приступ тоски, вернулся из лесу — и прямо за карточный стол. Но играл не на имение, которого у него все равно не было, а стал настоящим профессиональным игроком, если не сказать хуже.

Третьим утешением стала история. Если уж о современности ни писать, ни думать было нежелательно и просто запрещено, лучше всего было утопить мысли в далеком прошлом. В 90-е годы в Москве, кроме литературных альманахов, выходил только один журнал, если его можно так назвать, «Словарь исторический» того же малоизвестного Огорокова, а кроме него — совсем уж пустой ежемесячник А. Г. Решетникова «Дело от безделья» (с многозначительным подзаголовком «Аптека, врачующая от уныния»).

Последним утешением стали слезы. Оплакивая чужие страдания, забываешь собственные. Сентиментальная, чувствительная литература хлынула потоком. Герои новых песен и повестей томно вздыхали, рыдали, а при развязке то и дело кончали жизнь в пруду или иначе. Зачинателем этой моды стал Карамзин, но долго она не продержалась.

Вера в жизнь не умерла вместе с верой в разум. До революции молодые люди слишком хорошо умели радоваться жизни, чтобы потерять к ней вкус из-за душевных разочарований. Поэзия самоубийств оказалась им совершенно чужда. Если разобраться, события Французской революции мало кого коснулись, и крах разума поразил только тех, у кого он прежде пользовался почтением. Алексей Грибоедов в эти тяжелые годы был занят своими бедами. Вернувшись из армии, он влюбился в милую и томную соседку, княжну Александру Одоевскую, и женился на ней в апреле 1790 года. В следующем году, родив дочь Елизавету, его жена умерла. Оставаясь в деревне во все время траура, Алексей Федорович с горя ввязался в давнюю тяжбу с соседом Лыкошиным по поводу постройки приходского храма в имении последнего. Борьба была тем упорнее, чем бессмысленнее. И на сей раз, не в пример отцу, Грибоедов проиграл. В отместку соседу он выстроил неподалеку от Хмелит Александровскую церковь в новом стиле — круглую, окруженную колоннадой. Служба там почти не проводилась, и вся затея была пустой, зато препирательство с Лыкошиным и сочинение прошений в Синод отвлекли несчастного вдовца.

Сестры его еще легче приняли произошедшие перемены. О политике они и не думали, но с удовольствием прочли чувствительную историю о «Бедной Лизе», и так как были тогда молоды и своих горестей у них не было, то и поплакали над печальной судьбой влюбленной поселянки и всех последовавших за ней «Бедных Маш», «Саш» и прочих. Они совершенно поверили Карамзину и, как многие московские барышни, начали ездить к пруду у Симонова монастыря, куда бросилась с отчаяния Лиза. Не только девицы, но и солидные мужи весьма одобряли карамзинские повести. Всем хотелось плакать, но приличнее было плакать над выдумкой, чем над правдой жизни.

Даже те, кто не читал ничего, кроме придворного адрес-календаря, осознавали, что общество изменилось. Настало «время молчати». Неопытные юноши и немолодые люди, многое пережившие, отступали бессильно перед новыми веяниями. Сам великий Державин, еще недавно яростно клеймивший недостойных «властителей и судей», делая вид, что всего

лишь переводит псалом Давида, хотя бы и ставший гимном якобинцев:

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Державин спустился с высот, начал шутя высмеивать своих товарищей-сенаторов:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом.
Он только хлопает ушами.

а потом и вовсе скрылся в свою деревню и принялся воспевать восторги вкусного обеда:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком.
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны.
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!

или мягкого пухового дивана:

Вздремли после стола немножко,
Приятно часик похрапеть:
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь.

И вместо великих мужей и самой императрицы начал восхвалять... комара! А многие вовсе перестали творить; но не только страх перед заточением или ссылкой заставил их отложить перо — они сами не понимали, о чем писать, чем заполнить душевную пустоту, чем заняться и надо ли вообще что-то делать?..

Годы спустя те, кто сумел пережить гибель века Просвещения, открыли новый интерес к жизни. И. А. Крылов обрел себя в иносказательном бичевании пороков — в баснях. Н. М. Карамзин временно нашел прибежище в исторических трудах, хотя под конец и в них разочаровался. Те же, кто был слабее волей или разумом, так и остались в 1794 году. Они всё еще были молоды, вся жизнь их была впереди, но отыскать себе дело они не сумели. Души их умерли со смертью их века, и в новый век они внесли только мудрое неверие в разум да горькое сознание бесплодности человеческих мечтаний. Для них «время молчати» наступило навсегда.

Глава I СЕМЬЯ

Края Москвы, края родные,

Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед...

А. С. Пушкин

Женитьба Алексея Грибоедова изменила жизнь его матери и сестер. Марья Ивановна не пожелала подчиняться новой хозяйке в доме, где сама столько времени полновластно правила. Забрав дочерей, она уехала в Москву, где начала их вывозить в свет. Конечно, это было не слишком рано — сестрам было около двадцати лет. Но прежде мешал траур по Федору Алексеевичу и другие причины, к тому же Марья Ивановна считала, что выезд в свет старит девушку, ибо только с ее первого появления на балах начинается отсчет лет ее девичества. Поэтому она предпочитала развлекать дочерей в деревне, где кавалеров было достаточно, а годы как бы и не шли. Скорая смерть невестки не заставила ее вернуться в Хмелиты. Она сознавала, что сын женится вновь, и ей опять придется покидать дом. Будучи женщиной богатой и еще не старой, она предпочла устроить свою судьбу и вторично выйти замуж. Но дочери ей мешали — нельзя же думать о браке, имея четырех дочерей на выданье! Это сочли бы неприличным.

Заботы и хлопоты казались вдове непосильными. Затягивающееся девичество вынуждало ее присматривать за благонаравием дочек. Долго ли до беды? уронят доброе имя и прощай все надежды. При поездках в лавки Гостиного двора ей приходилось следить, не увивается ли за девушками какой-нибудь щеголь, пользуясь невниманием матери. Гостиный двор словно бы и выстроили для галантных походов. Купцы жаловались, что волокиты только амурничают и мешают им торговать. А сколько бывало случаев, когда в битком набитом слугами доме, при незапирающихся дверях комнат и при полной невозможности выйти одной на улицу или принять кого-нибудь у себя барышни все же находили возможность пошалить — и иногда небезобидно.

Но о сестрах Грибоедовых нельзя было сказать ничего дурного. Имея хорошее приданое, они довольно скоро сделали приличные партии, несмотря на недостатки внешности и нрава. Александра Федоровна вышла замуж за Николая Яковлевича Тинькова, потом ставшего генерал-майором, Елизавета — за Акинфиева, Наталья — за поручика Семена Михайловича Лачинова. Все три зятя Марьи Ивановны происходили из хороших, почтенных семей и сами по себе были людьми добрыми и достойными, но ничем не примечательными. Нелегко оказалось пристроить Настасью. Мать прибавила ей двести душ приданого и настояла на первом подвернувшемся женихе. Им оказался картежник, мот и вообще человек никчемный — но родня, из того же рода Грибоедовых: знакомые не могли осудить такой выбор.

О владимирской ветви Грибоедовых давно не было речи, но и говорить особенно нечего. Старший сын Ивана Никифоровича, Никифор, служил в конногвардейцах, в отставку вышел поручиком в 1780 году, совсем молодым еще, за заслуги отца был избран владимирским дворянством заседателем в Верхний земский суд, в 1784 году окончательно удалился от дел в чине титулярного советника. И дальше, до самой смерти в 1806 году, Никифор Иванович жил с отцом, не отделяясь, поскольку так и не женился.

Сергей, младший сын Ивана Никифоровича, с детства не пользовался любовью отца за буйный характер. В службу его записали с малолетства, и четырнадцати лет он вступил корнетом в Смоленский драгунский полк. Оттуда, благодаря семейным связям, его взяли в штат к генерал-поручику князю Юрию Никитичу Трубецкому, и вместе с ним он попал в Крым в Кинбурнский драгунский полк. Может быть, Сергей нашел бы выход своему пылу в военную кампанию, но Первая турецкая война как раз закончилась. Вынужденные оставаться в диком крае, где не было ни развлечений, ни открытых домов, ни даже хорошего вина, драгуны пристрастились к картам и пуншу, и Сергей Грибоедов был тут в числе первых. Он успешно продвигался по службе, у начальства нареканий не вызывал, но по

полку со временем поползли неприятные разговоры о его манере игры. В нечестных приемах его никто не решался обвинять, однако он *всегда выигрывал*. Явного повода для дуэли не возникло, однако князь Трубецкой посоветовал ему перейти на службу поближе к дому, под присмотр отца, и отчаянный драгун, к своему позору, оказался в Ярославском пехотном полку.

Надежды родных уговорить молодца не оправдались. Зимой 1782/83 года Сергей решил провести во Владимире, где сошелся с веселой компанией мотоватых помещиков. Конечно, то не были шулеры, но все вместе они вовлекли в игру несовершеннолетнего Никиту Волкова и обыграли его на четырнадцать тысяч рублей, начисто разорив. Тот состоял под опекой прокурора Сушкова, и последний поднял страшный шум. По екатерининскому постановлению никто не обязан был платить долги, сделанные за карточным столом, напротив, взыскание подобных долгов было преступлением. Но в дворянском обиходе то обстоятельство, что карточные долги можно было не признавать, привело к обратному желанному властей действию: человек мог отказываться рассчитаться с портными и купцами, бегать от кредиторов, не теряя достоинства, но карточный долг — *долг чести* — он был обязан уплатить. Проигравшийся дворянин скорее пускал себе пулю в лоб, чем соглашался прибегнуть к помощи закона. Никита Волков не желал лишаться уважения общества на самой заре жизни, Сушков же требовал наказания компании Грибоедова. В эту скандальную историю пришлось вмешаться владимирскому губернатору Роману Ларионовичу Воронцову, некогда содействовавшему утверждению дворянских вольностей манифестом 1762 года. Воронцов предложил дело замять, но обязать игроков возместить ущерб, нанесенный юнцу.

Иван Никифорович был взбешен, и если бы не вмешательство Прасковьи Васильевны, всегда баловавшей младшего сына, Сергею дорого бы стоили его картежные похождения. Но он легко отделался, а в 1785 году предпочел выйти в отставку в чине секунд-майора. Отец наотрез отказался оплачивать долги сына, своего имени у него не было, — оставалось выгодно жениться. Несколько лет он гостил то у сестры Палицыной в селе Афанасьеве, то у родни во Владимире или в Москве, но никак не мог найти богатую невесту, достаточно непредусмотрительную, чтобы передать все состояние в руки закоренелого мота без гроша за душой.

Среди московской родни были и дальние его родственники, семья Федора Алексеевича, к дочерям которого Сергей присматривался с затаенным интересом, но при жизни их отца не смел и надеяться на счастье. Когда же тот умер, Сергей поспешил с утешением к его вдове. Останавливаясь в Хмелитах, где больше не было мужчин, он не мог, но как только Марья Ивановна переселилась в Москву, начал посещать ее дом. Желание Марьи Ивановны побыстрее отделаться от дочерей сыграло ему на руку, и в 1791 году он посватался за Настасью Федоровну и получил согласие, став обладателем заветных четырехсот душ. Брат Настасьи мог бы вмешаться, но жена его тогда жестоко страдала, за ее жизнь опасались, и ему было не до семейных проблем.

Со свадьбой спешили, опасаясь близкого траура по невестке, который мог помешать венчанию. Сговор был назначен через несколько дней после предложения, поэтому звали любого, кто не был бы обижен скоропалительным приглашением. В тот же вечер состоялся молебен и обмен образами. По тогдашним понятиям думали, что потребуется особое архиерейское разрешение на родственный брак, но когда разъяснилась степень родства, жениху объяснили, что препятствий к браку нет.

Сергею Ивановичу было в 1791 году тридцать лет, Настасье Федоровне двадцать. Венчались в церкви Николая Чудотворца на Песках, в приходе которой стоял дом Грибоедовых. Невеста была в белом глазетовом платье и в венке из красных розанов на пудренных волосах — так тогда было принято, белые венки из флердоранжа появились гораздо позднее.

На следующий день молодые ездили с визитами по полупустой Москве, а потом отправились во Владимир, в деревню родителей Сергея. Прасковья Васильевна приняла невестку очень хорошо, от нее она надеялась дожидаться наконец внуков. Но долго

Грибоедовы там не задержались, а вернулись осенью в Москву, где своего дома у них не было, и они снимали флигель у Ф. М. Вельяминова, там же, на Песках, неподалеку от дома Федора Алексеевича, теперь проданного Марьей Ивановной своей незамужней сестре Анне Аргамаковой, тетке сосланного в Сибирь Радищева. Сама Марья Ивановна, сбыв дочерей, поспешила выйти замуж за пожилого полковника из немцев, Богдана Карловича Розенберга, некогда храброго офицера, а потом — директора Московского и Петербургского ассигнационных банков. Новый брак не послужил ей к чести: вскоре овдовев, она все свое немалое состояние записала на имя мальчика Федора, якобы рожденного ею от второго мужа до свадьбы и узаконенного уже после его смерти. Многие усомнились в столь бурном романе (при том-то, что ей было пятьдесят, а ее жениху все семьдесят к моменту смерти Федора Алексеевича!) и полагали, что она усыновила неизвестного ребенка в пику родным. Те не остались в долгу. Алексей Федорович и его сестры, потеряв верных две тысячи душ, были весьма недовольны поступком матери. А в семье Аргамаковых, которым едва ли причиталось что-нибудь из ее наследства, почувствовали возмущение ее позорной выходкой и стали между собой и даже в официальных бумагах (!) именовать ее «Марьей Розенбергшей», без указания имени отца и девичьей фамилии, словно у безродной.

Некоторые даже полагали, что Марья Ивановна на старости тронулась умом. В 1798 году ее молодые родственники Александр Каховский и его брат по матери Алексей Ермолов составили в Смоленске заговор против императора, привлекли к нему друзей, собрали тайком порох и спрятали его в имении Розенбергши. Она отлично понимала, что в ее доме происходит что-то необычное, но не возражала, хотя была многим обязана Павлу I, позволившему ей узаконить ребенка. Заговор не удался, Каховский с Ермоловым попали в крепость, Марья Ивановна не пострадала. Однако с собственными детьми ее отношения разладились совершенно.

В конце июня 1792 года у молодых Грибоедовых родилась дочь Мария, крестными которой стали счастливая бабушка Прасковья Васильевна и дядя Николай Яковлевич Тиньков. Настасья Федоровна сама кормила дочь, как это стало модно под влиянием книг Руссо. Великий романист и философ очень хорошо рассуждал об обязанностях родителей, даром что своих детей отдавал воспитывать на отдаленную ферму. Но судьба его отпрысков никого не интересовала, зато романами зачитывались все.

Жизнь малышей, родившихся в 1790-е годы, была приятнее, чем у их дедов и отцов. Они рождались, не искореженные корсетами матерей. И самих их не приучали с младенчества к корсету, не обряжали с двух лет в кринолин или треуголки. Им позволяли развиваться естественно, по возможности — на лоне природы, вдали от нездоровых испарений города.

Имея маленькую дочь, Настасья Федоровна желала поселиться в деревне. Но в Хмелитах она не могла остановиться. Алексей Федорович к тому времени перебрался в Петербург, поручив дочь заботам Одоевских, а в имении затеял переделки в новом стиле. Жить там было пока невозможно. В 1794 году Грибоедова купила на свое имя за девять тысяч рублей у полковника Я. И. Трусова сельцо Тимирево во Владимирской губернии. В этом она видела единственную возможность сохранить остатки состояния. Ее четыреста душ стремительно таяли. Она не обладала склонностью к экономии, необходимой при ограниченных средствах; в делах совсем не разбиралась и даже не могла объяснить, куда утекло ее приданое. Помимо каждодневных неумеренных трат, муж расплатился ее деньгами с самыми неотложными долгами (по закону имущество супругов считалось отдельным, но на практике это никогда не соблюдалось, если они не разъезжались официально).

Сергей Иванович продолжал играть. Время тогда было не такое, чтобы пренебрегать картами. Играли все, размах был невероятный. Да и развлечений иных не стало. За границу не ездили, служить не хотели и очень многие стремились в отставку; даже войны никакой не шло. Только в Польше Суворов подавил восстание Костюшко и последнюю ее часть присоединил к России. Событие это все отметили как радостное, хотя гордиться было особенно нечем.

Лето 1794 года Грибоедовы провели в Тимиреве, благо дом и хозяйство там находились в отличном состоянии. К зиме возвратились в Москву, где сняли часть дома у П. И. Шушириной, в приходе церкви Успения на Остоженке. Здесь 4 января 1795 года у них родился сын Александр, восприемниками которого стали также бабушка и дядя Тиньков.

Много перьев было сломано, много чернил пролито в битвах по поводу даты рождения Александра Сергеевича Грибоедова. Известно, что, став взрослым, он повсюду указывал годом рождения 1790-й, бросая тем самым — но, верно, без злого умысла — тень на доброе имя матушки. Однако никаких оснований к тому у него не было. Настасья Федоровна всеми была уважаема, и ни малейших сомнений в законности происхождения ее сына ни у кого не возникало: а будь здесь что-нибудь не так — от Москвы бы это не укрылось. И кроме того, мужчина двадцати трех лет мог без труда выдать себя за двадцативосьмилетнего, тем более пребывая в наибольшем удалении от начальства — в Персии. Но совершенно невероятно, чтобы мальчика пятнадцати лет можно было выдать близко знающему его священнику за десятилетнего. А между тем в исповедных книгах церкви Девяти мучеников, в приходе которой много лет состояли Грибоедовы, из года в год совершенно одинаково указывался возраст Александра: десять лет в 1805 году, двенадцать в 1807-м и пр. И невероятно, чтобы наметанный глаз полковых командиров принял бы двадцатитрехлетнего юношу за восемнадцатилетнего. В этом возрасте каждый год меняет человека, и разница в зрелости весьма заметна. Остается удивляться, почему сторонники даты «1790» отвергают единодушные свидетельства исповедных книг и формулярных списков раннего периода жизни Грибоедова в пользу более поздних собственных его свидетельств — ведь сам человек никак не может знать, когда он родился: ему всегда без исключения об этом сообщают посторонние. Правда, есть версия, что в январе 1795 года у Грибоедовых родился сын Павел, сразу и умерший; тогда, может быть, Александр родился в 1794 году — это не имеет особенного значения, — но уж никак не раньше. А почему он впоследствии решил прибавлять себе годы, это особый разговор.

Весной 1795 года Грибоедовы вынужденно выехали из дома Шушириной, которая занялась перестройкой его деревянных корпусов. На лето они поселились в Тимиреве, да так и остались там до 1800 года. Детям деревенская жизнь была полезна, но Настасья Федоровна ею тяготилась. Однако делать было нечего, средства совсем не позволяли ей переехать в город. К 1798 году от ее приданого осталось едва шестьдесят душ. Этого могло хватить для простой жизни в провинции, но о Москве приходилось забыть. Сергей Иванович, растратив приданое жены, совсем перестал оказывать ей внимание, а только играл и пил. Грибоедова попробовала прибегнуть к помощи брата, желая найти мужу полезное занятие и тем удержать во Владимире. Ее супруг ни в чем не принимал участия, ни разу не был даже на дворянских выборах, всякий раз отсылая положенный послужной список и всякий раз отказываясь приехать в собрание под предлогом болезни. Так и в декабре 1799 года он сказался больным и не прибыл на очередные выборы, что не помешало ему в январе укатить в Москву, несмотря на тяжелую болезнь отца. Но в его отсутствие Алексей Федорович, по тайному сговору с давним своим приятелем и сослуживцем Павлом Степановичем Руничем, бывшим тогда владимирским губернатором, убедил губернское дворянство избрать зятя в депутатское собрание — причем от Вязниковской округи, где тот никогда не бывал и поместий не имел. После разгульного времяпрепровождения в Москве, где он дни и ночи играл в банк, Сергей Иванович вернулся во Владимир и был неприятно поражен тяжким состоянием отца и приказом губернатора немедленно явиться для исправления должности.

Но Грибоедов был, когда хотел, тверд. Тотчас он послал в собрание записку, настаивая на своей болезни и требуя врачебного освидетельствования. Присланного врача владимирской управы Невианда он убедил найти у него серьезное недомогание, и тот показал, что Грибоедов «по застарелой цинготной болезни не только оной, но и никакой другой должности исправлять не может». Лекарь едва ли сумел бы объяснить, как можно довести себя до цинги, тем более «застарелой», не на корабле в кругосветном плаваньи, не в голодном крае, а в сельской России, на простой и здоровой пище. Но опровергать его

диагноза не стали, съесть несколько лимонов Грибоедову не посоветовали, а просто махнули на него рукой, от должности отстранили, и впредь семья и друзья его жены о нем не думали и никогда не поминали.

Единственным утешением Настасье Федоровне было общение с сестрой Лачиновой, небогато жившей во Владимире и родившей в 1795 году дочь Варвару. Сестры не смогли даже побывать на свадьбе брата, после нескольких лет рассеянной жизни женившегося вновь — на соседке, Анастасии Семеновне Нарышкиной.

Женившись на Нарышкиной, Алексей Федорович попал в очень знатное семейство. Нарышкины были в родстве с царями, а отец Анастасии Семен Васильевич и ее дядя Алексей Васильевич пользовались расположением покойной императрицы. Оба были не только богаты и в высоких чинах, но превосходно образованы, писали стихи. Во время путешествия Екатерины по Волге, когда государыня со свитой взялась от скуки переводить роман Мармонтеля «Велисарий», Алексей Васильевич перевел две его главы. Позже он стал членом Императорской российской академии. У него детей не было, а дочери Семена Васильевича получили лучшее воспитание, говорили по-французски и итальянски, могли читать по-немецки и даже по-английски, пели и музицировали. Анастасия Семеновна внесла в московскую семью Грибоедовых петербургский великосветский тон, который немного задевал сестер Алексея Федоровича.

В первый год после свадьбы Алексей Федорович привез молодую жену в Хмелиты и остался там на зиму, поскольку своего дома в Москве теперь не имел, снимать не хотел, а купить или уехать на сезон в Петербург не мог — его начинали донимать кредиторы. Приходилось изворачиваться, перезакладывать деревни, выжимать деньги с оброчных крестьян. Наследство, доставшееся ему от отца, было значительно уменьшено выплатой приданого сестрам. Долги же, как и расходы, выросли. Но не только долги удерживали Алексея Федоровича в провинции. На престол в 1796 году взошел император Павел — и жизнь дворян перестала доставлять им удовольствие. Как ни печален был закат екатерининского царствования, но с восшествием Павла о его матери вспоминали со скорбью. Все вольности дворян новый монарх отменил. В Петербурге положительно невозможно стало находиться. Велено было, при встрече с каретой императора, выходить из экипажа, несмотря ни на какую грязь, и низко кланяться по этикету. Только дамам позволялось кланяться с подножки. Не то плохо, что грязно, но как-то унижительно это выходило. В Москве были другие печали: император приказал закрыть Английский клуб, словно рассадник якобинства, и карточная игра переместилась в частные дома и велась почти тайком. Даже в деревню проникало всевидящее царское око. Отныне на спектаклях домашних театров — даже благородных — обязательно требовалось присутствие полицейского пристава для наблюдения за благонадежностью. И скрыться было некуда: за границу выезжать запретили, даже книги запретили ввозить. И если случайно доходили до дам сведения о новых французских и английских модах, оставалось только расстраиваться: моды Павел тоже запретил под угрозой ссылки в Сибирь.

Алексей Федорович предпочел выйти в отставку, несмотря на незавидный чин коллежского советника, и отсидеться в деревне, надеясь на лучшие времена. Но его жена никак не хотела смириться с деревенским прозябанием. Зимние развлечения ее не забавляли, охотой она не интересовалась, а театр муж пока закрыл. В марте 1799 года Анастасия Семеновна родила первенца Семена, умершего во младенчестве, и поклялась, что ноги ее больше не будет в Хмелитах.

Летом Алексей Федорович получил известие о смерти своей тетки, сестры отца, А. А. Волынской. Она никогда не любила племянника и племянниц, хотя своих детей у нее не было, и в завещании совсем их обошла, отказав только «святые образа», а все свое имение и прекрасный дом в Москве завещала родне по мужу. Алексей Федорович очень оскорбился такой несправедливостью, для него неприятной, и начал с Волынскими тяжбу, приведшую к разделу: имение осталось все же таки за ними, но дом на Пресне передали Грибоедову.

В августе следующего года скончался Алексей Васильевич Нарышкин, и его большое

состояние, включавшее два дома в Москве, перешло к племянницам. Сестры любовно разделили наследство, и у Грибоедова внезапно оказалось два особняка в столице. В нарышкинском он поселился сам с семьей, а тетушкин дом передал по купчей сестре Настасье Федоровне, минуя ее мужа. Отныне вся многочисленная семья Грибоедовых могла проводить зимы в Москве в собственном жилье, а на лето уезжать в Хмелиты, куда, однако, Анастасия Семеновна, держа клятву, никогда не являлась, а проводила время у родных в деревне или в Петербурге.

Рубеж веков оказался богат смертями. Умер и Иван Никифорович Грибоедов. По разделу с матерью и братом Сергеем Ивановичу досталось семьдесят три души в сельце Федоркове и часть сельца Сущево, которую он по просьбе жены продал Наталье Федоровне Лачиновой. На вырученные деньги он выкупил часть Федоркова, которой владел майор Зверев, и получил всю деревню целиком. Теперь благополучие Грибоедовых несколько восстановилось. Помимо Федоркова и Тимирева, лично им принадлежавших, они приобрели на деньги Прасковьи Васильевны два десятка крепостных в разных деревнях, записав их на имя детей. Маленькому Александру бабка продала (дав денег на покупку) свое родовое сельцо Сушнево, доставшееся ей от отца, со всеми угодьями. Ребенок был так мал, что еще не мог даже расписаться на купчей «за неумением грамоте», и за него расписался дядя по отцу — Е. И. Палицын.

Жизнь семьи устроилась. Устроилась и жизнь России. В марте 1801 года объявлено было потрясающее известие о внезапной кончине императора. Подробности происшедшего передавались по-всякому и негромко, но ими не так уж интересовались. Радости не было предела. Уже после, многие годы спустя, о Павле I начали судить взвешеннее, понимая, что не все было дурно в его кратком и несчастливом правлении. Но в те мартовские дни никто не сожалел о его судьбе, даже придворные, даже семейство публично выражали чувство избавления от страха и счастья от возврата к екатерининским порядкам.

Император Александр сразу же восстановил вольности дворян, открыл границы, вернул несправедливо сосланных. Дамы с радостью скинули необъятные кринолины, мужчины сняли опостылевшие треуголки. Новая мода, утвердившаяся в Европе за годы революции, ворвалась в Россию. Вместо тяжелых платьев с огромными фижмами и талией в рюмочку дамы облачились в белые муслиновые туники, совершенно обволакивающие фигуру, лишенные рукавов и с большим декольте. Корсет отправили в сундук. Туалеты на античный лад очень шли стройным особам, но пожилые матроны были ими удручены и старательно кутались в широкие кашемировые шали.

Парики тоже сняли. Волосы под ними раньше приходилось коротко остригать, и потому в молодом поколении, даже среди девиц, первое время восторжествовали короткие стрижки; la Titus, как у бюстов римских императоров. По мере того как волосы отрастали, менялись и прически, становясь более женственными.

Хорошо молодым, чьи локоны не поредели от многолетнего ношения париков и имели природный цвет. Но старые девы скорбели — то пудра, а теперь изволь заботиться о краске, дабы скрыть седину. Замужним волноваться было нечего: их волосы всегда прикрывали чепцы или шляпки. Но хуже всего пришлось пожилым мужам. Казалось совершенно неприличным, чтобы важный барин, сенатор или генерал, вдруг предстал бы перед знакомыми или показался на улице не в величественном парике, а со смешной лысиной. Многие решительно отказывались расставаться с косичкой и буклями. Над ними уже посмеивались, но они предпочитали слыть старомодными, чем превратиться в седых старичков. Только через несколько лет, под натиском моды, они сдались, тем более что к лысынам в обществе притерпелись и перестали особенно замечать.

Но не все согласились подчиняться новым веяниям. Давно уже перестал употреблять пудру и остригся император, но старые вельможи Москвы оставались верны пудре и кафтанам. Некоторые до самой смерти, до тридцатых и даже сороковых годов нового века продолжали являться на балы и ко двору, одетые по моде екатерининских времен: в пудре, в кафтанах и фижмах и непременно на красных каблуках.

Молодое поколение не понимало значения красных каблуков: что тут особенного, не все ли равно, какой цвет? Но для князя Н. Б. Юсупова, для князя А. Б. Куракина, для старика А. М. Лунина, для княгини П. М. Долгоруковой их смысл оставался ясен и в 1830-м, и в 1844 годах. До революции красные каблуки означали знатное происхождение; при версальском дворе носить их смело только высшее дворянство. В России этот забавный обычай тоже укоренился, хотя сперва его не принимали и критиковали. Но после революции отказ от красных каблуков стал восприниматься как уступка черни, и вот почему знатные старики вопреки всему держались прежней моды.

Новая мода с первого взгляда казалась уродливой. Узенькие платья, пояс под мышками, нога спереди видна по щиколотку, а сзади волочится хвост, подметая пол и дорожки в парке. Такая одежда нравилась одним юнцам — дамы вдруг предстали перед ними чуть ли не, с позволения сказать, просто в рубашках. В Петербурге модницы ввели парижский «нагой» стиль (*la sauvage*) и начали носить такие наряды, какие десять лет назад не позволили бы себе и дамы полусвета. «Нагая» мода была весьма вредна, и Монмартрское кладбище в Париже быстро заселилось ее жертвами, умиравшими от простуды. Но в России она не принесла больших бед: здесь хоть и холодно, зато и бороться с холодом умеют. На улице от мороза защищались шубами и медвежьими полостями в каретах, а комнаты хорошо отапливали и сквозняков не допускали. Вся новомодная прелесть покупалась теперь в Москве на Кузнецком мосту, и из первых лавок здесь был магазин мадам Обершальме, которую переименовали в Обер-Шельму за немислимые цены. Мода, хотя экономила на тканях, разоряла на драгоценностях. Чем проще было платье, тем дороже браслеты, камеи и булавки, украшавшие прически, где им, казалось, и зацепиться было не за что. В мужской одежде восторжествовал не французский, а английский стиль. И поскольку в Англии вышли из употребления дуэли, а в городе Бате запрещалось даже военным ходить при шпаге, к новому костюму из фрака и панталон шпага не полагалась. Только военные носили длинные волочащиеся сабли.

Московским главнокомандующим был тогда достойный и благородный Петр Дмитриевич Еропкин, прославившийся в Чумной бунт. Императрица за заслуги прислала ему Андреевскую ленту и пожаловала четыре тысячи душ, но он ленте обрадовался, а вотчин не принял: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем; к чему нам еще набирать себе лишнее». Он имел свой особняк на Остоженке (от которого сейчас осталось воспоминание в названии Еропкинского переулочка, проходившего тогда сбоку от дома) и, став главнокомандующим, не пожелал переезжать и даже не взял казенных денег на угощение, а принимал всех — и саму императрицу — на свои средства. Стол он держал открытый, кто угодно мог прийти к нему обедать, лишь бы был опрятно одет и вел себя за столом прилично. И сколько бы народу ни село за стол, на всех достанет кушанья. Так жил не один Еропкин, а большинство знатных господ. Знающие люди могли у себя никогда не готовить, а круглый год обедать по знакомым и незнакомым.

Всей Москве была известна чудачка Мария Семеновна Римская-Корсакова, урожденная Волконская, женщина богатая и сама по себе, и по мужу. Она каждый день, кроме субботы, кушала со всей семьей в гостях. Тогда все блюда расставлялись на стол одновременно, перемен не делали. Корсакова, усаживаясь, все рассматривала, и когда что нравилось, говорила хозяйке: «Как это блюдо, должно быть, вкусно, позвольте мне его взять». И ее лакей уносил блюдо в карету. Все посмеивались, однако не препятствовали, поскольку она была старушка знатная и влиятельная. Так она собирала всю неделю, а в субботу звала обедать к себе и потчевала гостей их же собственными блюдами.

Чудаков в Москве было много. Здесь селилось богатое неслужащее барство, вельможи, оставившие двор, все люди независимые и гордые. Они жили по-своему, забавлялись чем хотели и мало заботились о мнении ближних, хотя сами любили позлословить. Чудачества москвичей были невинной формой оппозиции двору и всему чинному Петербургу. Невинной, но разорительной. Кто заказывал себе карету из литого серебра, кто выстраивал

китайский дом из одного желания удивить, кто задавал неслыханно роскошные празднества с фонтанами шампанского. Но по таким проявлениям глупого чванства всякий тотчас узнавал полувельможу, опасующегося уронить свое достоинство и потому, вдобавок ко всему, грубого и напыщенного.

Истинный вельможа был не таков. Дурачась, он мог вдруг снарядить сани с егерями и арапами и потащиться по летней мостовой, словно на охоту. Прохожие посмеются немыслимому кортежу, старик и счастлив на свой лад. Просто и весело. Потомки старинных родов не позволяли себе безвкусных и надменных выходов, были равно приветливы со всеми, изысканно вежливы с дамами, отличались европейской образованностью и русским хлебосольством, разбирались в изысканной гастрономии, но ценили и простой деревенский стол. С тем вместе бывали великими женолюбями, окружали себя роскошью и сонмом челяди, проигрывали не моргнув глазом сотни тысяч. Но разоряли их не карты и женщины, не стол и дворцы.

У каждого вельможи была своя страсть. Князь Николай Борисович Юсупов собирал у себя в Архангельском картины и античные статуи. Граф Николай Петрович Шереметев выстроил свое чудесное Останкино исключительно ради театральных затей, хотя уже владел великолепным имением в Кускове, которое его отец прославил на всю Россию оранжереей, фруктовые отводки которой способствовали повсюду развитию садоводства. Николай Алексеевич Дурасов всю жизнь доводил до совершенства русскую кухню и выращивал чудовищных свиней размером с небольшую корову, гигантских стерлядей и овощи. Его стерляжья уха и кулебяки решительно боролись в Москве с засильем французского поварского искусства. Наконец, Алексей Григорьевич Орлов, Чесменский герой, все силы вложил в выведение рысистой породы лошадей и добился в том непревзойденного совершенства. Такими трудами вельможи возвращали России богатства, награбленные ими самими или их предками, и детям их доставалось немного, а уж внукам — и вовсе ничего, кроме долгов и славного имени.

Москва к началу девятнадцатого века отстроилась и преобразилась, став полностью «казаковской». В центре столицы он возвел здание Благородного собрания и обширный комплекс Университета, в Кремле — Сенат, а по всему городу настроил церквей и частных домов, из которых лучшим считался дворец князя Долгорукова на Пречистенке. Казаков строил и для купцов, принаравливаясь к их вкусам. Для промышленника Демидова он создал внешне простой дом, все силы вложив в оформление спальни и гостиной хозяина, целиком отделанных золотой резьбой, — тогда это сочли претенциозным.

Казакову вторили все архитекторы, в том числе иностранные — Д. Жилярди и Д. Кваренги. Их совместными усилиями в Москве воздвиглись дворцы графа А. Безбородко на Яузе, усадьба графа А. Разумовского, гигантский Екатерининский дворец, а из публичных зданий — Гостиный двор, Шереметевский странноприимный дом (памятник любви графа Николая Петровича к жене Прасковье Жемчуговой), и Екатерининский институт благородных девиц, и Мариинская больница, и Голицынская больница, и многое другое. Каждое здание было окружено парком за оградой, а усадьба Разумовского казалась настоящим оазисом сельской природы в городе, потому что ее владелец желал жить в гордом уединении, словно и не в Москве. Дома тогда обыкновенно строили «покоем», то есть флигели выдвигали вперед, образуя пространство парадного двора за въездными воротами с непременными львами на столбах. Подъезд оформляли в виде античного портика с колоннами и треугольным фронтоном. Иногда дома оживляли полукруглой ротондой или бельведером наверху, но, в общем, все они были похожи.

Москву по привычке любили именовать большой деревней. На самом деле, в начале девятнадцатого века она уже была огромным городом и еле вмещалась в пределы прежнего Земляного города, превращенного в кольцо садов. Большая ее часть была каменной застройки — подсчитали, что каменных домов было две с половиной тысячи, а деревянных шесть с половиной. Какая же это деревня? Как будто в Петербурге деревянных зданий было меньше! А по числу жителей Москва превосходила все русские города. Особенно в

павловское время, когда из Северной столицы выезжали дворяне, в ней и двухсот тысяч не осталось, а в Москве население увеличилось почти до двухсот пятидесяти тысяч. Больше были только Лондон и Париж — миллион жителей в каждом, тут уж нечего сказать! Но все прочие европейские столицы уступали Москве, и разве что в Китае нашлись бы города покрупнее; но кто ж интересовался Китаем?

Конечно, вокруг всех домов Москвы настраивались сараи, амбары, бани, погреба и конюшни — но как без этого обойтись? В лавках тогда покупали только колониальные товары (чай, кофе, сахар, восточные лакомства), а прочее было свое или особо заказывалось (как вина) и хранилось поблизости, в надворных постройках. Оттого город казался деревяннее, чем был на самом деле. А посмотреть, так в Москве даже фонарей было больше, чем в Петербурге: почти семь тысяч против пяти. Света они, может быть, давали маловато, но дело же не в свете, а в заботе городских властей. И ни Парижу, ни Лондону, ни Петербургу не сравниться было с Москвой по обилию зелени и цветов: там порой в целых кварталах и даже частях не увидишь ни травинки, а в Москве каждый двор чем-нибудь да зарос, а позади домов оставляли непременно пустырь, где паслись коровы, — иначе дети оставались бы без молока. Словом, москвичи гордились своим городом. Часто бывало, что семьи из Петербурга переезжали сюда, но чтобы московская семья уехала навсегда в столицу — такого и не упомнишь.

Дом Настасьи Федоровны Грибоедовой, где прежде жила ее тетушка Волынская, располагался замечательно хорошо. Он стоял под Новинским, в приходе Девяти мучеников. Позади дома виднелись сады, а за ними Пресненские пруды, около которых в большом парке ветшал старый деревянный дворец грузинских царевичей. В хорошую погоду дети непременно ходили сюда гулять под присмотром гувернера и гувернантки, бегали и играли со сверстниками, также пришедшими с каким-нибудь французом или немецкой бонной. Развалины Грузинского дворца, куда им запрещали подходить, неудержимо притягивали воображение мальчиков, они населяли его привидениями и разбойниками из сказок и немецких баллад, а порой думали, что непонятные «грузины» и были этими разбойниками.

Перед домом была длинная и широкая площадь, где на Святой неделе устанавливались балаганы, гулял народ, а дворянство бесконечной лентой катило в экипажах или кавалькадами. Тогда очень любили каретные гулянья. Нить карет в два ряда начиналась от Новинского, шла по Поварской, Арбатом, по Пречистенке, и Зубовским и Смоленским бульварами опять выходила к Новинскому. Дети Настасьи Федоровны, хотя родились в Москве, вернулись сюда вновь уже почти большими. В первый год зрелище катания их ослепило. До тех пор они жили в деревне и не видели ничего дальше Владимира. Этот древний город, прежняя великокняжеская столица, хотя и славен замечательными церквями, и местоположения отличного, все же не сравнится с Москвой.

Во время гулянья дети прикидывались к окнам и смотрели на катающихся. Из дома Грибоедовых все было видно особенно хорошо, потому что он выходил к площади большой открытой галереей. Здесь во время катаний толпой собирались дети и смотрели, что происходило вокруг. А там все светилось довольством, махало руками, улыбалось, кланялось, ржало — и каждый миг зрелище менялось. Экипажи все были раззолочены, даже колеса, но щеголяли не столько ими, сколько лошадьми. Всякий желал блеснуть и возбудить зависть своим достатком или вкусом. Из года в год повторялся звонкий и шумный круговорот. Кареты, кони, люди, даже лакеи на запятках становились известны, и тем придирчивее дети смотрели, не нарушен ли привычный ход процессии, не появилось ли что-нибудь прежде невиданное.

* * *

Знание правил танца не принесет пользы человеку, никогда не танцевавшему; то же самое можно сказать и о любом умственном занятии.
Вовенарг.

В ту пору детей начинали учить грамоте очень рано, лет с четырех-пяти. Нередко предпочитали сразу обучать французской грамматике, и после так и не переходили к русской. Сколько было детей, которые прекрасно говорили по-русски и охотно слушали чтение, но азбуку разбирали с трудом или вовсе не имели к ней привычки! Но у Настасьи Федоровны в деревне совсем не было французских книг, подходящих для детского чтения. Давать же им в руки взрослые романы или пьесы она, естественно, не желала. Зато в 1799 году во Владимире Н. И. Новиков принялся за издание новой серии своего «Детского чтения для сердца и разума». Заботливая Прасковья Васильевна подписалась на все издание и в каждый свой приезд в Тимирево привозила внукам по новой книжечке. Из них дети узнавали, что такое молния, воздух, облака; откуда берутся дождь, снег и бабочки; как ловят обезьян в далекой Африке. Эти полезные сведения перемежались нравоучительными историями и забавными картинками. Маша читала вслух, а брат ее сидел рядом и только заглядывал в книжку, но слушал прилежно. Сам он не желал учиться азбуке: названия букв его удивляли, и зачем вообще разбирать их, когда сестра читает ему так хорошо? Но поневоле, пока он листал страницы, буквы постепенно сами собой собирались в знакомые слова, и так незаметно Саша овладел родным языком. В Тимиреве учителей не было: нанимать их в провинции Настасья Федоровна не хотела, а выписывать из Москвы было дорого.

Настоящее учение для Марии и Александра началось по приезде в столицу, где вместе с ними стала воспитываться дочь Лачиновой Варинька, тремя годами моложе Маши. В дом приняли молодого немца, Иоганна-Бернарда Петрозилиуса. Гувернер начал обучать воспитанника немецкому и латыни, а также начаткам прочих знаний. Французскую словесность дети учили с Машиной гувернанткой мадемуазель Гёз (Göze), а язык и учить было не нужно — в доме принято было говорить по-французски, Настасья Федоровна к детям иначе не обращалась. Прочие уроки давали приходящие учителя. Особенно полюбились Маше музыка. Еще в деревне она могла часами брэнчать на фортепьяно, к удовольствию своему и брата. Если Маша выходила из-за инструмента, на табуретку немедленно забирался брат и старательно подражал сестре. Когда же она возвращалась, он становился рядом и следил, как мелькают ее пальчики. В таких занятиях проходили дождливая осень, зимние вечера, грязная пора весны. И так несколько лет подряд.

В Москве учителя сразу заметили необыкновенную музыкальную одаренность детей Грибоедовых, какую-то одержимость музыкой. Если Вариньку приходилось настойчиво звать на уроки, а без присмотра гувернантки она бы немедленно убежала, то Маше и ее брату не нужно было втолковывать, что без повседневных упражнений им не добиться успехов в игре. В том, что касалось музыки, они отличались замечательным прилежанием. Кроме фортепьяно, Машу начали учить арфе, для чего приглашали арфиста, англичанина Адамса, преподававшего одновременно ее кузине Елизавете, дочери Алексея Федоровича.

Еще лучше обстояло дело с танцами. Дом Настасьи Федоровны был великоват для ее маленького семейства, и часть помещения она сдала главному столичному танцмейстеру П. Е. Иогелю. Он тогда уже был стариком, переучившим несколько поколений москвичей. Кроме Иогеля, был еще танцмейстер Фланге, но он не имел большой практики. Учиться не у Иогеля казалось немислимым. В разные дни недели Иогеля приглашали во многие семьи, где были дети — и к Пушкиным, и к Трубецким, и к Шаховским, Бутурлиным, Муравьевым, словом — всюду. А по четвергам был большой танцкласс в доме Грибоедовой. Сюда съезжались дети со всей Москвы, и получался настоящий детский бал: не то, что потом стали называть этим словом, когда под предлогом детей на балы являлись настоящие кавалеры и отгесняли мальчиков, а подлинный детский утреник. Иогель тут не только распоряжался, но выправлял фигуры, делал подсказки, составлял пары. Благодаря танцклассу дом Настасьи Федоровны был известен всей Москве, и ее детям всегда было с кем поиграть и побегать по галерее.

Проходила зима. Наступал май, и население Москвы, прежде столь многочисленное,

заметно уменьшалось. На улицах ежеминутно встречались длинные цепи дорожных экипажей и обозов: одни вывозили своих владельцев, другие приезжали за ними. Скоро в Москве оставались только коренные жители: лица, обязанные службой, купчихи, священники и монахи, иностранцы в Немецкой слободе, да еще пожарные команды и сторожа при барских особняках. Дворяне разъезжались по имениям; крепостные-отходники, отпущенные на зиму на оброк, возвращались в деревни на работы; купцы отправлялись по ярмаркам. Дети и собаки возились в пыли, не тревожимые окриками с экипажей.

Грибоедовы переезжали в Хмелиты после весенней распутицы, по просухе. Выезд семейства с детьми был не прост. Одиноким путешественник мог брать подорожную, ехать день и ночь на почтовых лошадях и питаться всухомятку по трактирам. Иное дело семейная поездка. Ехать ночами было невозможно — дети уставали, надо было останавливаться поесть и спокойно поспать. При множестве экипажей требовалось и много лошадей, а на станциях иной раз даже тройки не дождешься. Получалось, что дешевле и даже быстрее было ехать на своих. Сборы начинались за неделю. Вперед отправляли обоз: фуры с мебелью и частью сундуков, кибитки на волах парами и телеги в одну лошадь с городскими припасами, при них обозных людей и поваров. Потом выезжало семейство. Для удобства и большей приятности Алексей Федорович с сестрами сговаривались отправляться всегда вместе, и процессия экипажей получалась воистину впечатляющей. Впереди восьмиместная карета Алексея Федоровича в шесть лошадей (в дальнюю дорогу их запрягали не цугом, а четыре в ряд и две впереди), где, кроме него, сидела его дочь с мадам, аббат Боде, ее учитель и собеседник отца, арфист Адамс и рисовальный учитель, немец Майер. Позже в карету стали брать и младшую дочь, Софью, родившуюся в 1805 году. Затем шла шестиместная линейка, тоже в шесть лошадей, Настасья Федоровна с тремя детьми, гувернером и гувернанткой. Затем кареты ее сестер Тиньковой и Акинфиевой, тоже с детьми и воспитателями. Потом коляски в четыре лошади и кибитки в три лошади с горничными, лакеями, поварами и походной мебелью, поварней, буфетом с провизией и посудой и, наконец, телега с сеном для полусотни лошадей. Конечно, в пути все перемешивались, перебегали из кареты в карету, благо езда была небыстрой, а на взгорках дети могли убежать далеко вперед и после весело дожидаться приближения экипажей. Жена Алексея Федоровича и мужья его сестер никогда не ездили в Хмелиты, поэтому обстановка была самой непринужденной и родственной.

Выезжали поутру, но редко удавалось собраться к заставе раньше полудня. До Хмелит было полных три дня пути. Обедать предпочитали останавливаться в поле или на лесной опушке, но неподалеку от деревень, где покупали молоко, яйца и наполняли водой медные чайники. Все прочее везли с собой: чай, жареных кур и уток, пироги, лепешки и всякую сдобу, даже дрова для костра (Смоленская дорога весной была запружена, сотни семейств ехали в свои западные имения, поэтому дрова и сено в окрестных деревнях продавались проезжающим втридорога и быстро заканчивались. Опытные люди брали все с собой или высылали подставы из поместий). Обед под открытым небом, хотя за настоящим столом со скатертью и приборами, вносил разнообразие в привычный уклад вещей.

Всего интереснее были остановки на ночлег. В избах старались не ночевать из-за духоты и грязи, разве что погода становилась слишком сырой. Местом остановки выбирали обыкновенно берег маленькой речки, где можно было черпать воду для лошадей. Лошадей отпрягали и, спутав, пускали пастись в поле. Разводили огонь, и иногда детям позволяли разложить свой небольшой костер, что доставляло им несказанное удовольствие. После чая с пирогами или супа все укладывались в каретах и кибитках. Их сиденья раскладывали, покрывали подушками, и можно было спать, как в постели. Почему-то тогда не принято было ночевать в палатках, если кто не желал останавливаться на постоялом дворе или в избе. А ведь палатки были хорошо известны. Так, Евграф Васильевич Татищев, сын историка, иначе не путешествовал: вез с собой палатки для себя и для людей, приказывал их разбить в приглянувшемся месте, застелить коврами и сидел себе там, жуировал, там и спал. Казалось бы, так удобнее, но вот не привилось, палатки Татищева считали только чудачеством.

Утром ночное устройство собиралось, и экипажи продолжали путь. В открытые окна карет заглядывало солнце, и ветер, когда не мешала пыль из-под копыт, приносил от окрестных имений и деревень нежное благоухание яблонь и мычание стад. Чудесная пора раннего лета живила после долгой городской зимы, свежая зелень манила побегать по придорожной травке, но ни лето, ни дорожная тряска, ни новые впечатления не доставляли детям перерывов в учении. Каникулы были правом студентов, судейских и чиновников присутственных мест. Дети ни дома, ни в пансионах о вакациях не слышали. Да и как могло прекратиться обучение? Учитель-немец говорил с ними по-немецки, француз — по-французски. Хорошо еще, если англичанин достаточно знал французский и не учил их английскому! И повсюду вокруг слышалась русская речь. Три-четыре языка звучали одновременно, перемешивались в голове, и очень трудно было не запутаться и научиться говорить каждый раз только на одном из них. Не всем это удавалось в полной мере, но кто овладевал к десяти-двенадцати годам тремя совсем разными языками, тот становился воистину изошренным лингвистом и уже без особого труда мог выучить латынь, итальянский и что угодно еще.

В ту пору к образованию подходили иначе, чем теперь. Детям не вкладывали в голову начала разных наук, не ведая, какие из них впоследствии пригодятся, а на какие только понапрасну потратится время. Будущее дворянских девочек и мальчиков было так ясно и определено, что им прививали не знания, а навыки, необходимые в жизни. Французский язык был языком света и дипломатии и изучался всеми без исключения по всей Европе. Немецкий был языком войны и философии, поэтому мальчикам, готовящимся к военной службе, его преподавали обязательно, а девочкам — очень редко. Зато их учили итальянскому — языку музыки, редко известному мужчинам. По-английски разговаривать тогда было совсем не с кем, разве только с англичанами, но ради этого не стоило мучиться над непохожим произношением совершенно одинаковых в написании английских и французских слов. Англичан и англичанок охотно нанимали учителями и гувернантками, потому что они были сдержанны и требовательны, но английскому они своих воспитанников не обучали, иногда только чтению прекрасной английской литературы. (Оттого русские, попадавшие в Англию, чувствовали себя глухонемыми: всё могли прочесть и написать, но на слух не понимали ни звука и были никому не понятны.) Латинский язык оставался языком высшей науки, и его изучали те мальчики, которых готовили к поступлению в университет: но, конечно, не ради ученой карьеры — смешная мысль, достойная простолюдинов! — а ради более успешного продвижения в гражданской службе, на что давала право защита диссертации.

Из прочих навыков, необходимых для жизни, важным почиталось умение писать красиво и по возможности грамотно (это не касалось, впрочем, представителей высшего общества, чье положение в свете не поколебали бы неграмотность и каракули); умение танцевать и кланяться, непринужденно двигаться и всегда знать, куда девать руки и ноги, не думая о них ни мгновения. Барышень учили музыке и пению, ибо таланты привлекали взоры, а при удаче — и поклонников. Необученная музыке и танцам особа вынуждена была бы сидеть у стенки в залах и в девках всю жизнь.

Научные знания, как считалось, нужны были только в науке, и потому им не уделяли внимания, ограничиваясь сообщением мальчикам некоторых представлений о математике и физике, а девочкам — только начал арифметики ради хозяйственных и карточных расчетов, и всех вместе довольно основательно знакомили с античной и священной историей, астрономией и даже порой философией. Вот только родную историю ни в одной стране не изучали и знали разве что по слухам, от дедов и прадедов дошедшим через нянюшек.

Воспитание заканчивалось к пятнадцати годам, но умственное развитие продолжалось. Важнейшее требование к образованному человеку было обладать «развитым обширным чтением умом». Учителя прививали навыки чтения — неторопливого, вдумчивого, даже если книга не нравится. Роман ли, ученый трактат, философское рассуждение или журнальная

критика — все должно было прочитываться равно внимательно, не ради одного удовольствия, но для расширения кругозора. Прочитанное учили запоминать — не столько содержание, сколько умные мысли и красивые выражения, которыми можно было при случае щегольнуть в разговоре. О прочитанном учили высказывать свое суждение, именно не письменно, по школьным канонам, а устно, развивая память и способность ясно и правильно говорить. Если мнения учеников расходились, возникала полемика, приучавшая к спорам о серьезных материях и нередко прививавшая остроумие. Такая система не рождала ненависти и отвращения к прочитанному и была высоким достижением русской воспитательной школы, созданной, правда, в основном иностранцами, но с учетом требований страны (точно так, как русская архитектура восемнадцатого — начала девятнадцатого века создавалась иностранцами и все равно оказалась непохожа ни на одну другую — размах не тот). В Англии того времени, например, детей заставляли зазубривать тексты, а к чему это приводило, прекрасно показал Байрон, под словами которого могут подписаться и многие нынешние ученики:

...Я ненавидел этот школьный ад,
Где мы латынь зубрили слово в слово,
И то, что слушал столько лет назад,
Я не хочу теперь услышать снова,
Чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово
Вколачивалось в память. С той поры
Я, правда, понял важность просвещения,
Я стал ценить познания дары,
Но, вспоминая школьные мученья,
Я не могу внимать без отвращения
Иным стихам. Когда бы педагог
Позволил мне читать без принужденья,
Как знать, — я сам бы полюбить их мог,
Но от зубрежки мне постыл их важный слог¹.

Счастье Байрона, что в его время в английских школах не изучали родную литературу, иначе, возможно, проникшись к ней ненавистью, великий поэт не написал бы ни строчки! В России, напротив, старались привить любовь к книге. А тот, кто обучен не поверхностному к ней вниманию, сможет продолжить занятия, уже выйдя из-под опеки учителей, и самостоятельно приобрести сведения, понадобившиеся ему во взрослой жизни.

Подобное воспитание вполне достигало поставленной цели: из классных комнат выходили люди, пригодные для самой различной деятельности. Из одного выпуска закрытого учебного заведения, где дети с первых дней воспитывались и учились сообща, могли выйти поэт и музыкант, моряк и военный, дипломат и журналист. Учителя развивали ум детей, не забывая им головы знаниями, поэтому они легко впитывали те сведения, которые получали уже в годы службы. И поэтому так легко меняли род деятельности: поэт мог стать ученым, военный — философом, драматург — дипломатом. Притом талант их равно проявлялся в столь несхожих сферах.

Словом, тогда были убеждены, что начитанный человек — это и есть человек образованный. Детей заставляли много читать (а некоторых и заставлять было не нужно: имея ключи от библиотеки родителей, они охотно прочитывали взрослые романы и даже философские сочинения — и не всегда во вред себе). Читать приходилось и летним днем в дорожной карете, и зимними вечерами при свечах. Зрение от этого быстро портилось, но носить очки в отрочестве не полагалось — считалось неприличным, чтобы дети смотрели на

¹ Байрон Дж. Паломничество Чайльд Гарольда. IV. 75–76. Пер. В. Левика.

старших сквозь увеличительное стекло! Для молодого человека первые очки были таким же признаком взросления, как для девушки первая длинная юбка. В самом начале девятнадцатого века юные щеголи, желая показать свою независимость от родительской власти, непременно надевали очки, но над ними подтрунивали. Карамзин придумал провести по Тверскому бульвару лошадь в огромных очках и с надписью: «А только трех лет». Впрочем, хоть и смешна близорукость не по возрасту, а была она не выдумана — редкие юноши и девушки тех лет имели острое зрение, притом девушки не могли носить очки, чтобы не уронить себя, и только замужние светские дамы или старухи пользовались лорнетом.

После двухдневного пути по Смоленскому тракту караван экипажей Грибоедовых въезжал в Вязьму — древний запустевший город с остатками могучих крепостных стен и чудесной церковью семнадцатого века, снизу доверху покрытой мелкими кокошниками. Из Вязьмы их путь шел направо, к северу, и через тридцать верст вдали, над болотистой равниной, покрытой деревнями и редкими рощами, показывался невысокий холм хмелитского парка. Проселочная дорога шла между прудами, взбиралась на взгорок — и вот, наконец, дети с облегчением выскакивали из карет перед порталом барского дома. Алексей Федорович основательно изменил его наружный вид. Барочную отделку стен стесали, сделав их по казаковскому вкусу совершенно гладкими; со стороны, противоположной овальной лестнице, поставили портик из четырех колонн, а наверху соорудили круглый бельведер со шпилем. Парк же остался прежним и стал еще прекраснее благодаря разросшимся деревьям и кустам сирени. От лестницы длинная аллея стриженных карликовых лип вела к большому пруду, левее которого, через протоку с мостиком, был другой пруд с небольшим островком у дальнего берега, где выстроили «Храм любви» — круглую ротонду-беседку, очень приятную для глаз, но редко посещаемую: местность, увы, славилась комарами.

Лето в Хмелитах проходило весело. Алексей Федорович, пока дочери были маленькими, не давал балов и праздников в саду, но развлечений хватало и детям, и взрослым. Ближайшими соседями оставались Лыкошины в Никольском — семейство Ивана Богдановича и Миропьи Ивановны со множеством детей. В ту пору дом в Никольском перестраивался, и семья вынужденно обитала в старом флигеле и амбарах, где было, конечно, неудобно. Поэтому каждый день после обеда молодежь Лыкошиных с матерью или в сопровождении гувернера и какого-нибудь студента из немцев, взятого на все вакационное время с условием говорить на своем родном языке, приходила в Хмелиты, а по воскресеньям проводила там целый день. Миропья Ивановна, рожденная Лесли, отличалась ровным характером, умом и редким образованием: кроме французского, она знала немецкий и даже итальянский языки и много читала. Старшая ее дочь Мария была ровесницей Елизаветы и Марии Грибоедовых, сыновья Владимир и Александр подходили по возрасту Александру Грибоедову, а младшие девочки Анастасия и Елизавета стали потом подружками Софьи Грибоедовой. Если же прибавить Варю Лачинову, детей Тиньковых и Акинфиевых, компания оказывалась большой, веселой и резвой, любившей выдумки и шутки над живущими в доме иностранными учителями, которых набирали множество. Тут заводилой, с общего согласия, выступал Саша Грибоедов, придумывавший бесчисленные розыгрыши, по-детски невинные и жестокие.

Неподалеку в Липицах жили Хомяковы, семья картежника и мота Степана Александровича, владевшего богатейшей библиотекой и дружившего с Алексеем Федоровичем. У Хомякова было двое сыновей — Федор и Алексей, но они были намного моложе хмелитских и Никольских мальчиков и в их играх не участвовали. Через Хомякова старшее поколение Грибоедовых познакомилось со знаменитым вельможей Никитой Петровичем Паниным, одним из организаторов убийства Павла I, в конце 1801 года сосланным в свое Дугино, рядом с Липицами и проводившим зимы в медвежьей и волчьей охоте (но даже в разбросанных по имению охотничьих домиках он непременно держал бильярд и библиотеку), а остальное время — в заботах о дугинском парке, насаженном в

очень унылой местности из всех пород деревьев, способных расти в северном климате. У Панина было несколько детей, но те жили почти всегда с матерью в Москве, а если и приезжали в Дудино, то Александр Панин был немного старше хмелитской компании, а Виктор — немного младше, и мальчики не дружили. Зато по соседству в Жукове жила небогатая семья Дмитрия Андреевича Якушкина, бывшего по жене в родстве с Лыкошиными. С его сыном Иваном, родившимся в 1793 году, мальчики охотно играли.

Кроме обычных детских забав, купаний и беготни, в Хмелитах были возможны и более духовные развлечения. Случались интересные происшествия. Так, Петрозилиус начал ухаживать за той из сестер Гёз, что служила у Грибоедовых (другая была гувернанткой у Лыкошиных), и вскоре женился на ней.

С гувернером у Саши сложились особые отношения. По долгу службы тот являлся утром и вечером перед своим питомцем в ночном туалете — халате и колпаке. Этого никогда не позволяли себе другие взрослые мужчины, которые встречались с детьми только внизу, в гостиной и столовой, всегда достойно одетые. Оттого в глазах мальчика смешной ночной колпак становился такой же неотъемлемой принадлежностью воспитателя, как грифельная доска и указка. Но с другой стороны, Петрозилиус был учен и благороден. Он писал стихи и знакомил воспитанника с великими немецкими поэтами эпохи «Бури и натиска» — с Гёте, Шиллером, Гейне, Бюргером. Их поэзия была тогда почти неизвестна в России и совершенно отличалась от привычной французской классики. Она была необычна по форме, сказочно страшна, полна воскресших мертвецов, привидений и разбойников — и тем сильнее будила детское воображение. Саша не уважал, но любил своего педагога, подчас восхищался им и искренне радовался его свадьбе, тем более что благодаря ей хоть на несколько счастливых дней был избавлен от занятий.

А в 1806 году умер старый священник Казанской церкви в Хмелитах отец Алексей Соколов, начавший служить еще при Федоре Алексеевиче. Ему на смену Алексей Федорович сманил из села Григорьевского его зятя, отца Афанасия Афонского. Этим он несколько отомстил Михаилу Богдановичу Лыкошину за постройку приходской церкви в его имении, тем более что новый священник оказался очень достойным человеком, был всеми любим за простоту и ласковое обхождение.

Главным развлечением в Хмелитах оставался театр. При Алексее Федоровиче он развернулся и был дополнен настоящим цыганским хором. Грибоедов любил веселье, жил привольно и давал жить другим. Своих крестьян он наказывал, когда была нужда, но и награждал, когда того заслуживали. А на территории имения позволял останавливаться бродячим цыганским таборам, числом до двухсот и более человек. Из них он набирал певцов, которые и жили, когда табор уходил, с его крепостными актерами в длиннейшем доме, выстроенном вдоль всей южной ограды парка. Этот дом вместе с Казанской церковью и южным флигелем совершенно закрыл панораму долины, но Алексей Федорович не был ценителем красот природы.

Саша был слишком мал, чтобы играть в спектаклях, но он неизменно присутствовал на всех репетициях, постигая закулисную жизнь, и на всех представлениях, знакомясь с русскими пьесами и операми и с превосходным цыганским пением. Отечественный репертуар к тому времени несколько обогатился по сравнению с серединой восемнадцатого века, но не все было по силам крепостной труппе или по вкусу благородным зрителям. Уже были написаны знаменитые сатирические комедии Фонвизина и менее известные Крылова и Клушина, начал писать насмешливый князь Шаховской, появлялись бесчисленные переделки иностранных пьес, опер и чувствительных повестей Карамзина. В каждое представление, по обычаю, давали одну большую и более серьезную вещь — трагедию, или оперу, или бытовую комедию, вроде «Недоросля», в сопровождении более легкого и короткого фарса, или дивертисмента, или хорового пения. В перерывах зрителей развлекали балетом. Все было просто: исторических костюмов никогда не надевали, декорации делали самые незначительные, при нехватке актеров пьесы сокращали, при недостатке ролей — увеличивали вставными танцами и пением. Кроме Фонвизина, никого из тех авторов и

переводчиков теперь не увидишь на сцене: язык их стихов и прозы был не особенно хорош, а подчас и вовсе странен. Но театр есть театр. В самом простом и даже смешном виде он таит волшебное очарование, сцена влечет и кружит самые серьезные головы, и снисходительные зрители, пропуская невольные заминки и огрехи, получают истинное наслаждение, которого не понять тем, кто сам никогда не стоял на подмостках и не присутствовал при сотворении спектакля.

Лето, проведенное в веселом дружеском кругу, мелькало быстро. В сентябре приходилось собираться в Москву.

Дольше задерживаться было нельзя — начнется осеннее ненастье, придется сидеть в деревне до санного пути. Сестры Грибоедовы зиму в провинции не жаловали — довольно ее натерпелись. Но Алексей Федорович оставался: по осени только начиналась настоящая охота, и к тому же хозяйский пригляд был бесполезен во время работ и сбора урожая. Хмелитское имение было наполовину оброчным, как повсюду в Смоленщине, земля была в основном роздана крестьянам, платившим оброк не столько с собранного урожая, сколько с доходов от различных ремесел, издавна здесь развитых. Оттого оброчные деньги были очень разными: архитекторы, каретники и портные, отпущенные на зиму в Петербург или Москву, платили по двадцать пять рублей, поселяне, работавшие только на земле, — рубля по два-три. Это было очень умеренно, к тому же Алексей Федорович не тратил все деньги на собственные удовольствия — будучи человеком Просвещения, он и для окрестных крестьянских детей завел школу и содержал ее всю жизнь в порядке, невзирая ни на какие долги. Барин был любим крестьянами, несмотря на жесткий порядок, установленный им в деревне. На приказчиков он не полагался: от тех больше вреда и хозяину, и крепостным. Когда же помещик проводит лето и осень в имении, приказчику негде развернуться: ни утаить доходы, ни помучить крестьян — барину пожалуются, себе хуже будет.

Алексей Федорович был суров, но не жесток. Его поколению почти не были свойственны ужасные перепады настроения, вспышки безудержного гнева и вместе с тем быстрая отходчивость. Изуверского желания наслаждаться чужими страданиями, пытками и порками они уже не испытывали, во всяком случае, не позволяли себе убийств крепостных и всяких извращений, нередко свойственных отцам и дедам. Конечно, речь идет о людях благородного происхождения и хоть некоторого воспитания: те, кто возвысился случаем из низов, временщики, невежественные фаворитки временщиков, чувствовали то же, что чувствовали люди внезапно измененной Петром I России. Полная невозможность слиться с новым окружением и полный разрыв со старым окружением делали их злобно жестокими к тому и другому кругу. Конечно, и в хороших дворянских семьях было не без уродов. Всей Москве был известен гуляка и самодур Лев Дмитриевич Измайлов, слишком рано унаследовавший громадные рязанские владения отца. В юности он был участником «афинских вечеров» графа Валериана Зубова, но не умел, подобно тому, соблюдать эстетическую меру и в самом разврате. После падения Зубова Измайлов продолжал оргии в своих имениях, от высокого античного образца дошедшие до гнусного бражничанья неучей-помещиков.

К крестьянам Измайлов был беспощаден, содержал и гарем для себя и гостей, и тюрьму для крепостных преступников. Ему ничего не стоило спалить дома ослушников и отстегать плетью каждого третьего в деревне. Но надо признать, что к дворянам он был не милосерднее. Мог подарить уездному капитану-исправнику тройку, а когда тот вздумал, не по поговорке, посмотреть дареному коню в зубы — приказать тройку выпрячь, надеть хомут на исправника и погнать дрожки, прихлестывая беднягу; или мог мертвецки напоить человек пятнадцать соседей, посадить в лодку, привязать к ее концам по медведю и пустить всех в реку на волю Провидения; или, проиграв тысячу рублей и осерчав на банкомета за какое-то слово, бросить всю сумму мелочью на пол и заставить его подбирать деньги под угрозой быть выброшенным в окно! Но ведь и окружение было достойно такого обращения, унижение ставилось ни во что: исправник лошадей взял, соседи спаслись и продолжали к нему ездить, а банкомет деньги подобрал и опять метал ему банк, будто ничего и не

произошло.

Измайлов любил играть на сотни тысяч, с равным удовольствием выигрывая и проигрывая, лишь бы испытать острые ощущения. Его буйство шло не от злобы душевной, не от врожденной жестокости, а от невежества и неумения приложить силы к полезному делу. В Англии таких людей отправляли в Азию и Африку, предоставляя создавать Британскую империю. А в России им не было выхода. Только война мирила их со скукой бессмысленной жизни. И тот же Измайлов в 1806 году, перед угрозой поражения России от Наполеона, созвал в Рязани прославившую его милицию, над которой хоть и самовластвовал, но теперь уже с пользой для отечества.

Таких, как Измайлов, и не вспомнить. В начале века нравы заметно смягчились — немало тут поспособствовало и пугачевское возмущение, с детства запомнившееся поколению Алексея Федоровича. Только старики зверствовали по давней привычке. Но и крестьяне стали посмелее. С павловского времени им было разрешено жаловаться на своих господ, хотя эти жалобы редко удовлетворялись. Когда же они не помогали — дело доходило до убийства. Павловский фельдмаршал граф М. Ф. Каменский был настоящим извергом, и кончилось тем, что люди сговорились и в 1809 году зарезали его. Крестьян отправили в Сибирь, но случай этот свидетельствовал не только об ужасах крепостного строя. Чудовищная вспыльчивость Каменского и его неумение владеть собой затрагивали не одних крестьян: он и сына своего взрослого, уже в чинах, публично выпорол по пустяку, и жену унижал, и с дворянами был без меры груб. И ведь при том был умен, создавал школы во вверенной ему губернии, и даже прелестная поэма И. Богдановича «Душенька» была издана на его средства.

Граф Каменский был, бесспорно, худшим представителем поколения «дедов» (он родился в 1738 году), Измайлов — худшим в поколении «отцов» (родился в 1764). Немыслимая жестокость таких людей, пронизывавшая Россию сверху донизу, проистекала от полной неспособности и нежелания обуздать страсти. Бог знает, почему научились потом управлять собой? Самовластие помещиков в усадьбах, в дела которых не вмешивались ни соседи, ни родственники, ни закон, оставалось незыблемым, но дикая разнузданность по-усмирилась. Может быть, денег на прихоти стало меньше? Может, французская революция напугала? Или усилия Карамзина, Радищева и Новикова действительно просветили людей? воззвали к их лучшим чувствам?!

Просветителям было бы приятно так думать.

Глава II **СТУДЕНТ**

О, юности моей гостеприимный кров!
О, колыбель надежд и грез честолюбивых!

Денис Давыдов

В 1803 году Настасья Федоровна с детьми покинула Хмелиты необычно рано — в конце августа. Она решила записать Сашу в Благородный пансион при Московском университете, а его инспектор требовал платы заранее, чтобы знать, какими средствами будет располагать в учебном году. Дороги к Москве еще не запрудили обозы, поэтому ехали быстро — не было опасности попасть в хвост тянувшегося в город чужого поезда или пересечься с ним на улицах Москвы. Если две вереницы дворянских экипажей сталкивались на перекрестке, оставалось молиться, чтобы разница в чинах их хозяев оказалась достаточно значительна: тогда низший пропускал высшего; или чтобы они были хорошо воспитаны; или чтобы хозяйкой одного обоза являлась всеми уважаемая дама: тогда кареты и подводы спокойно проходили, чередуясь. Но стоило встретиться в неудобном месте двум упрямым и

равно важным старикам — могла начаться потасовка дворовых, и никто не уступал, пока ночь или проезд третьих лиц их не разводили. Полиция в такие дорожные неурядицы не встревала. Какой московский дворянин потерпел бы вмешательство городского!

В августе столкновений быть не могло — Москва еще пустовала. Впрочем, Настасье Федоровне они не грозили, и не только потому, что карету дамы с детьми пропустили бы любые спорщики. Дом Грибоедовых стоял у самой Пресненской заставы — просто повернуть направо к Новинскому, и тотчас они у себя. Воротившись, Настасья Федоровна уже на следующий день повезла сына на Тверскую, где размещался Благородный пансион. Александр немного волновался. Ему предстояли первые в его жизни испытания по различным предметам перед самим инспектором и учителями.

Антон Антонович Прокопович-Антонский был человеком уважаемым, профессором Московского университета по кафедре естественной истории и одновременно председателем Общества любителей российской словесности. Такое совмещение совсем разных интересов было в ту пору нередким. С 1791 года Антонский возглавлял пансион, призванный отнюдь не готовить дворянских мальчиков к поступлению в университет, а совершенно избавить их от учения в университете, где они могли встретиться на скамьях с детьми крестьян или мещан. Программа обучения в пансионе была схожа с университетской, а в старших классах преподавали лучшие профессора, или же воспитанники, называемые студентами-пансионерами, получали право посещать лекции. Поэтому выпускники пансиона имели те же чины (десятый, двенадцатый или четырнадцатый, смотря по способностям), что и студенты.

Сюда набирали мальчиков от восьми до тринадцати лет (на самом деле бывали дети и старше, и младше — нельзя же отказать, если хорошо просят!); примерно двести человек постоянно здесь жили, воспитывались и обучались (это были дети провинциалов, не имевших родственников в Москве), и столько же мальчиков приходило каждый день из дому, имея в пансионе только обед. За содержание пансионеров брали 250 рублей в год в два взноса — сумма совсем небольшая в сравнении со многими французскими заведениями, где учили хуже, а денег требовали больше — даже 1000 или 1200 рублей ассигнациями; приходящие ученики платили 150 рублей единовременно, дабы у них не возникло искушения бросить обучение на полпути.

К 1803 году университетский пансион был в самом расцвете, на середине своей истории ². Больше всех своих воспитанников пансион гордился поэтом Василием Андреевичем Жуковским, уже достигшим немалой известности.

В этом славном учебном заведении Александр предстал перед собранием пансионских наставников во главе с добрейшим, ласковым Антоном Антоновичем. Инспектор был тогда едва сорока лет, бодрый, подтянутый, каждое утро ездил в манеже, даже и с дамами. Воспитанников своих он очень любил, равно и умных, и глупых. Несмотря на снисходительность, Антонский умел добиваться послушания, и дети его любили и боялись одновременно, при нем стихал шум и прекращались шалости.

Сдержанный, опрятный сын Настасьи Федоровны понравился инспектору, а его знания и способности удивили учителей. По французскому и немецкому языкам и по музыке Сашу зачислили сразу в «средние» классы и только по математике и естественной истории оставили в «нижних». В пансионе классы делились не по возрастам, а по успехам. Случалось, что кто-нибудь, отличаясь в одном предмете, мог учиться в «вышнем» классе, а в другом, где был слабее, оставаться в «среднем», «нижнем» или даже в подготовительном (всего классов было семь: три основных, делившихся на старшее и младшее отделения, и подготовительный). Оттого в классах сидели мальчики разных возрастов, но равных способностей. Однако во внеурочные часы пансионеров помещали в дортуарах не по классам, а по возрастам — их тоже было три («большой», «средний» и «меньший»). Каждый

² Его открыли в 1776-м, а закрыли гневным указом Николая I в 1831 году.

мальчик поэтому имел двойное определение: «ученик среднего класса среднего возраста» или «ученик нижнего класса большого возраста». Тот, кто отставал по одному предмету и сидел с маленькими, как правило, стремился подтянуться к своему возрасту; но если это и не удавалось, от неудач в одном предмете не страдало его продвижение в другом, и он развивался в полную меру своих способностей. Нельзя не признать, что такой способ обучения имел свои преимущества!

В знак зачисления Грибоедов получил от Антонского написанную самим инспектором книжку «Постановлений малолетнему воспитаннику Благородного при Университете пансиона», где прочел шесть заповедей хорошего воспитания: любовь к добродетели, отечеству, царю, религии, родителям и наставникам. Такие книжечки печатались каждый год и выдавались всем, вступавшим в пансион.

С сентября Саша начал посещать пансион, всегда в сопровождении Петрозилиуса. В хорошую погоду они шли пешком, хотя путь был неблизким, почти через пол-Москвы. В плохую погоду посылали за ямской каретой, потому что о карете маменьки, конечно, не следовало и думать для такой поездки. Но всего чаще в дождь или особый холод Александр оставался дома. При первом своем появлении в классе он был ошеломлен непрерывным шумом и беготней толпы мальчиков. К нему тотчас подбежали несколько десятков ровесников, выпрашивая имя и оглушая сотней вопросов. Но удовлетворив первое любопытство, мальчики отстали, и Саша остался в одиночестве. Он был бы рад порезвиться со всеми вместе, но его болезненность беспокоила матушку, и она запрещала ему быстрые движения и громкие крики; послушаться же ее не смел ни он, ни Петрозилиус. Саша стоял в стороне, наблюдая за чужими играми. В пансионе у него так и не появилось близких друзей.

Программа обучения, составленная Антонским, была обширной и разносторонней, включая математику (от начал до алгебры и геометрии), естественную историю (физику, географию и проч.), естественное и римское право, российское законоведение, иностранные языки, а также музыку, рисование, живопись, танцы, фехтование и верховую езду. В свободное время пансионеры могли час в неделю изучать статистику России и час — сельское домоводство. Впрочем, ни один предмет не был обязательным, а выбор их определялся советами учителей и желанием родителей. Каждые полгода сдавали экзамены, но это было дело внутреннее, и посторонних на них не приглашали. Зато в конце декабря, перед Рождеством, в пансионе устраивался торжественный акт. На него съезжалась воистину вся Москва — не только родители и родственники воспитанников, но приезжал генерал-губернатор Москвы, митрополит, почетные гости, среди которых были члены Общества любителей российской словесности и бывшие участники Собрания воспитанников университетского Благородного пансиона, объединявшего лучших пансионских поэтов. Акт не был экзаменом — на нем пансион представлял Москве новое поколение детей, идущее на смену родителям. Поэтому готовились к нему загодя (стихи к нему Антонский заказывал ученикам уже в октябре), проходил он всегда одинаково, к наибольшей выгоде воспитанников и воспитателей.

22 декабря 1803 года все многочисленное семейство Грибоедовых собралось смотреть, как будет отличаться единственный представитель их рода, когда-либо обучавшийся в гражданском заведении. Парадный зал пансиона, сам по себе небольшой, казался совсем тесным от благородной толпы. Блеск золотого шитья военных и дворянских мундиров умерялся дымчато-бледными платьями дам с длинными шлейфами (тогда последний год носили шлейфы). Акт открылся торжественной речью Антонского, после которой начались выступления воспитанников. Спрашивали известное, отвечали заученное. Класс Захара Аникеевича Горюшкина представил в лицах судебное действие: все было как в жизни, но сидевшие в зале члены судебных присутствий не узнавали собственной службы — так сильно она была приукрашена безупречным соблюдением законного порядка. Потом все любовались рисунками питомцев, в которые больше всего труда, под видом исправлений, вложил учитель Николай Алексеевич Синявский. Затем играли на клавикордах, флейтах и скрипке — тут и настала пора отличиться Александру Грибоедову, исполнившему пьесу на

скрипке.

За музыкой последовали танцы — мальчики изображали неизменный за много лет балет с гирляндами, поставленный старым итальянцем Францем Морелли. Дальше шло словесное отделение. Читали стихи преподавателей университета и пансиона — Алексея Федоровича Мерзлякова, автора песни «Среди долины ровныя», которую и теперь можно найти в сборниках песен, Петра Ивановича Богданова, читали стихи воспитанников (по возможности, с поправками Жуковского, по недавней памяти заботившегося о славе родного пансиона). Потом упражнялись в языках, разыгрывая какой-нибудь французский диалог. В иной год кто-нибудь произносил речь на немецком языке, но с тех пор как покинули пансион братья Александр, Андрей и Николай Тургеневы, с детства прирожденные немцы, этот язык был не в чести. Двоюродный брат Тургеневых Борис, учившийся тогда в «среднем возрасте», немецкий знал не слишком хорошо, а остальные — часто и хуже. Александр Грибоедов говорил по-немецки прекрасно, но нельзя же было поручать сочинить торжественную речь «меньшому» воспитаннику, едва три месяца проучившемуся в пансионе!

Наконец начиналось награждение. Саша получил приз по музыке в «меньшем возрасте», а в «большом возрасте» его вручили Алексею Дурново — этот мальчик, тремя годами старше Грибоедова, был таким же величайшим любителем музыки, как и Мария и Александр, но на фортепьяно не играл, хотя с удовольствием слушал, а сам решительно предпочитал флейту. Награды раздавались очень щедро, не меньше трети воспитанников получили отличия (в «меньшем возрасте» тридцать один человек), и едва ли половина мальчиков не получала ни одной награды за все годы учения. Такая щедрость являлась не следствием особой доброты Антонского, но имела глубокий смысл.

Ведь большинство детей, собравшихся в зале пансиона, от самого рождения имели право и возможность бездельничать всю жизнь. Поместья родителей, хотя бы и самые небольшие, предоставляли им радости охоты в лесах и полях, отдыха под сенью парков, купания и верховых прогулок и все улады, которые может подарить деревенское приволье и власть над крепостными. В соседних городах, даже самых захудалых, они могли развлекаться картами и балами. И так прожить долгие годы в покое, мире и деятельной праздности. И не было в России силы, которая могла бы заставить ленивого дворянского недоросля пойти служить Отечеству. В прошлом, восемнадцатом веке такая сила была. Петр I, как все его предшественники, попросту говорил: «Служи, или у тебя отберут имение!» А младшим сыновьям говорил еще проще: «Служи, ибо имения у тебя нет и никогда не будет, и ничем, кроме службы, ты не обеспечишь себя и семью». Но с тех пор как милостью Елизаветы Петровны и Петра III дворянам пожаловали право не служить и право дробить имения между всеми наследниками, с тех пор борьба с врожденной человеческой и русской ленью стала важнейшей заботой правительства. Как вынудить юношу покинуть удобный родной дом, где множество слуг выполняло малейшие его желания, расстаться со свободой и беспечностью — и вступить в беспокойный, угнетающий, порой опасный мир военной или статской службы? Зачем бы стал он что-нибудь делать, если так приятно ничего не делать?! Требовались очень сильные побуждения, чтобы толкнуть молодого человека на трудный путь.

Во времена Екатерины Великой такие побуждения находились. Власть Просвещения была сильна. Дворянин вступал в службу в уверенности, что он принесет этим пользу Отечеству и самому себе, что от него зависит будущее совершенство мира. (Кто так не думал, тот и служить не хотел. Сколько труда потребовалось, чтобы оторвать Митрофанушку от матушкиной юбки!) Тот золотой век миновал. Уже Павел не знал способа заставить служить себе. Пытался купить преданность, раздавал невероятно много земель и крестьян, а чем это для него кончилось?.. Его сын понимал уже несовершенство власти денег, титулов или возвышенных идей. В 1803 году какой юнец поверил бы, что может быть полезен стране? Правда, любой юнец понимал, что может быть полезен самому себе, и тех, кто был беден и незнатен, нужда и забота о собственном преуспевании легко заставляли терпеть лишения и даже унижения, чтобы добыть себе высокий чин и состояние. Но кто был

богат и родовит, жил в столице среди театров, балов и маскарадов и мог не беспокоиться о наследстве — чего ему не доставало? Такие люди — опора престола, но как привлечь их к службе? Деньги и почести для них — пустая игрушка.

И прежде бывали страны и народы, где знатная молодежь обладала всеми возможностями для праздной жизни, но отказывалась от нее под влиянием душевных потребностей. Лучше всего воспитание достигало цели в рыцарские времена. Любовь к Славе и любовь к Даме были такой силой, которая одевала в тяжелые железные доспехи, сажала на коня и отправляла на край света, под зной и стрелы врагов самого неповоротливого и ленивого рыцаря.

Что было хорошо в эпоху рыцарей, то стало хорошо и в прекрасные первые годы царствования Александра I. Это произошло само по себе, без обсуждений в ученых комитетах, без записей в уставах университетов. Не успели дети достаточно подрасти и осознать, что в отличие от своих отцов и дедов они имеют право не служить и даже не учиться, как родители и воспитатели принялись возвращать в их сердца зерна могущественной силы — честолюбия. Честолюбие тех лет питалось не неизменной жадностью обладания властью или богатствами, но высоким стремлением завоевать уважение тех, кто сам пользовался уважением юношей. Когда восьмилетнему мальчику вручали первую в его жизни награду и генералы, профессора, поэты, сенаторы и все выдающиеся люди Москвы рукоплескали его успеху — какие чувства рождались в его душе, какой огонь в ней разгорался? И, раз зажженный, он не гас никогда, гоня покой души, толкая к великим делам. Наставники не давали потухнуть пламени честолюбивых стремлений. В истории они указывали мальчикам на знаменитых героев, замечательных достоинствами и подвигами. Они ставили в пример не правителей, великих по праву рождения, не богачей, прославившихся грабительством или скопидомством, но гордых, непоколебимо стойких, негиббавших римлян, сражавшихся с тиранами, варварами или судьбой, часто гибнувших в неравной борьбе, — но всегда с честью и славой.

Время титанов не миновало без следа, не только у древних авторов можно было найти образцы для подражания. И тот, кто не желал и слышать об античных кумирах, все же видел перед глазами своего современника, добившегося всего и вставшего вровень с Цезарем или Помпеем. До каких потаенных уголков России, до какого ленивого невежды не дошло имя генерала Бонапарта, происхождения самого темного, национальности самой непонятной, а ставшего пожизненным консулом — почти королем — Франции, вознесшегося не прихотью случая, не волей рока, но собственными усилиями на волне революционных перемен? Не трон, не корона, завоеванные Бонапартом, казались завидными, но возможность определять судьбы стран и народов, ища не раболепного преклонения толпы, но бессмертия в веках и потомках. Бессмертие можно было добыть властью оружия или властью слова, показав чудеса доблести или сотворив чудеса искусства — все было возможно, чтобы остаться жить, торжествуя над забвением и смертью, бросив свое имя новым поколениям, но не гнусное имя Герострата или временщика, а гордое имя Героя или Поэта.

Любовь к славе прививается легко. Рыцарскому служению Даме научить труднее. Но и об этом заботились. Светский человек, и даже сам император, обязан был быть безупречно вежливым к женщине, внимательным и почтительным; рукоприкладство в семье, столь нередкое в прошлом веке, совершенно не допускалось — даже и представить себе его стало невозможно! Дамы царили в обществе. А бесчисленные дуэли успешно заменяли собой турнирные бои. Россия прежде не знала рыцарства и культа Дамы — и тем охотнее включилась в эту милую игру, что и внешне, по положению сословий относительно друг друга и женщин относительно мужчин, весьма напоминала Европу эпохи Крестовых походов. И много лет спустя княгиня Тугоуховская одним из важнейших следствий неправильного, на ее взгляд, воспитания молодого родственника назовет:

От женщин бежит и даже от меня!

Вот почему щедро раздавал награды Благородный пансион, вот почему съезжалась сюда вся Москва, и столичное начальство делало комплименты Антонскому, а он передавал их учителям и некоторым воспитанникам, и один из старших питомцев читал хвалебные стихи наставникам. Все были довольны, и пансион пользовался совершенной благосклонностью государя. Он делал важное дело, и делал его хорошо.

Пансионский акт закончился на высокой ноте. На следующий день все отдыхали, старались выспаться хорошенько, чтобы как можно бодрее встретить рождественский вечер. В новом, 1804 году до пансиона докатились преобразования, начатые еще год назад попечителем Московского учебного округа Михаилом Никитичем Муравьевым. Сам историк, великолепный знаток Античности и русской словесности, учитель императора Александра и его брата Константина, Муравьев, однако, был не вполне доволен чрезмерным вниманием Антонского к литературе, в ущерб всем другим наукам. Инспектор пансиона, даром что ученый-естественник, почитал поэзию основой всякого воспитания и выпускал юношей, часто совершенно незнакомых с математикой и физикой, зато сочинявших стихи, притом обычно бездарные. Муравьев же полагал, что пансион способен на большее и должен не просто воспитывать детей, учить их и прививать им склонность к рассуждению, но готовить молодых людей, с первых дней пригодных к службе. Он ввел в программу такие совсем особенные предметы, как артиллерия и фортификация, гражданская архитектура и государственное хозяйство, а требования к знаниям по другим предметам повысил, добавив ко всему еще изучение священной истории, бывшей, как и вообще религия, в некотором пренебрежении у просветителей. Впрочем, реформы Муравьева в пансионе шли не совсем успешно, почти его не изменили и в прежнем своем виде он существовал до самого 1818 года.

Но Александр Грибоедов в нем больше не учился. Настасья Федоровна нашла, что сыну вредно пребывание в переполненном детьми тесном помещении. Он начал слишком часто и тяжело болеть, и весь следующий год прошел для него почти впустую, не принеся ничего интереснее уроков Петрозилиуса и старательного подражания музыкальным успехам Марии. В мае семья отправилась в Хмелиты, где дети поздоровели. В сентябре, на сей раз не спеша, вернулись в Москву. Сестры с детьми ехали налегке, без обоза — только линейка, две кареты, коляска и две кибитки. Обоз отправлялся уже по первому пути, вместе с Алексеем Федоровичем. Так было удобнее — по холоду лучше везти мороженую дичь и птицу, да и урожай уже собран и ничего досылать не придется. С осени Настасья Федоровна решила приглашать университетских преподавателей домой, вместо того чтобы отсылать сына в пансион. Это, конечно, было намного дороже, но и действеннее. У нее самой средств было мало, но брат ее, не имея пока дочерей-невест, ввергавших в большие расходы, не имея и собственных сыновей, охотно взял на себя часть забот о воспитании племянника. Денег не жалели, но тратили их с умом — и Александр в самом деле получал отличное образование.

Зима тянулась медленно. Всякое утро дети занимались науками и музыкой. Днем Александр ездил в Колымажный манеж, содержавшийся старым немцем Кином при покровительстве графа Орлова-Чесменского. Кин был мастером своего дела, требовательным и беспристрастным: угодно учиться — милости просим, а гонять лошадей без цели не позволял. Сперва не давал даже стремян, пока их не заслужишь; заслужив стремяна — учились ради шпор. Некоторые молодые люди роптали, но со временем все были ему благодарны за отличную кавалерийскую выучку. С детьми Кин обычно не работал, но Саша в манеже своего дяди в Хмелитах очень неплохо овладел верховой ездой и в Москве упражнялся только для поддержания навыка.

Вечера приносили единственное развлечение московских детей — Грибоедовы отправлялись в театр, где на весь сезон абонировали ложу. Прошедшим летом Александр всерьез заболел театром. В Хмелитах он меньше гулял, чем сидел в дядине театре на всех репетициях и спектаклях. Он даже стал проситься поиграть на сцене и с той поры получал роли по своему выбору. Он никогда не стремился изображать героев и волшебных принцев, а предпочитал характерные роли старух, монахов или шутов. Получалось у него замечательно

весело. При чтении же пьес он мог голосом и выражением оттенить и более сложные образы и вскоре сделался прекрасным чтецом. Возвратившись в Москву, он начал упрашивать дядюшку или мать брать его на все представления, куда они отправлялись. Алексей Федорович радовался интересу племянника. То был первый год, когда русская труппа в Москве осталась без своего бессменного за двадцать пять лет директора Медокса, отставленного от всех театральных дел за чудовищные долги, но получившего от вдовствующей императрицы пенсию за заслуги перед театром. Петровский театр вернулся под опеку Воспитательного дома, сохранив всех своих превосходных актеров, с Петром Алексеевичем Плавильщиковым на первых ролях в трагедиях и драмах, Василием Петровичем Померанцевым на роли благородных отцов, комиком Силой Николаевичем Сандуновым, мужем великой Елизаветы Сандуновой. Всего в театре служило двадцать шесть «сюжетов», как их тогда называли, и только четверо из них были крепостными.

Актеры были хорошие — или почитавшиеся таковыми. А вот пьес, достойных их дарований, на русской сцене не доставало. Даже и переводы были едва приемлемыми. Старший брат Сандунова, Николай Николаевич, обер-секретарь Московского сената, перевел «Разбойников» Шиллера и поставил их в начале сезона на пансионском театре. Роль Франца Моора, к полному неудовольствию переводчика, представлял старший воспитанник, заядлый театрал Степан Жихарев. А в январе сам Жихарев перевел комическую оперу Дуни «Любовные шутки», которую давали в бенефис семейства Соломони: младшая Соломони пела, старшая играла концерт на скрипке с оркестром, а их отец ставил балет «Мщение за смерть Агамемнона». Такой-то вздор, к тому же холодный, вялый и скучный (по признанию самого переводчика), смотрела тогда публика.

Зато через два дня немецкая труппа поставила на маленькой сцене демидовского театра оперу «Русалка» (точнее — «Фея Дуная» венского композитора Ф. Крауера). Театр ломился от зрителей, хотя цены подняли донельзя: за ложу брали 12 рублей, а за галерею — рубль. Грибоедовы сидели в ложе — дети в партер или кресла не допускались. Ложи тогда были закрытыми, как комнатка, поэтому, чтобы поприветствовать знакомых (а как без этого? неприлично не замечать друг друга), приходилось выходить и бродить по театру. Хождения туда-сюда и разговоры совершенно заглушали голоса актеров и музыку. Но это никого не смущало: слова и ноты не часто заслуживали внимания. Когда же исполнялось что-нибудь знаменитое, публика дружно смолкала, поворачивалась к сцене, аплодировала — и снова возвращалась к своим делам. Зачем тогда вообще ходили в театр? А что еще было делать? Не сидеть же дома за книгой. Званные вечера устраивались не каждый день, и порой кроме театра идти было некуда.

Немецкие актеры пользовались успехом, хотя под руководством директора и лучшего актера барона Штейнсберга собрались большей частью петербургские мастеровые. Даровитая мамзель Штейн была прежде булочницей, ее брат — переплетчиком, первый герой Литхенс — обойщиком, любовник и злодей Кистер — золотых дел подмастерьем (в будущем он из актера стал бароном, миллионером и камергером одного мелкого немецкого двора), прочие сюжеты набирались из столяров, портных, переписчиков, музыкантов. Зато Штейнсберг не входил в дополнительные расходы: его артисты были сами себе декораторами, костюмерами, машинистами и копиистами. Очень удобно. А с тем вместе играли весело, слаженно и по московским понятиям очень недурно.

25 января Петровский театр в пику немцам поставил в бенефис Сандуновой первую часть «Русалки», переделанную Н. С. Краснопольским и С. И. Давыдовым. В Петербурге два года назад эта переделка имела такой успех, что последовали продолжения: «Днепровская русалка», «Леста, днепроовская русалка», потом просто «Русалка, комическая опера». Все эти «Русалки» славились не сюжетом, вполне нелепым, а беспрестанной сменой декораций, мелодиями вальсов, с той поры вошедшими в моду на сцене, а несколько лет спустя — и в бальных залах, и, главное, прелестными ариями. Музыка немецких композиторов разбавлялась русскими вставными номерами — они-то и определяли славу опер. Каждая барышня знала наизусть и умела исполнить арии из первой части: «Приди в чертог ко мне

златой!», «Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут» и прочее. В Петербурге в течение года «Русалку» повторяли через день, и театр всегда был полон. В Москве же маленькая, полная, жеманная Сандунова, одетая полунагой нимфой, нисколько не выигрывала в этой роли, несмотря на прекрасное пение. Настасья Федоровна попробовала было заставить Машу разучить модные арии, но девочка с негодованием отказалась, пренебрежительно отозвавшись о простеньких мотивах. Саше, напротив, мелодии вальсов понравились. Не имея нот, он придумывал их сам и наигрывал, когда не опасался, что сестра может его услышать.

2 февраля Плавильщиков в свой бенефис поставил при полном сборе собственную комедию «Братья Своеладовы». Публика текста совсем не поняла, но горячие друзья бенефицианта позаботились об успехе. Такие-то пьесы и оперы определяли первые впечатления Александра Грибоедова от театра!

Сцена влечет. В конце января воспитанники пансиона, с которыми поддерживал знакомство Александр, забавлялись слухом, что лучший питомец Антонского, чье имя выбито на золотой доске, Федор Граве решил непременно играть у Штейнсберга. Граве пытались пристыдить, но он твердил о вдохновении и призвании. И добро бы имел талант или хоть был красавцем, а то ведь вроде рыцаря печального образа, сутулый, низенький, толстенький.

Великим постом русский театр закрылся; немцы и французы по-прежнему давали спектакли, но ходили к ним мало — как-то совестно было в пост. Мария и Александр с нетерпением ожидали четвергов, когда все отправлялись на Пречистенку к Всеволоду Андреевичу Всеволожскому, известному театральному меценату и промышленнику, у которого играли квартеты лучших музыкантов Москвы. В тот год в старой столице гастролировали скрипачи Роде и Бальо, альт Френцель и виолончелист Ламар. А из Петербурга донесся слух, что в Россию приехал молодой, но уже великий пианист Джон Фильд. Его недавние концерты в Париже пользовались небывалым успехом благодаря удивительному исполнению фуг Баха и Генделя. Он прославился нежной, мечтательной манерой игры, и первым начал сочинять певучие, лирические фортепьянные пьесы — ноктюрны. Брат и сестра воспылали непреодолимым желанием услышать знаменитого музыканта и взять у него хоть несколько уроков, но пока это оставалось мечтой.

На Святой неделе, наполненной беспрерывными праздничными визитами, от которых, к своему счастью, дети были избавлены, в доме Настасьи Федоровны перебивало пол-Москвы: 12 апреля, в прекрасную погоду, началось гулянье под Новинским, и как было знакомым не заехать к Грибоедовым с визитом или на обед? В те же дни состоялось первое — и последнее — выступление бывшего пансионера Граве, под псевдонимом Nemo. Александр присоединился к ученикам нынешним и прежним, переполнившим немецкий театр. Он сам обожал сцену, но понимал, что играть ради денег или даже славы, как Граве, а не ради удовольствия, благородному человеку не следует. Мальчики сговорились шикать и свистеть, дабы отбить у дебютанта охоту к лицедейству, но, увидев нелепую его игру и фигуру, расхохотались, и неистовый хохот, крики и топанье сошли за выражение бешеного восторга. Публика так разошлась, что полицмейстер Волков, хоть сам умирал со смеху, обратился к ней с просьбой умерить пыл. Даже актеры на сцене хохотали. Nemo был очень доволен произведенным впечатлением, но после всех переживаний решил на сцене не показываться. А Александр вернулся домой в великом возбуждении от первого виденного им театрального скандала.

1 мая 1805 года он со всей семьей отправился на гулянье в Сокольники. Погода стояла бесподобная: теплая и тихая — лучший день для праздничной встречи весны. Утренний дождь освежил зелень и прибил пыль, обыкновенно закрывавшую гуляющих от зрителей и несносную для них самих. Экипаж Алексея Федоровича влился в поток щегольских карет и прадедовских рыдванов, запряженных прекрасными лошадьми в блестящей упряжи или прежалкими клячами в веревочной сбруе. Москвичи съезжались в парк, где их ожидали заранее разбитые богатые палатки под турецкими и китайскими тканями с роскошно

накрытыми столами и великолепными крепостными и цыганскими хорами — или простые хворостяные шалаши, покрытые тряпками, с дымящимся самоваром и с пастушьим рогом — для аккомпанемента пляскам. Но никакие различия не мешали беззаботному, разгульному веселью. Детям показалось здесь интереснее, чем в Новинском, где однообразная череда экипажей успела им порядком наскучить.

Главным зрелищем был необыкновенно торжественный поезд графа А. Г. Орлова-Чесменского, устраиваемый не столько, может быть, ради его удовольствия, сколько для увеселения народа; без него, говорили, и гулянье было бы не в гулянье. Впереди, на коне Свирепом в сбруе, залитой золотом и драгоценными камнями, выезжал сам могучий, тучный вельможа в парадном мундире со всеми орденами.

За ним на прекраснейших конях одной серой масти ехали его дочь, обаятельная Анна Алексеевна, родственники и друзья из знатнейших родов столицы. Потом следовали конюшие, не менее сорока человек, ведя в поводу лошадей с графских заводов. Наконец, тянулись графские экипажи, запряженные цугами и четвериками одномастных лошадей. Народ замечал только богатство и великолепие, знатоки — совершенствование год от года знаменитых орловских рысаков.

На следующий день, при такой же благоприятной погоде, Алексей Федорович повел племянника на скачки. Галереи вокруг скакового круга были заполнены московской знатью, но многие оставались верхом и ездили внутри круга. Скакали, само собой, не рысистые лошади, а гунтеры, или охотники, — английского происхождения порода, только еще появлявшаяся в России. На приз в 500 рублей, пожертвованный Орловым, скакали десять лошадей: Орлова, Полторацкого, братьев Мосоловых, Муравьева и других. Дистанция была в два круга, то есть в четыре версты. Этот приз выиграл гнедой жеребец Травлер, родившийся в Англии и принадлежавший Муравьеву; скакал на нем его крепостной мальчик Андрей, достигший цели с оборванным стремярем. В следующей скачке победила лошадь Мосолова. Потом скакали благородные ездоки на один круг, победил с большим отрывом князь Иван Алексеевич Гагарин на английской лошади. Скачки Александра совсем не увлекли — к лошадям он остался всю жизнь равнодушен, слабо в них разбирался и не восхищался их красотой, в основном потому, что дядя изрядно надоел ему с детства своим конным заводом в Хмелитах.

После скачек начались цыганские песни и пляски, кулачный бой (всех побил ярославский мужик лет пятидесяти, трактирный служка, отысканный где-то княгиней Дашковой). По окончании игрищ Орлов сел с дочерью в одноколку четвериком в ряд, на манер древних квадриг, подобрал вожжи, промчался по скаковому кругу и скрылся в пыли на дороге к Москве. Чем бы развлекалась Москва без своих вельмож?

С мая, как всегда, город опустел. Уехали в Хмелиты и Грибоедовы. Там, после прекрасного лета, их застал указ императора от 1 сентября о рекрутском наборе: государь, дабы «водворить в Европе на прочных основаниях мир», решил двинуть часть войск за границу. Взрослые толковали о войне. Ненависть к Бонапарту, к тому времени провозгласившему себя императором Франции Наполеоном, все возрастала, доверие к царю росло беспредельно. Главной причиной ненависти была невозможность торговать с Францией и Англией, лишавшая русских дворян и доходов, и модных товаров. Никто не сомневался, что война принесет новые победы русскому оружию и разрешит европейские дела.

К середине сентября Москва наполнилась, на улицах заметно прибавилось движения, открылись лавки. Открылись и театры. Петровский театр начал сезон на высокой ноте — недавно написанной трагедией В. А. Озерова «Эдип в Афинах». В Петербурге она прошла с замечательным успехом, в Москве ее еще не видели. Трагедия в стихах сочинена была со строжайшим соблюдением всех требований классицизма: единство места, времени и действия было выдержано безукоризненно, — а это главное. Такой пьесы на русской сцене еще не бывало! Мысли прекрасные, чувства бездна, никакой напыщенности, все естественно, просто, александрийские стихи наилегчайшие. Плавильщиков в роли Эдипа был

превосходен:

Зри ноги ты мои, скитаясь изъязвленны,
Зри руки, милостынь прошеньем утомленны,
Ты зри главу мою, лишенную волос:
Их иссушила грусть и ветер их разнес

И проч.

Публика единодушно восторгалась.

И то сказать: где еще могла она увидеть пьесу, полную всех совершенств? Не во французском же театре! Французская труппа в Москве существовала, играла в том же Петровском театре попеременно с русскими актерами, ставила пустенькие комедии, мистерии и оперки, но о ней можно бы и не говорить, если бы не отличалась она пространными и высокопарными объявлениями о высоких достоинствах своих спектаклей, впрочем, довольно наивными. Вот, например: «Позволим себе уведомить публику, что „La Cloison“ добилась в прошедшую субботу полного успеха. Мы сожалеем только, что было мало зрителей, которые могли бы насладиться этим превосходным сочинением, достойным внимания московского дворянства, и приглашаем его почтить своим присутствием спектакль перед отъездом в деревни».

«Эдип» имел такой успех, что был повторен неоднократно, только 1 октября спектакль отменили по причине воздушного путешествия г-на Кашинского — этот воздухоплаватель в сентябре — октябре много раз поднимался над Москвой, надеясь привлечь к своим опытам интерес богатого мецената, не добился успеха и занялся подделкой отечественных и зарубежных минеральных вод по новейшим химическим открытиям, но не из корысти, а по самым патриотическим убеждениям: он надеялся дешевым способом поднять здоровье сограждан и отвратить их от разорительных поездок на заграничные воды (впрочем, в те именно годы ехать было некуда — повсюду шла война, и дворянство пило воды в Липецке или Старой Руссе).

22 октября 1805 года, незадолго до съезда публики, Петровский театр сгорел дотла — по неосторожности гардеробмейстера. Никто не пострадал, но легче ли от этого? Русские и французские актеры остались без пристанища, немецкая труппа хирела из-за тяжелой болезни Штейнсберга (вскоре умершего) и отъезда в Петербург мамзель Штейн (вскоре вышедшей замуж). Москва лишилась театра.

Больше всех пожар удручил детей. Для них театр был единственным развлечением. Уроки, даже такие интересные, как музыка, фехтование и верховая езда, оставались уроками. В гостиные и залы их не допускали, а если бы и допустили, какой интерес сидеть молча среди тетюшек и дядюшек? Раз в неделю устраивались детские балы, но это удовольствие для девочек. Мальчики их ненавидели: какая радость танцевать в паре с противной девчонкой и выслушивать критику Иогеля? Добро бы еще что-то получалось!

Днем в хорошую погоду можно было чинно пройти с гувернером по Тверскому бульвару, или съездить с маменькой в лавки, или выбежать зимой во двор поиграть в снежки, пока маменька принимает визиты. И это все, что предоставляла городская жизнь дворянским детям. (Кстати, купеческим жилось еще хуже — их вовсе из дому не выпускали и не проветривали помещение во всю зиму (!), «улучшая» воздух благовониями на горящих углях, проносимых по комнатам. Видно, люди всегда найдут способ отравить себе жизнь!)

Установившаяся поневоле скука рассеялась объявлением войны с французами. Алексей Федорович привозил из Английского клуба мнения мудрых стариков. Одни храбрились, говорили, что первую схваткою все должно окончиться и мы непременно поколотим этих забияк; другие сомневались, что одно выигранное сражение решит исход дела. Но все надеялись на Кутузова; он соединял качества настоящего военачальника: обширный ум, необыкновенное присутствие духа, величайшую опытность — и был чрезвычайно уважаем самим Суворовым. Алексей Федорович помнил Кутузова по второй турецкой кампании и не

понимал, в чем видели клубные старички его опытность? Кроме нескольких битв под руководством Суворова, он как полководец ничем вроде бы не отличился, все больше дипломатические поручения выполнял. Да впрочем, в командире ли суть? Граф Федор Васильевич Ростопчин, сосланный Павлом в Москву и оставшийся здесь, уверял, что русская армия такова, что ее не понуждать, а сдерживать надобно; солдатам достаточно приказать: «За Бога, царя и святую Русь», чтобы они без памяти бросились в бой и ниспровергли все преграды.

Москва жила ожиданием больших сражений. В конце ноября пришло известие... о большом поражении при Аустерлице. Старички пораздумали и решили, что нельзя же иметь одни только удачи, которыми Россия избалована в продолжение полувека. Конечно, потеря в людях была немалая, но народу у нас много, не на одного Бонапарта хватит! Английский клуб всю вину возложил на союзников, восславил подвиги князя Багратиона, спасшего армию, выпил за вечер 2 декабря больше ста бутылок шампанского и вошел в совершенный кураж. Главнокомандующий Александр Андреевич Беклешов дал обед, Дворянское собрание — бал, и во всех домах праздновали день рождения государя и его благополучное возвращение из армии. Такова Москва! унынию она никогда не поддавалась и во всем находила повод для торжеств.

Московские стихотворцы, во главе с графом Хвостовым, взялись за перья — сочинять оды. Но толку не вышло, потому что Державин уехал в Петербург, Дмитриев од не писал с тех пор, как жестоко высмеял одописцев в своем великолепном «Чужом толке»:

...Пошел и на пути так в мыслях рассуждает:
Начало никогда певцов не устрашает;
Что хочешь, то мели! Вот штука, как хвалить
Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить?
С Румянцевым его или с Грейгом, иль с Орловым?
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —
Неловко что-то все. Да просто напишу:
Ликуй, Герой, ликуй, Герой ты! — возглашу.
Изрядно! Тут же что? Тут надобен восторг!

и проч.

Херасков был уже дряхл, Мерзляков без заказа начальства писать не решился, а прочим предмет был слишком недоступен. Вот что вышло:

...Снега алмазами блеснули,
Из льдов (!) наяды воспрянули,
И вся природа толь красна.
Что в хладе мертвом (!) и суровом
Она играет под покровом
И жизни радостной полна...(!)
...Живи, наш царь, живи во веки,
Как ты от нас был отлучен,
В мольбах мы лили слезны реки,
А ныне дух наш восхищен.

И эта чепуха, полная несуразностей, автор которой, к своему счастью, остался неизвестным, была сочинена всерьез и поднесена главнокомандующему. Как прав был Дмитриев!

* * *

Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о Вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром...

М. Ю. Лермонтов.

В январе 1806 года Настасья Федоровна прекратила домашние уроки, которые дали ее сыну все, что могли, и отправила его в университет слушать лекции лучших профессоров. Она заботилась, конечно, не об уровне знаний Александра. В одиннадцать лет он знал намного больше, чем маменька и, может быть, больше, чем дядя. Но домашнее обучение было невыгодно и по дороговизне, и потому, что не давало прав ни на какой чин по его завершении. Университет же обеспечивал студентам место в Табели о рангах. Обыкновенно мальчиков записывали не в университет, а в военную службу, но Настасья Федоровна всегда твердила, что ее сын пойдет по статской стезе. Он был ее единственной надеждой на лучшее будущее, и рисковать потерять его в юных годах она не хотела. Ее собственный муж был не таков, чтобы она могла им гордиться; имение ее было невелико и расстроено. Усилиями сына она мечтала приобрести прочное состояние себе и дочери.

К тому времени учиться в университете стало не так уж стыдно. Устав 1804 года сделал все возможное, чтобы отвлечь дворян от привычного пути в гвардию. Обучение было бесплатным, что резко выделяло знаменитое учебное заведение на фоне платных пансионов. Студенты-дворяне имели право носить шпагу в любом возрасте. Прослушав полный, трехлетний, курс, выпускники получали диплом со свидетельствами профессоров и отметкой о благонадежности и 14-й класс в Табели. Окончившие курс с отличием получали ученую степень кандидата наук и 12-й класс, причем степень присваивалась в зависимости от успехов на выпускных экзаменах, но только университетский совет решал, значительны ли эти успехи. Такой порядок был удобен. В университет посылали мальчика лет тринадцати, который ни шатко ни валко присутствовал на некоторых лекциях три года подряд или просто поднапрягался несколько дней в конце и одним усилием догонял соучеников, а в заключение, без всякой военной муштры и изучения артиллерийского дела, становился чиновником или офицером, а если находил возможность перевести на русский язык чье-нибудь иностранное сочинение и выдать за диссертацию (это допускалось правилами), — достигал самым малым прилежанием звания губернского секретаря.

Поступить в университет было несложно. Летом, общаясь постоянно в Хмелитах с соседкой Миропьей Ивановной Лыкошиной, Настасья Федоровна уговаривала ее отдать двух старших сыновей в Московский университет. Та решилась и в ноябре привезла своих Владимира, тринадцати лет, и Александра, одиннадцати лет, в Москву. Мальчиков устроили вместе с гувернером за 1200 рублей в дом немецкого профессора Маттеи, европейски знаменитого филолога, еще в конце прошлого века преподававшего в Москве и, по существовавшему мнению, укравшего из библиотеки университета древний список одной трагедии Еврипида, впоследствии проданной им дрезденскому курфюрсту за 1500 талеров. Обеспечив поддержку немца, бывшего, несмотря ни на что, деканом словесного факультета, Миропья Ивановна дала отличный обед другим профессорам из немцев. За кофе в столовую ввели мальчиков под присмотром гувернера Мобера и через его посредство задали несколько сложных вопросов: как называется столица Франции и кем был Александр Македонский. Владимир отвечал довольно удачно, а младший брат с испугу заплакал и был уведен из комнаты. На этом экзамен закончился — оба ребенка были приняты.

Настасье Федоровне не потребовалось даже устраивать обед. Александр был хорошо известен университетским преподавателям, многие из которых давали ему уроки. Его зачислили без всяких испытаний на словесное отделение, и с конца января он начал

посещать занятия в сопровождении неизменного Петрозилиуса. Новое казаковское здание университета принадлежало тогда Пашкову, во флигеле по Никитской разместился погорелый Петровский театр, поэтому, собственно, университет теснился в старом здании, где в бельэтаже были аудитории, в средней ротонде — конференц-зала, справа от входа с Моховой — церковь и под нею квартира ректора Страхова, а в верхних этажах — университетская гимназия да еще спальни казенных студентов. От такой тесноты многие профессора вели занятия у себя дома (практика, совершенно оставленная совсем недавно).

Табель профессорских лекций на 1805/06 год показался Грибоедову слишком обширным.

На русском языке читали

Физику — П. И. Страхов

Естественную историю — А. А. Прокопович-Антонский

Философию и логику — А. М. Брянцев

Статистику — И. А. Гейм

Эстетику — П. А. Сохацкий

Историю российскую — М. Т. Каченовский

Историю всеобщую — Н. Е. Черепанов

Российское право — З. А. Горюшкин

Теорию законов — Л. А. Цветаев

Славянскую словесность — М. Г. Гаврилов

Теорию поэзии — А. Ф. Мерзляков

Чистую математику — В. К. Аршеневский

Приложение алгебры к геометрии — В. А. Загорский

На французском языке

Естественную историю и анатомию — Германн И. Фишер

Естественное и народное право — Х.-А. Шлецер

Химию — Ф.-Ф. Рейсс

Нравственную философию — Ф.-Х. Рейнгард

Французскую литературу — Ави де Ваттуа

На немецком языке

Немецкую литературу — Я. де Санглен

Высокую геометрию — И. А. Иде

Помимо лекций, по взаимному желанию студентов и профессоров назначались особенные платные уроки, *lectiones privatae*, и особеннейшие, *privatissimae*, на дому преподавателей. Студент не обязан был слушать все лекции на своем отделении и одновременно мог посещать лекции других факультетов. Грибоедов равно свободно говорил и писал на трех языках и по-латыни, поэтому его выбор лекций зависел от его желаний, а не возможностей. Он посещал все занятия в словесных науках, лекции по праву и по математическим предметам. Последние отнюдь не были его любимыми, но по уставу студент обязан был знать некоторые науки, даже если ему казалось, что они ему не нужны — и математику в том числе. Единственные лекции, куда он и не заглядывал (помимо неинтересных ему химии, ботаники и анатомии), были лекции истории профессора Черепанова. Хотя и не очень старый, Черепанов читал по записям, делая буквальный перевод с немецких трудов Иоганна Шрека. Оттого фразы принимали такой вид, годами передаваемый из уст в уста среди студенчества: «Оное Гарнеренево воздухоплавание не столь общепольно, сколько оное финнов Петра Великого о лаптях учение есть». Когда же несчастный добряк отрывался от записей, то порой сбивался на слова, которые принято заменять точками в книжной речи (например, так он характеризовал Семирамиду). Слушали его только казеннокоштные студенты, получавшие содержание в 200 рублей и старательно учившиеся ради достижения дворянского звания. Они были, как правило, уже довольно взрослыми, дурно одетыми и бледными от плохого питания.

Поодаль от этих великовозрастных юнцов сидели дворянские дети, еще безусые или

совсем маленькие, все с гувернерами, говорившие между собой по-французски к зависти казенных, французский изучавших только в университете. Особенной любви между двумя группами студентов не замечалось. Казеннокоштные презирали дворян за лень, детские выходки, за богатство и жестко пресекали попытки малышей надеть на лекцию студенческий мундир (братья Лыкошины, гордые этим отличием, охотно разъезжали с визитами по бабушкам и тетюшкам, восхищавшимся их шпагой, но после первого посещения аудиторий от шпаги отказались; Грибоедов же, лишенный провинциального тщеславия, даже мундир никогда не надевал). Дворяне презирали казеннокоштных за незнание языков, отчего некоторые лекции слушали почти только дети. Объяснения профессоров были им, по малолетству, едва понятны, но родители настаивали на раннем начале учения: раньше начнешь — раньше чин получишь, легче в службу вступишь. Словом, Московский университет был не вполне похож на тот храм наук, о котором полвека назад мечтал великий Ломоносов. Здесь учили немцы, привлеченные только высоким жалованьем, а учились карьеристы, не ради знаний, а ради чинов.

Конечно, отсюда выходили и ученые: вместе с Грибоедовым на скамьях университета в те годы сидели будущий профессор математики П. С. Щепкин и профессор истории К. Ф. Калайдович, профессор филологии И. И. Давыдов и профессор древней словесности И. М. Снегирев. Но они были скорее исключением. По примеру английских и немецких университетов Московский университет давал общее образование и готовил юношей к самой разной службе.

Занятия в университете начинались с восьми часов и длились до часу, а потом продолжались с трех до пяти. Тем, кто, как Грибоедов, жил далеко от центра, этот порядок был неудобен: нужно было обладать особым рвением, чтобы за два часа обернуться в обе стороны и успеть пообедать. Идти же в трактир мальчику не позволяла мать. Поэтому послеобеденные лекции он, как правило, пропускал, если не обедал вместе с Лыкошиными, жившими под присмотром Мобера в двух шагах от Моховой. Слушать профессоров было необходимо. Учебных пособий в Москве не продавали, книготорговцы пробавлялись тем, что находило наибольший спрос, да и того по невежеству разобрать не умели. Кое-что можно было выписать из Петербурга, а иностранные книги в Москве стоили баснословно дорого: опытные люди утверждали, что втрое дороже, чем за границей.

Учение оставляло вечера свободными, потому что уроков на дом не задавали, и Грибоедов по-прежнему посещал театр. В театральной жизни перед постом состоялось только одно значительное событие: немецкая труппа дала 12 января «Дон Жуана» Моцарта. Все высшее общество, все музыканты-любители заняли ложи и кресла. Дирижировал Нейком в огромных серьгах. Прелестная музыка Моцарта покорила зал. Но было бы лучше, если бы только она и звучала на сцене, не заслоняемая голосами певцов. Дон Жуана, вместо положенного баса, пел тенор Гальтенгоф, донну Эльвиру — мадам Гебгард, ради которой выходную арию опустили, ибо она была певице не по силам. Дона Оттавио, тенора, исполняла сопрано мадам Шредер и так далее. Только младшая Соломони, совершенно на своем месте в драматической роли донны Анны, спасала представление. И ведь трудную эту, большую оперу немцы репетировали больше года, вложили много сил и все свое умение! Сейчас нельзя и представить, на каком низком уровне стоял московский театр той поры.

Концерты были привлекательнее, и Грибоедовы их не пропускали. Здесь Мария и Александр близко познакомились с детьми богача Всеволожского Никитой и Александром, очень хорошими и талантливыми мальчиками, и с Алексеем Дурново, совершенным энтузиастом музыки. Как-то в феврале он всем, готовым его слушать, с восторгом рассказывал об изобретении парижским часовщиком Лораном необыкновенной флейты из хрустала, издающей такие чарующие звуки, что, слушая их, любой разражался рыданиями.

Под влиянием Дурново Александр всерьез заинтересовался теорией музыки и брал уроки у известного авторитета И. Миллера. Мария теорией увлекалась мало, доводя до виртуозного совершенства свою технику игры.

Саша старался ни в чем от нее не отставать. Одних фортепьянных успехов ему было

мало. Как бы шутя и озорничая, он вздумал порой усаживаться за арфу. Мальчикам так же не полагалось играть на арфе, как девочкам на флейте — (без какой-то особой причины, так уж сложилось, вроде юбок и брюк, ставших принадлежностью разных полов). Мария даже не хотела пускать брата за свой сложный инструмент, боялась, что он его расстроит. Но Саша был очень аккуратен, и хотя никто его не учил и нот не давал, он наловчился, к общему удивлению, импровизировать на арфе великолепные беглые мелодии. Руки его мелькали так быстро, что сливались: это был особенный, мужской способ игры на женском инструменте — барышни так не умели по нежности пальчиков.

Став студентом, Александр получил некоторые права взрослого, а с тем вместе — и обязанности. Дядя, следуя общему примеру, принялся возить его с собой ко всем известным людям столицы. По-своему он был прав: если бы впоследствии Александр вступал в жизнь и службу как сын своего отца, кому бы он был известен? Сергей Иванович не состоял даже членом Английского клуба. Но как племянник всей Москве известного дяди он не затерялся бы в толпе молодых искателей мест и чинов. Кроме того, у кого же перенимать великосветские манеры и интонации речи, как не у важнейших вельмож? Эти визиты не доставляли мальчику никакого удовольствия. Пожилые мужи его порой и не сажали, оставляли стоять, пока беседовали с Алексеем Федоровичем о прежнем житье-бытье, поругивая все новое. Немудрено, думал Александр, в их-то время у них зрение было острее, слух тоньше и желудок исправнее. Стремясь избежать неприятной повинности, Александр пускался на всякие хитрости. Завидев у ворот дядину карету, бежал в постель, укладывался и стонал: «Не могу, дядюшка: то болит, се болит, ночь не спал». В таких случаях озабоченная Настасья Федоровна всегда принимала сторону сына, оставляла его дома и посылала за доктором. А как-то раз мальчик изуродовал себя надолго: стащил бритву Петрозилиуса и сбрил себе наголо брови. Ему жестоко попало от матери — мог ведь и глаза себе выколоть длинным острием! — и немцу досталось — зачем не доглядел за своим имуществом?

Самого худшего представителя старой Москвы, фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского тогда уже в городе не было — по распоряжению императора он в начале года отбыл в армию, потом ее неожиданно оставил, уехал в деревню, где и погиб от рук крепостных. Но вместо него, проездом в Петербург, в Москву в середине января явился во всем своем блеске генерал Измайлов, и Алексей Федорович повез к нему племянника, невесть зачем, разве только для того, чтобы похвастаться своими связями. На Александра этот визит произвел неизгладимо тяжелое впечатление: до сих пор он никогда не видел близко законченного негодяя, щеголявшего своими мерзостями. Но были среди знатных москвичей люди более почтенные. Алексей Федорович был знаком с прежним военным губернатором Смоленска Степаном Степановичем Апраксиным, опальным вельможей, всегда веселым, обходительным и любезным. По второй жене Алексей Федорович считался в свойстве со всеми Нарышкиными, из которых в Москве жил Иван Александрович, его ровесник, маленький, учтивый и большой шаркун перед высшими, имевший видную и кичливую жену и множество детей; старший его сын Александр погиб потом на дуэли с графом Федором Ивановичем Толстым-Американцем, о котором еще будет случай сказать. Другой московский Нарышкин — Александр Львович, сын знаменитого екатерининского балагура и сам человек остроумный, любил больше всего поесть. Грибоедов-дядя охотно у них бывал, ценил веселое общество, но племянник их шуток не понимал и строго судил их недостатки.

Он был не одинок в своих суждениях. Молодое поколение не понимало забав своих отцов. В конце восемнадцатого века шутки были в почете. Дернуть императора за косу парика, вытащить из-под иностранного посланника стул и при том вывернуться — это слава. Не менее славил тонкую игру слов и ума. Молодежь же начала девятнадцатого века презирала детские выходки, а изящных розыгрышей не замечала. Так, юный Жихарев попал на обед к Н. А. Дурасову в Кусково и всего наслушался от хозяина и его веселых сотрапезников, и всему поверил: и в домашнее шампанское и ликеры, и в спаржу с соседнего огорода, и даже проглотил старинную выдумку князя Цицианова о сукне из рыбьей шерсти,

будто бы поднесенном князем Потемкину. Всё принял за чистую монету, к удивлению пожилых, и пошел разносить об этих чудесах по Москве. И как же обижался и удивлялся потом, когда знакомые подняли его на смех и советовали обратиться к директору пансиона Антонскому, как профессору естественной истории, за разъяснениями о рыбьей шерсти. И долго потом его веселая кузина спрашивала: «Не из рыбьего ли сукна ваш фрак?» Так развлекались старшие, а серьезнее ли их юношество — оставалось еще неясно.

В свою очередь, Настасья Федоровна возила детей ко всем знакомым дамам по случаю их именин и других важных дат. Дамское общество одно могло научить правильному поведению в свете, привить изящные, благородные манеры. Кроме того, влияние женщин в свете было куда значительнее, чем влияние отставных или опальных сановников.

Жизнь и мнение Москвы определяли старухи. И это вполне понятно. По естественному ходу вещей, среди пожилого, уважаемого поколения они составляли большинство. Так — всюду, а особенностью Москвы являлось почти совершенное отсутствие зрелых мужчин в расцвете сил и карьеры. Здесь жили одни еще не служащие юнцы да уже неслужащие пожилые. Даже московские чиновники, вплоть до главнокомандующего, набирались из тех, кто не хотел или не мог рассчитывать на лучшую участь.

Но отнюдь не числом своим подавляли старухи московское общество. Это со стороны кажется, что женская жизнь была бедна событиями и волнениями потому только, что спокойно протекала на одном месте, в то время как мужчины отправлялись на войну или перемещались по делам службы. Какие особенные беспокойства угрожали мужчине? На войне он мог получить увечье или погибнуть — но смерти бояться одни трусы, а увечье чем страшно? оно принесет почетную отставку, уважение, пенсию, а потерю руки, ноги или глаза возместят слуги, иначе для чего они существуют? В мирное время или в статской службе волнений больше: заботиться, чтобы не обошли чином, переживать, когда обойдут, подличать перед высшими в надежде на скорое повышение... Всё так, но интригами при императоре Александре многого нельзя было достигнуть, да и начальника мелкий чиновник видел редко, а крупному лебезить не пристало. И в любом случае раболепствование могло научить потакать чужим порокам и прихотям — но и только.

Иное дело женщина. С самых юных лет она приучалась к необходимости найти себе мужа, всё ее существование подчинялось этой заветной цели. Годами она сообразовывала свое поведение со вкусами молодых людей и одновременно с одобрением пожилых дам. К семнадцати годам она лучше понимала мысли окружающих, чем мужчина в двадцать пять лет. Наконец, она выходила замуж и с радостью мелко мстила мужу за все тревоги, которые перенесла в погоне за ним (ведь развестись с ней он не мог!), а он не умел ответить: бить ее он не смел, а бороться иначе был неспособен. Она лучше его знала людей, их слабые струны и могла убить словом или взглядом; он же всегда занимался одним собой да, может быть, непосредственным начальником и плохо разбирался в человеческих душах, тем более женских.

Проходило сколько-то лет, и у дамы появлялись дочери на выданье. Тут наступал самый беспокойный период ее жизни: искать женихов, отбирать их (и быстро: молодые люди больше чем на сезон в Москве не появлялись, прозеваешь — другие перехватят), привлекать достойных, избавляться от недостойных, подталкивать нерешительных, сдерживать излишне предприимчивых, дружить с матерями, крутиться между кредиторами, улаживать дела к тому времени скончавшегося супруга... и так далее до бесконечности. В каждодневных битвах она узнавала людей, разные стороны их характеров лучше, чем ее муж за тридцать лет беспорочной службы, она совсем не думала о себе, а ответственность на ней лежала большая, чем на любом государственном муже. Можно исправить последствия проигранной войны, неудачной реформы, чрезмерного налога — но как изменить судьбу дочери, если момент упущен и надежды на замужество безвозвратно ушли?

Но вот она достигала всего — дочери пристроены. Теперь, на старости лет, она могла, наконец, пожить для себя одной. Она наслаждалась безнаказанностью, снисходительно наблюдала чужие усилия найти женихов, насмешливо давала советы, выплескивала все

презрение к людям, которое скопилось в ее душе за годы интриг и хитростей. Она никого не боялась, потому что бояться не привыкла. Мужчина всегда находился в подчинении, хотя бы императору — над женщиной же имели власть только родители, но это было очень давно.

Независимая, бесстрашная, решительная, разбирающаяся в людях и пружинах их действий — такой ее сделала жизнь, такой ее знает и боится Москва. Если она была добра по природе, она могла не стать грозой общества, но она всегда требовала почтения и подчинения — и получала их. Противостоять женщине было некому, никто этого не умел, никто и не смел учиться.

Самой своенравной и злоязычной старухой, бесспорно, являлась тогда Настасья Дмитриевна Офросимова, грубая со всеми без исключения; но это у нее была особая манера, род чудачества, стремление выделиться. Все перед ней трепетали.

Хуже ее никого уже не могло быть, а в общем-то она всего только и добивалась, что поклона да приседания пониже, все равно обязательных по отношению к старшим. Но за неуважение мстила немилосердно: так умела при всех ошельмовать, что от стыда сгорить.

То старуха, а среди маменек дочерей-невест не было равных Марии Ивановне Корсаковой, родственнице той чудачке, что кланчила блюда с чужих обедов. Мария Ивановна своим пяти дочерям нашла не пять, а семь мужей (!) — по мере надобности. Обходительная со всеми, мастерица улестить кредиторов, задать праздник, бал, но и богомольная (прямо после бала, в перьях и декольте, выстаивала утреню) — все над ней немного посмеивались: уж так умела очаровать, заколдовать молодых людей, они и не замечали, как делали предложение. А между тем все маменьки смотрели на нее и, не уважая ее, ей подражали.

Такие дамы царили в Москве, властвуя над пожилыми мужьями-домоседами. И кто скажет, что они не заслуживали восхищения?

Великих людей столицы Александр мог наблюдать не только у них дома. Возвращаясь по Никитской домой к обеду, он ежедневно пересекал Тверской бульвар, единственный настоящий бульвар Москвы. Около часу дня сюда как раз съезжалось все общество, прогуливалось среди березок и обменивалось поклонами. Здесь в любую погоду катался верхом Карамзин, одетый в старинную бекешу, подпоясанную красным кушаком. Гуляли по Тверскому и прославленные поэты, как Иван Иванович Дмитриев, и актеры, и модницы, и купцы. Достаточно было встать на бульваре — и увидеть всю Москву. Он был тогда ее лицом, но лицом утренним, без вечерних ярких красок, не одушевленным ни мыслью, ни весельем, ни живостью движения.

В остальном жизнь Александра не изменилась. Вечера он продолжал проводить в театре. Русская труппа с 11 апреля 1806 года получила статус императорского театра, и все бывшие крепостные актеры прибавили к своим фамилиям в афишах желанную букву «г.» (господин), все выросли в своих глазах на голову и раздувались от гордости и радости.

1 мая он опять был с дядей в Сокольниках, но на этот раз гулянье не показалось ему таким занимательным. Поезд графа Орлова был так же наряден, как в прошлом году, но люди, экипажи и лошади те же самые, ничего нового. Тесть Пашкова Е. Е. Ренкевич в своей палатке угощал всякого проходящего мороженым, бисквитами и вином либо чаем. На следующий день опять были скачки, победили опять лошади Мосоловых, за скачками пели цыгане, дрались кулачные бойцы. Театр напоследок дал «Наталью, боярскую дочь», переделанную из повести Карамзина Сергеем Глинкой, да так скучно и утомительно, что сил досмотреть не нашлось. Там наступило лето, там новый университетский год... Как подумаешь, что из года в год жизнь будет течь по заведенному порядку, поневоле о войне задумаешься.

Война, однако, закончилась весьма плачевно — унижительным миром с Наполеоном, по которому Россия перестала торговать с Англией: купцы лишились доходов, дворяне — модной одежды, дамы — духов, да и Англии пришлось несладко. Многие предвидели новую войну с Францией, но пока все было спокойно.

Первые два года в университете Александр учился посредственно, больше шая на лекциях, чем слушая профессоров. Для того и посылали с детьми гувернеров, чтобы, сидя на стульях около кафедры, они следили за прилежанием воспитанников, а вовсе не для того, чтобы продемонстрировать богатство маменек и отцов. Старший Лыкошин во всем обгонял Грибоедова, серьезно занимаясь наукой, а младший совсем ею не интересовался. Вместе с ними посещал лекции Василий Перовский, незаконный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского. В 1807 году его отца назначили попечителем университета вместо умершего М. Н. Муравьева, и Перовский, в свои восемнадцать лет, минуя все предыдущие степени, сразу был провозглашен доктором наук, произнеся ради этого звания две лекции по ботанике (одну по-немецки, другую по-французски) и одну лекцию по русской литературе. Глядя на внезапный успех прежнего сокурсника, Владимир Лыкошин решил готовиться к экзамену на степень кандидата и сочинил на русском языке (по незнанию латыни) диссертацию о великом переселении народов, списав ее у английского историка Гиббона, прочитанного во французском переводе в домашней библиотеке профессора Авиа де Ваттуа: так распространяется просвещение!

Настасья Федоровна, узнав о намерениях Лыкошина, непременно захотела, чтобы ее сын экзаменовался вместе с ним. Александр попытался отговориться отсутствием диссертации и каких-то особенных успехов, но мать настояла на своем. Экзамены полагалось держать по всем предметам своего отделения, а по главному предмету — представить письменное сочинение. Лыкошин выполнил все требования, Грибоедов — ни одного. В начале июня 1808 года, незадолго до торжественного университетского акта, мальчики, в сопровождении вечных Петрозилиуса и Мобера, предстали в конференц-зале перед новым ректором Иваном Андреевичем Геймом: вполне понятно, что Лыкошин отвечал гораздо лучше Грибоедова, но никакого влияния на исход испытаний это не оказало — оба были провозглашены кандидатами словесности с правом носить шитый золотом мундирный воротник. 30 июля в присутствии всего университета и той, незначительной, части Москвы, что еще не разъехалась по деревням, друзья получили кандидатские дипломы вместе с еще семью юношами. Добившись цели, Лыкошин как старший полетел хвастаться 12-м классом перед кузинами, а потом уехал в Петербург поступать в службу. Младший Лыкошин от зависти к брату просто бросил учение. Грибоедов же отправился, как всегда, на лето в Хмелиты.

Пока Александр наслаждался свободой, избавленный, как кандидат наук, от утренних уроков с Петрозилиусом, старшие его родственники держали в гостинной совет о том, что делать с ним дальше. Отправлять его в службу было рано, следовало еще года два повременить. Алексей Федорович предлагал отдать племянника в какое-нибудь военное училище, хотя бы в Школу колонновожатых — почти естественное продолжение университетской стези для московских юношей, но Настасья Федоровна решительно отвергла эту идею. Тетушки советовали послать Александра в Геттингенский университет, куда как раз уезжал заканчивать образование соученик его по пансиону и университету Николай Тургенев. Но Тургенев был все-таки постарше, посамостоятельнее, а за Сашу мать вечно дрожала, боялась, вдруг он заболит на чужбине — что тогда будет с ним без неперменного московского доктора Фреза? Без дозволения Фреза ни выздороветь, ни умереть, ни даже жениться в Москве не полагалось. В конце концов Грибоедовы приняли самое простое решение: оставить единственного продолжателя своего рода в родном университете в надежде достичь более высокой ученой степени и чина, но Алексей Федорович посоветовал сменить факультет: в будущей гражданской службе принесло бы пользу изучение правовых наук. На том и порешили, поскольку так всем оказалось удобнее. Для Настасьи Федоровны наступавший сезон должен был стать хлопотным — пришла пора вывозить Марию в свет, ей уже минуло шестнадцать. Значит, утро матери с дочерью будет занято поездками к портнихам и во французские лавки, вечера — балами и визитами. Александр же будет при деле, утром посещая занятия, а вечера проводя в театре.

С тем и вернулись в Москву в октябре. Мария начала выезжать, чему очень

способствовал ее дядя. Для своей старшей дочери Елизаветы Алексей Федорович начал с этого года задавать славившиеся на всю столицу балы и маскарады, куда, естественно, приглашал сестер с их повзрослевшими дочерьми. С его маскарадами соперничали только маскарады Позднякова, владельца крепостной балетной труппы и остатков крепостного хора. (Маскарад, кстати, не бал, хотя могли быть и балы-маскарады, где просто танцевали в масках и костюмах, но настоящий маскарад — это скорее костюмированное шествие по залам, когда группки лиц всякого возраста представляли без слов сценку или тому подобное: например, оденутся все эскимосами и выедут на санях, даже и кресло какой-нибудь старухи поставят на полозья. Это выходило порой забавно и приятно всем, а не только танцорам, как балы. Тут любой мог отличиться, и барышни не страдали от ущемленной гордости, сидя у стенки без кавалеров, как нередко случалось на танцах.)

Марии не грозила участь затеряться в светской толпе. Она была не особенно хороша собой, но привлекала прекрасными, выразительными глазами и благородной простотой и сердечностью, выдававшими нежную душу и просвещенность. На балах она не блистала, но ее кузина Елизавета, как дочь хозяина, всегда находилась в окружении кавалеров и заботилась о том, чтобы Мария не пропускала ни одного танца. Хозяйки домашних праздников и концертов очень скоро оценили Машины таланты, и с первого же ее сезона ни один музыкальный вечер не проходил без ее участия. Исполнительское превосходство Грибоедовой было так велико, что в ее присутствии барышни не смели и приблизиться к фортепьяно или арфе. Лишь Алексей Дурново, преданный ее поклонник, удостоивался чести выступать вместе с ней, играя на скрипке или флейте. Мария не только развлекала праздную светскую публику, но всегда украшала своим участием благотворительные концерты. Самый яркий концерт она дала 4 января 1811 года, настолько выделившись среди других дворян и множества настоящих музыкантов, что удостоилась не простой заметки в газете, а целого восторженного стихотворного послания к ее таланту, напечатанного в «Московских ведомостях». Настасья Федоровна радовалась успехам дочери и не упускала случая выставить ее напоказ, усадив за инструмент, однако искателей руки у девушки как-то не появлялось, совершенное отсутствие приданого уничтожало притягательную силу ее чар. Дурново же был слишком юн и в женихи не годился.

Балы зимы 1808/09 года ознаменовались появлением нового, скандального танца — вальса. Русская армия вынесла его из Австрии после похода к Аустерлицу, но дерзкие попытки гвардейцев закружить девиц в своих объятиях вызвали бурю возмущения всех высоконравственных особ. Гвардия из Москвы ушла, а вальс остался. Никто не умел его танцевать, но все о нем мечтали. Были дома, где на первых порах его не дозволяли, но очень быстро матушки смирились: лучше уж позволить дочерям участвовать в неприличном, безумном верчении, чем видеть их сидящими у стенки. Однако вальс прост, но коварен: свободное, подпоясанное под грудь платье дамы в вихре танца могло обвить ноги неумелого кавалера, и пара валилась на пол под всеобщий хохот, что было и позорно, и небезопасно. В вальсе впервые пары стали независимы друг от друга, не должны были выстраивать общих фигур и могли свободно перемещаться по зале. Но тем оказалось сложнее с непривычки. Пары сталкивались, причем хуже приходилось дамам: они ведь двигались спиной вперед, не видя, что происходит сзади, и невнимательные партнеры могли очень больно ударить их о колонну или столкнуть с другой парой. Девушки, уже выезжающие в свет, и юноши, казалось бы, избавленные от уроков, вынуждены были вернуться к Иогелю и разучивать вальс и другой новомодный танец — французскую кадрили.

Настасье Федоровне пришлось снова возить детей в танцклассы — обычно в дом Пушкиных у Елохова моста, где собиралось большое детское общество под присмотром старухи Ганнибал и милой Елизаветы Петровны Яньковой. Янькова, рожденная Корсакова, правнучка историка Татищева, пользовалась всеобщим уважением, была со всеми равно добра и приветлива, при ней нельзя было ссориться или сплетничать, и сама она ни о ком худого слова не говорила, разве уж за дело. У нее было несколько дочерей, и вместе с Ольгой Пушкиной, Марией Грибоедовой и ее кузинами, дочерьми Алексея Федоровича, и

другими девочками, барышень оказывалось премножество, а кавалеров не хватало. Хозяйский сын, девятилетний Саша, в танцах участвовал редко — до первой насмешки над его неловкостью. Грибоедову приходилось вытанцовывать со всеми девицами, выше и старше его, и хотя он не смел противоречить матери, как Саша Пушкин, но в глубине души завидовал его своевольству и даже неопрятности. Впрочем, мелодии вальсов Грибоедову по-прежнему очень нравились, а от уроков он по возможности уклонялся под предлогом университетских занятий.

На самом деле в университете он не учился, а посещал вольным слушателем частные лекции профессора Иоганна-Теофила Буле. Правда, Буле один мог бы заменить все отделение гуманитарных наук. Ученый с мировым именем, воспитатель ганноверских и английских принцев (что тогда было почти одно и то же), знаток античной философии и культуры, историк, правовед, психолог, он возглавлял кафедру теории и истории изящных искусств на словесном факультете и одновременно кафедру естественного права на этико-политическом факультете, читал публичные лекции по философии, литературе, метафизике, логике, праву, истории культуры России, издавал журнал и многочисленные сочинения во славу Московского университета. Он произвел огромное впечатление на Грибоедова, впервые серьезно заинтересовав его наукой, особенно словесностью. Занятия у Буле Александр не пропускал и постоянно встречался там со своими сверстниками, братьями Михаилом и Петром Чаадаевыми и их кузеном князем Иваном Щербатовым. Мальчики вскоре подружились и стали бывать друг у друга, к великому восторгу Настасьи Федоровны. Она была необыкновенно довольна новыми знакомыми сына, стремясь принять их в свой дом и через несколько лет, может быть, увидеть среди поклонников Марии. Ради общения с приятелями она даже позволяла сыну не учиться, а бесполезно, как ей думалось, тратить время у Буле.

Князь Дмитрий Михайлович Щербатов, отец Ивана и опекун Чаадаевых, был истинный вельможа в духе прошлого века, просвещенный, добрый и богатый. Детей он любил, баловал и давал им исключительное, блестящее образование, а к Буле отправил для расширения кругозора. Он-то не вполне казался доволен частыми визитами Ивана в дом Настасьи Федоровны, которую недолюбливал за вздорный характер и никак бы не желал видеть тещей сына. Князь намекнул Ивану, что будет разумнее приглашать Грибоедова к себе, а не ездить к его матери. Иван отличался веселым, общительным нравом, легко увлекался людьми и идеями, и благодаря ему дом Щербатовых собирал интересное общество. Михаил Чаадаев в такой яркой и жизнерадостной компании терялся, будучи крайне медлителен и флегматичен, что многими принималось за тупость. Зато младший Чаадаев решительно выделялся среди московских юнцов и почитался всеми матушками благороднейшим образцом для их сыновей. Он охотно танцевал на детских балах, имел многообещающую наружность и необыкновенно изящные манеры, сочетавшиеся с истинно барской небрежностью и своеволием. Для Грибоедова, как и для его матери и сестры, он стал кумиром. Александр даже начал охотнее учиться у Иогеля, не желая ни в чем отставать от такого великолепного танцора.

Теперь Грибоедов большую часть времени проводил с Чаадаевыми и князем Иваном. Вместе они занимались у Буле, вместе обедали в трактире Бацова около Охотного Ряда, содержатель которого прекрасно знал Щербатовых, вместе ходили вечерами в театр, ища повода высмеять знакомых, актеров и авторов. Раз в неделю у князя Ивана собирался постоянный круг друзей, включавший молодого поэта, позже совсем забытого — Захара Алексеевича Буринского, Петрозилиуса, принимаемого в качестве немецкого поэта, а не гувернера, и родственника Грибоедова, тихого, мечтательного Ивана Якушкина, поселившегося у профессора Мерзлякова. Иногда тут бывала с братом Мария Грибоедова и всегда красавицы сестры Щербатовы, Елизавета и Наталья, в старшую из которых был влюблен Буринский, а о младшей безответно вздыхал Якушкин.

Из такого постоянного дружеского общения совершенно разных по нраву, но близких по интересам детей понемногу составилось нечто вроде собрания, имевшего ученый,

поэтический и просто веселый характер. Члены его встречались, как правило, у Щербатовых, если Грибоедов не был болен (а он продолжал часто болеть). Когда это случилось в первый раз, он отправил князю французскую записку, донельзя вежливую, написанную под диктовку Настасьи Федоровны: «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на вашем собрании, тому причина — мое недомогание. Рассчитываю на вашу любезность, надеюсь, что вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня обяжете, согласившись на мое приглашение, так же как ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и т. д., г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный вам Александр Грибоедов». В оригинале эти фразы звучат не так чопорно, являясь ходовыми выражениями письменной речи, но сама по себе мысль писать приятелю по-французски выглядела странно. Александр оправдывался тем, что по-русски пишет не слишком грамотно. Петрозилиус мог научить его всему, кроме русского правописания. Он писал больше по слуху, почти фонетически. Но друзья его успокоили — все же в таком положении. Кто может назвать русскую азбуку в должном порядке? Почти никто! Да и зачем русскому дворянину знать отечественную грамматику? Вот на чужом языке стыдно писать с ошибками. А родной язык — в его власти. Известно же, что и высокопоставленные французы по-французски плохо знают. Это их право. Князь Иван сохранил записку как курьез и, придя со своей компанией на ужин к Грибоедовым, столь ясно высказал свое мнение о ней, что больше никогда Грибоедов к друзьям по-французски не писал. (Но говорил он только по-французски, и многие сомневались, вполне ли он владеет русским языком устно, а не письменно.)

В щербатовской компании Грибоедов стал первым в проказах и проделках, но во всем прочем не выделялся. Как все мальчики тех лет, он пробовал писать стихи, но никому, кроме сестры, их не показывал и ни во что не ставил. Он иногда экспромтом сочинял эпиграммы, забавляя друзей в театре или на гулянье, но никогда их не записывал.

Московская труппа переживала пору расцвета. Петровский театр отстроили заново у Арбатских ворот по проекту петербургского архитектора Росси. Новое здание было классически красиво, с портиком и с излюбленной Росси колоннадой. Здесь играли императорские актеры, в подкрепление которым из Петербурга выписали знаменитого танцовщика Дюпона с балеринами, и Москва повалила на балеты, хотя до петербургских им было далеко. По духу времени зрители и дирекция не забывали выказывать патриотические чувства. 6 декабря, в честь пребывания в столице императора, Арбатский театр дал оперу «Старинные святки», где издавна была хороша Сандунова. Все ждали ее арии «Слава нашему царю, слава!», после чего зал встал, обратился к царской ложе и вскричал: «Слава царю Александру!» Петр Чаадаев при сей демонстрации едва не выскочил из театра: он очень тяжело переживал унижение российской гордости после Тильзитского мира с Бонапартом и даже разъярял московскому полицмейстеру возмутительность раболепствования перед французами. Когда в Москву приехала с гастрольями великая французская трагедийная актриса Mlle Жорж, в расцвете молодости и красоты, и на сцене началось невиданное прежде соревнование ее с русской восходящей звездой Екатериной Семеновой, он присоединился к партии, стоящей за Семенову. Грибоедов, конечно, последовал примеру своего друга, и щербатовская компания рьяно взялась обеспечивать успех русской партии, шикая Жорж и вызывая ее соперницу, невзирая ни на какие достоинства и недостатки. Это была вторая театральная баталия (после бенефиса Nemo), в которой участвовал Грибоедов, и она пришлась ему очень по вкусу. Несколько недель он не пропускал ни одного представления и возвращался домой, упоенный веселой борьбой.

Еще большее впечатление на друзей произвела великолепная трагедия Владислава Александровича Озерова «Дмитрий Донской», чья прошлогодняя премьера в Петербурге стала национальным событием, эхо которого докатилось наконец до Москвы. Сюжет пришелся как нельзя кстати, а патриотические стихи публика применяла к современным обстоятельствам и встречала бешеными рукоплесканиями и топотом. Особенно горячо приветствовали монолог князя Дмитрия «Ах! Лучше смерть в бою, чем мир принять

бесчестный!». Тут и Чаадаев присоединялся ко всеобщему шумному одобрению. Если бы не соотнесения с недавними и ожидаемыми войнами да не превосходная игра актеров, пьеса Озерова понравилась бы меньше. В ней находили смешные стороны, особенно не одобряли путешествия княжны Ксеньи по стану русских воинов с не совсем уместной целью поскорее выйти замуж и тем пресечь раздоры между Дмитрием и другими князьями. Да и сам Дмитрий Донской получился у Озерова каким-то рыцарем, движимым любовью к даме сердца, а не героем и патриотом. Александрийские стихи тоже были не без греха, но при чтении со сцены все это скрадывалось и нисколько не влияло на горячий прием зрителей. Русский театр выходил из младенческого состояния и становился ареной борьбы людей и идей — хотя бы, для начала, по пустякам.

Зато летом, в Хмелитах, театральная жизнь замерла. Алексей Федорович распустил свою труппу, оставив только любимый цыганский хор. После комедии Шаховского «Полубарские затеи», безжалостно высмеявшей крепостные театры и их обладателей, держать актеров стало совсем не модно и даже стыдно. К тому же Грибоедов-старший все более запутывался в долгах: разоряясь в Москве на великолепные приемы, он рад был в деревне сократить расходы. В тот год в имении впервые появилась его младшая дочь, пятилетняя Соня, прежде проводившая лето с матерью. Это была очень бойкая и живая девочка, и Саша охотно играл с ней в веселые игры.

К лету 1810 года он мог считаться почти взрослым. Его приятель Чаадаев уже принялся жить, руководствуясь собственным произволом, ездить и ходить куда бы ему ни вздумалось, никому не давая отчета и приучая всех этого отчета не спрашивать. Впрочем, в его действиях не было ничего предосудительного, и маменьки продолжали ставить его в образец сыновьям. Несмотря на такой пример, Настасья Федоровна не отпускала пока сына из-под своего крыла, но с Петрозилиусом пришлось расстаться: держать гувернера было бы уже смешно. Где же видано, чтобы при юноше, почти уже мужчине, находился гувернер?! Пятнадцати-шестнадцатилетний возраст был тем поворотным пунктом, когда молодой человек получал свободу от постоянной опеки³. Оставить гувернера дольше можно было только в случае крайней тупости воспитанника, на манер фонвизинского недоросля, либо в случае его крайней болезненности, вызвавшей отставание от сверстников. Но Грибоедов болел хотя много, но не серьезно, и в развитии умственном и телесном не задерживался. В тупости же его, несомненно, и злейший враг не мог бы обвинить. В качестве окончательного свидетельства возмужания Александр получил собственного камердинера — им стал слуга, уже два года живший в доме, молодой немец Амлих, в чьи обязанности входило и бритье.

С осени Александру следовало поступать в службу. Настасья Федоровна это понимала, но, проча сына по дипломатической части, в Коллегию иностранных дел, должна была бы отпустить его в Петербург. Ей все еще казалось это боязным, а Александр, хотя мечтал избавиться от материнского попечения, не очень стремился влачить жалкое существование мелкого служащего, занятого простенькими переводами и переключиванием бумаг. Он убедил мать, что будет разумнее остаться в университете и готовиться к экзамену на звание доктора наук, что даст продвижение в чинах легче и быстрее, чем служба в Коллегии. Теперь он и сам стремился к более высокой ступени в Табели, с которой удобнее было бы вступать во взрослую жизнь.

В новом учебном году он записался вольнослушателем на лекции профессоров этико-политического отделения: у Х.-А. Шлецера (младшего) он слушал курс политических наук и посещал особые занятия по политическим предметам; у Ф.-Х. Рейнгарда слушал естественное и народное право, историю философии, общественную историю европейских государств и даже историю Просвещения XVIII века, у Х. Л. У. Штельцера — историю

³ Вот, кстати, наиболее очевидное возражение против версии о рождении Грибоедова в 1790 году. Петрозилиус не мог состоять при нем до двадцатилетнего возраста.

римского и уголовного права, гражданское право, уголовную психологию и энциклопедию прав; у Н. Н. Сандунова, бывшего театрального переводчика и сенатского служащего, а теперь профессора, — российское законоведение. Все преподаватели были светилами первой величины не только в России, но и в Европе, и выбор их свидетельствовал о самых серьезных намерениях Грибоедова. Кроме того, он был вынужден заняться математикой, которую успел позабыть за прошедшие два года.

Прежняя его компания распалась. Чаадаевы, Щербатов и Якушкин оставили университет. Буринский рано умер «от заблуждения страстей» (Петрозилиус посвятил его памяти немецкое стихотворение, напечатанное за счет Грибоедова). Александр нашел новых друзей: братьев Александра и Никиту Всеволожских, с которыми его сближала общая любовь к музыке; Артамона и Никиту Муравьевых и их родственников братьев Александра, Николая и Михаила Муравьевых — все Муравьевы увлекались политическими идеями не только в студенческой аудитории и составили даже общество «Чока», ставившее целью основать республику на острове Сахалин. Грибоедов с ними очень дружил, но в общество не вступал, оставаясь пока под влиянием Петра Чаадаева.

Теперь он приходил в университет без Петрозилиуса, успешно подвизавшегося на государственной службе в Московской практической академии коммерческих наук. Заниматься одному Александру было с непривычки скучно и трудно, и в помощь ему Настасья Федоровна приняла в дом казеннокоштного студента Иоганна Готлиба Иона, учившегося прежде у Буле в бытность того в Геттингенском университете и им рекомендованного. Ион был несколькими годами старше, ходил с Александром на все лекции, кроме сандуновских, читавшихся по-русски, помогал ему в занятиях латынью и как бы опекал его, по мнению Настасьи Федоровны. Впрочем, по-латыни Ион с Александром читали не столько ученые труды, сколько комедии Плавта и Теренция, что отвечало их общим вкусам.

В 1811/12 учебном году Грибоедов записался своекоштным студентом, а не вольнослушателем. Он не был сыном попечителя университета, и потому должен был действительно готовиться к защите диссертации, что представлялось сложнее, чем получение кандидатской степени три года назад. Фаворит императора Михаил Михайлович Сперанский ужесточил порядок получения новых званий и даже ввел экзамены при переходе из чина в чин для всех, не получивших университетского диплома. Это многих тогда возмутило и предопределило скорое падение Сперанского. Грибоедов был наперед избавлен от всяких испытаний как кандидат наук, но докторская степень ему пока не давалась.

В том году произошла нехорошая история в университете: новый попечитель П. И. Голенищев-Кутузов невзлюбил Буле, донес прежнему попечителю графу Разумовскому, теперь министру просвещения, что немец выступает против создания кафедры славянской словесности (что было совершенно неверно), начал травлю Буле и вынудил его уйти с поста декана словесного отделения, из университета и, в конце концов, уехать из России. Вместо Буле кафедру словесности возглавил Михаил Трофимович Каченовский. Замену немецкого профессора русским (хотя Каченовский был, собственно говоря, греком по происхождению) проделали столь некрасиво, что Грибоедов и его друзья, высоко ценившие ученые заслуги Буле, искренно за него огорчились. Под влиянием сильных чувств Александр внезапно взялся за перо и написал шуточную трагедию «Дмитрий Дрянской», пародирующую прославленного «Дмитрия Донского». Начиналась она так же, как у Озерова, — советом русских, которые хотят изгнать, но не татар из России, а немцев из университета. Все приготавливались к бою, и русские одерживали победу: профессор Дрянской, издававший журнал (Каченовский был еще и журналистом, недостойным преемником Карамзина в «Вестнике Европы»), выходил вперед, начинал читать первый номер своего журнала — и немцы засыпали. Несмотря на подражание тяжеловатому слогу Озерова, пьеска Грибоедова, по мнению его приятелей, получилась довольно забавной, полной юмора, и многие стихи показались им превосходными. Но, кроме близких друзей, автор ее никому не читал, не столько из скромности, сколько из высокой к себе

требовательности.

Глава III ГУСАР

В России враг... и спит наш гром!
Почто не в бой? он нам ли страшен?
Уже верхи смоленских башен
Виятся пламенным столбом.

М. В. Милонов

Зимой 1812 года Александр получил право самостоятельно бывать в свете, но почти никогда этого не делал — и по самой смешной причине. Московским главнокомандующим был тогда граф Иван Васильевич Гудович, человек достойный, но угрюмый. Будучи подслеповатым и одноглазым, он не выносил очков и, пользуясь своим высоким положением, даже в чужом доме, завидя посетителя в очках, посылал к нему слугу с наказом, что нечего здесь-де так пристально рассматривать и пусть-де очки снимет. Александр же без них становился совсем беспомощным, уже в шаге не различал лиц и боялся показаться неловким, налетая на стулья. Он изредка ездил только к дяде, когда был уверен, что Гудович не приглашен. В глубине души он завидовал успехам Петра Чаадаева, ставшего настоящим светским львом. Тот превратился в совершенного денди: ничего лишнего, простота, доведенная до высшей элегантности, тщательно уложенные короткие завитые локоны и изощренный бант шейного платка на высочайшем подгалстучнике.

Галстук остался в ту пору единственным украшением мужского костюма, и никто не доверял его завязывание камердинеру. Узел служил внешним отражением личности дворянина: простое пересечение двух концов выдавало отсутствие воображения, свисающие концы — неряшливость или похмелье (однако лорд Байрон, гордившийся своей античной красоты шеей, сделал несколько лет спустя свободный галстук неотъемлемым признаком гения — или подражателя гению), сложный эффектный бант показывал высокое о себе мнение. Были и более тонкие отличия: восточный узел, математический и прочие, выражавшие оттенки характера и даже настроения человека. Мода на галстуки захватила молодежь, пожилые мужчины ею пренебрегали, потому что под мундирный воротник узел не завязывали (хотя Чаадаеву и это удавалось), а фраки в России носили одни неслужащие юнцы. Чаадаев в Москве слыл законодателем вкуса, всегда завязывал сложный бант и усвоил небрежно-равнодушный тон речей, характерный для фата, какого ему угодно было тогда изображать. Приятели во всем следовали его примеру, заказывали фраки и перчатки у лучших портных, часами учились завязывать галстук, но отнюдь не достигали того же положения в обществе. Хозяйки балов охотились за Чаадаевым как за лучшим танцором столицы, и та из них, которая не смогла бы его позвать к себе, могла быть уверена в величайшем негодовании всех маменек и дочек.

Грибоедов порой терялся в тени своего выдающегося друга, хотя на балах Москвы не пренебрегали и последним увальнем. Зато он брал свое на музыкальных вечерах. Фортепьянная слава сестры предшествовала ему в гостиных, и для барышень не было большего счастья, чем увидеть его в скучном собрании около инструмента и позволить часами играть и импровизировать вальсы, которые они танцевали в уголке гостиной. В музыке заключалось единственное удовольствие, которое Александр получал от пребывания в свете, и единственное, которое он доставлял свету.

В марте 1812 года московское дворянство избавилось, наконец, от графа Гудовича и убедило императора назначить на его место главного московского патриота графа Ростопчина. Все ждали новой войны, и такой выбор казался правильным. Впрочем, войны не

опасались, относились к ней с легкостью: мол, Тильзитский мир оттого и заключили так беспечно, чтобы нарушить при удобном случае, и неладные отношения с Бонапартом никого не смущали — пусть грозит, повоюем. Ростопчин был наилучшим выразителем таких настроений и имел мужественный вид, хотя несколько походил на татарина, своего далекого предка. Дамы очень не одобряли его жену, урожденную Протасову, властную, тощую, с громадными ушами и грубым голосом (это-то все не недостатки), но, главное, католичку! Графиня перешла в католицизм еще в 1806 году, живя в Петербурге и страдая от крушения мужниной карьеры. Две ее дочери и четыре сестры со всем их потомством тоже стали католичками. Московскому главнокомандующему накануне войны с французами не следовало бы иметь такую жену, но графиня в его дела не вмешивалась, а ее католицизм был отчасти наносным, принятым под влиянием старшей сестры Александры Петровны Голицыной (в роде Голицыных католики встречались часто, даже становились католическими монахами и миссионерами).

Ростопчин не был гонителем очков, но Александр не успел насладиться светской жизнью, как наступила весна. Пора было уезжать в деревни, и все же москвичи медлили, тревожно ловя слухи о войне. Одни пугали: «Ну что, собираетесь в путь? Не теряйте времени, а то француз нас врасплох застанет, всех переколет», — а сами между тем оставались в городе. Ростопчин, напротив, успокаивал: «Кто это выдумал, что у нас разрыв с Францией? А ежели бы и была война, разве допустят до Москвы? Помилуйте, да ему и через границу переступить не дадут».

Грибоедовы не знали, кого слушать, ехать ли в Хмелиты. Наконец, в начале мая Алексей Федорович получил недвусмысленный совет от Степана Степановича Апраксина, по старой памяти заботившегося о смоленских знакомых. Тот очень ясно сказал: «Не полагайтесь на официальные известия и на то, что говорит Ростопчин, — дела наши идут нехорошо, и мы войны не минуем. Не разглашайте, что я вам говорю, а собирайтесь понемногу и укладывайтесь: может случиться, что Бонапарт дойдет до Москвы, будьте предупреждены».

Разумеется, после такого совета никто не поехал на запад, навстречу приближающимся французам. Настасья Федоровна на всякий случай раздобыла наличные деньги, продав свою часть сельца Тимирева в пятьдесят шесть душ — остаток ее приданого. Друзья Александра уехали в армию: Чаадаевы, Щербатов и Якушкин — в Семеновский полк, младший Лыкошин — в Преображенский, все Муравьевы — в штабы корпусов разных русских армий. Носить в такое время студенческий мундир, сидеть с матерью в Москве казалось Грибоедову постыдным. Он мечтал отправиться вслед за друзьями, но мать жестко и резко осадил его. Без ее согласия, конечно, ни один полковник не осмелился бы принять к себе молодого человека. Настасья Федоровна не была еще старухой, но связи имела огромные, характер тяжелый и легко могла испортить карьеру офицера, а сына при желании упечь хоть на Соловки за непослушание священной родительской воле. Это было в ту пору очень тяжелым, почти уголовным обвинением.

Так, например, случилось с полковником Депрерадовичем, заслуженным боевым офицером, которого мать вздумала обвинить в неуважительном к ней отношении. Все знали, что единственная вина полковника — нежелание уступать матери безраздельно все имение; но сделать ничего не могли. Император лично отдал приказ о содержании полковника в крепости, доколе он не согласится коленапреклоненно просить у матери прощения за нанесенные обиды. Депрерадович наотрез отказался и целый год просидел в заключении. В конце концов мать изволила его «простить» — но имение не отдала!

Родители воистину имели полную власть над детьми, и благо, что они редко ею пользовались, по незнанию отечественных законов.

В середине июня в столицу пришло известие, что Бонапарт переступил через границу. Началась война; говорили, что император сам ездил к войскам и хотел остаться командовать ими, но передумал, чувствуя, что он будет нужнее для управления страной, и воевать

предоставил генералам. Московское дворянство, не ожидая царского манифеста, собрало и вооружило ополчение из крепостных, а в конце июля торжественно отпраздновало заключение Кутузовым выгодного мира с Турцией. В то лето в столице осталось на редкость много народу, и каждый стремился доказать свою преданность правительству.

Когда были опубликованы Высочайший манифест и воззвание Синода с призывом защитить Отечество, многие богачи и вельможи поспешили отличиться. Измайлов сформировал на свои средства рязанское ополчение, молодой Дмитриев-Мамонов — казачий полк, Демидов — егерский, князь Гагарин — пехотный. Таким путем они покупали не только почет, но и звания, конечно, не настоящие, потому что их полки не входили в состав воинской силы и военные должности в России не продавались, как в Англии; но в обществе это различие сглаживалось, их именовали полковниками, что льстило самолюбию.

Граф Петр Иванович Салтыков решил перещеголять всех и просил дозволения сформировать в Москве гусарский полк, которому выхлопотал красивую черную форму, украшенную у офицеров золотым шитьем и шнурами. По городу была объявлена запись в новый полк: принимались все от двадцати до сорока пяти лет, «не затрудняясь, если несколько старше или моложе, имея в виду лишь силу телесную... лишь бы представляемый в воины был не урод и не карла». Услышав о наборе, Александр под каким-то предлогом ушел из дому, явился лично к Салтыкову и упросил графа принять его в полк. Петр Иванович был уже человеком пожилым, больным, в отставке штаб-ротмистром, характер имел решительный и независимый, никакая вздорная мамаша не могла уже испортить ему жизнь и судьбу: он понял юношу и зачислил его к себе корнетом. Раз внесенный в списки полка, Грибоедов не мог бы уже самовольно из него выйти без позора и наказания. В восторге от своей удачи он сообщил матери пренеприятное для нее известие. Настасья Федоровна закатила ужасный скандал и заметалась по Москве, надеясь поворотить события вспять.

Но она не нашла поддержки. Салтыков ее не принял, сославшись на важные заботы по полку, а московские дамы, у которых сыновья служили в гвардии и армии, не стали ей сочувствовать, находя ее причитания малодушными. Старуха Офросимова, сама имевшая четырех сыновей в гвардии, со свойственной ей резкостью заявила: «Убьют так убьют, успеете и тогда наплакаться». Алексей Федорович, хоть и не желал ссориться с сестрой, был весьма доволен поступком племянника. Сам он не проявил той храбрости, которая отличала его в молодости, и не решился, как его соседи И. Б. Лыкошин и С. А. Хомяков, пересидеть войну в имении, не лишая его хозяйского пригляда. Он собрался в случае беды уехать к владимирской родне и тем более был рад, что хоть один представитель Грибоедовых поддержит семейную славу на полях сражений. С возросшим удовольствием он стал делиться с Александром воспоминаниями о суворовских временах, теми вечными «Я, брат...», которые сызмала надоели молодежи.

Настасье Федоровне пришлось смириться, тем более что формирование полка Салтыкова шло очень медленно. Граф был не так богат, как ему казалось. Только первые добровольцы, в их числе и Грибоедов, получили оружие. Прочим не хватало ни амуниции, ни коней. Опытные воины находились в регулярной армии, а в московский полк записалось три-четыре отставных пожилых штаб-офицера, два десятка юных корнетов из лучших семей, не обученных строю и потому негодных к настоящей службе, да две-три сотни солдат и унтер-офицеров из всякого сброда. Волонтеров никто не муштровал, и они были предоставлены самим себе.

Грибоедов продолжал жить в родном доме. В живописной гусарской форме он показался себе самому и соседским барышням интереснее прежнего. Гусарский мундир прельщал не только дам, даже Чаадаев перешел из Семеновского полка в Ахтырский гусарский, увлекшись красотой формы. Грибоедов предпочел поступить к Салтыкову, а не в московское или владимирское дворянское ополчение, по той же существенной причине. Один бледный, болезненный юноша, почти мальчик, Петр Генисъен, знавший Александра по университету и издали восхищавшийся его учебными успехами и живым нравом,

непрерывно решил идти по его стопам и тоже записался к Салтыкову. Он постарался завязать с Грибоедовым дружбу, полагая теперь себя равным ему, как однополчанин. Черные гусары то и дело стали мелькать на улицах Москвы и быстро сходились, даже если прежде не были знакомы. К Грибоедову пристал еще один юный корнет — Николай Шатилов, мечтавший о славе души общества и первого балагура. Шатилов полагал, что вместе с Грибоедовым составляет удачный дуэт весельчаков, однако его шутки казались взятыми из старых французских авторов и мало кого забавляли. Александр почувствовал себя гораздо увереннее, обнаружив, что во всем превосходит хоть двоих (а может быть и больше) сослуживцев.

Между тем война шла, а салтыковский полк оставался на бумаге. 5 августа французы после тяжелейших боев заняли Смоленск, через три дня — Вязьму. Родные места Грибоедовых оказались во власти неприятеля. Алексей Федорович мысленно распростился с Хмелитами: как им уцелеть! Москва потихоньку пустела, многие дворяне, у кого были имения или друзья на востоке, по Волге, стали покидать столицу, стараясь забраться подальше — и все казалось, что близко. Прочие пока оставались. Пришло известие о Бородинском сражении, но Бонапарт, хоть и был сильно поражен, шел к Москве. 30 августа Арбатский театр дал свой последний спектакль — оперу «Старинные святки», которая так возмутила Чаадаева в дни Тильзитского мира. Теперь ее патриотический дух пришелся как нельзя кстати. Грибоедов слушал привычные слова, смотрел на привычную Сандунову и не знал, когда вновь окажется в зрительном зале — и окажется ли когда-нибудь! Со времен польских предков Грибоедовых враг не угрожал столице, и никто не мог и помыслить, что такое возможно...

И вот дан был приказ оставить Москву. Полк Александра выходил утром по Владимирскому тракту, и вслед за ним уезжали его родные. На улицах было точно гулянье: тянулись экипажи, кибитки, кареты, все спешили, ехали, кто шел пешком, навьюченный узлами. Все корили на чем свет Ростопчина, до последней минуты удерживавшего население в городе, всё скрывая и всех обманывая, то ли с умыслом, то ли потому, что сам не верил в дерзость врага. Это было 1 сентября — последний день жизни старой Москвы.

Никогда прежде не покидали москвичи своего города, и многие предчувствовали, что расстанутся с ним навсегда...

Но молодые гусары Салтыкова отнюдь не ощущали трагичности московского исхода. Сидя на прекрасных конях, купленных на родительские деньги (не идти же кавалеристу пешком!), в новой форме, они наслаждались радостью прежде невиданной свободы. Командиров над ними почти не было. Юнцы даже не пытались держать строй, тем более что многие не умели этого. Генисьен производил впечатление человека, который вообще не совладал бы с лошастью, не будь она совершенно смирной. Шатилов скакал и дурачился, его веселость казалась бы окружающим неуместной, но всем было не до него, и никто его не одергивал. То был совершенно исключительный случай, когда юноши, почти мальчики, получили звание солдат и вместе с тем полную свободу от всякой дисциплины. Обыкновенно в России, как и во всем мире тогда и прежде, мальчики от семи лет и до возмужания не оставлялись в компании сверстников, а включались во взрослую жизнь как самые младшие: помогая ли в крестьянском дворе, служа ли подмастерьем ремесленника или подручным купца, учась ли под руководством гувернера, — всюду подростки чувствовали себя в зависимости, не смея своевольничать под страхом немедленного наказания. Только в закрытых учебных заведениях, придуманных в восемнадцатом веке, дети росли почти без присмотра и создавали собственный мир, отгороженный от мира взрослых. Однако и мир взрослых, к обоюдной выгоде, был отгорожен от мира пансионеров, и, в общем, забота об обуздании подрастающего поколения в России никогда не стояла.

Усилия графа Салтыкова эту трудность создали. И первыми с ней столкнулись обитатели городка Покров, где Московский гусарский полк, отступавший вместе с частями московской полиции, остановился на ночлег. Полнейшее незнание армейских обычаев, установленных даже и для попоек, вовлекло юнцов в невиданный разгул. Никто из них

прежде не пытался курить и не пил простонародные крепкие напитки, будучи под неусыпным родительским присмотром. Первый опыт произвел невероятное действие. Даже французы не вели себя так в захваченных городах: Покровский городничий доносил владимирскому губернатору, что гусары и полиция «питейные дома и подвалы разбили и имеющиеся в оных вина буйственным образом выпустили... в кабаках били окна и двери и стекла, вино таскали в ведрах, штофах, полуштофах... и всё, что там ни находили, брали себе без денег». Следствие установило, что было разграблено водок, наливок и прочего питья и посуды на 3612 рублей ассигнациями, а всего по городу награблено на двадцать одну тысячу рублей (купцы и трактирщики, надо думать, приврали — сумма уж больно велика, но все же городничий имел право требовать себе воинскую команду для поддержания порядка, надеясь, что ее солдаты будут помирнее). Губернатор сделал представление Салтыкову и обер-полицмейстеру Ивашкину о необходимости пресекать подобные безобразия и получил от них весьма дерзкий ответ: «Чтобы показанное покровским городничим было справедливо, они не знают, поелику об оном ни он, городничий, ниже кто из его подчиненных не доносил, и виновных по сему предмету они никого не находят».

Однако начальство держалось иного мнения, и Московский гусарский сброд получил приказ идти к Казани, под благовидным предлогом охраны Сената, переведенного туда из Москвы (хотя какую пользу Сенату могли принести безоружные и безлошадные гусары?). Отступление воинской части до Казани — случай анекдотический, как и сам салтыковский полк.

Грибоедов на Казань не пошел. В Покрове он добросовестно напился со всеми вместе, попробовал курить трубку, и хотя в грабежах замечен не был, но и сам их не заметил в дыму кутежа. Для его некрепкого здоровья столь внезапный и чрезмерный опыт оказался плачевным. 8 сентября, по прибытии полка во Владимир, он подхватил тяжелую простуду и остался в городе вместе с родней. Настасья Федоровна могла быть спокойна — война для ее сына закончилась. Генисьен пострадал еще сильнее — от простуды он перешел к воспалению легких, а потом и к скоротечной чахотке. Не имея в губернии родных, он крепился и проделал весь путь с полком, лежа в лазарете. С дороги он постоянно писал Грибоедову, но тот не имел сил так же часто отвечать ему.

Той осенью и зимой во Владимире свирепствовала какая-то горячечная болезнь: лазареты и частные дома были переполнены больными, в том числе прибывавшими из Москвы, и ранеными с полей сражений. Городские власти опасались эпидемии, но врач Невианд, некогда нашедший у Сергея Ивановича Грибоедова «застарелую цингу», теперь, в качестве главного инспектора врачебной управы, не нашел эпидемии, объяснив повальную болезнь действием плохой погоды, скученности населения и посоветовав соблюдать чистоту и проветривать помещения. Это успокоительное заявление было так же удобно начальству губернии, как в свое время цинга Грибоедову-отцу. В штабе русской армии доктору не поверили, и Кутузов приказал войскам при передислокации стороной обходить Владимирскую землю.

Болезнь Александра долго не проходила, усугубляясь бесконечными попреками матери, уязвленной его недавним стремлением к независимости. В то же время она служила извинительной причиной отсутствия в полку, избавляя его от позора дальнейшего пребывания среди сослуживцев. В декабре он узнал из писем Генисьена, что граф Салтыков умер, а полк слили с несчастным, жестоко пострадавшим в боях Иркутским драгунским полком, который велено было преобразовать в гусарский и передать ему форму москвичей (это показалось многим очень несправедливым по отношению к иркутским драгунам; хотя положение гусара было выше, но они кровью заслужили свои цвета). Новообразованный Иркутский гусарский полк велено было включить в состав резервной армии, создававшейся у западных границ.

Во главе армии поставили князя Лобанова-Ростовского, а кавалерийские резервы отдали под командование генерала от кавалерии Кологривова. Прежде Россия не испытывала потребности в особых войсках запаса, вполне обходясь постепенной заменой выбывавших

рекрутов или отзывая пострадавшие части и посылая им на смену новые. Однако наполеоновские войны имели иной размах. Бонапарт поставил в строй все мужское население Франции, введя всеобщую воинскую обязанность. Потери он не считал: за двадцать лет он погубил столько же французских солдат и офицеров, сколько погибло за весь восемнадцатый век, отнюдь не бедный боевыми действиями. Россия же за семь лет войны (считая с 1805 года) потеряла около 200 тысяч человек — половину от потерь восемнадцатого века, а заграничные походы русской армии только еще начинались! Пришлось создавать резервные части, где бы шло ускоренное переформирование и обучение всех родов войск — пехоты, кавалерии и артиллерии.

Услышанные новости разочаровали Александра: ему нисколько не улыбалась мысль состоять в резервных войсках. Зато Настасья Федоровна была этому весьма рада. Узнав, что Андрей Семенович Кологривов прибыл в соседний Муром, занимаясь комплектованием своих частей, она расценила это как доброе предзнаменование и попыталась представить генералу сына и по возможности надежнее устроить его судьбу. Однако болезнь Александра и скорый отъезд Кологривова на запад пресекли ее планы.

Александр оставался во Владимире, куда доносился только отголосок великих событий. От раненых местные жители узнали о вступлении Наполеона в Москву, о великом пожаре, об уходе французов, о сражении при Малоярославце, решившем исход войны. Чувство собственного бессилия угнетало Александра, вызвав нервную бессонницу в добавление к жестокому кашлю и болям в груди. В апреле его полк проследовал через Владимир на обратном пути из Казани, подбирая выздоровевших и отставших, но Грибоедов в строй не вернулся, а отправился в деревню Лачиновых Сущево, когда-то проданную им по настоянию Настасьи Федоровны. Теперь пришел черед Лачиновых заботиться о нем в благодарность за воспитание Вари. Его поселили отдельно, в небольшом бревенчатом домике, называемом беседкой, и приставили к нему местную знахарку, лечившую его настоями целебных трав и сказками, заговаривавшими бессонницу. Установившееся тепло, лекарственное питье и доброта старушки подействовали на Александра благотворно, он оправился и вскоре начал собираться в полк. За время болезни он отрастил усы и стал теперь вполне похож на кавалерийского офицера. В начале июня он распрощался с родными и поскакал на розыски места службы, известного ему очень приблизительно: где-то между Минском, Пинском, Гродно и другими польскими городами. Его сопровождал неизменный Амлик, получивший звание денщика.

Выехав из Владимира, Грибоедов впервые в жизни оказался предоставлен самому себе. Он поскорее миновал недоброй ему памяти Покров, где черная гусарская форма служила плохой рекомендацией; впрочем, он там только переменял лошадей. На следующее утро, проведя ночь в дороге, он проехал Измайловские леса, приближаясь к Москве. Издали, из-за Яузы, она производила обычное впечатление: виден был Воспитательный дом, за ним возвышался Кремль. Но переехав реку, он был потрясен открывшимся зрелищем. Налево лежала черная выжженная равнина Замоскворечья, и ветер поднимал тучи пепла и золы. Повсюду торчали закопченные церкви, остатки зданий, и улицы из одних печных труб расходились во всех направлениях. Он вынужден был пересечь весь город, от Владимирской до Смоленской дороги. Коляска медленно катила мимо университета — на его месте широко расстилались груды обгорелых развалин, мимо Арбатского театра, исчезнувшего без следа, мимо Новинского — ему не пришлось раз узнавать, уцелел ли родной дом: вся местность была сожжена дотла. Повсюду, однако, уже кипели работы, копошились люди, бродили толпы нищих и стаи собак. Что ж, был бы Кремль, а город будет...

С дороги он послал матери печальные вести о доме, ввергшие ее в совершенное отчаяние от будущих трат. Она по привычке сорвала злость на крепостных, но вышло некстати: 16 июля ее карета четверней сбила посреди поднявшейся бури какую-то нерасторопную старуху и переехала ее колесом. Та, к несчастью, оказалась из дворян, пятью рублями от нее было не отделаться. Дело дошло до суда, который признал кучера и фореятора виновными в неосторожной езде и приговорил к трехдневному содержанию на

хлебе и воде (лучше бы пострадавшая взяла деньги). Даже и столь малое наказание не грозило бы людям Настасьи Федоровны, потому что она уехала в Москву — строиться. Но в феврале 1814 года скончался ее муж, и ей пришлось вернуться во Владимир, чтобы принять наследство. Тут и отловили ее крепостных. (Александр для последнего прощания с отцом не приехал: когда скорбное известие отыскало его, было уже бесполезно торопиться на похороны.)

Из Москвы Грибоедов выехал по привычной с детства дороге и не узнал ее. Повсюду виднелись следы прошедшей войны; разрушенные станции восстановили, но лошадей и провизии недоставало, приходилось подолгу сидеть в ожидании и с трудом доставать простейшие деревенские припасы. Зерно для крестьян подвозили из других губерний, но овощей, яиц или мяса нельзя было купить ни за какие деньги. Все так отличалось от прежних спокойных путешествий в семейном поезде с собственными припасами и кроватями! Из полусгоревшей Вязьмы Грибоедов свернул в сторону, посмотреть, что осталось от Хмелит. Он ожидал найти пустошь и был изумлен, увидев на взгорке барский дом и все службы. Дворовые встретили его радостно, ведь он первым из семьи приехал к ним с позапрошлого лета, притом его и сестру Марию они любили больше других за добрый нрав. Они наперебой рассказывали ему, как у них останавливался сам Наполеон, высокий, курчавый (Александр решил, что это мог быть Мюрат, зять Бонапарта, неаполитанский король, командир арьергарда французской армии), и как при отступлении французов к ним забрел отряд пехоты и был уничтожен партизанами Бегичева при помощи крестьян. Раненных в том бою привезли в Хмелиты, и одного из них Алексей Федорович по возвращении своем взял в камердинеры. Александр смог сообщить дяде очень приятные для того известия, но сам, впервые, может быть, задумался об участии русского солдата-ополченца: тот воевал, отстоял Отечество, получил раны — и что его ждет? награда службой у барина, отсидевшегося в тылу? или прежние мерзости, возврат под палку господина, к покорности и послушанию?

Теперь он новым взглядом смотрел на следы разорения, проезжая разрушенный Смоленск, встречая на каждом шагу свидетельства сражений двух великих армий. Ему было стыдно за оставленную на поругание Москву, за то, что сам он так и не принял участия в боях. Он спешил, надеясь еще успеть присоединиться к походу по Европе. В Минске он начал расспрашивать о местонахождении своего полка и, наконец, 30 июня нашел его в Кобрине, в сорока верстах от границы.

* * *

Кровь польская сказалась в сердце польском!
Не устою на роковой черте!
И, спотыкаясь в месте скользком,
Я падаю, но в ноги красоте!

Кн. Вяземский.

Вид Кобрина мало сказать разочаровывал. Крошечный городок на слиянии двух рек, полдюжины каменных домов и сотня деревянных, лавки ремесленников, солдатские палатки и конюшни полка: из таких ли дыр отправляются на завоевание Европы? Грибоедов представился в штабе полка дежурному офицеру и натолкнулся на ледяной прием. Дежурный, как и все бывшие иркутские драгуны, не переносил московских гусар. Он слишком хорошо помнил их подвиги на победоносном шествии к Казани и не прощал позора, запятнавшего честь их общего теперь мундира. Восстанавливая прибывшего корнета в полковых списках, он дал ему прочесть майский приказ генерала Кологривова, которым тот встретил появление салтыковских волонтеров: генерал уведомлял, что «находится в твердом уповании о соблюдении военными чинами должного порядка и повиновения, в

противном же случае с прискорбием, но без пощады обратиться он к власти, ему данной, против всякого своеволия, озорничества, грабежа и неповиновения». Грибоедов поблагодарил за нарек, но весь его облик бледного, тонкого, серьезного студента в очках настолько не соответствовал образу буяна и грабителя, что дежурный немного оттаял и послал вестового помочь ему найти квартиру, хотя это название было слишком пышно для той комнаты, которую он в конце концов получил для себя и Амлика. Все лучшие помещения в городке были уже разобраны офицерами, явившимися в полк прежде него.

На следующий день барабанный бой поднял его с постели еще до пяти часов утра. Так рано он прежде не просыпался, если не считать того, что с отъезда из Владимира он почти не спал, проводя дни и ночи в коляске или на станциях. Офицер, проводивший учение, не пришел в восторг от болезненного вида новоприбывшего и отнесся к нему с известной резкостью. Однако он быстро переменял мнение: Грибоедов показал себя неплохим стрелком и фехтовальщиком и отличным наездником. Когда же командование узнало о конном заводе его дяди, находившемся совсем неподалеку и уцелевшем от французов, Александр оказался на хорошем счету у начальства.

Шатилов и прочие старые знакомые по московскому полку приняли его как родного, радуясь любому новому лицу, тем более такому остроумному, как Грибоедов. Они чувствовали себя очень неуверенно рядом с боевыми офицерами, сражавшимися при Бородине и Малоярославце, и, не имея возможности исправить мнение о себе, поскольку полк оставался в тылу, заглушали горечь, упражняясь во всех гусарских доблестях, кроме военных. Вино и табак они получали от родных и проводили все свободное время (а учения заканчивались к полудню) в кутежах, довольствуясь собственным обществом, потому что драгуны ими пренебрегали, а местные жители ненавидели всех русских.

Юнцы уже успели друг другу наскучить, а Коля Шатилов из записного шутника превратился в предмет общих насмешек. Он не возражал, будучи от природы добр и незлобив, и был согласен на что угодно, лишь бы его допускали в компанию более умных или способных людей, однако стать душой общества нигде не мог. Генисьен продолжал тяжело болеть, лежал в Варшаве в доме какого-то поляка и, узнав о приезде Грибоедова, стал звать его к себе. Александр не мог немедленно получить первый отпуск, да и не особенно этого хотел. Он не собирался ограничиваться общением с необстрелянными сверстниками. Пусть у него было не больше боевых заслуг, чем у них, зато он чувствовал в себе способности и силы, которыми те не обладали.

Кобрин не всегда был заштатным городишком. Еще недавно он был окружен стенами и имел два замка. Потом чума унесла большинство жителей, а Суворов, завоевав Польшу, приказал срыть все укрепления. С эпохи разделов Польши прошло всего двадцать лет, и неудивительно, что в отгремевшую войну она стояла за Наполеона, молодые поляки служили в его войсках и ушли с ним во Францию. Солдат Кутузова здесь встретили не как освободителей, а как завоевателей. После прохода армии на запад сюда явился граф Комаровский и, по личному распоряжению императора, реквизируя едва ли не всех лошадей, передавал их Кологривову.

Некоторые, кто посмышленнее, переметнулись к русским, но таких было мало: поляки — гордый народ. Хотя и обезлюдела Польша, но оставлять ее в тылу русской армии было опасно. Поэтому резервная армия выполняла двойную задачу: действительно готовила резервы и одновременно держала край под наблюдением, навлекая на себя бессильную ярость населения. Генерал Кологривов свое боевое звание получил в польскую кампанию Суворова, и можно представить, как любили его местные жители!

Кобринское дворянство, числом в три десятка, не составляло исключения. Между поляками и русскими офицерами поддерживался худой мир, отношения побежденных и победителей, но, коль скоро Кологривов не допускал никаких бесчинств, гусары оказались лишенными дамского общества, уж какого ни на есть. Приезд Грибоедова немного сгладил ситуацию. Он твердо верил в свои польские корни, о чем не преминул известить окружающих. К тому же, живя годами в Хмелитах, полупограничном районе, он часто

встречал поляков и, при своих языковых способностях, немного говорил по-польски. Проехав Польшу из конца в конец, он весьма расширил познания в языке и стал почитаться местными дворянами почти своим. Его принимали во всех домах, но при этом не могли не приглашать и его друзей; тем самым связи между поляками и русскими немного укрепились. Словом, к собственному удивлению, Александр великолепно чувствовал себя в полку.

Его предусмотрительная мать дала ему множество писем к генералу Кологривову от общих владимирских знакомых, надеясь таким путем привлечь к сыну внимание командующего. Грибоедов возмущился ее выходкой, но нельзя же было не передать писем. Вскоре по прибытии в полк он отпросился в штаб кавалерийской армии, расположенный в Брест-Литовске, надеясь сделать верхом 80 верст в оба конца и успеть к утреннему учению.

Кологривов отсутствовал, инспектируя свои разбросанные по Польше части; Грибоедов встретил в штабе только двух молодых людей: правителя канцелярии Дмитрия Никитича Бегичева и его брата Степана, адъютанта генерала. Последний резко выделялся своим белым кавалергардским мундиром, удивительным среди черных гусар. Пока конь Грибоедова отдыхал, он разговорился с Бегичевыми. Они оказались очень дальними родственниками того генерала Бегичева из петербургского ополчения, что спас Хмелиты от разорения, зато были близкой родней генералу Кологривову по матери. Дмитрий был боевым офицером, сражался при Аустерлице и Фридланде; Степан, хотя и старший, ничем не отличался, кроме счастливой наружности, ровного, благородного характера и полного отсутствия честолюбия. В кавалергардском полку он только числился, а на самом деле всегда состоял при своем родственнике. Несмотря на высокое покровительство, братья пользовались уважением сослуживцев. Нельзя было вообразить людей более несхожих, чем Грибоедов и Бегичевы. Александр был порывист в движениях, с живым изменчивым лицом, с ускользающим близоруким взглядом, по временам блещущим искрами из-под очков, говорил он только по-французски, даже если к нему обращались по-русски, и при первом знакомстве производил бы неблагоприятное впечатление, если бы его речи не выдавали высокую просвещенность и превосходное воспитание. Бегичевы полностью соответствовали своей добродушной, сдержанной наружности. В безлюдье Брест-Литовска они давно не находили интересных собеседников, к тому же способных, как Грибоедов, понять тайную тягу Дмитрия к сочинительству и еще более тайную тягу Степана к проказам. Когда Грибоедову пришлось уезжать, все трое почувствовали большое огорчение.

По возвращении Кологривова Бегичевы, на правах родственников, рекомендовали Грибоедова его особому вниманию; о том же намекали и владимирские письма. Это заставило генерала вызвать к себе корнета, хотя бы из простой вежливости к знакомым. Сверх ожиданий, их встреча привела к совсем иным результатам, чем они оба рассчитывали. Точнее, оба ни на что не рассчитывали, и тем удивительнее было их мгновенное взаимопонимание. Кологривов судил о подчиненных не по званиям и приказывал начальникам корпусов выдвигать офицеров не по старшинству, а по достоинству. Сам он умел распознавать полезные ему способности людей, что в его положении было совершенно необходимо. В напряженной обстановке покоренной Польши малейшего повода хватило бы, чтобы навлечь на него тысячу неприятностей от населения, а он не мог тратить время и силы на успокоение края.

Грибоедов показался ему находкой: имел польское происхождение, знал язык, знал окрестные земли, а кое-кому из поставщиков лошадей был лично известен благодаря дядину конному заводу. Генерал предложил ему перейти в штаб, где он мог бы взять на себя важнейшую обязанность: обеспечивать дружественные связи с польским дворянством. Грибоедов не испытал восторга, он по-прежнему мечтал о военных подвигах, но его полк твердо стоял в тылу, а Кологривов произвел на него сильное впечатление. Помогать ему во всех его заботах никак не могло быть недостойным офицера, да и мог ли корнет возражать командиру, тем более что сам явился к нему с рекомендательными письмами! 21 июля генерал прикомандировал Грибоедова к своему штабу с расплывчатой формулировкой в приказе: «для производства письменных дел». Что это значило, никто не мог объяснить, и

Александра стали для простоты называть адъютантом. К штабным бумагам он никакого отношения не имел — ими занимались Дмитрий Бегичев и начальник экспедиции деловых бумаг корнет Гамбургер. Но дел у Грибоедова было много.

Кологривов занимался не одним только сбором рекрутов и коней и скорейшим обучением их, на нем лежали и все хозяйственные вопросы. Казна отпускала ему средства мало и редко, а император требовал отправлять на фронт каждый месяц десять, а то и двадцать вооруженных эскадронов. Приходилось изворачиваться: солдаты сами изготавливали снаряжение, конский лазарет излечивал больных лошадей, часто поставляемых нерадивыми гражданскими чиновниками, провиант закупался у местного населения по «казенным», то есть насильственно сниженным ценам. Грибоедов сопровождал командующего во время его переговоров с поляками, сперва выступая переводчиком в тех случаях, когда продавец не знал русского языка, а Кологривов из тактических соображений не желал общаться по-французски. Потом ему стали поручать улаживание дел с местным населением, недовольным поборами. Он очень ясно всегда понимал, где можно проявить твердость, а где нельзя, и благодаря его ловкости генерал мог снижать казенные издержки на миллионы рублей без серьезных столкновений с польским населением. Кологривов пекся, конечно, не о казне — та все равно не выделяла денег, но коль скоро они необходимы, ему пришлось бы платить из собственного кармана. Грибоедов избавлял его от дополнительных расходов, проявляя отнюдь не хозяйственную сметку, а врожденное, подавляемое жизнью с матерью умение находить общий язык с различными людьми.

Он проявил себя не только как эконом. В августе 1812 года император счел нужным создать совсем особую структуру в армии: высшую воинскую полицию, в чье ведение передал вопросы боевой и скрытной разведки во враждебных, союзных и нейтральных государствах. Служащие воинской полиции могли быть русскими офицерами или чиновниками, могли набираться из жителей других стран, но от обычных осведомителей отличались тем, что приносили присягу России. В резервной армии воинской полиции не полагалось, поскольку Польша считалась частью Российской империи, и разведку вести здесь вроде бы не было надобности. Однако на деле она оказалась нужна, как нигде. Кологривов обязан был наблюдать за состоянием умов поляков, чтобы вовремя замечать и при необходимости пресекать попытки противодействия и прямой измены. Не сделай он этого — страну могло охватить волнение, а то и восстание, подавление которого стоило бы крови и русским, и полякам.

Разумеется, в его распоряжении находились лица, благожелательные к России, находились многочисленные торговцы, ростовщики и прочие, заинтересованные в сохранении мира и общающиеся по делам с влиятельными людьми, чье настроение чутко улавливали. Их доклады, устные или письменные, стекались в штаб — и вот ими-то и занимался Грибоедов. Он месяц за месяцем улаживал возникавшие конфликты между армией и местным населением, стараясь не задевать гордость польских вельмож и шляхтичей, не разорять страну, но и не наносить ущерб интересам воюющей России. Ему верили обе стороны, и он не обманывал их доверия. Дела, которые ему поручали, были, в сущности, не слишком важными, но, собранные воедино, они могли бы привести к тяжелым последствиям, не прояви он дипломатического такта.

Теперь он поселился в Бресте, рядом с Бегичевыми. Город был хотя побольше Кобрина, но весьма на него похож и такой же скучный. Первым домом почиталось имение графини Оссалинской, богатой польки, лояльной к России, владевшей отличной французской библиотекой, предоставляемой в пользование всякого грамотного кавалериста. Графиня устраивала и балы. Привыкнув в Москве к изобилию барышень, готовых уцепиться за любого кавалера, Александр, вступив в залу, был немало удивлен множеству мужчин, окружавших немногочисленных дам. Красавицы польки напропалую кокетничали, в этом искусстве с ними могли соперничать одни только француженки, далеко уступавшие им в красоте. Завоевать успех в их прелестном обществе было совершенно необходимо для молодого гусара. Даже Чаадаев, при всем своем безразличии к женскому полу, привык в

своем полку хвастаться победами, хотя бы вымышленными. А Грибоедов, избавленный от сдерживающего влияния матери и прежнего друга, дал полную волю врожденным склонностям. Он был молод, музыкант, влюбчив, охотно говорил вздор, притом по-французски — чего же еще надобно дамам? Он искал возможности выделиться в толпе офицеров, чтобы потом уже не упускать достигнутого преимущества. Одних музыкальных талантов тут было, безусловно, недостаточно.

К следующему балу он придумал способ отличиться: вместе со Степаном Бегичевым въехал в залу на конях, прямо по парадной лестнице на второй этаж. Появление всадников вызвало веселый переполох, хотя Кологривов был им мало доволен, находя кавалерийское мастерство более полезным в другом месте. Он сделал друзьям выговор за их выходку и начал думать, что Грибоедов дурно влияет на Степана, хотя тот старше. Он решительно не понимал, как этот молодой человек, при его гибком уме и строгом воспитании, может быть таким отчаянным повесой. Александр уже приобрел среди приятелей лестную репутацию «пасынка здравого рассудка». Поэзию он забросил и вел разгульную жизнь, раз уж не пришлось ему побывать в боях. Иногда он позволял себе такие выходки, что у Андрея Семеновича волосы вставали дыбом.

Однажды он пришел с Бегичевым на службу в соседний католический монастырь. Степан остался внизу, а Грибоедов забрался на хоры, к органисту, выгнал его и сам уселся за инструмент. Органист, конечно, не осмелился протестовать. Некоторое время Александр играл положенные духовные мелодии со всем своим великим мастерством — и вдруг в самый торжественный момент службы в величественном органном звучании под сводами костела грянула русская плясовая «Камаринская»! Другого бы генерал за это на гауптвахту отправил, но Грибоедову все сошло с рук. Ведь не спяну он это затеял, не с мальчишеским дурачеством: мало ли русских народных песен или других мотивов, способных возмутить верующих? нет, он выбрал именно Камаринскую, имевшую довольно ощутимый антипольский дух, ибо в давние времена в Камаринскую волость Речи Посполитой стекались беглые крепостные из России, о которых и пелось: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!» Католическое духовенство порой навлекало недовольство русского начальства, и Грибоедов счел полезным погрозить ему кулаком в такой шутовской форме, что, однако, позволило бы избежать более серьезных столкновений с ксендзами. Затея оправдала себя, и Кологривов предоставил своему адъютанту делать все, что заблагорассудится.

Александр весело предавался развлечениям. Шампанское, музыка и женщины на несколько лет заключили для него почти все, чем красна жизнь. Степан разделял эти вкусы, да и все равно местные прелестницы не оставили бы без внимания красавца кавалергарда. Он только не был так изобретателен в веселых проказах, так остроумен и насмешлив, как его молодой друг. Беседы Степана всегда отличались серьезностью, он много читал и размышлял и умел верно и точно судить о людях и вещах, говорил то афористически сжато, то долго и умно — и за это получил прозвание Вовенарга, в честь французского мыслителя семнадцатого века. После нагоняя, полученного от Кологривова, он немного присмирел, заслужив от Грибоедова иронический титул «Ваше Флегмордие». Но в глубине души Александр признавал нравственное превосходство Степана, чувствовал в нем силу здравого рассудка и характера. Эти добрые качества вполне отвечали его собственным: ведь не весь свой век он собирался повесничать да числиться у Кологривова по письменным делам.

Война между тем шла к концу. После октябрьской «битвы народов» под Лейпцигом стало ясно, что нужда в кавалерийских резервах скоро отпадет. Русская армия вступала во Францию, Кологривов продолжал на всякий случай готовить эскадроны, помимо сотни, уже отправленной на фронт, но император их не требовал, и в Польше скопились многие тысячи русских солдат. Часть резервов отправили под командованием генерала Ермолова в арьергард русской армии, но они так и не вступили в бой. Теперь дел у Грибоедова почти не было, вечерние его развлечения оставляли ему свободным весь день, и он решительно не мог найти себе применения.

Случай помог ему, хотя сперва он не почувствовал благодетельной заботы Провидения.

В начале 1814 года он получил известие о смерти Генисьена. Оно расстроило его: привязанность к нему чахоточного мальчика немного раздражала, но он почувствовал некоторую вину, что так и не выбрался навестить его в Варшаве. Александр попытался заглушить мрачные раздумья о бренности всего сущего движением. Это тотчас произвело свое действие: во время какой-то лихой скачки по обледелой земле конь споткнулся, он перелетел через его голову и сильно ударился грудью. Кости остались целы, но внутренние боли и власть старшего медика армии кавалера Петрова надолго уложили Александра в постель. Теперь ему оставалось только знакомое с детства развлечение — книги, однако они мало радовали: он был бы не прочь познакомиться с новинками литературы, но журналы в Брест не доходили, а перечитывать давно известных авторов было скучно. Он открыл для себя великую польскую литературу. Неподалеку жили родные польского поэта и драматурга Юлиана Немцевича, завоевывавшего славу среди сограждан. Грибоедов часто слышал о молодом поляке, но не интересовался им. Заболев, он послал к графине Оссалинской за сочинениями Немцевича, прочел и стихи Адама Мицкевича и сумел понять и полюбить польскую поэзию.

Все же он предпочитал живое общение. Дружба Бегичевых стала ему драгоценна; братья проводили у него все дни, делились мыслями о будущем и рассказами о прошлом. Грибоедов прочел им наизусть своего полудетского «Дмитрия Дрянского» и вызвал искренний восторг слушателей. Степан не питал склонности к сочинительству и тем выше ценил чужие способности, а Дмитрий в редкие свободные часы пытался набрасывать прозаические описания польского быта, но стихов не писал.

К сожалению, Бегичевы, особенно Степан, порой на несколько дней покидали Брест по делам службы. Спасением для Грибоедова стал приезд в штаб юного Лазаря Лазарева, младшего сына богача Ефима Лазарева, который основал Армянское училище, после превратившееся в Лазаревский институт восточных языков. Лазарев был очень серьезным юношей, великолепным знатоком восточных и европейских языков. В армии, где один Грибоедов мог оценить его знания и стать ему интересным собеседником, они быстро заинтересовали друг друга и сошлись. Лазарев совершенно подпал под обаяние Александра, столь непохожее на его собственный нрав; юный армянин даже прощал его неизменную трубку (Грибоедов стал завзятым курильщиком, только во сне расставался с чубуком, а днем почти не выпускал его изо рта). А между тем Лазарев мог дать Грибоедову больше, чем получить от него: он сообщал товарищу начатки сведений об армянском и других восточных языках, и они с увлечением сравнивали их с европейскими. Впрочем, для Грибоедова эти занятия были скорее забавой. По утрам он лишался и их, поскольку все офицеры отправлялись на учения. От скуки он попытался вернуться к поэзии, но дело не клеилось; душа его почти никогда не стремилась излиться в стихах, а для пьесы он не находил сюжета в окружающей его жизни. Он мог бы попробовать описать прежних московских знакомых, но зрелище сожженной столицы еще стояло у него перед глазами — смеяться над Москвой он не мог; не мог и придумать высокую трагедию о прошедшей войне — он слишком мало ее видел. А главное, он не хотел творить для себя и друзей, как в отрочестве, без надежды увидеть свой труд в печати или на сцене. Питомец Антонского, он был по-своему честолюбив.

Степан подал ему разумный совет (Степан вообще был прекрасным советчиком, давал советы редко, но всегда счастливо, и его друзья на опыте убедились в их полезности). Бегичев предложил Александру сделать перевод какой-нибудь непритязательной комедии, которую легко было бы отдать в театр, всегда нуждающийся в коротких веселых пьесках под занавес спектакля, и поупражнять на ней полузабытое поэтическое мастерство, а спрос с него, как с переводчика, был бы меньше, чем с молодого автора, выходящего на суд публики с оригинальной вещью. Он даже обещал поискать в библиотеке графини Оссалинской подходящего автора и принес томик модного французского драматурга Крезе де Лессера.

Грибоедов увлекся работой, стараясь меньше следовать французскому тексту, а больше сочинять самому. Похвалы Бегичевых, которым он читал явление за явлением, его

одушевляли и впервые дали ему представление о такой тонкой материи, как удовлетворенное авторское самолюбие. Но новые события, вместе с выздоровлением, отвлекли его. 18 марта русская армия вступила в Париж, город капитулировал, Наполеон отрекся от престола, Россия торжествовала победу, император Александр находился на высочайшей ступени славы. Настала пора раздавать трофеи. Князь Д. А. Лобанов-Ростовский за важнейшее дело по созданию резервной армии, обеспечившей победу русского оружия, получил высший орден Российской империи — орден Андрея Первозванного. Генерал Кологривов — третий по старшинству орден Владимира I степени (второй по старшинству орден Георгия I степени он не мог получить, потому что его давали только за боевые заслуги, и за всю войну его пожаловали лишь троим: Кутузову, Барклаю де Толли и Беннигсену). В Бресте весть о высоком отличии узнали в начале июня, и офицеры штаба и всех стоящих вокруг города войск, искренне любившие своего взыскательного, но доброго командира (насколько может быть добр боевой генерал), условились отметить радостное происшествие, устроив пышный, невиданный праздник. Грибоедову поручили его описать — надо же ему было, наконец, оправдать свою должность «при письменных делах». Отчет решили пристроить к В. В. Измайлову в «Вестник Европы», испытывающий постоянную потребность в интересных корреспонденциях.

Торжества назначили на 22 июня в Бресте, а четыре дня спустя отдохнувший от веселья Грибоедов отправил письмо издателю, вскоре опубликованное. Это было его первое выступление в печати, выступление, словно задавшее тон его творчеству:

«День был прекрасный, утро, смею сказать, пиитическое.
Так день желанный воссиял,
И к генералу строй предстал
Пиитов всякого сословья;
Один стихи ему кладет
В карман, другой под изголовье;
А он — о доброта! какой примеров нет —
Все оды принимает,
Читает их и не зевает».

Сам Грибоедов оду не сочинил, а стихи, которыми он щедро усеял свой текст, не произносились на празднике; они были продолжением его прозы, как проза — продолжением стихов. «Мне, было, весьма хотелось описать вам в стихах блеск сего шествия, блеск воинских нарядов; к несчастью, никак не мог прибрать рифмы для лядунок и киверов, и так пусть будет это в прозе», — шутил он.

Шатры для приема раскинули в версте от города, в очень живописном месте, рядом с дачей генерала:

Есть в Буге остров одинокой;
Его восточный мыс
Горою над рекой навис,
Заглох в траве высокой
(Преданья глас такой,
Что взрыты нашими отцами
Окопы, видные там нынешней порой;
Преданье кажется мне сказкой, между нами,
Хоть верю набожно я древности седой;
Нет, для окопов сих отцы не знали места,
Сражались, били, шли вперед,
А впрочем, летописи Бреста
Пусть Каченовский разберет);

Усадьбы, города, и селы,
И возвышенности, и доли
С горы рисуются округ,
И стелется внизу меж вод прекрасный луг.

Это удивительное стихотворение понравилось самому Грибоедову и его сослуживцам, но ни автор, ни читатели не придали ему значения. А между тем так в России еще никто не писал. Александр сочинил его с небрежной быстротой, не позаботясь об отделке, поэтому строчки у него вышли разной длины и совершенно беспорядочными. Таким размером издавна писали басни, имитируя разговорную речь — но у Грибоедова не было ни басенного содержания, ни басенной медлительной раздумчивости, свойственной даже Крылову. Таким размером в конце жизни иногда писал стихи Державин, но у него укороченные строчки располагались строго ритмично, наподобие припева в конце куплета:

Милый незабудка цветик!
Видишь, друг мой, я стена
Еду от тебя, мой светик, —
Не забудь меня.

Встретишься ль где с розой нежной
Иль лилеей взор плена, —
В самой страсти неизбежной
Не забудь меня.

Потом в этом стиле попытался творить Жуковский, но неизменно чередовал длинные и короткие строки через одну, что приводило к утомительному однообразию, худшему, чем в равностопных стихах. Например, в его знаменитом «Певце во стане русских воинов», необычайно популярном в 1812 году, глаз уставал скакать по лесенке стихов, хотя легких и звучных:

Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

и так далее на двадцати страницах!

Грибоедов соединил легкость языка Жуковского с беспорядочной разностопностью басенного размера. Собственно говоря, он случайно открыл совершенно новый тип русского стихосложения, но сам не заметил этого и сразу же забыл о своей находке.

Не все стихи «Письма из Бреста Литовска» принадлежали самому Грибоедову. Были в армии и другие поэты-кавалеристы, двоих он упомянул; некоторых включил в текст по просьбе авторов, некоторых не включил — тоже по просьбе авторов. И подлинно, сам он едва ли сочинил бы такое приглашение Кологривову:

Вождь, избранный царем
К трудам, Отечеству полезным!
Се новым грудь твою лучом
Монарх наш озаряет звездным

и проч.

Однако автор приглашения не возражал против его публикации, хотя и анонимной. Описание же окрестностей Бреста, с язвительным упоминанием ненавистного Каченовского

Грибоедов никому не уступил.

На острове посреди Буга были поставлены триумфальные ворота, войска, столы на триста человек: всё пленяло взор, всё приводило в изумление. Солдаты пели хвалебную песнь, стреляли пушки, играли музыканты, генерал стоял «безмолвен, удивлен, обрадован, растроган». Грибоедов не углублялся в детали пира: «Признаться, моя логика велит лучше пить вино, чем описывать, как пьют, и кажется, что она хоть и гусарская, но справедливая». После шумного офицерского обеда, под вечер, все переправились на другую сторону острова, где, к общей радости, нашли множество дам, чье присутствие стало, конечно, первым украшением праздника. Начался фейерверк, среди многих задумок горел вензель Кологривова и владимирская звезда. Тем временем весь остров иллюминировали, во временной галерее начались танцы, и всеобщее веселье длилось до рассвета. «Есть праздники, которые на другой же день забывают оттого, что даются без цели или цель их пустая. В столицах виден блеск, в городах *полубоярские* затеи; но праздник, в коем участвует сердце, который украшали приязнь, благотворительность и другие душевные наслаждения, — такой праздник оставляет по себе надолго неизгладимые воспоминания».

В восторженный и легкий слог «Письма» Грибоедов невзначай ввернул несколько цифр. Что до благотворительности, то гости собрали по подписке 6500 рублей в пользу госпиталя, а еще 100 рублей Грибоедов послал издателю «для бедных, которых так много после пожара Москвы». Но несколькими строками выше сообщил, что торжества стоили 10 000 рублей, не считая фейерверка. Так он слегка намекнул, что забвение «важных дел, скуки, горестей, неприятностей» обошлось слишком дорого. Во всяком случае, резервная армия повеселилась вовсю, и Грибоедов желал другим так же веселиться, как он 22 июня. И заключил свой рассказ: «Моя одна забота, чтобы праздники чаще давались».

Андрей Семенович был весьма доволен грибоедовским письмом. В конце четырнадцатого года он чувствовал себя несколько угнетенным, как и многие офицеры, прошедшие войну в резервных войсках. Их «важные дела и неприятности», связанные со службой, остались позади, и из-под пера Грибоедова невольно вырвались слова о «скуке и горестях», забвения которых они искали на празднике. Они не шли в атаку под Лейпцигом, не въезжали на коне в Париж, не были даже в свите государя. Они занимались необходимым делом — готовили подкрепления для русской армии, держали в повиновении Польшу, — но делом новым, малозаметным и неблагодарным. Император оценил их заслуги, пожаловав орден Кологривову, но и тот мечтал о чем-то большем. В военной службе генерал достиг вершины, поскольку рассчитывать на командование армией явно не мог. Оставалось зарекомендовать себя выдающимся экономом и пойти по иной стезе.

Пост военного министра, имевший административный и хозяйственный характер, был тогда вакантным. В войну его занимал князь А. И. Горчаков 1-й, но на положении управляющего делами, а не министра, так как был нелюбим императором и вскоре предан суду за злоупотребления, оказавшиеся мнимыми. В конце 1814 года на место Горчакова метили несколько человек. Наиболее реальным претендентом считали генерала Коновницына, героя войны и воспитателя брата Александра, великого князя Николая Павловича. Но Коновницын по хозяйственной части ничем не отличался и даже не был полным генералом. Кологривов считал себя более подходящей кандидатурой на министерское кресло. Такие ли мысли его посещали, или он просто искренне желал передать преемникам опыт ускоренного формирования эскадронов при слабом казенном содержании, но он поручил своему адъютанту по письменным делам написать серьезный отчет о создании кавалерийских резервов в тот же «Вестник Европы» (кроме этого журнала, других почти не было: все прочие или нерегулярно выходили, или имели характер литературных альманахов). Главной темой статьи должен был стать вопрос государственной экономии. К тому времени он носился в воздухе, возбуждая всеобщий интерес.

Война дорого стоила России, в том числе в самом прямом, денежном смысле. Казна была истощена, деньги обесценились, и хотя кое-кто обогатился на разного рода аферах, все же большинство изыскивало средства сократить будущие расходы. Граф Аракчеев, давний

фаворит императора Павла, задумывался о переводе всей огромной, теперь ненужной армии на содержание за ее собственный счет, с тем чтобы солдаты и землю пахали, и строю обучались. Идея была не новой, таковы были прежде стрелецкие войска, и судьба полковника Грибоедова, будь она более широко известна, могла бы показать графу всю бесплодность затеи. Но полковник жил давно, и даже его потомок не знал о порке кнutom, доставшейся его несчастному предку. Во всяком случае, Кологривов надеялся привлечь к своим успешным стараниям снизить убытки внимание если не Аракчеева (трудно было ожидать, что тот читает «Вестник Европы»), то по крайней мере образованного дворянства.

Хотя статья была заказная, Грибоедов приступил к ней очень охотно. От своего имени, от имени всех своих сослуживцев он хотел показать важность их деятельности: в армии ее понимали, в обществе — едва ли и вообще знали. Вместе с тем он воспользовался случаем намекнуть правительству, что если резервы и создались столь успешно, то не благодаря, а скорее вопреки его мудрому попечению.

Начал он с того факта, что по назначении А. С. Кологривова командующим кавалерийскими резервами «ни людей, ни лошадей, ни материалов для обмундировки, ниже каких необходимых пособий не было». В Муроме затеяли было «заготовления провианта и фуража на 12 тысяч человек и 90 812 лошадей». Это едва не обескровило окрестные губернии, но генерал по прибытии «прекратил сие, соображаясь, что такое число людей и лошадей не могло придти в одно время и содержаться в одном месте». Едва начали собираться рекруты в Муроме, им велели идти в Новгород-Северский, не успели они к нему подойти, отправили в Могилев, потом в Слоним и, наконец, в Брест-Литовск (две тысячи верст от Оки до Буга, как ехидно подсчитал Грибоедов, по краям, опустошенным неприятелем!), и, несмотря на доставляемые бессмысленные, лишние хлопоты, от Кологривова ожидали беспрестанных поставок эскадронов в действующую армию, что тот и осуществлял очень точно, успевая в то же время, по необходимости, экономить казенные деньги, притом вполне бескорыстно, не в свой карман. Грибоедов заметил в скобках, что не хочет «верить, чтобы ка-кой-нибудь российский чиновник помыслил о личных своих выгодах, особенно в то время, как дымила еще кровь его собратий на отеческих полях», но что он думал на сей счет в действительности, он оставил при себе. Кологривов же был постоянно у него на глазах, и неудивительно, что Грибоедов с безусловной искренностью заключил статью хвалой «чиновнику, точному исполнителю своих должностей, радеющему о благе общем, заслуживающему признательность соотечественников и милость государя!». Более удивительно, что Измайлов напечатал последнюю фразу отчета: «Хвала мудрому государю, умеющему избирать и ценить достойных чиновников!» Хотя назначение и награждение должностных лиц есть, собственно, единственная обязанность императора, но в конце четырнадцатого года Александр I претендовал на звание полководца и триумфатора, и скромная похвала Грибоедова звучала странно, а после всех перечислений правительственных глупостей — даже иронически (если в них был виноват не сам император, то чиновники, им же поставленные).

Статью опубликовали без всяких затруднений; каких-то почестей Кологривову она не принесла, но по меньшей мере сделала его известным. Работа над отчетами развлекла Грибоедова, но иных поручений у него не было, и осенью в Бресте окончательно воцарилась неизбывная скука. Александр попросился в отпуск, охотно ему предоставленный, и вместе со Степаном укатил в Петербург.

Глава IV ДРАМАТУРГ

Была прекрасная пора:
Россия в лаврах, под венками,
Неся с победными полками

В душе — покой, в устах — «ура!»,
Пришла домой и отдохнула.
Минута чудная мелькнула
Тогда для города Петра.

Ф. Глинка

Грибоедов всегда переносил жару легче холода. Он, наверное, не отважился бы на поездку, если бы ясно представлял, что его ожидает на декабрьском почтовом тракте. В стихах «дорога зимняя гладка», но вживе испытать ее — невеликое удовольствие. Даже Бегичев устал трястись пять дней напролет в насквозь промерзшем экипаже, опрокидываться в сугробы, слушать вой волков и бесконечно переходить с мороза в тепло станционных изб и обратно. Когда, наконец, заснеженные северные леса и болота расступились у окраин столицы, у друзей не осталось даже сил, чтобы порадоваться окончанию мучений.

Они въехали в город через Нарвские ворота. Полгода назад сквозь них торжественным строем вступили в Петербург гвардейские полки, вернувшиеся из великого похода на Париж. Тогда светило солнце, и толпы народа приветствовали победителей. Теперь же, испытав осенние ненастья и зимние вьюги, деревянные ворота одиноко стояли в темноте и нисколько не походили на триумфальную арку, словно два молодых офицера и не заслуживали лучшей встречи по незаметному своему участию в войне. Они не испытали бесполезных сожалений, мечтая в тот момент не о славе, а лишь о горячем ужине и постели. Но прошло больше часа, прежде чем они добрались от Нарве кой заставы до центра города, где их ждали нанятые на сезон комнаты. Ночной мрак и ледяной ветер не дали им возможности хоть что-нибудь разглядеть за окошками кибитки.

Утром, подойдя к окну, они увидели глубоко внизу улицу и плотные ряды невзрачных домов, расходившиеся во все стороны. Серый, закопченный снег неприятно поражал паз. Грибоедов не мог взять в толк — неужели это и есть цель их тяжелого пути? Впрочем, день случайно выдался солнечным и безветренным, и Степан торопил с завтраком, спеша увидеть город, пока ранняя ночь или буран не скрыли его. Он ощущал превосходство старожилы, поскольку жил в Петербурге несколько лет назад, когда учился в Пажеском корпусе. В ту пору архитектурные красоты мало его занимали, но он знал об их существовании и мечтал показать другу.

Однако многое переменилось. Молодые люди поехали было к сиявшему вдали золотому шпилью, но, приблизившись, обнаружили под ним не деловитые верфи, а необозримую стройку в полверсты, окруженную домишками рабочих и замерзшими каналами — тут возводили новое Адмиралтейство. Стройка добиралась до огромной пустой площади, с одной стороны очерченной роскошным Зимним дворцом, а с другой — невразумительными жилыми домами. Они выехали к набережной — и противоположный берег Невы показался Степану совсем незнакомым. Некогда он был свидетелем возведения и мужественного слома неудачной Биржи Кваренги, а потом закладки новой Биржи Тома де Томона. Теперь он увидел этот шедевр законченным снаружи, хотя еще закрытым внутри; благодаря его классическому совершенству Стрелка Васильевского острова и весь петербургский порт преобразились, и панорама Невы — от старой Петропавловской крепости до новенького Горного института — приобрела законченный и торжественный вид. Только здесь Александр начал чувствовать, что действительно находится в великом городе. Он очень желал оказаться на том берегу, но переезд по льду широкой реки, хотя и вполне безопасный днем, когда не орудовали разбойники (увы! они существовали под самыми стенами царской резиденции и главной тюрьмы страны), но ветер на реке так живо напоминал недавнее путешествие, что он отложил эту затею.

Вместо этого друзья отправились на Невский проспект («бульвар», как стали называть его побывавшие в Париже гвардейцы). Здесь Грибоедов совершенно примирился с Петербургом, а Бегичев перестал разыгрывать роль чичероне. Узкое и неинтересное начало

Невского неожиданно вывело их к Казанскому собору, недавно освобожденному от лесов и ошеломлявшему колоннадой, словно составленной из грубоватых и живых стволов деревьев-великанов. А дальше перед глазами замелькали веселые мостики, великолепные Дворцы и публичные строения, чугунные решетки садов; вправо и влево бесконечным полукругом уходили набережные Фонтанки, плотно застроенные особняками размером поменьше, чем на Невском и, видимо, возведенными с единственным желанием ни в чем не уступить соседям и даже перещеголять их: так они были похожи друг на друга и в то же время норовили выделиться какими-нибудь небывалыми деталями отделки.

Невский поразил Грибоедова обилием экипажей и людей, как будто все население города сосредоточилось в этом единственном месте. Повсюду сверкали яркие краски военной формы и золото эполет; штатского платья почти не было видно. Казалось, город захвачен русскими войсками. В стороны же от Невского тянулись пустынные кварталы, как-то случайно расступавшиеся то перед заброшенным Михайловским замком Павла I, то перед разоренным Таврическим дворцом Потемкина, то перед необъятной пустошью Царицына луга. У Грибоедова голова шла кругом от обилия впечатлений, а ведь по слабости зрения он не видел еще вдаль ни Смольного собора, ни Лавры в честь своего святого покровителя Александра Невского. Он был рад ранней темноте, давшей ему отдохнуть перед главным событием дня — поездкой в театр.

Александр с наслаждением погрузился в завлекающий мир театра; после двухлетнего перерыва он был бесконечно рад потолкаться в партере среди мужчин, стоящих, снующих или сидящих на кое-как расставленных стульях. К своему удивлению, он очутился среди знакомых, прежних соучеников по пансиону или университету, во главе со ставшим влиятельным театралом Степаном Жихаревым, кое-каких сослуживцев или соучеников Бегичева. Здесь, как и на улицах, военные мундиры решительно преобладали, и зала выглядела пестро, весело и нарядно. В креслах, где обыкновенно сидели люди знатные или богатые, Александр с неудовольствием обнаружил своего дядюшку и постарался не попадаться ему на глаза.

О том, что Алексей Федорович поселился в Петербурге, он знал по письмам матери и сестры. Настасья Федоровна с нескрываемым гневом рассказала сыну историю братниного разорения. Хмелиты уцелели от французов, но Алексей Федорович сам подорвал состояние бесконечными балами и празднествами, дававшимися ради любимой старшей дочери Елизаветы. Грибоедов-старший умудрился настолько исчерпать кредит, что целых семь займодавцев подали на него в суд и принуждали к немедленной уплате. От них-то он и скрылся в Петербург, где вел рассеянную жизнь промотавшегося барина, надеясь отсидеться от грозы. Настасья Федоровна изливалась в жалобах: мало того, что муж ее умер некстати, заставив Марию весь послевоенный сезон проходить в неидушем ей траурном одеянии, мало того, что ее дела были расстроены, так еще и брат перестал помогать и сбежал в неведомые края. Александр не разделял матушкиного гнева, сочувствуя своей младшей кузине Софье, чье вступление в свет должно было произойти при неблагоприятных обстоятельствах. Но при всем том он не горел желанием ни жить с дядей, ни навещать его, выслушивая воспоминания о стародавних битвах. Конечно, встречи с дядей он не избежал, но обоим она не доставила удовольствия, и по молчаливому уговору они стали общаться возможно реже.

Прошло всего несколько дней, и Грибоедов разочаровался в петербургских театрах. Большой театр сгорел в одиннадцатом году и еще не был восстановлен, русская и французская труппа играли в Малом, но непревзойденный балетмейстер Дидло перед приходом Наполеона благоразумно уехал из России и пока не вернулся, хотя попечитель театра Алексей Львович Нарышкин звал его с самого декабря двенадцатого года. Балет без Дидло пришел в упадок, едва храня следы недавнего блеска. В немецкие театры благородные зрители ходили весьма редко, совсем уж от скуки; они предназначались для природных немцев, которых в столице жило до трети всего населения (весь Васильевский остров был заселен профессорами, врачами, торговцами, мастеровыми из немцев, и в других частях было множество немецких учителей, булочников, парикмахеров; для них даже газеты

выходили на немецком языке).

Русский театр был богат актерами. На сцене последние годы доживал гениальный, но рано спившийся Яковлев. Рядом с ним в трагедии первой актрисой считалась по-прежнему Екатерина Семенова, которую Грибоедов видел раньше в Москве, а роли Яковлева постепенно забирал себе классически безупречный Брянский. В комедии начинал молодой красавец, актер на все роли вплоть до балета и пантомимы Сосницкий, а рядом с ним — юная воспитанница театрального училища Воробьева, Асенкова на роли субреток, Рамазанов — продувного слуги, Ежова — комических старух и другие таланты, маститые и молодые. Репертуар же был беден. Авторы прошедшего века, да и сам Озеров, после войны как-то вдруг показались безнадежно устаревшими, их продолжали ставить, но встречали без прежнего одушевления, а из новых никого не было видно. Даже князь Шаховской после двух патриотических водевилей, написанных в годы войны, замолчал и погрузился в дела театральной дирекции и воспитание юных дарований.

Оттого русские актеры играли в переводных пьесах. Трагедии Вольтера и Расина, жалкие переделки Шекспира, бесчисленные комедии Мольера не сходили со сцены. В сезоне 1814 года возобновили «Скапеновы обманы» Мольера и поставили шедевр Мариво «Игра любви и случая». Но и бесподобная легкость Сосницкого, его заразительная, чуть хитроватая улыбка, фатоватые манеры и невероятная способность к перевоплощению не спасали положения — всё же, по общему признанию, французскую комедию надо бы ставить по-французски, в переводах она теряет половину смысла и почти всю веселость. Однако ходить на представления одной только французской труппы теперь, после великой победы над Бонапартом, было как-то неловко: чему еще не научились мы у французов?! Спектакли русской труппы посещали исправно, но, по убогости текста, зрителей привлекали только исполнители. Завяжет ли Сосницкий по-новому галстук — на следующее утро половина молодежи щеголяет с подобным узлом. Бросит ли хорошенькая актриса взгляд кому-нибудь в зале — и завистники готовы строчить эпиграммы, а то и вызовы на дуэль. Актеры и зрители самозабвенно играли в театр, и авторы были тут на вторых, а то и третьих ролях.

Однако не актеры, а актрисы царили на сцене. Весь партер, многие кресла и часть лож были заняты военной молодежью, только что вернувшейся с самых кровавых за прошедшие века полей сражений. В головах боевых офицеров словно бы не прошел еще хмель от шампанского, выпитого в Париже. Да и нельзя было ему пройти — они видели слишком много разорванных ядрами тел, на их глазах умирали друзья, у всех погибли родственники. Горечь потерь понемногу стиралась, но не забывалось безумие сдавшегося Парижа. Шампанское служило не забвению ужасов, но сохранению того непередаваемо счастливого ощущения победы, которое было пока лучшим воспоминанием их жизни. Они искали новых побед, но мирных и непременно счастливых.

Напрасно барышни в ложах старались привлечь внимание молодых людей, напрасно тщательно одевались к балам. На танцах вокруг них толпились кавалеры, но не было женихов. Офицеры нисколько не желали запереться в однообразный мир семейной жизни и забот о поместье. (И Иван Петрович Белкин был глубоко не прав, когда заставил своего полковника Бурмина уже в середине 1815 года уехать в провинцию и пасть там к ногам Марьи Гавриловны. Всякое, конечно, случалось, но как редкость, обычно же мысль о женитьбе приходила героям двенадцатого года не раньше, чем году в двадцать втором. Впрочем, историю «Метели» поведала автору девица К. А. Т., и в тройном пересказе, быть может, спуталось время событий.) Актрисы и замужние дамы торжествовали над благородными девицами. Мужчины увлекались мгновенно, пылко кидались во всевозможные любовные авантюры, лишь бы вдали не маячил страшный призрак брака. Мимолетные романы не давали выхода их чувствам, они влюблялись всерьез, но любовь оставалась легкой и радостной и не нарушала праздничного настроения.

Такое состояние умов совершенно пришлось Грибоедову по вкусу. Он не видел битв, но его умение веселиться от этого нисколько не пострадало. Из армейской жизни он принес репутацию отчаянного повесы, и анекдоты о его дурачествах докатились даже до

Петербурга. Сверстники и женщины встретили его с любопытством. Со своей неистощимой веселостью и остротой он во всяком кругу молодых людей, где ни появлялся, становился их душой. Он был недурен собой: среднего роста, худощавый, с густыми темными, чуть волнистыми волосами, зачесанными назад. Правда, длинноватый нос и очки несколько его портили, но благородные, безупречно светские манеры, изящные руки с длинными пальцами, серьезное лицо, красивый, звучащий искренностью голос покоряли и юных, и пожилых. Только внимательный наблюдатель по неуловимой оригинальности движений, по внезапно вспыхивающему взгляду и неожиданно ясной улыбке мог бы распознать тщательно скрытую до поры тягу к озорству. В театре Александр оказался среди первых волокит, всегда счастливых, какой бы богатый и влиятельный соперник ни становился на пути.

Бегичев тоже не затерялся в толпе театральной молодежи; приятная наружность и кавалергардский мундир благоприятствовали его успехам, и особенно Леночка Воробьева очень его отличала, но издали. Ее, как и всех воспитанниц театрального училища, держали под запором, в театр привозили в закрытой линейке и всеми силами оберегали от общества мужчин: нельзя было, чтобы нежелательные последствия знакомств помешали девушкам оправдать затраченные на их обучение деньги. Поклонники не могли выражать свои чувства чем-то большим, нежели вздохами под окнами училища да бурными аплодисментами в зале. Вне школы и сцены Воробьева появлялась лишь в доме Шаховского, чьей любимой ученицей она была.

Предприимчивый Грибоедов, желая помочь Степану, повез его как-то на вечер к князю, в небольшой двухэтажный деревянный дом Лефевра на Офицерской улице, принадлежавший Малому театру. Шаховской жил со своей гражданской женой, немолодой уже актрисой Екатериной Ивановной Ежовой и множеством общих детей («ежат», как острили злые языки). Кроме них в домике теснились семьи артистов и служащих театра. По утрам к князю являлись должностные лица, перед обедом — актеры на домашние репетиции, вечерами собирались друзья и литераторы... дом круглые сутки кишел народом, по лестницам во всякое время сновали жильцы в дезабилье, дети, слуги, собаки, посетители, стоял несмолкающий шум, а квартиры отделялись друг от друга весьма условно — все жили, по обычаю артистического мира, общей жизнью. Грибоедову понравилась непринужденная обстановка театрального дома, но в прочем он не был доволен визитом. Прежде он постоянно встречал Шаховского в зрительном зале, но мало общался с ним: тучный, лысоватый, с крючковатым носом и узкими глазами, тот был отменно уродлив, невероятно подвижен и говорлив. Грибоедову не нравился ни он, ни его комедии, которые он видел еще в детстве в хмелитском театре. Оказавшись в гостях у Шаховского, он переменил свое мнение о нем, оценив и яркость его беседы, и его безграничную, на всю жизнь, преданность русскому театру.

Князь же встретил друзей довольно прохладно. В его глазах они не имели достоинств: не могли, по недостатку средств, оказать покровительство какой-нибудь актрисе (Шаховской неизменно старался пристроить выпускницу училища наилучшим образом, и это не служило к его доброй славе), не сочиняли пьес и даже не годились как типаж в комедию. Степан был раздосадован приемом и по дороге домой принялся уговаривать Александра написать что-нибудь, что обеспечило бы радушие Шаховского — да ведь он и принимался же что-то писать? не сохранился ли тот опыт? Дома он перерыл все бумаги Грибоедова, но французской пьески, над которой тот от скуки трудился в Польше, не нашел. Александр, впрочем, пообещал что-нибудь придумать, но вихрь развлечений совершенно закружил его, и зима пролетела вмиг, не оставив ни на что времени. Он даже не выбрался к Фильду, об уроках которого когда-то мечтал. Сестра постоянно напоминала ему в письмах об этом их детском желании и недоумевала, как может Саша не поспешить к великому пианисту, едва очутившись в Петербурге. Она не представляла, какой стала теперь жизнь ее брата.

В марте веселый петербургский сезон закончился, Грибоедов с Бегичевым вернулись в Польшу, к своим обязанностям, хотя дотянули с отъездом до последних дней санного пути. Кологривов встретил их по-родственному, но они тотчас заметили его подавленность и

раздражительность. Дмитрий Бегичев объяснил им, что происходит. Положение Кологривова становилось день ото дня хуже. Военным министром он так и не стал (император предпочел на этот пост не администратора, а боевого генерала Коновницына), наместник Польши Новосильцев отстранял его ото всех дел, ненужная теперь резервная армия постепенно распускалась. Вокруг кипела работа по составлению Уставной грамоты для новопровозглашенного Царства Польского, а Кологривов, как большинство военных, отнюдь не считал поляков достойными награды, коль скоро в войну они сражались против России. Он невольно оказался в оппозиции, штаб его бездельничал, генерал не знал, на чем сорвать досаду.

Вдруг в конце марта пришло поразительное известие о бегстве Наполеона с острова Эльбы и возвращении на трон. Резервы воспрянули духом — началась новая кампания союзнических войск. Она оказалась скоротечной, а русская армия совсем не приняла в ней участия. На долю Грибоедова досталась одна штабная рутина. Его помощь пригодилась бы, как и прежде, для общения с поляками, он мог бы помочь своими юридическими и, так сказать, наследственными знаниями при подготовке конституции Польши, но власть теперь была у Новосильцева, и тот не принял бы к себе протезе Кологривова ни за какие заслуги.

После веселой петербургской зимы Александр отчаянно скучал в польском безделье. Бегичев, со свойственным ему упорством, отыскал начатый перевод из Крезе де Лессера и упросил друга его завершить — не вечно же им оставаться в Польше, а в Петербурге он пригодится. Грибоедов взглянул на начало своей работы без воодушевления, оно показалось ему довольно вялым, стихи негладкими. Он так старался изобразить скуку жизни молодой четы, что скука эта явно передавалась читателям и слушателям. Но ему было лень переделывать все заново, он вставил только небольшой монолог главного героя, которого не было в оригинале, продолжил текст, сокращая сюжет, где только мог, прочел Бегичевым, оба пришли в восторг, которого Грибоедов не разделял, но все же отослал пьеску Шаховскому, прося дать ей ход, если князь сочтет ее пригодной к сцене.

На Шаховского «Молодые супруги» Грибоедова произвели небывалое впечатление. Он лучше всех мог оценить то, чего не заметил, может быть, и сам автор. Сколько драматургов, впоследствии посвятивших себя комедии, начинали творческий путь с большой запутанной трагедии на мифологический или библейский сюжет с толпой персонажей! Игривый Мариво сначала провалился «Смертью Ганнибала», «Клеопатра» Крылова даже не дошла до сцены, Бомарше начинал со слезливых драм, Мольера только долговая тюрьма отучила от трагедий... примеры бесконечны. Словно бы юноши, ощутив тягу к творчеству, полагали себя способными сразу сказать веское слово в литературе и торопились сказать так много и так путано, что их потуги только выдавали неопытность и наивность. Попытки эти неизменно кончались крахом. Иногда первый опыт становился последним. Так, Степан Жихарев, выложив все свое невеликое знание жизни и сцены в жуткой десятиактной (по длине) трагедии «Артабан» из персидской истории, замолчал навсегда после унижительного о ней отзыва. Другие восставали из пепла в новом, комическом обличье.

По пальцам одной руки можно пересчитать будущих великих авторов комедий, которые комедиями же и начинали. В Англии Конгрив писал только комедии, но перед тем издал все же растянутый и невнятный роман. Шеридан начал с комедии, но на древнегреческий сюжет. Сам Шаховской в молодости трагедий не сочинял, но только потому, что не считал себя талантливым драматургом (и несколько пьес, имевших успех, впоследствии сжег за бездарность). Он поразился: какой же уверенностью в своих силах должен был обладать дебютант, чтобы обойтись без древних мифов и трагических эффектов!

Грибоедов переощеголял всех своих предшественников и последователей. Настолько, что Шаховской задал себе вопрос: а не сознательно ли юный автор поставил перед собой редкостную задачу — писать как можно проще и короче? В «Молодых супругах» всего три действующих лица (что само по себе удивительно на тогдашней сцене), двое мужчин и женщина, но это не любовный треугольник. Внешнего конфликта нет, сюжет строится на внутренних переменах в героях. Действие длится в течение примерно часа, почти в реальном

времени, каждый персонаж один-два раза покидает сцену⁴. Во всем прочем Грибоедов свято соблюдал традиции. Пьесу он сочинил, следуя Лессеру, в стихах, хотя до той поры не считал себя поэтом. Как говорил один герой Мольера: «Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза». Русская драма порой использовала прозу — Фонвизин и Екатерина II иначе не писали. Но обычно трагедии и комедии сочинялись стихами. Проза могла быть любой, стихи — только alexandrinскими. От середины восемнадцатого века вплоть до 1818 года никакой другой стихотворный размер на сцену не допускался.

Alexandrinские стихи родились отнюдь не в египетском городе Александрия, а во Франции, в поэме двенадцатого века об Александре Македонском и пять веков оставались в забвении, пока в семнадцатом веке Корнель, Мольер и Расин не сделали их единственно возможным языком драмы. Они обманчиво просты. Каждая строка состоит из двенадцати слогов, каждый второй слог имеет ударение, после шестого слога находится цезура: в произношении со сцены актер здесь делает паузу и вдох, при чтении про себя здесь тоже надо сделать мысленную остановку; перед цезурой и на конце строки интонация повышается. Строки рифмуются попарно: каждая пара строк несет в себе законченную мысль, то есть завершается точкой:

Прекрасный человек ведь все-таки при этом
Отлично может быть посредственным поэтом;
Он честный дворянин, сомненья в этом нет,
Он смел, достоин, добр, но он плохой поэт;
Простить ему стихи я б только мог, поверьте,
Когда б он их писал под страхом лютой смерти⁵.

Во французском языке все слова имеют ударение на последний слог, но не все слова двусложны. Подобрать их так, чтобы ударения непременно оказывались на втором, четвертом, шестом и так далее слогах, трудно. Оттого в alexandrinских стихах речь подвергается невероятным искажениям: ударения ставятся в самых немыслимых местах, читаются буквы, которые в разговорной речи не произносятся, и, наоборот, проглатываются те, что обычно произносятся, появляются звуки, которых нет в нормальном языке, и тому подобное. Казалось бы, результат должен быть ужасен. Но если многие пьесы Корнеля, Мольера и Расина еще живы на современной сцене, то в значительной мере они обязаны этим красоте слога. Alexandrinские стихи невероятно музыкальны. Даже человек, лишенный слуха и совсем не знающий французского языка, постаравшись, оценит их звучность. Они торжественны и приподняты, но могут быть нежными или насмешливыми. Их надо бы слышать из уст французских актеров, но можно научиться читать и самому (если знать язык, конечно). Это трудно, но усилия, потраченные на проникновение в стих, подобны усилиям при изучении музыки — они сами себя вознаграждают.

Но «великие alexandрины» (как называют их французы) живы только в своем родном языке. Немецкие и итальянские поэты затратили века, чтобы научить их звучать на других языках, но так и не преуспели. Даже русский язык, которому подвластны гекзаметр и спондеи, прихотливые рифмы сонетов и спенсеровой строфы, даже русский язык спасовал перед alexandrinским стихом и не нашел ничего лучшего, как превратить его в монотонный шестистопный ямб без цезуры. Если кто-нибудь начнет читать русский перевод

⁴ Если бы все трое оставались на ней постоянно, построение пьесы предвосхитило бы сценические эксперименты начала двадцатого века, но, пожалуй, не стоит ставить Грибоедову в вину, что он не достиг в своем первом опыте уровня драматургии следующего века.

⁵ Мольер Ж. Б. Мизантроп. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

великого «Сида» Корнеля или комедий Мольера, то едва ли осилит их до конца; он просто не поймет, чем они хороши в оригинале. Унылая тягучесть стихов — не вина переводчиков, а беда, ибо русский язык бессилён передать игру французских интонаций; немецкий и итальянский языки ещё хуже приспособлены для александрийского размера, а английский даже не пытается ему подражать, поскольку в нём все слова имеют ударение на первом слоге.

И все же, несмотря ни на что, русские авторы долго не теряли надежды овладеть александрийским стихом, упорно его использовали, и почти целый век заунывные звуки псевдо-александрйской речи неслись с подмостков театра. Казалось, иначе писать недопустимо. И Грибоедов, с детства привыкший к подобному стилю, не находил его нелепым. Взявшись сам за перо, он следовал привычному ритму. Цезура ему не удавалась, монотонность речи слабо разбивалась разной рифмовкой двустопий: то ударения на последний слог (мужская рифма), то на второй от конца (женская). Никакой красоты и гибкости стиха. Но ничего другого нельзя было и ожидать.

Русские авторы были не совсем не правы в своем настойчивом стремлении писать шестистопным ямбом. Настоящий александрийский стих весьма сильно искажает французский язык, и природный француз, не имея к нему привычки, не разберет, о чем толкуют актеры. Как ни музыкальна эта речь, она понятна не более чем оперное пение, если не менее. Русский же вариант, совершенно лишенный музыкальности, вполне понятен. Его легко произносить актерам, легко воспринимать публике. Рифмы стоят рядом, мысль заключается всего в двух строках, а то и в одной, оттого самый неподготовленный зритель свободно может следить за сюжетом и нить повествования не запутывается даже в самом длинном монологе. Актерам нет нужды дополнять игрой и мимикой что-то, недосказанное автором; они всего лишь должны донести до слушателей каждое слово текста.

Оттого чистота речи считалась мерилем исполнительского искусства. Плавильщиков, законодатель московской сцены в течение полувека, так, например, оценивал молодых актеров в 1805 году: «Вот хоть бы взять нашего Кондакова: он из семинаристов и, по-настоящему, плохой актер, но публика его терпит, потому что читает внятно, слова нижез как жемчуг, ни одного не проронишь. Такой человек если не оттенит своей роли, то и не проглотит ее, но передаст публике верно, что хотел сказать и написать автор. Другой пример — Караневичева: у ней один тон, что на сцене, что за кулисами, о движении страстей понятия не имеет, о пластике не слыхивала, актриса вовсе плохая, а читает хорошо и, будучи на месте зрителя, я предпочел бы ее многим пресловутым актрисам, с которыми мне играть доводилось и которые только что шептали свои роли, потому что сцену почитали пьедесталом, на котором могли поломаться перед публикой».

Актеры были в первую очередь чтецами, и спектакли походили на оперы в концертном исполнении, когда певцы только голосом и очень сдержанными жестами передают все, что при обычном исполнении они передали бы еще и костюмами, движениями, объятиями или схватками на мечях. Такой театр не знал полутонув: спектакль либо удавался, либо проваливался, среднего было не дано. Отличная пьеса при талантливых актерам доставляла зрителям удовольствие; плохие же актеры не доносили до публики текст, а игрой восполнить его не могли, и спектакль терял смысл; отличное исполнение плохой пьесы так явно выпячивало все ее недостатки, что спасти положение было невозможно. Автор и актер оказывались прочно связаны — оба должны были быть хороши под угрозой освистания обоим. Хорошие актеры выходили на сцену только в шедеврах. Плохие актеры шедевров сторонились, а плохие авторы не держались на сцене более одного представления. Отбор был жестким, но справедливым, и обижаться не приходилось.

Шаховской был в восторге от первой пьески Грибоедова. Он настолько проникся ее достоинствами, что начал сочинять собственную комедию стихами, а не прозой, как прежде. Он вообще необычайно легко воспринимал новые веяния и послушно следовал им, в каком бы противоречии друг с другом они ни были. В сущности, он считал себя не сочинителем, а

умелым и талантливым подражателем.

Репетиции еще не начались, но Шаховской усиленно звал Грибоедова в Петербург, убеждая, что без него пьесу никак нельзя ставить. Александр и сам рвался в столицу, но, пока шла война, не мог, конечно, отпроситься из полка. Наконец, в середине июня до Польши дошли вести о страшной битве при Ватерлоо, где англичане и пруссаки под командованием герцога Веллингтона разбили наскоро собранную армию Наполеона (сражение состоялось 18 июня, но в России пользовались старым стилем и о европейских событиях узнавали в то же число, когда они и произошли, только двумя неделями позже). Многие вздохнули с облегчением: наконец-то с супостатом покончили! Но Кологривов был угнетен: поражение французов знаменовало закат его карьеры. Он очень охотно разрешил Степану с другом взять новый отпуск, на сей раз на год, без сохранения жалованья и выслуги лет.

В конце июня они были уже в Петербурге. Здесь отыскало Александра письмо матери, наконец разобравшейся в запутанных мужем делах. Она все подсчитала и обнаружила, что за нею и ее двумя детьми всего кругом числится 144 души в двух владимирских деревнях, общей ценой в 29 тысяч рублей, да при этом долгу 58 тысяч рублей, из которых полторы тысячи взяты у крестного отца Марии и Александра — Николая Яковлевича Тинькова, еще две тысячи у купцов и знакомых (все это — мелочь), пять тысяч — из опекунского совета под залог имений, а все остальное Сергей Иванович остался должен своей же жене, по распискам, взятым у нее на сохранение. Настасья Федоровна в деловых вопросах была несильна, но тут послушалась советов умных людей и предложила сыну не делить имения, а все — и крестьян, и земли, и долги — передать Марии в вечное и потомственное владение. От этого всем будет прямая выгода: Мария получит приданое, крестный с нее долг не потребует, мать, само собой, тоже, поскольку жить они будут вместе. Таким образом, имение почти очистится от долгов, только проценты по закладным надо будет платить.

Правда, Александр окажется без единой копейки и без единого крепостного. Но такова уж доля мужчины — пусть трудом своим зарабатывает состояние и чины. Настасья Федоровна с раздражением слышала стороной о разгульной и бесполезной жизни сына; тот все еще оставался корнетом неблестящего полка, даже заслуг военных не имел. Вот она и решила хоть голодом, да принудить его к делу. Грибоедов не стал вдумываться в побуждения матери. Он любил сестру, не сомневался, что как-нибудь проживет без отцовского наследства, и не глядя подмахнул доверенность на раздел в соответствии с желаниями Настасьи Федоровны. С 30 июня 1815 года он стал в буквальном смысле нищим, даже жалованья не получал.

По молодости лет он не заметил перемены в своих обстоятельствах. Носитель хорошей фамилии, тем более кавалергард или гусар, мог весьма долго жить в Петербурге в кредит. При том и обыкновенные нужды были дешевы, разорить могла только карточная игра, но картами Грибоедов не увлекался. Они со Степаном устроились очень дешево — в доме театральной дирекции, на одной лестнице с Шаховским. Веселая суэта актерского мирка пришлась им по душе, но об уединении и удобствах здесь приходилось забыть. Александр купил фортепьяно, без которого кое-как обходился в предыдущий приезд в столицу, и начал оглашать дом руладами в самое неожиданное для соседей время. Изредка по утрам он выбирался к Фильду, что казалось ему несколько неловко: вдруг офицер затесывается в компанию барышень и малолетних, обычных учеников пианиста. Ирландец не находил в его технике недостатков и ставил ее в пример даже лучшему своему воспитаннику Мише Глинке. Но его глубоко возмущала привычка Грибоедова к импровизациям, которые тот никогда не записывал и не запоминал. Фильд видел в этом барствленную небрежность и горячо убеждал Александра не бросать звуки на воздух, ведь порой у него получались замечательные и оригинальные мелодии. Тот, однако, пропускал советы мимо ушей, никогда даже не думая о себе как о композиторе.

Светский сезон в Петербурге начинался раньше московского. Уже 30 августа, в день тезоименитства императора (и Грибоедова), по традиции давали новый балет. В то лето в

Россию вернулся Дидло, и все с восторгом предвкушали возобновление его постановок. Грибоедов впервые увидел творение гениального балетмейстера. Стоя в толпе офицеров, заполнивших партер до отказа, он с возрастающим изумлением смотрел на нимф в легких одеяниях, скользивших среди волшебных садов и струй настоящих фонтанов. Танцовщицы летали по воздуху, скалы двигались, плескалось море, и в заключение сцена превратилась в чарующее царство любви (давали балет «Ацис и Галатей»). Дидло ценил в танцах не прыжки и пируэты, но прежде всего грациозное положение тел исполнительниц, игру страстей на их лицах.

Оттого героини его балетов не были излишне худы или мускулисты, а напоминали прекрасные статуи. Француз плел из них, как из цветов, гирлянды и венки, возносил в небеса, группировал живописно и очаровательно. В его балетах женщины решительно преобладали, они являлись феями и одалисками, и даже мужские роли нежных любовников исполняли танцовщицы.

Роскошные картины Дидло, томные взгляды его нимф, особенно красавицы Истоминой, их слегка прикрытые красы приводили зал в неистовое волнение. Грибоедов, как и все, покорился чарам невиданного прежде искусства. Балеты стали его страстью.

Между тем в драматическом театре приближался бенефис певицы Нимфодоры Семеновой. В ее пользу давали оперу «Эфрозина и Корадин» и «Молодых супругов» Грибоедова. Актеры приняли пьесу Александра с удовольствием. Закулисной борьбы из-за нее не разгорелось: просто три лучших актера столицы — Екатерина Семенова, Сосницкий и Брянский — забрали комедию для совместного выступления в начавшемся сезоне. Пьеса оказалась очень сценична, хотя читать ее скучновато. Актеры в ней играли без труда, автор не навязывал им никакой манеры исполнения, позволяя делать что угодно.

Александр внезапно оказался в самой гуще театральных интриг. Шаховской репетировал одновременно его пьесу и свою большую пятиактную комедию в стихах «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В новом сочинении князя должна была после долгого перерыва предстать перед зрителями прежняя соперница Екатерины Семеновой в трагедии — очаровательная Мария Вальберхова. Она отличалась превосходным воспитанием, благородными манерами, фацией и красотой, но не имела великого таланта в изображении сильных страстей. Отказавшись от состязания с Семеновой, она решила попробовать себя в комедийном репертуаре. Шаховской был рад ее возвращению на сцену, предвидя оживление публики. Однако Семенова, хотя и осталась победительницей в трагедии, не желала терпеть Вальберхову на одних подмостках с собой и взяла себе комедийную роль в пьесе Грибоедова под предлогом поддержки своей младшей сестры Нимфодоры. Некогда они обе учились у Шаховского, но Вальберхова осталась ему преданна, а Семенова перешла к другому знаменитому театралу — Гнедичу, полной противоположности Шаховскому решительно во всем.

В отличие от князя, в свои сорок лет казавшегося Грибоедову почти стариком, Гнедич был ровесник Бегичева, но невзрачен, обезображен оспой, с вытекшим глазом. Он являл собой воплощение любви к классике. Два года ранее он прославился изданием отрывка из «Илиады» Гомера и ходили слухи, что он взял на себя титанический труд перевести ее целиком. Он мыслил гекзаметрами и, если соглашался снизить до современной ему литературы, то всему предпочитал александрийский стих. Никто не умел так, как он, донести до слушателей величие и красоту мерных стоп древних эпосов и французских драм. Искусство декламации он возвел в степень совершенства, и Семенова, услышав в свое время игру Мlle Жорж, стала брать уроки у Гнедича, надеясь превзойти оригинал. Она научилась произносить слова нараспев, со строго установленными подъемами и спадами интонаций; Гнедич расписывал ее роли, как арии в опере. За Семеновой потянулась было и Вальберхова, но, перейдя в комедию, отказалась от излишне манерной речи.

Репетиции «Урока кокеткам» и «Молодых супругов» превратились в состязание двух актрис, двух наставников и двух театральных школ. Актеры-классики, воспитанные на драме восемнадцатого века, и актеры нового века, стремившиеся к естественной игре и речи,

перемешались в пьесах самым причудливым образом. Гнедич, вдохновленный традиционным слогом Грибоедова, требовал от Семеновой привычного ей торжественного исполнения. Брянский, игравший друга семьи, готов был ей соответствовать, к видимому неудовольствию автора. Александр придал своему Сафиру (имена в пьесе — театрально-условные) некоторые черты Бегичева, умного советчика, добродушно-насмешливого и снисходительного. В холодном же изображении Брянского Сафир стал заурядным и унылым резонером, лишенным ироничного блеска. Зато Арист Сосницкого, остро и живо представленный светский баловень, хотя очень нравился Грибоедову, находился в полном разладе с партнерами.

В комедии Шаховского, где персонажей было гораздо больше, положение оказалось не лучше. Трагик Яковлев, Брянский, немолодая Асенкова, игравшая горничную Сашу — главную интриганку, представляли лагерь классиков. Сосницкий и Ежова рисовали своих героев с натуры. Вальберхова, Рамазанов и прочие по мере сил следовали за ними. Несогласие артистов перессорило бы всех, но Шаховской умело сглаживал недовольство веселыми анекдотами и нарочито комической живостью. Грибоедов то и дело перехватывал у него звание главного остроумца, так что поводов Для смеха в зале возникало гораздо больше, чем на сцене.

23 сентября состоялось великое событие: были играны «Липецкие воды» князя Шаховского. Наступила новая эра в русской литературе — год первый от «Липецкого потопа». Актеры бодро разыграли неприятзательную, донельзя растянутую, во всех деталях неправдоподобную историю. Липецк прошедшим летом доживал последний сезон в качестве модного курорта. Лучшее общество, по причине войны не имевшее возможности уехать на заграничные воды, проводило время у российских источников. В городе выстроили галерею для танцев, отделали водяные ключи, настроили бани и особняки. Степан Жихарев издавна всем прожужжал уши о прелестях этого места, около которого находилось его имение. Поэтому Шаховской без раздумий населил свою пьесу князьями, графами и баронами, ибо титулы лучше ложились в стихи, чем неудобные русские имена-отчества. Горничная Саша по собственному побуждению интриговала, стремясь выдать свою барышню за ее избранника, на которого имела виды кокетка графиня Лелева (Вальберхова). Добродетель, конечно, торжествовала, кокетство было посрамлено. Все прочие персонажи существовали то ли для оживления действия, то ли для его замедления. Сосницкий в роли ловкого, развязного щеголя поразил всех непринужденностью игры и совершенным изображением приемов высшего света. Яковлев так и не понял, для чего, собственно, был нужен его персонаж, заслуженный воин, разве чтобы почтить героев прошедшей войны.

Соединенные усилия актеров, игравших подчас с подлинным вдохновением, едва ли рассеяли бы скуку в зале. Случай, однако, помог. Среди третьестепенных персонажей Шаховской вывел некоего жалкого поэта Фиалкина, удручающего графиню завываниями своих серенад. Он и появился-то на сцене всего два раза, в первом выходе он изъяснялся скорее элегиями, воспевал любовь и природу, хвалил собственные стихи во славу женских глаз, и только в конце пьесы упомянул о балладах, притом несколько скептически, признавшись, что напуган мертвецами:

... В стихах,
В балладах, ими я свой нежный вкус питаю;
И полночь, и петух, и звон костей в гробах,
И чу!., все страшно в них; но милым все приятно,
Все восхитительно! хотя невероятно.

С чего вдруг публика решила, что в Фиалкине выведен именно балладник? а раз балладник, то самый из них великий — Жуковский? Шаховской и в уме этого не держал. Он не любил баллад, позволил себе в четырех строках посмеяться над обычными для них «чу!» и мертвецами, восставшими из гробов, но ничто в Фиалкине не позволяло увидеть в нем

карикатуру на Жуковского. Сам поэт присутствовал на премьере, сидя вместе с Жихаревым, Александром Тургеневым и их друзьями Блудовым, Дашковым и Вигелем. Скромный и мягкий, он, наверное, не принял бы выходки Фиалкина на свой счет, но друзья («Уж эти мне друзья, друзья...») позаботились убедить его в несомненности оскорбления, оскорбились сами, приписали Шаховскому самые злобные намерения, раззвонили о них по городу... и публика повалила в театр смотреть на «Жуковского». Бедный Василий Андреевич не знал, куда деваться от сочувствующих. По Петербургу пошли слухи, что в вечер премьеры Шаховского увенчали лаврами за расправу над балладами то ли в доме поэтессы А. П. Буниной, то ли у самого адмирала Шишкова, главы Беседы любителей российской словесности, в которой состоял и князь.

Сторонники Жуковского, собравшись, основали собственное общество «Арзамас», построенное не на чинных великосветских чтениях классических сочинений, как в «Беседе», а на веселых дурачествах и чтении эпиграмм на Шаховского. Запевалой в «Арзамасе» выступил князь Вяземский. Он атаковал несчастного Шаховского стихами и прозой, едко, остроумно, а подчас и справедливо: «Ты спрашиваешь у меня, любезный друг, как показались мне Липецкие воды? Что сказать тебе о них? Воды как воды! И если главным достоинством воды, как и всеми признано, есть совершенное отсутствие вкуса, то Липецкие воды могут спорить о преимуществе со всеми водами на свете. В сентябре месяце произошла в них неожиданная перемена, поразившая всех здешних натуралистов. Воды получили такую усыпительную силу, что стоило только подойти к их источнику, чтобы зевать, дремать и скоро заснуть богатырским сном». Так Вяземский писал в «Сыне Отечества», намекая на скуку, растянутость и действительно некоторое безвкусие пьесы Шаховского. (Кстати, настоящие липецкие воды, которые и до сей поры без прежней славы текут из старинных источников, как раз обладают ясным железистым вкусом. Но у Шаховского никогда не было металла в творчестве.)

В эпиграммах Вяземский совсем разошелся, сочинял их Дюжинами, в том числе «Поэтический венок Шутовского»:

В комедиях, сатирах Шутовского
Находим мы веселость словаря,
Затейливость Месяцеслова
И соль, и колкость букваря.

Или

Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь,
За неудачами от неудач спешишь:
Комедией друзей ты плакать заставляешь,
Трагедией ты зрителей смешишь.

Вяземскому вторил Дашков, его кантату «Венчание Шутовского» арзамасцы распевали хором на каждом заседании:

«Я князь, поэт, директор, воин
Везде велик.
Венца лаврового достоин
Мой тучный лик.
Венчая, пойте всей толпой:
Хвала тебе, о Шутовской,
Тебе, герой,
Тебе, герой!

Писал я на друзей пасквили
И на отца,
Поэмы, тощи водевили,
Им нет конца.
И воды я пишу водой».
Хвала тебе, о Шутовской,
Тебе, герой,
Тебе, герой!

и так далее.

Сам Жуковский в «войну на Парнасе» не вступал, хотя душой и стихами поддерживал «Арзамас». Шаховской тоже молчал, может быть, даже довольный наплывом зрителей в театр. Лучше бы и друзья его помалкивали. Среди них то ли не нашлось талантов, достойных отвечать Вяземскому, то ли они не хотели эти таланты проявлять.

Вяземский ехидничал:

Наш комик Шутовской хоть любит уязвить,
Но осторожности своей не изменяет:
Умеет он всегда сначала усыпить,
Да после сонного уж смело и ругает.

(В самом деле, выпад о балладах вставлен был в начало пятого действия, когда внимание публики весьма притуплялось, а многие и вовсе покидали театр, торопясь переодеться к обеду или балу — явное доказательство, что Шаховской не придавал значения фигуре Фиалкина.)

И что же ответил неведомый приспешник Шаховского?

Наш комик Шутовской тебя не усыпляет,
Но тот уж спит, кто вслух столь глупо рассуждает,
Наш комик сонного ругать не согласится,
А разве сонному во сне сие приснится.
Наш комик никого стихами не язвит,
Но правду лишь одну в них людям говорит.

Этакому эпиграммисту Вяземский ответил просто:

Моей рукой ты ранен был слегка,
Дружок! тебе остаться бы при этом;
Но вздумал ты почтить меня ответом, —
Зарезала тебя твоя рука.

Через десять дней после «Урока кокеткам» юный Михаил Загоскин смастерил пьесу в поддержку «Липецких вод» — «Комедию против Комедии, или Урок волокитам». Шаховской предоставил ему сцену театра, актеры быстро разыграли полемический пустячок. Теперь нападки из лагеря противников посыпались и на Загоскина. Война принимала затяжной характер.

В пылу театральных битв премьера «Молодых супругов» прошла довольно незаметно. Рецензенты отметили естественность хода пьесы, похвалили ее благородный тон. Но Семенова погубила роль. Она была превосходна в героических образах трагедий; могла изобразить сдержанную, унылую жену из начала комедии, но от слов Сафира, убедившего Эльвиру переменить поведение:

«Вот удивите вы весь свет!

Эльвира

Так удивлю же»,

ей следовало топнуть ножкой и выпустить наружу тщательно скрывавшуюся в угоду семейному дому живость, остроумие, склонность к капризам и шуткам. Она была неспособна к такому преображению, а когда стала петь романс, самые горячие доброжелатели усмехались и пропускали его мимо ушей, во внимание к другим ее достоинствам. Грибоедов покинул театр разочарованный, сам не зная — актерами или автором. Он напрасно переживал. Судьба «Молодых супругов» оказалась счастливой. В следующем сезоне их играли шесть раз — случай неслыханный для одноактного перевода⁶.

Пьесу с успехом поставили и в Москве, и впервые творчество Грибоедова стало известно его родным. Настасья Федоровна пренебрежительно пожала плечами, Алексей Федорович заметил, что маловато народу на сцене — кому ж это интересно? Одна Мария восхищалась всем, что писал ее брат, бывший с детства самым близким ей поэтом. Особенно оценила она монолог Ариста, в котором увидела отражение своих чувств. Она нередко жаловалась брату в письмах, что ее подруги, выходя замуж, забрасывают музыку, словно она для них была лишь средством показать себя женихам. Конечно, семейная жизнь прибавляет забот, но Марии казалось, что любовь к музыке, если она есть, не может исчезнуть вмиг и хоть немного времени ей можно бы уделять. Она с удовольствием прочла у Александра жалобы разочарованного мужа:

Притом и не видать в тебе талантов тех,
Которыми сперва обворожала всех.
Поверь, со стороны об этом думать можно.
Что светских девушек образование ложно,
Невинный вымысел, уловка матерей,
Чтобы избавиться от зрелых дочерей;
Без мыслей матушка промолвит два, три слова,
Что дочка будто ей дарит рисунок новый;
С восторгом все кричат: возможно ль, как вы скромны! —
А, чай, работали художники наемны.
Потом красавица захочет слух прельщать, —
За фортепьяны; тут не смеют и дышать...
Потом влюбленного как в сети завлекли,
В загоне живопись, а инструмент в пыли.

Грибоедов скоро выкинул огорчение из головы. В сражении у Липецких вод он до поры не участвовал, не зная, кого поддержать. С одной стороны, Шаховской стал его уважаемым другом, а его противники, уже не совсем юные, дурачащиеся не по возрасту, Александру не нравились, кроме насмешника и задиры князя Вяземского. С другой стороны, он ясно видел недостатки пьесы (да и всего творчества Шаховского) и не очень желал ее защищать. Но оставаться в стороне ему было неинтересно. В ноябре он придумал отличную шутку: попросил приятелей выделить ему нескольких вестовых в гренадерской форме, громадного роста и с зычным голосом, выдал им внушительные на вид пакеты и отправил к издателям петербургских журналов. Торжественное вручение пакетов под расписку вводило редакторов в трепет. Внутри они нашли уведомление «от Аполлона»:

⁶ И после целый век "Молодых супругов" то и дело возобновляли, и каждый раз постановщики и зрители удивлялись, насколько сценична эта пьеса, которая много проигрывает при чтении.

На замечанье Феб дает,
Что от каких-то вод
Парнасский весь народ
Шумит, кричит и дело забывает,
И потому он объявляет,
Что толки все о Липецких водах
(В укору, в похвалу, и в прозе, и в стихах)
Написаны и преданы тиснению
Не по его внушенью!

Николай Иванович Греч забавно рассказывал в своем «Сыне Отечества», что едва уселся сочинять статью о пресловутой пьесе, как получил упомянутый пакет: «Что прикажете писать после этого? Пусть те, которых права на гражданство в области Феба основательнее моих, не уважают сего приказа. Я содержу только постоянный двор на Парнасе и хотя не смею запрещать заезжим судить и писать у меня как угодно, но сам боюсь остракизма». Но и те, кто вправе был более него рассчитывать на покровительство бога поэзии и всех искусств, словно убоялись его гнева. Пасквили на Шаховского понемногу продолжали сочинять — на том стоял «Арзамас», и каждый нововступающий член обязан был напасть на злосчастного князя, — однако о «Липецких водах» почти совсем замолчали. Выходка с гренадерами стала широко известной, но никто не знал, кому принадлежало послание от Аполлона, а друзья Грибоедова молчали по его просьбе.

В конце года в столицу приехал Кологривов, и Александр начал хлопоты о выходе в отставку из военной службы. Он больше не связывал с ней никаких надежд и хотя не знал, куда определится в дальнейшем, не желал делать карьеру в армии. Он по-прежнему оставался корнетом и, следовательно, должен был бы вернуться в незавидный чин губернского секретаря, на который имел право еще в далеком 1808 году. В его звании продвижение в следующий класс совершалось не ранее чем через три года действительной службы, если не было особых заслуг, а он, поступив в августе 1812 года в полк Салтыкова, к концу 1815 года этих лет, с учетом всех своих отпусков и болезней, не отслужил. Он попросил Кологривова представить его за усердное и ревностное исполнение всех поручений к награждению чином коллежского асессора, то есть к производству из двенадцатого класса сразу в восьмой (классы 11-й и 9-й не существовали). Генерал охотно исполнил просьбу, которую Грибоедов сопровождал прошением на имя императора, указав, что поступил добровольно в гусары, отказавшись от испытаний на чин доктора права, что заработал в армии нервическую горячку, жестокий ревматизм в ногах и боли в груди от ушиба лошади и что от этого много потерял по сравнению со своими сверстниками, выводы же он оставил на все милостивейшее усмотрение. Дело об увольнении было отослано 20 декабря, но Андрей Семенович предупредил Александра, что успех почти невероятен, хотя сам он считал повышение заслуженным и не дожидался бы просьбы Грибоедова, если бы считал ее осуществимой. Награждение зависело от военного министра, который был совсем не расположен к Кологривову. Если же обратиться выше, к самому царю, то около него влияние Новосильцева, некогда его близкого друга, пересилило бы представление полуопального командира кавалерийских резервов. Кологривов не мог помочь даже своим родственникам Бегичевым. Степан поступил к нему в адъютанты корнетом, менее чем через год стал поручиком — но тогда генерал был в силе. После же четырнадцатого года ни Степан не получал продвижения, ни даже Дмитрий, при всей его деятельности и давних боевых отличиях.

Ответ министерства, по причине праздников и обыкновенной рутины, пришел не сразу. Канцелярия не приняла во внимание заслуги Грибоедова в науках и на военном поприще. Затаенная вражда генералов дала знать — приказ об увольнении составили сперва с пропуском места для нового чина: какой-то чиновник робко пытался выторговать для протеже Кологривова хотя бы 10-й класс. Но 25 марта 1816 года вышло окончательное

постановление: уволить корнета Грибоедова «для определения к статским делам прежним статским чином».

В том же месяце 16-го числа в Москве Настасья Федоровна окончательно закрепила раздел имущества на желательных ей основаниях. Теперь Грибоедов не имел ни средств, ни должности, ни даже гусарского мундира.

Он вдруг увидел себя в штатском платье среди компании сплошь военных друзей. Перемена в положении и даже обида от министерства никак не повлияла ни на отношение к нему приятелей, ни на собственное его о себе мнение. Чины, которых он добивался, нужны были ему не сами по себе, но по тем возможностям принимать важные решения, которые они предоставляли. Он чувствовал, он твердо знал, проверив это опытом и отзывами понимающих лиц (как Кологривов), что способен на большее, нежели мелкая секретарская должность в каком-нибудь департаменте. Оставшись при том же чине, он не спешил поступать в службу, ожидая момента, когда его своеобразные таланты и знания действительно понадобятся.

Денег у Александра не было, но они нашлись у Бегичева, ставшего в этом году наследником небольшого, в двести душ, но неплохого имения, с заводами, дававшими некоторую прибыль. Бегичев, конечно, не оплачивал счета друга, но поддерживал его кредит. Это было тогда в порядке вещей. Петербургская светская молодежь бедствовала поголовно — страна после войны разорилась, деньги наполовину обесценились. Молодые дворяне научились жить общим хозяйством: брали займы друг у друга из родительских денег и карточных выигрышей, даже в отсутствие приятеля, по принципу Грибоедова: «У меня нет ни копейки, а он верно бы со мной поделился»; кто не мог платить за квартиру, бесцеремонно переселялся к друзьям, и те не протестовали; трактирщикам и портным не платили, да и зачем? ведь не могли же они не обслуживать благородных клиентов?! Счета невидимо росли, но кого это беспокоило?

Друзей у Грибоедова было множество — и самых разных. В 1815 году, зайдя как-то случайно с дядей в Демутов трактир к хмелитским соседям, Хомяковым, он встретил у них учителя мальчиков Алексея и Федора — молодого человека, бледного, худого, с резкими чертами лица и ранней зрелостью манер. Их познакомили: Андрей Андреевич Жандр, мелкий чиновник канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя, бедный, привыкший с детства нести ответственность за семью, много работавший, самостоятельный в делах, но зависимый в суждениях, для которых не было простора в его службе. Его личная жизнь была странной: он связался с женщиной намного его старше, с незавидной репутацией, притом некрасивой собой и без средств, но умной и склонной к творчеству и мистике, Варварой Семеновной Миклашевич. Они жили открытым домом и всеми признавались мужем и женой, хотя на деле ими не были по причинам непонятым (никто не мешал им обвенчаться). Жандр питал тайное стремление стать писателем, может быть, драматургом, и был счастлив знакомству с Грибоедовым, через которого получил доступ к Шаховскому. В свою очередь, Грибоедов увидел в скромном чиновнике нечто, скрытое от большинства наблюдателей, прежде всего — силу духа. Он ввел его в круг гвардейских офицеров, и те покорно приняли.

Ближе всего Жандр сошелся со своим сверстником, таким же мелким чиновником в Адмиралтействе Александром Ивановичем Чепеговым (все, впрочем, звали его Чипяговым). Тот тоже стремился к литературной славе, но мечтания обоих оставались пока бесплодными, они не отваживались не только на самостоятельное творчество, но даже на переводы (по той, в частности, постыдной, но существенной причине, что не знали иностранных языков, кроме французского). Грибоедов по сравнению с ними был корифеем — его первую пьесу уже играли на сцене, и не без успеха.

Однако был среди друзей Грибоедова человек совсем иного склада. Они познакомились у Шаховского, где взгляд любого посетителя не мог пропустить оригинальную фигуру Павла Александровича Катенина. Он был моложе Жандра и Чипягова, но происхождением, воспитанием и достоинствами превосходил их неизмеримо. От матери,

пленной турчанки, он унаследовал невысокий рост, восточную смуглость и порывистость движений, странно сочетавшиеся с гордым мундиром преображенца. В двадцать три года за его плечами остались все жесточайшие сражения прошедшей войны (Бородино, Кульм, Лейпциг), он брал Париж и использовал проведенные там дни не впустую — увидел всех знаменитостей французской сцены и даже получил доступ в их избранный круг. Он был таким великолепным чтецом классической школы, что пользовался уважением Гнедича, знал все языки, переводил с древнегреческого, не говоря о немецком, французском, итальянском и прочих, при этом был отличным знатоком сцены, благодаря чему сблизился и с Шаховским. Памятью, начитанностью и искусством беседы он превосходил Грибоедова, больше всего любил вести дружеские споры на какие угодно темы, и какую бы мысль ему ни приходилось защищать, он побеждал любого соперника, хотя бы тот отстаивал истину. Неудивительно, что яркость личности Катенина завораживала окружающих. Творчество его, напротив, было пока скромно. Он опубликовал несколько баллад (однако у него и мысли не возникло оскорбиться из-за Фиалкина: хотя он отличался крайней обидчивостью, «друзья» не нашептывали ему злых слов на сей счет), перевел две французские трагедии (Корнеля и Расина), но полагал, что способен на большее, и никто не оспаривал этого убеждения.

Катенин, Жандр и Чипягов составляли всегдашнее и почти неразлучное общество Грибоедову и Бегичеву. Если бы не присутствие Степана, можно было бы сказать, что их объединяла любовь к театру. Но Бегичев если и интересовался театром, то в самом прикладном смысле, пера в руках никогда не держал, а сочинить хоть один стих не смог бы, вероятно, ни за какие блага. И тем не менее они все время проводили вместе: обедали, ходили в театр и каждый вечер до двух-трех часов ночи засиживались у Шаховского или в квартире Грибоедова с Бегичевым.

В одном только не удовлетворяли Грибоедова новые друзья — все трое не имели склонности к повесничанью и кутежам, по чрезмерной серьезности и высокому о себе мнению. К счастью, в Петербурге не было недостатка в шалунах и буянах. Первым по праву считался лейб-гусарский поручик Петр Павлович Каверин. Это был весельчак и дуэлянт (как это странно сочетается — весело убивать и подставлять себя под пули? — но Каверин сражался на войне и привык не обращать внимания на трупы, просто не думать о них), страшно легкомысленный в денежных делах, жил только в долг без отдачи и принимал участие во всех пирушках и проказах. Под стать ему был Василий Шереметев, кавалергард, сослуживец Бегичева, шалун и ветреник, из знатного и богатого рода, но вечно не при деньгах, в которых родители ему отказывали в наказание за распутство.

Каверин и Шереметев присоединялись к Грибоедову тогда, когда на смену литературным спорам тому приходила охота поозорничать. Бегичев же, по неизменному добродушию, готов был равно охотно и слушать молчаливо разговоры о стихах, и веселиться вовсю в ресторациях. Излюбленным местом их встреч был Шустер-клуб, основанный в прошлом веке разорившимся немцем. В этом заведении пили пиво и портер и играли во все на свете — от карт и бильярда до шахмат. Обыкновенными посетителями здесь были сначала немецкие лавочники и мастеровые. Порой сюда случайно заходили светские люди, поскольку клуб находился прямо напротив Адмиралтейства. Павел I, по свойственному ему недомыслию, решил запретить такие посещения: военных за появление у Шустера сажали на гауптвахту, а гвардейцев могли даже сослать в Сибирь. Нет нужды объяснять, что после павловского указа Шустер-клуб стал моднейшим местом — офицеры, особенно из гвардии, повалили сюда толпами. И в александровское время клуб сохранял свою притягательность, но не столько опасностью наказания, сколько необычностью кухни, обстановки и совершенно несветскими танцами и маскарадами. У Шустера или в ресторане Лоредана на углу Невского и Дворцовой площади Александр постоянно сталкивался с другими веселыми кавалергардами, тремя братьями Мухановыми: Петром, Павлом и Николаем, и с совсем юным Поливановым, драчуном и задирой. Он встречался и со старыми друзьями по Москве — Якушкиным, Щербатовым, с их сослуживцем по Семеновскому полку Сергеем Трубецким (с которым когда-то учился в университете, но почти не встречался, поскольку

князь Сергей бывал на занятиях от случая к случаю). Во всех гвардейских частях столицы Грибоедова принимали как своего.

Александр связывал людей между собой: без него его компания не только сразу бы распалась, но просто не сложилась бы. Друзья и враги признавали его особенный дар привлекать к себе людей, в полном смысле очаровывать их — умом, веселостью, откровенным обращением. Притом разнородность интересов его приятелей была кажущейся. Все они получили равное воспитание и образование, видное с первого взгляда по осанке, одежде и речи, все читали примерно одни книги, все владели оружием и готовы были при необходимости пустить его в ход. Бегичев не писал стихов — но он их читал и умел высказать о них суждение, недаром он получил прозвище Вовенарг. А повеса Каверин сам пытался сочинять и ценил способности других, даже собирал в отдельную тетрадку лицейские стихи юного Александра Пушкина. Грибоедов не участвовал в битвах, но в его храбрости никто не мог бы усомниться: честь, если она видна из обычных поступков дворянина, проявится им и на поле боя.

Что было причиной внешнего единства молодых дворян?

Их воспитал вальс. Он создал всё их отличие от поколения отцов и всё их сходство между собой. В прежнюю пору столичный свет делился на тех, кто умел танцевать, и тех, кто не умел танцевать. Последние могли достичь высоких чинов, могли быть важными и даже изящными, но в них всегда чувствовалась известная скованность движений, они должны были думать о постановке ног, о красоте осанки — и думать о чем-либо ином у них порой не доставало времени. Только дома, в покойном кресле, они позволяли себе предаваться размышлениям. Поэтому они жили двумя жизнями: дома и вне его. Но даже те, кто умел танцевать, разнились способностями и с детства привыкали быть среди ведущих пар, изобретателей фигур — или среди хвостовых пар, робких подражателей.

Вальс все переменял. Нет человека, который не мог бы ему научиться. Он требует всего нескольких, но безусловно необходимых навыков: особых приемов для борьбы с головокружением, прямой спины, быстроты и четкости передвижения, он учит сохранять внимательность в безумном верчении, дабы не налететь на соседей, и в то же время предоставляет каждую пару самой себе, не ставит их в зависимость друг от друга.

Даже и в наши дни танцоры отличаются безупречной осанкой, которую сохраняют до самой старости, как бы рано ни оставили сцену ради иной стези. В те времена молодежь, по крайней мере в столицах, кружилась в вальсах хоть час или два несколько дней в неделю все годы детства и отрочества. И пусть, став взрослыми, мужчины и не заглядывали в бальные залы, предпочитая им столы для карт и столы для ужина, но вальс накладывал на них неизгладимый отпечаток. Они безукоризненно держались без всякого внутреннего напряжения, и никакая пирушка не валила их с ног — они умели преодолевать головокружение. Они беззаботно и уверенно переносили взгляды окружающих и чувствовали себя равными в кругу равных.

Одна знатная дама тех лет объяснила это очень правильно: «Я часто спрашивала себя, что думают о нас люди, не принадлежащие к обществу, поскольку в своих повестях они всегда стараются изобразить нас совершенно иными, чем они сами. Я сильно опасаюсь, что мы во всем похожи на них, с той лишь разницей, что мы держимся проще и естественнее... Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас — они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них — искусственны, потому что они селятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным».

Конечно, естественная простота высшего света ничего общего не имела с невоспитанной естественностью: чесанием в затылке и ковырянием в зубах. То была *привычка* к хорошим манерам, ставшая второй натурой. Изжить ее они не могли и не пытались — они не замечали ее в себе.

Молодежь этого поколения не чувствовала душевного разлада, который заставляет поворачиваться разными сторонами характера в зависимости от требований среды. В беседах

на возвышенные темы, в кутежах, на войне и в любви они оставались в гармонии с собой и с миром. Без внутренней борьбы, без насилия над собой они являлись на утренние учения после ночи дикого разгула; в тюрьме и походе всегда были тщательно выбриты, их галстуки и манеры оставались безупречными на людях и наедине. Они с равным усердием дурачились и сочиняли, размышляли и действовали. Страсти и рассудок — все в них было цельным. Они обладали твердым внутренним ядром, сформированным воспитанием, которое позволяло проходить сквозь любые испытания житейской прозой, молодечества или каторги, сохраняя твердую осанку, ясный взор и — безупречный галстук, как знак касты.

Последующие поколения совершенно утратили эту гармоничность мироощущения и не понимали, как можно вести себя одинаково на бале и дома, во дворце и на бивуаке, в кабаке и в тюрьме; как можно интересоваться несовместимыми вещами — драться, писать стихи, издавать журналы, заниматься политикой, наукой и любовью — и все в одно время жизни, и все не поверхностно, но с талантом, а подчас с гением. Таковы были некогда люди Возрождения, создавшие идеал гармонической личности. В России этот идеал повторился — может быть, в последний раз в истории человечества.

Эта молодежь создавала новую русскую культуру, но так естественно, что ее представители почти не замечали своих усилий и умудрялись весело проводить время, хотя потомки оценили их труд как воистину титанический.

Однажды в 1816 году в театре кто-то слегка коснулся плеча Грибоедова. Он обернулся — Чаадаев! Они не виделись пять лет, и тот несколько изменился, немного поредели локоны, заострились черты лица. Но умопомрачительная изящность одежды и жестов осталась прежней, рядом с Чаадаевым Грибоедов померк, хотя считался одним из превосходно одевающихся молодых денди. Старые знакомые, они обрадовались друг другу, и Чаадаев повел Александра к себе в Демутов трактир, где останавливался всякий раз, как приезжал в Петербург из Царского Села, из своего лейб-гусарского полка. Но прежней легкости общения не было. Чаадаева неприятно поразили нынешнее легкомыслие Александра, его беспорядочные театральные связи. Он рьяно принялся за перевоспитание заблудшего юнца и начал с предложения вступить в масонскую ложу «Соединенных друзей», где и сам состоял.

О масонах говорили разное, но в ту пору их ложи представляли собой просто клубы по интересам (или без интересов), куда собирались мужчины отдохнуть от службы, дамского общества и повседневных обязанностей. Никакого иного, более высокого смысла в этих собраниях не было. Масонами были почти все столичные дворяне, и это ровным счетом ничего не значило. Грибоедов всегда сторонился масонских лож. Он с детства питал неприязнь к каким бы то ни было правилам, не любил ни карты, ни шахматы, не вступал ни в какие общества, поскольку не выносил подчинения, даже в игре. Но Чаадаев нашел его слабое место: в ложе, куда он звал приятеля, в торжественных заседаниях участвовали и дамы (!), а члены ее составляли оркестр (!) и исполняли гимны и кантаты на стихи вездесущего забавника Василия Львовича Пушкина под музыку знаменитого Кавоса, автора «Днепровской русалки». Музыкальные концерты ложи показались Грибоедову интересными, и он принял предложение, но время было неподходящим — наступало лето, ложа не собиралась.

Летом он уехал со всей компанией на дачу к Катенину. Тот недавно опубликовал новую балладу «Ольга», нарочно избрав для перевода популярнейшую немецкую балладу Г.-А. Бюргера «Ленора», уже дважды переведенную Жуковским: один раз дословно, другой раз — на русский лад под названием «Людмила». До войны «Людмила» почиталась великим произведением. Теперь он с нетерпением ждал ответа арзамасцев на свой полемический выпад, ибо хотел показать «Ольгой», как устарело творчество Жуковского, как много надо менять в русской поэзии. Что ж! в ближайшем выпуске «Сына Отечества» он нашел анонимный разбор «Ольги», с пометой, что писано в «Санкт-Петербургской губернии, деревне Тентелевой». Катенин читал критику вслух, с трудом продираясь сквозь неудобопроизносимый слог и все более и более распаляясь от придиристичности и

привязчивости рецензента, не нашедшего у него никаких достоинств, а только стихи, «оскорбляющие слух, вкус и рассудок». Он, конечно, предвидел, что нарочитая простонародность, даже грубость его языка не встретят сочувствия у сторонников мягкого, сладкозвучного Жуковского, но все же возмутился, прочитав обвинения в завистливости и бездарности.

Грибоедов слушал критику с удивлением: он не мог понять, то ли ее автор считает все баллады, включая Бюргеров оригинал, дурными, а творения Жуковского — образцовыми, то ли он нападает на все баллады как жанр, а Жуковского защищает по дружбе и за красоты стиля. В последнем случае он и сам охотно согласился бы с рецензентом. Александр не любил немецких баллад, проникнутых мистическими ужасами, ходячими мертвецами и беспробудным ночным мраком. В детстве Петрозилиус довольно пугал его страшным чтением, и он, уважая и немецких романтиков, и Жуковского, решительно предпочитал жизнерадостные сюжеты. У него зачесались руки ответить неизвестному хулителю Катенина, и он принялся убеждать друга предоставить ему эту честь. Павел Александрович охотно согласился: хотя по литературным обычаям обиженный автор мог вступаться за себя сам, все же приличнее было, если это делал кто-нибудь другой. Грибоедов написал антикритику в один присест, перо его летало по бумаге, и вскоре он уже читал ее своей компании под взрывы хохота. Катенин был в восхищении. Со следующей почтой разбор ушел в «Сын Отечества» и был помещен в ближайшем выпуске журнала.

Литературная критика родилась на день позже литературы, очень-очень давно. Она часто бывала забавна: ведь можно долго болтать и так и не сказать ничего умного, но нельзя постоянно подшучивать над сочинителем без того, чтобы время от времени не вырвалось нечто действительно остроумное. Но, кажется, ни один критик за все века не проявил столько искрометной веселости, столько разящей меткости, сколько Грибоедов. Его разбор произвел на читателей невероятное впечатление.

Сначала он расправился с нападками на Катенина: «Г-ну рецензенту не понравилась „Ольга“: это еще не беда, но он находит в ней беспрестанные ошибки против грамматики и логики, — это очень важно, если только правда; сомневаюсь, подлинно ли оно так; дерзость меня увлекает еще далее: посмотрю, каков логик и грамотей сам сочинитель рецензии!

Г. Жуковский, говорит он, пишет баллады, другие тоже, следовательно, эти другие или подражатели его, или завистники. Вот образчик логики г. рецензента... Г. рецензент читает новое стихотворение; оно не так написано, как бы ему хотелось; зато он бранит автора, как ему хочется, называет его завистником и это печатает в журнале и не подписывает своего имени».

Затем он вышутил несчастного рецензента со всеми его придирами: «Слово *турк*, которое часто встречается и в образцовых одах Ломоносова, и в простонародных песнях, несносно для верного слуха г. рецензента, также и сокращенное: *с песньми*. Этому горю можно бы помочь, стоит только растянуть слова; но тогда должно будет растянуть и целое; тогда исчезнет краткость, чрез которую описание делается живее; и вот что нужно г. рецензенту: его длинная рецензия доказывает, что он не из краткости бьется.

Далее он изволит забавляться над выражением: *слушай, дочь* — „подумаешь, — замечает он, — что мать хочет бить дочь“. Я так полагаю, и верно не один, что мать просто хочет говорить с дочерью.

...Он час от часу прихотливее: в ином месте эпитет *слезный* ему кажется слишком сухим, в другом тон мертвеца слишком грубым. В этом, однако, и я с ним согласен: поэт не прав; в наш слезливый век и мертвецы должны говорить языком романическим».

Наконец он добил противника доказательствами его незнания, во-первых, русского языка: «Он свою рецензию прислал из Тентелевой деревни Петербургской губернии; нет ли там колонистов? не колонист ли он сам? — В таком случае прошу сто раз прощения. — Для переселенца из Немечины он еще очень много знает наш язык». И, во-вторых, немецкого: «...видно участь моя ни в чем с ним не соглашаться. Его суждения не кажутся мне довольно основательными, а у меня есть маленький предрассудок, над которым он верно будет

смеяться: например, я думаю, что тот, кто взял на себя труд сверять русский перевод с немецким подлинником, должен между прочим хорошо знать и тот и другой язык. Конечно, г. рецензент признает это излишним, ибо кто же сведующий в русском языке переведет с немецкого...» и так далее.

Разделавшись с рецензентом, Грибоедов пошел дальше. То было присказкой, сказка впереди: «...писать для того, чтобы находить одно дурное в каком-либо творении — подвиг немноготрудный: стоит только запастись бумагой, присесть и писать до тех пор, доколе не наскучит; надоело: кончить, и выйдет рецензия в роде той, которая сделана на „Ольгу“. — Может быть, иные мне не вдруг поверят; для таких опыт — лучшее доказательство.

Переношусь в Тентелеву деревню и на минуту принимаю на себя вид рецензента, на минуту, и то, конечно, за свои грехи».

И Грибоедов взялся за «Людмилу» и по пунктам отхлестал Жуковского.

Тот не в ладах с размером:

Пыль туманит *отдаленье*.

Можно сказать: пыль туманит даль, отдаленность, да и то слишком фигурно, а отдаление просто значит, что предмет удаляется... Но за сим следует:

Светит ратных ополченье.

Теперь я догадываюсь: *отдаленье* поставлено для рифмы. О рифма!

Тот не в ладах со стилем:

«Мать говорит дочери:

Мертвых стон не воскресит.

А дочь отвечает:

Не призвать минувших дней

.....

Что прошло, не возвратимо...

.....

Возвращу ль невозвратимых?

Мне кажется, что они говорят одно и то же, а намерение поэта — заставить одну говорить дело, а другую то, что ей внушает отчаяние».

Тот не в ладах с грамматикой:

«Облеченны вместо *облечены* нельзя сказать; это маленькая ошибка против грамматики. О, грамматика, и ты тиранка поэтов!»

Тот однообразен — и Грибоедов в столбик выписал строки, начинающиеся с «Чу!» (четыре) и «Слышишь!» (тоже четыре).

Тот несуразен: «Когда они всего уже наслушались, мнимый жених Людмилы признается ей, что дом его гроб и путь к нему далек. Я бы, например, после этого ни минуты с ним не остался; но не все видят вещи одинаково. Людмила обхватила мертвеца нежной рукой...» и так далее.

Тот исказил смысл баллады и сделал героиню кроткой, богобоязненной и смиренной: «...за что ж бы, кажется, ее так жестоко наказывать?.. Неужели это так у Бюргера? Раскрываю „Ленору“ <далее цитата из соответствующего места немецкого подлинника: Извините, г-н Бюргер, вы не виноваты!>

Не оставив от «Людмилы» камня на камне, Грибоедов сбросил маску рецензента и сказал «два слова о критике вообще. Если разбирать творение для того, чтобы определить,

хорошо ли оно, посредственно или дурно, надобно прежде всего искать в нем красот. Если их нет — не стоит того, чтобы писать критику; если же есть, то рассмотреть, какого они рода? много ли их или мало? Соображаясь с этим только, можно определить достоинство творения».

Нельзя сказать, что последнее замечание пало на благодатную почву, но разгром Жуковского всполошил «Арзамас». Гнедич, незадачливый автор рецензии на «Ольгу», был убит и навек заклился выступать в роли критика, погрузившись в своего Гомера. Никто не знал, как отвечать Грибоедову. Перо в его руке сверкало так уверенно, легко, так умны и зрелы были его наблюдения, что самые задиры предпочли проглотить обиду и смолчать. Но более того. Баллада умерла! Все попытки приспособить немецкую романтическую мистику к русской жизни были оставлены. Одна Каролина Павлова в Москве продолжала писать в прежнем духе, но чего ожидать от женщины, к тому же немки по происхождению?! Жуковский перешел на элегии и послания, а после, по стопам Гнедича, но без его эрудиции, взялся за Гомера и перевел «Одиссею», найдя выход творческой энергии.

Грибоедов захотел уничтожить русскую подражательную балладу — он ее уничтожил. Последнее слово осталось за ним.

* * *

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит;
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

Баратынский.

Осенью Грибоедов вернулся в Петербург без Бегичева. Степан взял очередной отпуск и уехал в свое тверское имение — разбираться с хозяйством. В доме театральной дирекции произошли перемены: князь Шаховской с семейством переехал, наняв верхний этаж («чердак») в доме Клеопина на Малой Подъяческой. Александр тоже подыскал себе славную квартиру — в доме Валька на Екатерининском канале, в очень удачном месте. По соседству находилось театральное училище, а мимо окон в дни гуляний тянулись вереницы карет, едущих в Екатерингоф. Правда, все его военные друзья оказались разбросаны по городу далеко от него, но рядом жил Никита Всеволожский, у которого имели обыкновение собираться и кутилы, и литераторы. Александр предвкушал удовольствие от перемены жилья.

В октябре он вдруг тяжело заболел; врачи по обыкновению лечили его ото всех болезней сразу, и он на себе испытал разные спасительные влияния можжевельных порошков, серных частиц, корня сассапареля и тому подобного. Знакомство с фармакопией показалось ему занимательным, а была ли от него польза, нет ли — как бы то ни было, через месяц он выздоровел. Все это время он не получал от Бегичева вестей и отчаянно по нему скучал: «Любезный Степан! Где нынче изволите обретаться, Ваше Флегморodie? Не знаю, что подумать об тебе; уверен, что меня ты любишь и следовательно помнишь, но как же таки ни строчки к твоему другу. С меня что ли пример берешь? и то неизвинительно: я не писал к тебе, потому что был болен, а теперь что выздоровел, первое письмо к тебе. Если ты не намерен прежде месяца быть в С-Петербурге, то, пожалуй, потрудись не быть ленивым, обрадуй меня хоть двумя словами... Да приезжай же скорее, неужели всё заводчика корчишь, перед кем, скажи, пожалуй, у тебя нет матери, которой ты обязан казаться основательным. Будь таким, каков есть. — ...Приезжай, приезжай, приезжай скорее. В воскресенье я с Истоминой и Шереметевым еду в Шустер-клуб; кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился... — Прощай, мой друг, пиши, коли не так скоро будешь, что это за

мерзость, ничего не зная друг об друге, это только позволительно двум дуракам, как мы с тобою».

Степан возвратился по зимнему пути, и друзья зажили так же весело, как прежде. (Только Леночка Воробьева, поскучав во время отъезда Бегичева, зимой вышла замуж за красавца Сосницкого и составила с ним на всю жизнь лучший актерский дуэт императорской сцены.) Александр побывал было на заседании масонской ложи, но вместо обещанного «собрании друзей» с оркестром и с присутствием дам обнаружил только непонятные ему раздор и распри. 13 января ложа раскололась на две части, и Грибоедов, вслед за Чаадаевым, причислился к ложе «Блага» («Du bien»). Однако эта «игра больших детей» его не заинтересовала, и он совершенно отошел от масонов. С Чаадаевым Грибоедов так и не сдружился вновь. Тот неоспоримо и без всякого сравнения был самым заметным и блистательным из всех молодых людей Петербурга, резко выделяясь высокими знакомствами, умом, красотой, модной одеждой и библиотекой. И все же Петр Яковлевич всю жизнь производил неизгладимо сильное впечатление на мальчиков-подростков, пожилых дам и случайных знакомых, но взрослые мужчины относились к нему прохладно, хотя, пожалуй, не могли объяснить причину своего отчуждения.

Тем временем матушка не оставляла Александра своими заботами и хлопотала среди родных о приеме его в Коллегию иностранных дел. Настасья Федоровна в тот год злилась до неприличия — и было отчего! Ее воспитанница Варя Лачинова собиралась замуж за владимирского соседа Александра Смирнова, ее племянница Елизавета — за бригадного генерала Паскевича, близкого ко второму брату императора великому князю Николаю Павловичу, а ее дочь Мария все сидела в девках и отказывала любым женихам под нелепым предлогом — она, видите ли, желала найти в муже понимание и душевную близость! Об этом приятно мечтать в шестнадцать лет, когда все впереди, но в двадцать пять — смешно и поздно привередничать. Мария, однако, была непреклонна, и матери оставалось утешаться тем, что многие находились в подобном положении. Мужчины после войны все еще плохо женились. Даже у Марьи Корсаковой три дочери-красавицы были непристроены (а уж как старалась!), и у Пушкиных дочь была не выдана, и у Яньковой...

Зато Александр не усугублял раздражения Настасьи Федоровны, отказываясь от подходящего места. Собственных средств у него не было, и он испытывал нужду хоть в каком-то жалованье и определенном положении в обществе. Использование семейных связей во имя карьеры тогда не только не считали унижительным, но, напротив, трактовали как важное преимущество дворян, дарованное им заслугами предков. Оттого дворяне с неодобрением относились к таким занятиям, где каждый должен был проявить себя, не имея возможности опереться на древнее имя и незапятнанную родословную: например, к творчеству. Когда Федор Толстой, граф, морской офицер и человек состоятельный, почувствовал склонность к живописи, милая и снисходительная Елизавета Петровна Янькова наотрез отказала ему в руке своей дочери, а общественное мнение хором осудило дворянина, избравшего путь художника, где нельзя воспользоваться протекцией вельмож, где необходимо *самому* достигнуть известности. По всеобщему мнению, Толстой этим унизил не одного себя, но всё дворянство, словно бы отказавшись от своего звания, как какой-нибудь революционер, ради удела безродного простолюдина. Более того, соученики его по Академии художеств с возмущением восприняли вторжение в их скромную среду аристократа, желавшего отнять у них трудовой хлеб, хотя у самого были бесплатные пирожки. Не труд художника почитался позорным, а неуверенность в успехе. Когда Толстой достиг выдающейся славы, Янькова пожалела об отказе, а дворяне признали графа лучшим воплощением их вкусов. Только литературная деятельность не считалась недостойной дворянина — может быть, потому, что на писателя нигде не учили, за сочинения почти не платили, и недворяне редко имели столько досуга и средств, чтобы развлекать себя и других без вознаграждения.

Пока Настасья Федоровна вела из Москвы небыструю переписку с чиновными

знакомыми, прежде всего с дальним родственником Василием Сергеевичем Ланским, важным лицом в Министерстве внутренних дел, Александр по-прежнему весело проводил время. Теперь он несколько чаще бывал в свете и как-то невзначай оказался втянут в довольно серьезные отношения с одной замужней дамой, постарше его, муж которой был в отсутствии, а дети слишком малы, чтобы занимать ее по вечерам. Ее имя он тщательно скрывал даже от близких друзей, что обыкновенно не было ему свойственно. Роман начался незаметно, незаметно и сошел на нет, и хотя Александр чувствовал себя вполне счастливым, но впредь остерегался общества женщин взрослее себя — и остерегал друзей, которым, по его мнению, грозила та же участь.

Компания его оставалась прежней. За всю зиму у него появился один новый приятель — Александр Алябьев, боевой офицер, закоренелый картежник и страстный музыкант.

В нем Грибоедов обрел родственную душу, готовую бесконечно долго слушать его фортепьянные импровизации. (Когда впоследствии Алябьев начал сочинять романс за романсом, злые языки вопрошали, сколь многим он обязан мелодиям, наигранным ему Грибоедовым? Но едва ли композитор мог и сам разобраться в этом. Музыка Грибоедова была так необыкновенно естественна, так органично соединяла напевность салонных сочинений Фильда и напевность русских народных песен, что казалась возникшей сама собой из сплава европейской и русской культур, слитых в душе российского образованного дворянина. Она нравилась всем без исключения и, может быть, была тем незаметным, ненайденным истоком, из которого начало свой великий путь музыкальное искусство России.)

11 июня 1817 года Грибоедова приняли в Коллегию иностранных дел, и в середине месяца он явился для представления начальству в роскошный особняк на Английской набережной. Среди вновь зачисленных на службу он почувствовал себя стариком — его окружали мальчишки, только что окончившие Царскосельский лицей. Они казались растерянными, вдруг очутившись за стенами родного пансиона, и оттого вели себя несколько развязно или неловко, особенно Александр Пушкин (матушки могли бы им напомнить, что они встречались в детстве, но сами молодые люди забыли об этом) и его закадычный друг, нескладный Вильгельм Кюхельбекер. Грибоедов очень быстро освоился на новом месте; нашел старых знакомых — Никиту Всеволожского, Сергея Трубецкого и других; нашел и новых — особенно ему полюбился граф Завадовский, одетый по новой моде, как английский денди, но кутивший так, как позволяли себе только вельможи прошлого века. В квартире Завадовского в начале Невского и у Никиты Всеволожского на Екатерингофском проспекте собиралась золотая молодежь и актрисы, и Александр очень охотно у них бывал.

Служба его не обременяла. Раз в месяц он обязан был проводить в здании Коллегии сутки, не выходя ни на минуту, но развлекаясь внутри по своему усмотрению, а весь оставшийся месяц развлекался за стенами Коллегии. Грибоедов даже любил эти бессмысленные дежурства, а еще более любили дежурить с ним его друзья, наслаждавшиеся его балагурством и остроумными выходками.

Летом, на даче Катенина, сердясь на скверную погоду и журнальную скуку, Грибоедов с хозяином затеяли сочинение пьесы, в которой досталось бы и плаксивым модным лирикам, и теоретикам от литературы, и старым шутам, вырядившимся в новое платье (вроде Василия Львовича Пушкина), а пуще всех — тем чиновным пустозвонам, с которыми хоть и мало, но вынужден был знакомиться Грибоедов по долгу службы. Александр написал весь текст (причем прозой), а пародийные стихи и песни сочинил Катенин или сообща вся их компания.

Врагов, достойных осмеяния, было множество, но Грибоедов вывел всего два образа, которые вместили в себя все недостатки, и всего в одной комнате богатого петербургского дома за полдня сценического времени развернул действие и заклеил все чудачества. В пожилом барине и придворном Звёздове он изобразил отчасти своего дядюшку, любителя посмеяться, посердиться по пустякам, наорать на слуг, разбазарить тысячи на ветер, но и посражаться за каждую причитающуюся копейку. Однако Алексей Федорович не был таким

душевно слепым и глухим, таким безалаберным, неугомонным и пустоголовым, как Звёздов. Молодых героев — благородного статского советника Полюбина и гусара-кутилу Саблина — Александр списал с себя и своих друзей и посмеялся над ними, иронизируя даже над теми журналами, которые печатали его с Катениным труды. В центре пьесы он поставил несуразную карикатурную фигуру недавнего казанского студента из семинарских, судя по имени («Евламий Аристархович Беневольский» звучало нарочитым противопоставлением «Евгению Ивановичу Саблину»), который приехал завоевывать столицу, мечтая о славе великого государственного деятеля, великого полководца и великого поэта в одном лице, а кончил закономерно — переписчиком бумаг в типографии. Но не за мечтательность, а за расчетливость был наказан занесшийся провинциал: зачем униженно лебезил перед Звёздовым, зачем замахнулся на богатую невесту, зачем заранее рассчитывал прибыли от будущих сочинений? В его уста авторы вложили множество издевательских пародий на стихи Василия Львовича Пушкина, Жуковского, Батюшкова, на только-только вышедшие «Опыты» последнего, где в третий раз появилась статья «Нечто о морали», уже дважды напечатанная как новая в разных журналах. («Везде рассыпаны счастливые опыты Евлампия Аристарховича Беневольского», — насмехается Полюбин.)

Но герой «Студента» — не просто жалкий лизоблюд, вроде Фиалкина у Шаховского. Он глуп и смешон потому, что живет и мыслит литературными штампами, смотрит на любую житейскую ситуацию глазами прочитанных авторов и оттого беспрерывно попадает впросак. В конце концов потерявший все надежды, брошенный всеми студент вызывает даже сострадание, и объектом критики становится не он, а вся сентиментальная литература, доведшая своего поклонника до краха. Грибоедов с Катениным совсем не хотели прийти к столь безотрадному финалу, он получился непреднамеренно и бросил мрачный ответ на веселую пьесу. Пока они думали, как исправить впечатление, император Александр призвал Преображенский и Кавалергардский полки к исполнению обязанностей — сопровождать двор в долгую поездку в Москву. Катенин и Бегичев должны были собираться в путь. (Степан к этому времени вынужден был оставить Кологривова и по-настоящему служить в полку — иначе ему не видать было повышения. Дмитрий Бегичев перешел полковником в Иркутский гусарский полк, от чего Грибоедов пытался его отговорить: «Я в этой дружине всего пробыл четыре месяца, а теперь четвертый год, как не могу попасть на путь истинный».) В спешке проводов комедия была куда-то засунута, забыта, да так прочно, что Грибоедов никогда о ней и не вспомнил. Впрочем, он не считал «Студента» ничем большим, как черновиком будущей своей комедии. Еще зимой он начал сочинять стихотворную пьесу из современной жизни, где вывел героя, похожего на Звёздова, и его жену — сентиментальную модницу, напичканную цитатами из «милых авторов». Но собственные стихи его не удовлетворяли, образы не клеились — и он пока отложил работу, хотя Бегичев всячески его ободрял и хвалил.

17 августа сводный гвардейский полк отбыл из столицы. Проводы вылились в буйное гулянье в Ижорах, на первой станции, где, по обычаю, расставались отъезжающие с друзьями. Поливанов, ушедший с Бегичевым, затеял с Грибоедовым шутиливую потасовку, и Александр на другой день не мог владеть руками, а спины вовсе не чувствовал. Через два дня после Ижор он встретился в ресторане Лореда с Кавериним. Тот был, как всегда, вполпьяна и на мели и спросил: «Что? Бегичев уехал? Пошел с кавалергардами в Москву? Тебе верно скучно без него? Я к тебе переезжаю». Они разошлись, Грибоедов поехал, естественно, к Шаховскому; ночью явился домой — и обнаружил у себя каверинские пожитки, без следа хозяина. Впрочем, Александр не возражал: он действительно не любил жить один.

В тот вечер у Шаховского в очередной раз зашел горячий спор о стихах, даром что Катенина теперь не было. Хозяин, при всем добродушии, пребывал не в радушном настроении. Начался очередной театральный сезон, естественно было бы ему сочинить новую вещь, а он после «Липецких вод» чувствовал творческую растерянность. Его попытка написать комедию на современный сюжет не встретила сочувствия. Критики осуждали его за

неумелость: его персонажи изъяснялись столь просторечиво и грубо, как, конечно, ни один уважающий себя человек, тем более дама, не говорил, по крайней мере публично. К тому же, не в силах справиться с неудобопроизносимыми русскими именами-отчествами, он вывел на сцене одну титулованную знать, но этот прием, сам по себе малоправдоподобный, не спасал положения: в России считалось неестественным и просто неприличным обращаться к знакомым «граф» или «княгиня», без имени; а уж слуги никогда не могли, даже за глаза, говорить о господах: «Барон мне помешал», «Пронский покраснел» и прочее — что за неуважение?

Прошедший год Шаховской перебивался, сочиняя феерии на восточные сказочные темы и переводя трагедию Корнеля «Гораций» вместе с Катениным, Жандром и Чипяговым (Грибоедов от этой работы уклонился). Жизнь не подбрасывала князю удачных тем: не было ни войны, ни интересных сочинений, которые просились бы на сцену. Дидло, также зависимый в сюжетах, ставил балеты на мифологические темы — об Аполлоне и музах, Тезее и Ариадне. Но Шаховской не мог идти по его стопам; писать комедию на античный сюжет было в начале девятнадцатого века по меньшей мере неразумно, это был кратчайший путь к провалу.

Наконец, князь взялся за комедию «Пустодомы», где жена-модница и муж-прожектор наперебой разоряли имение при помощи продувных слуг и негодяя-немца. Но каждое его чтение встречало единодушное порицание среди посетителей «чердака», с мнением которых он привык — и справедливо — считаться. Он сердился, спрашивая — кто же пишет лучше него? Уж не Кокошкин ли в Москве, или, может быть, Борька Федоров? Но Грибоедов, главный его оппонент теперь, по отъезде Катенина, возражал, что жалкие потуги других авторов не могут служить оправданием слабостей Шаховского. Тот опять наполнил пьесу одними графами и князьями, ничем не различал речь неграмотного крестьянина и ученого барина. Друзья требовали от князя правдоподобия, а он в ответ требовал объяснить, как можно вставить в стихи имена-отчества героев и где граница, которая отделяет литературный разговорный язык от нелитературного просторечия? Он ставил опыт за опытом, но не продвигался ни на шаг — у Шаховского было много достоинств, но умением проложить новые пути в литературе он не обладал, да и не считал это своей обязанностью. Пусть другие выдвигают идеи — он же будет приспособливать их для театра.

И он бросил вызов критикам — самим написать несколько сцен на предложенный сюжет: героиня, привезенная мужем к провинциальным родственникам, старается всем угодить и в том успевает. Он нарочно придумал самые обыкновенные имена для дядей и теток (Варвара Саввишна Вельдюзева, Максим Меркулович, Матрена Карповна и тому подобные), которые явно не ложились ни в какой стихотворный размер. Шаховской надеялся, что либо все попытки потерпят неудачу и нападки на него прекратятся, либо кто-нибудь преуспеет, поможет ему «поставить голос», и он состряпает премилую комедию к бенефису своей любимицы Вальберховой, где той будет полная воля продемонстрировать разные стороны ее дарования.

Два человека приняли вызов — Грибоедов и Николай Хмельницкий. Последний не входил в число любимцев князя, хотя бывал у него. Он являлся потомком гетмана Украины и унаследовал от великого предка готовность к государственным делам и даже некоторую способность к ним. Его отец был известным философом и ученым, составившим себе состояние собственными трудами, а сын, военный дипломат и чиновник Министерства юстиции, пока предпочитал пожинать плоды отцовских заслуг. Он отличался редкостным легкомыслием, вроде водевильного француза, и стал уже известен несколькими искрометно веселыми и совершенно нарочито пустыми переделками французских пьес восемнадцатого века. Если у Шаховского петербургские графини разговаривали, как провинциальные горничные, то у Хмельницкого, наоборот, слуги говорили, как французские маркизы. Но никто не мог отрицать изумительной легкости и чистоты его слога.

Хмельницкий представил сцену экзамена Наташи, где один из дядьев, вообразивший себя ученым на том основании, что сестра его замужем за учителем, испытывает героиню в

разных науках, конечно, к собственному посрамлению. Экзамен уже выводился однажды на русской сцене в «Недоросле» Фонвизина, и там комичность строилась на абсурдно диких ответах на правильные вопросы, что могли оценить только хоть слегка грамотные зрители. У Хмельницкого же и вопросы были правильные (Максим Меркулович вычитывал их из книжек), и ответы были верные, и могла бы возникнуть скука от довольно сухой материи. Но сцена получилась блестящей, совершенно превосходной, задорной и смешной, и при том ее веселость мог понять самый невежественный слушатель. В то же время она была естественна, словно взята из жизни.

Хмельницкий взорвал изнутри привычный александрийский стих, разделив на две-три-четыре реплики одну строку, придал диалогу невиданную скорость. В беседу Наташи и Максима Меркуловича он включил реплики еще трех персонажей, которые служили не фоном, а важной составляющей сцены. Он предоставил актерам замечательные возможности для игры, а зрителям — для смеха. Только с именами-отчествами он не справился, вынуждая героев обращаться друг к другу «сударь», «сударыня» или запросто «Ну, брат Максим» и тому подобное — в его отрывке это было вполне оправданно, но не решало проблем Шаховского:

Максим (*ища в книге*)

...Итак, скажите мне... какое
Число чудес?

Наташа

Их семь.

Майор

А наш Максим осьмое.

Максим (*глядя в тетрадь*)

Так точно.

Наташа (*подходя к столу*)

Знаю я всех древних мудрецов,
Поэтов, воинов, оракулов, богов...

Максим

Чур не заглядывать!

Наташа

Все славные деянья,
Все царства, всех царей, войны, завоеванья,
Все храмы, города, и Дельфы, и Пафос,
Афины, и Коринф, и Спарту, и Родос...

Максим

Довольно.

Наташа (*продолжая*)

Вавилон, развалины Пальмиры,
Самос, Персёполис, мемфисские кумиры,
Сибиллу Кумскую...

Максим

Довольно! Боже мой!

Наташа

Но я желала б знать, согласны ль вы со мной?..

Максим

Согласен я во всем!

Майор

Откуда что берется!

(Максиму)

Что, загоняла, брат?

Максим

Еще нам остается

Майор

А что?

Максим

Эх, братец, не сбивай!

Не знаешь ничего, так делу не мешай.

Майор

Кто больше знает нас, тому и книги в руки,
А вряд ли, брат Максим, тебе дали науки.

Грибоедов выбрал эпизод, где Наташа обхаживает скупую тетку, уверяя ее в своей бережливости, крохоборстве и способности заработать трудом (!) до тысячи рублей (!!). Это, конечно, была выдумка, взятая не из жизни, зато прочие задачи Александр решил запросто. Он с легкостью ввел в текст имена-отчества, нарочно упомянув почти всех героев пьесы (и Максима Меркуловича, и Раису Саввишну, и добавил некую Федосью Николавну, Груньку, Любимушку — словом, самых нетеатральных, обыденных людей). Его диалог, не такой живой и яркий, как у Хмельницкого, оказался в то же время проще, разговорнее, образнее, богат провинциализма-ми, которых следовало ожидать от обитателей Чухломы:

Фекла

Какое ж кушанье?

Наташа

Пирожное одно-с,
И выдумки моей.

Мавра Саввишна

Твоей? — Оно б не худо,
Да ведь пирожное затейливое блюдо.
Насущный хлеб теперь один составит счет,
Так лакомство, ей-ей! на ум уж не пойдет.

Наташа

Да-с, у меня зато всё снадобье простое:
Морковка, яицы и кое-что другое,
Да соку положить лимонного чуть-чуть.

Мавра Саввишна

Ну, сахар входит же?
(Наташа качает головой)
Хоть крошечка?
Наташа

Отнюдь!
Как, сахар? шутка ли? что вы? побойтесь бога!
Нет! и без сахара расходов нынче много.

Мавра Саввишна

...Как судишь ты умно! не по летам, мой свет;
В иной и в пожилой такого смысла нет.

Наташа
Помилуйте...
Мавра Саввишна

Чего помиловать? смотри-ка,
Житье-то сестрино не явная ль улика,
Что прожила весь век, не нажила ума?
Расчету ни на грош, увидишь ты сама;
Всегда столы у ней, — зачем? кому на диво?

Наташа

А будто трудно жить, как надо, бережливо?..

Шаховской, услышав предложенные отрывки, был очень доволен. Его словно подхлестнули. Сосницкий, присутствовавший на чтении, пришел бы в полный восторг, если бы не подозревал, что ему в создаваемой пьесе достанется бледная роль Любима, а не восхитительные роли дядюшек. Ну почему, спрашивал он, никто не напишет комедию, где в центре стоял бы мужской образ, а не женский? Разве он сам менее популярен, чем Вальберхова? Но Грибоедов и тут не вспомнил о своем «Студенте», хотя высоко ценил Сосницкого и рад был бы ему угодить. Князь забросил «Пустодомов», тем более что комедия вызывала веселую иронию Грибоедова. По поводу первого ее варианта он написал Катенину в Москву: «...развязка преаккуратная: граф женится на княжне, князь с княгиней уезжают в деревню, дядя и тетка изъясняют моральную цель всего происшедшего, Машу и Ваньку устыжают, они хотят — стыдятся, хотят — нет, Цаплин в полиции, Инкварус и многие другие в дураках, в числе их будут и зрители, я думаю, ну да это не мое дело, я буду хлопать»⁷. Шаховской с рвением взялся за основной текст «Замужней невесты». Некоторые сцены удались ему замечательно;

(Наташа обхаживает Карпа Саввича, поклонника простоты и даже глупости, поскольку счастливо прожил с глупой женой)

Майор

... Ну, вот и я, сестрица.
Да где же ты? Сестра!.. Что это за девица?..

⁷ Шаховской завершил "Пустодомов" через год, сильно переделав весь текст и развязку, но не сильно их тем улучшив.

Как вас зовут?

Наташа

Меня?

Майор

Тебя!

Наташа

Меня-с?

Майор

Кого же?

Мы только двое здесь.

Наташа

Так, двое-с.

Майор

Ну так что же?

Наташа

Да ничего.

Майор (*в сторону*)

Кой черт! Вот бедный разговор.

Да как зовут тебя? и здесь с которых пор?

Наташа

Я здесь... у тетушки.

Майор

Давно бы и сказала.

А ты племянница?

Наташа

Племянница.

Майор

Так, стало,

Ты по сестре и мне доводишься родня?

Наташа

Нет, право-с, тетушка не тетушка моя.

Покойник дядюшка мне дядюшка.

Майор

Все знаю;

Мы в сватовстве с тобой.

Наташа

Вот что-с!

Майор (*в сторону*)

Я примечаю.
Что вряд ли чем она покойницы умней.

Наташа (*в сторону*)

Доволен, кажется, он глупостью моей.

Другие сцены дались князю хуже. Отрывки Грибоедова и Хмельницкого он отредактировал по-своему, изменил слегка имена, что-то сократил и тем улучшил, но и добавил ненужные вставки, особенно вечные свои упоминания о великих эпизодах прошедшей войны (Кульме, Лейпциге, Париже), ставшие своего рода визитной карточкой его сочинений. Несмотря ни на что, комедия получилась незаурядной, и из всех ста одиннадцати (!) сочинений Шаховского она одна до сих пор украшает сцену.

Грибоедов был очень доволен своей попыткой, он почувствовал, что заставил-таки русскую драму заговорить современным языком. Не дожидаясь окончания работы князя, он отдал свои пять сцен в «Сын Отечества» — не из тщеславия, а ради желания показать прочим писателям, «как это делается». Позже Шаховской объяснял участие в пьесе молодых соавторов спешкой при подготовке бенефиса, и для провинции это сошло за правду. Но в Петербурге знали, что Грибоедов закончил свой отрывок в августе, опубликовал в ноябре, а спектакль состоялся только в конце января. Слыхано ли, чтобы спешка начиналась за полгода до представления?!

Грибоедов не возражал против переделок. Он почувствовал прилив творческих сил. Семенова попросила его дать ей что-нибудь к бенефису, который должен был бы раскрыть ее дарования не меньше, чем бенефис Вальберховой. Грибоедов выбрал романтическую трагедию Шиллера «Семела» о любви Юпитера к смертной и о ревности Юноны (ее должна была играть Семенова, причем в одной сцене переодеваться старухой), и комедию француза Барта «Притворная неверность», где была совершенно непохожая на Юнону роль кокетливой вдовы, предназначенная Вальберховой, которая, по замыслу Семеновой, должна была бы проиграть ей по всем статьям. Все это следовало перевести, но Грибоедов не хотел жадничать и предложил Жандру разделить труд. Тот недавно опубликовал отрывок из трагедии Расина «Олигополия», который покоробил Александра до крайности. Один монолог заставил его расхохотаться:

Я весь святой притвор обшел трикраты вокруг:
Все разбежались, все рассыпались вдруг,
Как громом по полю разгнанные говьяда,
И служат господу одни Левия чада.

Бедный Расин! Грибоедов написал Катенину: «Бесподобная вещь, только одно слово и к тому же рифма пребогомерзкая: *говьяда*. Видишь ты: в Библии это значит стадо, да какое мне дело?» А мог бы и резче отозваться, да пожалел Жандра. И вообще, при чем тут стадо? Помимо беспомощных устарелых стихов, Андрей Андреевич удивил незнанием французского: во-первых, в оригинале герой обходит храм дважды, а во-вторых, хотя французское слово «troupeau» может означать «стадо», оно имеет и значение «паства», что в контексте эпизода кажется более верным переводом. Жандр удручил Грибоедова, и Александр понадеялся совместным переводом Шиллера улучшить его вкус. Но для этого ему пришлось взять на себя унылый труд — написать подстрочный перевод Шиллера. Легче было сразу перевести пьесу стихами! Стоило ли делать двойную работу? Но ему казалось, что у его друга есть задатки неплохого поэта, и в борьбе за введение современного русского языка в литературу Александр не пренебрегал союзниками.

Он не знал, что человек, которому суждено решить эту великую задачу, то и дело встречается ему днем в Коллегии, а вечерами в театре. Юный Пушкин вступал в жизнь под

знаменем «Арзамаса» и потому привычно ненавидел Шаховского и всех его сторонников, хотя никого не знал лично. Его самого не принимали всерьез из-за родства с дядей, Василием Львовичем, вечным объектом дружеских розыгрышей, хотя племянник сразу показал, что далек от дядиного добродушия и не потерпит даже мнимых насмешек. Талант его был несомненен, но многие полагали, что он растратит его в буйном разгуле. Грибоедов не стал бы его осуждать за это — сам такой! — но он всех арзамасцев не любил за грубые и несправедливые нападки на Шаховского, поэтому не стремился сблизиться с Пушкиным. Шаховской постоянно приглашал молодых друзей с собой к Шишкову на заседания «Беседы», но Александр регулярно каждый вторник сказывался больным, а Жандр из почтения являлся, благополучно спал на чтениях, потом приходил к Грибоедову и бодрствовал до третьего часа ночи.

Андрей Андреевич рьяно взялся за обработку «Семелы», многое добавляя от себя и пользуясь нередко советами Грибоедова. Александр тем временем без особого прилежания, урывками переводил французскую пьеску, потом вынужден был ее оставить и уехать по делам в Нарву. Семенова торопила, чтобы они не задержали ее бенефиса: он должен был получиться особенным — первый бенефис великой актрисы в построенном наконец Большом театре Петербурга. Грибоедов перед отъездом попросил Жандра завершить перевод, но, вернувшись, обнаружил, что тот сделал только две сцены, явно нуждавшиеся в поправке. В отсутствие Грибоедова он переписывал его текст, многих стихов не смог разобрать и заменил своими; Александр эти перемены уничтожил, но иные оставил, если счел лучше своих.

«Притворная неверность» не имела других достоинств, кроме невиданно легкого, разговорного языка. Действие происходило в петербургском высшем свете, поэтому Грибоедов освободил речи героев от всех провинциализмов и просторечия, щедро заполнивших «Замужнюю невесту». Стихи комедии получились чище, ярче, афористичнее, ну а сюжет — совершенный пустяк, так за него не он, а Барта в ответе. Александр решал иные задачи. Он бился над стилем, из-за которого откладывал и начатую самостоятельную комедию. В разных переводных мелочах он стремился выработать стих, который позволял бы сочинять и легкий быстрый диалог, и серьезные длинные монологи. Казалось, он достиг своего: «Замужняя невеста» и водевили Хмельницкого не встретили единодушного одобрения своему языку, хотя и по разным причинам, «Притворная неверность» была всеми выделена, как тот идеал, которого наконец достигла стихотворная комедия. Естественный, живой, но литературный ее слог показался петербургским критикам образцовым:

Рославлев

От этих женщин мы чего не переносим?
А кончится одним: что мы прощенья просим.

Ленский

При всяком случае готов ты их бранить.
Они несносны? — Да? — Зачем же их любить?
Нет, право, за тебя становится мне стыдно:
Ты знаешь, что прослыть ревнивым незавидно,
А многие куда как резко говорят
И громко...

Рославлев

На мой счет?

Ленский

На твой.

Рославлев

Я очень рад.
Ленский

Всем кажется, что ты брюзглив и своенравен,
И нежностью смешон, и ревностью забавен;
А в свете толковать о странностях других
Везде охотники.

Рославлев
Кто ж говорит об них?

Или беседа пожилого франта Блёстова и Ленского:
Блёстов (*вслед Рославлеву*)

Эк он заторопился!
Я в двери, он бежать. — ушел, не поклонился.
Ах, Ленский, здравствуйте! Ваш друг не в духе?

Ленский

Да,
Престранный человек. Заметьте, что всегда
Он тотчас убежит, где только вас завидит.

Блёстов
Скажите мне, за что меня он ненавидит?

Ленский
Причина ясная: он вас боится.

Блёстов

Что?
Вот вздор!

Ленский

Вы женщинам так милы, как никто;
И милы так давно.

Блёстов
Зло! очень зло!..

Сам Грибоедов, несмотря на всеобщие похвалы, был недоволен стихами, ему было тесно в жестких рамках александрин, но куда из них вырваться, он не знал, признавая их очевидное сценическое удобство. Случай ему помог. Его успехи вызвали не только шумный восторг на чтениях у Шаховского, но и, вполне естественно, зависть мелких драматургов, в первую очередь Загоскина. Шаховской, Хмельницкий, Жандр не ревновали к чужой славе, а провинциал Загоскин, которому лучшие его друзья отказывали в уме, чувствовал свою второстепенность и страдал. Он, к своему счастью, не знал о комедии «Студент», а то бы мог принять ее героя на свой счет — как и Беневольский, он был новичком в столице, и даже фамилия попала под перо Грибоедову благодаря псевдонуиму Загоскина, который подписывал ею статьи в «Северном наблюдателе». Когда «Молодые супруги» Грибоедова были возобновлены в бенефис четы Сосницких, Загоскин выступил с новым разбором

пьески, разобрал некоторые «дурные, шероховатые» стихи и выражения, «совершенно неприличные действующим лицам». И бросил автору в лицо слова мольеровского Мизантропа:

Такие, граф, стихи
Против поэзии суть тяжкие грехи.

Нашел что бранить! Александр и забыл об этой пьеске. Но он в тот момент был не в духе: Бегичев уехал, стояла пасмурная осенняя погода, Катенин из Москвы сообщил новости, которые его взбесили, а тут еще дурак Загоскин в своем журнале намарал на него ахинею. Сперва, как прочел, Александр рассмеялся, но после, чем больше думал, тем больше злился. Наконец не вытерпел и 16 октября написал эпиграмму необычной формы, с разностопными строками и очень заботился, чтобы их правильно располагали при переписке. Жандр, Чипягов, Мухановы и прочие его приятели усердно размножали списки (до тысячи!), и в четыре дня ее знал весь город. Грибоедов послал ее и друзьям в Москву, надеясь, что Бегичев, бывший в ладах с издателем «Вестника Европы», сумеет пристроить ее в журнал (но не удалось). Конечно, «Лубочный театр» получился ярким, злым и очень личностным, но, оправдывал себя Грибоедов перед Катениным: «Воля твоя, нельзя же молчанием отделяться, когда глупец жужжит об тебе дурачества. Этим ничего не возьмешь, доказательство Шаховской, который вечно хранит благородное молчание и вечно засыпан пасквилями». И верно — Загоскин после пощечины Грибоедова больше не осмеливался на критику его пьес:

Добро пожаловать, кто барин тароватый.
Извольте видеть — вот
Рогатый, нерогатый
И всякий скот:
Вот господин Загоскин,
Вот весь его причет:
Княгини и
Княжны,
Князь Фольгин
и Князь Блесткин;
Они хоть не смешны, да сам зато уж он
Куда смешон! —
...Вот *Богатонов* вам: особенно он мил.
Богат чужим добром — всё крадет, что находит,
С *Транжирина* кафтан стащил,
Да в нем и ходит.
А светский тон
Не только он —
И вся его беседа
Переняли у *Буйного Соседа*⁸.
Что ж вы? — Неужто по домам?
Уж надоело вам?
И к стати ль?
Вот вам Загоскин — *Наблюдатель*;
Вот *Сын Отечества*, с ним вечный состязатель:

⁸ Курсивом выделены герои Загоскина, Транжирин — персонаж Шаховского, а Буйный Сосед — герой непристойной поэмы В. Л. Пушкина "Опасный сосед", где действие происходит в низкопробных притонах.

Один напишет вздор,
Другой на то разбор;
А разобрать труднее,
Кто из двоих глупее.

Грибоедов не случайно был доволен своей шалостью. Он всегда лучше писал, будучи задет, нежели в спокойном состоянии. А в этой маленькой вещице он почувствовал, что обрел свой стиль.

В самих по себе вольных стихах не было ничего необычного. Все басни со времен Ломоносова и Сумарокова иначе не писались. Но даже самые лучшие из них, самые великие, простые и разговорные — басни Крылова — отличались медлительностью и размеренностью, отвечающей поучительной цели басни, но не подходящей в пьесе, особенно в комедии. Даже Шаховскому не пришло в голову попытаться приспособить этот своеобразный размер для театральных нужд. Может быть, он попросту считал его слишком сложным для воплощения. Одно дело сочинить басню на одну-две странички, другое — пятиактную драму. (Разумеется, речь идет о форме, а не о содержании: иной раз в короткой басенке больше смысла, чем в самой длинной пьесе.)

И вот из-под пера Грибоедова вылился залихватский монолог балаганного зазывалы. Александрийские строчки служили ему скелетом, укороченные — подвижными членами. Три года назад он таким слогом описал празднование в честь Кологривова, но тогда его пером водила небрежность, и он забыл об этом опыте, теперь он использовал его сознательно.

Сосницкий первым оценил преимущество нового стиля. Он очень бы желал получить возможность произнести что-либо подобное со сцены. И Шаховской начал по-новому писать для своего любимца роль, достойную его таланта. Шаховской, а не Грибоедов. Александр надолго потерял всякую возможность для творчества.

Сам виноват — зачем пускал к себе Каверина? Тот вечно приставал к Грибоедову с предложением выпить (или, как он называл: «тринкену задать»), встречая отказ, пил и наедине. Утомленный пьяным духом в квартире, Александр съехал к старому, положительному другу — не к кому-нибудь, а к тому Иону, который некогда заботился о его университетских успехах. Теперь бывший немецкий студент переименовал себя в Богдана Ивановича, получил докторскую степень и занял должность директора немецкого театра в Петербурге. Они прожили вместе дней десять, но размеренная немецкая жизнь показалась Грибоедову пресной, и он перекочевал на квартиру к Завадовскому.

Здесь собиралась вся оставшаяся в Петербурге компания Грибоедова, и ему было приятнее, чем с одиноким забудыгой Кавериним. Бегичев по-прежнему оставался в Москве, и его письма не приносили Александру утешения: матушка, по слухам, ввязалась в какую-то аферу с покупкой имения; Степан как-то уклончиво рассказывал о своем московском времяпрепровождении (почему бы он стал таиться от друга?), зато сообщал, что отец Васи Шереметева, узнав в нем сослуживца и приятеля сына, приступал с расспросами о связи Василия с Истоминой. Она длилась так давно, что уже начала восприниматься почти как супружеская. Степан не видел в этом повода для беспокойства. Князь Шаховской открыто жил с актрисой Ежовой, князь Гагарин — с Екатериной Семеновой, а Шереметев, хоть и хорошего рода, не был ни князем, ни даже графом. Но родители Василия придерживались иного мнения и, зная пылкий нрав сына, с ужасом ожидали известий о его женитьбе на танцовщице. Бегичев не мог их успокоить и переадресовал к Грибоедову как самому разумному в петербургском окружении Шереметева.

Александр с удивлением прочел просьбу неизвестного ему старика Шереметева помочь образумить заблудшего отпрыска. Василий же, бывая у Завадовского и Грибоедова, жаловался, что отец перестал высылать ему денег. Грибоедов полагал, что эта испытанная мера легко разрешит конфликт, и не был удивлен, когда в театре прошел слух, что Истомина уехала от любовника, обвиняя его в жестоких с ней поступках. Многие полагали, что юноша

«ничем другим перед нею не провинился, как тем, что обмелел его карман». Это произошло в субботу 3 ноября, а в понедельник Александр зашел к балерине за кулисы и попросил поговорить с ним об этом разрыве, надеясь сообщить в Москву утешительные для Шереметевых известия. Он, само собой, не собирался мирить любовников (это была всегдашняя забота Шаховского), не собирался и ухаживать за Истоминой (он давно ее знал и не питал к ней ни симпатии, ни уважения, как, скажем, к великой Семеновой или добродушной Ежовой). Истомина была бы рада выговориться, но в театре ей все мешали, а открыто ехать к Грибоедову она боялась, зная бешеный характер Шереметева. Они договорились встретиться после спектакля у Гостиного двора, на задах театра. Александра эта предосторожность позабавила: не к нему же будет ревновать Васька Шереметев! Но он согласился, а отставленный ревнивец действительно следил из-за угла, словно герой мелодрамы, и видел, как кто-то (он не узнал издали Грибоедова) повез актрису — и куда! — к Завадовскому! Репутация его квартиры была недвусмысленна.

Шереметев в слепой ярости кинулся к юному лейб-улану, известному дуэлянту Якубовичу: что делать? У бретера на все был один ответ: драться, разумеется, только кому и с кем? Истомина была у Завадовского, но привез ее туда Грибоедов (это приятели вызнали у слуг и совершенно забыли, что Грибоедов сам там живет), стало быть, есть два лица, требующих пули, а раз Шереметев один, то Якубович готов помочь ему. Тогда составитя отменная четверная дуэль (une partie carrée), от которой Якубович заранее приходил в восторг, ведь такого в России еще никогда не бывало! Ему казалось совершенно не важно, обольстил ли кто Истому, хотел ли обольстить, есть ли у Шереметева повод для дуэли, — он мечтал устроить необычный поединок.

Василий через два дня помирился с Истоминой, но продолжал допытываться, с кем и зачем она была у Завадовского и что там в действительности произошло (не произошло ничего, но он не поверил). В пятницу 9 ноября в четыре часа дня Грибоедов с Завадовским были потревожены вторжением Якубовича с Шереметевым, которые ввалились в квартиру и потребовали «тот же час драться насмерть». Хозяева не могли взять в толк, где надо стреляться: тут же, в комнатах, или на улице, в наступившей темноте? Они как раз садились обедать, и Завадовский попросил два часа сроку, чтобы поесть, пригласив к столу и новоприбывших. Те от приглашения отказались, и Грибоедов счел все происшедшее пьяной выходкой.

Однако наутро он был поднят в девятом часу явившимся из казарм Якубовичем, который уже всерьез передал формальный вызов от Шереметева Грибоедову и свой Завадовскому. Александр никогда прежде не получал картеля. Отвергнуть его казалось невозможным даже человеку испытанной в боях храбрости. И все же он отказался стреляться с Шереметевым, «потому что, право, не за что», но согласился на дуэль с Якубовичем, если тому так уж хочется. В тот день поединок состояться не мог, на следующий день поднялась метель, и за два дня слухи о готовящейся «истории» облетели весь город. Друзья дуэлянтов пытались их урезонить. Завадовский, великолепный стрелок, вел себя безупречно, отрицал свою вину перед Шереметевым и готов был мириться. Грибоедов вообще не принимал дела всерьез и не понимал, при чем тут он. Якубовичу о возможности мира никто и не намекал, характер его был всем известен. А Шереметев твердил, что ничем не обижен, но должен непременно драться, потому что «клятву дал».

Делать нечего — но барьер договорились установить на двенадцати шагах, что не предполагало серьезного исхода. 12 ноября Грибоедов в роли стреляющегося секунданта поехал с Завадовским на Волково поле. Они взяли с собой Иона, надеясь обрести в его лице незаинтересованного и разумного наблюдателя. На месте они увидели не только противников, но и хмельного Каверина и еще каких-то офицеров, собравшихся полюбоваться невиданным зрелищем.

Первыми стрелялись Шереметев с Завадовским. Граф вышел к барьеру безмятежно спокойным, а у Василия руки дрожали от бешенства, всю ночь подогреваемого в нем Якубовичем. От нетерпения он поднял пистолет слишком рано, слишком сильно надавил на

спуск — и пуля порвала сюртук противника, не задев его самого. Тут уж Завадовский разозлился («Ah! Il en voulait à ma vie! A la barrière!»)⁹ и начал целиться всерьез. И он и Грибоедов хором стали его уговаривать пощадить Василия, и Завадовский обещал метить в ногу. К несчастью, Шереметев услышал эти переговоры и потребовал честного выстрела, обещая в случае промаха начать новую дуэль и чуть ли не подстрелить врага из-за угла, если тот от нее откажется. Завадовский спустил курок — Шереметев упал, пораженный в живот. Каверин подошел к нему с вопросом: «Что, Вася, репка?» (то есть «Что, нравится?»), но прочим было не до смеху. Шереметев бился в конвульсиях, и даже Якубович согласился отложить поединок, чтобы отвезти раненого домой.

Александр чувствовал себя ужасно, он беспрестанно видел перед глазами умирающего Шереметева. День прошел в тягостном ожидании. Вечером 13-го Василий умер. Грибоедов, Завадовский и Якубович были арестованы, началось следствие. Грибоедов твердо стоял на том, что о дуэли знал, как и все вокруг, но сам на ней не присутствовал. Весь город слышал о его роли секунданта, но следствие от него признания не добилося и вынуждено было оставить его в покое.

«История» наделала шуму. Дуэль в России считалась преступлением, за которое по старому петровскому указу полагалось отсечь выжившим правую руку. Указ никто не отменял, но столь варварское наказание никогда не применялось. Обычно гвардейцев переводили в армию, армейских разжаловали в чинах или вовсе — в солдаты, а статских запирали на несколько месяцев в монастырь на покаяние.

Грибоедов и впрямь был в покаянном настроении, на него нашла ужасная тоска, и он с горечью писал Бегичеву о происшедшем, хотя не чувствовал за собой вины. От Степана он узнал положение дел в Москве, где все еще стоял двор. Старый Шереметев, словно древний римлянин, явился к императору и умолял простить убийц сына, говоря, что ожидал такого ему конца за его распутную жизнь. Даже мать предпочитала лучше видеть сына погибшим от руки графа Завадовского, чем женившимся на актрисе. Истомина тем временем находилась в зените славы. Шальные юнцы толпой увивались вокруг богини, из-за которой четверо — четверо! — сражались насмерть. Молодой Пушкин больше всех ею восхищался. У Шереметева нашлось множество наследников ее благосклонности — среди богатых стариков.

По рассмотрении всех обстоятельств дела император признал поведение Завадовского соответствующим «необходимости законной обороны» и не отдал под суд, участие Грибоедова в дуэли было «высочайше отставлено без внимания», но Якубовича, как главного подстрекателя, отправили в армию на Кавказ. Там как раз началась война за усмирение горских племен, и буйные головы, лишние в Петербурге, приходились кстати.

Завадовский вынужден был, пока не улягутся страсти, уехать в Англию. Грибоедов единственный из участников остался в столице и принял на себя главный удар общественного мнения, запоздало сожалевшего о гибели юного кавалергарда. Александра начали осуждать как самого виноватого, но он не обращал внимания на слухи, уверенный, что те, кто его знает, не могут приписать ему недостойную роль в истории мнимого соблазнения Истоминой, а от светских сплетников сама добродетель не должна ждать пощады.

Однако ему было грустно. Бегичев и Катенин пребывали в Москве, Завадовский уехал, Чипягов исчез неведомо куда, даже Жандр собрался по делам в Москву — а Шереметев лежал в могиле. Грибоедов вернулся в свою квартиру и с головой погрузился в театральные дела и новые любовные связи, чтобы как-то рассеяться.

24 января он увидел на сцене «Замужнюю невесту», разделив ее успех с Шаховским и Хмельницким. 11 февраля они с Жандром присутствовали в Большом театре в почетной роли авторов бенефиса Семеновой. «Семела» прошла умеренно хорошо, а «Притворная

⁹ А! он покушается на мою жизнь! К барьеру!

неверность» снискала тьму лестных отзывов. Грибоедов повеселел, но стихами по-прежнему не был доволен. Теперь он экспериментировал с вольными стихами, причем попытался вовсе отказаться от привычных ямбов. В один присест он набросал «Пробу интермедии» без всякого содержания (актеры упрощают суфлера написать им бенефисную пьеску, что тот быстренько делает), где стихотворные хореические строчки небывалой короткости чередовались с прозой, порой ритмичной и необыкновенно лаконичной:

Актеры

Правда, много нас числом.
Да какая польза в том?

Фёколкин

Надо, чтоб скорей поспело.

Алегрин

Поскорее? — Так за дело!
Взяться надлежит с умом!

Фёколкин

В этом затрудненья мало,
Делайте, как ни попало

и так далее.

Или:

Свисталова. Актеры все налицо, в костюмах и без костюма.

Бемольская. Слов чем меньше, тем лучше.

Алегрин. Музыки у нас вволю, выбирай любую.

Припрыжкин. За танцами дело не станет.

Фёколкин. Так, стало, самое нужное есть, стоит только к нему присочинить кое-что.

Суфлер. Это ничего не составляет...

Свисталова. Особливо для суфлера.

Бемольская. Он всякую всячину наизусть знает.

Резвушков. Он весь свой век чужое говорит.

Алегрин. Пусть его крадет, откуда хочет, была бы пьеса готова.

Новизна стихов всем понравилась, и в заключительном куплете Грибоедов справедливо назвал ее единственным преимуществом своей интермедии над прочими:

И в этой вздору много тоже,
Да всё на прочих не похоже.
...Лишь только бы новее было;
Всегда что ново, то и мило.

Тем временем Шаховской, ничего не написавший за целый год, готовил большой бенефис Сосницкого. Помимо обязательной комической оперы, он переделал для него французский водевиль Э. Скриба «Прогулка в Бедлам», но главные силы вложил в собственную одноактную пьесу в вольных стихах «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Он хотел доставить любимому ученику наибольшую радость — яркую, центральную, запоминающуюся роль в стихах нового типа. Сюжет, как обычно, он взял из

жизни: Павел Петрович Свиньин, самый невероятный лгун своего времени, истинный барон Мюнхаузен, выпустил очередную часть своих записок, где повествовал о своих невероятных приключениях в Европе (он скатывался в безлошадной коляске с Альпийских гор), подвигах на море (турецкие ядра отскакивали от его груди), успехах в свете (у Рекамье в Париже его принимали как родного). Шаховской и вывел в пьесе забавного лгуна Зарницкина. В Швейцарии тот стал национальным героем:

На русский наш манер я там завел катанья,
И на одной горе, всех выше гор других.
От самой высоты велел прорыть лощину,
Угладил, прикатал, сровнял — и в тот же миг
Сам первый на салазках шмыг,
И с форсу пролетел двенадцать верст в долину.

На море победил с кавалерийским эскадроном целый флот:

Дашенька

А! вы дрались зимой?

Зарницкин

Зимой, в такую стужу,
Что море, в шесть часов, верст на пять от земли
Так заморозило, как лужу,
И льдом затерло корабли;
А я... я — разом, живо,
Мой эскадрон с коня долой:
Охотники! За мной!
Вот вам и слава и пожива...
Все на коньки...

Дашенька

Да где ж вы набрали коньков?

Зарницкин

Как где?... мы их... спрямили из подков.

Грибоедов слушал пьесу в чтении и на репетициях. Ему понравилось воплощение его идеи, он и сам был рад помочь Сосницкому и порой, как бы невзначай, вставлял удачные реплики, которые актер подхватывал, а Шаховской закреплял в тексте. Князь знал за собой один недостаток — его язык совершенно был лишен эпиграмматичности, меткости, оттого почти не запоминался. У Грибоедова же афоризмы сыпались с уст поминутно. Шаховской никогда не признавал, что был обязан Грибоедову некоторыми запоминающимися репликами.

Мезецкий

Ты скромничал напрасно:
Она у нас в доме как ближняя родня.

Зарницкин

Ах! нынче говорить и при родном опасно!

Их немного, но стиль пьесы несомненно превосходит все, что князь написал тогда, когда Грибоедова уже не было в Петербурге («Пустодомов» и новую пьесу в стихах «Какаду»), Александр не увидел готового спектакля. Он не думал никуда уезжать, но дипломатический мир готовил ему пренеприятный сюрприз.

Глава V ДИПЛОМАТ

Цепь пресловутая всепетого Кавказа,
Непроходимая, безлюдная страна,
Притон разбойников, поэзии зараза!
Без пользы, без красы, с каких ты пор славна?

П. А. Катенин

Грибоедов привык к хаосу. В Польше он видел разноречивые приказы равновеликих начальников (наместника и командующего резервной армией), равноправное хождение разнообразных денег (русских, польских и фальшивых), видел разномастных агентов, аферистов и авантюристов. В Петербурге он жил среди вечных театральных интриг, вечного безденежья и вечных столкновений артистов, аристократов и авторов.

Но и его удивил дипломатический мир. Польская неразбериха ограничивалась Польшей, театральная — двумя-тремя театрами. Коллегия иностранных дел занималась сохранением порядка в Европе, Азии и даже Америке, а сама пребывала в состоянии совершенной анархии, начинавшейся в комнате кассира и заканчивавшейся кабинетом императора.

Дипломаты получали жалованье в гульденах, которые чеканились, однако не в Голландии, а в России, золотым содержанием выше подлинных голландских. Голландия не возражала — таким путем она увеличивала свою казну. Россия же использовала гульдены для международных расчетов и для расплаты с нужными иностранными лицами: никакое правительство, никакая Англия или Франция не могли доказать факт подкупа, раз были использованы не рубли, а гульден; а с Голландии какой спрос? она давно потеряла политический вес. В 1817 году русские гульдены стали ходить и в самой России, особенно в Петербурге. В тот год шел обмен обесценившихся после войны ассигнаций на новые. Народ не доверял ни тем ни другим и был рад появлению полновесных золотых монет. Их прозвали «арапчиками» из-за изображения рыцаря и непонятных надписей.

Александр мог не затруднять себя обменом и повсюду расплачивался в столице гульденами.

Но более всего его позабавило то, что он поступил на службу в несуществующее учреждение. Никакой Коллегии иностранных дел давно не было. В 1802 году Александр I заменил петровские коллегии министерствами, но штата Министерства иностранных дел не создал, а просто передал в него всю Иностранную коллегию. Должность президента (или управляющего) Коллегии он не отменил. Предполагалось, что министр будет определять общее направление внешней политики России, а управляющий — вести непосредственную работу по ее воплощению в жизнь. Император, конечно, не надеялся на их идиллическое сотрудничество, напротив, рассчитывал на взаимную вражду и отводил себе роль верховного примирителя противоречий и единоличного вершителя судеб государства. До поры до времени он сохранял нейтралитет, но можно было предсказать, что однажды появится министр, который будет ему приятнее своими личными качествами или убеждениями, нежели его коллега, и тогда баланс сил в министерстве нарушится, служащие разделятся на партии и международный престиж России станет воланчиком в закулисной игре.

Так и произошло. В 1817 году должность министра была формально разделена между двумя людьми. Страна Востока и общими вопросами ведал граф Каподистрия, чистокровный грек на русской службе, едва достигший сорока лет. Он был честолобив, но осторожен, и, по слухам, ходившим в министерстве, цель российской внешней политики видел в восстановлении независимости Греции, несколько веков находящейся под османским игом, а остальные проблемы рассматривал сквозь призму греческих. Он

приветствовал войны России с Турцией, стоял за союз с Францией, поддерживавшей идею греческой революции, и противился сближению с Австрией, препятствовавшей этой революции. Он даже создавал в Одессе греческие гетерии — объединения патриотов, готовившихся к вооруженному восстанию против турок.

Непосредственным начальником Грибоедова, управляющим Коллегией, был граф Нессельроде, немец, родившийся русским подданным, но русского языка не знавший. Он был очень осторожен, но не умен. Величайшим человеком на земле он почитал австрийского министра иностранных дел князя Меттерниха и цель российской внешней политики видел в том, чтобы заслужить его одобрение. Он стоял за союз с Австрией и всемерно препятствовал греческому восстанию, потому что оно было бы неприятно Меттерниху. Два года назад он чуть не похоронил свою карьеру, прозевав секретный договор Австрии с Францией против России, но слепого доверия к Меттерниху не утратил.

Император знал цену обоим министрам, слушал их советы не более, чем они того заслуживали, и даже в тех редких случаях, когда Каподистрия и Нессельроде сходились во мнении, проводил собственную линию. (Так, оба не питали добрых чувств к полякам, хотя по разным причинам, но это не помешало монарху дать конституцию Царству Польскому.) Всё шло благополучно, пока государь не увлекся идеалами всехристианского единства, возмечтал о мире без войн, революций и потрясений, и предложил создать Священный союз, который объединил бы православную Россию, католическую Австрию и протестантскую Пруссию, а впоследствии — может быть, и другие европейские страны. Меттерних очень одобрил Союз — религия его не беспокоила, но он увидел в ней великолепное средство привлечь Россию к Австрии. Нессельроде активно поддержал любимое детище императора, ездил с ним на конгрессы Священного союза и все более заслуживал симпатию Александра I.

Граф Каподистрия, напротив, пытался охладить пыл царя, противился заключению Союза, демонстрировал свое православие в ущерб вселенскому христианству и наконец надоел Александру. Он еще не лишился доверия императора, но уже наиболее дальновидные подчиненные начали потихоньку переходить на сторону восходящей звезды Нессельроде. Они делали бы это быстрее, если бы были уверены в способности того сохранить приобретенное преимущество.

Коллегия кипела интригами и обидами, которые усиливались неопределенностью будущего. Грибоедов не участвовал в них. Он не видел разницы, стоит ли во главе министерства грек или немец; все равно политику определял император, который пока не совершил столь серьезных ошибок, чтобы требовалось вмешательство каждого губернского секретаря. Он даже не считал, в отличие от некоторых своих друзей, что предоставление конституции Польше — такое уж неправильное решение. Александр не понаслышке знал положение в этой стране и ни на грош не верил упорным слухам, будто бы царь любит поляков и ненавидит русских и даже хочет перенести столицу в Варшаву.

Грибоедову не удалось долго оставаться сторонним наблюдателем. Каподистрия, принимая его на службу через посредство Ланского, слышал о нем больше, чем обыкновенно начальник слышит о мелком служащем. Граф, хотя слабо владел русским языком, состоял «почетным гусем» «Арзамаса». Именно через верных арзамасцев, Блудова и Дашкова, чиновников Министерства внутренних дел Ланской пристроил сына Настасьи Федоровны к месту. Грибоедов был для Каподистрии молодым драматургом, приверженцем Шаховского. На первых порах он пытался его за это презирать. Но из кабинета министра веселая борьба «Арзамаса» и «Беседы» виделась иначе, чем из литературных гостиных. Грибоедов быстро добился уважения в Коллегии. Он занимал должность переводчика, и хотя сам переводил весьма мало, но во время круглосуточных дежурств охотно подсказывал сослуживцам, как точнее передать то или иное выражение французского, немецкого, итальянского или английского языков. Французский язык в Коллегии был известен всем, вплоть до простых переписчиков бумаг, поскольку он был языком делопроизводства (в отличие от всех прочих учреждений России), но никто не знал столько языков одновременно — и так хорошо.

Слава Грибоедова-полиглота дошла и до министра. Или, может быть, стремительно

теряя приверженцев, он почувствовал в нем своего брата-литератора, далекого от чиновничьих распрей. Во всяком случае, на одном из утренних приемов служащих в начале октября он подозвал его к себе и, как бы случайно, задал вопрос, не понимает ли тот и греческий язык. Александр ответил отрицательно, он не учил даже древнегреческий — только латынь, и Каподистрия, как бы шутя, посоветовал ему восполнить этот пробел. Разговор был публичным и, казалось бы, незначашим. Но Грибоедов воспринял его иначе. Если граф, зная ситуацию в мире, намекал на необходимость изучения греческого языка, это могло означать, что вскоре в Греции произойдут какие-то события и российские дипломаты со знанием греческого получат важные задания. Александр охотно поверил в это, и не без причины — он умел воспринимать скрытый смысл речей.

Как и все в Европе (кроме разве что Австрии), Александр сострадал участи греков. Эллада, колыбель европейской культуры, страна, давшая миру идеал прекрасного в литературе, архитектуре и скульптуре, гибла под турецким владычеством! Весь мир негодовал (кроме разве что Англии), когда, пользуясь тяжелым положением Греции, лорд Элджин вывозил бесценные сокровища античного искусства, украшая ими коллекцию Британского музея. В юности Грибоедов с увлечением прочел две первые песни «Чайльд-Гарольда» Байрона и полюбил многострадальную страну, которую так пылко воспевал великий поэт. Он был бы рад помочь грекам: в России очень многие молодые люди мечтали присоединиться к греческому восстанию, независимо от того, привлекала ли их романтика борьбы, поддержка православия, ненависть к туркам или восхищение красотой и прошлым Эллады. Правда, Грибоедов помнил предостережение Байрона, обращенное к грекам:

Рабы, рабы! Иль вами позабыт
Закон, известный каждому народу?
Вас не спасут ни галл, ни московит,
Не ради вас готовят их к походу.
Тиран падет, но лишь другим в угоду.
О Греция! Восстань же на борьбу!
Раб должен сам добыть себе свободу!
Ты цепи обновишь, но не судьбу.
Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу!¹⁰

И он нигде не встретил у Байрона свидетельств мужества и воинственности греков, равных тем, которые поэт столь ярко живописал в первой песне о воюющей Испании. Однако Грибоедов и не собирался помогать грекам сражаться, он не предполагал, что трусоватому Каподистрии нужны знатоки греческого языка для участия в боях.

Александр всерьез начал учиться по-гречески и прямо сходил с ума от этого языка: брал уроки каждый день по четыре часа и делал большие успехи. В отличие от всех, кто когда-либо принимался за греческую грамматику, он находил язык вовсе не трудным. Но не прозанимался он и месяца, как оказался втянут в дуэль и следствие. Когда же история завершилась, он узнал, что граф Каподистрия впал в немилость у императора. Он совершенно неподобающе вел себя во время поездки царя на открытие первого Польского сейма и так явно выражал недовольство происходящим, так дерзко отказывался выполнять простые распоряжения государя, что был почти совершенно отставлен от дел. Нессельроде ликовал, и все в Коллегии начали уже именовать его «министром».

Это произошло в конце февраля. А в начале апреля Александр был вызван в азиатский департамент Коллегии, где его принял молодой чиновник Александр Стурдза. Тот

¹⁰ Байрон Дж. Паломничество Чайльд Гарольда. II. 76. Пер. В. Левика.

происходил из знатного молдавского рода, получил немецкое образование и прежде считался сторонником Каподистрии. Теперь он старался выслужиться перед Нессельроде, однако неудачно — он все более и более превращался в православного фанатика, а император таких не жаловал (и вскоре отправил его в отставку, предоставив на досуге сочинять рассуждения о превосходстве православной веры над прочими). Стурдза встретил Грибоедова постной улыбкой и, говоря с истинно христианской мягкостью, сообщил, что министерство решило предоставить ему просимую дипломатическую должность и направить... в только что созданную русскую миссию в Персии. Грибоедов был совершенно потрясен. Он попытался сразу же отказаться от сомнительной чести, но Стурдза с тою же приятностью предложил ему выбор между Тегераном и Филадельфией в Америке и посоветовал несколько дней обдумать свое решение.

Александр вернулся к себе в полной растерянности и не знал, с кем посоветоваться. Все его друзья отсутствовали, даже Жандр уехал в Москву, намереваясь остановиться в доме Настасьи Федоровны. Да и что могли бы они ему сказать? Спору нет, направление в Париж или Вену было бы неизмеримо приятнее, но после дуэли и поражения Каподистрии Александр не мог рассчитывать на милость начальства и понимал, что его неспроста отсылают на край цивилизации. Отказаться без важных причин было нельзя — это означало бы отставку. Если же решиться выйти из дипломатической службы, то куда? Кроме военной, больше некуда. А офицер столь же уязвим, как и дипломат, — в Закавказье идет война, вдруг его пошлют именно туда, по следам Якубовича? Так и так Персии не миновать. Об Америке он и не думал; с дипломатической точки зрения это был тупик: чем там можно было отличаться? Он предпочел согласиться на Персию, но выдвинув такие условия, которые были бы заведомо неприемлемы для Нессельроде.

12 апреля он получил приглашение министра явиться к нему. Александр положил вести себя смело до дерзости и объявил, что не решится на назначение иначе (и то не наверное), как если ему дадут повышение на два чина. Нессельроде поморщился, но промолчал. Александр изобразил ему со всевозможным французским красноречием, что жестоко было бы ему провести цветущие лета между дикими азиатами, в добровольной ссылке; на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых он вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым сам он может быть приятен. Словом, невозможно ему пожертвовать собою без хотя бы несколько соразмерного вознаграждения.

— Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования.

— Нисколько, ваше сиятельство. Музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии...

Он добавил, что отроду не имел ни малейшего честолюбия, что не добивался никакой должности и будет счастлив остаться в Петербурге.

Нессельроде, вопреки его ожиданиям, не рассердился, не прогнал его. Напротив, сперва познакомил с предполагаемым начальником, главой русской миссии в Персии Симоном Мазаровичем. По происхождению далматинец, по образованию врач, родом из Венеции, подданный Австрии, он служил России, хотя даже не приносил ей присягу. (Назначение врача в дипломаты было не случайно: важные дела в Персии решались не в приемных, а в гаремах, куда имели доступ только европейские медики. Англичане, издавна работавшие на Востоке, первыми освоили правила «гаремной дипломатии» и часто направляли посланниками врачей. Нессельроде решил воспользоваться чужим опытом.)

Потом граф объяснил Грибоедову, что в любой европейской миссии он мог бы надеяться на незначительную должность в соответствии со своим ничтожным опытом и заслугами, а в Персии над ним будет один Мазарович, поэтому он получит тьму выгод, поощрений и знаков отличия по прибытии на место. Ему предлагают не синекуру, уверял граф, а настоящую, серьезную и в значительной мере самостоятельную деятельность. Грибоедов ведь занимался сбором разного рода сведений и общением с разного рода агентами и местными жителями, когда служил в штабе резервной армии, и Кологривов

достаточно высоко оценивал его успехи. Теперь он будет заниматься почти тем же самым. Правда, сбор статистических и военных сведений об иностранных государствах по высочайшему указу от 12 декабря 1815 года вменен в обязанность I отделения канцелярии Управления генерал-квартирмейстера Главного штаба, но Нессельроде не считал это нововведение разумным, поскольку чиновники штаба все равно должны были входить в состав постоянных дипломатических миссий: так почему же по военно-политическим вопросам им следовало отчитываться перед Главным штабом, а по политическим — перед Иностранной коллегией? Уместнее сохранить у Министерства иностранных дел всю полноту информации. Поэтому граф отправлял Мазаровича для представительских функций, для посещения официальных приемов и проч., а Грибоедова — для любой практической работы, к которой далматинец был не совсем привычен. Больше в персидскую миссию никого не включают.

Фактически, продолжал улещивать Нессельроде, над Грибоедовым не будет прямого начальства ближе, чем в Петербурге. Министр обещал ему один чин сразу, а другой с допустимой быстротой, поскольку внезапное перемещение вверх через один класс было возможно лишь в качестве награды, на которую, как Грибоедов, конечно, должен был понимать, он не вправе рассчитывать. Александр, однако, не снизил свои требования: посулы посулами, а он хочет быть «коллежским асессором или ничем». Он сам издевался над собой, перефразируя знаменитый девиз Цезаре Борджиа «Или Цезарь, или ничто». Он чувствовал всю нелепость ситуации, когда он твердит об отсутствии честолюбивых намерений, а сам за два чина предлагает себя в полное распоряжение Нессельроде. Он надеялся, что ему откажут, но оставят в Коллегии. Вышло иначе.

Ему предложили большое жалованье в шестьсот червонцев (червонец соответствовал гульдену, а денежное его выражение определялось курсом золота к серебру, часто меняющемуся), просьбу о повышении наполовину удовлетворили, наполовину обещали удовлетворить, Мазарович был с ним любезен и показался ему умным и веселым человеком — никаких поводов для отказа нельзя было придумать. Грибоедов отчаянно тянул время и все же 16 июня официально принял должность секретаря русской миссии в Тегеране. Подавая формулярный список со сведениями о себе, он указал годом рождения 1790-й, зная, что архивы Москвы сгорели и проверить его никто не сможет. Он хотел, прибавив себе годы, подтвердить свои притязания на более высокий чин — или же получить право побыстрее выйти в отставку.

Мазарович уехал, а Александр все еще оставался в Петербурге, делая вид, что собирается, а сам втайне надеялся: вдруг в последний момент что-нибудь изменится? генерал Ермолов начнет войну с Персией и надобность в миссии отпадет? Увы! ничего не случилось — приходилось всерьез готовиться к отъезду. Александр должен был для скорости ехать налегке, а все вещи, в том числе фортепьяно, отправить особо. Укладывая его в ящик, он с болью представил, в каком виде его добрый музыкальный друг доберется до Персии!

В августе Грибоедов узнал, что двор вскоре вернется в столицу. Для него это стало последним ударом — он опасался, что просто разминется с Бегичевым в пути, увидевшись с ним на миг на какой-нибудь станции. Он затягивал отъезд из последних сил и дождался-таки Степана в Петербурге. Они встретились после года разлуки, наполненного многими важными, порой трагичными событиями, но поговорить не было времени; Степан распаковывал вещи, Александр паковал — впереди их ожидали новые годы разлуки.

29 августа Грибоедов покинул город. Бегичев, Поливанов и еще куча приятелей провожали его. Только Катенин сразу по возвращении куда-то исчез и не знал о дне отъезда Александра — Бегичев расценил его отсутствие как недружественный поступок. Все вместе доехали до Ижор, но буйного веселья и молодеческих забав, как год назад, не получилось. Грибоедов был подавлен, и компания невольно следовала его настроением. Степан пытался его подбодрить, но легче не становилось. Когда коляска покатила вперед и Грибоедов, оглянувшись, увидел друзей, машущих руками и платками, он едва не разрыдался.

Он уезжал из города, в котором прожил всего три года; он ехал пока только в Москву,

город своего детства, но чувствовал, что оставляет позади что-то очень важное, самое дорогое для него — и цеплялся памятью за малейшие радости недавнего прошлого, и не имел сил взглянуть в будущее. В Новгороде он почувствовал, что не может больше оставаться наедине с собственными мыслями, и схватился за перо, чтобы написать Бегичеву, хотя видел его всего лишь накануне:

«На этот раз ты обманулся в моем сердце, любезный, истинный друг мой Степан, грусть моя не проходит, не уменьшается. Вот я и в Новгороде, а мысли все в Петербурге. Там я многие имел огорчения, но иногда был и счастлив; теперь, как оттуда удаляюсь, кажется, что там все хорошо было, всего жаль. — Представь себе, что я сделался преужасно слезлив, ничто веселое и в ум не входит, похоже ли это на меня? Нынче мои именины: благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился; ты помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался; может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые!

Прощай, мой друг; сейчас опять в дорогу, и от этого одного беспрестанного противувольного движения в коляске есть от чего с ума сойти! — Увидишь кого из друзей моих, из знакомых, напоминай им обо мне; в тебе самом слишком уверен, что никогда не забудешь верного тебе друга.

А. Г.

Коли случай будет заслать или захватить к Гречу, подпишись за меня на получение его журнала. Ах! чуть было не забыл: подпишись на афишки, присылай мне их, а коли уедешь из Петербурга, поручи кому-нибудь другому, Катенину или Жандру. — Прощай, от души тебя целую.

У вас нынче новый балет».

Колеса неумолимо крутились и крутились, и только бесконечные задержки на станциях останавливали их движение. Излив Степану горе, Александр почувствовал облегчение. В первые дни пути мысли его пребывали в Петербурге, но после двух ночей, проведенных кое-как в дороге, душа его словно бы догнала тело, он начал замечать окружающий мир и своего спутника. Окружающий мир ему не понравился — в каждой деревне стояли солдаты, точно в завоеванном крае. Спутник был приятнее.

Помимо неизменного Амлиха на задке экипажа, которого Грибоедов считал почти частью себя самого, с ним ехал юный Андрей Карлович Амбургер, родом немец, назначенный на незначительную должность регистратора при персидской миссии. Он и сам казался человеком незначительным, был маленького роста, но с тем вместе горяч, неглуп и вообще хороший малый. Станционных смотрителей он почитал своими злейшими врагами и без видимых усилий сокращал нудные ожидания попутных троек. Грибоедов, придя в себя, обрел привычную шутливость и тут же начал пре-серьезно уверять товарища, что «быть немцем — очень глупая роль на сем свете», да так убедительно, что бедняга стал подписываться «Амбургев», а не «р», и напропалую ругать немцев.

2 сентября они оказались на подступах к Москве. Чем ближе они подъезжали, тем более дальним, каким-то нереальным, стал представляться Петербург, словно его и не существовало. Александр вспомнил так ясно, как будто это было вчера, какой видел Москву в последний раз: черный пепел и улицы из печных труб. Теперь он приближался к ней с севера, со стороны, которую почти не знал. Но вот петербургский тракт перешел в Тверскую, Александр изумленно озирался по сторонам и не узнавал окрестностей. И следа великого пожара не осталось. Москва отстроилась, преобразилась, к лучшему ли? После широких проспектов, высоких доходных домов и огромных дворцов Петербурга новая Москва показалась Грибоедову совершенно провинциальной. Улицы были узкие и кривые, дома почти сплошь деревянные, одноэтажные с мезонинчиками, построенные по двум-трем высочайше утвержденным проектам. Они стояли фасадами на улицу, а не за заборами, как прежде, но от этого город не становился в большей степени *городом*. Мычание, кукареканье, лай и прочие сельские звуки разносились в воздухе. Грибоедов так от них отвык, что ощутил себя почти как в свой приезд в недоброй памяти жалкий польский

Кобрин. Он нарочно попросил спуститься к началу Тверской и проехать по Моховой, прежде чем свернуть к Новинскому. Здание университета еще не было завершено, зато рядом стоял огромный Манеж, чье назначение казалось не совсем понятно.

Наконец, Александр увидел родное Новинское, совершенно восстановленное. Свой дом он нашел на прежнем месте, но выглядел он иначе — каменный, однако совсем простой, с низким первым этажом для слуг, парадным вторым и положенным мезонином наверху. Настасья Федоровна встретила сына после пятилетней разлуки с материнским радушием и материнским деспотизмом. Больше в городе не было никого, кого Грибоедов надеялся обнять: Мария еще не приехала из Хмелит, где проводила лето с дядиной семьей, но ее ждали со дня на день; Жандр жил у Грибоедовых, но Александр его не видел — он где-то скрывался с Варварой Семеновной Миклашевич, которую Настасья Федоровна, конечно, не могла принять у себя; Чипягов, который должен был выехать из Петербурга почти одновременно с Грибоедовым, куда-то пропал; младший брат генерала Кологривова скоропостижно умер; Дмитрия Бегичева тоже не было — зато был монумент Минину и Пожарскому, и впечатлений от него Александру хватило на первый день.

На следующий день он поехал с матерью в театр — давали «Притворную неверность». Грибоедова встретили в зале как родного и окружили толпы знакомых, ни лиц, ни имен которых он не помнил. Кокошкин, директор московских театров, актер и драматург, поспешил с ним раскланяться и униженно извинялся, что «*преlestные*» его стихи так терзают, что он не виноват, коли зрители не слушают. «Было бы что слушать!» — подумал про себя Грибоедов. Актеры, впрочем, казались достойны публики. Александр написал Бегичеву, что тот, кто в маске льва рычит на сцене в одном из балетов Дидло, — Росций по сравнению с первейшими московскими артистами. От Степана он получил письмо, посланное ему вдогонку, хотя Бегичев редко утруждал себя перепиской — оно и утешило Александра, и заставило опять вздохнуть по Петербургу.

Он не успел соскучиться в Москве: всё было ново, и дел было много. Он побывал у Алексея Александровича Павлова, женатого на сестре Ермолова, и тот взялся хлопотать о нем через жену. Грибоедов сразу почувствовал себя основательным: вот, не теряет даром времени, помнит увещевания Степана вести себя умно — и тотчас отправился заказывать все необходимое для Персии. Однако его благие намерения не исполнились: он встретил старого университетского приятеля, отправился с ним в ресторан, выпил шампанского за встречу, поехал в театр хлопать хорошенькой певице (москвичи ничему не аплодировали, словно берегли ладони, и Александр нарочно поднял в зале изрядный шум). После театра он слег с чрезвычайной головной болью, и Настасья Федоровна даже сделала ему компресс. Утром он встал свежее, но за дела не взялся, а пошел проводить молоденькую соседку, которую вдруг вспомнил по прежним временам. Она так и продолжала жить рядом, и Грибоедов быстро с ней снова сдружился.

Но в прочем Москва ему пришлась не по душе. Он ощущал себя в тисках, его удручали праздность и роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему и изящному. Даже музыка казалась в пренебрежении. Пожилые знакомые помнили в нем Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец стал к чему-то годен, определен в миссию и может со временем попасть в статские советники — и больше ничего в нем не видели. Отношения его с матерью быстро сделались прескверными. Она гневалась на него за дуэль, просила Амбургера впредь оберегать его от таких столкновений; он же пытался разобраться в подробностях ее странной покупки в долг огромного костромского имения в восемьсот душ — но ему было сказано, что это не его дело, а поместье себя окупит. Настасья Федоровна как-то за званым ужином начала с презрением говорить о его стихотворных занятиях, превозносила Кокошкина и упрекала сына за завистливость, свойственную мелким писателям, поскольку он Кокошкиным не восхищался. Жандр, сидевший неподалеку, посмотрел на друга с сочувствием и поклялся себе съехать от Грибоедовых, как только проводит Александра.

Но как ни раздражала Москва, Грибоедов мечтал о Петербурге, а отнюдь не о Персии.

Кто-то вернулся с Кавказа и рассказывал, что проезду нет: недавно на какой-то транспорт напало пять тысяч черкесов. Сомнительно, конечно, но Александр подумал, что с него и одного довольно будет; приятное путешествие, нечего сказать! Он пробыл в Москве две недели, писал в Петербург друзьям с невиданной частотой, а при отъезде печалился только о расставании с сестрой. Он искренне любил ее, а она не просто любила — единственная в Москве она *понимала* брата. Александр даже подумал, что впредь не будет эгоистом, а вернувшись из Персии, поселится с нею в Петербурге (и с матушкой, коли иначе нельзя).

Теперь Грибоедов с Амбургером ехали без остановок, но не быстро; Александр не считал нужным проводить все ночи в коляске — он ведь не фельдъегерь! Кроме того, их задерживали обычные дорожные невзгоды: в Туле целый день не было лошадей, Амбургер бесился, а Грибоедов со скуки читал целое годовое собрание давно почившего московского журнала «Музеум», украшавшее стены трактира. В Воронеже бричка, наконец, окончательно сломалась — ведь 1200 верст осталось позади! — и путешественники пробыли в городе целых два дня; но тут уж они не возражали — перед предстоящим броском в дикие края, через горы, отдых был им весьма желателен.

10 октября они достигли Моздока, сквернейшей дыры у подножия Кавказа, где нашли грязь, туман и его высокопревосходительство господина проконсула Иберии — то есть генерала Ермолова. Главнокомандующий встретил Грибоедова очень приветливо, может быть, в память о его бабке Марье Ивановне Розенберг, некогда оказавшей ему и его друзьям услуги в деле, которое он не любил вспоминать. Тот давний заговор против Павла I, приведший молодого Ермолова в крепость, где он сидел в каземате и слушал плеск волн над головой, научил его осторожности в отношениях с императорами. Но во всем прочем это был человек властный, полный хозяин Кавказа и Закавказья, наделенный правом объявлять войну и мир и устанавливать по своему усмотрению границу! Ермолов, собственно, был прямым начальником Грибоедова. Генерал в прошлом году ездил с кратким посольством в Персию, пытаясь заставить ее выполнять условия Гюлистанского мира 1813 года. Но персы требовали постоянного присмотра, для чего и создали миссию Мазаровича, долженствующую действовать в согласии с Ермоловым.

Грибоедов, к своему удовольствию, провел в Моздоке всего несколько дней. Мазарович пребывал в Тифлисе, и Александр отправил ему вперед письмо, в котором не потрудился выразить особенного почтения начальнику: небрежно объяснил задержку с приездом полонками экипажей; уведомил, что израсходовал дочиста все дорожные деньги и еще сверх того; обошелся без всяких комплиментов под предлогом их избитости и без всяких подробностей под предлогом спешки. Амбургер, поддавшись пагубному влиянию старшего товарища, вообще ничего не приписал от себя, «так как не имеет ничего прибавить». Мазарович едва ли составил себе благоприятное суждение о будущих подчиненных, прочтя постскрипtum: «Простите мне мое маранье, у нас перья плохо очинены, чернила сквернейшие, и к тому же я тороплюсь, сам, впрочем, не зная почему». Разве трудно очинить перо за два дня, мог бы спросить он. А чернильница походная у Александра была своя и превосходная — прощальный подарок Бегичева, за который Александр сто раз его благодарил, так она кстати прилась.

Первые переходы через Кавказский хребет Грибоедов с Амбургером проделали в свите главнокомандующего. Ехали верхом; вокруг сновали пехота, пушки и кавалерия. Александр вновь почувствовал себя на войне, но тут была не польская равнина. Впереди из тумана выглядывали снежные вершины гор. Лесистая местность холмилась, дорога петляла, повторяя бесчисленные изгибы Терека, но ехать пока было несложно. На второй день караван полез вверх, с крутизны на крутизну, кое-где лошади шли гуськом. Александр попробовал отъехать в сторону, чтобы немного утешить себя приятным одиночеством, но его почти тут же позвали в строй. В Кумбалеке они оставили Ермолова и двинулись во Владикавказ в сопровождении десяти казаков.

Грибоедов вырос на равнине и не видел гор выше Воробьевых и Валдайских. Он,

конечно, сознавал, что Кавказский хребет не похож на них, помнил из уроков Петрозилиуса, что Казбек и Эльбрус покрыты вечными снегами, но совершенно не мог представить себе, как это выглядит в действительности. Он хотел бы заранее подготовиться к тому, что его ожидает, но даже прочитать о горах было негде! Карамзин в «Письмах русского путешественника» изобразил Альпы, но то были предгорья. Байрон создал бессмертную третью песню «Чайльд-Гарольда», где несколькими стихотворными строчками живее передал впечатления от гор, чем Карамзин несколькими страницами, но эта песня еще не дошла до России. Немецкие географы составили подробное описание Кавказа, но из их ученых сочинений нельзя было извлечь *ощущение* горных пейзажей. Русские военные неоднократно переходили Кавказ и Альпы, например, в швейцарском походе Суворова в 1799 году, но ни генерал Милорадович, которого Грибоедов немного знал по Петербургу, ни другие спутники Суворова не обладали даром письменной или устной речи. Грибоедов первым из русских литераторов очутился в настоящих горах и почувствовал потребность передать последующим путешественникам сведения о том, что их ждет. Он даже стал, невзирая на усталость, записывать в конце дня всё виденное и пережитое.

На третий день пути горы были еще невысокими, но уже снег живописно лежал складками между золотистыми холмами; Терек, покрытый белыми бурунами, шумел рядом с дорогой, а издали доносился непонятный грохот — проводники объяснили, что это сходят лавины, но Грибоедов пока неясно представлял, что сие означает. У Владикавказа он пораился красоте сочетания зеленых огородов и снежного покрова — в России снег очень редко ложится рядом с цветущей зеленью. Город стоял на плоском месте, но за ним появились утесы, всё повышаясь и сближаясь, словно желали раздавить дорогу. Дикость мест подчеркивали то заброшенные осетинские замки, то русские редуты и казармы. Затем путешественники увидели огромный белый камень, нависавший над их головами, — и вступили в мрачное Дарьяльское ущелье. Терек стал невидим, только ревел под пеной. Грибоедов с каким-то ужасом глядел на мощные гранитные кручи, они подавляли его, и на следующий день, после ночлега в казармах, он с облегчением приветствовал другой огромный белый камень — теперь при выезде из Дарьяла. Он подумал, что худшее позади, повеселел и с увлечением рассматривал многочисленные живописные осетинские селения с замками, церквями и монастырями из гранита. Несколько раз они переправлялись через Терек, объезжая недавние завалы; Грибоедов снял очки — без них он не видел дальше носа лошади, зато мог не бояться головокружения от бешеной скорости реки. Долина Терека, к его удивлению, была густо заселена, он постоянно встречал на дороге людей и караваны и повсюду видел горные селения с каменными башнями. Амбургер часто вскрикивал от восторга при виде живописных пейзажей, но Грибоедов, оглядываясь, замечал не одни красоты, но и проломы от взрывов, завалы из остатков артиллерийских снарядов, недавние руины — здесь русские войска ломом и порохом пробивали Военно-Грузинскую дорогу.

На шестой день начался подлинный кошмар. От станции Коби тропа пошла резко вверх на Крестовый перевал. Тут царил зима — ветер, снег, веского человека ими не удивить, но слева у самой обочины можно было заглянуть в неизмеримую пропасть, где бился скрытый паром Терек, а справа можно было коснуться рукой неизмеримых утесов, чьи вершины тонули в облаках. Грибоедов и думать забыл о черкесах! Природа здесь была страшнее человека! Он решительно не понимал, почему все они не скатились в ущелье. Шли пешком — узкая скользкая дорога постоянно осыпалась под ногами, люди и лошади поминутно падали, он сам несколько раз упал, а уцепиться не за что; над головой висели камни и снег, грозя обвалом, становилось трудно дышать, разреженный воздух увеличивал усталость, сильнейший ветер норовил сбросить вниз. Тут оставалось только идти возможно скорее, не глядя ни вниз, ни вверх, ни вправо, ни влево, особенно под знаменитой нависающей скалой, прозванной казаками «Пронеси, Господи!». Александр мог думать только об одном: как пройдет здесь его фортепьяно? Неужели он увидит его когда-нибудь по ту сторону Кавказа?! Путь шел то круто под гору, то снова в гору, и Грибоедов не мог решить, что хуже. Он не хотел надевать очков — все равно они сразу же запотевали, а без них ему было как-то

спокойнее, по крайней мере он не мог измерить взглядом глубину пропастей.

Наконец, добрались до станции Койшаур, взяли новых лошадей, немного спустились — и вдруг поразились неожиданной веселой картине. Половина Грузии лежала у их ног: Арагва вилась среди кустов и деревьев, виднелись пашни и стада, башни и монастыри, дома и мостики. Окрестности зазеленели, снега отступили, спуск, после пережитых ужасов, казался совсем нестрашным. За несколько часов путники попали из зимы в лето. Грибоедов с Амбургером сели в дрожки и правили по очереди. Ни тот ни другой никогда прежде этого не делали, и путешествие грозило закончиться в ближайшей речке, но усталые лошади сами осторожно довели их до селения Пасанаури. Здесь заночевали. На следующий день Александр восхитился плодородию страны, в которую попал: дорога шла сквозь грушевые, яблоневые и сливовые деревья, еще увешанные фруктами, между шпалерами виноградных лоз; а местные жители смотрели на плоды равнодушно, словно это были березовые листья. Теперь они ехали как по саду, любовались грузинскими крепостями и замками, слушали грузинские мелодии и песни. У города Мцхета Арагва с шумом слилась с Курой у подножия великолепного древнего храма, и правым ее берегом они утром следующего дня въехали в Тифлис.

Город стоял на высоких обрывистых каменных берегах, украшенных древней крепостью, старинными церквями и дворцом. Дрожки весело катили по кривым улочкам, вдоль домов с балкончиками или глухих стен, прерывающихся открытыми воротами во дворы с бесчисленными лестницами, людьми и животными внутри. Александр радовался восточному виду города — было бы обидно проехать три тысячи верст и увидеть что-нибудь привычное. Он хотел осмотреть все подробнее, но не успел. Первым, кого он увидел в Тифлисе, был отнюдь не Мазарович.

На ступеньках станции, скрестив на груди руки, изящно задрапировавшись в плащ, стояла в картинной позе до боли знакомая фигура. Якубович! Опальный улан приветствовал Грибоедова с каким-то мрачным удовлетворением и немедленно потребовал окончить начатое в Петербурге дело. Он уже две недели предвкушал приезд врага и загодя распространял рассказы о гибели Шереметева, вербуя сторонников и секундантов. Ссылка на Кавказ удивительно оживила воображение Якубовича, и прежде безудержно пылкое. Он обожал быть в центре внимания и славился необыкновенно интересными историями, которые рассказывал в дружеском кругу. От раза к разу они обрастали подробностями, и сам сочинитель не замечал, как зерно истины исчезало во тьме романтических вымыслов. Сейчас он объяснял свою ссылку тем, что после ранения Шереметева, когда противники отказались продолжать дуэль, он с досады выстрелил по Завадовскому и прострелил тому шляпу. Такой поступок был бы, мало сказать, подлым, и за него он попал бы не в ссылку, а прямо на каторгу. Конечно, приятели не вполне верили Якубовичу, но не желали разрушать ореол трагической таинственности, окружавший их кумира. Его поведение было внове для Грузии и вносило разнообразие в монотонную жизнь русского гарнизона.

Вечером, не успев расположиться в трактире, Грибоедов вынужден был просить Амбургера быть его секундантом в предстоящем поединке, поскольку никого другого еще не знал в Тифлисе. Обоих удручало предстоящее дело; правда, дальше Персии их сослать уже не могли (что может быть хуже?), но стреляться в незнакомом городе на другой день по приезде с человеком, у которого, вполне вероятно, есть здесь множество друзей, казалось очень неприятным. Смерть Грибоедова поставила бы Мазаровича в тяжелое положение, а ранение отяготило бы положение самого Грибоедова.

На следующее утро в ресторации Поля Якубович представил Грибоедову и Амбургеру своего секунданта, Николая Николаевича Муравьева. Имя показалось Александру знакомым, в университетские годы он дружил с Муравьевыми, но самого молодого человека не узнал. Из всех братьев он любил его меньше прочих и при новой встрече не изменил своего мнения. Грибоедов еще не пришел в себя после дороги, был ошеломлен новыми впечатлениями и новыми неприятностями и с трудом воспринимал окружающее. Муравьев показался ему на вид добродушным из-за курносости, но холодным, осторожным и очень благоразумным. Он

не мог понять, как такой положительный служака позволил втянуть себя в дуэль, пока не заметил, с каким явным восхищением тот смотрит на Якубовича, видя в нем ожившего героя романтических авторов, вроде благородного разбойника Сбогара из романа Шарля Нодье или таинственного Корсара Байрона.

Вечером все собрались у Муравьева, чтобы обсудить условия поединка. Амбургер предложил примирение, но Муравьев, вопреки обязанностям секунданта, его не поддержал, сказав, что всецело принимает решение Якубовича, полагая, что тому виднее. Амбургер настаивал, ссылаясь, раз уж ничто иное не действовало, на просьбу матери Грибоедова предотвратить дуэль. Он заставил-таки Муравьева поговорить с Якубовичем, но бретер, разумеется, и слышать не пожелал о мире. Грибоедов сам вступил в переговоры и сказал, что никогда не обижал Якубовича. Тот согласился с этим.

— Тогда почему же вы не хотите оставить этого дела?

— Я обещался честным словом Шереметеву при смерти его, что отомщу за него вам и Завадовскому!

Александр не поверил. Он знал, что Шереметев не ожидал смерти и провел последний день едва ли не в приподнятом настроении, почти радуясь своему сражению за Истомину. Было очень неправдоподобно, чтобы Василий, при его благородстве, вдруг требовал мести, тем более что причин для нее, с точки зрения человека чести, не существовало. Это не Якубович, а Грибоедов должен был считать себя обиженным.

— Вы поносили меня везде, — продолжал Александр.

Якубович ответил странно:

— Поносил и должен был сие делать до этих пор; но теперь я вижу, что вы поступили как благородный человек; я уважаю ваш поступок; но тем не менее должен кончить начатое дело и сдержать слово, данное покойнику.

— Если так, то господа секунданты пускай решают дело, — раздраженно бросил Александр и ушел в соседнюю комнату.

Муравьев предложил было стреляться у Якубовича в квартире из угла в угол комнаты до крови (а не просто обменяться выстрелами), словно оскорбление было жесточайшим и требовало немедленной битвы насмерть, но Амбургер отказался это даже обсуждать, указав, что, может быть, Якубович пристрелялся у себя в комнате и условия будут неравными.

Положили стреляться на следующее утро в поле за городом на шести шагах; Муравьев обещал найти место и врача;

Амбургер взялся достать у Мазаровича бричку и лошадей. Поведение Якубовича не укладывалось ни в какие рамки: можно было подумать, что по меньшей мере он дерется за честь семьи, так жестко он настаивал на предельно малом расстоянии между барьерами (их никогда не ставили менее чем на шести шагах, да и на шести стрелялись исключительно редко!), а поводом было всего лишь сомнительное соблазнение актрисы Завадовским, к которому Грибоедов, может быть, и имел отношение, но уж Якубович — совсем никакого. Сам Муравьев почувствовал необходимость ограничить дуэль одним обменом выстрелами, но не смог настоять на своем. Якубович обладал большим бретерским опытом, знал, что Грибоедов никогда прежде не участвовал в дуэлях, и надеялся непременно положить его.

Даже очень храбрые, испытанные в боях люди обыкновенно проводили тревожные ночи перед поединком. Грибоедов ожидал, что не заснет; Амбургер волновался не меньше его. Но после двух месяцев пути, после горных ужасов и треволнений предыдущего дня оба уснули мертвым сном. Их разбудил Муравьев, прискакавший до зари с просьбой не выезжать, пока он не вернется и не проводит их к месту дуэли — оврагу на пути из Тифлиса в Кахетию, удобно скрытому от глаз прохожих. Пока Грибоедов с Амбургером одевались, Муравьев поскакал к Якубовичу, велел ему идти к оврагу пешком и спрятаться за монументом; потом побежал к доктору Миллеру, прося его ожидать вдали, пока всадник не покажется из оврага, и тогда торопиться на помощь. Договорившись со всеми, он поехал верхом, показывая дорогу Грибоедову и Амбургеру, сидевшим в бричке. (Бричку Амбургер добыл обманом, а Мазарович, хлопотавший об отъезде, не стал допытываться, зачем она

нужна его подчиненным на рассвете; может быть, он решил не задумываться о такой странности — ибо догадаться было весьма нетрудно.)

Грибоедов волновался, зная, что противник хочет его смерти и условия боя будут предельно опасными — ведь даже Завадовский с Шереметевым стрелялись на двенадцати шагах! Но, спустившись в овраг, он не увидел, к своему удивлению, Якубовича. Александр спросил о нем у Муравьева, а тот за всеми утренними хлопотами забыл, что сам велел Якубовичу стоять за монументом. Он помчался его звать, Миллер принял его появление из оврага за знак себе, поспешил навстречу, но не заметил оврага и умчался куда-то в горы. Вся эта путаница развеселила Грибоедова и, когда Якубович наконец появился, Александр чувствовал себя на удивление спокойно.

Муравьев предложил стреляться без сюртуков и фуражек: умирать, конечно, приличнее одетым, но в случае простой раны было бы неразумно лишиться верхней одежды. Тифлис, как он объяснил, город еще неустроенный, европейский сапожник тут один, а портные таковы, что петербургским щеголям не стоит на них рассчитывать. Муравьев с Амбургером зарядили пистолеты и отсчитали шесть шагов, но оба были невелики ростом, и расстояние между барьерами оказалось до смешного ничтожным. Секунданты не сделали попытки в последний раз помирить противников, и дуэлянты встали на крайнее расстояние. Муравьев подал знак о начале.

Грибоедов удивился нервности Якубовича. Александр ожидал, что тот, в классической манере бретера, будет ждать неподготовленного выстрела и потом уже, встав вплотную к барьеру и потребовав того же от соперника, хладнокровно поразит его почти в упор (как поступил, например, Завадовский). Грибоедов решил и сам так действовать, только стрелять не на поражение, а в плечо. Однако Якубович быстро подошел к барьеру, собираясь стрелять как можно скорее и дожидаясь приближения Грибоедова. Александр сделал два шага и остановился, не поднимая пистолета и не занимая еще позиции. Он ждал выстрела, Якубович ждал его подхода — так прошла минута. Положение становилось глупым, но Якубович сам на него напросился, недооценив противника.

Наконец, Якубович не выдержал и дал выстрел. Грибоедов почувствовал нестерпимую боль в левой руке, которой он, не по правилам, слегка прикрыл живот, памятуя об участии Шереметева. Он поднял руку, увидел кровь на кисти и услышал слова раздосадованного Якубовича: «По крайней мере, играть перестанешь!» Муравьев, при всем своем восхищении бретером, не поддержал его глупую радость — Николай Николаевич сам был музыкантом. Жестокость врага взбесила Грибоедова, но он не воспользовался своим правом подойти к барьеру. Несмотря на гнев, он не мог заставить себя стрелять, когда его пистолет отделен от груди безоружного врага едва ли четырьмя саженьями. Он целился с места, сам не зная, хочет ли попасть в плечо или в голову Якубовича. Тот ожидал верной смерти самым достойным образом, небрежно скрестив руки. Пуля пролетела вплотную к его затылку, и он схватился за него рукой, полагая себя раненым; но крови не было.

Грибоедов упал, не выдержав боли от раны, и Якубович подбежал поддержать его, по-видимому, восхищенный интересной дуэлью. Муравьев поскакал за Миллером, но, конечно, не нашел его на месте. К счастью, он издали увидел его блуждающим в горах, позвал, и тот перевязал Грибоедова, сказал, что опасности нет, и поспешил удалиться, словно его там не было. Александра усадили в бричку, и все возвратились к Муравьеву. Условились говорить, что были на охоте и что лошадь наступила Грибоедову на руку. (В это тем легче было поверить, что раны в левую руку и вообще в левую часть туловища на дуэлях случались крайне редко. Труссы обычно пытались встать к противнику в профиль, надеясь сделаться как можно менее заметными, но опытные люди им объясняли, что такое положение опаснее всего. В правильной позиции дуэлянты стояли в три четверти друг к другу, чтобы не представлять широкой мишени, но и чтобы пуля, войдя в правый бок, не могла бы пройти насквозь в левый и задеть его важные органы.левой рукой иногда пытались прикрыть живот или сердце, но чаще отводили ее назад для устойчивости.) Грибоедов чувствовал жар, не говоря о боли, и два дня оставался у Муравьева, хотя ему

следовало посетить Мазаровича. Его кисть была прострелена насквозь, и он страшно боялся, что слова Якубовича окажутся пророческими. В квартире Муравьева стояло фортепьяно, хотя довольно плохое, и Александр не мог без слез смотреть на него.

25 октября, несмотря на все предосторожности, слух о поединке широко разнесся по Тифлису. До прихода русской армии дуэли были неизвестны в Грузии и потому привлекали особенное внимание. В обществе изобретали подробности; Муравьев слышал рассказ, что пуля попала Грибоедову в ладонь и вылетела в локоть! Полковник Наумов, командующий тифлисским гарнизоном, ожидал, что дуэлянты явятся к нему с повинной и он сможет, пожурив их за молодость, принять вид покровителя. Якубович и Муравьев так бы, вероятно, и поступили; один — чтобы показать себя, другой — чтобы не ссориться с начальством. Но Грибоедов был против, поскольку никаких доказательств поединка не существовало, и он не видел нужды самим себя выдавать. Бывшим противникам пришлось с ним согласиться, так как он был главным пострадавшим, к тому же наказание грозило скорее им, чем ему (далее Персии не зашлют!). Наумов вызвал к себе Якубовича и попробовал хитростью добыть у него признание, уверяя, что все уже знает.

— Если вы знаете, — ответил Якубович, — так зачем же спрашиваете меня? А я вам говорю, что поединка не было и что слухи эти пустые.

Якубович, конечно, желал бы рассказать все в подробностях и присочинить еще от себя, потому что правда была для него не совсем лестна — что за дуэль на шести шагах, которая закончилась всего лишь легким ранением одного из противников? разве пистолеты были с кривыми стволами?! Но при живых свидетелях он не решался отступать от истины слишком далеко, а потому предпочел промолчать¹¹. Наумов не мог назначить следствие по делу из-за твердого запирательства всех участников поединка, но потребовал от Якубовича уехать в полк. Муравьев не пострадал. Зато Грибоедов несколько дней лежал в жару, может быть, из-за инфекции, занесенной в рану, а потом долго залечивал руку. Только в январе он смог сесть за фортепьяно. Левый мизинец у него совсем не двигался, и он стал осваивать технику игры в девять пальцев — и освоил блистательно, так что и сам перестал замечать увечье.

В декабре в Тифлис прибыл на отдых Ермолов и попытался расследовать историю, но Грибоедов и Муравьев просили его через Мазаровича не сердиться на Якубовича и все оставить, как есть. Тем дело и кончилось.

Болезнь Грибоедова задержала русскую персидскую миссию. Надо сказать, что Мазарович сам очень не хотел уезжать, а Грибоедов обжился в Тифлисе и не желал его покидать. Образованных людей в городе было мало, но в Тегеране он и того бы не нашел. В Тифлисе жило несколько иностранцев (учителей, врачей, купцов), несколько русских семейств (военных и чиновников) и несколько грузинских семейств, где мужчины старше тридцати состояли на русской службе и говорили по-русски, дети все уже родились в Российской империи и учили русский и французский языки, а женщины и старики объяснялись только по-грузински. Вообще же в Тифлисе жили преимущественно армяне.

Выздоровев, Александр начал искать в городе хорошее фортепьяно, потому что его собственное еще не прибыло, и дом, где доброжелательные хозяева позволили бы ему в любое время часами занимать инструмент, играя для удовольствия, а не для развлечения гостей. Все это он обрел в семье генерал-майора Федора Исаевича Ахвердова, начальника артиллерии Кавказской армии. Сам генерал был не вполне русским, имел несколько маленьких детей от жены-грузинки, урожденной княжны Юстиниани, но вторым браком женился на Прасковье Николаевне Арсеньевой, женщине высокой образованности, одаренной прекрасными музыкальными талантами. Ахвердова воспитывала по-европейски собственных детей, пасынка, падчерицу и племянницу, а также их сверстников, детей соседа

¹¹ Только после смерти Грибоедова он принялся за повествование об их дуэли, причем лучшая его версия опиралась на "Выстрел" Пушкина.

и родственника князя Чавчавадзе. Семейство Чавчавадзе жило у нее во флигеле, и дом Ахвердовой представлял подобие пансиона, где дети проводили дни напролет, вместе учились, танцевали и музицировали. Жена Чавчавадзе была совершенной грузинкой, не могла дать дочерям достойного воспитания и целиком передоверила их Ахвердовой. Князь Александр Чавчавадзе, напротив, родился в Петербурге, воспитывался в Пажеском корпусе, участвовал в заграничных походах русской армии, писал стихи и переводил на грузинский европейских поэтов-романтиков. Грибоедов нашел в нем замечательного собеседника и сам мог многое рассказать князю о Петербурге и новинках русской литературы.

Александр встретил в обоих семействах самый радушный прием. Здесь в нем видели не будущего дипломата, не дуэлянта и повесу, а поэта, музыканта и драматурга, переживали из-за его раны, радовались, когда он смог сесть за инструмент, восхищались его виртуозной техникой, невиданной в Грузии. Грибоедову было легко и интересно, это были первые семейные дома, где он нашел доброту и понимание.

Среди офицерской молодежи он почти не завел друзей. Поговорить было не с кем — и Александр поневоле привык к картам. В моде был покер — примитивная, быстрая игра, в которую тогда играла каждая барышня. В Грузии богатых аристократов не было, поэтому играли по полущке, оставались при своих, и скука почти не рассеивалась. На Новый год Грибоедов задал изысканный ужин, все выпили много шампанского, веселились, ермоловский казначей Адам Краузе показывал фокусы. Но в наступившем 1819 году Александр со многими рассорился. Заводилой вражды стал Муравьев. Он мог быть любезным и приветливым, был образован и неглуп, но чужих мнений не понимал и не признавал, свои казались ему непогрешимыми, и он с упрямством отстаивал их, выходя из себя от малейшего противоречия. Он был мелочен, самолюбив, недоверчив и обидчив, боялся себя уронить и постоянно придирался ко всем, кто его в чем-нибудь превосходил. Он ревновал Грибоедова, затмившего его славой, музыкальными талантами, успехом у женщин, а главное — у Ермолова. Муравьев с растущей неприязнью смотрел на постоянное общение Грибоедова с главнокомандующим, завидовал их кажущейся взаимной привязанности.

В начале января Ермолов с возмущением прочел в газете «Русский инвалид» сообщение о якобы происшедших в Грузии волнениях и просил Грибоедова ответить на эти поклепы. От газет чего и ждать, как не глупых выдумок, но некоторые выдумки могут иметь опасные последствия. Александр быстро настроил ответную статью. Он далеко не оправдывал некоторых самовольных поступков генерала, казней и пожаров, которыми тот насаждал русское влияние на Кавказе; но понимал, что тут Азия, тут ребенок хватается за нож, и как бы ни был жесток Ермолов, не при нем вспыхнет здесь бунт.

Грибоедов развлекался работой, его перо с привычной легкостью разило правых и виноватых. Он процитировал «Инвалид», которому, мол, пишут «из Константинополя от 26 октября, будто бы в Грузии произошло возмущение, коего главным виновником почитают одного богатого татарского князя». И пошел издеваться:

«Скажите, не печально ли видеть, как у нас о том, что полагают происшедшим в народе нам подвластном, и о происшествии столь значущем, не затрудняются заимствовать известия из иностранных ведомостей... а можно б было, кажется, усомниться, тем более, что этот слух вздорный, не имеет никакого основания: вероятно, что об истинном бунте узнали бы в Петербурге официально, не чрез Константинополь. Возмущение народа не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она дает дурной спектакль: оно отзывается во всех концах империи, сколько, впрочем, ни обширна наша Россия. И какие есть татарские князья в Грузии? Их нет, во первых, да если бы и были: здесь что татарский князь, что „немецкий граф“ — одно и то же: ни тот, ни другой не имеют никакого голоса». («Немецкого графа» Грибоедов ввернул, чтобы намекнуть Нессельроде, каково влияние Иностранной коллегии при Ермолове.)

Далее Грибоедов как очевидец свидетельствовал, что в Грузии бунта не было и нет: «На плоских здешних кровлях красавицы выставляют перед прохожими свои нарумяненные лица, которые без того были бы гораздо красивее, и лениво греются на солнышке, несколько

не подозревая, что отцы их и мужья бунтуют в „Инвалиде“... Вечером в порядочных домах танцуют, на *саклях* (террасах) звучат бубны, и завывают песни, очень приятные для *поющих*. Между тем город приметно украшается новыми зданиями. Все это, согласитесь, не могло бы так быть в смутное время, когда богатым татарским князьям пришлось бы в голову возмущать всеобщее спокойствие».

Грибоедов не отрицал, что не бунт, а некое военное столкновение с горцами имело место в конце прошлого года, и даже его описал, но предложил интересующимся заглянуть в географические карты: «Они ясно показывают, что события с Кавказской линии так же не годится переносить в Грузию, как в Литву то, что случается в Финляндии».

Последнее сравнение было понятнее всего в Петербурге, а для того Грибоедов и взялся за опровержение, что из столицы некоторые вещи видятся иначе, чем с места, «которое ему повелено занимать при одном азиатском дворе»: «Российская империя обхватила пространство земли в трех частях света. Что не сделает никакого впечатления на германских ее соседей, легко может взволновать сопредельную с нею восточную державу. Англичанин в Персии прочтет ту же новость, уже выписанную из русских официальных ведомостей, и очень невинно расскажет ее кому угодно в Тавризе или Тейране. Всякому предоставляю обсудить последствия...»

Александр понимал, что его резкую отповедь не напечатают в «Инвалиде», и послал ее Гречу в «Сын Отечества», где она и появилась вскоре. Благодаря этому он смог заключить статью настоящим пожеланием ко всем читателям: «Потрудитесь заметить почтенному редактору „Инвалида“, что не всяким турецким слухам надлежит верить, что если здешний край в отношении к вам, господам петербуржцам, по справедливости может назваться „краем забвения“, то позволительно только что забыть его, а выдумывать или повторять о нем нелепости не должно».

Статья Грибоедова имела у Ермолова огромный успех, и Муравьев с трудом мог утешить себя тем, что генерал не дал хода другой его заметке — о недавнем землетрясении в Тифлисе. Грибоедов впервые испытал скверное ощущение от качающейся земли и рушащихся домов и передал его так живо, как показалось неуместным привыкшему к подобным передрягам начальнику: еще подумают в России, что жизнь в Грузии небезопасна! Ермолов велел переписать заметку Грибоедова попроще, смягчив яркие краски, но Муравьев все равно остался недоволен.

16 января дело чуть не дошло до дуэли. Муравьев придрался к шутливому вопросу Грибоедова о некоем толстяке Степанове: не тот ли, мол, это человек, которого боится Муравьев? Николай Николаевич вспылil:

— Как боюсь, кого я буду бояться?

— Да его наружность страшна, — объяснил Грибоедов.

— Она, может быть, страшна для вас, но совсем не для меня, — отрезал Муравьев, сердито подозвал Амбургера и спросил его громко при всех, слышал ли он, что сказал сейчас Грибоедов. Амбургер благоразумно решил не обращать внимание на вопрос, а Грибоедов еще раз повторил, что находит Степанова страшным, потому что тот громаден. Муравьев несколько остыл, но случай оставил у всех неприятный осадок.

Между тем злость Муравьева имела под собой основание: Грибоедов действительно каждый день по несколько часов проводил у Ермолова, беседовал с ним о Петербурге, о Польше, которую оба хорошо знали, искренно восхищался его старинного образца красноречием, часто спорил с ним, однако ни разу не переспорил. Он хотел получше узнать генерала и стать ему близким человеком, но не ради какой-то малодостойной цели. Он очень ясно сознавал, что жизнь членов русской миссии в Тегеране целиком отдана в руки Ермолова. Тому дано право объявлять войну и заключать мир; вдруг придет ему в голову, что границы России недостаточно определены со стороны Персии, и он пойдет их расширять по Аракс! Что тогда будет с дипломатами, ставшими заложниками персиян? Александр вовсе не хотел погибнуть ни за что; если уж он забрался так далеко, пусть отныне спорные вопросы решаются переговорами, а не пушками. Мазарович тоже понимал трудность своего

положения, он давно знал Ермолова, еще с тех пор, как сопровождал его в самом первом русском посольстве к персидскому шаху. Но сам он не мог надеяться на доброжелательность Алексея Петровича (Ермолов его не уважал) и предоставил Грибоедову возможность испытать на главнокомандующем свое обаяние. Уже садясь на коня в день окончательного отъезда, Александр полушутливо сказал провожавшему Ермолову:

— Не обрекайте нас в жертву, ваше превосходительство, если когда-нибудь затеете войну с Персией.

Генерал рассмеялся, спросил, что за странная мысль. Но Грибоедов про себя подумал, что ничуть не странная: «Кажется, что он меня полюбил, а впрочем, в этих тризвездных особах нетрудно ошибиться; в глазах у них всякому хорошо, кто им сказками скуку прогоняет; что-то впереди будет! Время покажет, дорожит ли он людьми».

Пока же они расстались друзьями. Алексей Петрович, прощаясь, объявил, что Александр, хотя повеса, а человек прекрасный, Грибоедов ответил, что, увы, ни в том, ни в другом не сомневается. Муравьев с нескрываемым облегчением смотрел на отбытие миссии, но страдал, видя, сколько народу пришлось проводить Грибоедова (в том числе Якубович) и что многие огорчились его отъезду.

Грибоедов уезжал с сожалением; снова расставался с обретенными друзьями, снова его ждал путь, почти равный пройденному от Петербурга до Тифлиса. За день до отъезда он послал веселые весточки петербургским друзьям: Бегичеву, Никите Всеволожскому и поклоны тысячам знакомых. Но легкомысленный тон еле прикрывал непроходившую тоску по Петербургу, по театру: «Коли кто из вас часто бывает в театре, пускай посмотрит на 1-й бенуар с левой стороны и подарит меня воспоминанием, может быть, это отзовется в моей душе и заставит меня икать где-нибудь возле Арарата или на Араксе». Тронувшись в путь, он решил завести тетрадь и записывать все свои впечатления в форме писем к Бегичеву. Отослать их не будет пока возможности, но ему будет казаться, что он беседует с другом.

28 января Симон Мазарович с братьями Спиридоном и Осипом, Грибоедов с неизменным Амлихом, получившим должность курьера, Амбургер, переводчик, повар, слуги и конвой выехали из Тифлиса. Всего набралось человек двадцать пять и невесть сколько выючных лошадей и борзых собак, дабы разгонять однообразие пути охотой. Ехали по снегу, дороги — никакой, только заваленная камнями караванная тропа. Первый переход Грибоедов еле вытерпел, так измотало его грузинское седло за сорок верст пути. Зато на другой день дорога привела к реке Храме, и путникам вдруг открылся великолепный мост. Александр долго им любовался, удивляясь в здешних местах такому прекрасному произведению архитектуры. Его, правда, портил пристроенный караван-сарай, который оказался весьма велик, но лучше бы его не было: большой зал занимали овцы, а пастух со своим конем расположился в соседнем покое. В нескольких шагах от роскошного моста Александр увидел начатки нового, которые много обещали да остались незаконченными. Зачем и кому понадобились два рядом стоящих моста через незначительную речку, когда через великую Куру нет ни одного подобного? Грибоедов все не мог надивиться на мост и вынужден был признаться переводчику Шемир-беку, что в Петербурге таких нет (собственно, там через Неву вообще нет мостов). Но переводчик не поверил, он очень хотел увидеть столицу России.

— Представьте, — сказал он, — восемь раз побывать в Персии и не видеть Петербурга, это ли не ужасно!

— Не той дорогой мы взяли, — вздохнул Грибоедов и сам рассмеялся.

Ехали весьма уныло, то по снегу, то по каменным кручам. Мазарович старался быть веселым и заботиться обо всех. Поговорить, однако, было не с кем, и Грибоедов, чтобы не загрустить, распевал, как умел, французские куплеты и русские плясовые, все ему вторили, даже татары. Так шли четыре дня и вступили в страшноватое Дилижанское ущелье. Тут повторились кавказские ужасы, хотя горы были поменьше, но ветер бушевал в ущелье и на открытых местах, ночевать же приходилось в палатках — впрочем, это было приятнее караван-сараев, можно было самим жарить себе над костром кебабы. Последний переход до

Эривани утомил всех до крайности: Грибоедов не поверил бы прежде, что есть южные края, где можно отморозить себе щеки. Вдали виднелся наполовину скрытый туманами Арарат, но всем было не до библейских раздумий. Миссия подъезжала к столице древней Армении, каждый мечтал о тепле и отдыхе, а навстречу никто не являлся! Мазарович кричал, что прямо ворвется к сардарю и устроит скандал; Грибоедов бесился, оскорбленный неуважением к русским чиновникам. Но на самых подступах к городу к ним вдруг примчался взмыленный посланный от сардаря с извинениями, что адъютант, отправленный им навстречу, поехал по другой дороге, поскольку они выбрали кратчайший, но непривычный путь.

Их проводили в отведенный дом, разожгли камин, подали кальяны, а главное — стулья! Это повеселило Грибоедова. Стул — предмет европейской мебели, чуждый азиатам, всегда сидящим на коврах. Англичане смиренно следовали их обычаю, но генерал Ермолов приучил уже Персию, что русские не сидят на полу, не снимают в помещении обувь, требуют стульев — и попробуйте их не подать! Однако тепла и отдыха в Эривани не нашлось. Камин топили слабо, по недостатку дров, а помещение было мало приспособлено к небывалым холодам, стоявшим на улице. Внутри мельтешили толпы любопытных, суетился какой-то англичанин, явный простолюдин, если не беглый каторжник, занимавшийся обучением войска сардаря английской военной муштре (ни муштры, ни языка персидского он не знал, однако палкой работал отлично). Грибоедов не мог даже писать — то и дело кто-нибудь заглядывал в бумагу, и он еле подавлял искушение дать ему по шапке.

Хозяин дома, лысый, длинноротый старик, почитатель Ермолова, отнесся к ним с наибольшим гостеприимством и учтивостью. Он сообщил Мазаровичу, что чрезвычайно обрадован его приездом и что, если дорогому гостю вздумается отсечь головы всем его слугам и даже брату, он доставит тем великое удовольствие хозяину. Мазарович в ответ подарил ему трубку-калейдоскоп — он вез их множество, поскольку в России они недавно были модной новинкой, а для Азии являлись диковинкой.

Грибоедову представилось, что он перенесся в Московию на двести лет назад. Хозяин угощал вином и сластями, как добродушный москвит, домочадцы подставляли себя под удары палок, а заезжие иностранцы, как этот англичанин, смотрели на всё, а потом, вернувшись в свое отечество, ругательствами платили за хлебосольство.

Утром русских дипломатов принял сам сардарь, из правящей персидской династии. Они еле протиснулись по узким улочкам к его дворцу, а палаты оказались так запутаны и мрачны, что Грибоедов в них не разобрался. В приемной, однако, лежали роскошные ковры — и стояли заготовленные стулья. Беседа велась самая пустая, и Александр, пристроившись у подноса с какими-то изумительно вкусными конфетами, старательно над ними потрудился, запивая чаем с кардамоном.

Он прожил в Эривани всего три дня, города из-за лютого холода не увидел, но нравы эриванцев ему не приглянулись. Слуги в мороз бегали полуголые и полуголодные. Сардарь, не смущаясь многочисленным сборищем, излагал Мазаровичу такую теорию налогов, которая едва ли была самой сносной для шахских подданных, вверенных его управлению. В суде его слово было законом, если только истцы или ответчики не обосновывали дело кодексом великого пророка — шариатом, чьи уставы неколебимы.

«Рабы! — думал Грибоедов. — И поделом им! Смеют ли они осуждать верховного их обладателя? Кто их боится?.. В Европе, даже в тех народах, которые еще не добыли себе конституцию, общее мнение по крайней мере требует суда виноватому. Криво ли, прямо ли судят, иногда не как хотят, а как велят, — подсудимый хоть имеет право предлагать свое оправдание. Всего несколько суток, как я переступил границу, и еще не в настоящей Персии, а имел случай видеть уже не один самовольный поступок».

Так постранствуешь — Россия не худшим местом на земле покажется. Выступив из Эривани под снегом, пробираясь по сугробам или льду, рискуя свернуть шею или простудиться насмерть в этом диком крае, Грибоедов проклинал все на свете. Тяжелее всего ему была необходимость ехать молча, поскольку спутники боялись раскрыться и отморозить

лицо. Однажды в пути ему встретился богатый персиянин, едущий на поклон к шаху. Тот, в восторге от знакомства с русским дипломатом, наговорил ему столько пышных восточных фраз, что, хоть и смешно было, зато до ночлега добрались незаметно. Вокруг все снег лежал да снег — как в России. «Нет! я не путешественник! — твердил себе Грибоедов. — Судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразить в исправники, в таможенные смотрители; она рукою железною закинула меня сюда и гонит далее, но по доброй воле, из одного любопытства, никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле в самое злое время года».

К середине февраля прибыли в Тавриз. Лет сто назад это был огромный торговый город с сотнями караван-сараев, мечетей и кофеен и чуть ли не полумиллионом жителей. Теперь Грибоедов не увидел и следа бывшего размаха. Миссия въехала в небольшое местечко с базаром и несколькими караван-сараями, всё казалось вымершим от морозов. Зима стояла лютая, и персияне не знали, как с ней бороться: вечером, к ужину, дипломатам подали мерзлые фрукты! И это в Персии!

В Тавризе не возникло трудностей со встречей русского посольства, Мазаровичу оказали почетный прием, и Грибоедов, наконец, очутился в самом центре персидской жизни. Ему хватило нескольких дней, чтобы разобраться в здешней ситуации.

Около двадцати пяти лет назад власть захватила Каджарская династия, происходившая с севера Ирана и говорившая на языке, которого основное население страны — персы — не понимало. Впрочем, несколько предыдущих династий тоже были тюркскими, и к этому положению народ привык. Но последний из династии Зендов, Лутф Али-хан, был умеренным, способным правителем и вполне отвечал представлениям персов об идеальном монархе. Он был жестоко замучен первым Каджаром, Ага-Мухаммедом, совершенным зверем, который мстил всему свету за то, что в детстве был кастрирован. Спасаясь от ненависти подданных, он перенес столицу в Тегеран, крошечный городок, неожиданно обремененный необходимостью содержать многотысячный двор владыки. Однако к 1819 году фактической столицей империи стал Тавриз, постоянная резиденция наследника престола (шах-заде) Аббаса-мирзы. Фетх Али-шах, правивший после Ага-Мухаммеда, добровольно передал в ведение сына решение всех вопросов внутренней политики, а сам делал вид, что надзирает за внешними сношениями государства. Но даже делать вид ему становилось все труднее. Гарем Фетх Али-шаха насчитывал сто пятьдесят восемь законных жен и больше девяти сот наложниц; теперь, приближаясь к шестидесяти годам, шах начинал испытывать трудности с поддержанием в нем мира и порядка. Прежде это был видный мужчина с зычным голосом и длинной черной бородой, славившейся на весь Иран, любитель музыки и плясок, поэт, дипломат и деспот, наслаждавшийся казнями и державший в заложниках сыновей всех вельмож страны. Но в последние годы он сдал, высох, согнулся, не решался появляться на людях и полностью погрузился в дела гарема, где кипела жесточайшая борьба за будущую власть.

Аббас-мирза, объявленный наследником шаха, чувствовал себя далеко не уверенно. Он был третьим сыном шаха и получил первенство над старшим братом только потому, что его матерью была знатная каджарка, а того — грузинская рабыня. Естественно, что обойденный брат смертельно ненавидел Аббаса-мирзу и ждал смерти отца, чтобы поднять открытый мятеж. Ненадежность будущего заставляла наследного принца предаваться всем радостям настоящего; охота, пиры, гарем и просто лень породили в нем отвращение к делам и слабохарактерность; даже борода его не шла ни в какое сравнение с отцовской. Однако ум его еще не притупился от всяких излишеств, он верно судил о людях и вещах, был проницателен и иногда стремился действовать, но порывы его быстро иссякали.

Всеми делами Персии управлял каймакам (министр принца) мирза Бизюрк, страшный человек: сам шах его боялся, а Аббас-мирза слушался во всем. Мирза Бизюрк успешно служил пяти шахам подряд (!), легко пережил междоусобицы и смену династии и достиг всего благодаря удачно найденному образу: он изображал бедного дервиша, отказавшегося от благ и наслаждений, выказывал исключительную честность, ходил с Кораном в руках, на

устах и в сердце — и тем нравственно подавлял погрязших во всех пороках властителей, восхищал иностранцев и в конечном счете оказался неограниченным властителем.

Расстановка сил в Персии была бы вполне обычной для восточной деспотии, если не упоминать о самой главной величине — Англии. На следующий же день по приезде Мазарович, Грибоедов и Амбургер получили приглашение на обед к английскому поверенному в делах Генри Уиллоку. Они нашли у него всю английскую колонию Тавриза: братьев Уиллока Эдуарда и Джорджа, военного инженера и картографа полковника Уильяма Монтиса, врача гарема Аббаса-мирзы Джона Кормика, «генералиссимуса персидской армии» майора Харта. В качестве почетного гостя присутствовал сэр Роберт Портер, путешественник, объехавший всю Грузию, Армению, Персию и Ирак. Общество собралось чисто мужское, по случаю холодов подали даже вино. (Англичане на Востоке старались обычно не употреблять алкоголь. Тяжелый климат, скверная гигиена, непривычная пища, тоскливое одиночество, да к ним еще и выпивка — в два года в гроб сведут. А для чего же они ехали на Восток, как не для того, чтобы добыть состояние и поселиться в тихом коттедже в Англии, стричь газон, удить рыбу и гулять с собакой? Эта светлая мечта поддерживала силы англичан за границей, с нею они жили и часто умирали, но — не от пьянства.) Разговор за столом был занимателен. Британцы пугали русских анекдотами из восточной дипломатической жизни.

Она требовала исключительной выдержки и неколебимого терпения. Вести переговоры с персиянами было не просто скучно, а несносно. Тягучая медлительность речей, бесконечное возвращение к уже десять раз решенным проблемам, утомительное однообразное повторение вопросов, на которые уже двадцать раз были даны ответы, сами по себе способны были довести до иступления или изнеможения. Англичане вспоминали ставший классическим случай, когда от бессмысленного топтания на месте в ходе англо-иранской конференции 1808 года уснули и английские, и персидские дипломаты. Но у иранцев были и более изощренные способы довести партнеров до бешенства и затянуть дела. То вместо обещанного текста договора, отданного для белой переписки, английскому посланнику вручали большой лимон с вопросами о здоровье; то серьезная беседа вдруг прерывалась вежливой просьбой министра к послу... рассказать историю мира от сотворения до правления Фетх Али-шаха! От этой чести посол уклонился под предлогом некомпетентности, но невозможно было уклониться от расспросов о собственной его семье и родословной. Иранцы, как все мусульмане, превыше всего ценили родовитость, и самый нищий погонщик верблюдов умел насчитать своих предков до Магомета и дальше. Поэтому признание европейца, что он не знает свою генеалогию дальше дедов, вызвало бы глубокое презрение, вредное для успехов переговоров. Приходилось их прерывать и срочно вспоминать (или придумывать) историю семьи хотя бы до Ричарда Львиное Сердце, известного на Востоке благодаря крестовым походам.

Несмотря на увлекательную застольную беседу и любезность англичан, в их отношении к русским дипломатам сквозила плохо скрытая враждебность и явная настороженность. Грибоедов был к этому готов. Еще в Петербурге он разыскал (и в Грузии, бездействуя от раны, прочел) «Историю Персии» сэра Джона Малколма, трижды возглавлявшего посольства в Персии, введшего в этой стране картофель и много лет служившего в Индии. Никто лучше него не знал британскую политику на Востоке. Из его книги, из наставлений Нессельроде и Ермолова Грибоедов знал, что Индия — важнейшая сфера интересов Англии, «жемчужина в короне» английского короля. Англичане считали Индию своей добычей и не подпускали к ней никаких соперников. В Индию можно было попасть морем — но тут сильнейший в мире британский флот был готов отразить любые поползновения. С суши же Индия была очень удачно закрыта высочайшими Гималаями, недоступным Тибетом, Памиром, Тянь-Шанем и прочими горами со всех сторон — кроме стороны Ирана. Только с запада, от Ирана через Афганистан, сухопутная армия могла легко проникнуть на индийскую территорию, которая оказалась бы почти беззащитной, ибо британские вооруженные силы не представляли никакой силы. Поэтому Персия была важна

для англичан не сама по себе, а как заслон на пути в Индию. Она находилась достаточно далеко от Европы, до нее надо было идти через всю Турцию, и со времен Наполеона Франция, единственный реальный противник Англии, не предпринимала подобных попыток и даже отозвала всех своих представителей из Ирана.

Но к 1817 году Россия, прежде спокойно лежавшая за Кавказским хребтом, вдруг перевалила через него, твердо расположилась в Грузии, Армении и даже Азербайджане. Путь на Иран ей преграждала всего лишь река Аракс, не являвшаяся серьезным препятствием. Русская армия была для англичан непобедима. Ведь еще в 1800 году казачий отряд атамана Платова, посланный Павлом I на завоевание Индии, едва не достиг ее, и только своевременная кончина императора, которой очень содействовал английский посланник в Петербурге, остановила этот безумный, неподготовленный, но тем-то и опасный поход. Теперь же Ермолов располагал неизмеримо превосходящими силами, опытом, решительностью и властью по своему усмотрению перекраивать границы на Востоке. Неудивительно, что англичане трепетали за свои владения и видели в миссии Мазаровича не обычное дипломатическое представительство, а агентов и разведчиков русского Кавказского корпуса.

Все это было вполне понятно и не ново. Но Грибоедов, пожив в Персии, понял и другое, чему ни Нессельроде, ни Ермолов не придавали большого значения — министр по своей удаленности от места событий, генерал — по кратковременности своего пребывания в Иране во главе чрезвычайного посольства. Изучение истории, экономики и собственные наблюдения утвердили Грибоедова в мысли, что англичане на Востоке не едины, что они представляют две различные силы, чьи интересы противоположны.

Страна, которую для краткости называли Англией, а официально — Великобританией или Соединенным королевством, делилась на две неравные части. Худшую, относительно немногочисленную, бедную природными ресурсами и ископаемыми составляло то, что расположено на Британских островах (Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия) и все колонии (Канада, Австралия, Южная Африка и разные мелочи). Лучшую — Индия, густонаселенная, богатейшая страна. Во главе Великобритании стоял король, но о нем можно не упоминать, это была чисто номинальная фигура. А в 1819 году его, можно сказать, вовсе не было. Георг III сошел с ума и был отстранен от дел, а регент, будущий Георг IV, занимался только личными делами, в первую очередь установлением новой мужской моды, хотя был уже слишком толстым, чтобы хорошо выглядеть в обтягивающих панталонах и фраке с высокой талией. В 1820 году англичане приветствовали его официальное воцарение, но первым его действием стала попытка развода с полусумасшедшей женой Каролиной. Парламент ему препятствовал (разводы в Англии запрещались при любых обстоятельствах), король настаивал, газеты рисовали карикатуры, народ сердился, и всё успокоилось только со смертью королевы.

Худшая часть британских владений принадлежала парламенту.

Лучшая — Ост-Индской компании.

Ост-Индскую компанию основала в семнадцатом веке группа предприимчивых купцов, получивших монополию на торговлю со странами Востока. Весь восемнадцатый век она процветала, продавала по баснословным ценам индийский чай, пряности, кашмирскую шерсть, выплачивала десять — двенадцать процентов дивидендов кучке акционеров, давала огромные субсидии правительству под мизерные проценты, а парламент в благодарность не покушался на ее привилегии. У власти весь век стояла партия вигов, представлявшая интересы торговцев и легко находившая общий язык с Компанией. Однако народ купцов ненавидел: на постройку своих бесчисленных кораблей они извели все деревья Англии, вырубили самые прекрасные пейзажи, и в конце восемнадцатого века в Британии остались деревья только там, куда не могла добраться Компания: на самом севере Шотландии, в охотничьих заповедниках аристократов да на полотнах живописцев. Конечно, английский военный флот тоже нуждался в лесе, но его деятельность хотя бы приносила ощутимую

пользу стране, Компания же существовала для себя самой. Английские контрабандисты считали делом чести тайком ввозить чай и кофе, а все уважающие себя люди считали делом чести покупать контрабандные товары.

В конце восемнадцатого века худой мир между Компанией и Королевством нарушился. К власти ненадолго пришла партия тори, представлявшая интересы богатых землевладельцев, и ее скверное правление вызвало войну за независимость в северо-американских колониях, которые отпали от Англии под именем Соединенных Штатов Америки. Парламент потерял существенную часть своих владений и, естественно, стал с негодованием смотреть на безраздельное господство Компании в Индии. Парламент предложил ей поделиться. В Индии в ту пору произошло грандиозное восстание против англичан, Компания, вынужденная нанять большую армию, но не желавшая снижать дивиденды, влезла в долги и уступила требованиям парламента. Теперь правительство назначало контрольный совет из пяти человек, следивший за деятельностью Компании и отнимавший часть ее доходов.

Этот компромисс не мог сохраняться долго. Ост-Индская компания к началу девятнадцатого века занималась уже не столько посреднической торговлей, монополию на которую подорвали контрабандисты и парламентские акты, сколько просто владела частью территории Индии, выращивала там чай, пряности и прочее, что доставалось ей почти даром благодаря невероятной дешевизне рабочих рук. Эти территории она приобрела не военной силой. Войска у нее не было, но были военачальники. С давних пор она освоила безотказный способ борьбы: предоставляла деньги и офицеров различным индийским правителям для вооружения их армий на европейский лад, потом стравливала их между собой (а многих и стравливать было не нужно), а сама в благодарность за поддержку получала тот или иной кусочек завоеванных победителем земель. Немногочисленная администрация Компании охраняла ее интересы, но не вмешивалась во внутренние дела индийских княжеств. Порой приобретения делались совсем просто. Так, самый удачливый полководец Компании лорд Клайв получил от делийского императора в свою полную и вечную собственность огромные земли вокруг Калькутты. Клайв умер — его владения отошли Компании.

Тактика «разделяй и властвуй» не требовала большого числа европейцев для работы в Индии, но стоила очень дорого в смысле денег. Пока Компания перекидывала средства из сферы посреднической торговли в сферу индийского сельского хозяйства, ее доходы падали и, в сущности, она почти разорилась, хотя могла рассчитывать на огромные прибыли в близком будущем.

Все это совершенно не устраивало парламент. С конца восемнадцатого века Индия привлекала его не чаем и пряностями. В Англии завершалась промышленная революция, фабрики производили бесконечные ярды дешевого и довольно плохого хлопчатобумажного полотна и шерсти и бесконечные пуды чугуна и стали. Сбыть их в Англии и даже в Европе было нереально, снизить выработку — невыгодно. Фабриканты бы получали меньше, меньше бы платили и без того нищим рабочим, и землевладельцы вынуждены были бы снизить цены на хлеб, которые искусственно стояли на очень высоком уровне благодаря торийским «хлебным законам» 1815 года. Эти законы вызывали ярость народа. Первоначально тори надеялись справиться с бунтующими от голода рабочими, просто вешая их за полочки машин и нежелание работать даром, но дождались только пощечины от Байрона:

Ребенка скорее создать, чем машину,
Чулки — драгоценнее жизни людской;
И виселиц ряд оживляет картину,
Свободы расцвет знаменуя собой¹².

¹² Пер. О. Чюминой.

Тори изгнали Байрона, но борьба рабочих (луддитов) не стихала. И тогда торы всерьез взялись за изменение колониальной политики. Им требовались страны, целиком находившиеся бы в их управлении, чтобы отправлять туда недовольных английской жизнью; бедные, потому что богатые народы не захотели бы покупать фабричные товары; мирные, потому что война сокращает количество покупателей. Индия с ее многомиллионным полунищим населением казалась идеальным рынком сбыта. Она была жизненно нужна Британии. Интересы Компании, провоцировавшей междоусобицы, и Королевства, желавшего порядка, совершенно разошлись. Парламент не мог просто ликвидировать Компанию, поскольку почти весь английский торговый флот и все индийские территории находились в ее частной собственности. Приходилось действовать постепенно.

Эта борьба самым непосредственным образом отражалась на положении в Иране. Генри Уиллок представлял парламент и стремился ослабить Персию войнами с Россией, завоевать без большого кровопролития и превратить в рынок для английских промышленников. Доктор Кормик и полковник Монтис представляли Компанию и хотели дружбы с Ираном, который бы добровольно и небезвозмездно защищал индийские владения от любых соседей. Парламент опирался на поддержку военного флота, Компания — на систему подкупов. Объединяло их одно — желание удержать Россию по ту сторону Аракса. Им не приходило в голову, что Индия не интересуется Россией, которая получала задешево отличный чай из Китая и не нуждалась в сбыте своих промышленных изделий. Они так привыкли считать Индию источником неисчерпаемых богатств, что не сомневались в ее привлекательности для всех без исключения.

Тайные распри британцев ускользали от внимания Ермолова и Мазаровича. Для них англичане всегда оставались англичанами, исконными врагами на Востоке, действовавшими здесь против России даже тогда, когда в Европе они состояли в союзе с ней. Но Грибоедов подумал, что, если бы удалось сыграть на противоположности интересов двух групп англичан, это могло бы принести пользу российской дипломатии, хотя пока он не представлял себе, какую именно.

Проведя в Тавризе всего несколько дней, русская миссия отправилась в Тегеран представляться шаху, хотя это было простой вежливостью. Дорога была заснеженной, но довольно легкой, порой даже приятной: вокруг громоздились белые и красные утесы, сады и удобные деревни, встречалась тьма путешественников, верблюдов и ослов. Конечно, порой лошадь еле спускалась, скользя, по круче, а сверху вдруг просвистывал свалившийся тюк (если не другая лошадь), но то ли уже было! Грибоедов любовался красотой природы, чего прежде никогда в жизни не делал, — она отвлекала его от мрачных раздумий о судьбе и крае, куда его занесло. Пятый день пути дипломаты проблуждали в тумане по узким Ущельям, заваленным глубоким снегом, и только глухой ночью разыскали замок, где полагалось ночевать. На десятый день они попали наконец под дождь, снег исчез, и больше они его не видели. Стало веселее, дорога ровнее, Грибоедов с Амбургером устроили скачки наперегонки и благодаря этому рано достигли Казбина, древней столицы поэтов и ученых, хранившей остатки былого великолепия. Хозяин дома, где они остановились, жаловался на каджаров, и вообще, они встречали повсюду довольно радушный прием, не из-под палки: здесь были рады русским.

Последние переходы походили на прогулку, горы остались слева, а справа, у подножия Эльбруса, показался Тегеран, окруженный стенами с башнями. Они въехали в город через ворота, выложенные изразцами, проехали по широкой чистой улице, вроде бульвара, потом свернули в крытую улицу, пересекли несколько площадей, усеянных народом, и оказались перед домом русского посольства. Снаружи он напоминал не то монастырь, не то тюрьму. Одноэтажное строение с плоской кровлей, целиком сделанное из необожженного кирпича, узенькие окошки под самой крышей; внутри несколько дворов, в центре одного из них — крохотный бассейнчик, и повсюду розовые кусты (роз, конечно, еще не было); обстановка

внутри самая простая — ковры и подушки на полу, какие-то столики, больше ничего.

9 марта, в Навруз (мусульманский Новый год) члены миссии в сопровождении церемониймейстера отправились на торжественный прием к шаху. Город бурлил по случаю праздника, стреляли пушки, во дворе шахской резиденции сустились разодетые в шелка сановники. Мазаровича со свитой ввели в тронный зал, украшенный для освежения воздуха двумя бассейнами с водометами. Русских дипломатов усадили на помост, подали шербет, раздали три залпа фальконет, и появился шах в богатом убранстве, со своеобразным, ни на что не похожим головным убором, длинной бородой — и с лорнетом. Последний раз Грибоедов видел лорнеты в петербургском театре и едва не рассмеялся его совершенной неуместности на шахе, а Амлих, не сдержавшись, пробормотал какое-то замечание, но сразу же умолк, одернутый хозяином. Больше всего Александра поразила борода правителя. Зазвучали молитвы, стихи, трубы, представления, музыка, снова стихи — конца не было приему. Варварские мелодии утомили Грибоедова, он их уже слышал накануне, всю ночь, весь день и ожидал услышать следующей ночью.

Мазарович рассчитывал пробыть в Тегеране очень недолго, но шах не отпускал его. Пребывание при шахе, конечно, было почетно, но политически бесполезно, и русские дипломаты не сомневались, что их удерживают в столице по наущению англичан, стремившихся удалить их от Аббаса-мирзы. В братьях Мазаровича сказало венецианское воспитание, и они принялись ходить по базарам, скупая груды товаров, чтобы перепродать в России. Сам посланник избегал такого недостойного русского поверженного в делах поведения, но и не одергивал братьев, надеясь на их будущие барыши. Амбургер считал их торгашество позором и бесился, тем более что не знал, куда себя деть от скуки.

Грибоедов отправил в петербургскую французскую газету «Constitutionnel» отчет о приеме у шаха и подыскал себе пищу для ума: он учил языки. В первое время по приезде он находился в растерянности: каджары изъяснялись на тюркском языке, близком азербайджанскому и турецкому, персы говорили на фарси, а поэты и ученые (каждый перс — поэт или любитель стихов) предпочитали арабский. Какой же язык важнее? Письменность всех трех языков была одинаковой, арабской, но в прочем они не имели никакого сходства, кроме многочисленных заимствований друг у друга. Он попробовал начать все три языка, но тотчас понял, что персидский из них самый легкий грамматически и по произношению, и отдал ему все силы: он смог бы тогда разговаривать с простыми людьми, а с правителями все равно приличнее было вести переговоры через переводчика (не говоря о том, что Аббас-мирза немного знал русский).

Учение занимало большую часть его времени. Раза три, пока стояла умеренная погода, он поехал по окрестностям Тегерана, видел развалины древних городов, но в апреле жара выгнала всех из города, и миссия перекочевала вслед за шахом на Султанейскую равнину, провела месяц Рамазан (пост) в Казбине, потом забралась в горы и там застряла, поскольку «дальше ехать или на месте остановиться казалось одинаково скучным, но последнее менее тягостно», — объяснил Грибоедов в письме к Катенину. Он изредка получал вести от друзей, Катенин присылал ему литературные новинки и свои переводы. Сам Александр ничего не мог писать: жара и бесконечные переезды угнетали, и читать написанное было бы некому — сослуживцы все были нерусские. В начале мая Осип Мазарович отправился в Россию торговать; здоровье и нервы Амбургера сдали, и он уехал в Тифлис отдохнуть.

Грибоедов оставался, сам удивляясь своей выносливостью. Вокруг не было ни русских, ни вообще европейцев. Среди персиян он не мог найти друзей, но пользовался у них большим уважением, чем Мазарович. Во-первых, он был благородного происхождения и имел длинную родословную; во-вторых, он учился в университете, получил ученую степень, знал греческую философию; в-третьих, он писал стихи. Именно в таком порядке располагались три важнейшие добродетели персидского мира: родовитость, ученость, поэтический дар. Иранцы ценили их превыше всего, а Мазарович не мог ими похвалиться. Притом Грибоедов был умен, красноречив, держался гордо и с достоинством и был бы не прочь завести себе усы и гарем. Чего же боле? Все его качества не приносили никакой

ощутимой пользы, кроме любезности поэтов и вельмож, но могли пригодиться впоследствии. Он хотел надеяться на лучшее, без этой надежды он не нашел бы сил выносить одиночество. Когда он представлял себе череду лет, которые должен будет провести вдали от друзей, от театра, ему становилось непередаваемо горько.

В конце августа остатки русской миссии под палящим зноем добрались, наконец, до Тавриза и смогли приступить к выполнению своих прямых обязанностей. К этому времени у Грибоедова с Мазаровичем сложились отношения, далекие от отношений начальника с подчиненным. На Мазаровиче лежали все хозяйственные заботы об устройстве русской миссии: он добывал деньги, предметы обстановки, нанимал рабочих для расширения дома — это он умел прекрасно. Он же выполнял представительские функции, то есть отправлялся с необходимыми визитами, принимал гостей, давал обеды, ходатайствовал по различным просьбам, переписывался с Нессельроде и иностранными коллегами — это он делал недостаточно хорошо, часто унижая, по мнению Грибоедова, достоинство России, ведя себя слишком умеренно и робко в отношениях с персидскими министрами.

Грибоедов занимался практической деятельностью: вел действительно важные переговоры и добивался соблюдения Персией условий Гюлистанского мира 1813 года, ради чего, собственно, и прислали русскую миссию.

Среди важнейших для России условий мира, кроме территориальных приращений и выплаты контрибуции, был возврат русских пленных солдат и дезертиров, составлявших в Персии знаменитый «русский батальон» бегахдыран (богатырей). Русские солдаты представляли собой самую боеспособную часть иранской армии, что-то вроде личной гвардии Аббаса-мирзы, находившуюся в привилегированном положении. Наследный принц рассчитывал на русских в будущих междоусобицах с братьями, англичане подчеркнуто их уважали в пику России, русское правительство стремилось добиться их расформирования, поскольку существование батальона оказывало вредное воздействие на Кавказский корпус и на авторитет России в странах Востока. Генерал Ермолов пытался во время своего посольства договориться о выводе русских солдат, но его остановили бесчисленные трудности предстоящего пути: ведь против него были бы и персы, и англичане, и наиболее омусульманившиеся русские, во главе с беглым вахмистром Самсоном Макинцевым, ставшим телохранителем Аббаса-мирзы.

Вернувшись в Тавриз, Грибоедов на следующий же день начал хлопоты о пленных. Их положение привело его в бешенство. Солдатам-дезертирам жилось отлично, но пленные офицеры, захваченные в прошедшей войне и не пожелавшие служить шаху, подвергались неслыханным надругательствам и увечьям. Александр с ужасом узнал о жестоких издевательствах над капитаном Верецагиным, томившимся в плену с самого 1804 года. Помочь ему было уже нечем, но судьбу прочих еще можно было изменить. «Голову мою положу за несчастных соотечественников», — сказал себе Грибоедов и бросился в отчаянную авантюру.

Встретив на улице нескольких русских солдат (благо их легко было отличить от местных), секретарь посольства и бывший кавалерийский офицер резко высказал им на понятном для них языке, что они подло поступили, изменив присяге и отечеству. Те, слегка опешив, спросили его благородие, ручается ли он, что они не будут наказаны за дезертирство. Грибоедов так же резко ответил, что ручаться не может, что надо разобраться степень их вины, не воевали ли они против России, но что в благоприятном случае он позаботится об их прощении и устройстве на родине. Впечатление от его слов было огромно: никто прежде не говорил с самими перебежчиками, а в глубине души, когда были трезвыми, они тосковали по России и мечтали вернуться. Страх перед карой там, страх перед карой тут (если поймают при вторичном бегстве) удерживал их; они много пили, заглушая горе, даже в походе часто шли пьяные, и только перед боем их заботливо протрезвляли.

25 августа у дома миссии собралось около семидесяти русских солдат, просивших вывести их в Россию. Грибоедов вышел к ним и велел составить список желающих вернуться, в который оказалось вписано более полутора сотен имен. Тавриз заволновался,

англичане засуетились, русский батальон заперли в казармах, среди солдат стали распространять подметные письма, где уверяли в ждущем их в России наказании; вокруг домов русских чиновников расставили караулы, чтобы не допускать к ним соотечественников. Аббас-мирза вызвал к себе Грибоедова с семьюдесятью солдатами, которые подчинялись непосредственно принцу. Первый этап переговоров ничего не дал, но Грибоедов увел солдат к себе в посольство.

30 августа шах-заде вызвал их вторично, четыре чиновника говорили с каждым поодиночке, подкупали, но солдаты, как стеклышко трезвые, не поддавались на уговоры. Только один согласился вернуться на службу к его высочеству, но уже вечером прибежал к миссии, бросился в ноги Грибоедову, просил в куски его изрубить, но принять снова: он, мол, сам не знает, как его попутали и от своих отделили. Аббас-мирза пришел в бешенство, которое излил на Грибоедова.

— Зачем вы не делаете, как другие чиновники русские, которые сюда приезжали? Они мне просто объявляли свои порученности.

— Мы поступаем по трактату, и оттого его вам не объявляем, что вы лучше нас должны его знать: он подписан вашим родителем.

Грибоедов был непоколебимо уверен в правоте и оправданности своих действий и так твердо проводил свою линию в переговорах, что Аббасу-мирзе приходилось беспрерывно отступать, лавировать и просто-напросто огрызаться.

Гордый собой, вечером Александр набросал в тетради коротенькую сценку из подлинной дипломатической жизни:

«Наиб-султан (один из титулов Аббаса-мирзы). Видите ли этот водоем? Он полон, и ущерб ему не велик, если разольют из него несколько капель. Так и мои русские для России.

Я. Но если бы эти капли могли желать возвратиться в бассейн, зачем им мешать?

Наиб-султан. Я не мешаю русским возвратиться в отечество.

Я. Я это очень вижу; между тем их запирают, мучат, до нас не допускают.

Наиб-султан. Что им у вас делать? Пусть мне скажут, и я желающих возвращу вам.

Я. Может быть, ваше высочество так чувствуете, но ваши окружающие совсем иначе: они и тех, которые уже у нас во власти, снова приманивают в свои сети, обещают золото, подкидывают письма.

Наиб-султан. Неправда; вы бунтуете мой народ, а у меня все поступают порядочно.

Я. Угодно вашему высочеству видеть? Я подметные письма ваших чиновников имею при себе.

Наиб-султан. Это не тайна; это было сделано по моему приказанию.

Я. Очень жаль. Я думал, что так было делано без вашего ведения. Впрочем, вы нами недовольны за нашу неправду: где, какая, в чем она? Удостоьте объявить.

Наиб-султан. Вы даете деньги, нашептываете всякие небылицы.

Я. Спросите, дали ли мы хоть червонец этим людям: нашептывать же им ни под каким видом не можем, потому что во всех переулках, примыкающих к нашим квартирам, расставлены караулы, которые нас взаперти держат и не только нашептывать, но и громко ни с кем не дают говорить.

Наиб-султан. Зачем же вы не делаете, как англичане? Они тихи, смиренны. Я ими очень доволен.

Я. Англичане нам не пример и никто не пример. Поверенный в делах желает действовать так, чтобы вы были им довольны, но главное, чтобы быть правым перед нашим законным государем-императором».

Грибоедов одержал победу: не только первым семидесяти солдатам, но всем, пожелавшим уйти, было это дозволено, и Аббас-мирза, делая хорошую мину, посоветовал солдатам верою и правдой служить русскому государю. Грибоедов, однако, не дал ему возможности принять вид покровителя солдат, указав на важный пробел в его к ним отношении:

— Чрезвычайно приятно видеть, как вы, Наиб-султан, об их участи заботитесь, —

связвил он. — Ваше высочество, конечно, не знаете, что их уже за давнее время не удовлетворяли жалованьем в вашей службе, и, верно, прикажете выдать столько, сколько им следует.

— Нет, нет, нет, — забормотал принц. — За что это? Если бы они меня не покидали, продолжали служить, это было бы другое дело.

— Я думал, что за прошедшую службу ваше высочество не захотите их лишать платы, — продолжал настаивать Грибоедов, не сомневаясь, впрочем, в отказе.

— Пусть Мазарович дает, они теперь его, — опрометчиво заявил Аббас-мирза и тем дал Грибоедову возможность нанести завершающий удар:

— Да, у него в руках будущая их участь. Впрочем, и за прошлое время, коли вы отказываетесь, поверенный в делах заплатит им ваш долг.

Александр потребовал привести всех, согласно поданному списку, и принц позвал Самсона Макинцева, заведовавшего делами «русского батальона». Грибоедов при виде его вспылил, объявил, что стыдно наследнику престола держать этого шельму при себе и еще стыднее показывать его благородному русскому офицеру. Что сказал бы Аббас-мирза, если бы к нему прислали для переговоров беглого армянина?

— Он мой ньюкер, — ответил тот, возможно, сознавая справедливость упрека (персы тонко чувствовали этикет).

— Хоть будь он вашим генералом, для меня он подлец, каналья, и я не должен его видеть, — гневно отрезал Грибоедов.

Тон его сделался совсем не дипломатическим, Аббас-мирза тоже рассердился, они открыто разругались, принц отказался иметь дело с русским секретарем — на том они расстались.

Грибоедов не раскаивался в своей дерзости. Он полагал, вслед за Ермоловым, что с персами следует держаться твердо, что вежливых речей они не понимают. За ним была сила русского оружия, нанесшего недавно поражение иранцам и способного нанести его столько раз, сколько потребуется. Он это понимал и знал, что персы это тоже понимают. Одни англичане придерживались в чужих странах всех их обычаев, полагая, что полная покорность повседневным традициям поможет им захватить власть над умами туземцев. (Впрочем, надо отдать британцам должное: в их приверженности восточным ритуалам было меньше расчетливости, чем искренней увлеченности. Те, кто предпочитал сырые туманы, угольные смоги и унылое однообразие английской жизни, долго на Востоке не задерживались или просто не выживали. Но многие чиновники влюблялись в своеобразное очарование Азии и, даже возвратясь в Англию, до конца дней окружали себя пестрыми коврами, кальянами, индийскими редкостями, азиатскими слугами и поварами, выписывали восточные лакомства и благовония, строили дома по колониальному образцу, а изредка даже одевались в чалмы и бурнусы. Англичан не любили на Востоке — за что бы и любить? — но их ненавидели бы гораздо сильнее, если бы они сами не любили Восток.)

* * *

Э, да это интрига, а не политика!

Бомарше.

4 сентября Грибоедов выступил с отрядом в сто пятьдесят девять человек из Тавриза, 3 октября пришел в Тифлис. Этот месяц стал одним из самых трудных в его жизни. Ему никогда прежде не приходилось нести ответственность за других людей. Он вел не обычное воинское соединение: солдаты были разоружены, а он не имел права их потерять. Смысл происходящего заключался именно в том, чтобы живыми и довольными привести их в Россию, как бы он сам и прочее начальство ни относились к перебежчикам. Задачей же англичан и персов было помешать ему, но не силой (это не произвело бы благоприятного впечатления в Закавказье), а исподволь, хитростью. Мехмендарь (сопровождающий при

иностранцах) Махмед-бек старался создавать ему как можно больше препятствий. Уже на второй день похода Грибоедов получил едва треть обещанных припасов, мехмендар отговорился скудостью селения, где они ночевали, и пообещал золотые горы в селе Маранд. Грибоедов умолк и купил еду на свои деньги. Поднявшись до рассвета, он попрощался с переводчиком Шемиром, поспешил с проводником догнать отряд, но, несомненно, нарочно был отправлен не той дорогой и только полдня спустя разыскал своих. За это время мехмендар бросил в пути одного больного, услаб багаж далеко вперед, разогнал всех вялых животных. Александр чуть его не убил, приказал солдатам впредь не разбредаться и, несмотря на очень тяжелые каменистые спуски и подъемы, привел их целыми в Маранд. Здесь пришлось стать на отдых на лишний день, чего Грибоедов не хотел, но видел, что солдаты совсем разбиты усталостью. Припасов не выдали вовсе, и опять он все купил сам. Он не позволял своим людям срывать бесплатно ни одной дыни или арбуза с бесконечных окружавших их бахчей, но охотно платил за них, чтобы они могли освежиться в жару.

При выходе из Маранда отряд был окружен персами, с окрестных гор в русских швыряли камни, трех человек зашибли. Оружия у солдат не было, Грибоедов приказал запеть для поднятия духа и прорываться вперед. Так, под звуки полузабытых дезертирами «Во поле дороженька», «Как за рекой слободушка», они преодолели враждебные окрестности.

— Спевались ли вы в батальоне? — спросил Грибоедов идущего рядом солдата.

— Какие, ваше благородие, песни? Бывало, пьяные без голоса, трезвые об России тужат.

В бытность свою в Польше Александр не участвовал в настоящих походах и очень мало общался с рядовыми. К тому же там его окружали кавалеристы. Здесь же он возглавлял пеший переход безоружного, полубольного, привыкшего к пьянству, недисциплинированного сброда, но чувствовал себя способным выполнить задачу, перед которой отступил сам Ермолов. Он твердой рукой вел свой караван, поощряя песни и сказки.

Хуже всего пришлось в Нахичевани. Срок действия фирмана Аббаса-мирзы, обеспечивавшего безопасность русского отряда, здесь истек (мехмендар, как потом понял Грибоедов, удлинил путь на три лишних дня, не считая дня отдыха в Маранде). Кельбель-хан, ставленник шаха, не только не выдал припасов и лошадей для больных, но строго-настрого запретил подданным даже продавать их за деньги и дал понять Грибоедову, что возьмет его под арест, если тот поведет себя неправильно. Пока Грибоедов пытался переговорить с ханом, спрятавшимся от него в гареме, его люди разбрелись по базарам, армяне по приказанию хана постарались их опоить, и к вечеру, так и не встретившись с ханом, Александр нашел свой отряд в самом отвратительном состоянии. Трезвых он нарядил в стражу, буйных связал, ночью лично всех проверил, прикинулся еще более рассерженным, чем был на самом деле, и пригрозил, что с завтрашнего дня будет передавать всех, кто хлебнет хоть каплю, связанными в руки персидского правительства, чье расположение к себе они хорошо знают. Он ясно дал понять солдатам, что они в нем нуждаются, а он, собственно, не имеет к ним серьезного интереса и не несет ни малейшей ответственности за их сохранность. Он напоминал сам себе Наполеона, действовавшего подобным образом на французский законодательный корпус. Его наполеонада привела людей в разум, и больше он с ними трудностей не имел.

Оставаться в Нахичевани было опасно, выступать без охраны — еще опаснее. Грибоедов приказал тайком сделать полсотню пик — оружие прескверное, но лучше, чем никакого; подкупил одного служащего хана, добыл шесть лошадей и в десять вечера, без ведома хана и мехмендара, по неожиданной для всех, неведомой ему самому дороге покинул город. В ночном пути один больной решительно отказался следовать далее, и в конце концов, после долгих уговоров, его пришлось бросить, двое сами отстали. Грибоедов был уверен, что они не сбежали, а просто заблудились, напившись, чего он не заметил в суматохе отъезда. Он поскакал на их розыски, потом послал за ними людей: одного нашли пьяного и привели в отряд, другой, молодой, красивый, но склонный к выпивке, исчез и только в

Тифлисе догнал отряд, идя по его следам, сражаясь с разбойниками и проявив удивительную волю и решимость.

11 сентября в Казанчи Грибоедова отыскал мехмендар, весьма озадаченный и напуганный его маневром. Он так его боялся, что отказался сопровождать отряд до первой русской станции, а попросил письмо к Мазаровичу, подтверждавшее выполнение им своих обязанностей. Грибоедов все-таки задержал его до Пернаута на границе с Россией и отправил обратно со своими рапортами Мазаровичу, написанными в более чем неофициальном тоне и со следующей рекомендацией: «Милостивый государь, честь имею удостоверить Вас, начальника моего, что мой мехмендар Махмед-бек выполнял должность свою при мне как мошенник самый отъявленный, с каким я когда-либо имел дело, бесчестный человек в самом обширном значении слова, и тавризское правительство, если оно захочет в некотором роде оправдаться в том, что ко мне его приставило, должно по меньшей мере задать ему палками по пяткам, что в этой стране столь щедро раздается и столь привычно принимается... Совесть его, которая весьма редко в нем говорит, заставляет его бояться, что, если он последует за мной в Пернаут, я там, в отместку за все, велю поступить с ним круто. Мерзавец не может понять, что как только я буду на нашей территории, никакое негодование не заставит меня нарушить долг гостеприимства, добродетели, столь свойственной всякому человеку в моем отечестве».

Преодолев все трудности, кроме предстоящих горных круч, Грибоедов перестал мечтать о карах на голову персов, чем поддерживал себя всю дорогу. Теперь он больше беспокоился о том, что может натворить оставшийся один Мазарович, чем о предстоящих неделях пути. В последнем рапорте он наставлял начальника: «Экспедиция моя наполовину уже выполнена. Хотелось бы, чтобы и Вы могли бы сказать то же об управлении Вашем, будущий исход которого еще слишком неясен, чтобы я вперед мог быть за Вас спокоен. Соболаговолите, пожалуйста, написать мне».

Отряд вступил в Тифлис ночью, и бурной встречи не было. Но Ермолов по достоинству оценил совершенное Грибоедовым; Муравьев, в 1817 году мечтавший о славе подобного деяния, принял равнодушный вид. Дипломат сделал то, что не удалось никому из военных. Подвиг состоял даже не в том, что Грибоедов преодолел великие трудности, а скорее в том, что они почти не возникли и он благополучно довел сто пятьдесят восемь солдат до места назначения. Александр написал Мазаровичу, что «у персов ума нет даже и на то, чтобы гадить как им хотелось бы». Теперь надо было закрепить достигнутое, устроив солдат на родине и убедив их написать в Персию оставшимся русским, побуждая последовать их примеру. Ермолов и генерал Вельяминов, начальник штаба Кавказского корпуса, понимали важность этой задачи и всемерно способствовали ее разрешению. Грибоедов тоже прилагал множество усилий, не желая выглядеть в глазах солдат обманщиком.

В конце ноября судьба вернувшихся беглецов счастливо устроилась, и Александр вздохнул с облегчением. Ермолов послал в Петербург представление о награждении его следующим чином и отличием. В ответ он получил поразивший всех на Кавказе отказ с объяснением, что, мол, «дипломатическому чиновнику так не следовало поступать».

Грибоедов только пожал плечами: чего ждать от петербургских мыслителей? они не представляли, какой ущерб нанесли российской политике на Кавказе, как порадовали англичан, порицая Грибоедова за поступок, который и Англии не нравился. Нессельроде не хотел обострять с Ираном и Англией отношения и собственноручно ставил под удар русских дипломатов в Закавказье. Александр, впрочем, этому не удивился. Побывав в Персии и возвратившись ненадолго в Грузию, он слишком отчетливо понял нелепость положения миссии Мазаровича.

«Ермолов воюет, мы мир блюдем; если однако везде так мудро учреждены посольства от императора, как наше здесь...» — рассуждал он с горечью. Он откровенно не желал возвращаться назад. После персидской духовной пустыни Тифлис показался ему большим европейским городом. Здесь дамы носили платья, здесь были клубы и рестораны, давали балы, маскарады и концерты, здесь он нашел родное фортепьяно целым и почти

невредимым, распаковал его и несколько дней почти не отходил от него, насыщаясь музыкой. Нашел и нового приятеля — Андрея Ивановича Рыхлевского, офицера штаба Ермолова. Он с жаром погрузился во все развлечения, даже явился на маскарад в костюме французского маркиза и вместе со всеми мужчинами ухаживал за Анной Ахвердовой, единственной хорошенькой барышней в Тифлисе. Но времени почти не было; в ноябре он съездил в Чечню к Ермолову за новыми распоряжениями и даже попросил с отчаяния оставить его в Тифлисе хоть в должности судьи или учителя. Ермолов ничего не обещал, а вокруг свирепствовала чума, и хотя Грибоедов не боялся заразиться, но потерял больше суток в карантине на подступах к Тифлису. В январе, как в прошлом году, от него потребовали вернуться в Тавриз: нельзя было надолго оставлять Мазаровича одного, несмотря на то, что вместо Амбургера к нему послали сразу нескольких молодых чиновников и офицеров.

И снова Александр отправился в путь, снова его окружали снег и ледяные горы, снова ждали ночлеги в горных селениях и монастырях, вода для умывания замерзала ночью в кувшинах, конь скользил и падал. 20 января он дважды тонул в какой-то вздувшейся речке при попытке найти переправу. Так он ехал, размышляя про себя: «Вот год с несколькими днями, как я сел на лошадь, из Тифлиса пустился в Иран, секретарь бродячей миссии. С тех пор не нахожу себя. Как это делается? Человек по 70-ти верст верхом скачет каждый день, весь день, разумеется, и скачет по два месяца сряду, под знойным персидским небом, по снегам в Кавказе, и промежутки отдохновения, недели две, много три, на одном месте! — И этот человек будто я?»

В середине февраля он очутился в Тавризе. Теперь не то, что в прошлом году — надо было устраиваться надолго, обживаться и постараться извлечь крохи удовольствий из мрачного настоящего. Грибоедов приказал себе настроиться на веселый лад и во всем видеть смешную сторону. Мазарович встретил его любезно, его временный помощник, совсем юный Николай Каховский — с почтением (он первый всерьез стал обращаться к Грибоедову по имени-отчеству и заставил его чувствовать себя умудренным опытом стариком). Иностранная колония Тавриза разрослась; помимо прежних англичан, появился французский врач де Лафосс с семьей, итальянский доктор Кастальди, английские военные советники Аббаса-мирзы Линдсей и Макинтош, французский военный советник Аллар, итальянский военный советник Джибелли, французская гувернантка детей Аббаса-мирзы (!) мадам Ламариньер — всего человек двадцать пять европейцев. Кроме них, в Тавриз пригласили европейских оружейных мастеров, шорников, всяких работников, а каймакам Бизюрк выписал двадцать восемь томов книг из Италии, но просил всех не беспокоиться: «...там еще много осталось хороших».

Грибоедов смеялся. Катенину он сообщил: «Ты видишь, что и здесь в умах потрясение. Землетрясение всего чаще. Хоть то хорошо, коли о здешнем городе сказать: провались он совсем; — так точно иной раз провалится».

Делать ему было совершенно нечего. Он снова принялся за персидскую грамматику, которую забросил с сентября; а более всего страдал без фортепьяно. Он вынужден был оставить его в Тифлисе дожидаться благоприятной погоды и оказии — но когда еще пойдет в Тавриз караван с конвоем? а без охраны отправлять столь ценный груз он не решался. Он попытался переписываться с друзьями, но это плохо получалось: письмо в Петербург или Москву шло месяца два, да столько же назад, а если адресат в деревне, на даче, в гостях? хорошо, если через полгода придет ответ. Какой же смысл делиться настроениями, просить советов, жаловаться на невзгоды, если они совершенно забудутся к моменту получения письма? Оставалось сообщать новости, но персидская жизнь, которая ему казалась уже привычной и знакомой, в России была совершенно непонятна. Он написал было Катенину о своем житье, но тот не разобрался в названиях и терминах, ответил несколько холодно, Грибоедов не то чтобы обиделся, но поленился объясняться — и их переписка прервалась.

В апреле наступило лето, стало душно и жарко. Каховский поспешил уехать в Грузию,

а у Мазаровича сдали нервы, он ударился в набожность и глубокую мораль, нашел с помощью Аббаса-мирзы какого-то заезжего миссионера, то ли святого, то ли жулика, и стал у него причащаться. Ему можно было посочувствовать. Назначение Мазаровича не оправдало себя: английские, французские и итальянские врачи и близко не подпускали его к гарему шах-заде, а действовать иначе он не мог, робея перед Аббасом-мирзой и каймакамом.

Грибоедов, напротив, чем дальше, тем жил веселее. Он поселился отдельно от Мазаровича, расширил и перестроил свой дом, обставил его по своему вкусу и дни напролет проводил за бостоном с Алларом, Джибелли и Каховским. После отъезда Каховского бостон сменился игрой в «двадцать одно», совершенно примитивной, с любым числом партнеров. Александр выигрывал, и Мазарович его за это ругал: зачем раздражать иностранных коллег? Но поверенный пришел в полную ярость, когда Александр начал ухаживать за милой и резвой дочкой доктора де Лафосса и твердо собрался поселить ее у себя: «Скука чего не творит? а я еще не поврежден в моем рассудке. Хочу веселости». Мазарович кричал, что запрет дом и не будет пускать к себе своего секретаря. Грибоедов отшучивался:

— Если только залучу к себе мою радость, сам во двор к себе никого не пущу, и что вы думаете? На две недели, по крайней мере, запрусь... Не извиняюсь, но где же позволено предаваться шутливости, коли не в том краю, где ее порывы так редки.

Мазарович, однако, решительно не хотел портить отношения с доктором де Лафоссом и вопрошал: неужели, кроме его дочери, нет в Персии других женщин? Мусульманская семейная жизнь, хотя кажется суровой и строгой, имеет оригинальные исключения, не пришедшие в голову европейским юристам. Коран позволяет совершенно законно и при всеобщем одобрении заключать браки на один месяц, при этом даже не нужно исповедовать ислам. Почему бы Грибоедову не воспользоваться этим мудрым установлением Пророка? Иранцы (и иранки) высоко ценят белую кожу и уж, наверное, он не встретит отказа. Идея необыкновенно пришлась по вкусу Александру, и через месяц он не узнавал своего дома, наполненного не одной, а многими женщинами, одна прелестнее другой. Даже фортепьяно добралось до него — Каховский поспособствовал.

В тесных, глухих комнатах играть было нельзя — звук гас. Александр поставил инструмент на плоской крыше, предназначенной для прогулок и отдыха. Его первые импровизации слышали соседи. И с той поры неотъемлемой частью жизни Тавриза стала вечерняя игра русского дипломата. С заходом солнца к его дому стекались толпы людей, садились на землю и часами слушали его музыкальные фантазии. Это были настоящие концерты. Ни в одном европейском зале исполнитель не встречал столь глубокого внимания аудитории. Персы умели слушать — их этому специально обучали. Александр даже перестал мечтать о Тифлисе и просил Каховского проследить, чтобы Ермолов, сверх ожидания, не опечалил его исполнением отчаянной просьбы о переводе в учителя.

Грибоедов искал и находил поводы для забавы, смеясь даже над смертью. Погиб Кастальди, Мазарович скорбел и сочинял эпитафию соотечественнику (если можно счесть неаполитанца соотечественником венецианского далматинца). Грибоедов же сочинил нечто вроде эпиграммы:

Брыкнула лошадь вдруг, скользнула и упала, —
И доктора Кастальдия не стало!..

Конечно, ему было жаль итальянца, но сколько раз он сам избежал той же опасности, сколько раз она еще будет ему грозить! Смех — лучшее средство против страха, без него недолго свалиться в пропасть от одной лишь напряженности. Александр смотрел с иронией и на похороны, о чем поспешил рассказать Каховскому, единственному русскому адресату, который лично знал тавризскую жизнь: «Вот вам чин погребения: покойник был неаполитанец, католик. Отпевали его на халдейском языке. Духовный клир: несториане, арияне, макарияне, манихейцы, преадмиты, а плачевники, хоронильщики, зрители, полуравнодушные, полурастроганные, мы были и наши товарищи европейцы, французы,

англичане, итальянцы, и какое же разнообразие вер и безверия! Православные греки, реформаторы, пресвитерияне, сунни и шиа! А всего на всего лиц с двадцать! Очень пестро, а право не лгу».

За всеми дурачествами Грибоедов не забывал о главной задаче русских дипломатов в Иране — преодолеть враждебность англичан. Если персидские дела решались в гаремах, то международные — за чашкой индийского чая у кого-нибудь из английских резидентов. Иностранная колония Тавриза была так мала, что все ежедневно виделись на прогулках, базарах, домами. Не получать приглашения на английские вечера — значило проиграть дипломатическую борьбу еще до ее начала. Известно, что светские беседы дают дипломатам часто больше, чем деловые разговоры. Среди тавризских европейцев Грибоедов оказался самой яркой фигурой: не он один хотел веселости, и к нему тянулись все, кого убивали скука и жара Персии. Он с легкостью установил поверхностную дружбу с французами и итальянцами, но англичане держались настороженно. Мазарович совсем не сумел найти к ним подход и полагал это заведомо невозможным, поскольку те не хотели давать никаких послаблений своим главным врагам — русским.

Грибоедов думал иначе: раз интересы Ост-Индской компании и английского парламента различны, любая поддержка, оказанная одной из сторон, вызвала бы ее благодарность, на которой можно было бы построить относительно доброжелательные взаимоотношения. Выбор союзников представлялся ему очевидным: Компания желала сохранения status quo в регионе, правительство — превращения Персии в полуколонию. Первое было полезнее России, второе — опаснее. Грибоедов решил при всех возможных внутрибританских распрях стоять за Компанию. Это было тем легче, что английский поверенный Генри Уиллок относился к нему с явной неприязнью, которую пестовал и в Аббасе-мирзе. До открытого конфликта у них не доходило, пока Уиллок сам не подставил себя под удар.

Летом Грибоедов остался в миссии один: Мазарович перебрался в Тегеран, считалось, что там попрохладнее. Англичане тоже разъехались: Линдсей и Макинтош в Грузию, Эдуард Уиллок, брат поверенного, — туда же, но отдельно от них. В середине августа он вернулся, и до Грибоедова дошел слух, что он привел с собой двух русских солдат-перебежчиков, а его армянский слуга сманил нескольких рядовых 42-го егерского полка. Это не могло залатать брешь в «русском батальоне», пробитую Грибоедовым в прошлом году, но подрывало уважение к России.

Грибоедов не стал советоваться с Ермоловым или Мазаровичем, а тотчас направил резкую ноту Генри Уиллоку, которой придал тон ультиматума:

«Нижеподписавшийся Секретарь Миссии его величества императора Всероссийского при персидском дворе... с большим неудовлетворением вынужден сообщить следующее... <и далее суть претензии> Нижеподписавшийся, будучи лично знаком с братом г. поверенного в делах, склоняется к убеждению, что в его действиях, безусловно, не было злонамеренности, но самое большее мгновенное недомыслие. Во всяком случае, выражается настоятельная просьба г-ну поверенному в делах соизволить дать предписание другим английским офицерам, которые в будущем собрались бы ехать в Грузию, избегать таких способов действия во имя очевидных мировых причин:

1. Сообразно с современным положением вещей в Европе, не будет хорошо истолковано, если какой-нибудь русский помогал англичанину избавиться от законной службы своему монарху и наоборот.

2. Если когда-либо правительство было бы информировано о вышеупомянутом происшествии, господа английские офицеры, которые иногда выезжают отсюда в Тифлис, возможно не встретили бы приема, подобающего их рангу, заслугам и т. д.»

Иными словами, Грибоедов позволил себе обругать Эдуарда Уиллока дураком; намекнул, что русские так же могут переманивать к себе английских служащих, как англичане — русских; и пригрозил, что английским дипломатам будет закрыт въезд в Россию иначе, как через Петербург.

Генри Уиллок болезненно воспринял ноту. Он прекрасно понимал возможное недовольство своего правительства — не поступком его брата, а тем, что русские получили доказательства его совершения. Он так и ждал упрека, вроде нессельродовского: «Дипломатическому чиновнику так не следовало поступать». Он попросил доктора Кормика, чьи отношения с Грибоедовым были получше, убедить русского секретаря взять ноту обратно, а сам попробовал в ответной ноте надавить на молодого дипломата, утверждая, что его брат привел не дезертиров, а всего лишь нанятых слуг и что любые недоразумения между представителями дружественных держав следовало бы решать устно, а отнюдь не письменно.

Грибоедов не подумал уступить, а отправил новую ноту с исчерпывающими доказательствами вины Эдуарда Уиллока. Английский поверенный вынужден был замолчать и, обязанный отправить отчет о происшествии своему министру, не нашел иного выхода, как списать инцидент «на вспыльчивый и необузданный характер малоопытного и неблагоприятного молодого человека». Но как ни ругайся, а поражение Уиллока было очевидно. Ост-индские представители порадовались: они считали Уиллока интриганом без способностей и мужества, умеющим только лебезить, занявшим свой пост благодаря покровительству брата жены премьер-министра. А сэр Джон Малколм, влиятельнейший человек в Индии и Персии, даже не считал его джентльменом и не допускал к себе.

Грибоедов не чувствовал радости от первой дипломатической победы. Чем дальше, тем больше его раздражала неопределенность положения русской миссии. Он почти не получал официальных известий из России. О передвижениях Ермолова он узнавал от Аббаса-мирзы и видел в этом «доказательство, что он об Тифлисе больше нас знает; правда, и мы лучше его смыслим о том, что в его собственном городе происходит, но утешенье ли?».

Он даже решился намекнуть в письме Рыхлевскому, что хорошо бы как-то изменить нынешнюю ситуацию: «Что главнокомандующий намерен делать, я не спрашиваю: потому что он сфинкс новейших времен. Вы не поверите, как здесь двусмысленно наше положение. От Алексея Петровича в целый год не узнаем, где его пребывание и каким оком он с высоты смотрит на дольную нашу деятельность. А в блуждалище персидских неправд и бессмыслицы едва лепится политическое существование Симона Мазаровича и его крестоносцев».

Не меньшее недовольство Александр испытывал по поводу двусмысленности своего собственного положения. Фактически ведя важнейшие дела миссии, формально он занимал очень невысокую должность. Не в том беда, что он подчинялся Мазаровичу, но его чин титулярного советника и отсутствие наград со стороны министерства показывали англичанам и персам, что он то ли находится в немилости, то ли министерство не одобряет его деятельности. Соответственно, он встречал уважение к себе как человеку, но не как к российскому дипломату.

Он и об этом написал Рыхлевскому, сперва шутливо, потом прямо: «Что за жизнь! В первый раз отроду вздумал подшутить, отведать статской службы. В огонь бы лучше бросился Нерчинских заводов и зываю с Иовом: Да погибнет день, в который я облекся мундиром Иностранной Коллегии, и утро, в которое рекли: Се титулярный советник. Отчего великий ваш генерал махнул рукою на нас жалких, и ниже одним чином не хочет вперед толкнуть на пространственном поле государевой службы? Что бы сказал он с своим дарованием, кабы век оставался капитаном артиллерии?»

Рыхлевский всерьез принял участие в проблемах миссии, но безуспешно: Ермолов писал Мазаровичу только тогда, когда это было нужно ему самому, о положении дипломатов не задумывался и не считал важным координировать свои и их действия. Впрочем, это было бы нелегко: даже нарочный курьер промчался бы от Кавказа до Тавриза не менее чем за месяц-полтора. Какое уж тут согласование позиций, если за этот срок война может занести Ермолова в самые неожиданные места и ход событий совершенно переменится. Грибоедов желал хотя бы простой вежливости главнокомандующего, которая показала бы персам, что генерал уважает своих служащих. В ноябре он уже открыто просил Рыхлевского, «минуя

всяческие пути окольные, обратиться с ходатайством и правдивым повествованием о всех мытарствах и несчастьях наших к самой высокой особе» (то есть к Ермолову).

Это мало помогло, но что касается просьбы Грибоедова о повышении, Ермолов считал ее более чем обоснованной. После первого отказа он снова представил его к следующему чину — и теперь просто не получил ответа. Генерал оскорбился уже не столько за Грибоедова, сколько за себя: «Не знаю причины, по коей справедливо испрашиваемая трудящимися награда отказывается, ибо не делаю я таковых иначе, как о ревностно служащих и достойных, и не умею быть равнодушным, когда начальство их не уважает».

Нельзя было прожить год в Персии и сохранить первоначальный оптимизм, постоянно получая из России удар за ударом, разочарование за разочарованием. К ноябрю Александр почти впал в депрессию. Он не имел ни важных дел, ни продвижения в карьере — Нессельроде его обманул своими посулами (как он, впрочем, и предвидел). Весной матушка вдохновила его известием, что состояние семьи поправляется, и он возмечтал о близкой отставке и независимости. Знал бы он, на что рассчитывала Настасья Федоровна!

Купив в долг огромное костромское имение, она собралась возместить расходы за счет самих крестьян и установила невыносимый оброк в 70 рублей с души! Таких денег крепостные не могли получить ни с земли, ни с каких угодно приработков, ни даже грабежами на дорогах. Несколько лет они возмущались и, наконец, взялись с отчаяния за вилы и топоры. Бунт вспыхнул не в маленькой деревеньке, а в поместье в восемьсот душ, занимающем почти волость. Посланная губернатором военная команда усмирила беспорядки, но император вынужден был назначить расследование вопиющего безобразия. Он пребывал в самом дурном расположении духа: страна была неспокойна, волновались военные поселяне (солдаты, посаженные военным министром Аракчеевым на землю в надежде сократить расходы на армию), волновались университеты, до царя дошли слухи о каких-то тайных обществах, куда входит едва ли не половина боевых офицеров... В таких условиях он не собирался смотреть сквозь пальцы на выходки помещиков-самодуров. Костромское дворянство, поняв, что Грибоедова действовала не со зла, а по совершенному невежеству в экономических вопросах, прикрыло ее, написав в Петербург, что оброк в 70 рублей «следует считать самым умеренным в их краях» (это в Нечерноземье-то, вдали от промышленных центров!). Но губернатор потребовал от Грибоедовой продать имение, что она и сделала. В результате своей финансовой авантюры она почти не потеряла денег, но приобрела дурную славу, а ее сын как был, так и остался нищим.

Потом Каховский поманил Грибоедова надеждой получить от Ермолова поручение в Петербург или по крайней мере вызов на зиму в Тифлис. Александр почувствовал, что это несбыточно, но «хоть неправда, да отрада». Все же он был удручен, когда только Амлих уехал в конце октября курьером в Грузию. Расставшись с ним, Александр остался совершенно один, словно порвалась последняя ниточка, связывавшая его с Россией. В один из черных вечеров, 16 ноября, он начал набрасывать прошение об «увольнении со службы или отзывании из унылой страны, где не только нельзя чему-либо научиться, но забываешь и то, что знал прежде». Он не представлял, чем бы стал жить, получив отставку, — он просто поддался отчаянию. Он отложил письмо, не зная, даст ли ему ход, и лег спать, полагаясь на старинную пословицу «Утро вечера мудренее».

Оттого ли, что высказавшись на бумаге, он испытал облегчение, или случайно, но ночью ему приснился удивительно яркий сон. Ему снилось, что он на празднике в незнакомом доме, его окружает толпа, мелькают разные лица, даже вроде бы дядино. Вдруг к нему с объятиями кидается Шаховской:

— Вы ли это, Александр Сергеевич? Как переменились! Узнать нельзя. Написали ли что-нибудь для меня?

— Нет, — признается Грибоедов, — я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет.

Князь в досаде качает головой:

— Дайте мне обещание, что напишете.

- Что же вам угодно?
- Сами знаете.
- Когда же должно быть готово?
- Через год непременно, через год, клятву дайте.
- Обязываюсь, — с трепетом обещает Александр.

Тут кто-то, кого он по слепоте прежде не заметил, внятно произносит слова: «Лень губит всякий талант». Катенин! Он бросается Грибоедову на шею, дружески его душит...

Александр пробудился. Стояла звездная южная ночь. Он попытался снова увидеть свой приятный сон, но не смог. Тогда он подсел к столу и на обороте черновика прошения поскорее записал его, чтобы постоянно напоминать себе свое обещание: *«во сне дано, на яву исполнится»*.

Живительный сон подкрепил силы Александра, он перестал пока мечтать об отставке, тем более что она едва ли принесла бы благоприятные перемены в его жизнь: как бы он стал существовать в Петербурге без средств? не карточной же игрой, вроде папеньки! А сочинительством для театра много не заработаешь — драматургам почти ничего не платили, разве что перепадало немного от актера-бенефицианта.

Он решил приняться за свою пьесу, отложенную три (подумать только, уже три!) года назад. Время благоприятствовало: погода стояла прохладная, ехать никуда было не нужно — вот первую зиму он проводил на месте. Но тут Амлих вернулся из Тифлиса с ворохом писем.

Прошедший год оказался на редкость богат событиями. Пользуясь надежной оказией, друзья сообщали Грибоедову о невероятных происшествиях: в Петербурге восстал Семеновский полк, где служили многие его знакомые, в том числе друзья детства Иван Щербатов и Якушкин! Император был так потрясен выступлением наиболее близкой престолу гвардейской части, что полностью расформировал полк, лишил знамен, многих офицеров (включая Щербатова) посадил в крепость. Бегичев уведомлял, что в России начался террор: разогнан Петербургский университет, закрыты масонские ложи, запрещено публичное обсуждение желательных преобразований. В мире тоже бушевали страсти: разразились революции в Испании, Неаполе, Пьемонте, даже в Венесуэле и Мексике. Грибоедов снова впал в отчаяние, так ему хотелось оказаться поближе к театру европейской истории.

Но неожиданно театр сам приблизился к нему; революционный вихрь взбудоражил персидскую жизнь, словно смерч пустыню. В феврале 1821 года в Молдавии и Валахии вспыхнуло антитурецкое восстание во главе с Александром Ипсиланти, русским генералом, потомком молдавских господарей. Вслед за тем поднялась Греция. Граф Каподистрия давно это предвидел и надеялся, что Россия окажет помощь его соотечественникам. Сочувствие и помощь грекам шли со всего света, даже из Америки. В России общественное мнение призывало правительство направить на Балканы генерала Ермолова, чтобы поддержать единоверцев, ликвидировать османское иго над славянскими народами и установить свое влияние по ту сторону Дуная.

Казалось бы, это принесет явную выгоду России — ведь таким путем она может захватить контроль над черноморскими проливами и получить возможность свободно плавать в Средиземном море, а не держать прекрасный севастопольский флот взаперти. Но император, а вместе с ним Нессельроде не спешили ответить всеобщим упованиям. Национальная борьба в Греции не нравилась Александру I сама по себе — она нарушала мирные принципы Священного союза; потом, она была невыгодна Австрии; наконец, укрепление России на Балканах вызвало бы отчаянное сопротивление Англии, которая сама претендовала на контроль над проливами.

Император не хотел безоглядно ввязываться в войну с Турцией, не просчитав различные варианты. В январе он вместе с Меттернихом созвал Лайбахский конгресс, где участвовали не только страны Священного союза, но и Англия, Франция, итальянские представители и даже посланник римского папы. Сюда же царь вызвал Ермолова. Высокие договаривающиеся стороны приняли решение, что Австрия подавит революцию в Италии,

Франция займется Испанией, Мексику и Венесуэлу предоставят собственной участи, благо они далеко. Но относительно Греции мнения разошлись. С одной стороны, просвещенным европейским странам было бы стыдно помогать мусульманам угнетать христианские народы Балкан и Греции, с другой — неприлично было бы одобрить революционный метод решения международных конфликтов — это могло бы подать дурной пример народам Австрийской империи или Индии. Россия и Англия хотели бы выступить союзниками греков, но — поодиночке. Вместе им было не сойтись на Востоке, слишком они привыкли считать, что их интересы противоположны. Обе великие державы не желали уступать сопернице и пока предоставляли Греции бороться самостоятельно и терпеть поражение за поражением. Однако они надеялись со временем вмешаться в ход событий и получить политические дивиденды. Александр I выжидал, посоветовав Ермолову предварительно разведать обстановку на Востоке: как там восприняли бы русско-турецкую войну? Императора волновала позиция Ирана.

Англия более двадцати лет заботилась о поддержании союза Турции и Персии, который гарантировал безопасность ее индийских владений. Британия не желала войн ни той, ни другой страны с кем бы то ни было, но ножом острым стал бы для нее ирано-турецкий конфликт: он ослабил бы обеих при любом исходе и открыл бы России дорогу в Индию.

Россия, напротив, желала союза с Персией против Турции или, по крайней мере, ее нейтралитета в возможной русско-турецкой войне.

Персия желала воспользоваться уходом турецких войск в Грецию и Валахию, ударить в тыл и захватить часть Восточной Турции.

По всему выходило, что интересы России и Персии близки (обе рассчитывали на ирано-турецкую войну), а Англия оказалась в меньшинстве.

Перед Генри Уиллоком парламент поставил тяжелейшую задачу — удержать рвущуюся в бой Персию. Посланник использовал все способы: грозил прекратить субсидии Аббасу-мирзе, которые выплачивались с 1814 года, грозил прекратить поставки вооружений для иранской армии, запретил английским военным принимать участие в боевых действиях.

Мазарович и Грибоедов быстро узнали о греческом восстании, но не получали никаких указаний, как вести себя в изменившейся обстановке. Им оставалось гадать: вступит ли Россия в войну с Турцией, покинет ли Ермолов Кавказ? Они ждали депеш от главнокомандующего, а до тех пор поддерживали на всякий случай с Аббасом-мирзой возможно лучшие отношения; Грибоедов с ним помирился, если можно так сказать. Персидский принц беспокоился: он опасался, что Россия хочет воевать с Турцией в надежде на территориальные приращения, что она легко победит, не позволит Ирану завладеть Восточной Турцией, а потом набросится на Иран, разгромит его... и так далее. Страх заставлял его держаться Англии; уверения российских дипломатов, что Россия не угрожает Персии, на него не действовали — он хотел получить официальное заявление.

Только 23 августа в русскую миссию пришло письмо Ермолова, датированное первым июля — то ли генерал не спешил его отправлять, то ли курьер ехал из рук вон медленно. Письмо было заполнено туманными и запутанными фразами: главнокомандующий сообщал, что русское правительство может оказаться вынужденным прибегнуть к оружию для обуздания неистовств и зверской ярости турок, и поэтому поверенного в делах просят проникнуть в отношения Персии к Порте и узнать, может ли война соединить их в союзе против России.

Грибоедов с удивлением воспринял опасения Ермолова: о каком союзе Персии с Турцией может идти речь, когда они стоят на грани войны? Неужели Ермолов запутался после Лайбахского конгресса в международной обстановке? Как бы то ни было, приход почты с Кавказа развязал русской миссии руки, и Грибоедов смог действовать в направлении, которое казалось ему безусловно правильным.

На следующий же день он отправился к Аббасу-мирзе и известил его, что турки своим поведением навлекают на себя гнев русского государя и сами задирают Россию к войне и что

государь желает дать знать всем народам, что не страсть к завоеваниям побуждает его действовать против турок, а единственно их неправильные поступки по отношению к нему. Грибоедов подчеркнул, что император не ищет союзников, а только уведомляет Аббаса-мирзу о происходящем. Принц необыкновенно обрадовался, — теперь он мог не бояться угрозы с севера, — и тотчас сообщил, что направляет пятьдесят тысяч воинов на Турцию.

Грибоедов доложил об успехе переговоров Мазаровичу, но поверенный решил, что секретарь миссии вел себя слишком сдержанно. На другой день он подстерег Аббаса-мирзу на прогулке по саду и откровенно попросил его быть союзником России, а когда принц изъявил согласие — поцеловал ему руку в знак благодарности!

Александр узнал об этом от переводчика и едва не задохнулся от ярости. Вот поступок, достойный иностранного наемника на русской службе! Как смел он так уронить честь России?! Мало того, что целование руки было унижительным и неблагопристойным — это Аббас-мирза мог бы списать на венецианские манеры. Но Мазарович дал понять персам, что Россия нуждается в помощи, что она не способна сама справиться с Турцией, что ее можно не бояться! После этого случая отношения Грибоедова с Мазаровичем испортились совершенно. Александр дал веру слухам, которые и раньше доходили до него, что русский поверенный получал прибавку к жалованью от Аббаса-мирзы (несколько лет спустя эти подозрения подтвердились).

Тем не менее Мазарович не сумел ничего испортить. Русская миссия выполнила свою задачу: Персия начала войну против Турции английским оружием на английские деньги. Генри Уиллок в знак протеста покинул Иран. Грибоедов одержал над ним очередную победу, но теперь ост-индские британцы ей не обрадовались: начавшаяся война очень их тревожила. Русский посол в Лондоне начал получать ноту за нотой от парламента, который обвинял русских дипломатов в подстрекательстве Ирана к войне с Турцией. Он оставил их без внимания: о подстрекательстве не было речи, Персия боролась за свои интересы, а Россия только не мешала ей. Неужели Англия рассчитывала, что Россия будет помогать Персии бороться за интересы Англии? Дипломатический провал на Востоке привел к тому, что 12 августа 1822 года министр иностранных дел Англии Роберт Стюарт Каслри покончил с собой; его место занял Джордж Каннинг, его заклятый враг, с которым они еще в 1809 году, в бытность министрами иностранных и военных дел соответственно, дрались на дуэли из-за несогласия в вопросах внешней политики (тогда Каннинг был ранен, теперь он отомстил с лихвой).

Грибоедов не мог отпраздновать вторую дипломатическую удачу. Он, правда, получил за нее от шаха орден Льва и Солнца, очень красивый и размером больше любого русского ордена — огромное золотое солнце, украшенное стразами, в центре которого находился маленький лев; орден считался вторым по значимости в Персии, уступая только ордену Али. Однако надо было ждать разрешения родного министерства на его ношение. Реакция Нессельроде или Каподистрии на успехи в Иране никак не приходила. Грибоедов считал, что создалась исключительно благоприятная обстановка для вмешательства России в балканские дела. Австрия занята в Италии, Франция — в Испании, Персия — в Турции, Турция — в Греции; Англия оказалась в изоляции, на суше союзников ей не найти, а сама она с Россией не сможет справиться, разве что обстреляет с кораблей какие-ни-будь прибрежные города. Он недоумевал, почему правительство медлит с выступлением. В октябре он не выдержал ожидания и своевольно покинул Тавриз, отправившись к Ермолову за новыми указаниями.

До сих пор он считал зиму худшим временем для путешествия по горам. Теперь он убедился, что поздняя осень еще менее приятна. Скользкая дорога была совершенно непроездна, лошадь беспрерывно спотыкалась, пропасти скрывались в тумане, но от этого не становились менее реальными. И, наконец, давно ожидаемое свершилось: лошадь упала — к счастью, не в пропасть. Грибоедов очень неловко грохнулся на землю и почувствовал боль в правой руке. До ближайшего жилья было далеко, врача при нем не было; Амлих кое-как перевязал руку, но Александру понадобилось все мужество, чтобы доехать до Тифлиса.

Здесь доктора распознали перелом, осложненный отсутствием своевременной помощи. Необходимо было долгое и серьезное лечение — и опять Александр был лишен успокоительного действия музыки.

Он все же без промедления явился к Ермолову, отдыхавшему зимой в Тифлисе. Но генерал сам не знал, что и когда решит Петербург относительно войны с Турцией. Он целиком одобрил действия Грибоедова в Иране, однако поддержать их не мог: его право войны и мира распространялось только на Закавказье, он не имел возможности по своему желанию перебросить Кавказский корпус на Балканы на помощь грекам. В любом случае дело откладывалось до лета: зимой с Кавказа войска не смогут выйти. Он советовал ждать. Грибоедов остался в Тифлисе под предлогом перелома, не видя нужды возвращаться к Мазаровичу: пока Персия воевала, а англичане покинули Тавриз, делать там было нечего.

А в Петербурге тем временем насмерть сошлись два министра иностранных дел. Каподистрия яростно отстаивал интересы греков и требовал войны с турками, Нессельроде отстаивал интересы австрийцев и требовал войны с греками. Император находился в растерянности: он и хотел поддержать греков, и не хотел поддерживать революцию. В том непроходимо мрачном настроении, в котором он пребывал после восстания Семеновского полка, он не мог принять никакого решения. Царь пожелал обратиться за советом к Богу; однако Господь устами разных пророчествующих дам, таких как госпожа Крюденер и госпожа Татаринова, давал ему противоположные ответы. Царь выгнал всех. Дела он предоставил воле Провидения, греков — их собственной участи, избавился от Каподистрии, поскольку тот был слишком настойчив, и оставил при себе Нессельроде, поскольку тот был не слишком деятелен. Все, что могло доставить государю неприятность, лишилось доступа в дворцовые покои; покой дворца оберегал Аракчеев, единственный, кто связывал монарха с внешним миром, потому что никогда не нарушал внутренний мир монарха.

Россия осталась без царя во главе. Ермолов не вовсе проиграл при новом порядке. Кавказ и Закавказье перешли в полное его безотчетное ведение, но ступить за их пределы он не мог. Он решил по крайней мере покончить с затянувшейся войной с горцами. Когда она начиналась, генерал предполагал быстро ее завершить, потому что у полудиких племен не существовало никакой промышленности, лить пули и делать порох они не умели и должны были скоро остаться безоружными. К его удивлению, этого не произошло. Казалось загадкой, откуда берут горцы вооружение и на какие средства его покупают. Ермолов полагал, что его поставляют турецкие и иранские корабли через принадлежащий Турции порт Батуми и через труднодоступные бухты Каспийского моря. Но вот разразилась Турецко-иранская война, обеим сторонам стало не до Кавказа, тем не менее горцы не бедствовали. Приходилось думать, что деньги горцам дают английские агенты и на эти средства те закупают оружие в сопредельных странах. В последнее время английские путешественники, купцы и миссионеры зачастили в Закавказье; за ними усиленно наблюдали, но они, видимо, добивались своего — Эдуард Уиллок даже сманил русских солдат, а этого никто не заметил, пока он не прибыл в Тавриз. Кавказская война была очень нужна Англии: пока она длилась, русская армия не могла оставить в тылу непокоренные народы и идти на Иран и Индию. Британцы серьезно помогали горцам, а тем было все равно, кто и почему дает им деньги: лишь бы получить оружие против русских.

В этих обстоятельствах Ермолову оказался выгоден приезд Грибоедова. Дипломат, доказавший свое умение бороться с англичанами и побеждать их, был сейчас нужнее на Кавказе, чем в Персии. Здесь он мог, при знании английского языка, проследить контакты английских приезжих, пресечь их — и Кавказская война прекратилась бы сама собой; у Ермолова оказались бы развязаны руки, и он смог бы, пока Иран ослаблен борьбой, как-то извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Намерения Ермолова отвечали желаниям Грибоедова не возвращаться к Мазаровичу, которым возмущался не он один, а все русские на Кавказе. Главнокомандующий уведомил Нессельроде о своем желании оставить Грибоедова при себе в качестве «секретаря по

иностранной части» и потребовал — сколько же можно? — дать ему следующий чин. В феврале (очень быстро!) пришел ответ: просьбу уважили, но не в виде награды; просто прошло более трех лет с присвоения прежнего класса, за выслугу лет Грибоедов должен был продвигаться по службе, и со стороны Нессельроде продолжать этому препятствовать — значило признаться в чем-то, похожем на личную месть. Министр даже милостиво разрешил Грибоедову принять персидский орден, но зато снизил ему жалованье на две трети — до двухсот червонцев. Он обосновал это тем, что иностранные сношения на Кавказе не представляются важными: не с горцами же вести переговоры? На самом деле он был взбешен успехом Грибоедова в Персии, который создал все условия для помощи Греции и выставил правительство в неприглядном свете, когда оно этого не сделало. Он резко выговорил дипломату за его несвоевременные и несанкционированные усилия. Все это испортило настроение Александру, в дополнение к недействующей руке (он даже писать не мог), к отсутствию фортепьяно (будь прокляты эти горные дороги! теперь жди его полгода из Тавриза!) и отсутствию друзей.

Однако Грибоедов не поддался унынию. Он нашел в своем положении хорошие стороны: он был среди своих, в большом, как ему теперь казалось, европейском и христианском городе. Его чуть ли не носили на руках, повсюду он встречал всеобщее уважение и восхищение своими заслугами. За прошедшие три года он далеко продвинулся на дипломатической стезе — если не в мнении Нессельроде, то во мнении всех русских и грузинских семейств Тифлиса, не говоря об офицерах Кавказского корпуса. Теперь он был даже рад сломанной руке: перевязь придавала ему особенный ореол в глазах дам, являя зримое свидетельство перенесенных тягот. Этой зимой он чувствовал себя истинным светским львом, хозяйки балов рвали его на части, и хотя в Петербурге он посмеялся бы над здешней славой, в Грузии она согревала его душу, измученную иранским одиночеством. Его решительно все любили. Грибоедов стал желанным гостем у князя Григория Мадатова, окружного начальника в мусульманских ханствах Закавказья; у Романа Ивановича Ховена, тифлисского губернатора; у князя Чавчавадзе, давнего знакомого; и в первую очередь у Прасковьи Николаевны Ахвердовой. В 1820 году она овдовела, осталась без всяких средств со множеством маленьких детей, которым следовало дать воспитание, а между тем она совершенно не имела склонности к экономии, ничего не смыслила в делах, не желала никак сокращать расходы и по-прежнему принимала у себя весь Тифлис.

Ближе всего Грибоедов сошелся с самим Ермоловым. Они нравились друг другу, хотя были настолько похожи, что редко обходились без столкновений. Генерал имел довольно тяжелый, резкий нрав, свойственный высокопоставленным военным, командовавшим полками и армиями в десятке серьезных боев. Но, приноровившись к перепадам его настроения, с ним было нетрудно ужиться. Утром, до обеда, занимаясь текущими делами, Ермолов бывал мрачен, жесток и придирчив — но, как правило, подчиненным доставалось за дело. После обеда он непременно требовал партию в вист; для Грибоедова, не любившего карт, это была унылая повинность — вист длинен, сложен и скучен. Но как только обязательный вист заканчивался и все дневные дела оставались позади, Алексей Петрович преображался. Он становился красноречив, но без всяких притязаний; не требовал смеяться его смеху, но получал искреннее удовольствие от разговора — и доставлял его собеседникам.

Он был умным и наблюдательным, хорошо знал жизнь и отличался склонностью к сарказму. Ему принадлежала самая язвительная шутка эпохи. Когда Александр I спросил его, какую бы награду он желал получить за свои заслуги, Ермолов ответил: «Ваше величество, произведите меня в немцы!» Император посмеялся уголками губ, но удар был не в бровь, а в глаз. В самом деле, остзейские немцы, аккуратные, старательные, обычно честные, очень охотно принимались в службу и очень быстро продвигались по ней, во всем опережая прирожденных русских. Однако на самой вершине чиновной лестницы их достоинства оборачивались недостатками. Вместо бездумной исполнительности от них требовалась порой инициативность, широта мышления — а ею-то они не обладали. Они становились

мелочно-придирчивыми к низшим, вызывали всеобщую нелюбовь и не искупали ее какими-то общепризнанными заслугами.

Грибоедов восхищался природными качествами Ермолова, столь схожими с его собственными: «Мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски, на все годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи». В окружении генерала собирались самые достойные люди из числа кавказских офицеров. Забияк, вроде Якубовича, он к себе не допускал, с педантами, вроде Муравьева, общался только по служебной надобности. Оттого на вечерах Ермолова можно было говорить обо всем свободно, не боясь кары или доноса. Среди его адъютантов были прежде полковник Граве и М. А. Фонвизин, члены тайного общества, мечтавшие установить в России ограниченную монархию, похожую на английскую, или даже республику, как в Америке. Тайной их намерения были разве что от тех, кто не желал о них знать. Ермолов, проездом с Лайбахского конгресса, где воочию увидел перемены, происшедшие в императоре, предупредил Фонвизина в Москве: «Вы будьте поосторожнее, император о вас знает». С отъездом Граве и Фонвизина тайное движение в Кавказском корпусе прекратилось. По крайней мере Грибоедов ничего подобного не замечал. Александр просто развлекался в Тифлисе.

Он не встречал ни в ком недоброжелательства и зависти; и только Муравьев относился к нему с прежней неприязнью. Тот отсутствовал на Кавказе почти все время, что Грибоедов сидел в Персии: Ермолов послал его в долгое и трудное посольство к хивинскому хану. Муравьев совершил путешествие туда и обратно, разведая путь, но дипломатическое поручение выполнил не вполне хорошо. Тем сильнее он завидовал Грибоедову. Николай Николаевич вынужден был признать, что «Грибоедов очень умен и имеет большие познания, а успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг, поражают». Но сделанное усилие далось Муравьеву нелегко (до приезда Грибоедова он считался самым образованным человеком в Кавказской армии), и, чтобы восстановить свое высокое о себе мнение, он начал усиленно хвастать знанием турецкого языка. Он и впрямь его знал и даже составил для Ермолова турецкую грамматику. Это оказалось Грибоедову на руку, поскольку он желал изучить турецкий. И он предложил Муравьеву заниматься вместе, обмениваясь сведениями и книгами. Они начали уроки, но и четырех дней не прошло, как Муравьев дал волю своей мнительности. Он услышал стороной, что Грибоедов насмешливо отозвался о его лингвистических способностях при Ермолове, и в крайнем раздражении решил непременно драться. В присутствии совсем молоденьких штабных офицеров Боборыкина и Воейкова он потребовал от Грибоедова объяснений и стал упрекать в неосторожности. Тотчас же он пожалел о своей запальчивости: вызывать человека со сломанной рукой было неразумно; подумали бы, что обидчик рассчитывает на отказ или на преимущество, вынуждая противника стрелять левой. Такой поступок отдавал трусостью.

Грибоедов, получив очередной картель (уже третий по счету! хотя он никогда никого сознательно не задевал и не обижал), не стал раздувать дела, извинился за неловкую шутку и предложил все забыть. Муравьев с облегчением согласился помириться, с условием, что Грибоедов нигде не разгласит этой истории и перестанет над ним смеяться. Александр дал слово, и тем все кончилось, но у Муравьева осталось неприятное воспоминание о совершенной глупости, Боборыкин приобрел репутацию «переносчика» (ибо это он пересказал Муравьеву насмешки Грибоедова), а для Грибоедова происшествие стало единственной ложкой дегтя в бочке грузинского меда. Он приложил все свои дипломатические способности, чтобы не прервать занятий с Муравьевым, которые казались ему важными: если вдруг Россия все-таки вступит в войну с Турцией, знание турецкого ему пригодится; если не вступит — он сможет на худой конец объясняться с каджарами на их родном языке. Пожалуй, дружеские отношения с Аббасом-мирзой и англичанами давались Александру легче, чем с самолюбивым до уродливости Николаем Николаевичем. Тот еще дважды или трижды пытался рассориться, но всякий раз мирился, покоренный любезностью, образованностью и умом Грибоедова.

Александр отчасти сочувствовал обидчивости Муравьева; он видел, как неприятно

тому жить без друзей, не понимая, что сам во всем виноват, и требовать к себе уважения под угрозой пистолета. Грибоедов же всюду чувствовал себя в братском кругу. В этот приезд в Тифлис он встретил прежнего сослуживца по Коллегии иностранных дел Вильгельма Карловича Кюхельбекера. По выходе из лицея юноша несколько лет бедствовал, подрабатывал уроками, потом уехал в Париж, но был отозван обратно за слишком смелые лекции (о русской литературе), а в октябре 1821 года получил назначение чиновником особых поручений при Ермолове. В Петербурге Грибоедов почти не обращал внимания на нескладного и взбалмошного юнца, но в Тифлисе он оценил его общество.

К этому времени Грибоедов ясно осознал, что не может написать ничего выдающегося, если ему некому прочесть написанное. Русский язык был для него прежде всего и по преимуществу языком *письменным*. Он говорил на нем крайне редко — с ямщиками и солдатами о том, что относилось до их нужд и разумения, и с ближайшими, душевными друзьями, как Бегичев или Жандр. Звуки родной речи были ему не то чтобы непривычны, но он не мог, глядя в текст, оценить интонации и мелодию слов и фраз, он должен был непременно их проговорить вслух — и не стенам. Из-за этого он не мог сочинять настоящие стихи, потому что они выливались из его души только под влиянием сильных переживаний, которыми он не хотел делиться с малознакомыми людьми. Стихи он писал для себя, никому не читал, никогда не стремился публиковать, поэтому оставлял в неотделанном виде, часто без рифм и с нарушенным размером. Зато, сочиняя эпиграммы или романсы, заранее предназначенные для всеобщего ознакомления, он прочитывал их кому-ни-будь, правил и добивался отточенной, звучной гибкости слога.

Свои громадные творческие силы он предпочитал вкладывать в драматические произведения, где автор целиком скрывался за словами различных персонажей и как бы не выражал собственных мыслей и чувств. Но если стихи часто рассчитывались на читателей, а не слушателей, то драмы всегда и всюду готовились для произнесения со сцены. В Персии Грибоедов много раздумывал о плане своей будущей пьесы, но не сочинил ни одной связной строки, поскольку никто не мог сказать ему, хорошо ли это звучит. В Тифлисе он обрел идеального наперсника — поэта Кюхельбекера.

Сперва он не мог воспользоваться его советами, поскольку перелом руки не позволял держать перо. Но он много разговаривал с Вильгельмом. Александр вернулся из персидского «заключения» с неутолимой жадной общением. В Тавризе он отчаянно скучал по России, не видя ни одного родного лица, не имея ни одной русской книги, кроме Библии. Он начал было с горя ее читать, чего прежде никогда не делал, — и восхитился необычному строю церковнославянского языка. Ему показалось, что библейский язык сильнее, естественнее и ярче современного, но, может быть, это впечатление объяснялось тем, что библейские чувства были сильнее, естественнее и ярче современных. Библия не знала полутонов. Он особенно полюбил первые главы книги пророка Исайи и псалмы Давида, единые в ненависти к беззаконию, угнетению и сребролюбию. Он понимал, что не первым открыл удивительную особенность библейских текстов: звать к покорности и сопротивлению, аскетизму и наслаждению, запрещать убивать и воспевать убийство. Здесь каждый мог найти примеры себе по нраву: одним из псалмов Давида Державин в прежние времена пугал императрицу Екатерину, а якобинцы сделали его своим гимном, но они же нещадно расправились с христианством. Поживи Грибоедов в Персии подольше, он мог бы, как Мазарович, прибегнуть к Священному Писанию для утешения в земных страданиях; к счастью, ему удалось сохранить связь с миром живых и стремление искать опору в себе и в людях, а не в обещаниях замогильного блаженства, однако он заинтересовался Библией.

Пока бездействовала рука, Грибоедов читал вслух Кюхельбекеру и учил ценить старинный язык, представлявшийся ему языком предков. Пожалуй, в этих долгих вечерних беседах Александр разговаривал скорее сам с собой, чем с собеседником. Но Вильгельм воспринимал их иначе! Он привык всю свою недолгую пока жизнь служить мишенью насмешек даже самых близких друзей. Такова же была в свое время участь добродушного Василия Львовича Пушкина, но тот относился к своей судьбе философски. Вильгельм же,

хотя изучал философов, не мирился со своим положением. Он обижался, сердился, вызывал на дуэли, пытался покончить с собой — но в гневе, ярости и самоубийстве был равно смешон. Смешон, когда побежал топиться в Царскосельском пруду, оказавшемся ему по колено. Смешон на поединке с Александром Пушкиным, когда противник, зная его неспособность попасть камнем в забор, не то что пулей в человека, кричал его секундантам: «Идите ко мне, здесь безопаснее!» А как жалили его убийственные эпиграммы Пушкина, его лучшего друга! После таких друзей врагов не пожелаешь! Грибоедов был первым, кто не издевался над Вильгельмом, кто принял его всерьез, оберегал от неприятностей и только немного подтрунивал над его влюбчивостью, никогда не встречавшей отклика у женщин.

Вильгельм всем сердцем, со всем пылом своей увлекающейся натуры привязался к старшему, опытному, мудрому, талантливому, гениальному — да никаких слов не хватит! — другу. Он слушал его как оракула, записывал его изречения, любил всё, что вызывало его одобрение, посвящал ему стихи, клялся его именем... Недолгое общение с Грибоедовым оставило неизгладимый след в его душе, стало важнейшей вехой в его жизни. Он не понимал Грибоедова, его характер как бы раздваивался в глазах Кюхельбекера: с одной стороны, «жрец и провидец», поэт и скиталец, скучающий в пошлом мире; с другой — жизнелюб и весельчак, «постигший высшее сладострастие». Самому Грибоедову его разнообразные увлечения не казались противоположными, они сливались в гармоническое целое, из противоречий рождалось единство его мироощущения. Он казался сам себе вполне понятным: радовался жизни во всей ее полноте; дурачества и дипломатические переговоры казались ему равно важными и нужными. Он просто был молод — всё занимало его, ничто не занимало его безраздельно. Но в стихотворных, возвышенно-романтических посланиях Вильгельма он видел себя иным:

Но ты, ты возлетишь над песнями толпы!
Тебе дарованы, Певец, рукой судьбы
Душа живая, пламень чувства,
Веселье светлое и тихая любовь,
Златые таинства высокого искусства
И резво-скачущая кровь!

Пушкин посмеялся над этими строчками, особенно последней. Высокопарный от природы слог Кюхельбекера становился все торжественнее и архаичнее по мере того, как он проникался духом и строем церковнославянской лексики. Его стремление писать по старине, языком од Ломоносова и библейских гимнов настолько противоречило взглядам его прежних друзей-поэтов, особенно «арзамасцев», что на него посыпались упреки в измене былым идеалам. Они стали называть Грибоедова «злым духом», привившим Вильгельму нелепые мысли. Обидчивый во всем, Кюхельбекер никогда не обращал на эти обвинения ни малейшего внимания. Грибоедов не мог быть неправ. Грибоедов сказал, что в Библии — источник современного русского языка, современных народных чувств, ибо народ во всем стоит ближе к предкам, чем европеизированные с головы до сердца дворяне. Грибоедов сказал, что понимать Библию — значит понимать народ, который, кроме нее, других книг не читает, если вообще грамотен. Грибоедов сказал, что писать по-народному — значит избежать Сциллы и Харибды русской литературы: сглаженной изящности и галлицизмов Карамзина и Жуковского и неприглаженной грубости и прозаизмов Катенина и Шаховского. Наконец, Грибоедов ценил примеры тираноборства и гражданских доблестей, которые столь ярко живописует Библия. И Кюхельбекер во всем следовал заветам учителя. Впоследствии, читая его теоретические рассуждения о языке и художественности в произведении, Грибоедов замечал, что восторженный почитатель понял его чересчур прямолинейно. Сам-то Грибоедов никогда не использовал старинные слова, кроме как в единственном переложении сто пятьдесят первого псалма Давида, где они были естественно необходимы.

В другой раз этот слог понадобился Грибоедову, когда он в Тавризе задумал, отчасти

записал и прочел Кюхельбекеру отрывок из поэмы, чем-то напоминающей «Чайльд Гарольда» Байрона. На мысль о ней его навел случай в Персии: Мазаровичу сообщили, что на местном базаре продан прекрасный собой грузинский мальчик, захваченный какими-то бродягами. Его купил Аббас-мирза, и посланник с Грибоедовым сумели его вызволить из дворца шах-заде, ссылаясь на незаконное нарушение мира между Россией и Ираном. Об этом мальчике (кальянчи) и писал Грибоедов, стараясь необычным, изысканно-старинным слогом передать особенности персидского стихосложения:

В каком раю ты, стройный, насажден?
Эдема ль влагу пил, дыханьем роз обвеян?
Скажи: или от Пери ты рожден.
Иль благодатным Джиннием взлелеян?

«На Риона берегах,
В дальних я рожден пределах,
Где горит огонь в сердцах.
Тверже скал окаменелых;

Рос — едва не из пелен.
Матерью, отцом, безвинный,
В чужу продан, обменен
За сосуд ценный!»

Но скоро он бросил свой труд, сперва изнуренный жарой, потом отчаянием, потом переломом и болезнью, а после одушевленный замыслом драматического произведения. В сущности, он и поэму писал в виде пьесы, где авторской речи не было вовсе, но ее язык и стиль не подходили для сиены. Он оставил ее.

К февралю рука Грибоедова полностью зажила, однако его надежды на свободу творчества не сбылись. Пришла весна — появились первые англичане. В конце месяца в Тифлис прибыл некто Мартин, проездом из Индии через Тавриз. Конечно, в Грузию его привело простое любопытство, а удерживала здесь всего лишь болезнь — то ли дурная, то ли лихорадка. Однако Ермолов не дал этим предложениям веры и просил Грибоедова проследить за лечением и передвижением страдальца. Следующие полмесяца Александр общался с путешественником, весьма обогатив свой разговорный английский. Он привлек себе в помощь Муравьева, также знавшего этот язык. В середине марта Грибоедов выдворил вполне оправившегося Мартина из Тифлиса.

Остаток марта и половина апреля прошли на удивление спокойно, и Александр начал что-то понемногу писать. Эти первые, несовершенные наброски он читал Кюхельбекеру и не встречал с его стороны ни малейшей критики: тому всё нравилось. Это, конечно, льстило самолюбию автора, но мало помогало работе. В сущности, Вильгельм даже мешал, отвлекая Грибоедова на улаживание последствий своих бесчисленных обид. Однажды он поссорился с Ермоловым, и Грибоедов с трудом уговорил генерала сделать первый шаг к примирению, поскольку Кюхельбекер его делать не желал. Прекратить размолвку было тем сложнее, что Ермолов имел из Петербурга тайный приказ «извести» Кюхельбекера, о чем Грибоедов узнал от Петра Николаевича Ермолова, родственника главнокомандующего и своего хорошего друга. Чем Вильгельм заслужил такое к себе отношение, он не знал, но догадывался, видя постоянную нервность в его поведении: пусть его гнев был часто оправдан, не всех он забавлял, как Пушкина; многие в ответ испытывали к Кюхельбекеру неприязнь.

15 апреля Вильгельм разругался с Николаем Николаевичем Похвисневым, чиновником при Ермолове и чуть ли не его родственником, и вызвал его на дуэль. Кюхельбекер считал поединок естественнейшим решением всех проблем, в разное время он собирался драться едва ли не со всеми своими знакомыми (кроме Грибоедова), порой дело даже доходило до

обмена выстрелами, и он не прослыл бретером только по феноменальной своей неметкости: ни разу в жизни он не попал ни в какую намеченную цель. Похвиснев не принял вызов всерьез и отказался стреляться по пустяку; Вильгельм вспылал — и прилюдно дал ему две пощечины! Конечно, это был очень некрасивый поступок, незаслуженное оскорбление, против чести, тем более что повод был действительно мал и обида существовала только в болезненном воображении Кюхельбекера.

Ермолов пришел в ярость и заявил, что непременно отправит Кюхельбекера в Россию, но перед этим велел обоим драться, чтобы смыть с Похвиснева позор пощечин. Кюхельбекер не пригласил Грибоедова в секунданты, опасаясь ему повредить. Александр постарался как мог уладить ссору, понимая, что дуэль этого не сделает: оба противника слыли из ряда вон плохими стрелками; Похвиснев как гражданский человек, кажется, вовсе не владел оружием.

Поединок состоялся только 20 апреля: Кюхельбекер дал промах, у Похвиснева пистолет осекся (или он слабо нажал на спуск) — тем все и кончилось. Но Ермолов сдержал слово и отставил Кюхельбекера с нелестной характеристикой.

В мае, после тяжелого прощания с Грибоедовым, Вильгельм уехал в Москву. Ермолов отправился в армию. Тифлис опустел. Грибоедов тоже беспрестанно находился в разъездах: то ездил к главнокомандующему за указаниями или с отчетами, то сопровождал разных англичан — Роберта Лайола в путешествии по Кахетии, потом Клендса туда же, потом других... Каждая поездка отнимала не меньше месяца, а уж сколько раз он переходил Кавказ — не упомнить. Он совсем сжился с горами, пропастей не замечал, воя Терека не слышал, на обвалы не обращал внимания. Ермолов придавал огромное значение поручениям Грибоедова. Маловероятно, что все британцы забирались в такую глушь, чтобы, как иронизировал генерал, «изыскивать сходство персидского языка с датским». В каждом вояжере он видел агента английского кабинета и был близок к истине. В самом ли деле эти путешественники были посланы на Кавказ с деньгами от парламента или Ост-Индской компании и Грибоедов помешал им вступить в сношения с горцами, или были тому другие причины, но в 1822 году война почти сошла на нет, только в Кабарде вспыхивали отдельные восстания, легко подавляемые.

Зимой Кавказский корпус съехался в Тифлис, страдая от длительного безделья и скуки. Грибоедов должен был бы меньше всех чувствовать уныние. В июле — августе, невыносимых в Тифлисе, задыхавшемся от жары и пыли, он отдохнул в великолепном поместье князя Чавчавадзе Цинандали. Изогнутый полумесяцем дворец князя стоял в замечательно красивом месте, с широким видом на зеленую Алазанскую долину. Вокруг уступами располагался волшебный сад. На лето сюда съехались многие знакомые князя, в первую очередь Ахвердовы. Дом был полон детей и музыки, потому что Грибоедов привез с собой, разумеется, свое неразлучное фортепьяно и бесконечно играл, к восторгу девочек, или усаживал их за инструмент, что им нравилось гораздо меньше. Только старшая дочь князя, десятилетняя Нина, слушалась его во всем, зато младшая, шестилетняя Катинька, так его боялась, что даже не решалась с ним заговаривать. Прекрасное лето утешило Грибоедова. Осенью же он пять шестых своего времени проводил в седле в разъездах по делам, остального едва доставало на письма друзьям и общение с многочисленными знакомыми.

Чаще всего он бывал у Ахвердовой, поскольку у нее собиралось все общество и бывало весело. Достойная, но легкомысленная Прасковья Николаевна пускала к себе всех без разбора, лишь бы гость умел изъясняться по-французски. Неудивительно, что с ней искали знакомства всякие авантюристы, надеющиеся через нее попасть в лучшие дома Тифлиса. В прошедший год, пока Грибоедов разъезжал по Кавказу, она призрела некоего грека Севиниса, называвшего себя то на «русский» лад Вильямом Егоровичем, то на французский — Севинье! Он представил рекомендации на греческом языке, никто их в Тифлисе не мог разобрать, но все приняли на веру в знак расположения к воюющей Греции. Он выдавал себя за участника греческой революции, бежавшего в Россию от турецкого произвола, занимался торговлей и старался казаться обеспеченным человеком хорошего круга. По-французски, во всяком случае, он говорил прекрасно. Он совершенно очаровал Ахвердову, мечтавшую

поправить свои дела, и она обручила с ним свою двенадцатилетнюю падчерицу Софью. И нисколько не со зла, напротив, она любила ее больше родной дочери, заботилась о ней от души и надеялась устроить ее будущее, хотя несколько преждевременно. Грек же рассчитывал на родство с известной и уважаемой, хотя бедной семьей. Возвращение Грибоедова расстроило эти планы. Он, как и все в России и Грузии, давно и глубоко сочувствовал борющимся грекам, был бы рад помочь любому из них, но, на беду Севиниса, он знал греческий язык. Александр попросил разрешения посмотреть на рекомендательные письма Софьиного жениха, вынужден был признать их подложными (это вообще не были рекомендации) — и грека с позором изгнали от Ахвердовых и вообще из Грузии. (Спустя несколько лет он попался в России на краже драгоценностей.)

И все же наступавшая зима удручала Александра. Как ни приятно было в Тифлисе, но светские развлечения не могли занять его до конца. Люди, подобные Муравьеву, готовы были всю жизнь провести на Кавказе, потому что в России им нечего было делать, а здесь они пользовались уважением, недостижимым для них в Москве или Петербурге. Однако Грибоедов мог рассчитывать на лучшую участь. К тому же он получил письмо от Бегичева, собравшегося жениться и непременно звавшего друга на свадьбу. Александр стал отчаянно стремиться домой.

После Нового года его жизнь разладилась. На его руках умерло несколько друзей от местных болезней. Потом умер Амлик... Смерть верного спутника в течение пятнадцати лет потрясла Александра. На него напала непроходимая тоска, несвойственная ему мрачность духа. Он начал видеть мир в черном свете, ждать холеры, новых смертей друзей, собственной... Приятели упрекали его в малодушии, но он ничего не мог с собой поделать. Он чувствовал необходимость перемены обстановки. Пусть в других местах ему, может быть, не будет лучше и легче — новые впечатления рассеют его и поднимут настроение. Он подал Ермолову прошение об отпуске до весны — и получил согласие.

Глава VI ГЕНИЙ

Здесь вся кунсткамера. Где, батюшки, родились?
Кто вас воспитывал? Чему вы научились?
С кем жили целый век?..

Кн. Шаховской

Ермолов, давая Грибоедову отпуск, надеялся, что тот не вернется. Генерал любил его более всех в своем окружении за необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность познаний и любезность в обращении. Но все это — личные качества, которые Ермолов ценил в людях, но не в подчиненных. На Кавказе про него говорили, что «чем умнее человек, находящийся при нем, тем он менее следует его влиянию, чтобы не сказали, что им управляют». Грибоедов это очень явно замечал. Он сожалел, что Ермолов «упрям, как камень, ему невозможно вложить какую-нибудь идею». Добро бы главнокомандующий не испытывал нужды в советах и все всегда удачно решал сам. Но никто не безгрешен, и Алексей Петрович не был исключением. В 1823 году он испытывал уныние и усталость: слишком долго шла бессмысленная война; слишком долго он выполнял обязанности не правителя, а палача; слишком явно год от году Кавказ превращался в место ссылки, все реже ехали сюда достойные люди добровольно, ради славы или хоть быстрой карьеры. Это не радовало человека с умом и чувством собственного достоинства; но Ермолов не просил ни помощи, ни поддержки. Привычка повелевать, естественная в любом высокопоставленном военном, превратилась у него в неимоверное упрямство, усиливавшееся с возрастом. Он хотел, чтобы все исходило от него, чтобы ему слепо

повиновались — и был достаточно проницателен, чтобы заметить, когда какую-то мысль ему пытались подбросить как его собственную. Грибоедов порой умел это делать, но с Алексеем Петровичем его дипломатические маневры не удавались. Генерал предпочитал ему Мазаровича, достаточно ловкого и неглупого, а главное — всегда действовавшего, согласно лестной характеристике Ермолова, «без рассуждения с своей стороны, по точному смыслу предписания». Что может быть правильнее? Грибоедов так не мог. А дела стояли.

Грибоедов, получив отпуск, тоже надеялся, что не вернется. Он даже был в этом уверен и нисколько не скрывал своего намерения. Он потратил почти два месяца, чтобы завершить все дела, похлопотать за своих служащих, нуждавшихся в помощи, списаться с Мазаровичем, продать все лишнее, уложить книги, чтобы прислать за ними впоследствии... В самую последнюю очередь он расстался с фортепьяно. Он всей душой привязался к своему незаменимому другу-путешественнику, но везти его назад в Россию было бессмысленно, разве что из сентиментальных побуждений, как память о пяти тяжелых годах. Инструмент порядком потрепался и повредился на тысячах пройденных по горам и долам верст. Александр предложил его Муравьеву, и тот охотно согласился на покупку, мечтая объявить себя наследником фортепьянной славы Грибоедова и от души радуясь его отъезду. 15 февраля Александр упаковал фортепьяно в ящик. «Можно было подумать, что я друга в гроб укладывал, так у меня теснилось сердце», — признался он Петру Николаевичу Ермолову.

И все же сборы доставили Грибоедову радость. Надежда на свободу оживила его, он повеселел и легко вынес почти целую зиму в Тифлисе. Он не любил перемещений в пространстве, тем более в холод, поэтому затянул отъезд до последнего срока. Он даже чувствовал грусть, прощаясь с десятками обретенных на Кавказе хороших друзей. Очень многие сожалели о разлуке с ним, обещали скучать без него и часто вспоминать — и он верил им. Лучше ли будет впереди?

Но наконец все вопросы разрешились, все визиты завершились, подорожная выписана, и несут уже шубы на выбор! Александр взглянул на них с недоумением: «Я, года четыре, совсем позабыл о них. Но как же без того отважиться в любезное отечество!.. И вот первый искус желающим в Россию: надобно непременно растерзать зверя и окутаться его кожей, чтоб потом роскошно черпать отечественный студеной воздух».

20 февраля, провожаемый и кавказскими офицерами, и солдатами, приведенными из плена и нашедшими уже новые семьи, и грузинскими князьями, и армянскими торговцами, и иностранными шпионами, и Ахвердовой с толпой детей — словом, половиной Тифлиса, Грибоедов уселся в коляску. Он должен был ехать один: Амбургера с ним не было, а Амлиха совсем уже не было на свете. Проводы вышли печальными, но то была светлая печаль, и Александр не испытывал горьких чувств. Лошади тронулись, колеса завертелись — теперь не как враги, а как друзья, с каждым оборотом приближая Россию, Москву, родные края.

Тифлис исчез из виду; показались такие знакомые теперь и нестрашные Кавказские горы; Александр, не вылезая из экипажа, перемахнул через них — и они скрылись в тумане... Чинары и вечнозеленые кипарисы уступили место степи, потом липам и каштанам, а там показались вдруг березы и вечнозеленые ели... Грибоедов снова был на родине! Вокруг расстилалась равнина без единой горы, раздавалась русская речь... С полей, медленно освобождавшихся от снега, веял тяжелый, влажный воздух; над головой висело яркое весеннее небо, звучали звонкие трели синиц и нежный пересвист снегирей... Крестьяне начинали первые работы... Глаз видел осевший снег и сосульки под застрехами изб, ухо слышало треск льдов и падение капли, обоняние страдало от грязи, проступавшей из-под снега... Поздняя зима — худшее время в дороге. Но что с того? «Отечества и дым нам сладок и приятен»... Нет, как-то неловко перевел эту латинскую пословицу Державин! Немного бы ее изменить: *И дым Отечества нам сладок и приятен* !

В середине марта, по самому последнему пути, Грибоедов въехал в Москву. Столица мало изменилась за прошедшие пять лет. Жизнь течет — но только великие катастрофы преобразуют Москву. В Новинском все было как в детстве. Деревья, посаженные после пожара, стали уже большими. И люди по соседству жили почти те же самые. Мария

встретила брата с искренней радостью. Зато Настасья Федоровна едва скрывала раздражение: ничего не наслужив, ни денег, ни чинов, сын вздумал покинуть генерала Ермолова, хотя, по слухам, пребывал у него в милости. Но она не высказывалась открыто; Александр имел важное оправдание для приезда. Свадьба лучшего друга — повод сам по себе значительный, уважаемый, притом Бегичев женился на очень богатой невесте, должен был вскоре зажить открыто и роскошно, и Настасья Федоровна отнюдь не желала пресекать подобное знакомство. И более того. Младший брат Степана Дмитрий недавно взял в жены родную сестру знаменитого Дениса Васильевича Давыдова, приходившегося каким-то кузенном Ермолову. Конечно, лучше бы было действовать около самого главнокомандующего, но авось! и в Москве Александр не потеряет времени даром. Однако же летом надобно будет непременно ехать назад!

Грибоедов, по давней привычке, постарался пропустить матушкины излияния мимо ушей. Едва отойдя от дороги, он бросился к Бегичеву. Они с жаром обнялись, даже сдержанный Степан не скрывал душевной радости. Если не считать короткой встречи в Петербурге, друзья не виделись с августа 1817 года. Оба мало переменились внешне, только повзрослели. (Бегичеву было уже далеко за тридцать.) Но сколько всего произошло за истекшие годы! Бегичев вышел в армию, стал полковником, влюбился и готовился к свадьбе. Ни о чем ином он толком говорить не мог. Он мечтал представить Александру свою невесту и в душе молился, чтобы они нашли общий язык, чтобы жена не встала между ним и другом. Грибоедов, в свою очередь, хотел бы многое рассказать Степану; скитаясь по горам, он когда-то сочинял письма к нему, мечтал, что «Бог даст свидимся, прочтем это вместе, много добавлю словесно — и тогда столько удовольствия!». Но то было четыре года назад. Большую часть он теперь сам забыл, заметки поистрепались, да и не до того было. Он жаждал прочесть Степану начерно готовые первые сцены комедии, имевшей уже название — «Горе уму» — и план, великолепный по простоте и значительности.

Бегичев рад был бы послушать сочинение друга, но портные, обойщики московского и деревенского домов, каретники, ювелиры, родные жены и прочие посетители бесконечно осаждали его. Предсвадебные заботы утомительны, а вечера он, само собой, проводил у невесты, и времени ни на что не доставало. Грибоедов, которого он просил стать его шафером, сам оказался в хлопотах. Надо было обновить гардероб, заменив потуги тифлисских портных более приличной одеждой. Пока он сидел в Персии, в моде свершилась революция: мужчины начали носить не короткие брюки до колен, а белые длинные обтягивающие панталоны до щиколоток. Старухи были глубоко шокированы — прежде подобная одежда предназначалась только для спальни. Зато молодые люди веселились вовсю, хотя панталоны приходилось заказывать в Петербурге. Грибоедов облачился в них с нескрываемым удовольствием — в конце концов, в них было удобнее!

В Москве собралось несметное множество старых друзей, но Александр со всеми виделся мельком, голова его шла кругом от внезапного возврата к позабытой московской жизни, к тому же весенняя распутица мешала разъезжать по городу. За время его отсутствия в семействе Грибоедовых произошли перемены: кузина Елизавета родила Паскевичу уже двоих сыновей — Михаила и Федора — и двух девочек-близняшек, а кузина София стала совсем взрослой, красивой и такой же веселой и живой, как в детстве. Будущая жена Бегичева, Анна Ивановна Барышникова, Александру понравилась. Она оказалась очень милой, приветливой, доброй и прекрасно образованной. Ее дед происходил из мещан, приобрел огромное состояние и «говорящую» фамилию, отец вложил капитал в дворянский титул (в конце царствования Екатерины порой дозволялось покупать места в Табели о рангах, что император Павел пресек), в крестьян и земли и в воспитание единственной дочери и наследницы. Анна Ивановна соединяла мещанские добродетели, не вовсе изжитые в ее семье, с изяществом балованной московской барышни — сочетание получилось очаровательным.

Прошло несколько дней, прежде чем Александр со Степаном нашли время для серьезной беседы. Грибоедов прочел другу первый акт пьесы, с которым отчасти уже

познакомил Кюхельбекера. Тот в свое время не сделал никаких замечаний, и Александр оказался совершенно не готов к разгромной критике Бегичева. Замысел, исполнение, характеры действующих лиц, отношения между ними, стихи, рифмы — все подверглось строгому разбору Степана, и все получило весьма низкую оценку. Особенно ему не понравилось, что в пьесе были заметны следы французского влияния. Например, горничную звали Лизанька — явный перевод традиционного для французской субретки уменьшительного имени Лизетта. Где видано, чтобы так ласково обращались к крепостной девушке, хотя бы наперснице барышни, в московском доме? Грибоедов был несколько ошарашен градом упреков, спорил, старался доказать свою правоту, едва ли не почувствовал обиду и расстался поздней ночью со Степаном холодно.

Оба были огорчены размолвкой. Бегичев всю ночь раскаивался в резкости суждений, хотя понимал, что не был бы столь прямолинеен, если бы не верил в великие способности друга, нуждавшегося не в огульном одобрении, а в вызове своему мастерству. Рано утром он поехал в Новинское — то ли извиняться, то ли оправдываться, то ли мириться. Не может же какая-то комедия разрушить мужскую дружбу!

Он нашел Александра только что вставшим с постели; не одетый, тот сидел у растопленной печи и бросал в нее свой первый акт лист за листом!

— Послушай, что ты делаешь?! — закричал Степан в ужасе.

Грибоедов взглянул на него весело:

— Я обдумал — ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все уже готово в моей голове.

Александр заметно воспрянул духом; теперь он был уверен, что у него найдется умный и нелюбезный критик, и всё, что заслужит его одобрение, заслужит и одобрение будущих читателей и зрителей. Через неделю он переписал большую часть акта по-новому, оставив только несколько прежних сцен, которые, как ему казалось, получились лучше других.

Замечания Бегичева были Грибоедову очень важны. Степан знал свет лучше юного Кюхельбекера, лучше самого Александра, на пять лет оторванного от России. Бегичев жила в деревне, и в Петербурге, и в Москве, и в захолустных городках — и мог верно судить, удастся автору отразить российскую действительность или он искажает ее в угоду сценическим традициям.

Грибоедов приступил к своей пьесе, находясь в необычном положении. Он не был штатным драматургом какого-нибудь театра, как Шекспир, Мольер, Шаховской... да кто угодно. В Петербурге он выполнял порой просьбы актрис и пожелания дирекции, но в Персии и даже в Тифлисе отголоски столичных театральных событий до него не доходили. Менялись актеры, менялись члены репертуарных комитетов, менялись вкусы зрителей — он ничего об этом не знал. И тем лучше! Он писал для себя, выражал свои мысли и чувства, не думая, куда и кому отдаст будущее сочинение. Он творил, не оглядываясь на возможности определенных исполнителей, на суждения цензоров, на все, что сковывает творческую мысль и направляет ее в заранее заданное русло; если он не сумел бы достичь высоты, к которой стремился, он просто сжег бы свой труд, но не опустил до уровня толпы.

В персидскую полуденную жару в душных комнатах он не имел сил пошевелиться; оставалось размышлять: «Искусство в том только и состоит, чтобы подделываться под дарование, а в ком более вытвержденного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, т. е. делать глупости, в ком более способности удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силы, — тот, если художник, разбей свою палитру, и кисть, резец или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем скорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? Я как живу, так и пишу — свободно и свободно».

А значит, нет нужды определять, что он хочет создать: трагедию, комедию или, может

быть, даже драму. Пусть герои соберутся в одном месте, начнут действовать — там и выяснится, к чему приведут их отношения. Что типичнее в русской жизни: неразрешимые конфликты со смертельным исходом? полные драматизма ситуации, улаживаемые до поры? или веселая борьба по пустякам, любовные интриги и дурачества? Или все вместе, как в несравненных творениях Шекспира? Пусть не автор, а сама жизнь выберет жанр пьесы! Автор же только поднесет обществу зеркало, где оно увидит себя таким, как оно есть.

Правда, никто никогда не творил подобным образом, а попытка Шаховского сделать что-то похожее в «Липецких водах» провалилась, — но всегда ли полезно оглядываться на предшественников?!

Предшественники иначе понимали задачи искусства. Гении Возрождения создавали образы огромной обобщающей силы, воплотившие в себе какое-то одно чувство, равно присущее всем векам и народам: любовь, ревность, трусость, честолюбие, отношения родителей и детей. Эти чувства вечны, и образы этих чувств вечны — Гамлет, Отелло, Ромео и Джульетта, Макбет, Дон Кихот, Дон Жуан... кто может встать рядом с ними?!

Но такими образами не нарисует портрет общества. Они возвышаются над прочими героями произведения, притягивая внимание к себе и только к себе. Вероятно, не каждый сразу вспомнит, в чем, собственно, заключаются переживания Гамлета; кто, кроме Ромео и Джульетты, действует в пьесе Шекспира и как зовут бесчисленных женщин, соблазненных Дон Жуаном. Противопоставить «вечному образу» можно только равнозначный «вечный образ», однако невозможно же представить мир, населенный одними титанами единовластного чувства. Души большинства людей устроены сложнее.

Кроме того, обобщающая сила «вечных образов» огромна, но поучающая — сомнительна. Убийства и самоубийства, кажется, основной для них способ решения трудностей; если же их карает само Небо (как Дон Жуана, проваливающегося в ад), на последователей это не производит ни малейшего впечатления. Чем более яростен конфликт на сцене, тем менее приемлемо его решение. Когда Отелло душит Дездемону, что должны думать неверные жены и рогатые мужья, сидящие в зале? Когда Гамлет закалывает отца, что должен думать подросток, мучающийся из-за непонимания родителей? Наконец, большинство зрителей, если не страдают манией величия, не смогут отождествить себя с великими героями.

В эпоху классицизма, в семнадцатом веке, великие писатели начали действовать иначе: они тоже исследовали чувства, свойственные всему человечеству, но не олицетворяли их в одной гигантской фигуре, а ставили обыкновенных людей в предельные, критические ситуации, когда их разрывали два почти равнозначных чувства, но они обязаны были следовать только одному из них, показав тем самым их относительную значимость. В «Сиде» Корнеля неопытный юноша неожиданно для себя оказывается перед выбором: мстить ли за смертельное оскорбление, нанесенное его старику отцу отцом его возлюбленной, — и тем самым навеки потерять любовь; или не мстить, сохранить любовь, но потерять честь? Он долго колеблется и решает вопрос в пользу чести — в основном потому, что бесчестье уронит его в глазах возлюбленной. Он убивает обидчика; и теперь юная героиня делает свой выбор: требовать ли казни убийцы своего отца — и навеки потерять любовь; или не проявлять настойчивости и постараться сохранить жизнь возлюбленного. Любовь и честь проявили себя в «Сиде» настолько равно, что ни одно чувство не победило, и автор предпочел примирить противоречия и поженить героев (следуя исторической правде, потому что случай не был им выдуман). Однако уже в следующей пьесе — «Гораций», — поставив героев между любовью и патриотизмом, Корнель жестко и безоговорочно выбрал патриотизм. Каждый зритель и каждая эпоха, быть может, пересмотрят это решение и тем самым выявят свое собственное отношение к грозной дилемме. Польза от подобных размышлений, конечно, велика, хотя не часто и не всем приходится сталкиваться с такими невероятными коллизиями.

Просветители восемнадцатого века пришли к убеждению, что искусство может приносить еще большую пользу, в том числе заурядному человеку в будничных делах. Люди

обычно сами справляются с житейскими неурядицами и не ищут ответа на свои вопросы в театре или книге. Однако любую проблему легче решить, если знаешь, в чем она заключается. Поколения враждуют, влюбленные расстаются, друзья ссорятся чаще всего по одной причине: они не понимают друг друга, не хотят понять, не думают, что это необходимо. Просветители восемнадцатого века считали, что поколения станут терпимее, влюбленные соединятся, друзья помирятся и все станут лучше от того только, что узнают друг друга, услышат точку зрения других людей, откроют в них те же чувства, что испытывают сами. Они не совсем ошибались: Карамзин совершил гигантский переворот в умах, показав, что «и крестьянки чувствовать умеют».

Восемнадцатый век ушел в прошлое. Гильотина Французской революции несколько подорвала веру во всепобеждающую силу его человеколюбивых идей. Поколение Грибоедова выросло в убеждении, что мир исключительно плох, так плох, что исправить его невозможно, а надо бежать от него, чем дальше, тем надежнее — на край света, в далекое прошлое, в мир сказок и снов. Сами молодые люди отнюдь никуда не убежали, они жили обычной, часто очень деятельной и полезной жизнью, но герои их любимых произведений обитали в другом измерении: в бесконечных странствиях, как Чайльд Гарольд или Вечный Жид Байрона; в глубинах истории, как герои Вальтера Скотта; в грезах, как герои Гофмана; в разбойничьих ватагах, как таинственный Сбогар Шарля Нодье. Таким путем авторы и читатели протестовали против гнусностей современного общества, не зная, как его исправить. Если же вдруг им приходил в голову какой-нибудь способ борьбы со злом, они хватались не за перо, а за настоящее оружие — и ввязывались в войну или революцию, как Байрон.

Грибоедов оба литературных пути своей эпохи считал бесполезными. Наивно надеяться, что люди станут лучше и зло само исчезнет; наивно надеяться, что зло победят отдельные героические личности. Зло, как и добро, вечно, но оно принимает разные обличья и распознается часто только по прошествии многих лет. А полезно было бы заранее понять, кто в толпе заурядных людей, собравшихся в обычной современной гостиной, достоин уважения, а кто — нет. Как правило, посторонние представляют человека не так, как его домашние. Если же изобразить персонажей в домашнем виде и в общественном, поставить в разные, но совершенно естественные, невыдуманные, непреувеличенные ситуации, которые заставят их проявить и лучшие и худшие стороны характера: каков будет итог? Кто покажется положительным героем, кто отрицательным? Весьма вероятно, ответ будет неоднозначным. Люди противоречивы; в каждом отдельном случае моральный перевес может оказаться на стороне разных персонажей, каждая отдельная часть публики может по-разному оценить их поведение и характеры.

Но это-то и замечательно! Образы, воплотившие какие-то определенные типы общества, как их сумел нарисовать автор, вернутся в исходную среду: люди с наслаждением бросятся узнавать знакомых («Вот он! А это она!»), самые глупые и неразговорчивые хоть гримасой покажут, кто им нравится, кто нет; самые недалёковидные увидят в родных и сослуживцах черты приятных или неприятных персонажей, припишут им поступки и чувства персонажей, осудят или восхвалят их именем персонажей. Чем правильнее автор изобразит общество, тем резче оно отреагирует: его возблагодарят те, кто себе понравился, разругают те, кто себе не понравился. Каждый словно подпишется под каким-нибудь персонажем: «Это я! и меня это раздражает (или радует)». Окружающим останется только сообразоваться с этой самооценкой. В каждую эпоху, может быть, люди станут по-разному решать, кто из героев хорош, кто плох. Но принцип самооценки каждого человека сохранит свою действенность.

В хорошем произведении значение будут иметь не только отдельные типы. Если автор сумеет вывести наиболее характерные проблемы современности, зрители вынуждены будут оценить и их. Что им покажется разумнее: протестовать против прошлого вместе с молодым бунтарем (не важно, в чем, собственно, заключается это прошлое и его бунт)? или воспевать незыблемую старину вместе с пожилым человеком, не принимая настоящего? или думать не

об общественных бедах, а о собственных чувствах? Каждый решит это для себя по-разному, но, каков бы ни был разброс убеждений, их равнодействующая, скорее всего, не останется на месте — воз сдвинется, общество признается самому себе, хочет ли оно идти вперед, назад — или просто в постель!

Автор тут не должен брать на себя роль судьи: он может в глубине души считать положительным героем того, кого осудят его современники или, может быть, потомки. Пока произведение будет отражать типы людей и их отношения между собой, существующие в жизни, до тех пор оно будет волновать умы, разделять мир на правых и виноватых. Исчезнут типы — забудется произведение. В этом его недостаток по сравнению с вечными созданиями Возрождения. Но нельзя же приступать к творчеству, думая сразу о бессмертии! Кроме того, это ведь очень интересно — предъявить свету его портрет и спросить: «Похож ли? нравится ли?» И посмотреть, кто и что ответит! Забавно!

Всего важнее правильно отобрать героев. Шаховской, например, полагал, что пьеса, рисующая картину современных нравов, обречена на успех. Ведь любому захочется взглянуть на свой портрет — даже если это карикатура. Точно так же любому обществу интересно увидеть себя со стороны. Однако Шаховской ни разу не преуспел; его персонажей никто не принял на свой счет, ни даже на счет соседа. Только в балладнике Фиалкине кое-кто узнал Жуковского, но только его одного, а прочие авторы баллад не обиделись.

В чем ошибся Шаховской? Он попытался просто изобразить людей, как он их видел и понимал. Этого недостаточно, это просто бессмысленно. Картина будничного существования заурядных людей покажется со сцены невероятно скучной. Кто пожелает смотреть на то, что и так видит каждый день? Театр обычно доводит житейские чувства и ситуации до предела, чтобы их значимость дошла до самого невнимательного зрителя: конфликт поколений отцов и детей на сцене доходит до отце- или детоубийства; беды влюбленных — до обоюдного самоубийства; препятствия к свадьбе — до похищения невесты; долги — до разорения благородного семейства; злословие, глупость и тщеславие на сцене превращаются в клевету, сумасшествие или манию величия; добронравие, ум и совесть — в жертвенность, гений и подвижничество. Авторы словно исходят из предположения, что публика глупа и глуха и менее яркие характеры и столкновения не поймет и не услышит. Авторы, конечно, правы. Так не следует ли заменить скрипки в оркестре барабанами, речь актеров — криком, нормальный шаг — бегом или ползанием, образ — карикатурой, описание — эпиграммой, сюжет — скандалом, намек — двусмысленностью; и, двигаясь по этому пути, последовательно снижать низкое, возвышать высокое, исключать золотую середину и лишать происходящее на сцене всякого правдоподобия? На том стояла, стоит и, видимо, всегда будет стоять драматургия. И Шаховской после ряда неудач пошел именно по пути привлечения внимания зрителей любыми способами.

Однако не всегда жизнь неинтересна тем, кто к ней привык. Если произведение столкнет лбами тех, кто в обычных условиях старается держаться врозь, дабы не ссориться лишний раз; если оно заставит заговорить молчаливых; если доведет до логического конца конфликты, редко исчерпывающие себя в быту — тогда оно затронет души зрителей, разбудит их мысль, разбудит их самих! Мало создать зеркало, в котором отразится общество с его чувствами и пороками, надо убедить зрителей в его достоверности и заставить оценить изображение.

Зачем? Грибоедов не думал, по примеру просветителей, что литература способна исправить людские недостатки и улучшить нравы, если их показать во всей полноте. Нет, эти наивные мечтания канули в Лету, хотя его молодые друзья, вроде Кюхельбекера, чуть ли еще не сохраняли прежние иллюзии. Но самому Грибоедову казалось просто интересным — рисовать современного человека, каким он его понимает и, к своему несчастью, слишком часто встречал. «Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог весть!» Вдруг общество решит, что никакой болезни нет и все замечательно? Или сочтет нужным отрезать именно здоровую часть организма? Его дело. Значит, оно этого и заслуживает.

Грибоедов не считал, что поставил себе какие-то новые задачи, несвойственные

искусству прежних веков. Он ведь не мог ни с чем сравнить свои замыслы. Подобных им раньше не существовало ни в русской литературе, ни в мировой. Ему было важнее решить, куда поднести свое зеркало. Ясно, что петербургская, московская или деревенская жизнь, не говоря о кавказской или польской, отразится в нем очень по-разному. Идеальны были бы воды с их пестрой смесью сословий и состояний, нигде более не возможной. Шеридан и Шаховской отлично воспользовались свободой нравов «водяного общества». А Вальтер Скотт в одном из романов умудрился поместить в этом легкомысленном мирке мрачную трагедию. Но вот беда — в России больше не было модных источников. Липецк заглох с концом войны, а Ермолов, как ни старался, пока не смог привлечь дворян в едва построенные Пятигорск и Кисловодск. Через несколько лет ему это, несомненно, удастся, пока же от болезни и скуки люди ездили на заграничные курорты. Но нельзя ведь действие русской пьесы развернуть где-нибудь в Карлсбаде или Баден-Бадене? а если и можно, Грибоедов там не бывал и не сумеет их правильно изобразить. Другое место объединения всех, без различия сословий и состояний, — это ярмарка. Однако ее торгашеский дух проникает повсюду, идет ли речь о поиске женихов и богатых невест, лошадей, карточных партнеров и тому подобного. На ярмарках Россия выступает в слишком неприглядном свете, чтобы можно было счесть его истинно верным.

Где же русская жизнь предстает в своем естественном, «национальном» обличье? В Петербурге? Едва ли. Там существование дворян, торговцев, мастеровых, даже воспитанников закрытых учебных заведений вращается вокруг двора и гвардии: оживляется с их приездом, замирает с отъездом. Такие приливы и отливы несвойственны другим городам. К тому же Петербург, полунемецкий, казенный, холодный, приятен только развлечениями: балетами и танцовщицами, спектаклями и актрисами, ресторациями и цыганскими певицами. Здесь трудно найти простые человеческие отношения, здесь только труд или молодецкий разгул — и утреннее похмелье.

Деревня? Вот замечательное место действия, где в соседних имениях можно поселить кого угодно: и философов, и опальных вельмож, и неучей-помещиков. Они съехались бы на празднование, например, именин — какое смешение лиц, какие возможности для столкновений! Но это хорошо бы смотрелось в романе. На сцене же, если передавать жизнь без прикрас и исправлений, пришлось бы вывести гостей со всеми чадами и домочадцами: детьми всех возрастов, няньками, моськами, учителями и так далее и тому подобное. Конечно, это недопустимо, в подобном гвалте нет смысла, а если бы и был — кто его уловит? Если же обойтись без праздника, пьеса ограничится узким кругом родственников и друзей, живущих в одном доме. Их быт и нравы уже описали и Фонвизин, и Клушин, и недавно Шаховской, и многие другие. Стоит ли идти по чужим стопам?

Захолустный городок, как в «Замужней невесте»? Тут, конечно, на празднество не обязательно свозить детей и мосек. Однако в провинциальном медвежьем углу трудно собрать разнообразных персонажей. Вельможи и философы могут жить в деревне, но не в уездной дыре. Они или проводят зиму и лето в столицах, или уж у себя в имениях. В городах живут бедные помещики да безземельные дворяне, помимо обычных мещан и купцов; и опять же, Грибоедов в них бывал лишь проездом, если не считать Польши.

Москва? Древняя столица, средоточие русской истории, русского стиля, русского духа, где можно увидеть гвардейцев и мелких чиновников, университетских профессоров и французских танцмейстеров, титулованную знать и степных помещиков. Замечательно; однако московское общество нетипично засильем женщин, играющих куда меньшую роль во всех прочих городах и селах России. Кроме того, среди действующих лиц пьесы нельзя будет вывести служащих семейных мужчин, редких в Москве, а ведь они являются все-таки основными действующими лицами в империи!

Кажется, придется признать, что российскую жизнь вообще нельзя перенести на сцену во всей полноте и естественности, без переделок или перекосов? И как можно решать этот вопрос, лежа в Тавризе?!

Можно, по крайней мере, подумать о другом: писать ли пьесу стихами или прозой?

«Студентом» и «Притворной неверностью» Грибоедов доказал себе и окружающим, что одинаково владеет тем и другим слогом — впрочем, в его поколении это не было удивительно. Значит, выбор должен определяться не его возможностями, а тем — что предпочтительнее?

Литературные критики разных веков утверждали, что александрийские стихи следует использовать для повествования о возвышенных чувствах и предметах — в трагедиях и «высоких» комедиях; прозаическая же речь подходит для изображения житейских, будничных дел — в драмах, мещанских трагедиях и «низких» комедиях. Авторы плохо соблюдали эти достаточно расплывчатые правила. Мольер позволил себе «высокую» («высочайшую», ибо герой в финале проваливается в ад) комедию «Дон Жуан» написать прозой. А Шаховской одноактную пьеску из светской жизни «Какаду», полную бытовых мелочей, сочинил стихами — правда, вольными, а не александрийскими. Великий из великих, Шекспир, заставлял одних и тех же героев говорить между собой то прозой, то стихами, смотря по тому, беседуют ли они о серьезных материях или о пустяках. Словом, никакой логики не существовало.

Однако русские литераторы к началу девятнадцатого века пришли к убеждению, что трагедию желательно писать стихами, драму — прозой, а комедию, особенно сатирическую комедию, — *непременно прозой*, то есть жанр пьесы заранее определял выбор слога. Грибоедов предчувствовал, что его пьеса, хотя едва ли получится очень смешной, не будет иметь трагического исхода и, следовательно, по принятой терминологии должна будет считаться «комедией». Он несколько лет не был в России, но сомневался, чтобы зеркало, куда бы он его ни поднес, отразило убийства или самоубийства: они, конечно, случались, однако не составляли явления в современном обществе. Да кроме того, Карамзин и все сентименталисты, кажется, до предела использовали драматические эффекты самоубийств, так что они стали восприниматься читателями и зрителями иронически, если речь шла не о каких-то отдаленных странах и эпохах, а о собственном их времени.

Комедия должна быть прозаической... Писатели двух противоположных станов придерживались одинакового мнения. Фонвизин и его последователи (Крылов, Клушин) полагали, что проза точнее передает разговорную речь и, следовательно, вернее рисует жизнь. Клушин даже дошел до того, что реплики персонажей передавал фонетически, со всеми особенностями их произношения, и только авторские ремарки писал по правилам грамматики. Были ли они правы? Конечно.

С другой стороны, и Шишков со своей «Беседой» не любил стихотворных комедий: мол, если они талантливы, стихи приобретают разящую силу, врезаются в память публики, превращаются в крылатые выражения и эпиграммы — а разве в этом назначение театра? Пьеса должна будить чувства, а не рассыпаться на каламбуры и острые словечки. Шаховской, приверженец Шишкова, хотя писал комедии в стихах, не возбуждал недовольства адмирала — ни единая строка князя не запоминалась зрителям, ни единым афоризмом не обогатил он русскую речь. Его творчество показывало все недостатки стихотворных пьес: негладкий слог, недочеты в рифмах затрудняли понимание текста, зрители теряли нить действия — и засыпали или покидали театр, дабы не подумать, что виноваты сами, а не автор.

Стихи, которые Шишков считал вредными, которые не удавались Шаховскому, имели и очевидные достоинства. Если они были хороши, они воспринимались легче прозы; рифмы организовывали внимание, услышав одну, зритель невольно ждал продолжения, следил без напряжения за сюжетом и незаметно досиживал в зале до конца. Спору нет, прозаическая речь естественнее, но не следует же из этого, что автор должен сесть в уголке гостиной, записать с точностью все услышанное за день и представить на сцене! Такой опыт был бы поучителен, но кто же стал бы смотреть на него и слушать? В театре мало сочинить превосходную вещь — нужно еще привлечь побольше публики. Шаховской добивался этого карикатурами на лица, скандальностью сюжетов и пышными постановками... Но это бесплодный путь, путь пьес-однодневок.

Что же правильнее? Грибоедов отлично представлял трудности, стоящие перед драматургом в бурлящем, равнодушном ко всему театре. Ножки актрис, пародии на известные фигуры или хоть барабанный бой из оркестра проще всего привлекут зрителей, но неужели нет иных средств?

«Как же требовать внимания от толпы народа, более занятого собственной личностью, нежели автором и его произведением? — размышлял он. — Притом, сколько привычек и условий, нимало не связанных с эстетической частью творения, — однако надобно с ними сообразовываться. Суетное желание рукоплескать, не всегда кстати, декламатору, а не стихотворцу; удары смычка после каждых трех-четырех сот стихов; необходимость побегать по коридорам, душу отвести в поучительных разговорах о дожде и снеге, — и все движутся, входят и выходят, и встают и садятся. Все таковы, и я сам таков, и вот что называется публикой! Есть род познания (которым многие кичатся) — искусство угождать ей, то есть делать глупости».

То ли дело судьба поэта, обращающегося к читателям: «Не вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, — но его поняли, всё уже внятно, и ясно, и сильно...» Конечно, не все читатели равно восприимчивы к поэтическим шедеврам, но и худшие из них, зевая и отбрасывая книгу или журнал, не помешают остальным наслаждаться поэзией, в то время как в театре один невежда с дурными манерами способен испортить впечатление от спектакля всему зрительному залу. Что ж! недаром драматургия считается сложнейшим из всех видов искусств. Глупцов не победить, но обычную публику можно все-таки отвлечь от болтовни и удержать от перемещений по театру. Гибкий вольный стих, живой, острый диалог может этому немало поспособствовать. Фонвизин стоял за прозу? — но в его пору не сложился еще разностопный ямб (да и сейчас им никто толком писать не умеет). Еще лучше было бы творить со свободой Шекспира, чередуя стихи и прозу, комедию и трагедию. Но Шекспир в России почти никому не был известен, даже во французских переводах. Сам Грибоедов открыл его для себя только в Персии, а ведь он знал английский. Такая пьеса была бы непонятна русским актерам — они приняли бы ее за комическую оперу или водевиль, где разговоры перемежаются куплетами и самые значительные монологи просто пропели бы! А если заставить их играть всерьез, зрители пришли бы в недоумение, поскольку нигде в мире драматурги не следовали по пути Шекспира и не приучили публику к смешению стилей.

Но оно и не обязательно. Важнее всего неожиданное чередование, естественное, «как в природе, всяких событий, мелких и важных: чем внезапнее, тем более увлекают в любопытство, — решил Грибоедов. — Пишу для подобных себе, а я, когда по первой сцене угадываю десятую: раззеваюсь и вон бегу из театра».

Все эти долгие, ленивые, как в полусне, раздумья привели Грибоедова к одному выводу: сочинять пьесу надо в вольных стихах, которые ближе всего стоят к разговорной речи и в то же время образнее, ярче, афористичнее ее.

Но мало решить, *как* писать; надо решить, о чем писать. Или не надо? С тех пор как Эсхил и Аристофан создали первые образцы трагедий и комедий, сотни европейских драматургов сочинили тысячи пьес. Они вывели, кажется, все мыслимые типы и характеры, использовали все мыслимые ситуации. Что тут можно выдумать нового? А петь на старый лад — стоит ли изводить бумагу?

Однако сколько ни перебирай в памяти великие и малые произведения, они, хоть и разнятся между собой, имеют одно общее свойство: интригу. На сцену выходят герои и, движимые какими-то внешними обстоятельствами или внутренними побуждениями, начинают действовать во имя своих или чужих целей. Обычно не все персонажи имеют осознанные или неосознанные желания, но хоть несколько из них — обязательно. Их усилия часто кончаются трагически, столь же часто разрешаются к общему удовлетворению, реже ничем не завершаются, или финал оставляет повисшие вопросы (а у плохого автора — даже повисшие концы сюжета), но интрига — то есть целенаправленные поступки действующих

лиц, подчиненные общему плану, придуманному автором или взятому из истории, — интрига присутствует во всех пьесах. Иначе, кажется, и нельзя.

Однако разве так бывает в жизни? Конечно, большинство людей стараются подчинить себе обстоятельства. Они заботятся о карьере, заводят семью, обустраивают жилье, обдумывают разговор с важным собеседником... Словом, ставят себе определенные задачи и пытаются их выполнить, удачно или нет. Как в пьесе с интригой.

Но в жизни их желания постоянно сталкиваются не только с противоположными желаниями других людей, а просто со случайностями, когда замыслы разрушаются, хотя никто сознательно им не противодействовал, и тогда остается признать, что «обстоятельства были против». Карьера не складывается, например, по неспособности к учению; семью губит неопытность врача; дом сгорает от свечи, сброшенной собачьим хвостом; а собеседник забывает о назначенной встрече... Случай играет огромную роль в жизни.

Но случай не драматургичен. Нельзя сочинять пьесу, построенную на нелогичных поворотах сюжета. Это было бы ничем не лучше пресловутого *Deus ex machina* древних, которым нет-нет да пользуются и современные неумелые авторы, когда, запутавшись в интриге, они разрешают ее каким-нибудь необоснованным, в самом конце из ниоткуда взявшимся объяснением.

Интрига и случай — равно неестественны. Войдем невидимкой в любой дом, во множество домов. (А действие русской пьесы не может протекать вне дома. В России нет маленьких уютных площадей, окруженных домами с балкончиками, которые были столь удобны европейским драматургам. На такой площади встречались соседи, прохожие не мешали их разговорам, но могли появиться, если в них была нужда; вокруг балконов строились любовные сцены; было где устроить поединок на шпагах, потасовку слуг — единство места соблюдалось превосходно. Но в России уличная жизнь неразвита: летом героев можно вывести в сад или публичный парк; но нельзя же им там гулять целый день! К тому же летом почти все уезжают из города в деревню — и всплывают трудности изображения деревенской жизни. Европейцы, кроме городских площадей, могли использовать для встреч разнообразных персонажей кафе, а в России и их не было. Существовали рестораны, кондитерские и модные лавки, но круг их посетителей был очень ограничен: мужчины не посещали лавки, приличные дамы — ресторан, в кондитерских всегда сидели дети. Существовали присутственные места, где в приемных могли ожидать посетители всех слоев, пробегать чиновники всех рангов, но здесь показались бы совершенно невероятными встреча влюбленных, семейные неурядицы и вообще обычная жизнь. Существовал театр, но залу на сцене не разместить, а за кулисами кого можно изобразить, кроме актеров, писателей и гвардейцев? Итак, остается дом.) После некоторого колебания Грибоедов выбрал Москву как место действия пьесы, ибо жизнь его родного города была лишена всяких петербургских и оренбургских крайностей.

Что же случается в заурядном московском доме? Так ли уж часто происходят здесь незаурядные события? Не чаще ли его обитатели просто утром встают, днем занимаются делами, вечером ложатся спать? в свой черед, без больших приключений, вступают в брак, в свой черед, без «помощи» врагов, умирают? Почему бы не построить пьесу совершенно не традиционно? Не разделять ее течение на обязательные 1–3–5 актов, но подчинить не театральным законам, а естественному порядку вещей (откуда взялось непременно нечетное членение? Оно, может быть, обладает драматическими преимуществами, хотя успех пьес, случайно лишившихся одного акта — как «Севильский цирюльник» Бомарше, срочно сокращенный автором после неудачной премьеры, — показал, что само по себе число частей не имеет ни малейшего значения). Жизнь кратна четырем: существуют четыре времени суток, четыре времени года, четыре возраста человека. Изобразить на сцене развитие человека от детства до старости было бы слишком неудобно; даже один год тянется слишком долго. А вот изобразить один день легко и просто — и правы были древние, настаивая на единстве времени, когда действие пьесы укладывается в двадцать четыре часа. Это требование не следует понимать буквально: неразумно втискивать в сутки события, которых

хватило бы на три года! Но в одном дне русского дома столько событий и не окажется. Если собрать здесь обычных людей и поставить их в правдоподобные отношения между собой, едва ли они совершат что-то небывалое! Поучительнее всего показать их день целиком. Люди властны над многим, но остановить восход и заход солнца они не в силах. Некоторые пытаются не замечать солнце: превращают полдень в утро, а ночь — в день. Но это удастся до поры, чаще всего даже самым независимым натурам приходится следовать принятому распорядку дня. Пусть же неумолимый ход часов с неотвратимой точностью станет определять не только ритм, но весь смысл действия.

Мысль показалась Грибоедову настолько увлекательной и простой, что он пришел в недоумение, почему никто не воспользовался ею раньше — ведь правило «единства времени» существовало более двух тысяч лет. «Безумный день» Бомарше охватывал, правда, одни сутки в одном замке, но течение пьесы определялось поступками персонажей, а не бегом минут. «Липецкие воды» Шаховского тоже изображали день с утра до ночи, но герои действовали вне всякой связи со временем суток, разве что тайные свидания назначали на ночь. А в прочих пьесах действие начиналось, когда это было угодно автору, а заканчивалось (в этот же день), когда проблемы героев разрешались свадьбой или гибелью. Критиков, вероятно, удивит четырехактное членение пьесы, но для тех, кто сам не разберется в замысле, Грибоедов предполагал написать в начале каждого действия: «Утро», «Вечер» или «Ночь» — так станет понятнее.

Первое действие покажет утро в доме: волей-неволей его обитатели покинут спальни, с началом дня оживут хлопоты, возникшие не сегодня, но притаившиеся в ночной тиши. Второе действие — время от завтрака до обеда; в доме, по принятому обычаю, появятся утренние посетители, без особого приглашения, поэтому их выход на сцену не потребует никакой мотивировки. Третье действие — вечер. Поскольку нельзя будет опустошить сцену, отправив обитателей дома в театр или в гости, можно будет собрать гостей у них в доме (это вполне оправданный ход; ведь редкий вечер дворяне проводят в узком семейном кругу). На праздник, естественно, съедутся все те типы общества, которых не оказалось среди обитателей дома. Четвертое действие — ночь; волей-неволей гости разъедутся, их уход со сцены не потребует иного объяснения, кроме боя часов. Хозяева останутся одни, воскреснут их утренние проблемы, если не были прежде решены, но ночь их притушит, заставит отложить на завтра. День закончится... Земля продолжит безостановочное вращение, неизбежно наступит новый день, принесет те же или подобные трудности... И день уйдет в вечность, воплощая бесконечный ряд обычных дней. Зеркало отразит не один день одного дома, но множество дней множества домов, словно отражение зеркала в зеркале, создающее иллюзию мириад зеркал...

Что ж, время, место и слог пьесы определены. Теперь всего важнее понять, какими людьми надо населить сцену, а уж свои взаимоотношения они смогут выявить сами. Кто типичнее всего среди действующих лиц России?

Грибоедов перебирал в памяти знакомых, поскольку в Персии он с ностальгией вспоминал о них, даже о московской родне. Он вспоминал о них и потом, по дороге в Россию, с волнением предвкушая новые встречи. Он думал о них и в Москве, расспрашивая сестру о судьбе прежних друзей и приятельниц или прося тихонько подсказать забытые имена и лица. Кто вспоминался ему прежде всего?

Конечно, дамы. Например, старухи, подозрительные ко всему и всем, глухие к любым доводам, скорые на обвинения, судящие безапелляционно безо всякой оглядки на факты. Они проявляли глубокий интерес к действиям правительства и политике (потому что окружающих по слабости зрения и слуха почти не замечали), но преломляли настоящее сквозь призму старческих представлений, безнадежно устаревших. С ними нельзя было не считаться: они великолепно умели портить всем настроение, непонятно — со зла или по тупости. Их душевная глухота часто сопровождалась глухотой естественной, но отнюдь ею не определялась. В то же время они порой бывали проницательны, поскольку на их памяти

всё уже случалось (люди ведь не так оригинальны, как им кажется), они судили по аналогии и оттого иногда яснее представляли развитие характеров и событий, чем менее опытная молодежь. Пожалуй, любая дама на красных каблуках, в фижмах и парике, соответствовала этому типу и — увы! — он не исчезнет, как исчезнут когда-нибудь каблуки и парики.

Вот хотя бы княгиня Наталья Петровна Голицына, рожденная Чернышева. Она жила при дворе еще во времена Елизаветы Петровны; родные ее братья пользовались особым расположением Екатерины II в бытность ее великой княгиней и были сосланы от греха подальше; Наталья Петровна не пострадала — с молодости она отличалась уродством, имела усы и бородку; но вышла замуж благодаря родственным связям и богатству, нарожала детей, много путешествовала. При дворе Людовика XVI играла не последнюю роль; когда же короля обезглавили, она и не подумала покинуть Париж — ей-то что! — и только оттого и заметила революцию, что в карете стало трудно проехать по городу да визиты стали редки: к кому ни приедешь — казнен! Она всегда была своенравна и надменна, особенно с теми, кто менее знатен, но умела быть и приветливой. Дожив до глубочайшей старости, она всех, кто помоложе, считала молодежью; своих шестидесятилетних детей, навещавших мать, помещала в детских на антресолях и строго приказывала дворецкому следить, чтобы «Митенька не упал, сходя с лестницы». Ей было уже почти сто лет, а умирать она и не собиралась. Конечно, ее портрет не нарисуеть в пьесе — слишком яркий, необычный характер; но разве мало менее известных старух такого же склада? Для смеха подобной героине можно бы придать немецкий акцент: не потому, что она немка — в этом нет ничего смешного, а потому, что воспитывалась еще не француженкой-гувернанткой, а остзейской бонной, как полагалось во времена дедов Грибоедова. Деды-то умерли так давно, что Александр их не помнил, но сверстники дожили в здравии до 1823 года и по-прежнему считали, что немецкий акцент изящен, Французская революция была вчера, а императрица Екатерина еще молода.

Или другие старухи, помоложе, пока не глухие, не склонные к подозрительности, по-своему добрые, но беспрекословно требовавшие уважения к себе и ко всему, что они сами уважают. Они менее интересовались политикой, чем окружающими, потому что были свободны от любых забот и считали себя вправе быть судьями над людьми, которых видели и слышали. На них держалось общественное мнение: они открыто корили всех, кто им не нравился, но способны были на дружелюбие к тем, кто им нравился. Они не делали сознательно ничего дурного, твердо стояли на страже нравственности и справедливости — но горе тем, кто понимал эти слова иначе, чем они!

Такова была и оставалась в Москве Настасья Дмитриевна Офросимова, уже раз попавшая в комедию графа Ростопчина в виде разносчицы вестей Набатовой (в ту пору она была моложе и активнее). В 1823 году она могла только сидеть в углу с грозным видом и гнать от себя мужчин в белых панталонах, понося их за бесстыдство. Правда, у нее громогласность и самовластие были формой чудачества: так уж себя поставила, ничего другого от нее не ждали и были бы, пожалуй, разочарованы, поведи она себя мягко. Истинный ее портрет в пьесу не подойдет — нетипичен, но в смягченном, упрощенном виде — это вечный образ.

Конечно, бывали и совсем иные старухи — умные, добрые, всепонимающие, как Елизавета Петровна Янькова (хотя и она не без греха: не выдала же она дочь за Федора Толстого за то лишь, что тот любил рисовать). Но таким героиням на сцене делать нечего: чистые добродетели, как и пороки, не затрагивают чувств зрителей и попросту усыпляют их.

А матери дочерей-невест? Обходительные по необходимости, равнодушные ко всему, что не имеет выгоды для дочек, они жили только для них, строили их судьбу; если дочери им не противоречили, они были к ним добры; если же не ценили их порой непрощенных забот — взрывались бешенством. Тут на ум приходила известная Марья Ивановна Корсакова, которая в 1823 году сбывала двух последних дочек и не обошла вниманием и Грибоедова, тем более что один из ее сыновей, Сергей, проявлял интерес к его кузине Софье Грибоедовой, которой недавно минуло семнадцать лет. Марья Ивановна — высший тип такого рода, но прочие

маменьки, хотя зауряднее, все на нее похожи.

Хорошо было бы изобразить и мать единственного сына, часто подавляющую в нем энергию и лучшие качества или направляющую их в неверное русло, портя его характер и жизнь. Грибоедов слишком хорошо знал подобную особу, но за попытку вывести на сцене собственную матушку недолго было и на Соловки попасть, притом все признали бы, что за дело!

Но есть отчасти схожий тип: молодая жена, еще без детей, счастливая обретенным положением дамы и радостно перевоспитывающая мужа, постоянно ругая его и опекая на людях, точно малого ребенка. Бедняга чаще всего с горя спивался, и она винила в этом кого угодно, но не себя; объяснить ей вредность ее поступков никто бы не смог: она-то полагала, что заботится о нем из лучших побуждений. Избранницы ближайших друзей Грибоедова, Бегичевых, нисколько не походили на этот образ. Анна Ивановна Барышникова была умна и добра и отчасти напоминала Александру его сестру Марию; а Александра Васильевна Давыдова, жена Дмитрия, в дополнение к обычным добродетелям, с юности привыкла вести хозяйство своей пожилой теткой и трех братьев, служивших в армии. Ее усилия заслужили благодарность всей семьи и в то же время не уменьшили ее женственности и веселости. Обе дамы предоставляли своим мужьям жить, как те хотели (хотя сами были богаче и, пожалуй, влиятельнее), и поддерживали все затеи Степана и Дмитрия, будь то хороший стол или сочинительство романов.

Однако и жен-командирш повсюду хватало. В Москве блистала Прасковья Юрьевна Кологривова, урожденная княжна Трубецкая, по первому браку княгиня Гагарина. Первого мужа она потеряла в ранней молодости; он погиб при штурме Варшавы, а сама она попала к полякам в плен и в тюрьме родила дочь. Суворов освободил ее; она долго не выходила замуж вновь, скорбела по мужу, но потом понемногу начала вести светскую жизнь: играла в спектаклях, поднималась на воздушном шаре (!) и открыто покровительствовала интересным молодым людям. Под старость, теряя привлекательность, вышла за отставного полковника кавалергардского полка; он был так горд оказанным ему предпочтением, что как-то на балу одному из великих князей, спросившему его, кто он, Кологривов, растерявшись, ответил, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, это звание важнее всех своих чинов. Жена верховодила им, не оставляя в то же время заботу о молодых людях. Едва ли во всей России хоть одна знатная дама (не говоря о незнатных) летала по воздуху, кроме княгини Гагариной; сама она — исключительна, но в упрощенном виде — это распространенный тип.

А старые девы? Еще не потерявшие надежду на замужество, они при всяком случае демонстрировали таланты и знания, коль скоро красоты и молодости уже не было; они находились в курсе всех новостей, мод и сплетен; страдали резкими перепадами настроения (в душе — от надежды к отчаянию, внешне — от очарования к грубости). Они, конечно, бывали очень разными. Сестра Грибоедова Мария в тридцать один год отличалась ровным, благородным нравом и сердечной добротой. Среди ее близких подруг были известные «три фации Москвы» (за глаза именуемые «тремя Парками»), Елизавета Нарышкина, Мария Волкова и Александра Пашкова, все фи знатные, очень некрасивые, донельзя гордые и привередливые. Они не только не гонялись за женихами, но отталкивали и тех, кто мог посвататься к ним, прельстившись их родством, состоянием и положением при дворе. Все три были слишком умны и сильны духом (особенно Волкова), чтобы удовлетвориться охотниками за приданым, поэтому предпочли остаться незамужними. Но были особы и попроще, пообычнее, например Александра Благово, родственница Яньковой, великая советодательница и болтуня, кого угодно закомандует, заключает, заговорит до дурноты — а потому, что надеется выделиться.

Всего занятнее были юные девицы: они всегда сбивались в стайки, хохотали, бегали и разрывались между желанием быть как подружки и стремлением выделиться из их числа и привлечь взоры молодых людей. Они радовали взор, но удручали слух и часто становились рупором чужих идей, за неимением собственных, рупором любых идей, за неумением в них разобраться; они заглушали более тихие голоса своим криком. Особенно тяжело было

общаться с сестрицами, близкими по возрасту, которые и дома не расставались, как, например, в семействе князя Павла Петровича Шаховского, который имел четырех маленьких сыновей и шесть дочерей постарше. Две младшие девочки тянулись за старшими и выросли раньше времени, а старшие приноравливались к младшим и казались моложе своих лет — оттого все шесть почти не разнились между собой, и даже матушка их не различала, вывозя скопом на вечера к родственникам (не на балы, куда маленьким было не положено являться). Княжны были веселыми, дружелюбными, недурными собой, но сколько же они производили бессмысленного шума!

Встречались, однако, девицы совсем иного склада: они подчеркнуто сторонились сверстниц, считали себя выше их, презирали всех, стремились утвердить новый взгляд на мир — новый по сравнению со старым, каким бы старый ни был. Они не имели силы заявить о себе громко и протестовали скрытно; если же необходимость заставляла их высказаться — поток их слов и чувств сметал всё, разумное и неразумное. Они сами искали себе мужа и никогда не соглашались с выбором родителей, даже не видя претендента на свою руку. Они очень редко становились счастливыми — и только потому, что ощущали себя не такими, как все, даже если их отличия были воображаемыми. Они всегда находились в меньшинстве, но в их среде зрело и развивалось то, что отличало каждое поколение женщин от предыдущего, хотя и сохраняя с ним преемственную связь.

Этот тип, при всей скрытности, иногда производил удивительных женщин. Предельный случай, конечно, это Надежда Александровна Дурова, кавалерист-девица, которую отлично знал как боевого товарища Денис Давыдов и рассказал как-то о ней сестре и зятю Бегичеву без насмешки, с каким-то недоумением перед непонятым явлением. Дурова не открывала своего пола, ничего о себе не говорила — но само ее существование было вызовом привычному укладу вещей. Или чуть менее редкий случай: Маргарита Михайловна Тучкова, юная жена, тайком, переодевшись денщиком, сопровождавшая мужа в походах и сражениях. Ее судьба после Бородина, где Тучков героически погиб, заслуживала глубочайшего сострадания, в Москве ее бесконечно уважали, но это-то было обычным, а вот скрытый молодой задор, переодевание мужчиной — казались удивительны. Ни та ни другая героини не годились в бытовую, не романтическую пьесу, но у них имелись более заурядные последовательницы.

Таковы те женщины России, образы которых были достаточно противоречивы и потому интересны. Разного рода злодейки, ангелы, мотовки, кокетки, неверные жены не привлекали Грибоедова: их легко распознать с первого взгляда, они не вызывали колебаний в оценках, они сто раз выводились у других авторов; в 1823 году их фигуры не казались поучительны. Существовали еще ученые женщины, действительно увлеченные наукой и творчеством, выказывавшие нечто явно новое, например любовь к родному языку. Грибоедов хорошо знал одну из них — Варвару Семеновну Миклашевич, но образ синего чулка, как его ни смягчай, был далеко не однозначен, и он побоялся обидеть Жандра нечаянной критикой; к тому же этот тип был еще крайне редок.

Александр не делился своим замыслом с Бегичевым, потому что тот был слишком занят да, кроме того, предпочитал судить текст, а не план текста. Зато Мария была глубоко встревожена намерениями брата. Она возмутилась его желанием нажать кучу врагов себе — а еще более ей: ведь станут же шептаться, что злая девка Грибоедова указала брату на оригиналы! Ему-то безразлично, он уедет в Петербург, в Грузию, в Персию; а ей жить со всеми обиженными, встречаться каждый день и куда ж деваться от общего раздражения и осуждения? Александр утешал сестру, говоря, что никто из ее знакомых никогда не припишет ей склонности к злословию за спиной друзей; он, конечно, готов в угоду сестре перенести действие из Москвы в какую-нибудь Чухлому, но ведь это не поможет, все равно сплетники будут выискивать черты сходства персонажей с реальными людьми, — и это неизбежно, в этом и состоит его задумка (не в том, чтобы спровоцировать скандалы, а в том, чтобы заставить людей оценить себя и других).

Теперь Грибоедов обдумывал выбор героев-мужчин.

Совсем старых стариков, в париках и кафтанах, не имело смысла изображать: их число в обществе в силу природы вещей всегда ничтожно мало; они порой производят сильное впечатление, но слишком, слишком редки.

Другое дело, старики помоложе. Некогда влиятельные и полезные люди, или, может быть, ничтожные и злобные, или повесы и даже фавориты государыни, или неучи и гонители наук — с возрастом они сравнялись; окружающие относились к ним одинаково. Их уважали за продолжительную жизнь (хотя это едва ли их заслуга), их берегли, но на них не обращали внимания. И они ни на что не обращали внимания, ограничивая свои желания простыми вещами — поспать в уголке, поесть, еще поспать. В отличие от своих активных сверстниц они мало или вовсе не интересовались политикой и людьми. Они оставались глухи ко всему и даже не пытались воображением или подручными средствами преодолеть глухоту. Таких лиц не стоило бы и выводить на сцену, но надо же показать, во что — увы! — могут превратиться нынешние молодые люди. Пусть посмеются сейчас — через полвека будут смеяться над ними.

Над старостью смеяться грех? Но старость не обязательно должна быть бессмысленной. Глухота — большой порок, но слуховые рожки давно изобрели, и даже крыловская мартышка знала, что существуют очки, хотя и не научилась ими пользоваться (вроде графа Гудовича). Поэтому демонстративная глухота в свете — чаще всего изощренное средство поиздеваться над собеседниками.

Вот, например, князь Николай Семенович Вяземский: некогда был храбрым суворовским офицером, получил ранение при Очакове, вышел в отставку полковником; вследствие контузии он стал немного глух, а к старости — еще и неимоверно скуп, но не это в нем было плохо. Сердце он имел доброе, но характер тяжелый и прескверный: чуть что не по нем, уходил к себе в кабинет и спал там целыми днями, молча выходил к столу, молча уходил спать — и так неделю, а то и две. Вся его семья страдала от этих нелепых приступов молчания, в такие дни он и со знакомыми не общался. Потом все проходило — до новой обиды. Детей своих он содержал бедно, и они даже не могли найти себе достойной пары в жизни. Порой его глухота была способом избежать неприятного разговора: князь прибегал к ней, если сыновья просили выделить им деньги или жена требовала купить что-то по хозяйству. Но стоило заговорить о подарке ему — слух князя чудесным образом прояснялся.

Впрочем, молчаливые старички все же лучше старичков шумных, судящих вкривь и вкось: те становятся похожи на старух. Всего интереснее старики-рассказчики, много повидавшие и умевшие живописать былое. Беседы с ними поучительны — раз, другой, третий; потом начинаешь замечать, что их истории повторяются и, прослушав каждую неоднократно, стараешься впредь не попадаться им на глаза.

А пожилые мужи? Еще в силе, в важных чинах, отцы семейств, хозяева в собственном доме, они растеряли уже надежды молодости, не приобрели еще старческого покоя и, если жизнь их сложилась не вполне удачно, мечутся, пытаются чего-то достичь последними усилиями, — и так и просятся в комедию. Тут Александру сразу же приходил на ум его дядюшка Алексей Федорович, по-своему достойный сострадания, как и все поколение, исковерканное Французской революцией. Теперь Алексей Федорович не давал даже балов и маскарадов и почитал смыслом жизни удачно пристроить дочь Софью, не затратив больших средств за полным их отсутствием. Свою старшую, Елизавету, он выдал за генерала Паскевича, как показало время — удачно, хотя зять не имел состояния и должен был постоянно возить семью с места на место, перемещаясь по делам службы. Для Софьи отец мечтал о надежном московском пристанище. Других забот у него не было.

Кое-кто из его ровесников еще служил — но какой в этом смысл, если не держишься за жалованье и прочие выгоды, как за последнее средство к существованию?

Грибоедов знал множество чиновников всякого ранга и не видел особой необходимости изображать их в пьесе. Служащий мужчина в расцвете лет — не тип в частной жизни; сознание важности своей деятельности или своей персоны, конечно, проявляется в его

поведении, но оно не связано с полезностью его труда. Человек может быть очень важен, занимаясь пустым делом, и наоборот. Достойные фигуры не заслуживают осмеяния, а глупое самохвальство или подхалимство легко показать на примерах более старых или более молодых персонажей. Зрители сами легко решат, каких чиновников в России больше: толковых или нет. Грибоедов встречал, особенно среди военных, яркие фигуры, полезные Отечеству — и Кологривов, и Ермолов обладали множеством достоинств. И даже мнительный и завистливый Муравьев, при всех своих несовершенствах, заслуживал уважения искренним желанием отличиться на благо родины. В Министерстве иностранных дел таких людей Грибоедову встречалось меньше; конечно, Завадовский, Всеволожский и даже Кюхельбекер могли бы служить с толком, но под гнетом неразумного начальства растрачивали себя впустую. Сам Грибоедов много и удачно действовал в Персии — но разве это к чему-нибудь привело? В других департаментах дела шли еще медленнее, хуже и часто совершенно в никуда. Все это прекрасно понимали: в молодости нельзя было не служить (то есть можно, конечно, но лучше все-таки было приобрести хоть какой-то чин), но в пожилых летах люди не выходили в отставку, только если достигали высших рангов, хотя бы сенаторского звания, — или уж от полной безысходности и разорения.

Вернувшись в Россию после пятилетнего отсутствия, Грибоедов с горечью заметил, что и в среде военных произошли огромные перемены. До Кавказа не докатилась волна аракчеевских нововведений — да Ермолов и не дал бы им ходу. Но в Москве Александр начал встречать военных, которые прежде не имели бы ни малейшей надежды выбиться из сержантов. В 1815-м или даже в 1818 году у молодых офицеров был за плечами боевой опыт, Париж, слава героических свершений — это придавало им значительность в собственных глазах, в глазах солдат и окружающих, значительность слишком очевидную, чтобы показывать ее нарочитой важностью и высокомерной грубостью к низшим. К 1823 году немногие из героев 1812 года получили продвижение. Большинство из них покинули службу, и им на смену, особенно в армии, выдвинулись новые типы, срисованные с Аракчеева: неродовитые, провинциальные, малокультурные, безынициативные, малоуважаемые, они не смогли проявить себя в боях, зато оказались весьма кстати при устройстве военных поселений и обучении солдат муштре и фрунту. В свете их очень не любили, особенно после семеновской истории: против такого именно полковника Шварца, жестокого и заносчивого, восстал три года назад Семеновский полк, не привыкший к неблагородным командирам, и приятель отрочества Грибоедова, князь Иван Щербатов, до сих пор сидел в крепости за участие в том выступлении. В Москве недоумевали: конечно, императору виднее, но жертвовать потомками княжеских родов ради какого-то Шварца — едва ли дальновидно. Теперь в армии награждались тупость и исполнительность, а живость и образованность преследовались. Даже дуэли в армии почти перевелись — видно, новые офицеры мало беспокоились о своей чести. Только гвардия, сплошь родовитая, воспитанная лучшими педагогами, воспринявшая традиции Отечественной войны, еще давала отпор Аракчееву. Но Семеновский полк был расформирован...

Многие молодые люди оставляли службу и, если не имели пристрастия к хозяйству или творчеству, женились и проводили время в бездействии, еле оживляемом игрой на флейте или игрой в карты. Грибоедов, хотя был бесконечно привязан к Степану Бегичеву, в глубине души сознавал, что его друг не использовал в жизни и сотой доли отпущенных ему талантов и сил. Правда, Степан не обладал ни малейшим честолюбием и приносил пользу уже одним своим облагораживающим влиянием на окружающих, которое в полной мере испытал и Грибоедов. Однако оно могло бы распространяться на большее число людей. Дмитрий Бегичев, например, сочинял роман, был деятелен, рассчитывал на высокий пост, на котором мог бы принести много добра. Степан же пребывал в праздности. Александр не был уверен, что его друг не прав. Так и Крылов полагал, что лень — единственное надежное прибежище от любых бед. Бегичев же считал, что каждому свое: Грибоедов должен служить и творить, поскольку не создан для безделья, сам же Степан не станет зря расходовать энергию, потому что в России это будет работой впустую.

Впрочем, не все молодые люди почитали бесполезный труд бессмысленным. В любом труде они видели единственный смысл — выгоду. Они полагали важным в начале карьеры не иметь своего мнения ни о чем, чтобы легче впитывать мнение вышестоящих и, следовательно, более опытных особ; ни в коем случае им не противоречить, потому что те лучше знают служебную жизнь; быть со всеми в приятельских отношениях, потому что в юности трудно решить верно, кто хорош, кто нет; оказывать всем небольшие услуги, поздравлять всех именинников и именинниц, потому что вежливость, хотя обременительна, может приносить пользу в будущем. Можно было бы сказать, что в них есть что-то от мольеровского Тартюфа или от Джозефа Сэрфеса из «Школы злословия» Шеридана, если бы не одно важное отличие: те герои лицемерили и знали это; молчаливые юноши были искренни! Они искренне считали, что их долг молчать, слушать, слушаться. Да и то сказать, высказавшись не вовремя, тотчас и получишь публичный нагоняй (с молодежью старики не церемонились): «Ах вы, негодные мальчишки! служили без году неделю, да туда же суетесь судить и рядить о политике и критиковать поступки таких особ! Знаете ли, что вас, как школьников, следовало бы выпороть хорошенько розгами? И вы еще называетесь дворянами и благородными людьми — беспутные!» Нужно было обладать из ряда выходящей смелостью и уверенностью в себе, на манер Чаадаева, чтобы заявить о себе в полный голос.

К примеру, Степан Жихарев, хотя еще в пансионе проявлял склонность к творчеству, не смел сам о нем судить, а полностью полагался на мнения известных авторов или актеров; буквально на коленях приближался к Английскому клубу или к Державину; при любом высказывании ссылался на знатных лиц; восхищался особами в орденах и лентах; наилучшей похвалой драматургу считал аплодисменты вельмож или, сверх чаяний, высочайшее одобрение; каждый день объезжал пол-Москвы с визитами именинникам — и всё не по зову сердца, не по взятой на себя обязанности, не даже ради карьеры или какой-то прямой выгоды, а по глубокому убеждению, что таков его долг младшего, подчиненного, неопытного. Выполнение долга перед людьми, как и перед Богом, приносило ему удовлетворение, само себя вознаграждало — а там и другие, может быть, вознаградят. Только среди лошадей и собак Жихарев становился похож на человека, имеющего свой взгляд на окружающих. А многие подобные ему и того не умели!

Например, пресловутые архивные юноши, служившие в Москве в архивах министерств без жалованья, ради простейшего продвижения в чинах. Безличные, бессловесные, безымянные, они едва заслуживали внимания, разве что выходили повесами. О них начальник одного из архивов, Павел Григорьевич Дивов, как-то удачно сострил, что их недостатки происходят оттого, что им с детства льстили все, от математического учителя до танцевального, а было бы полезнее послать их в манеж, потому что лошадь не льстит: неумелого тотчас сбросит. Во всяком случае, в искусстве верховой езды архивные юноши далеко уступали кавалеристам, были неловки в бальных залах, дичливы с дамами, рыхлы от неподвижности. В пьесе им не следовало бы и имени давать, чтобы не придать чрезмерной значимости, но как без имени? Назвать какой-нибудь русской литерой — ее придется прочесть как «г-н Наш» или «г-н Добро» — никакая фамилия не могла бы быть более «говорящей». А назвать латинской литерой — публика может счесть их иностранцами. Но все-таки фамилии они не заслуживают! Похожи на них были и пожилые, вечные юноши, неудачники, без семьи и пристанища, заядлые разносчики сплетен и скверных новостей, которыми привлекали к себе минутное внимание собеседников.

Среди молодых людей, как и среди девиц, непременно в любом поколении встречались те, кто не походил на большинство, кто проявлял новый образ мыслей и чувств, который, вероятно, только в следующем поколении завоюет всеобщее признание. Это были представители будущего, это был круг Грибоедова, его друзья, он сам, наконец. Ему казалось труднее всего объективно изобразить свою среду, не рискуя впасть в приукрашательство или встретить осуждение приятелей. Он предпочел бы выбрать героя из младших сверстников, не участвовавших в войне и оттого чувствовавших свою неполноценность и обиду на судьбу. Александр легко мог бы придать персонажу черты

забавной раздражительности, присущие Кюхельбекеру или молодому Пушкину, их романтичность и восторженность. Но он был слишком к ним близок, чтобы судить, насколько они типичны, а в чем неизмеримо превосходят сверстников, помимо творческого гения. Выбор представителя молодого поколения он пока отложил.

29 апреля 1823 года Бегичев женился. Грибоедов явился на свадьбу в самом веселом расположении духа. Перед венчанием священнику вздумалось дать молодым наставления в семейной жизни, и Александр, желая рассеять скуку, еле слышно перетолковывал на ухо Степану эту речь — каждое напыщенное или пустое выражение он доводил до предела, превращая в пародию на самое себя. Бегичев едва сдерживался, чтобы не расхохотаться в церкви. Однако долгая церемония, запах благовоний, монотонные звуки песнопений утомили Грибоедова. Он замолчал, в какой-то момент ему стало мерещиться, что он присутствует не на свадьбе, а на похоронах. Эти мысли удручили его — на Востоке их восприняли бы как дурное предзнаменование. Он с трудом удержал венец над головой Степана. Тот заметил бледность друга: «Что с тобой?» — «Глупость, мне вообразилось, что тебя отпевают».

Наконец всё счастливо закончилось. Бегичев недели на три заперся у себя, принимая только по необходимости родственные визиты. Грибоедов отдался развлечениям, которые предоставляла москвичам установившаяся теплая погода. 1 мая, спустя долгие годы, он съездил с дядей, Марией и Сонечкой в Сокольники и нашел там мало перемен: только поезда графа Орлова уже давно не было, за смертью старого вельможи. Целый месяц Александр ежедневно бывал в свете — на всех балах и праздниках, куда Настасья Федоровна вывозила Марию, на всех пикниках и дачах у знакомых и малознакомых. Даже Бегичев заметил перемену в образе жизни друга и как-то с неудовольствием указал ему на несерьезность и даже странность подобного поведения. Но Грибоедов спокойно отвечал: «Не бойся! время мое не пропадет». Бегичев про себя решил, что Александр изучает типы, которые мог бы использовать в пьесе, и перестал возражать. Так оно, в общем, и было, но Грибоедов не наблюдал жизнь со стороны, а искренне веселился, стремясь прежде всего стереть в памяти персидские страдания.

Впрочем, он вернулся из Персии, полный не только поэтических замыслов. В Москве ему встретился Александр Всеволожский, брат Никиты, такой же музыкант и богатч, но характером не буян и повеса, а человек спокойный, солидный и предприимчивый. От предков-золотопромышленников он унаследовал не только заводы, промыслы и земли, но и жажду приумножать капиталы, однако не нещадным порабощением крестьян и работников, а смелыми, авантюрными затеями. Всеволожский очень заинтересовался рассказами Грибоедова о богатствах Грузии и Персии, текущих в карманы англичан, хотя Россия к этим странам ближе и может быть им намного полезнее. Вдвоем они положили основать компанию по торговле с Персией: Всеволожский должен был найти вкладчиков с деньгами, Грибоедов — обеспечить участие персидской стороны. Они втянули в дело француза Шарля Эттье, прежде служившего офицером в Иране, в котором Грибоедов увидел идеал усердного и исполнительного комиссионера. Летом Всеволожский отправлялся по своим делам на нижегородскую Макарьевскую ярмарку и звал Грибоедова с собой. Тот обещал. Дома ему жилось скверно. Семейство, как всегда, собиралось в Хмелиты, но Настасья Федоровна ежедневно по многу раз напоминала сыну о необходимости возвратиться к Ермолову. Александр, однако, не собирался этого делать и просил о неопределенном продлении отпуска для поездки на лечение за границу без сохранения жалованья. Нессельроде, через ходатайство Ермолова, просьбу уважил. И Грибоедов с легкой душой уехал пока вслед за Бегичевым в его тульское имение (тем более что опять остался без всяких средств). В родном доме он получил один-единственный подарок: камердинера взамен умершего Амлиха. Им стал юный сын преданной служанки семьи, Александр Грибов, выбранный хозяином за веселый нрав и забавное сходство имен. Грибоедов сразу же его отчаянно разбаловал и обращался с ним почти по-приятельски, а не как со слугой.

Деревня Бегичева Лакотцы располагалась не очень живописно — в низине, на берегу какого-то ручья. Александра встретили необыкновенно радушно. Он предполагал пробыть здесь только несколько дней и уехать в Нижний, что-бы не мешать молодым, но Степан и слышать не хотел о его отъезде. Места в доме всем хватало; кроме Грибоедова, сюда приехал Дмитрий Бегичев с женой; однажды заехали навестить Жандр с Варварой Семеновной, но надолго не остались: Миклашевич показалась такой старой и вздорной на фоне жен Бегичевых, что все с радостью расстались с нею.

География окрестностей была впечатляющей. В одном дне пути находился Липецк, и семейство Бегичевых несколько раз за лето непременно ездило туда попить воды и повеселиться. Конечно, лучшее общество уже не приезжало сюда, но дворяне соседственных имений оставались верны Липецку: в их глазах он имел одно достоинство — близость. Грибоедов, наслышавшись издавна об этом курорте, побывал там. Галерея и зала для пьющих воды, собор, бани и особняки, построенные едва пятнадцать — двадцать лет назад, еще не успели обветшать, целебные источники исправно извергали железистые воды, но городок портили какие-то рвы, прорытые неведомо зачем Петром I, и оружейные заводы, им же основанные. Грибоедов надеялся встретить здесь Степана Жихарева или кого-нибудь из петербургских знакомых, но не случилось.

На полпути к Липецку лежала Лебедянь — Бегичев обещал другу съездить туда в сентябре на знаменитую конскую ярмарку. Там можно будет повидать степных помещиков, офицеров-ремонтеров, барышников и цыган со всей страны. Туда-то Жихарев и все любители лошадей явятся всенепременно, а кроме них — бесчисленные купеческие семьи, московские модистки и лавочники с залежавшимся товаром, картежные шулеры и куча всякого сброда. И незачем Грибоедову будет тащиться к Всеволожскому в Нижний — тот с делами и без него управится, а полюбоваться ярмарочной кутерьмой и балаганами можно будет и в Лебедяни.

Наконец, совсем рядом с Лакотцами расстиралось Куликово поле — незасеянный, незастроенный памятник великого прошлого Руси. Погожим днем верхом, чтобы не тащиться в экипажах по пыльной дороге, хозяева с Грибоедовым поехали на него взглянуть. Оно оказалось очень обширным; кругом, куда ни посмотришь, не видно конца, и зелень травы сливалась у горизонта с голубизной неба. Местные жители считали, что в самом центре поля есть большая яма, которая во времена, когда здесь кочевали татары, была кладовой с железными створами и служила для хранения отнятых у русских денег; потом эта кладовая обвалилась, заросла травой и затерялась в бескрайних просторах поля. Грибоедов загорелся идеей ее отыскать, но братья Бегичевы его отговорили: во-первых, было, на их взгляд, жарко (они ведь не сидели пять лет в Персии!), а во-вторых, в отрочестве они изъездили все поле, но ничего не обнаружили, даже наконечников Мамаевых стрел. Грибоедов жалел, что с ним нет сестры, но молодая хозяйка понимала, что нельзя пригласить Марию и Александра без их матери, не нанеся той оскорбления, а Анна Ивановна отнюдь не желала начинать семейную жизнь ссорой с влиятельной и вредной старухой. Александр сперва порывался отправиться к Всеволожскому, но вскоре неспешное течение чудесных летних дней заставило его забыть об отъезде. Он столько разъезжал в последние годы, и так приятно было никуда не спешить, не думать ни о каких делах: «Любезный друг. Пишу тебе из какого-то оврага Тульской губернии, где лежит древнее господское обиталище приятеля моего Бегичева. Опоздавши выездом из Москвы, чтобы сюда перенестись, я уже предвидел, что не успею к тебе в Нижний; однако думал выгадать поспешностью в езде время, которое промедлил на месте. Ничуть не так. Отсюда меня не пускают. И признаюсь: здесь мне очень покойно, очень хорошо. Для нелюдима шум ярмонки менее заманчив... Коммерческие наши замыслы тоже рушились, за безденежием всей компании. Сговоримся в Москве, склеим как-нибудь, коли взаимная выгода соединит нас, право это хорошо, а если нет: утешимся, взаимная, добрая приязнь давно уже нас соединила, и это еще лучше. Прощай, любезный Александр; не замешкайся, будь здоров, помни об своем милом семействе, а

иногда и обо мне. Верный твой А. Грибоедов».

В Лакотцах Александр отдохнул душой. Он наслаждался теплом без давящей духоты, с освежающим легким ветерком, запахом воды и сада. Здесь можно было лежать в траве или на сене, не опасаясь смертоносных насекомых; можно было срывать листья или цветы, не опасаясь уколотся колючками. Братья Бегичевы ездили верхом или удили рыбу, дамы проводили время в саду. Грибоедов вставал с солнцем, по привычке, вывезенной с Востока, завтракал еще в одиночестве и уходил в конец сада в деревянный домик-беседку, который захватил для себя одного и где не позволял себя беспокоить. Друзей он видел только за обедом, легким по летнему времени. После обеда все в доме по обыкновению спали, но Александр редко предавался этому занятию, успевшему ему приесться в Персии. Он снова отправлялся в сад и возвращался уже к вечернему чаю. Чайный стол устанавливали в хорошую погоду на лужайке в цветнике, и веселая компания засиживалась за ним допоздна. Летний вечер — лучшее время в деревне. Предзакатное солнце золотило зелень деревьев, на землю опускалась умиротворяющая тишина; где-то вдали призывно мычала корова, просясь домой, или лаяла собака; летали запоздавшие шмели; потом медленно, словно нехотя, алый закат гас, вокруг пламени свечи мелькали мотыльки; потом появлялись — увы! — комары и приходилось с сожалением уходить в дом. Грибоедов садился за рояль и играл до глубокой ночи. И Бегичевы, и Грибоедов каждый день с нетерпением ожидали наступления вечера. Днем Александр работал, за чаем он прочитывал написанные сцены, выслушивал похвалы или замечания, но не отвечал на них до следующего дня, пока не обдумывал и не исправлял, что находил нужным; потом разговор переходил на прототипы, на московских знакомых и далее перескакивал с одного на другое, на Петербург, Персию. Беседа всегда была увлекательной, Грибоедов шутил, снимая напряжение умственной работы.

Так летними месяцами 1823 года рождалось «Горе от ума». В эти же дни, где-то далеко на юге, в Кишиневе и Одессе, среди светской суеты и служебных ссор, Пушкин писал первую главу «Евгения Онегина».

* * *

Цензор

А как-с заглавие, позвольте вас спросить?

Сочинитель

«О разуме».

Цензор

Никак-с не можно пропустить.

«О Разуме»! нельзя-с; оно умно, прекрасно,

Но разум пропускать, ей-богу! нам опасно.

А. Е. Измайлов.

Грибоедов не стал заранее определять список действующих лиц, полагая, что они сами появятся по мере надобности. Впрочем, было ясно, что в доме должны жить молодая девица — центр притяжения для молодых людей, ее отец (потому что в доме без мужчины нельзя было бы дать бал или праздник), ее служанка (чтобы ей было с кем поговорить, с подругой она была бы не так откровенна). Правда, в обычном особняке очень редко жили только хозяева, без родственников, гостей, без матери или пожилой дамы, состоящей при юной барышне. Со стороны отца было легкомысленно, неестественно и даже скандально оставлять дочь без женского пригляда. Но такая дама отчасти сдерживала бы и самого хозяина — ей могли бы пожаловаться на него служанки. К тому же ей нечего делать в пьесе. Пусть ее отсутствие косвенно характеризует отца. Грибоедов желал острого начала, которое без всяких пояснений, столь утомительных в завязке большинства пьес, ввело бы зрителей в суть происходящего и в характеры персонажей. Поэтому он счел возможным поселить в доме

молодого секретаря отца (не личного, разумеется — личные секретари бывали лишь у знатнейших лиц, занимавших важнейшие посты в государстве, но просто служившего при нем в департаменте и жившего у него в доме, поскольку своего жилья не имел, а снимать квартирку в Москве не было принято).

Первая сцена не вызвала у Бегичевых никаких порицаний, и Грибоедов был доволен, она ему самому нравилась, он оставил ее без изменений с самой ранней редакции и не сжег, когда Степан разругал весь первый акт. Под ремаркой, описывающей гостиную с часами, он написал «Утро, чуть день брежится», чтобы показать и начало долгого драматургического дня, и собственно время: зимой в Москве солнце встает между половиной восьмого и началом девятого, смотря по месяцу года — столько и должны показывать большие часы. Почему зимой? Чуть дальше персонажи ясно скажут, что на дворе зима.

Служанка Лизанька (Бегичев был против такой формы имени, и Грибоедов всюду его сократил до «Лизы», кроме первой сцены) нехотя просыпалась, и ее отрывочные реплики с невероятной легкостью передавали все то, что обыкновенно драматурги растягивали на долгий и скучный диалог двух встретившихся слуг или иных героев, из которых один только что прибыл, ничего не знал, требовал разъяснений и получал их — а с ним и зрители. Этот избитый прием надоел всем до дрожи, и Грибоедов считал, что великолепно избежал его. Его слушатели не поняли только одного и полагали, что и все прочие впоследствии не поймут, почему Лиза на вопрос Софьи «Который час?» отвечает «Седьмой, осьмой, девятый». Что автор имел в виду: Лиза врет на ходу, чтобы поторопить барышню, или отвечает наобум, а потом справляется с часами? Но Грибоедов не сомневался, что все ясно: час, разумеется, именно девятый, раз уже светает; наобум Лиза назвала бы именно его (она же видит рассвет); сперва она пытается ответить, со своей точки зрения, исчерпывающе: «Всё в доме поднялось» (что еще нужно знать барышне?), но повторно спрошенная о *часе*, бросается к часам и *высчитывает* расположение стрелок: маленькая стрелка в самом низу — седьмой, это точка отсчета, а далее по пальцам «восьмой, девятый». Так считают дети, так считают полуграмотные слуги. В этом-то суть реплики. Лиза — не разбитная горничная из «Модной лавки» Крылова, столь ярко там изображенная, что Шаховской перенес ее в свою комедию «Пустодомы» с указанием источника. В столицах часто встречались крепостные девушки, родившиеся и выросшие в городе, с деревней никак не связанные, мечтавшие выбиться в люди: они учились отлично шить, отпрашивались на работу в модную лавку, что хозяевам было выгодно, поскольку они получали высокий оброк с их доходов; правдами и неправдами добивались вольной; а там, как говаривала крыловская Маша, «покупали себе мужа-француза», пусть самого ничтожного и нищего, лишь бы иметь право открыть свою лавку с гордым именем на вывеске «мадам N» — и уже свою дочь они отдавали в пансион или институт и выдавали за разорившегося дворянина. Бывшая крепостная рождалась с благородным сословием! Лиза не похожа на них, она и не думает о подобном будущем, не желает, как ясно из второй сцены, войти в фавор у барина. Ей вполне достаточно буфетчика Петруши. В глубине души и в манерах она — простая девушка, хотя одета наверняка в барышнины платья со споротыми лентами (так было принято, и платья почти непотертые, потому что барышня едва ли надевала их больше трех-четырёх раз), но честолюбия Лиза лишена, грамоте особенно не училась, вот и считает по пальцам — зачем ей знания?

Грибоедов недолго наслаждался одобрением — за следующие четыре сцены на него обрушился град упреков. Дамы негодовали, видя открытое волокитство Фамусова за Лизой, притом в комнате, соседней со спальней дочери; они пришли в ужас, увидев Софью, спокойно выходящую из спальни после целой ночи, проведенной наедине с Молчалиным. Степан с Дмитрием соглашались, что эти эпизоды вряд ли будут иметь успех у публики и цензуры, но даже если отвлечься от будущих критиков, не следует позволять Фамусову, застав Молчалина в комнате с Софьей, игриво восклицать:

Брат Молчалин,
Гуляешь возле женских спален!

(не говоря о том, что рифма негладкая). И они, вслед за Лизой, хохотали до упаду, слушая рассказ Софьи о проведенной ночи:

Проходит час, другой проходит,
Чуть слова два произнесет,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. —

Кем же надо быть, чтобы в неподвижном молчании сидеть ночью в комнате с юной девушкой?! А если на большее не способен, зачем же туда входить?!

Грибоедов сразу принял возражение о неудачном восклицании Фамусова, но прошел почти год, пока он придумал окончательный вариант:

Друг, нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?

Но в прочем он не был согласен.

Сцену волокитства Фамусова он оставил ради последней реплики Лизы, двумя строками выразившей самую суть трагической зависимости крепостных:

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

Что же касается неприличия поведения Софьи и непредприимчивости Молчалина, то они — кажущиеся. Не надо думать, что Молчалин сидит с Софьей у раскрытой постели. Во вводной ремарке написано, что дверь ведет в спальню Софьи и она потом оттуда с ним выходит? Но ведь сказано, что слышны звуки фортепьяно и флейты. Неужели кто-то вообразит, что фортепьяно в приличном доме стоит в спальне?! Естественно, такого не бывает. Фортепьяно предполагает возможность пригласить подругу, учителя или хоть настройщика. А в спальню молодой девушки доступ закрыт всем, кроме матери, если она есть, няни или гувернантки, служанки, врача в случае очень тяжелой болезни — и любовника, если на то ее воля. Но у светской девушки есть, кроме спальни, комната, где она принимает подруг, даже иногда друзей и родственников (в юности — под присмотром матери или гувернантки, в более зрелые годы — сама), принимает портних, парикмахера, учителей и проч. У Александра Бестужева есть бесподобная зарисовка комнаты барышни, какой она предстала взору героя, на мгновение заглянувшего туда к юной героине и спустя годы просидевшего там с ней наедине довольно долго, с ведома и согласия матушки (естественно, днем) — комната весьма переменилась с тех пор. Конечно, даже у старой девы нельзя было бы провести ночь без риска скандала. Но все же Софья могла пригласить Молчалина к себе, а уж сделать шаг в собственно спальню следовало ему — он его не сделал, но на первый раз Софья осталась довольна. Это, видимо, был ее первый опыт; она приказала Лизе караулить за дверью: «Ждем друга». — «Нужен глаз да глаз...» У горничной имелась где-то собственная кровать или, скорее, даже комната; если бы она слишком часто спала в креслах у двери барышни, это могло в конце концов заинтересовать других слуг и самого барина: с чего бы это? знать, неспроста!

«Каким же характером надо обладать барышне, чтобы принимать у себя мужчину?» — спрашивали Грибоедова. Конечно, подобные девицы встречались в свете, но молодые женщины, недавно счастливо и достойно вышедшие замуж, не могли не осуждать героиню. Стоило ли выводить ее на сцене, ведь публика ее не одобрит? Если уж Александру Сергеевичу необходимо острое начало, пусть, по крайней мере, он заменит Софью молодой женой Фамусова, изменяющей мужу.

Грибоедов полагал, что все объяснил в Софье; но объяснил через музыку, и даже

образованные жены Бегичевых его не сразу поняли. Александр, однако, считал, что причина — в их нежелании серьезно раздумывать о происходящем, а не в неясности текста. Ведь в начале он указал, что из-за двери «слышно фортепьяно с флейтой». Нужно думать, что Софья играет на фортепьяно, а Молчалин подыгрывает на флейте? Конечно, однако Фамусов без всякого волнения замечает, что

То флейта слышится, то будто фортопьяно;
Для Софьи слишком было б рано?..

Он взорвался бы от ярости и снес дверь, если бы предположил, что на флейте в комнате дочери играет не она, а кто-то другой (и выбор невелик — не слуги же? значит, Молчалин; других лиц в доме нет, разве что «гость неприглашенный»). Однако он не удивлен — значит, Софья умеет хоть немного играть на флейте. Что же еще ярче ее характеризует?! Флейта — чисто мужской музыкальный инструмент; барышень так же не учили играть на флейте, как мальчиков — на арфе. Грибоедов научился арфе вслед за сестрой, но у Софьи братьев нет, она сама должна была потребовать этот инструмент и учителя. Это, конечно, не такое уж большое проявление независимости, стремления сравняться с мужчинами, быть не как все. Это не переодевание в мужское платье, не стрельба из пистолета, не уход в гусары, но это — проявление незаурядного характера в московской барышне. Да в Софье и неудивительны подобные качества. Рано лишившаяся матери и даже гувернантки, избалованная как единственная дочь и наследница, она привыкла быть хозяйкой дома и всегда добиваться желаемого. При таком воспитании она могла вырасти либо капризной модницей, либо сильной, самостоятельной натурой. Грибоедов выбрал второй вариант, как необычный, редкий, но в то же время характерный для нового поколения женщин. Впрочем, будь мать Софьи жива, она едва ли бы влияла на нее благотворно. О ее матери все известно: младшая сестра Хлестовой, она, надо думать, чем-то походила на нее, судя по тому, с каким ужасом вспоминает Фамусов дамские бунты за картами («ведь сам я был женат»). Вдобавок она питала повышенный интерес к мужчинам («бывало я с дражайшей половиной чуть врозь: — уж где-нибудь с мужчиной»), И Софья это отчасти унаследовала, раз так решительно назначает свидание в довольно раннем возрасте («ни дать, ни взять она, как мать ее»), Софья пока недалеко продвинулась на пути к независимости: играет на флейте и заводит любовную интригу — но ее путь, конечно, естественнее и типичнее, чем путь Надежды Дуровой.

Бегичевы продолжали возражать, указывая на бессмысленность рискованной сцены: если Софья и Молчалин ничего дурного не делали ночной порой, то зачем вообще этот эпизод, что он показывает в их характерах, что нельзя было бы показать иначе? Разумеется, Софья навлечет на себя неодобрение или даже презрение зрителей — этого ли хочет Грибоедов? А Молчалин будет выглядеть дураком, растяпой или просто немужиной — нужен ли такой персонаж автору?

Грибоедов вырвал из тетради написанные сцены и переписал текст заново. Он избавлялся от выражений слишком книжных или слишком просторечивых, в духе Шаховского, шлифовал рифмы и стиль — но сюжет оставил в неприкосновенности! Он решил, что причины странного поведения Молчалина раскроются по ходу пьесы, а что касается Софьи, то первые явления говорят о ней так много и ясно, что было бы жаль от них отказаться. Ведь она предстает сразу и мечтательной девицей, начитавшейся сентиментальных сочинений, и романтической натурой, готовой riskовать добрым именем ради необычного любовного приключения, и московской светской барышней, мгновенно находящей выход из крайне затруднительного положения, — одно другому нисколько не противоречит, притом раскрывается всего в трех сценах. Неужели же пренебречь подобной демонстрацией искусства драматурга из-за возможного недовольства будущих цензоров?! Бегичевы согласились по крайней мере с тем, что обидно было бы вычеркивать великолепные реплики Софьи:

Счастливые часов не наблюдают

или Лизы:

Грех не беда, молва не хороша.

Но и переделав начало, Грибоедов чувствовал, что это далеко не окончательный вариант. Многими стихами он сам был недоволен. Желание поскорее выплеснуть на бумагу все, что годами копилось в его душе, заставляло его пренебрегать красотой слога и логичностью действия — он успеет все исправить потом, когда главное будет создано.

В седьмой сцене, с невообразимой скоростью и легкостью, в пьесу ворвался молодой герой, влюбленный с юности в Софью. В нем было что-то от импульсивности Кюхельбекера, от его наивной веры в любовь всякой женщины, которую он любит, но были и качества, присущие многим друзьям Грибоедова и ему самому: красноречие, живость характера, остроумие, склонность к эпиграмме... и, собственно, всё. В отличие от Софьи, которую Грибоедов полностью показал с самого начала, Чацкого, как и Молчалина, он предпочел раскрывать по ходу сюжета, в основном потому, что пока не четко их себе представлял.

Степану первые реплики Чацкого напомнили лгуна Зарницкина из комедии Шаховского, которую Грибоедов так и не увидел на сцене. Правда, Чацкий промчался 700 верст (вернее всего — расстояние от Петербурга до Москвы) за сорок пять часов, а не за тридцать два, как Зарницкин, но даже для зимы его скорость была едва вероятна. Да и зачем он несся очертя голову, если хотел попасть к Софье в определенный день? Нужно думать, что в этот день праздновалось ее рождение, раз Чацкий с первых слов упоминает ее возраст (семнадцать лет). Естественно ему было спешить ее поздравить, но почему не выехать пораньше? Из-за границы он приехать не мог, поскольку петербургский порт уже замерз, а если бы он ехал в карете, ему бы пришлось сделать не 700, а 1000 верст или более. Грибоедов не желал ассоциаций с Зарницкиным, но оставил все как было, дабы подчеркнуть порывистость героя и полное отсутствие расчетливости, даже в вопросе путевого времени и издержек — за скорость ведь надо доплачивать ямщикам!

Едва появившись, герой обрушивает на Софью поток слов, но встретив холодноватый прием, пускается в воспоминания отроческих лет, надеясь восстановить прежние с ней близкие отношения. Его портретные зарисовки московских чудаков едки и забавны, однако все Бегичевы хором, неожиданно для Грибоедова, их отвергли. Степан мог считать себя московским жителем с 1817 года, Дмитрий переселился сюда позже, и никто из них не узнавал или просто не знал перечисляемых лиц. Грибоедов их выдумал? Кто это:

турок или грек,
Известен всем, живет на рынках?
Князь? или граф? Кто он таков?

Воистину, пусть Александр сам ответит на этот последний вопрос:

А трое из бульварных лиц?

С 1821 года Тверской бульвар перестал быть местом прогулок высшего общества, потому что у стен Кремля разбили великолепный сад на месте Неглинки и аристократы стали гулять только здесь. И стоит ли Чацкому (или Чадскому? Грибоедов писал то так, то эдак) вспоминать владельца крепостного театра и устроителя блестящих маскарадов Познякова, коль скоро тот после войны разорился и затих? А упоминание об учителях-иностранцах, которые «В своей земле истопники...», словно взято из литературы восемнадцатого века, из пьес Фонвизина: ведь после Французской революции всякие педагоги из булочников и коновалов уступили в России место дворянам-эмигрантам,

воспитывавшим детей безупречно, в версальском стиле времен Людовика XVI, исчезнувшем в самой Франции. С какой стати Чацкий вспоминает допожарную Москву, если действие происходит в наши дни, и, следовательно, он помнит ее приблизительно до 1820 года, раз отсутствовал три года?

Грибоедов не сразу принял эти упреки, но по размышлении признал их справедливость. В самом деле, «турок или грек, князь или граф?» — это ему вспомнился князь Визапур, происхождением из Индии, невесть как попавший в Россию, сделавший успешную военную карьеру, женившийся на московской богачке Сахаровой. Индеец, хотя безупречно говорил по-французски, имел самые экзотические манеры, и в детстве Грибоедов слышал глупые стишки о его браке:

Нашлась такая дура.
Что, не спросясь Амура,
Пошла за Визапурею.

Визапур был еще жив в 1823 году, но состарился и уже не смешил общество своими неожиданными выходками. Грибоедов слегка изменил текст, убрав упоминание о рынках и титулах, и добавил презрительную характеристику «черномазенький, на ножках журавлиных», тем самым указав теперь на грека Метаксу, вхожего во все дома неведомо за какие заслуги. И строчку об иностранцах он заменил на противоположную: «Не то, чтобы в науках далеки...», перенеся критику с учителей на учеников, которые с детских лет привыкли верить, «Что нам без немцев нет спасенья!». И с некоторым сожалением вычеркнул забавный рассказ Чацкого о немецком докторе, напуганном сообщением о чуме в Смоленске и поворотившем назад, отказавшись от мечты попасть в Германию:

Софья

Смеялись мы, хоть мнимую чуму
Другой дорогою объехать бы ему.

Чацкий

Как будто есть у немца две дороги!

Последняя фраза получилась и острой, и меткой, но Грибоедов пожертвовал ею, сочтя весь рассказ излишним.

Все прочее он оставил неприкосновенным. Чацкий три года не был в Москве и вправе не знать о том, что бульвар вышел из моды; а Позняков дал один маскарад в 1814 году, о чем Грибоедов знал от сестры, и Чацкий вполне мог быть на нем вместе с Софьей — и, конечно, он стал для них ярчайшим, радостным послевоенным воспоминанием, тем более что они вдвоем забрались в потайную комнату и увидели садовника-бородача, свистевшего соловьем (детям это показалось смешным, потому что они уже не знали древнего русского искусства, совершенно утраченного в девятнадцатом веке, — а ведь прежде бывали целые хоры удивительной «соловьиной музыки»).

Первое действие Грибоедов закончил эффектной репликой Фамусова, сравнивающего невеликие достоинства Чацкого и Молчалина как женихов:

Тот нищий, этот франт-приятель;
Объявлен мотом, сорванцом;
Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

И пусть не всё в его первой тетрадке одобрили друзья — стихи они оценили в полной

мере и заучили их наизусть едва ли не тверже автора.

Часы в гостиной должны были показать десятый час, если бы Лиза их перед тем не перевела вперед — обитатели дома ушли завтракать. Второй акт Грибоедов не стал помечать «День», поскольку тусклый свет ненастного зимнего дня мало отличался от света утра. Почему ненастный день? Чацкий упомянул бурю, и вечером старуха-гостья скажет, что «ночь — светопреставление», а Москва — не Кавказ, погода тут не меняется по три раза на дню, если утром и вечером пурга, то днем едва ли ярко сияет солнце. Действие Грибоедов оставил в той же комнате. Собственно, что это за гостиная? План любого московского послепожарного особняка был одинаков: парадная анфилада заканчивалась в торцах крайних комнат окнами или зеркалами, которые зрительно расширяли ее протяженность, от нее вглубь дома уходили личные комнаты и спальни хозяев, отделенные от анфилады узким черным коридором. Слуги жили в нижнем, невысоком этаже, там же располагались кухня, погреб и прочее. Маленькая мансарда предназначалась для детей или гостей.

Три первых акта проходили в последней комнате парадной анфилады, от которой дверь вела вглубь, в комнату Софьи. Зрители как бы заглядывали в дом через торцовое окно или сквозь большое зеркало, висевшее на торцовой стене. Эта комната считалась гостиной в женской половине дома и находилась в распоряжении хозяйки, то есть Софьи. В дни торжеств сюда заходили друзья и родственники, а менее близкие знакомые сидели в зале или парадной гостиной. Фамусову здесь нечего было делать, у него был собственный кабинет в противоположном конце анфилады, куда не должна была без нужды заходить Софья. Тем не менее второе действие Грибоедов начал с того, что Фамусов сидит в гостиной дочери, явно переваривая завтрак и неспешно внося в календарь дела на будущую неделю. Софья с Лизой заперлась у себя в комнате. Грибоедов хотел показать, что кабинет Фамусова занял Молчалин, трудясь над бумагами, о которых твердил в первом акте, а хозяин сбежал от него подальше, в гостиную дочери (больше просто некуда, парадные комнаты в обычные дни едва топили, чтобы не переводить напрасно дрова, а в предвидении вечернего приема их протапливали, мели и прибирали, и Фамусов не мог бы там с приятностью отдохнуть после еды).

Собственно, время от завтрака до обеда Фамусову следовало бы провести на службе, но за окном была скверная погода, и он, несомненно, предпочел послать туда Молчалина, когда тот управится с бумагами. Делать же в эти часы дня хозяевам решительно нечего — только надеяться, что к ним занесет какого-нибудь визитера. Появившемуся, как обещал, Чацкому старик искренне рад: все же с ним приличнее поговорить, чем с безгласным слугой. Естественно, они тотчас поссорились. Молодежь до крайности раздражала людей из поколения Фамусова. Грибоедов долго полагал, что дело в обычном старческом брюзжании, но причины были намного серьезнее. Он понял их, только глядя на Ермолова, который старался удержать своих адъютантов от вступления в тайные общества.

Ведь Ермолов сам в юности принял участие в заговоре (он предпочитал об этом не вспоминать, но Грибоедов знал его историю по семейным воспоминаниям о бабке Розенбергше), он был когда-то проникнут политическими идеями, верил в разум и в необходимость просвещения. Ермолов отказался от революционных устремлений, посидев в Петропавловской крепости; его менее твердые духом ровесники, как Алексей Федорович Грибоедов, сделали это раньше, в такт ударам гильотины Французской революции. И Фамусов в юности был хоть немного затронут передовыми идеями (такие, как он, никогда не идут против взглядов большинства), и он разочаровался в них, и решил, вослед Карамзину, что любые перемены вредны. И вот теперь он видел, как новое поколение одушевляется теми же самыми, почти не переменившимися надеждами, читает тех же авторов, пытается действовать в том же направлении... Зачем?! Неужто ждать теперь гильотины в России?! Отцы были уверены, что действия их детей ни к чему не приведут, хуже — дети погибнут, пытаясь воскресить давно почившие идеалы. Удержать их! — Вот задача умудренных горьким опытом стариков. Удержать ради них самих, ради будущего России, которое в них заключено. Но отцы ставили молодым в пример не себя — им самим редко было чем

похвалиться, а предшествующее поколение — дедов, которые не знали колебаний и сомнений, служили государю, выходили в чины, жили счастливо и умирали, окруженные общим уважением. Увы! дети их не слушали. Дедов своих они не помнили, а если бы и помнили — за плечами молодых была великая победа, никто им был не указ; те же, кто, как Кюхельбекер, не успел попасть на войну, тем более рвались в бой.

Грибоедов в начале второго акта столкнул лбами двух ярких представителей разных поколений, но не поддержал никого. Фамусов вышел нелепым стариком, расхваливающим придворного шаркуна-дядюшку, а потом заглушающим криками любые реплики Чацкого; естественно, Чацкий насмешливо отверг жалкий пример для подражания, отказался подличать, шаркать и молчать, но в объяснение сослался только на перемену нравов, на перемену при дворе («Недаром жалуют их скупко государи»), а по существу, пожалуй, согласился с выбором старшего поколения. Отцы мало и нехотя служили, и Чацкий со своими сверстниками отказывается от службы («Кто путешествует, в деревне кто живет...»), причем по мотивам, понятным воспитанникам просветителей: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».

Отказ от службы не возмутил бы Фамусова — это полбеда, даже четверть; только бы его прежний питомец, росший в его доме, не ввязался в заговоры. Но в этом-то Фамусов и не уверен и, услышав нападки Чацкого на стариков, с ужасом восклицает: «Ах! Боже мой! он карбонари!»

И трех лет не прошло, как карбонарии подняли восстание в Италии, а после его подавления австрийцами перешли к тайным действиям. Всем было известно, что революционеров оружием, стихами и всем своим состоянием поддерживал лорд Байрон. По мысли Фамусова, почитатели готовы были во всем следовать за своим кумиром. Но пусть они не делают этого на родине! Лучше бы они отправились воевать в Италию или в Грецию — глядишь, гильотины выросли бы в Риме или Афинах, но все ж не в Москве. Фамусов никогда не видел гильотину, но слышал о ней и почитал ее неизбежным следствием любых государственных потрясений. Стоит ли удивляться, что он был против этих потрясений?

Чацкий тоже слышал о гильотине, но не считал ее «неизбежным следствием любых государственных потрясений», как не считал это сам Робеспьер еще за полгода до якобинского террора. Но Робеспьер имел право не знать будущего, для Фамусова террор был недавним прошлым, для Чацкого — давней, полузабытой историей. Этот-то оптимизм молодых и пугал отцов.

Еще более их пугало стремление детей образовывать в России тайные общества. Грибоедов, как и все в России, начиная от императора и кончая светскими сплетницами, слышал о существовании тайных обществ. Однако к лету 1823 года он не был знаком или, по крайней мере, не общался последние пять лет ни с одним из их членов, кроме Бегичева. Только теперь Грибоедов понял уклончивость давних московских писем Бегичева. В 1817 году Степан вступил в одну из подобных организаций — Союз благоденствия; там же состояли и друг юности Грибоедова мечтательный Якушкин, и братья Муравьевы (кроме кавказского), и Сергей Трубецкой, и Поливанов, и братья Мухановы, и многие другие знакомые. Союз ставил целью проведение полезных реформ — прежде всего отмену позорящего Россию крепостного права, широкую благотворительность и организацию школ для народа. Эти мероприятия казались Степану Никитичу справедливыми, разумными и безусловно необходимыми для процветания государства. Однако в 1821 году на грандиозном по размаху съезде в Москве Союз благоденствия распался, потому что император запретил всякие собрания с политическими разговорами и проводить их открыто стало невозможно. Часть членов решила объединиться в тайные организации, часть предлагала самые радикальные меры, вплоть до царевубийства — и Якушкин с меланхолическим видом просил предоставить ему эту миссию. Но Бегичев, вместе с половиной Союза, не был сторонником заговоров. Он перестал верить в осуществление преобразовательных замыслов, он с иронией воспринял желание Якушкина убить императора. Степану казалось, что тот кинжал-то в руки возьмет и ударит — но убьет ли? очень невероятно. Бегичев не стремился ввязываться в

обреченное дело и принимать мученический венец — у него были другие планы. Благотворительность и просвещение привлекали его, но, получив за женой великолепное приданое, он мог заниматься ими сам, без поддержки Союза. Он вышел из общества и не знал, что замышляют теперь его прежние товарищи.

Грибоедов тем более того не знал, поэтому отнюдь не собирался делать Чацкого заговорщиком, не имея перед глазами этот тип молодых людей. Он не усложнил конфликт отцов и детей введением мотива веры в Разум, утраченной пожилыми, но увлекавшей молодых: эта тема придавала бы спору большую современность, но меньшую типичность. Однако он желал изобразить героя человеком передовых взглядов, которые и сам разделял. Фамилия персонажа напоминала польскую — намек на его возможные корни (как у Грибоедовых), на связь с Польшей, наиболее либеральной частью России, где существовали выборный сейм и конституция. Чацкий — редкая в Польше, но известная фамилия. В год приезда Грибоедова в резервную армию умер Тадеуш Чацкий, очень известный в России ученый и просветитель. Грибоедов, конечно, не собирался выводить в пьесе поляка — его герой, несомненно, русский — и называл его сперва «Чадский» от слова «чад», но в конечном счете полонизировал фамилию, точно так же, как англизировал фамилию Фамусова («famous» — «известный») — просто для того, чтобы никто из русских зрителей не оскорбился, встретив персонаж с похожим на свое имя, и чтобы не идти по избитому восемнадцатым веком пути «говорящих фамилий», вроде Скотинина и Простакова.

Впрочем, он сделал исключение для полковника Скалозуба, чье имя обозначало глупого насмешника и в то же время отсылало в Малороссию, к родам Лизогубов и Сорочанов. При Ермолове служил полковник Сорочан, который доводил главнокомандующего до иступления. Храбрый воин, отличный командир, он был совершенно неспособен принять какое-нибудь решение. А на Кавказе невозможно постоянно сноситься со штабом: пока придет ответ, ситуация на месте может коренным образом измениться. Поэтому Ермолов бесконечно благодарил полковника за отвагу и бесконечно корил за боязнь ответственности. Но то Ермолов! А Аракчеев, несомненно, признал бы полковника образцом офицера, нерассуждающего и преданного начальству.

Грибоедов считал образ Скалозуба своей творческой удачей. В первом акте его нет, в третьем он произносит две реплики из двух строчек, в четвертом — одну чуть более длинную; во втором акте он несколько говорливее, но изъясняется предельно кратко и только однажды произносит маленькую речь — рассказывает анекдот о наезднице, упавшей с лошади. И тем не менее этот персонаж получился ярким, запоминающимся и одним из центральных в пьесе — вокруг него вертится немалая часть действия. Даже биография его известна досконально: он выходец из Малороссии и золотой мешок, но род и состояние его новые, потому что ни один представитель древних фамилий и ни один богач не отдал бы сына в армейскую пехоту, минуя Пажеский корпус и гвардию. Большинство дворян служили если уж не в гвардейских полках, то в кавалерийских, на худой конец в конно-егерских, на крайний случай — в артиллерии. Бывало, ради карьеры военные переходили в армию (как Бегичев, например), но с тем, чтобы получить чин не ниже полковника. Скалозуб же явно нигде не учился, раз не знает французского языка, всю жизнь служил в мушкетерах или егерях и сделал не такую уж хорошую карьеру. Он вступил в армию в 1809 году, видимо, лет пятнадцати или шестнадцати, как повелось; к 1823 году стал полковником и метил в генералы. Это было бы неплохо, если бы не война — в кампанию 1812–1814 годов продвижение офицеров шло гораздо быстрее, потому что чаще освобождались вакансии из-за гибели старших. Скалозуб отличился очень мало: сперва Грибоедов решил дать ему девять крестов, потом сократил их до шести-семи, а в окончательном варианте оставил только одну награду — «за третье августа».

Тем, кто пережил войну, здесь не нужны были пояснения: 3 августа 1812 года боевых действий не было, после сражения при Красном 2 августа русская армия передислоцировалась в районе Смоленска до 4 августа. А вот 3 (15 по европейскому стилю) августа 1813 года Силезская армия, половину которой составляли русские войска, первой

двинулась на французов после длительного летнего перемирия. Грибоедов тогда был уже в Бресте и слышал отголоски этих событий: Силезской армии не оказали почти никакого сопротивления, потому что Наполеон сосредоточил все силы против Богемской армии у Дрездена. Наступление 3 августа было просто отвлекающим маневром, и то, что Скалозуб отличился в этот день, а не в дни великих битв Бородина, Кульма, Лейпцига, свидетельствовало не то чтобы об отсутствии у него храбрости, но об отсутствии инициативности — в более важных сражениях его отодвигали на задний план быстро думающие и действующие офицеры. В демонстрационном же бою он мог спокойно сидеть в траншее и стрелять без большой опасности — и, наверное, блеснул меткостью, обычно подавляемой в нем беспокойством не уронить себя в глазах сослуживцев. Скалозуб отличился вместе с двоюродным братом, достойнейшим молодым человеком, о котором Фамусов спросил: «Имеет, кажется, в петличке орден?» Но Скалозуб поправил, оскорбившись: «Ему дан с бантом, мне на шею», — и пусть Фамусов не путает! До 1828 года только одну награду Российской империи носили с бантом из орденской ленты: орден Владимира 4-й степени с бантом. В отличие от ордена той же степени в петлице, орден с бантом можно было заслужить исключительно на поле боя за личный подвиг и никак иначе. Такой орден пользовался особым уважением, давали его нечасто и с большим разбором. А вот орден Владимира 3-й степени (если предположить, что Скалозуб в своей фразе имеет в виду один орден, а не два разных) носили на шее, но получали не только за воинские подвиги, а просто за всевозможные заслуги (например, Карамзин получил его за сочинение «Истории государства Российского»). Так что награда Скалозуба хотя степенью выше, чем у его брата, но менее почетна: Скалозуб, видимо, стрелял из траншеи, а его кузен сделал вылазку и взял в плен офицера врага или, может быть, даже полковой барабан.

Зато исполнительность и безынициативность полковника пришлось кстати в аракчеевские времена, и Грибоедов это старательно подчеркнул. Скалозуб одно время служил в сорок пятом егерском полку, который в 1819 году направили на Кавказ. Истинный карьерист, наподобие Николая Муравьева, был бы рад такой удаче — на Кавказе чины шли быстро. Но полковник Скалозуб, как Сорочан, понимал, что Ермолов его не оценит, и остался в России, в пятнадцатой дивизии, в мушкетерском, отнюдь не первостепенном полку. Он чувствовал ущемленное самолюбие и питал неприязнь, замешанную на зависти, «к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, к гвардионцам», а также ко всем, умеющим ездить верхом, — недаром с такой радостью он приветствовал падение с лошади Молчалина и рассказывал историю о падении княгини Ласовой. (Грибоедов нарочно вставил этот анекдот, лишний в действии, но характеризующий Скалозуба.) Полковник напрасно волновался: в свете его не уважали, но генеральское звание он получит как награду за преданность казарме и фрунту. Грибоедов показал это простым способом: все, что говорит Скалозуб, хотя кажется ответом на слова других персонажей, на самом деле представляет собой сплошной монолог на армейские темы, с армейской лексикой и армейскими анекдотами. На нормального человека служба не накладывает столь глубокого отпечатка, но Скалозуб не вполне человек, он — служака. И только.

— Почему же Фамусов так увивается за малограмотным полковником малоизвестного полка? так явно прочит ему Софью? Он даже привел Скалозуба в гостиную дочери под нелепым предлогом, что «здесь теплее»: неужели у него нет средств на дрова для всех жилых комнат? ведь кабинет уже свободен (Молчалин собирается выехать со двора, но падает с лошади, и департамент остается без подписанных управляющим бумаг). Скалозуб богат, но и Чацкий небеден. Узнав из спора Фамусова с Хлестовой, что Чацкий имеет то ли 300, то ли 400 душ (последнее вернее, потому что Фамусов, имеющий дочь-невесту, озабочен состоянием ее женихов, а Хлестова дочерей-невест не имеет, раз не привезла их на бал), Бегичевы решили, что это очень немало. Собственно, это отличное имение по меркам Москвы. Правда, Чацкий им «оплошно» управляет, то есть, видимо, по примеру многих молодых мыслителей, перевел крестьян с барщины на оброк и тем сократил свои доходы; он, кроме того, «объявлен мотом, сорванцом», но все же Фамусову не следовало бы ему так

резко отказывать — Скалозуб еще, может быть, и раздумает свататься, так Чацкого не грех придержать при себе, пока судьба Софьи не решится. Любой разумный отец и любая мать так бы поступили, а Фамусов неглуп. Неужели Фамусов настолько богат, что состояние меньше двух тысяч душ считает недостаточным? У Бегичева, например, имелось 200 душ пополам с братом, а он без труда нашел очень богатую невесту, причем женился не по расчету на купчихе-вдове, а по любви на благородной девице.

Грибоедов, как всегда, все очень четко объяснил. Нет, Фамусов не богат: он ведь служит «управляющим в казенном месте», то есть имеет 5-й класс, не особенно завидный в его лета. Однако он не выходит в отставку, значит, держится за жалование, а еще более — за всякие выгоды, связанные с должностью. Он не просто не богат, он явно совершенно разорен, в огромных долгах — потому-то четыреста душ Чацкого ему не нужны, они его не спасут, ему необходимы две тысячи душ и наличные деньги. Конечно, Скалозуб, если бы женился, отнюдь не стал бы оплачивать долги тестя, но он поддержал бы его кредит, поскольку, по обычаю, дочь расплатилась бы за отца после его смерти. Разорение Фамусова пока незаметно, даже его свояченица Хлестова недоумевает, зачем ему дался этот громогласный фрунтовик. Но от одного человека оно не укрылось — от Молчалина, который вел все дела начальника не только в департаменте, но и дома. Неудивительно, что Молчалин не хотел жениться на Софье и не хотел ее и себя компрометировать. Он уже имел чин асессора, то есть 8-й, еще на один класс Фамусов мог его поднять, но не более (не до своего же уровня!). Брак с Софьей не принес бы Молчалину богатства, а его продвижение по служебной лестнице затормозилось бы. Ему на всю жизнь пришлось бы остаться в Москве, в незавидной архивной службе, без денег, и мечтать всего лишь наследовать со временем должность Фамусова. Но он-то стремится к большему! Он завел связи с Татьяной Юрьевой, принятой в Петербурге, он, безусловно, надеется перебраться в столицу и как-нибудь достичь высоких чинов и состояния. Пока он живет с Фамусовым, он считает своим долгом (долгом! не выгодой! — как Жихарев) угождать его домочадцам, вплоть до того, чтобы развлекать ночами его дочь, но не доводя эти свидания до той стадии, когда девица уже не сможет их скрыть и порядочный человек обязан будет жениться.

Биография Молчалина тоже легко вырисовывалась, но Грибоедов растянул ее на всю пьесу, чтобы интерес зрителей к нарочито, по собственному выбору бледной фигуре секретаря не угас совершенно. Не покажи он его на рассвете с Софьей, никто и не обратил бы на него внимания. Молчалин родился в Твери, ничего не унаследовал от отца, зато показал себя деловым человеком, то есть разбирающимся в тонком искусстве служебной переписки (оно было настолько сложным, что правительство выпускало специальные пособия по оформлению документов; люди вроде Фамусова и более толковые, как Ермолов, не желали вникать в эти учебники, а держали при себе секретарей, обладавших памятью, любовью к мелочам и красивым почерком — ничего иного от них не требовалось). Фамусов как-то познакомился с отцом Молчалина (наверное, при отступлении перед французами, потому что иначе их пути едва ли бы пересеклись) и после войны, когда отстроился, взял молодого человека к себе. Сделал он это очень хитро, как бы из одолжения его умиравшему отцу: поэтому ничего ему не платил (Молчалин «числится по архивам», то есть служит ради чинов без жалования, а работает в департаменте Фамусова — так разрешалось, если на месте реальной службы не было вакансий), выделял бесплатно худшую комнату в доме (под лестницей, рядом со швейцарской), требовал любых дополнительных услуг, зато представлял его к чинам и награждениям (наверное, денежным, потому что за получение ордена должен платить сам награждаемый, а откуда у Молчалина найдутся средства?) и вводил в круг своих знакомых, на что Молчалин имел моральное право как дворянин (Грибоедов не сделал его семинаристом, вроде студента Беневоляского, поскольку самая романтическая барышня, конечно, не стала бы думать о семинаристе). Молчалина такое положение до поры устраивало, но ясно, что еще год-другой, и он найдет себе покровителя (или покровительницу, что вероятнее) выше рангом, чем Фамусов. Софья мечтает о несбыточном, ей никогда не выйти замуж за Молчалина не только потому, что этого не

захочет ее отец, но и потому, что этого не захочет ее избранник.

Грибоедов создал ситуацию, крайне далекую от банального любовного треугольника. Чацкий влюблен в Софью, Скалозуб не прочь женитьбой на ней войти в высокий для него московский светский круг (коль скоро он, молодой холостяк, приехал на зиму в Москву, всем ясна его цель — найти жену; другой просто быть не может; да и возраст его самый подходящий, около тридцати, если в 1809 году ему было пятнадцать — самое время жениться). Но Софье оба неинтересны.

Софья мечтает о Молчалине, но он отвергает ее и как женщину, и как возможную жену. Сначала Грибоедов не сумел этого явственно показать, ограничившись сценой волокитства секретаря за Лизой (даже не волокитства, а соблазнения ее дорогими подарками), но Бегичевы вполне резонно возразили ему, что одно другому не противоречит: мало ли кто шалил перед свадьбой, не краснея, заметил Степан. Грибоедов согласился с ним, но не знал, как пояснить точку зрения Молчалина, и пока просто отложил вопрос.

Фамусов и Молчалин оба приударяют за Лизой, но она равно отвергает обоих, стараясь только не навлечь гнев хозяина. Лиза же думает о буфетчике Петруше. А он? На этом Грибоедов остановился, иначе его пьеса стала бы похожей на французские пасторальные романы, где пастушка А любит пастушка В, который любит пастушку С, а та — пастушка D... и так до бесконечности, пока у автора не исчерпается фантазия, а у читателей — терпение.

Второе действие Грибоедов писал легко, в монологе Фамусова, восхвалявшем Москву, он позволил себе откровенный *tour de force*, почти хвастовство, составив две строчки из одних имен-отчеств — пусть Шаховской превзойдет! — и долго подбирал самые простые, истинно московские сочетания: что лучше — Лукерья Апраксевна или Татьяна Алексевна? Настасья Дмитриевна или Настасья Юрьевна? В окончательном тексте получилось:

Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!
Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!

Но на главном, программном монологе Чацкого Грибоедов споткнулся. Сперва он создал его в ответ на монолог Фамусова о Москве, причем Чацкий не только не противоречил, а словно бы продолжал развивать взгляды Фамусова: тот говорил, что в Москве деда, отцы, жены, сыновья и дочери отличаются всеми совершенствами, свойственными их возрасту, а Чацкий подхватывал:

Чтоб не трудить себе ума
Мы скажемте: всё нынче, как бывало.

Правда, в его изложении перечисленные добродетели москвичей не казались таковыми, но и не осуждались напрямую:

Вам нравится в сынках отцовское наследство? —
И прежде им плелись победные венки,
Людьми считались с малолетства
Патрициев дворянские сынки,
В заслуги ставили им души родовые...

Грибоедов сам отверг этот вариант, не придававший сюжету никакой остроты, не дававший повода для спора, а всего лишь вызывавший раздраженную реплику Фамусова:

Терпеть нет мочи, как в бреду.

Он опасался, что и зрители с этим согласятся. Мелкие исправления не меняли сути

дела. Он вычеркнул всё. Новый вариант он долго обдумывал, но написал на одном дыхании. Герой продолжил начатый до прихода Скалозуба спор поколений отцов и детей: отцы ставили в пример молодежи дедов, но кого?! И Чацкий перечислял худших представителей старшего поколения; перечислял в стиле ломоносовских или державинских од: первый портрет («Не этот ли? грабительством богатый»), по мнению слушателей и самого Грибоедова, подходил слишком ко многим, и Александр заменил единственное число множественным, резко усилив сатиру («Не эти ли, грабительством богаты?»). Но два других были сразу же узнаны всеми — пресловутый Измайлов, «Нестор негодяев знатных», все гнусные выходки которого вошли в пять строчек, и пожилой, запоздавший во времени театрал Ржевский, разорившийся на крепостных балетах, чьи

Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке!!!!

Все благородные люди считали распродажу крестьян поодиночке преступлением, но четыре восклицательных знака показались Степану и Дмитрию излишеством, скорее смешным, чем действенным, и Грибоедов сократил число до трех.

Новый монолог получился донельзя острым: тут зрители не заснут, но вот услышат ли они его когда-нибудь? Бегичевы очень сомневались, что цензура его пропустит. Александр предпочитал пока об этом не думать. Сейчас он творил, а не проталкивал пьесу на сцену. Из первого варианта он перенес в окончательный текст только пассаж про стариков — «Что старее, то хуже», — и решительно всех, особенно Степана, восхищавшую концовку:

Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали,
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!

Бегичев ясно вспоминал год, проведенный сводным гвардейским полком и всем двором в Москве с августа 1817-го по август 1818 года. Как тогда веселилась Москва, какой неслыханной популярностью пользовались гвардейцы у дам! Никто не женился, но все безудержно предавались любовным приключениям. И как тонко описал это Грибоедов, прямо для цензуры! Внешне — забавный образ светских замужних дам (в России только они носили чепчики), бросающих вверх головной убор, точно мужики. Но последняя фраза — это ведь перевод французской поговорки «*ter son bonnet par-dessus la muraille (ou les moulins)*»¹³, которая означает почтенную женщину, пустившуюся во все тяжкие. Естественно, что Скалозуб ничего не понял и откликнулся только на слово «гвардия», которое уловил в речи Чацкого, решив, что тот осуждает пристрастие Москвы к гвардейцам.

Второй акт Грибоедов завершил не менее эффектно, чем первый — репликой Лизы о Молчалине и Софье:

Ну! люди в здешней стороне!
Она к нему, а он ко мне...

Часы в гостиной показывали два или три часа, обитатели дома ушли на ранний обед, чтобы после него успеть подготовиться к рано начинавшемуся домашнему празднику (хотя обедать Фамусову, видимо, придется в одиночестве: Софья и Молчалин сказались больными, Чацкий и Скалозуб разошлись по домам, чтобы переодеться к балу).

¹³ Бросать чепчик через стену или через мельничные крылья.

Взявшись за третий акт, Грибоедов обнаружил, что на бесконечные черновики и поправки извел всю захваченную из Москвы хорошую бумагу. Послали за нею в ближайшие уездные городки Елифань и Ефремов, потому что Лебедянь еще пустовала. Грибоедов не был ни в одном из них, а Бегичевы не могли решить, который хуже. Елифань походил на широко раскинутую деревню, дома кое-где крыли соломой, и всё было здесь деревянным, даже церкви, кроме двух каменных. Ефремов же был построен вовсе не по-людски, а просто по-дикарски, вразброд: куда какой дом попал, там и стоял, где лицом к улице, где задом, где боком. Улицы шли вкось и вкривь, прегрязные даже в летнюю сушь, и тоже дома крыли соломой. Бумаги ни в том, ни в другом не оказалось. Решили все вместе ехать в Липецк (не посыльного же туда отправлять!), раз уж нашелся повод для дальней прогулки. В Липецке бумага, конечно, нашлась, но весьма желтая — Грибоедов был и этим доволен, а то бы Степану пришлось отправлять человека аж в Тулу!

Третий акт Грибоедов начал не с вечера, а с предвечернего времени. Он хотел этим подчеркнуть, что действие продолжается в той же гостиной перед комнатой Софьи — она уходит к себе от Чацкого и запирается на ключ, а потом торжественно выходит оттуда к гостям. Чацкий, все еще полагая себя у Фамусовых своим, является на праздник загодя, чтобы поговорить с Софьей, и даже просит разрешения заглянуть к ней в комнату: желание по меньшей мере странное, которое не следовало бы высказывать по отношению к девушке, на которой мечтаешь жениться, — вдруг она согласится? что тогда придется думать о ее нравственности? Софья, как уже известно зрителям, нестрога, но Чацкий-то об этом не знает и не очень огорчен отказом. Тотчас он сталкивается с Молчалиным, идущим к Софье по ее приказу (просьбе?), и молодые люди завуалированно, но резко издеваются друг над другом.

В этих сценах и чуть подальше наконец раскрывается биография Чацкого, довольно-таки сложная. Он не побывал на войне — конечно, не по трусости, а по возрасту. Грибоедов решил сделать его ровесником века или даже немного младше, то есть сверстником Кюхельбекера, а не своим: в конце концов, он сам и его друзья уже не вполне могли претендовать на звание «молодых людей», им уже было к тридцати или старше — возраст, когда следовало заводить семью. Чацкий покинул Москву за три года до начала действия, а оно разворачивается после июня 1818 года, когда «его величество король был прусский здесь», после ноября 1821 года, когда профессоров петербургского Педагогического института обвинили «в расколах и безверьи», и даже после 1823 года, поскольку Фамусов грозит сослать слуг «на поселенье», что было запрещено с 1802 по 1823 год. Значит, Чацкий уехал из Москвы в 1819–1820 годах, а до этого жил в доме Фамусова. Чем он мог заниматься всю юность? — ясно, что только учиться в Московском университете: в древней столице других приличных дворянину учебных заведений не было. Получив, видимо, степень кандидата, если не доктора (уж больно долго учился, не менее чем до восемнадцати лет, а то и до двадцати), он отправился — что так естественно! — покорять мир. Он вступил в кавалерию — да и не мог не вступить, насмотревшись на гвардейцев в 1818 году; с ними он, как студент, не мог ни в чем соперничать и поэтому целый год чувствовал униженность своего положения.

Полк, видимо, стоял где-то в краях, родных и знакомых Грибоедову, поскольку Чацкий столкнулся с немецким доктором в Вязьме и пугал его чумой в Смоленске, откуда сам только что прибыл. Маловероятно, чтобы полк расположился под Смоленском, скорее — в Царстве Польском, что стратегически было важнее. А в Польше в те годы, как очень хорошо было известно Грибоедову, существовала нужда в образованных, юридически грамотных людях; там шли выборы депутатов в сейм — дело совершенно новое в России, абсолютно непонятное, которое с непривычки было трудно организовать. Чацкий с его университетским дипломом мог там очень пригодиться, и к тому времени относится его «с министрами связь», поскольку министры существовали, кроме Варшавы, только в Петербурге, где, конечно, юноше было намного труднее обратить на себя внимание. Чацкий мог быть еще тем ценен, что имел польских предков (вот и пригодилась фамилия!). Но работал он недолго, с министрами у него произошел «разрыв». Тут Грибоедов не выдумывал, а просто

воспроизводил судьбу князя Вяземского, бывшего арзамасца, которого хорошо знал. Тот активно трудился в Варшаве, но в конце 1821 года подал в отставку. Друзья его за это упрекали, полагая служение Отечеству долгом думающего человека, но Вяземский оправдывался: «Мне объявлено, что мой *образ мыслей и поведения* противен духу правительства и в силу сего запрещают мне въезд в город, куда я добровольно просился на службу. Предлагая услуги свои в другом месте и тому же правительству, которое огласило меня отступником и почти противником своим, даюсь некоторым образом под расписку, что вперед не буду *мыслить и поступать по-старому*. Служба отечеству, конечно, священное дело, но не надобно пускаться в излишние отвлеченности; между нами и отечеством есть лица, как между смертными и Богом папы и попы. Вот оправдание. Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей в открытой противоположности со всеми действиями правительства; а с другой стороны, унижительно быть хотя и ничтожным орудием его (то есть не делающим зла), но все-таки спицею в колесе, которое, по-моему, вертится наоборот».

Грибоедов не знал, что вызвало опалу Вяземского, но, уважая его достоинства, не сомневался, что пылкий герой его пьесы вполне может пойти по стопам князя. Вот Чацкий и оставил полк и Польшу и вздумал путешествовать. Из трех лет, проведенных вне Москвы, на путешествия у него осталось едва ли больше года. Где же он побывал? «На кислых водах» и в краях, «где с гор верхов ком снега ветер скатит». Это могут быть Альпы, а может быть Кавказ. Грибоедов описывал знакомый ему Кавказ, но потом совсем убрал упоминание о горах, кроме предположения Загорецкого, что Чацкий там «ранен в лоб»: если ему поверить, то речь идет о Кавказской войне (в Альпах не стреляли), если отмахнуться от его слов, то Чацкий мог быть где угодно. Однако он ни словом не упоминает Европу, поскольку Грибоедов ее не видел, да и путешествия молодежи за границу в те годы вышли из моды; юноши предпочитали изучать родную страну, чтобы так или иначе служить ей. Чацкий, выйдя в отставку, занялся сочинительством, причем стал известен даже Фамусову («славно пишет, переводит»), отнюдь не охотнику до литературы. Словом, Грибоедов слил в героя опыт своего поколения — себя самого или Вяземского — с пылкостью юных — Кюхельбекера или Пушкина. На последних Чацкий был похож и тем, что едва ли имел приятную наружность: будь он ко всему своему остроумию, франтовству и благородству еще и хорош собой, он отвоевал бы Софью у Молчалина с одного удара. Напротив, это Молчалин отличается слащавой красотой: Чацкий даже называет его «Эндимионом» — вечно юным и вечно прекрасным возлюбленным богини Луны Селены. Такая характеристика в устах Чацкого показалась слушателям неуместной, и Грибоедов ее убрал, заменив словами, что, мол, у Молчалина «в лице румянец есть».

Герой, которого он сам создал, отнюдь не казался Грибоедову непременно заслуживающим любви романтической, даже сентиментальной девицы. Александр очень неплохо разбирался в женских сердцах и женских вкусах и понимал, что в качестве любовника Чацкий мог бы иметь успех, но в качестве мужа?.. Он с сочувствием вложил в уста Софьи сравнение Молчалина с Чацким:

Конечно нет в нем этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит,
Который свет ругает наповал,
Чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал;
Да эдакий ли ум семейство осчастливит?

В этом не Грибоедов, но Чацкий с ней не согласился, однако справедливость следующих ее слов о Молчалине как об идеальном муже:

Чудеснейшего свойства

Он наконец: уступчив, скромн, тих,
В лице ни тени беспокойства
И на душе проступков никаких...

даже Чацкий признал грубоватой фразой:

Ума в нем только мало;
Но чтоб иметь детей,
Кому ума не доставало?

Что мог противопоставить сопернику Чацкий? Настаивать на исключительности своей любви, в то время как в Молчалине он и тени ее не видит. Но дело ведь не в его видении, а в Софьином — Софья видела в Молчалине все, что ей надо, и речами ее не переубедить.

После панегирика Софьи Грибоедов предоставил слово самому Молчалину. Тот сначала по старой привычке обращался к Чацкому как низший к высшему, прибавляя через слово вежливое «-с» («да-с»), почтительное в разговоре со старшими, неприлично подобострастное в разговоре с ровесниками. Чацкий в ответ осыпал его колкостями, и Молчалин перешел в наступление. Чацкий издевался над его стариковским образом жизни — тот в ответ старался уязвить его намеком на опалу у начальства. Чацкий с презрением отзывался о его высокой покровительнице и заявлял насмешливо: «Я езжу к женщинам, да только не за этим», имея в виду, что его отношения с женщинами и более равные, и более естественные, хотя, может быть, менее нравственные. Молчалин тут невольно вспоминал свое унылое сидение рядом с Софьей, когда, не одушевленный страстью, он едва сдерживал героическим усилием зевоту и желание уснуть, — и раздражался восторженным описанием праздников Татьяны Юрьевны и сочинений Фомы Фомича, стремясь показать, что, де, он теперь не то что три года назад, теперь он принят в лучших домах. Он и сам увлекся звуком своих речей, уверовал в свою значительность по сравнению с неслужащим Чацким и даже отказался от бесконечных «-с» и ушел не простившись.

Грибоедову не понадобилось ни в чем исправлять этот великолепный диалог, он даже его не правил — так сразу он пришелся всем по душе. Нельзя было лучше изобразить ничтожество Молчалина, его бесполезность для блага государства — и в то же время огромную вероятность его удачной карьеры: «Ведь нынче любят бессловесных». Но подобный характер в избраннике Софьи заставлял пересмотреть отношение к ней автора. Дамам Бегичевым казалось, что Александру Сергеевичу не следует одобрять ее поведение: свобода выбора — вещь прекрасная, но выбор должен быть достойным; нельзя же полностью становиться на сторону чувств, отвергая разум. Неужели любой жених хорош, коль скоро он выбран самой девушкой? Неужели душевная слепота героини не будет наказана?

Этот вопрос был связан с предыдущим, еще не решенным Грибоедовым, — как без нарочитости разоблачить бессовестность Молчалина, если тот все время молчит? В разговоре с Чацким он высказался достаточно откровенно, но ведь Софьи при сем не было — не заставляя же ее подслушивать из-за двери! И опять он отложил решение.

В доме Фамусова наступил вечер, слуги раскрыли в гостиной столы для карт, зажгли свечи и распахнули двери во всей парадной анфиладе комнат. Чацкий в это время как неприкаянный сидел где-то в углу, мешал всем и изображал лишний предмет мебелировки. Часы пробили восемь — начали съезжаться гости. Софья, приглашая Скалозуба, заявила, что предполагается лишь домашний вечер без оркестра, с одним фортепьяно, потому что у Фамусовых траур. Сперва Грибоедов написал «Великий пост», потом «траур», но и тем и другим он хотел подчеркнуть вынужденность бала, даваемого вопреки обычаю. Всё в этом доме делалось по необходимости, а не по желанию — даже бал. В действительности же на вечер съехалось множество гостей, и, вероятно, поводом к нему стал день рождения Софьи: она очевидная царица бала, не только его хозяйка; даже Хлестова говорит, что приехала

именно к ней. Именин у нее быть не может — они в августе, остается день рождения. К тому же об именинах любого человека известно всем, кому известно его имя, а о дне рождения знают только родственники и близкие друзья, поэтому полковника Скалозуба надо приглашать, а Чацкий сам примчался. Естественно, вечером Софье никто не дарит подарков, кроме подхалима Загорецкого, надеющегося выделиться в толпе мужчин — подарки следовало прислать с утра вместе с визитной карточкой и в ответ получить приглашение на бал.

Тут Грибоедов провел перед Чацким всю галерею московских жителей, которых тот давно не видел и потому смотрел на них как внове — глазами автора, увидевшего Москву в 1823 году впервые после 1812 года, если не считать недельного пребывания в 1818-м. Первой в гостиную явилась молодая жена Наталья Дмитриевна, опередив даже мужа. На мысль об этой супружеской чете, раздражающей друг друга через каких-то полгода семейной жизни, Грибоедова навели Бегичевы.

Раз Грибоедов подошел к дому перед вечерним чаем и издала увидел у окна гостинной обоих братьев, горячо споривших о давно прошедших временах. Было жарко, и Дмитрий сидел, расстегнув жилет. Его жена, то ли боясь, что он простудится на сквозняке, то ли прося не выставлять на об-щее обозрение его явно намечавшееся брюшко (Дмитрий Никитич довольно-таки располнел, в отличие от Степана), несколько раз просила его застегнуться. Он не обращал на нее внимания, но наконец воскликнул с нетерпением: «Эх, матушка! — и, тотчас обратясь к брату, продолжил разговор: — А славное было время тогда!» Грибоедов расхохотался, побежал назад в беседку и вскоре принес рукопись со сценой между Платоном Михайловичем и Натальей Дмитриевной.

Наталья Дмитриевна

Послушайся разочек,
Мой милый, застегнись скорей.

Платон Михайлович *(хладнокровно)*

Сейчас.

Наталья Дмитриевна

Да отойди подальше от дверей.
Сквозной там ветер дует сзади!

Платон Михайлович

Теперь, брат, я не тот...

Наталья Дмитриевна

Мой ангел, бога ради,
От двери дальше отойди.

Платон Михайлович *(глаза к небу)*

Ах! матушка!

Он очень извинялся и просил не думать, будто бы он изобразил здесь своих друзей. Они и не подумали, зная его искреннее к ним уважение. Однако Александра Васильевна не преминула рассказать об этом маленьком случае брату, Денису Давыдову, и этот весельчак, не задумываясь, выставил сестру и зятя на потеху стоустой московской молве. Впрочем, слух утвердился как истина только в следующем поколении, которое не могло уже знать ум и таланты Дмитрия Никитича и Александры Васильевны.

Разговор Чацкого с Натальей Дмитриевной не встретил полного одобрения дам, и они потребовали убрать некоторые неприличные намеки, которые недопустимы в светской речи.

Они-то были замужем, но в зале будут сидеть и барышни, и автору не следует ставить их перед трудным выбором: не понимать то, что слышат, или не слышать того, что им не положено понимать. Грибоедов послушался, тем более что всегда был врагом двусмысленностей и грубостей, очень популярных в его поколении; имея прекрасную сестру, он привык уважать женщин, заслуживающих уважения. Впрочем, он отыгрался, вложив в уста Натальи Дмитриевны немыслимое выражение «тюрлюрю атласный», которое пристало только модистке или гризетке и означало, помимо шали, еще и уличную девку. Барыня употребила его только от глубокого невежества во французском языке, который, вероятно, учила со слуха, а не по высоким образцам художественной литературы. Недолгий разговор Горичей с Чацким раздражает всех троих: Чацкий сердится за друга и на друга, попавшего под башмачок жены, Наталья Дмитриевна сердится на Чацкого, пытающегося увести Платона Михайловича из-под ее влияния; Горич сердится на жену, выставляющую его на посмешище как несмышлениша.

За Горичами явилось семейство Тугоуховских. Бегичевы решили было, что негоже насмешливо изображать разваливающегося старика (он же не виноват в своем возрасте), но Грибоедов возразил, что будь князь действительно дряхл, он остался бы дома (для сопровождения дочерей достаточно матери), а будь он совсем глух, он не слышал бы речи жены. Нет, он не дряхл, и дочери его еще не старые девы, а невесты, и глухота князя — способ борьбы с глупостью окружающих, очень удобный для него. Интересно, что в беседе с княгиней Наталья Дмитриевна решительно ответила на вопрос, богат ли Чацкий: «О! Нет!» Неужели все же Грибоедов изображает высочайший круг, где четыреста душ считаются мелочью? На это ему нечего было возразить, аппетиты его персонажей действительно были не по чину, но он оставил реплику, чтобы показать чрезмерную расчетливость княгини: танцовщики редки (мужчины в Москве всегда не любили плясать, а в 1820-е годы по всей Европе танцы вышли из моды у молодых людей), но она все равно не приглашает кавалеров, кроме тех, которые годятся в женихи ее дочерям. Разборчивость матери указывает и на возраст дочек: будь они уже не юны, она бы не привередничала.

Откровенно нахальное поведение княгини, то посылающей князя к молодому человеку, то во весь голос отзывающей его назад, возмущает Чацкого, и когда старая дева, графиня-внучка, пытается уцепиться за него, он на редкость грубо ее осаживает. С этого эпизода начинается цепная реакция: графиня-внучка набрасывается на Софью, критикуя ее туалет (эту фразу Грибоедов потом вычеркнул, опасаясь, что гирлянды и ленты, упомянутые графиней, выйдут из моды к моменту постановки пьесы, и Софья покажется дурно одетой) и позднее появление; — Загорецкий пытается разрядить атмосферу анекдотом о том, как он доставал для Софьи билет на спектакль; — Платон Михайлович, пребывая в дурном настроении, представляет Загорецкого Чацкому как шулера, не боясь быть вызванным на дуэль; — старуха Хлестова недовольно добавляет к этой характеристике, что «лгунишка он, картежник, вор», и злится на Чацкого за его смех; — потом ее сердит Фамусов, представляя Скалозуба, — Молчалин пытается смягчить ее — Чацкий раздражается на него — это выводит из себя Софью — та, в гневе, бросает на ветер слова: «Он не в своем уме» — какой-то архивный юноша (или пожилой сплетник) понимает их буквально: «Ужли с ума сошел!» — другой господин, после некоторого сомнения, принимает это как факт: «С ума сошел» — Загорецкий в этом уже ни секунды не сомневается и с ходу выдумывает длинную историю в подтверждение; — графиня-внучка, желая показать свою осведомленность, заявляет, что сама это заметила — ее бабушка (с немецким акцентом в знак исключительной дряхлости) отправляет Чацкого уже не в сумасшедший дом, а сразу в тюрьму и в солдаты (она не слышит, о чем говорят вокруг, но видит всеобщее волнение, которого не вызвал бы настоящий сумасшедший — послали бы за доктором, и дело с концом!) — и, наконец, все наперебой приводят доказательства его сумасшествия. Один полковник Скалозуб не поддерживает развитие сплетни: она ведь не относится до его службы; только услышав что-то ему понятное о вреде просвещения, он успокаивает собравшихся информацией о проекте отмены всякого обучения, кроме военной муштры (злая, но верная шутка).

Интрига была изображена мастерски и очень по-московски: ведь никто ее сознательно не затевал, никто не действовал со зла на Чацкого, каждый всего лишь слегка усилил слова собеседника, что так по-человечески понятно. А в итоге обычное идиоматическое выражение «не в своем уме» превратилось сначала в болезнь, а потом в политическое преступление. Сначала Грибоедов хотел обвинить в появлении сплетни лжеца, который пускает ее в угождение свету, но потом описал это точнее:

Чье это сочиненье!
Поверили глупцы, другим передают.
Старухи вмиг тревогу бьют.
И вот общественное мненье!

Надо сказать, что поведение Чацкого не разубеждало сплетников. Грибоедов так долго бился над его заключительным монологом третьего акта, извел столько черновиков, что видеть свою рукопись уже не мог — и отдал переписать ее набело, уже по возвращении из деревни; но даже этот текст не стал окончательным. Вся сложность была в том, что Грибоедов просто не знал, что поручить сказать герою, какие взгляды должен он отстаивать наперекор толпе. Но по крайней мере он не делал его декламатором, глупо обращающимся к светской черни на балу: Чацкий отвечал монологом на вопрос Софьи, заданный ему особо (это указано в ремарке), следовательно, и он говорил только с нею, устав за долгий день от шума и суеты. Пока они беседовали, отвернувшись от гостей и сидя, может быть, у того самого окна, через которое смотрели на них зрители, кто-то пригласил Софью на вальс, и Чацкий вынужден был оборвать себя: «Глядь...» (оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием). Софья ушла. Его никто не слушает.

На этом Грибоедов остановился. План четвертого действия сложился у него в голове, но он чувствовал потребность поближе и подольше изучить московский свет и московскую молодежь, прежде чем двигаться дальше. Монолог Чацкого и картина бала требовали отделки, и он не мог их завершить, живя в деревне.

Он потерял уверенность, что выбрал верный тон в описаниях. Степан, даже отдыхая в имении, старался не отставать от новостей литературы и выписывал разные альманахи и журналы, среди прочих и «Вестник Европы». Грибоедов не уделял им особенного внимания, но Степан сам показал ему печатавшиеся все лето из номера в номер сатирические зарисовки московских нравов «Дни досад». Автор их был неизвестен, но Грибоедов обнаружил у него почти полное совпадение со своим взглядом на мир: тот, как и он, изображал один день юноши Ариста, который видит утром, как идут в университет бедные студенты и едут в колясках богатые; днем сталкивается в ресторации с графом Аддифаговым (имя, которое можно бы перевести с древнегреческого как «невероятный обжора»), с князем Лелевым, женатым по расчету на дочери ростовщика Процентина; вечером на балу он поневоле танцует, играет в карты, отбивается от охотниц за мужьями и под конец подводит итог пережитому: «От нечего делать я принужден был спорить с невеждой и не доказать ему ничего, познакомиться с домами не по сердцу, безвинно стать жертвой городских слухов и неумышленного зложелательства тетушек, от тщеславия жестоко ошибиться в людском мнении и, жертвуя оному, быть осмеянным на балах, скучать ими и невольно не пропускать ни одного из них...» Право, не напиши Александр уже большую часть своей пьесы, он мог бы сам себя обвинить в плагиате! И однако, при значительном сходстве сюжета он нашел у неизвестного автора разительное несходство стиля: тот соединил свойства памфлетов восемнадцатого века, откуда почерпнул и персонажей, и их имена, с модным направлением романтизма, откуда взял мрачный, тоскливый образ героя. Грибоедову понравилось прочитанное, он видел, что цензура легко пропустила «Дни досад» в печать, но он сомневался, заденет ли эта критика хоть кого-нибудь за живое — уж слишком она была абстрактна, слишком... устарела по форме. Но, с другой стороны, не слишком ли ново то,

что пишет он сам, поймет ли его публика, выросшая на просветительской и романтической литературе, привыкшая видеть в книгах и слышать на сцене язык, которым в жизни уже не говорят, да и вряд ли когда говорили?

«Вестник Европы» по-прежнему издавал Каченовский, которого Грибоедов не терпел, но с которым Бегичев был хорошо знаком. По просьбе друга Степан написал в Москву, прося Каченовского раскрыть инкогнито автора сатиры. Тот незамедлительно ответил: князь Владимир Федорович Одоевский, недавний выпускник Московского университета. Грибоедов мог считать себя почти в родстве с Одоевскими, поскольку его дядя был первым браком женат на Одоевской, не важно, кем она приходилась Владимиру Федоровичу. На правах дальнего свойственника и почитателя его дарования Александр послал князю вежливую записку, выражая надежду увидеться в Москве.

Тем временем сентябрь подходил к концу, Бегичевы начали собираться в дорогу. Как и обещал Степан, они сперва сделали крюк и заехали в Лебедянь полюбоваться на ярмарочную сутолоку и послушать ржание табунов лошадей сотен пород и мастей, свезенных сюда со всей страны, если не со всего света. Надежды Грибоедова встретить тут Жихарева не оправдались — в толчее, среди бесчисленных торговцев и покупателей нельзя было никого отыскать. Погуляв день по городу и заночевав здесь, Грибоедов и Бегичевы двинулись в Москву. Прошло не меньше двенадцати лет с тех пор, как Александр последний раз ездил в семейном дорожном обозе. Теперь он живо вспоминал детские впечатления от неспешного передвижения вереницы экипажей, телег и фур. Как мало это было похоже на привычные ему после Кавказа скачки в кибитке на почтовых лошадях! И насколько было приятнее и спокойнее, хотя и медленнее — но, право, не намного! Через неделю, в самом конце сентября, прибыли в Москву. И снова Грибоедов вспомнил столкновения обозов на перекрестках, ругань дворовых, оживленность осенней столицы. Но конечная цель пути была для него теперь иной: он даже не попытался остановиться в Новинском, а напросился к Степану на всю зиму и был с радостью, даже с восторгом устроен в его доме. С матерью Александр не поддерживал отныне никаких отношений, кроме редких визитов вежливости, принимаемых тою с исключительной грубостью.

Бегичев после женитьбы мог бы устроиться со всей роскошью, но не любя светских удовольствий и пышных приемов, ограничился тем, что нанял великолепного французского повара, накупил дорогих вин и завел для друзей открытый и изысканный стол. Его обеды немедленно привлекли внимание многих посетителей, но хозяин постоянно приглашал только тех, кто мог внести свою лепту в живой, остроумный разговор. Тон в нем задавали Грибоедов и Денис Давыдов, маленький, шумный, словоохотливый, оставшийся прежним гусаром-кутилой, несмотря на генеральский чин и счастливую семейную жизнь. Прочих завсегдатаев дома привлек сюда Грибоедов, познакомив со Степаном. Это было совершенно блестящее общество, воистину «сок умной молодежи». В Москве, как и всюду, около Александра образовался круг близких друзей, совершенно несхожих между собой. Во-первых, он обнаружил здесь Кюхельбекера, устроившегося преподавателем в Университетский пансион и, по своему обыкновению, бедствовавшего. Вильгельм встретил Грибоедова с прежним пылким восторгом, и Александр уговорил Степана взять его учителем русского и немецкого языка к двенадцатилетней Лизе Яблочковой, племяннице жены Дмитрия Бегичева, жившей всю зиму в доме Степана.

Из старых знакомых Грибоедов встретил в Москве Александра Всеволожского, все еще готового обсуждать проект компании по торговле с Персией, и Алябьева, теперь известного музыканта и азартнейшего картежника. Здесь же находился князь Вяземский, прежде противник Шаховского и Грибоедова как правоверный арзамасец, но теперь, после распада «Арзамаса», они легко познакомились и сдружились, хотя оставались на «вы». Князь был одним из самых заядлых эпиграммистов России, исключительно злоязычным, но разил только литературных противников, никогда не задевая светских знакомых. Он называл Александра за глаза «Грибоедов-Персидский», совсем не иронически, а желая подчеркнуть его достижения (иной цели у него не было, потому что прозвище было не нужно Грибоедову

для выделения среди однофамильцев и родственников, ибо таковых не существовало, кроме старика дяди). Кюхельбекер представил Грибоедову и Бегичеву Владимира Одоевского, который в глазах Александра имел достоинства не столько писателя, сколько талантливого музыканта, глубокого знатока теории музыки.

Одоевский познакомил Грибоедова на одном из вечеров со своими бывшими товарищами по университету, поклонниками немецкой философии, составившими «Общество любомудрия» — юным красавцем поэтом Дмитрием Веневитиновым, истинным философом Иваном Киреевским, Александром Кошелевым, чья судьба еще не определилась. С ними Грибоедов не сблизился, плохо зная философию и невысоко ее ценя, однако это не испортило его дружбы с Владимиром Одоевским. Едва сходясь, они могли часами обсуждать сложнейшие вопросы музыкального искусства, вызывая веселое недоумение приятелей, не вовсе невежд в музыке, и, однако, не понимавших ни слова. Среди лучших композиторов Москвы числился Алексей Верстовский, молодой приятель Алябьева, которого свело с Грибоедовым взаимное уважение. Верстовский только что написал бессмертную «Черную шаль», и типография не успевала печатать экземпляры — так быстро расходились они по России. Грибоедов, всегда воспринимая мир глазами драматурга, уговорил Верстовского назвать свое сочинение кантатой и поставить на сцене в картинном исполнении. Журналисты разругали эту идею, но публика и сам автор приняли ее на ура! так что даже итальянские певцы стали давать кантату в свои бенефисы.

В этот круг избранных затесался Николай Шатилов, на правах прежнего сослуживца Грибоедова по Иркутскому гусарскому полку и нынешнего зятя Алябьева. Шатилов был все такой же поклонник избитых острот и картежник под стать Алябьеву. Грибоедов, как всякий подлинно остроумный человек, едва терпел Шатилова и как-то придумал купить сборник французских анекдотов и на всякую его шутку брался за книгу и спрашивал: «На какой странице?» — «Свое, ей-богу, свое», — клялся добродушный Шатилов. За карточным столом он, однако, превращался в беса.

Алябьев и Шатилов познакомили Грибоедова со своим постоянным партнером в картах, графом Федором Ивановичем Толстым-Американцем. Впрочем, кто ж его не знал? Ему было уже лет сорок, но никто не надеялся, что он когда-ни-будь остепенится. Ни годы, ни правительственные наказания никак не действовали на эту буйную голову. Он подчинял себе самые неблагоприятные обстоятельства. Убив на дуэли множество представителей лучших семейств, он умудрился сохранить доступ во все дома; будучи дважды разжалован в солдаты, каждый раз безумной отвагой возвращал себе офицерский чин; отправившись двадцатилетним (в виде наказания за дуэль) в первое русское кругосветное плавание под командованием Крузенштерна, он был высажен за бунт на Алеутских островах, но умудрился пересечь всю Россию и вернуться посуху в Петербург, заслужив прозвище Американец; наконец, имея привычку передергивать в карты («исправлять ошибки Фортуны»), он не лишался ни партнеров, ни уважения общества. Уж на что Денис Давыдов был человеком испытанной храбрости, а и тот как-то обратился к Толстому:

Прошу тебя забыть
Нахальную уловку,
И крепе, и понтировку,
И страсть людей губить.

Молодой Пушкин, искренне ненавидя Толстого, заклеил его эпиграммой:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но исправься понемногу,

Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор.

Вяземский же пытался сохранить объективность и не судить:

Американец и цыган!
На свете нравственном загадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края хлещет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!

Грибоедов был рад увидеть самую колоритную личность Москвы, если не всей России, и хотя не составил о Толстом высокого мнения, но и не боялся его.

Занимаясь музыкой вместе с Алябьевым, Всеволожским, Верстовским и Одоевским, читая стихи Кюхельбекеру и Вяземскому и слушая их стихи, смеясь с Денисом Давыдовым, проводя вечера в театре и до полуночи ведя душевные разговоры со Степаном, Грибоедов замечательно проводил время. В Персии он мечтал о Петербурге, но теперь забыл о нем — даже не забыл: ему стало казаться, что Петербург сам пришел к нему в лице своих лучших представителей.

Этой зимой Александр наконец вволю наговорился с Бегичевым. Вдвоем они засиживались в кабинете Степана допоздна. Грибоедов рассказывал о своих путешествиях, о персидских нравах и обычаях, о Ермолове и кавказских экспедициях, перечитывал вслух свои путевые записки, многое добавлял, переживая заново перенесенные испытания. Иногда он разбирал с другом творения гениальных поэтов или открывал Степану свои творческие мечты и тайны. Оба испытывали истинную радость от возможности высказать друг другу все, что занимало душу. Затем Степан уходил спать, а Александр до глубокой ночи играл на рояле — девочка Лиза тихонько сидела часами в уголке кабинета и слушала его импровизации. Грибоедов как-то нечаянно взялся за ее воспитание, прививал ей любовь к музыке и серьезному чтению и отвращение к свету. «Лиза, — говорил он ей, — не люби света и его побрякушек; будь деревенской девушкой, ты там будешь больше любима, а главное, научишься сама лучше любить». Эти слова произвели на девочку неизгладимое впечатление, определив всю ее жизнь. Грибоедов даже как-то раз записал для нее свой печально-задумчивый вальс e-moll и подарил ей. Он учил ее ценить высокопоэтические достоинства псалмов Давида и сам перевел один из них — Владимир Одоевский и Кюхельбекер напечатали его в первой части альманаха «Мнемозина», который стали издавать с начала 1824 года. Стихотворение Грибоедов написал архаическим языком, Кюхельбекер пришел от него в восхищение, но Александр счел опыт неудачным и больше к нему не возвращался.

И наконец, Грибоедов снова встретил в Москве Чаадаева. Тот вышел в 1820 году в отставку, добровольно прервав блестящую карьеру. Он никому не объяснил причин этого странного решения, но ходили слухи о его глубоком разочаровании в Александре I. Он поселился в Москве, и москвичи гордились тем, что такой выдающийся человек почтил их город своим присутствием, как прежде они гордились графом Орловым-Чесменским. Чаадаеву непременно представляли всех заезжих иностранцев. Он встретил Грибоедова с оттенком прежней дружественности и предложил ввести в свой любимый Английский клуб. Это была честь, на которую Грибоедов, разумеется, имел право от рождения, и он воспользовался поручительством Чаадаева, чтобы подробно изучить мир Фамусовых. Роскошь старейшего русского клуба его не удивила, но поразил какой-то особый, жестко укоренившийся, почти английский порядок. Каждый зал имел свое четкое предназначение, повсюду царила умиротворяющая тишина, особенно в пристроенной после пожара

великолепной читальне, полной газет и журналов со всего света. Во всех комнатах почтенные старцы неспешно играли в коммерческие игры по маленьким ставкам, и только в «инфернальной» кипела азартная игра на бешеные деньги под предводительством Толстого, Алябьева и присных. В «говорильне», особой зале, предназначенной (именно предназначенной!) для острых политических дебатов, любой мог безнаказанно высказать самые радикальные взгляды, мог критиковать правительство, ратовать за реформы. Старшины клуба наблюдали, чтобы никто не разгласил услышанное в «говорильне» и чтобы никакие речи не навлекли на члена клуба доноса и наказания. За всякую попытку вынести услышанное из клуба виновного незамедлительно исключали. Здесь вели беседы о восстании в Греции и о Байроне, сражавшемся в те дни за свободу воспетой им Эллады; о необходимости отмены бесчеловечного крепостничества и введения судебной системы английского образца. Здесь со всех сторон порицали бездельность царя и ругали всесильного Аракчеева. Правда, Грибоедов ни разу не слышал, чтобы предлагались какие бы то ни было способы искоренения зла или реальные планы преобразований.

Александр не увлекся политическими прениями в Английском клубе. Его стихией был театр. С февраля 1818 года, когда в Петербурге закончился сезон, он не видел ни одного спектакля! Он ринулся в мир кулис, словно умирающий от жажды, заведший воду. Директор театра Кокошкин и старый недруг Загоскин, прославившийся несколькими забавными комедиями о деревенском философе Богатонове, встретили его с изрядным почтением. Какие-то смутные слухи о пьесе, сочиняемой Грибоедовым, уже просочились в свет, несмотря на принятые им предосторожности. И Кокошкин, и особенно Загоскин искали с ним дружбы.

На одном из представлений своей комедии Загоскин опозорился на весь зал, к вящему удовольствию Грибоедова. Александр был приглашен Кокошкиным в директорскую ложу и в антракте, увидев входящего с полупоклонами Загоскина, шутливо бросил ему: «Вы знаете, Михаил Николаевич, что я вас почитал дураком, но теперь, увидевши эту комедию, признаюсь, что вы умны!» Окрыленный Загоскин выскочил из ложи и побежал разыскивать своего приятеля, племянника великого поэта Ивана Ивановича Дмитриева, Михаила Дмитриева, тоже поэта, которого Вяземский для различения с дядей именовал Лже-Дмитриевым. Увидев того в первом ряду кресел, под самой директорской ложей, он кинулся к нему с криком: «Вообрази, Мишель, ведь Грибоедов признался, что я умен! Сейчас говорит мне! Ведь Грибоедов-то кричал!» — «Да, — ответил Дмитриев, покосившись на хохочущего Грибоедова, — Грибоедов кричал о тебе, а ты о самом себе». Загоскин оглянулся по сторонам и, сконфузившись, умолк.

Грибоедов наслаждался театральной суетой. В Москве по-прежнему считалось непристойным по-петербургски хлопать и громко вызывать актеров. Александр, однако, доставлял себе это удовольствие, хотя нельзя сказать, чтобы артисты казались ему особенно хороши, кроме молодого толстяка с малоросским акцентом — Михаила Щепкина. Кокошкин был поклонником старины во всем, в том числе в театральной игре, и Грибоедову его взгляды казались устаревшими еще полвека назад. Вяземский говаривал, что Кокошкин предан театральным обычаям до суеверия, до язычества. Актеры во всем слушались директора, и Грибоедов с Вяземским постоянно видели, как во время исполнения даже самых страстных сцен они одним глазом косились на директорскую ложу — искали одобрения. Раз Грибоедов с Алябьевым своими громкими аплодисментами и криками увлекли партер и раек, кресла стали шикать — и в театре поднялся ужасный шум. Полицмейстер, обязательный зритель всех спектаклей, счел их виноватыми и в антракте подошел к ним в сопровождении квартального, дабы устроить на будущее.

— Как ваша фамилия? — обратился он к Грибоедову.

— А вам на что?

— Мне нужно это знать.

— Я — Грибоедов.

— Кузьмин, запиши, — велел полицмейстер квартальному.

- Ну а как ваша фамилия? — в свою очередь спросил Грибоедов.
- Это что за вопрос? — вскинулся полицмейстер.
- Я хочу знать, кто вы такой.
- Я полицмейстер Ровинский.
- Алябьев, запиши.

Однажды в начале ноября Грибоедов зашел к Вяземскому и был встречен с особенным радушием — Петр Андреевич как раз собирался послать ему записку. У него только что побывал Кокошкин: просил написать что-нибудь для бенефиса актрисы Львовой-Синецкой, его гражданской жены. Вяземский удивился такому предложению. Штатными сочинителями для московского театра состояли Загоскин и юный Александр Иванович Писарев, недавний выпускник пансиона, который даже жил в доме Кокошкина. Однако директор театра посчитал, что новые имена на афише привлекут зрителей, тем более имя Вяземского, прославленного в России, а не в одной Москве, как Писарев.

— Я ему отвечал, — рассказывал Вяземский Грибоедову, — что не признаю в себе никаких драматических способностей, но готов ссудить начинкою куплетов пьесу, которую другой возьмется состряпать. Так не взяться ли нам вдвоем за это дело?

Грибоедов охотно согласился. Он прежде не сочинял водевилей и был рад за этим занятием отдохнуть от своей серьезной комедии. К тому же ему было приятно потрянуть стариной, вспомнив время, когда он весело сотрудничал с Шаховским, Жандром или Катениным. Условились, что Грибоедов возьмет на себя расположение сцен, разговоры и прочее — причем он решил писать прозой; Вяземский же брал всю стихотворную часть, то есть все, что должно быть пропето. Положили пригласить в компанию Алексея Верстовского, набившего руку на водевильной музыке.

В водевиле главное — забавный сюжет и остроумные куплеты. Вяземский, недавно возвратившийся из Варшавы, предложил перенести действие в Польшу и придать всему польский колорит; он хоть и был счастливо женат, а с удовольствием вспоминал двух сестер-красавиц Антосю и Лудвися, украшавших варшавские гулянья и спектакли. Грибоедов тоже помнил польских панночек и поддержал идею.

Работа доставила соавторам истинное наслаждение. Обыкновенно сговаривались встретиться вечером у Бегичева или Вяземского, открывали бутылку шампанского и начинали обсуждать диалоги или музыку. Утром, после таких посиделок, кто-нибудь что-нибудь набрасывал и вечером прочитывал. Иногда Грибоедову что-то приходило в голову ночью, и он с утра посылал записки Верстовскому и князю со стихами или мотивами, добавляя: «А вечерком кабы свидеться у меня и распить вместе бутылку шампанского, так и было бы совершенно премудро??»

Грибоедов назвал пьесу «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом». Он постарался услужить бенефициантке — ее героине предстояло играть три роли: молодой кокетливой панны, серьезной девицы и разудалого брата-гусара — и во всех ролях петь и танцевать. Смысла в водевиле не было почти никакого, но авторы о нем и не беспокоились. Запутав сюжет до полной неразберихи, Грибоедов откровенно признался вместе с героиней: «Потеряла всю нить, как сведу, сама не знаю». И разрубил узел, позволив Юлии на глазах изумленного поклонника превратиться сперва из брата в сестру, а потом из сестры — в жену брата поклонника! Прочие роли были столь же забавны, муж Юлии должен был изображать парализованного старика, а потом вскакивать с кресла, пугая брата: «Какое дьявольское сплетение!» По желанию Вяземского в пьесу вставили милых девушек — Антосю и Лудвися. Прежде в сценических пустячках Грибоедов отрабатывал стиль или язык, теперь же он просто дурачился. Впрочем, неожиданно для себя он написал превосходный романс, который Верстовский столь же превосходно положил на музыку. Однако Александр решил, что в его стихах звучит подлинное чувство, вызванное мимолетным увлечением:

Ах! точно ль никогда ей в персях безмятежных
Желанье тайное не волновало кровь?

Еще не сведала тоски, томлений нежных?
Еще не знает про любовь?
Ах? точно ли никто, счастливцев, не сыскался,
Ей друг? по сердцу ей? который бы сгорал
В объятиях ее? в них негой упивался,
Роскошествовал и обмирал?..
Нет! Нет! Куда влекусь неробкими мечтами?
Тот друг, тот избранный; он где-нибудь, он есть.
Любви волшебство! рай! восторги! трепет! — Вами,
Нет! — не моей душе процвести.

Он попросил Вяземского слегка переделать стихи; тот сделал «их правильнее», но убрал искренность:

Ах, точно ль для ее души
Еще счастливцев не сыскался,
Который счастья б в тиши
Любви блаженством наслаждался?

«Водевильную стряпню», как звал это Вяземский, приятели завершили быстро. Они торопились отправить ее в петербургскую цензуру до Рождества, чтобы получить ответ сразу после Нового года и успеть поставить пьесу до Поста. Вяземский просил петербургских друзей посодействовать через дочь министра внутренних дел Ланского, чтобы «если найдется кое-что непозволительное, то пускай вымарают, а не задерживают и присылают то, что может быть сказано и пето, не оскорбляя Бога, царя и ослиных ушей и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого». 10 января водевиль благополучно прошел цензурные рогатки, через три дня курьер привез его в Москву, Кокошкин и бенефициантка выразили восторг, и начались репетиции.

Они испортили всем послепраздничное настроение. К огорчению Грибоедова, московские актеры оказались совершенно неспособны хоть что-нибудь сказать или сделать быстро и живо. Львова-Синецкая, довольно пухлая, не смотрелась в гусарской форме. Исправить что-то было невозможно, поскольку Кокошкин не позволял Грибоедову вмешиваться в ход репетиций, а в довершение бед Писарев, обиженный покушением на его водевильные права, плел закулисные интриги против новых авторов. Он был еще очень молод, страдал болями в груди и почитал себя гением, чего никто в Москве не оспаривал. Он прославился в 1823 году переводом стихами с французского языка английской прозаической комедии Шеридана «Школа злословия». Писарев ее сильно переделал, назвал «Лукавин» и выдал за новое. Правду сказать, Грибоедов пока отличился немногим больше, однако слава его еще не законченной, но оригинальной пьесы заранее уязвляла Писарева. Александр на сей раз не ввязался в театральную борьбу, а просто махнул на свой водевиль рукой. 24 января, в день премьеры, он обедал у Вяземского с несколькими приятелями. За столом Денис Давыдов спросил его:

— А что, признайся: сердце у тебя немножко ёкает в ожидании представления?

— Так мало ёкает, — отрывисто бросил Грибоедов, — что я даже не поеду в театр.

Он сдержал слово, а Вяземский, не более его веривший в успех, все-таки поехал, но уселся с друзьями не в директорской ложе, а в литерной 2-го яруса, дабы стать невидимым. Вялая игра актеров, многие из которых играли неохотно, — лишь бы не обидеть директора, но и Писареву угодить, — усыпила зрителей. Вяземский полагал, что пьеса не лишена достоинств, что она по меньшей мере не хуже всего, что ставилось на тогдашней сцене, но до публики она не дошла. Князь наблюдал весь вечер за постепенным падением водевиля, но по окончании зрители стали вызывать авторов, словно понимая, что те не виноваты в провале. Вяземский не вышел, и один из актеров объяснил залу, что авторов двое, но ни

одного нет в театре. Пьесу повторили через пять дней и еще дважды до Поста и более не возобновляли.

Однако Писарев не удовлетворился поражением соперников. Он испытывал постоянную зависть ко всем, кто был талантливее или знаменитее его. Кюхельбекер говорил о нем, что «он человек с талантом, и если бы не закулисная жизнь и мелкие литературные сплетни, он, статья может, в истории русской поэзии оставил бы значительное имя». Но нельзя же составить имя в поэзии одними водевильными куплетами и эпиграммами! А у Писарева ни на что другое времени не доставало, столько врагов одновременно хотел он уязвить. Теперь он в главные противники возвел Грибоедова с Вяземским, о чем те до поры не подозревали. В марте вышел в свет «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, к которому Вяземский написал нечто вроде предисловия. Михаил Лже-Дмитриев ответил ему яростными нападками (при этом самого Пушкина он не трогал), Вяземский, обожавший литературную драку, не остался в долгу: на всякое выступление Дмитриева он отвечал вдвое, пожаловав ему титул «прозаический поэт». Последнее слово в печати осталось за Вяземским. Однако параллельно журнальной битве разгорелась битва эпиграмменная, где вместе с Дмитриевым против Вяземского выступил Писарев. Грибоедов и Вяземский бесили его своей известностью в московском обществе, и он воспользовался случаем напасть на них, вроде бы не по личным мотивам, а вступаясь за обижаемого друга.

В Москве издавна любили кулачные бои. Театральный зал разделился на два лагеря: большинство стояло за Вяземского, потому что восхищалось поэмой Пушкина; за Дмитриева и Писарева были поклонники классики, не принимавшие нового романтического течения в литературе. Грибоедов его тоже не принимал, поэтому до поры оставался в стороне, хотя постоянно находился рядом с Вяземским. Роль посредника между лагерями добровольно взял на себя Шатилов, которому льстила возможность помогать высоким талантам. Он заходил в ложу Кокошкина, где сидели Писарев с Дмитриевым, получал от них эпиграмму и нес в кресла к Грибоедову с Вяземским, по дороге давая ее читать и чуть ли не списать многочисленным любопытным. Потом он возвращался в ложу со словами: «Завтра будет ответ», и на следующий день проделывал обратный путь — ни один посыльный не мог бы делать этого толковее. Писарев старательно заносил все обоюдные удары в тетрадь, которую нарочно завел и озаглавил «Партизанские действия во время литературной войны 1824 года».

Все началось обменом колкостями между Дмитриевым и Вяземским. Дмитриев писал:

Я, веря слухам, был в надежде.
Что он Варшавой проучен;
Знать ложен слух! Как был и прежде,
Все тот же неуч он.

Вяземский воспринял этот намек на свою отставку почти как донос: «И с такою подлою душою они думают, что могут быть возвышенными поэтами и уважаемыми литераторами!» Он ответил прямым указанием на сотрудничество Дмитриева с правительственным «Вестником Европы»:

У Каченовского в лакейской
Он храбро петушится вслух:
Быть так! Но если он петух,
То верно уж петух индейский (то есть индюк).

Тут в борьбу вступил Писарев, воспользовавшись своим положением куплетиста. Раз Вяземский с Грибоедовым сидели в театре. Князь отвлекся, но Грибоедов иронически позвал

его: «Eh bien, vous voilà; chanson sur la scène»¹⁴. — «Как это?» — спросил Вяземский и присоединился к общим крикам и рукоплесканиям с требованием выхода на «bis». Актер повторил куплет:

Известный журналист Графов
Задел Мишурского разбором.
Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором.
Пошли писатели шуметь,
Писать, браниться от безделья...
А публике за что ж терпеть
В чужом пиру похмелье?

В «Мишурском» Вяземский, как и все прочие, узнал себя, и кличка эта к нему пристала: Писарев ее эксплуатировал в доброй дюжине эпиграмм. А вот Грибоедова и он, и Дмитриев побаивались. Они даже не смогли придумать ему прозвище, а только сокращали его фамилию для удобства стихосложения. Его необычная, пока ни на чем, собственно говоря, не основанная слава, его редкий успех у дам, его холодноватый, насмешливый вид заставляли их бессильно, но порой остро злобствовать.

Писарев:

Глаза у многих змей полны смертельным ядом,
И, видно, для того придуманы очки,
Чтоб Грибус, созданный рассудку вопреки,
Не отравил кого своим змеиным взглядом.

(Не говоря о том, что змеи жалят зубами, а не глазами, интересно, что и Вяземский носил очки, но его взгляд не смущал противников.)

Дмитриев:

Как он на демона похож!
Глаза, черты лица, в точь Фаустов учитель!
Одно лишь обнаружит ложь:
В стихах-то он не соблазнитель.

На такие выпады Грибоедов не отвечал — едва ли не следовало признать их лестными, вопреки намерениям авторов. Но ему доставалось и за творчество: Дмитриев разразился целым каскадом колких эпиграмм. Он словно обозревал все сочинения Грибоедова по состоянию на послепасхальные дни 1824 года:

Супругов молодых пустивши в шумный свет.
Он думал подарить семейною нас тайной,
Но в этой тайне нет загадки чрезвычайной:
Из ней узнали мы, что он дурной поэт.

(Нужно сказать, что теперь, восемь-девять лет спустя после сочинения «Молодых супругов», Грибоедов в глубине души мог согласиться с подобной оценкой. Он прошел долгий путь после переводной, архаической, александрийской безделки.)

¹⁴ Ну вот, вы и воспеты на сцене (*фр.*).

Вот *брату и сестре* законный аттестат:
Их проза тяжела, их остроты не остры;
А вот и авторам: им Аполлон не *брат* ,
И Музы им не *сестры*.

(Даже Вяземский не почел долгом вступить за павший водевиль.)
И наконец, Дмитриев сочинил удачную вещь:

Одна комедия забыта,
Другой еще не знает свет;
Чем ты гордишься, мой поэт?
Так силой хвастает бессильный волокита.

Писарев прибавил совершенно нецензурное четверостишие. И Грибоедов почувствовал себя задетым. Он, как в давней войне при «Липецких водах», ответил только один раз — и напоял:

И сочиняют — врут, и переводят — врут!
Зачем же врете вы, о дети? Детям прут!
Шалите рифмами, нанизывайте стопы,
Уж так и быть, — но вы ругаться удалцы!
Студенческая кровь, казенные бойцы!
Холопы «Вестника Европы»!

Как всполошились недавние студенты! Как обрадовались их враги найденному слову! Насмешка была тем сильнее, что Грибоедов с Вяземским служили в армии, участвовали, пусть без особой славы, в войне; а юноши имели за плечами лишь ученическую стезю — притом они не могли ответить Грибоедову, обвинив его в невежестве или солдафонстве: он ведь имел звание кандидата Московского университета и орден за дипломатическую деятельность. Какие они ему соперники?!

Прозвище «дети» так и закрепилось за Писаревым и Дмитриевым. Грибоедову оставалось только наблюдать, как в десятках эпиграмм на все лады варьируются «дети», «студенты», потом «школяры», «цыплятки» — и кто что выдумает в том же духе. Вяземский язвил:

Вы дети, хоть в школярных летах,
И век останетесь детьми;
Один из вас — старик в ребятах,
Другой — дитя между людьми.

Дмитриев и Писарев жалко оправдывались.
Дмитриев:

Мы — *дети*, может быть, незлобием сердец,
Когда щадим тебя, репейник Геликона,
А может быть, мы, наконец,
И дети Аполлона.

Писарев:

Не лучше ль быть в школярных летах,
Чем щеголять невежеством в стихах?

Не лучше ль стариком остаться век в ребятах,
Чем по уму ребенком в стариках?

Война продолжалась, но Грибоедов к ней остыл. Эпиграммы противников становились все более вымученными, теряли последнее остроумие. А у него было серьезное дело. Развлекшись театральной безделкой и театральной баталией, он со свежими силами вернулся к отложенной комедии.

Всю зиму Грибоедов исправно посещал обеды и балы, чтобы вернее схватить все оттенки московского общества; вопреки собственному обыкновению старался не усаживаться в гостиных за фортепьяно, а побольше слушать разговоры — это его утомляло душевно, и вечерами он долго играл на рояле, стараясь успокоиться. Труды его не пропали даром. Он постоянно отделял стихи третьего действия и наконец завершил его монологом Чацкого.

В центре его он поставил вопрос, волновавший умы не только России, но всей Европы: вопрос о соотношении общеевропейского и национального. Чему следует отдавать предпочтение? С тех пор как Вальтер Скотт в 1814 году опубликовал свой первый роман «Уэверли», а в 1819-м перевернул представление читателей и ученых о возможностях исторического бытописания романом «Айвенго» — с тех пор интерес к прошлому родной страны пробудился во всех концах грамотного мира. Этот интерес подогревался восстаниями в Италии и Греции, где народы пытались создать национальные государства; присутствие в рядах борцов за независимость лорда Байрона придавало новым идеям романтический ореол. В России как раз в эти годы Карамзин издал первые тома своей «Истории государства Российского» и продолжал их выпускать — в 1821 году вышел том, посвященный опричнине Ивана Грозного. Великолепный стиль историографа позволил даже светским дамам познакомиться с прошлым Руси; оказалось, что Отечество не менее богато героями и занимательными событиями, чем милая сердцу Вальтера Скотта Шотландия. Пожалуй, одна Франция осталась довольно слабо затронута увлечением историей. Вальтера Скотта и Байрона французы читали в плохих переводах (да и в любом случае Англия им не указ!), свое государство сложилось у них давно, а память о Наполеоне была еще так свежа, что они не нуждались в примерах из древности для подкрепления национального чувства; собственные же исторические романисты у них пока не появились. Поэтому французский язык и французская культура, при всей самобытности, оставались международными, как в XVIII веке. Французское Просвещение объединяло образованных людей — историки начали их разъединять.

В русском обществе влияние французов успешно боролось с влиянием Карамзина. Русский язык был еще так мало разработан, что на нем было трудно выразить сложную мысль; французский же предоставлял готовые выражения, которые легко было нанизывать друг на друга по давно устоявшимся грамматическим правилам. Те, кто не желал думать, думали по-французски; нужно было особое пристрастие ко всему родному, чтобы говорить и писать по-русски. Сам Грибоедов, хотя легко по-русски писал, разговаривал по-французски. Однако в своем московском окружении он встретил решительных приверженцев отеческих языка и обычаев. Друзья Владимира Одоевского, юные «любомудры», обсуждали серьезнейшие труды немецких философов по-русски. Кюхельбекер ратовал за старину во всем, даже в одежде (впрочем, эту мысль, хотя и не столь прямолинейно, ему вложил в голову Грибоедов). Кто же был прав?

Суть моды на все родное была весьма различна. Она могла выражать желание новых поколений приблизиться по духу и внешности к предкам, с их простотою нравов, удобством в одежде, с их цельностью взгляда на мир, лишенного всяческих романтических метаний, исканий и страданий. Вальтер Скотт искал в героическом прошлом Шотландии забвение ее нынешнего жалкого положения, — но Россия-победительница не нуждалась в подобном утешении. Поэтому идея сближения с предками далеко не заводила и могла не значить

ничего.

А могла и значить! Карамзин однажды выступил против петровских преобразований, затронувших только дворян: «Дотоле от сохи до престола россияне сходились между собою некоторыми признаками наружности и в обыкновениях; со времен Петровых высшие сословия отделились от низших, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского единодушия государственных сословий». Карамзин видел во внешних различиях языка, одежды и воспитания причину неприязни крепостных к господам и полагал возможным преодолеть эту неприязнь введением русского костюма в дворянский обиход. Он даже пытался подать пример, нося бекешу с кушаком, хотя не дошел до того, чтобы отпустить бороду.

Однако некоторые молодые люди полагали, что перемена во внешнем виде и даже в языке помещиков не сможет сгладить бедствий крепостного права. Просветительские настроения Карамзина были им чужды. Историк предлагал едва ли не «маскарад», то есть приспособление высших к понятиям низших ради собственного спокойствия и безмятежного существования. При желании его мысль можно было трактовать и как смирение просвещенной части общества перед темной невежественной толпой, и как достойный презрения отказ от своих привычек и взглядов ради выгоды или безопасности. Другое дело, если видеть в следовании привычкам народа стремление вызвать его доверие, — не опуститься до него, но поднять его до себя, заговорив с ним на его родном языке! Тогда можно было бы вернуться к допетровским временам во всем — предоставить «умному, бодрому народу» слово, завести вече или Земский собор по примеру Ивана Грозного... О таких желаниях нельзя было говорить вслух даже в Английском клубе, но для того и создавались тайные общества, чтобы молодежь высказывалась в них за национальную самобытность со всеми вытекающими отсюда антиправительственными последствиями.

Грибоедов позволил своему Чацкому выразиться достаточно неопределенно: любомудры поклонники Карамзина и члены тайных обществ могли равно принять его монолог за согласие с их взглядами:

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
Как европейское поставить в параллель
С национальным? — странно что-то!
Ну как перевести *мадам* и *мадмуазель* ?
«Ужли *сударыня*!!» — забормотал мне кто-то...
Вообразите, тут у всех
На мой же счет поднялся смех.

Главным тут было возмущение против засилья жалких «французики из Бордо» в русском свете, против их влияния на умы, моду и нравы дворян, против подавления ими самобытной русской мысли. Однако же Чацкий с ними боролся; и двоюродный брат Скалозуба, достойнейший человек, недавно бросил службу и начал читать и размышлять; и племянник княгини Тугоуховской князь Федор занялся наукой — случилось так, что никого из них не оказалось на балу Фамусова, но все-таки Грибоедов, бросив героя одного в равнодушной московской толпе, поддержал его незримо присутствующими сверстниками.

Но вот стрелки часов приблизились к двенадцати, надвинулась ночь, гости волей-неволей стали покидать бал. Грибоедов отыскал прежде невиданный ход: перенес действие в парадные сени и показал разъезд гостей. Ничего подобного сцена никогда не видела, и первые слушатели были ошеломлены смелостью замысла. Персонажи расходились, и для их выхода на сцену не требовалось иного обоснования, кроме выкриков лакеев: «Карета таких-то!» Графиня-внучка, ее бабушка, Платон Михайлович и Чацкий были равно

недовольны, хотя по разным причинам, прошедшим днем, и только Наталья Дмитриевна хвалила бал, а сердилась, по своему обыкновению, на мужа. И вдруг на сцену ворвался Репетилов... Грибоедов создавал этот персонаж с особым удовольствием, держа в уме блестящие актерские возможности Сосницкого. Роль должна была вызвать у того подлинный восторг.

Появление Репетилова, запнувшегося об порог, Бегичев осудил за фарсовость, неуместную в высокой комедии. Но Грибоедов от нее не отказался, ибо как иначе он мог показать состояние Репетилова? Написать, что тот «вполпьяна»?

Бог знает, как поймет эту ремарку актер (кроме Сосницкого), что такое для него «вполпьяна»? А падение все уясняет: столичный дворянин, воспитанник лучших танцмейстеров, может споткнуться, только если совершенно уже не в состоянии следить за собой; и в то же время он не настолько пьян, чтобы, упавши, остаться лежать. Встает он «поспешно». Он находится в той стадии подпития, когда человек начинает любить весь свет, обниматься с первым встречным и каждому изливать душу, жалуясь на судьбу или хвастаясь несуществующими достижениями. Друзья Грибоедова забавлялись, пытались решить, в чем Репетилов отчаянно врет, сочиняя на ходу, а что имеет под собой хоть крупицу истины. Уж больно много намешано в его речах! Он московский житель, член Английского клуба, отец семейства, а между тем рассказывает о том, как строил огромный особняк в Царском Селе (потом Грибоедов перенес его на Фонтанку — в еще более дорогое и фешенебельное место). Конечно, это можно примирить: в молодости он тратил огромные средства, лез в зятя к министру-немцу, женился на его дочери, но выгод от этого не получил, промотался, проигрался, имения его были взяты под опеку в интересах детей, и теперь он бесцельно слонялся в Москве, в отставке и пытался навязаться в друзья к известным молодым людям. Такая судьба возможна, хотя преувеличивал он все безбожно:

Танцовщицу держал! и не одну:
Трех разом!
Пил мертвую! не спал ночей по девяти!
Все отвергал: законы! совесть! веру!

Однако Репетилов понадобился Грибоедову не для того только, чтобы развеселить публику выходками полупьяного болвана. Фамилия его означала «повторяющий». И он действительно словно бы пел с чужих голосов. Все то, что не мог позволить себе сказать Чацкий; все то, что не мог позволить себе сказать автор, — он вложил в уста Репетилова. Цензура решила бы, что высокие идеи и умные мысли осмеиваются болтовней Репетилова, но ведь тот и сам осмеивается, сам показан ничего не понимающим, ни в чем не разбирающимся переносчиком непонятных ему речей:

Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,
О Бейроне, ну о матерях важных,
Частенько слушаю, не разжимая губ;
Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп.

Но если Репетилов чего-то не понимает, зрители могут сделать скидку на его комическую глупость, — а сами понять истинную серьезность затронутых им тем! Более того, он в общем-то соображает, кому и что говорит. Чацкого он пытается зазвать на заседание секретнейшего союза, где нужны его ум и знания; а Скалозуба зовет хотя к тому же «князь-Григорию», но только на шампанское. Загорецкого он никуда не зовет и еле с ним разговаривает о водевиле. Старухе Хлестовой он и про водевиль не говорит, а обещает исправиться и поехать спать к жене. Словом, он умеет, даже в разболтанном состоянии, применяться к разным людям. Грибоедов это подчеркнул тем, что с будущим тестем и тещей Репетилов «пускался в реверси» — сложную и своеобразную игру, своего рода карточные

«поддавки», в которую сознательно и часто проигрывать («ему и ей какие суммы спустил!») весьма трудно, тут надо быть мастером своего дела.

Скалозубу Репетилов признается в своей неприязни к немцам, вполне обоснованно полагая, что полковник, как служака аракчеевского толка, не должен любить остзейских соперников по армии. А с Чацким он говорит о тайных собраниях... Значит, он думает или прямо знает, что тому интересна эта тема? Сам Чацкий ничего не может об этом сказать — некому, да и неуместно на балу в чужом доме. Иное дело Репетилов. Конечно, его «секретнейший союз» по четвергам в Английском клубе выглядит смехотворно. Грибоедов собрал ему в приятели-заговорщики разных шалопаев, картежников и крикунов во главе с Толстым-Американцем. Он дал графу блистательную характеристику, затмившую все эпиграммы прежних авторов:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.

Толстой остался весьма доволен своим портретом, но почел справедливым некоторые места исправить: «В Камчатку черт носил» — «ибо сослан никогда не был»; «в картишки на руку не чист» — «чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола» — своя честность и у него была: разорить противника в картах — это одно, а украсть чужую табакерку — проступок, недостойный дворянина.

Но пусть смешон репетиловский союз, пусть пародиен — в основе всякой пародии лежит какой-то истинный факт. Если пустоголовые франты и шулеры собираются для политических разговоров, подражая кому-то, значит, им есть кому подражать. Только оригиналы обсуждают политические темы уже всерьез... И перечень этих тем Репетилов дал...

Большого никакой автор не мог себе позволить в пьесе, рассчитанной на постановку в императорском театре. Грибоедов и без того сказал очень много.

Едва затронув важнейшие вопросы, он старался разбавить их фарсом: монолог Репетилова про «государственное дело», которое «еще не созрело», он завершил насмешкой над водевильным сотрудничеством, в чем и сам был небезгрешен:

Другие у меня мысль эту же подцепят,
И вшестером глядь водевильчик слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.

Резкие слова Репетилова в конце монолога о немцах:

Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
Что за правительство путем бы взяться надо.
Желудок дольше не варит —

он почти свел на нет откликом Загорецкого:

Извольте продолжать, поверьте,
Я сам ужасный либерал,
И рабство не терплю до смерти,
Чрез это много потерял.

«Либерализм» всеобщего умиротворителя и доносчика казался так смешон, что и

страшные слова о Правительстве и рабстве звучали смешно (и все-таки Грибоедов их потом убрал, ублажая цензуру).

Не будь у Репетилова задачи — вынести на суд фамусовского мира передовые идеи и мысли, — он был бы просто лишним в пьесе. Правда, из его болтовни спрятавшийся в швейцарской Чацкий узнал слух о своем сумасшествии или политическом преступлении («Я думаю, он просто якобинец», — заявила княгиня), но в распоряжении драматурга было множество других средств сообщить Чацкому о сплетне (да и зачем, собственно?). Репетилов, кроме того, взбадривал четвертое действие и давал гостям удобную возможность высказаться перед человеком, оказавшимся не в курсе новостей.

Грибоедов так старательно расписывал Репетилова, словно надеялся оттянуть развязку. Первый ее вариант Бегичевы осудили: Чацкий становился свидетелем ночного свидания Софьи и Молчалина, внезапно выскакивал из-за колонны, Молчалин в ужасе скрывался, но Софья гордо и гневно отвечала на обвинения Чацкого в измене («Вот я пожертвован кому!»):

Какая низость! подстеречь!
Подкрасться и потом, конечно, обесславить,
Что ж? этим думали к себе меня привлечь?
И страхом, ужасом вас полюбить заставить?
Отчетом я себе обязана самой,
Однако вам поступок мой
Чем кажется так зол и так коварен?
Не лицемерила и права я кругом.

Тут появлялся дважды одураченный Фамусов, рубил сплеча правых и виноватых, и, наконец, Чацкий извинялся перед Софьей («Я перед вами виноват»), порицая не ее, а ее выбор. И Фамусов завершал пьесу последним афоризмом:

Ах! Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!

Долгий день заканчивался ничем. Приехавший Чацкий уезжал, но хозяева оставались в прежнем положении: Молчалин не был разоблачен ни перед Фамусовым, ни перед Софьей, ни перед зрителями. Завтра повторится все то же, только без Чацкого, лишнего в этом доме. Зеркало отразило и этот день, и мириады похожих дней в будущем...

Однако Бегичевы уже давно говорили, что при таком финале Софья не вызывает авторского порицания за опрометчивый и недостойный выбор, который, право же, не заслуживает поощрения. Но Грибоедов не хотел лишать героиню гордой независимости. Застигнутая врасплох, полная отчаяния и раскаяния, Софья превратилась бы в заурядную простушку, а вся пьеса — в какую-то мещанскую драму в немецком или французском вкусе. Недоставало только, чтобы и Молчалин под конец раскаялся в подлости!

Закончив, хотя бы вчерне, комедию, Грибоедов решил прочесть ее Вяземскому, надеясь услышать дельные суждения. Князь выразился довольно уклончиво, заметив, что в пьесе нет веселости. Есть ум, есть острога, насмешливость, едкость, даже желчь; есть, здесь и там, бойкие черты карандаша, схватывающего с удивительной верностью и живостью карикатурные сколки. Но это сатира, а не драма; импровизация, а не действие. О комических положениях, столкновениях, нечаянностях нет тут и помина. Один Чацкий, и то против умысла и желания автора, оказывается лицом комическим и смешным, например, когда Софья Павловна под носом его запирает дверь своей комнаты на ключ, чтобы от него отделаться. И все же Вяземский приветствовал комедию Грибоедова — он утверждал, что не только в России, на сценическом безлюдье, но и на другой, гуще населенной сцене, например французской, она была бы блестящим явлением.

По сути он сделал только одно замечание: после падения Молчалина с лошади Чацкий

говорил, намекая на излишнее волнение Софьи: «Хотел бы с ним убиться для компании». Вяземский счел, что влюбленному не следует употреблять пошлое выражение «для компании», а лучше передать его Лизе. Грибоедов согласился и тут же, присев к столу, разделил реплику на две части: «Хотел бы с ним убиться. — Для компании?»

Но остальную критику Вяземского он не принял. Вполне естественно, что высокая комедия не особенно смешна — что смешного в мольеровских «Мизантропе» или «Дон Жуане»? А что касается недостатка естественности в действии, «нечаянностей», тут Грибоедов был решительно не согласен — вся пьеса именно и была построена на естественном ходе времени, просто Вяземский понимал это слово иначе: он не видел обдуманной интриги и почитал это недостатком или неумелостью автора. Грибоедов не стал спорить. Он почувствовал, что Москва дала ему все, что могла; теперь надо не отделять шероховатости и изъяны, а начинать пробивать пьесу к зрителям и читателям. Прежде он думал провести лето в имении Бегичева, как в прошлом году. Но внезапно изменил решение. Бездеятельный летний отдых теперь его не соблазнял.

Прежде он намечал на лето один замысел. Кокошкин, несмотря на неудачу водевиля «Кто брат, кто сестра», по-прежнему считал Грибоедова лучшим (точнее, наиболее оригинальным) московским драматургом. Кокошкин весной 1824 года был в приятнейшем волнении. На Петровской площади главный московский градостроитель О. Бове почти уже завершил великолепное здание нового императорского театра и обещал совершенно его отделать к ближайшему сезону. А рядом купец В. Варгин перепланировал свой дом, намереваясь сдать его в аренду императорской труппе. Честно говоря, Кокошкин не думал, что его актерам необходимы сразу две сцены: огромная сцена в театре Бове и несколько меньшая в доме Варгина. Но раз за постройку платила казна, он не собирался отказываться. Его делом было обеспечить репертуар, причем такой, чтобы наполнить зрителями многоярусную залу Большого, как его сразу стали называть, театра. Московская труппа прежде не использовала столь необъятное пространство, тут требовался иной размах. Директор обратился к Грибоедову с просьбой написать какой-нибудь необычный пролог, которым могли бы открыться первые сезоны либо Большого, либо Малого театра.

Грибоедов сначала с жаром принялся за работу. Он думал написать стихами два акта, построив их вокруг фигуры благороднейшего деятеля Москвы и России, основателя Московского университета, Михаила Васильевича Ломоносова. В первом акте юноша-рыбак спал бы на берегу Ледовитого океана и видел яркий сон: волшебные явления всех муз, которые предлагали ему свои дары, и весь Олимп в его божественном величии. Тут можно было бы использовать пространство сцены сверху до рамп, естественно ввести всякого рода музыку, танцы, пение, шествия. И все это связать высокой и простой мыслью о пробуждении в русском крестьянине тяги к искусствам, знаниям, свершениям во имя людей, о преодолении им немыслимых препятствий, оков и безвестности. Кто же не знал невероятного подвига Ломоносова, подвига мысли?!

Юноша просыпался бы в очаровании; сон преследовал его и в море, и на необитаемом острове, куда он отправлялся с другими рыбаками на промысел. Душа его получила жажду познания неведомого — и он убегал из дома. Тут можно было бы показать океан, лодки, бурю, что так великолепно получалось у Дидло.

Второй акт изобразил бы Ломоносова в Москве. Тут сменялись бы картины московских видов, возрожденных после пожара...

Замысел получился таким необъятным, что испугал самого Грибоедова. Он был слишком озабочен своей комедией, чтобы вложить бездну сил в театральный пролог, а писать его спустя рукава не желал.

В конце концов Кокошкин обратился к проверенным поставщикам театральных действий и дивертисментов, рассчитанных на принятые вкусы: всё на месте, всё красочно, ничто не занимает зрителей до конца.

11 октября 1824 года Малый театр начал свой первый сезон увертюрой Верстовского,

за ней шел совместный спектакль Шаховского и Дидло «Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря» с хорами, пантомимой, рыцарскими сражениями, поединками и прочим, и в заключение — коротенький балет Дюпона.

6 января 1825 года в Большом театре раздались первые такты и звуки: ставили гигантский пролог Михаила Дмитриева «Торжество муз», где было всё, кроме хорошего вкуса и новизны. Уж на что Москва старомодна, но Дмитриева единодушно разругали за архаизм, который и при Озерове был бы архаизмом.

На открытии двух великих театров не прозвучало ни одной русской мысли, ни одного современного русского слова. Подумать только! Малый театр мог открыться пьесой Грибоедова, а открылся поединками рыцарей, которые и в Европе триста лет как устарели, а в России никогда не были в моде. Да и в любом случае место им в цирке! Пролог муз хоть имел смысл в храме искусства, а схватки рыцарей на мечах!.. Но виновата ли дирекция, если лучшие драматурги ничего не пишут, а, занятые своими делами, сбегают из Москвы в Петербург? А виноваты ли драматурги, если то, что они все-таки пишут, цензура не пропускает и им надо самим бороться за своих детищ? 28 мая, никому не сказав ни слова, ни с кем не простившись, оставив Александра Грибова упаковывать вещи, Грибоедов захватил свою рукопись и, тайно даже от Бегичева, поскакал в Петербург. Он уехал из Москвы в довольно тяжелом расположении духа: ему было немного стыдно перед Степаном за внезапное бегство. И все же он не оглядывался, сознавая необходимость отъезда. Постепенно толчки экипажа и всякие задержки и неурядицы превратили его уныние в досаду на дорогу, досада сменилась усталостью, и все чувства исчезли. Погода стояла омерзительная. Дважды, 29 и 30 мая, шел снег! Грибоедов продрог, вынужден был ночевать на станции и только на четвертые сутки добрался до Петербурга. В пути делать ему было нечего, только размышлять. Внезапно ему в голову пришла новая развязка, и он решил вставить целую сцену перед появлением Чацкого из-за колонны. Он был доволен собою — получилась живая, быстрая вещь, стихи сыпались искрами. Правда, он так и не сумел разоблачить низость Молчалина естественным путем и вынудил его откровенно и опрометчиво высказаться перед Лизой:

Мне завещал отец:

Во-первых, угождать всем людям без изъятья...

Такая искренность в Молчалине была малоправдоподобна. Зато в характере Софьи весь эпизод ничего не изменил, только унизил ее, наказав презрением самого Молчалина ее недостойный выбор:

Я в Софье Павловне не вижу ничего
Завидного...

А главное, ничуть не изменился смысл пьесы. Софья сохранила гордость:

Упреков, жалоб, слез моих
Не смейте ожидать, не стойте вы их...

Молчалин был разоблачен и в ее глазах, и в глазах зрителей. Однако с ним не было покончено. Ведь Софья, хоть и требовала от Молчалина немедленно, до зари покинуть дом, добиться своего не смогла бы. Фамусов так и не узнал ничего дурного о своем секретаре, а расскажи ему о нем Софья — он не поверил бы ей («хоть подеритесь — не поверю»). Он просто счел бы признание дочери попыткой отвести удар от Чацкого. И, конечно, Молчалин, подслушав столкновение Чацкого и Фамусова из-за двери своей комнатенки, никуда бы не ушел — зачем? Доказательств его вины нет. День так и уходил в вечность, оставляя все вопросы нерешенными, дабы с утра повторяться по тому же кругу. Конец комедии остался

прежним — его просто не было.

Попутно Грибоедов в порыве вдохновения переменил едва не половину строк: где-то сократил, где-то расширил текст, исправил шероховатые рифмы и почувствовал, что теперь всё гладко, как стекло. В качестве последнего штриха он изменил заглавие, поскольку слова «Горе уму» казались слишком прямолинейно-мрачными, почти трагическими, и их было трудно произнести. Новое звучало лучше.

«Горе от ума» было завершено.

Глава VII ДЕКАБРИСТ

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

К. Ф. Рылеев

Грибоедов нашел Петербург очень изменившимся, по-новому торжественным и величественным. Теперь это был не город дворцов, как при Екатерине, не городстроек, как шесть лет назад, но город военных казарм, штаб-квартира сильнейшей в мире армии. За прошедшие годы Захаров достроил Адмиралтейство; напротив Зимнего дворца гений архитектуры Карл Росси вывел бесподобный полукруг Главного штаба с неподражаемой аркой, выходящий на Невский у Демутова трактира; грязное пространство Царицына луга Стасов превратил в гигантский плац — Марсово поле со зданием Павловских казарм.

Однако обширные стройки еще не перевелись. Важнейшая из них простиралась от здания Сената и Синода до Адмиралтейства, закрывая свободный доступ к знаменитому памятнику Петру I: здесь собирались возводить Исаакиевский собор, пока же место представляло собой хаос камней, заборов, колдобин и домиков рабочих.

Грибоедов остановился в Демутовом трактире и первые десять дней гулял непрерывно: коли дома, то посетители сменяли беспрестанно один другого в его комнате, коли выходил, то рассыпался по городу. Голова его кружилась вихрем. Жандр и Шаховской наперебой звали его к себе жить, Никита Всеволожский, Сергей Трубецкой, Чапыгов, братья Мухановы, Поливанов и прочие друзья и приятели спешили его обнять, даже Греч явился с поклонами. Александр познакомился, наконец, с мужем кухни Елизаветы — генералом Паскевичем. Против ожидания, тот оказался милым и добродушным человеком, малообразованным, шумным и совсем не воинственным. Паскевич сразу почувствовал расположение к родственнику и настойчиво приглашал в лагерь, где стояла его часть. Паскевич достиг блестящего и прочного положения: члены императорской семьи крестили его детей, а его жена удостоилась неслыханной чести — получила орден Екатерины, никак не положенный ей по чину мужа. В Петербурге было много пересудов по этому случаю. Грибоедов как-то застал у Паскевича великого князя Николая Павловича, второго брата императора, глубоко уважавшего генерала и называвшего его своим «отцом-командиром». Это высокое знакомство ничем Грибоедову не могло пригодиться, но всеми прочими он не пренебрегал.

Посреди веселий, пиров и праздников на дачах он не забывал о главной цели своего приезда. Его дальний родственник и давний доброжелатель Василий Семенович Ланской стал теперь министром внутренних дел, от него зависела цензура. Александр побывал у него — и был обнадежен насчет своих хлопот. Шаховской свозил его в Екатерингоф на обед к графу Милорадовичу, петербургскому генерал-губернатору, от которого зависело

театральное ведомство — и там Грибоедов был обнадежен. Он должен был подготовить рукопись для представления в цензурный комитет, но все не находил времени. Жандр, увидев у него на столе ужасающую грудку мятых, перечеркнутых клочков бумаги, взмолился, чтобы Александр дал их ему переписать. Грибоедов с беспечностью согласился, и Андрей Андреевич поскорее унес драгоценные обрывки. Военно-счетная экспедиция Жандра работала, не разгибая спины, разбирая листки и располагая их в должной последовательности, и через несколько дней он торжественно вручил другу набело переписанный текст.

Тут только Грибоедов смог составить о собственной пьесе цельное впечатление. Она ему понравилась. Но что скажут другие? Впервые он прочел ее, естественно, у Шаховского, в присутствии Жандра, Хмельницкого, Сосницкого, Ежовой и еще нескольких завсегдатаев. Он не мог пожаловаться на холодность слушателей. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца не было. Шаховской решительно признал себя побежденным (на этот раз). Потом Александр читал пьесу у Колосовой, ставшей признанной королевой в комедии, — и вызвал бурю восторженных восклицаний. Потом читал юному гению трагедии Василию Каратыгину, потом... и чтения потянулись непрерывной чередой.

Грибоедов сбился со счета, устал повторять одно и то же двенадцать — пятнадцать раз за месяц, но никому не отказывал: от чтения к чтению он замечал нескладные места, звучавшие слишком книжно или просторечно. Порой от скуки он начинал импровизировать — и иногда удачно. Жандрова рукопись покрывалась исправлениями.

Повсюду пьеса встречала одобрения и похвалы, но Александр не особенно им радовался. Всякие возгласы «прелесть!», «неподражаемо!», «гений!» он встречал сперва насмешливо, потом сухо, потом с нескрываемым раздражением. Он ясно видел, что большинство, если не все, не понимали его замысла. В комедии видели собрание блестящих карикатур, острых слов, едких сарказмов, но никто не замечал действия. Слушатели искали обычную интригу и, не найдя, терялись. Они пытались судить комедию по старым, классицистским законам, не отдавая себе отчета, что подобной пьесы еще не было ни в русской, ни в мировой литературе, что она сама себе устанавливает законы. Даже Крылов, чье мнение Грибоедов особенно хотел узнать — никто не мог лучше него оценить язык, стихотворную форму и драматургические достоинства «Горя от ума», — Крылов, растолстевший и нарочито ленивый, прослушал все, выпучив глаза, и отделался незначущими замечаниями. Александр ушел от него разочарованный и даже рассерженный: «О, наши поэты! Из таких тучных тел родятся такие мелкие мысли!»

Через три недели по приезде Грибоедов утратил счастливое расположение духа. Цензурные хлопоты казались ему бесконечными. Он надеялся, ждал, менял дело на вздор, сердился на себя и восстанавливал стертое — и конца работе не видел. Он начал злиться. Напрасно он пытался убедить себя, что борьба за публикацию и за подмостки не стоит его усилий, напрасно призывал Бегичева подивиться вместе с ним «гвоздю, который он вбил себе в голову, мелочной задаче, вовсе несообразной с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным. И смею ли здесь думать и говорить об этом? Как притом, с какой стати, сказать людям, что грошечные их одобрения, ничтожная славишка в их кругу не могут меня утешить? Ах! прилична ли спесь тому, кто хлопочет из дурацких рукоплесканий!». Уговоры не действовали. Он чувствовал, он понимал, что создал гениальное произведение, и не мог заставить себя положить его в стол и заняться чем-то другим!

Ко всему прочему и погода стояла премерзкая. 21 июня Грибоедов написал Вяземскому в его имение Остафьево, что надежд на пропуск комедии больше нет и что мертвая атмосфера Петербурга гнетет его и подавляет: «Не вы ли во всей Руси почуяли тлетворный, кладбищенский воздух? А поветрие отсюда». Общение с Крыловым, Карамзиным, Гнедичем, Шаховским не оживляло; Грибоедов возмечтал об отъезде и выхлопотал через зятя Ермолова Павлова длительный отпуск за границу, получил паспорт и отправил его к Ермолову: «Погода пасмурная, сыро, холодно, я на всех зол, все глупы, один Греч умен, принес мне

Домбровского „Ins[titutiones] Ling[uae] Slav[icae]...“ и Клапротову „Азию Полиглот-ту“, я от сплина из поэтов перешел в лингвисты, на время разумеется, покуда отсюда вырвусь. Прощайте, любезный сподвижник, не хочу долее пугать вас угрюмым слогом. Мочи нет тошно».

Однако он не уехал. В июле через Петербург проехал Чаадаев, отправляясь в долгое путешествие по Европе. Он звал Грибоедова с собой, но Александр отказался. Он оправился от приступа черной тоски и воодушевился надеждой после августовских каникул продолжить борьбу с тупостью цензоров. К тому же и денег на поездку он не имел. Свой роскошный персидский орден он давно заложил в ломбард и пытался всемерно сократить расходы. Вместо Парижа и Швейцарии он сбежал на дачу в Стрельну, к морю, где жил его юный родственник Александр Одоевский.

Они познакомились у Ланского, у которого прежде воспитывался Одоевский, ставший теперь корнетом лейб-гвардии Конного полка. При первой встрече Одоевский напомнил Грибоедову его самого лет десять назад: юноша был мил и задумчив, с кротким взглядом и звонким смехом, писал романтические стихи, однако порой, как Кюхельбекер или Пушкин, вспыхивал гневом на весь свет, сыпал злыми и просто оскорбительными эпиграммами, потом остывал и извинялся — мадригалами. К Грибоедову он почувствовал глубокое уважение как к старшему и неизмеримо его во всем превосходящему другу. Они не ссорились: Грибоедов всегда был сердечнее и мягче с теми, кто его моложе.

Остаток лета прошел приятно: Грибоедов с Одоевским много ездили верхом, катались по морю. Шаховской, по невозможности поставить «Горе от ума», уговорил Грибоедова отдать в театр их с Вяземским водевиль «Кто брат, кто сестра». Заботы о его постановке немного развлекли Александра. Актеры просили дать им побольше сольных куплетов, а Вяземский был далеко — Грибоедов писал их сам, непроизвольно подделываясь под стиль Петра Андреевича. В конце августа он получил от Степана письмо о рождении у него первого ребенка — девочки. Первым движением Грибоедова было лететь в Москву, но полнейшее безденежье вынудило его ограничиться поздравлениями.

1 сентября Грибоедов вернулся в столицу и присутствовал при провале своего водевиля. Петербургские актеры играли живее и лучше московских, и он смог понять, что вина за неудачу целиком лежит на авторах. В 1814 году пьеска имела бы успех, но теперь, десять лет спустя, публика стала взыскательнее. Шаховской и Дидло приучили ее к пышным, костюмным постановкам с обилием полуодетых нимф или рискованными положениями, и безыскусная, хотя запутанная интрига Грибоедова показалась многим слишком пресной. Польский колорит, непонятный большинству, совсем расхолодил зал. Кроме того, это был первый драматический спектакль после летнего перерыва, зрители целиком были заняты приветствиями и обменом новостями, на сцену не глядели, стихов не слушали, а из оркестра не раздавалось барабанного боя и со сцены не махали прелестными ножками, чтобы привлечь рассеянное внимание публики.

Грибоедов не расстроился из-за провала — у него были неприятности покрупнее. Еще в июне Греч представил ему своего коллегу-журналиста Фаддея Венедиктовича Булгарина. Тот пользовался незавидной репутацией: родом поляк, он в прошедшую войну стоял за Наполеона, а теперь старался загладить эту ошибку и добиться уважения, навязываясь в друзья ко всем знаменитостям, особенно из литературного мира. Стоило ему с кем-нибудь познакомиться, как он вцеплялся в жертву, и отделаться от него было невероятно трудно. Он готов был на все, чтобы поддержать хоть видимость приятельских отношений, и не замечал ни холодности, ни даже явных грубости и резкости. Как правило, литераторы не пытались его избегать, предпочитая пользоваться по необходимости разными мелкими услугами, которые Булгарин охотно и даже с гордостью оказывал. Один Карамзин твердо поставил его на место, вежливо пресекая всякие поползновения к знакомству. Знай Грибоедов его раньше — он с Булгарина срисовал бы своего Загорецкого. Тот в своей услужливости не знал меры. Желая привлечь посетителей в свой дом, он поселил у себя прелестную немецкую девушку. Считалось, что она живет с тетей. Никто на сей счет не обманывался, но Леночку (или

Länchen, на немецкий лад) знали и любили все русские писатели, считали верным другом и не забывали посылать ей приветы и письма. До отъезда на дачу Александр не выделял журналиста среди сонма новых лиц.

Зато Булгарин сразу обратил на него особое внимание. Во-первых, Грибоедов имел польские корни, и Фаддей Венедиктович надеялся обыграть общее происхождение. Во-вторых, от варшавских знакомых он знал грустную историю медленного угасания давнего друга Грибоедова — юнкера Генисьена — и рассчитывал приписать себе заслуги по его выхаживанию. Правда, Булгарин в ту пору находился в Париже — но не станет же Грибоедов проверять его слова спустя столько лет?! Все же он не решился сразу на откровенное вранье, а попробовал для начала другой способ подслужиться.

По возвращении с дачи Грибоедов с ужасом услышал о фельетоне в «Литературных листках» Булгарина, где, по общему мнению, был более чем прозрачно выведен под именем Талантина, противопоставленного всем бесталанным петербургским литераторам, названным почти своими именами: «Борькин» — несомненно, плодовитый и бездарный драматург Борька (иначе его и не звали) Федоров; «Фиалкин» — Жуковский со времен «Липецких вод»; «Лентяев» — Дельвиг, певец «гетер, вина, лени, себя и друзей моих» (или, как лучше сказал Пушкин, «сын лени вдохновенный»); «Неучинский» — сразу не поймешь, о ком речь, но, узнав, что он в четырнадцать лет бросил учиться и считает себя русским Парни, поэтом природы, любовных стонов и прочего, сообразишь, что Баратынский. Талантин в беседе с этими личностями ратует за изучение грамматики, славянских наречий, восточных языков и даже физических наук, что не встречает одобрения собеседников. Грибоедов пришел в совершенную ярость. Булгарин был известен своими заказными похвалами, оплаченными заинтересованными книготорговцами, а то и авторами. Конечно, никто не заподозрил бы Грибоедова в желании купить себе славу, но, с другой стороны, его «Горе от ума» еще почти никто не знал, зато весь Петербург присутствовал на неудачном спектакле по его водевилю. В таких условиях славословие Булгарина звучало либо издевательством, либо свидетельством чрезмерной дружественности. Александр не собирался терпеть ни того ни другого. Он отправил журналисту ледяное послание, давая понять, что равного себе он вызвал бы к барьеру за подобную выходку, а с ним просто разрывает отношения.

Тот впал в отчаяние, никак не ожидая подобного исхода. Он кинулся к Гречу, прося заступиться, уверяя в чистоте и искренности своих намерений и суждений. Грибоедов, однако, был непреклонен и не желал слушать никаких извинений. Он пребывал в мрачайшем расположении духа. Впервые в жизни он желал остаться один, наедине с музыкой и горем — за свое «Горе». Цензурные хлопоты потерпели полнейший крах.

Одоевский, обладатель огромной квартиры на Исаакиевской площади, снятой просто от избытка средств, звал Грибоедова к себе жить, но Александр не хотел никому портить настроение. Он подыскал себе небольшое помещение на первом этаже дома Погодина по Торговой улице, в Коломенской части, почти у самого устья Невы, в месте сыром и продуваемом всеми ветрами, зато рядом с привычной Театральной площадью. Над ним жила семья светского знакомого Аркадия Алексеевича Столыпина. Прежде Грибоедов охотно с ним общался: лет на пятнадцать его старше, сенатор, Столыпин был не чужд литературе, когда-то служил в Грузии и первым в русской поэзии опубликовал в 1795 году стихотворение, посвященное Кавказу. У него была прекрасная, умная и образованная жена Вера Николаевна, дочь адмирала Н. С. Мордвинова, знаменитого мужеством и честностью, и четверо маленьких детей — три сына и дочь, — отличавшихся чарующей красотой. В июне Грибоедов читал у Столыпиных свою пьесу и немного играл с мальчиками, смотревшими на него с восторгом: для них он был писателем, музыкантом, дипломатом и офицером прошедшей войны, то есть совмещал все качества, которые их приучили глубоко уважать.

Но теперь Александр не заходил даже к Столыпиным, заперся у себя и сутками играл на фортепьяно. Друзья беспокоились за него. После одного визита к главе цензурного комитета фон Фоку Грибоедов вернулся домой в невменяемом состоянии и в приступе

бешенства разорвал в клочья все бумаги, которые попались ему под руку. Сопровождавший его Одоевский деятельно ему в том помогал, и квартира покрылась обрывками рукописей. В этот черный день Булгарин нашел вернейшее средство вернуть себе расположение Грибоедова — он клятвенно пообещал протолкнуть через цензуру если не все «Горе от ума», то какую-то его часть. Никто из сочинителей и актеров уже не верил в подобную возможность. Грибоедов сменил гнев на милость и предоставил Булгарину действовать по своему усмотрению. Тот знал всякие обходные пути, умел кланяться и давать взятки, а Грибоедов, при всем своем дипломатическом искусстве, избегал действий, недостойных благородного человека.

Александр продолжал жить взаперти, но случай встряхнул его. 7 ноября он спокойно спал, когда в одиннадцать утра его разбудил камердинер Грибов, говоря, что уже трижды палили пушки Петропавловской крепости и Адмиралтейства: ураганный западный ветер гнал морские волны навстречу Неве, река вздыбилась, вздулась и бросилась назад, на город. Грибоедов выглянул в окно: по улице несея поток воды в сторону центра, на его глазах волны захлестнули тротуары, потом закрыли столбики, к которым привязывают лошадей. Он бросился одеваться и приказал, что можно, переносить на чердак. Через четверть часа вода проступила сквозь щели пола, и спустя недолгое время комнаты оказались затоплены на два аршина. Он перебрался к Столыпиным. Аркадий Алексеевич старался казаться спокойным, чтобы не пугать детей и жену, но вид из окон был ужасен. На месте оживленной улицы катили грязные волны, их скорость не позволяла надеяться, что наводнение скоро спадет. Мимо дома проносились обломки строений, дрова, доски разбитых то ли судов, то ли домиков в Коломне. Не слышалось ни звука, кроме воя ветра. Грибоедов помчался на чердак и выглянул в слуховое окно: Театральная площадь превратилась в залив, куда впадали реками Офицерская и Торговая улицы и Английский проспект; встречные потоки образовывали водовороты, кружившие остатки мостов, бочки, повозки — всё разбивалось в щепки и несло вдале. Гибнувших людей Александр не увидел, но не увидел и никаких лодок, которые спешили бы на помощь терпящим бедствие в одноэтажных домиках. К двум часам вода совершенно затопила нижние этажи, Столыпин с Грибоедовым каждую минуту проверяли, не поднимется ли она выше, но наконец вздохнули с облегчением: волны улеглись, течение замерло, выглянуло солнце и осветило огромное озеро на месте Петербурга.

Это было самое страшное наводнение за всю историю Северной столицы. С самого ее основания Петр I повелел делать на стенах Петропавловской крепости зарубки на уровне высшего подъема воды при наводнениях. Зарубка 7 ноября 1824 года превзошла все прочие неизмеримо, притом течение обладало небывалой разрушительной силой. Власти проявили себя не как должно. В худшие минуты потопа император изволил выйти на балкон Зимнего, однако не пожелал, подобно своему великому предку Петру, поспешить в лодке или вплавь на помощь утопающим. Граф Милорадович, бросив обязанности столичного начальника, поскакал в Екатерингоф проверять, уцелела ли его загородная резиденция, и вернулся только день спустя. Из всех придворных один Александр Христофорович Бенкендорф, генерал Отечественной войны, смело вошел в воду и постарался сделать все, что было в его силах.

На следующее утро, переночевав у Столыпиных, Грибоедов пошел осматривать следы разрушений. Вода уже почти спала, но зрелище впечатляло. Понтонные мосты через Неву исчезли, многие деревянные разрушились, ограды упали, вековые деревья Летнего сада лежали рядами, содержимое подвалов и сараев растеклось по окрестностям города, и купцы оплакивали невиданные потери. На противоположном берегу, на Васильевском острове, у Биржи стояли какие-то изломанные строения — но нездешние, их принесло от Гавани, а здешние унесло неведомо куда. Повсюду валялись трупы лошадей и коров, под развалинами порой откапывали и погибших людей.

Необыкновенные события вызвали у Грибоедова потребность в движении, он не мог оставаться на месте, и пешком, в дрожках и на ялике обошел-объехал весь город. Наисильнейшее впечатление он испытал, впрочем, около дома: посреди улицы, рядом с его

квартирой, стоял пароход!

Прошло много дней, прежде чем улегся всеобщий ужас и люди начали восстанавливать разрушенное. Сырая ноябрьская погода этому мало способствовала. Грибоедов не мог больше жить в своих комнатах: просушить их оказалось совершенно невозможно. Ему пришлось собрать уцелевшие вещи и переехать к Одоевскому.

Сюда-то 15 ноября с чувством глубочайшей и законной гордости явился Булгарин — с цензурным разрешением на публикацию «Горя от ума»! Он пробил для своего альманаха «Русская Талия» весь первый акт (кроме первых сцен до появления Чацкого из-за предосудительности поведения Софьи с Молчалиным и Фамусова с Лизой) и весь третий акт, кроме отдельных выражений, нуждавшихся в исправлении согласно пожеланиям цензоров. Для Грибоедова это было первое приятное известие за много месяцев. В честь великого события он решил дать обед на новоселье (однако же Булгарина, по убедительной просьбе Одоевского, на него не пригласили — пусть будет доволен прощением былых прегрешений).

Оживившись от счастливых вестей, Грибоедов поехал к Шаховскому. Там он нашел обычное сборище с участием выпускниц Театральной школы, которым князь подыскивал покровителей. Единственно по этой причине он встретил Грибоедова довольно прохладно и совсем разъярился, когда Александр обратил особое внимание на самую красивую и милую девушку, уже знаменитую танцовщицу Екатерину Телешову. Шаховской прочил ее Милорадовичу, генерал-губернатор только о ней и мечтал, но Телешова не колебалась в выборе: в тот же вечер Грибоедов увез ее с собой. Ему доставило заманчивую радость взбесить Милорадовича, но с Шаховским он рассориваться не желал, а потому послал какой-то тряпичный подарок Ежовой, помирился, однако Телешову не отдал. Всякое ее появление в театре, где она репетировала роль Людмилы в балете Дидло по поэме Пушкина, Шаховской встречал взрывом бессильной злобы. Грибоедов только торжествовал, стоя поодаль. За три недели их симпатии Телешова расцвела, одушевленная подлинным чувством, и 8 декабря, на премьере, поразила всех непревзойденным совершенством танца. Даже Грибоедов не выдержал и впервые в жизни разразился любовным посланием в честь своей обольстительной Людмилы:

Улыбка внятная без слов,
Небрежно спущенный покров,
Как будто влаги облиянье;
Прерывно персей волнованье,
И томной думы полон взор:
Созданье выпретенного мира
Скользит, как по зыбям эфира
Несется легкий метеор.

Как и все его стихи, идущие от сердца, а не от ума, стихотворение ему не особенно удалось, даже рифмы, столь легкие в комедии, он подобрал с трудом. Однако Телешова была довольна и упросила его отдать в печать сие яркое живописание ее прелестей и танца. Напрасно! Грибоедов не любил выставлять свою душу напоказ. Он отнес стихи Гречу в «Сын Отечества», но тотчас почувствовал недовольство собой, ему было неприятно пропечатать свою сердечную тайну всему городу. Он даже как-то расхолодел к своей Людмиле, радость ему стала не в радость, и он начал реже видаться, чтобы не разочароваться вовсе.

А между тем, пока он хандрил у себя в Коломне, пока наслаждался любовью, его пьеса, предоставленная собственной участи, оторвалась от автора и оказалась способна превосходно о себе позаботиться. С тех пор как Грибоедов перестал ее читать в гостиных, эту заботу взяли на себя поклонники его таланта. Не было ни одного дома, где бы не желали

услышать «Горе от ума», не было ни одной личной библиотеки, владельцы которой не желали бы видеть его экземпляр на полке. Посреди толстых томов на почетное место ставили рукописную тетрадку в красивом переплете, порой даже с иллюстрациями — никакое издательство не оформило бы книжку изящнее! Канцелярия Жандра обогатилась, списков требовалось все больше. Со списков составлялись новые списки; небрежность писарей, сотворчество образованных переписчиков иной раз меняли текст почти до неузнаваемости. И тем дороже становились выверенные списки. Из-за чести привезти верный экземпляр в тот или иной город порой рушились дружбы; и многие приписывали себе заслугу доставки «Горя от ума» в Москву! Рукопись расходилась по стране, Россия дружно приветствовала рождение национальной комедии. Фамусовы, скалозубы, молчалины и чацкие узнали в ней себя, узнали других, отреагировали остро и несдержанно — замысел Грибоедова удался. Никто и оглянуться не успел, как официально несуществующее произведение навеки вошло в русскую литературу и прочно утвердилось на одном из первых в ней мест.

Позабывшись о себе, пьеса взялась позаботиться и об авторе. И Грибоедов с удивлением встретил в декабре предложение вступить в Вольное общество любителей российской словесности. Он ответил отказом, уверяя, что считает литературу развлечением, а не ремеслом, и не желая связывать себя каким-то официальным статусом. Но пьеса не отставала, и 15 декабря он был избран вопреки своему желанию.

Конечно, прежние недоброжелатели и завистники Грибоедова исходили черными чернилами. Писарев, Михаил Дмитриев и Загоскин еле дождались выхода номера болгаринской «Русской Талии» с отрывками «Горя от ума», чтобы, наконец, получить право выступить с печатной критикой. Их привязчивая ругань вывела из себя даже уравновешенного Бегичева, и он прислал Грибоедову в Петербург свою антикритику, написанную с удивительным жаром. Александр, однако, не дал ей ходу. Его уважение к другу было столь велико, что он не хотел ввязывать его в личную и публичную схватку с Лже-Дмитриевым, который, конечно, постарался бы задеть и Степана. Александр ответил только просьбой: «Плюнь на марателя Дмитриева, в одном только случае возмись за перо в мою защиту, если я буду в отдалении, или умру прежде тебя, и кто-нибудь, мой ненавистник, вздумает чернить мою душу или поступки...» Бегичев дал слово.

Московские «школяры» в самом деле не стоили его вмешательства. Они даже не нашли в себе сил и смелости продолжить с Грибоедовым эпиграммную войну — две-три жалкие эпиграммки Писарева на «Горе от ума» умерли, не родившись, ибо никого не позабавили. Однако в середине января Грибоедов получил неожиданно разгромный, хотя непубличный, отклик на комедию — от Катенина. После пяти лет молчания Грибоедов первым послал старому другу письмо с извинениями, и мало-помалу их переписка восстановилась. Катенин все еще жил в ссылке в своем имении, характер его, и без того мнительный, совсем испортился. Но резкость его суждений определялась не настроением, а убеждениями: верный классицист, он не принял новаторства Грибоедова, осудил стихи, план, связь сцен, портретность характеров — словом, всё.

Грибоедов ответил ему доброжелательно, но остался непоколебим. Он понимал, что правота на его стороне, и мог только сказать Катенину: «Ты волен просветить меня, и коли лучше что выдумаешь, я позаимую от тебя с благодарностью». Но сам он не верил в превосходство Катенина; когда-то тот подавал великие надежды, но отсталые (да и всегда ложные) взгляды на литературу подавили его задатки. Он переводил «Андромаху» Расина, переводил «Сида» Корнеля — порой сильно и прекрасно, но каким дурным слогом! Грибоедов с сожалением писал о нем Бегичеву: «Славный человек, ум превосходный, высокое дарование, пламенная душа, и все это гибнет втуне». Впрочем, Катенин сам выбрал свою судьбу. На него Грибоедов махнул рукой, как и на Шаховского, окончательно занявшегося инсценировками чужих творений — от романов Вальтера Скотта и поэм Пушкина до чуть ли не басен Крылова, как в шутку писал Александр Катенину. Однако Жандра ему удалось пробудить от усыпления и заставить перевести по-новому, белым

пятистопным стихом старую французскую трагедию «Венце-слав». Булгарин, по просьбе Грибоедова, пробил ее в «Русскую Талию»; Одоевский, тоже по просьбе друга, взялся за перо и напечатал там же благожелательный разбор. В перевод и статью Грибоедов отчасти вкладывал свои мысли — да так, что трагедию Жандра запретили к постановке, как слишком политическую. Это огорчило Александра: он ведь для того и творил чужими руками, что под собственным именем не мог и одного сочинения провести на сцену, куда уж о двух заботиться?

Пылких защитников «Горя от ума» Грибоедов обрел не среди прежних литературных друзей. Переехав к Одоевскому, он уже на первом обеде в честь разрешения комедии увидел весь круг знакомых и обычных посетителей его квартиры. Одного из них, Александра Бестужева, он встречал раньше. В Москве он слышал о нем от Вяземского и в 1823 году прочел в альманахе «Полярная звезда» блестящий обзор Бестужевым состояния российской словесности, где не без удивления нашел лестный отзыв о своих «Молодых супругах». В июне он столкнулся с ним случайно у Николая Муханова, но в тот раз они не понравились друг другу. Бестужев, страстный англоман, горячий поклонник Шекспира и Байрона, тогда пребывал в глубоком горе из-за безвременной гибели Байрона, отдавшего жизнь за свободу любимой Греции. Не только Бестужев, вся Европа скорбела о смерти одного из величайших людей эпохи. Грибоедов сам очень любил «Чайльд Гарольда» Байрона и был бы рад поговорить об английском поэте, поскольку они с Бестужевым принадлежали к тем избранным, кто умел в России правильно произносить английские слова. Однако Бестужев не поддержал беседы: в Москве он много нелестного слышал о Грибоедове от Якубовича и решил, что его пьесу перехваляют, а составить собственное о ней мнение не мог, потому что отказывался ее читать. В этом заколдованном круге он жил до ноября, пока не увидел у Булгарина в гранках отрывки из «Горя от ума» для «Русской Талии». Только тогда он переменял свои взгляды на автора, признал, что тот, кто написал подобные строки, должен быть благороднейшим человеком, поскакал к Грибоедову на старую квартиру, застал в момент переезда, — и на обеде у Одоевского они по-настоящему познакомились и подружились.

Светский баловень, популярный автор романтических рассказов из современной жизни и стихов, Бестужев был еще и бесподобным оратором. Он служил адъютантом герцога Вюртембергского, брата императрицы-матери, который прекрасно знал его красноречие и, если к нему долго не шли с докладом, не сердился: «Верно, Бестужев дежурит, с ним заговорились». Бестужев был бы довольно хорош собой, если бы не большой нос, который он сам именовал «башмаком». Однако вдохновение, столь часто оживлявшее его лицо и речи, преображало его. Он жил в доме Российско-американской компании, созданной для освоения богатств Аляски, и находился в теснейшей дружбе с правителем дел канцелярии Компании Кондратием Федоровичем Рылеевым. Вместе с Бестужевым Рылеев издавал «Полярную звезду», но был известен всей России прежде всего как поэт, автор сатиры на Аракчеева «К временщику», в которой воскресла гражданская смелость Ломоносова, Сумарокова и Державина; цикла патриотических баллад «Думы», где воспел подвиги людей из народа, как Иван Сусанин; и поэмы «Войнаровский». Впрочем, его поэтические способности восхищали меньше, чем неподкупная честность, негибкая твердость духа и готовность бороться со всяким злом, даже с общественным мнением. Он сам писал о себе: «Я не поэт, я гражданин» — и гордился этим. Рылеев был худого рода, с шести лет учился в Кадетском корпусе, и отсутствие хорошего домашнего воспитания сказывалось в нем: он был неловок с женщинами, терялся в светском обществе и избегал его, но в мужском кругу он блистал: его обаяние и пыл души, негладкая, но сильная и красочная речь притягивали к нему людей, он увлекался сам и увлекал других к великим свершениям. Единственный в этой компании он был женат (хотя не слыл примерным семьянином), имел дочь и недавно потерял годовалого сына, чью смерть пережил очень тяжело.

Соприкосновение в одной квартире таких незаурядных и отчасти схожих людей, как

Грибоедов, Бестужев и Рылеев, могло бы привести к взрыву — и не привело. У них было слишком много точек соприкосновения, чтобы они могли быстро наговориться и рассориться. Все трое любили русскую литературу и мечтали возвысить ее значение — тут заслуги Грибоедова были подавляющими. Все трое были связаны с различными коммерческими проектами — и тут Грибоедов внимательно изучал опыт Российско-американской компании, надеясь использовать его и создать аналогичную Российско-персидскую компанию, от которой польза стране была бы неизмеримо большей, чем от Аляски. Все трое были прежде кавалеристами, не имели особых воинских отличий, зато несколько раз дрались на дуэлях — тут никто не превосходил других. Наконец, — и самое главное, — все трое питали искреннюю ненависть к деспотизму и крепостничеству, преследовавшим в России всякую смелую инициативу, всякую свободную мысль. Тут Бестужев и Рылеев далеко опережали Грибоедова в резкости выражений, в готовности к любым решительным мерам, которые избавили бы Отчизну от разъедающего ее зла.

Александр Одоевский несколько не охлаждал накаленную атмосферу политических, литературных и деловых споров в его квартире. Он был немного младше друзей, но характером, творчеством и взглядами полностью им соответствовал. Кроме Рылеева и Бестужева (который в конце концов просто переехал к Одоевскому, уступив свою квартиру нуждам жены Рылеева), здесь постоянно пребывали князь Евгений Оболенский, единственный молчун по причине заметной шепелявости, но человек впечатлительный и деятельный; сверстник Одоевского Петр Каховский, бледный и донельзя романтичный молодой человек; зимой здесь приветствовали старшего брата Бестужева Николая, военного моряка и художника, восхищавшего всех благородством, твердостью и способностями к разнообразнейшей деятельности; бывали здесь и старые друзья братья Мухановы, бывал Поливанов. Тут Грибоедов познакомился с юным шалопаем Львом Пушкиным, младшим братом опального поэта — он привозил порой сведения о брате, отправленном из Одессы в село Михайловское, куда перевез вместе с собой героев «Евгения Онегина» и сочинял теперь вторую и третью главы романа в стихах. Наконец, весной сюда же из Москвы явился Кюхельбекер, потерявший очередное место службы и ищущий новое (Грибоедов потребовал от Булгарина пустить все в ход и пристроить Вильгельма хоть куда-нибудь — Фаддей отчаянно начал хлопотать, но пока безуспешно). Порой вся компания встречалась у Рылеева или у князя Оболенского в гвардейских казармах, однако чаще всего собрания назначались у Одоевского, по обширности и удобству его квартиры.

Грибоедов очень быстро освоился среди новых друзей, стал им как брат. Однако Одоевский убедительно просил его не приглашать к себе некоторых знакомых, прежде всего Булгарина и Греча. Не нужно было иметь ум и дипломатические навыки Грибоедова, чтобы разобраться в причинах подобной просьбы.

Яростные противоправительственные речи его друзей сами по себе значили немного — в них не было для Грибоедова ничего нового и неожиданного; скорее он был бы удивлен, услышав восхваления правительства из уст сверстников своего круга. Однако он довольно скоро осознал, что волею случая оказался в самом центре одного из тех тайных обществ, о которых давно слышал, но членов которых прежде не знал. Рылеев, Оболенский, А. Бестужев и уехавший осенью в Киев Сергей Трубецкой составляли Коренную думу Северного общества, созданного для проведения в жизнь всех преобразований, о которых мечтали молодые люди России. После января 1821 года, когда распался Союз благоденствия, пытавшийся действовать путем пропаганды и просвещения народа, наиболее решительные его члены избрали новую тактику, почерпнутую из опыта испанской революции 1821 года: тактику военного переворота. На этом этапе Бегичев и многие подобные ему отошли от движения. Напротив, Рылеев и Александр Бестужев только тогда к нему и примкнули. Теперь в членах Общества ценились не ораторские способности, но организационные, не количество вольнодумных стихов, но количество штыков, которые они могли привести под знамена революции.

Рылеев, А. Бестужев, Одоевский и Оболенский довольно долго размышляли, надо ли

открывать Грибоедову всю глубину их замыслов. Бестужев и Одоевский выступали против, не желая подвергнуть опасности его талант, который погиб бы в случае краха заговора. Рылеев с ними соглашался, но в то же время возможности Грибоедова очень его интересовали. У Грибоедова не было солдат под командованием, но у него были очень важные связи. Прежде всего А. А. Столыпин и Н. С. Мордвинов — обоих Рылеев рассчитывал привлечь в состав Временного правительства, если переворот удастся произвести. Оба славились высокой честностью и доблестью, оба занимали положение, не сопоставимое с положением самого Рылеева или Бестужева. Столыпин был другом Сперанского, а его младший брат Дмитрий Алексеевич командовал на юге корпусом и славился, как Михаил Орлов, просветительской деятельностью среди солдат. Если бы Грибоедову, с его красноречием и дипломатическим даром, удалось привлечь обоих Столыпиных, Мордвинова и Сперанского к организации переворота, это принесло бы Обществу огромную пользу.

Еще важнее была дружба Грибоедова с Ермоловым. Главнокомандующий Кавказской армией привлекал настойчивые взгляды заговорщиков. Он был вполне независим в своих действиях, известен свободными речами и покровительством ссыльным, он мог всей своей воинской силой поддержать действия Северного общества с юга. Якубович уверял Бестужева, что при Ермолове есть настоящее тайное общество, и предлагал его помощь восстанию. Кроме того, на юге, в районе военных поселений Киева, Чернигова и Тульчина, находилось несколько центров Южного общества, разрозненных и мало общающихся между собой. Сергей Трубецкой для того и поехал в Киев, чтобы установить с ними связи, но его усилия не увенчались пока большим успехом. Даже и тут ум и способности Грибоедова могли бы пригодиться, связав воедино отдельные нити заговора.

Эти обсуждения велись за спиной Грибоедова, хотя он не мог их не замечать. Наконец Рылеев решился с ним поговорить довольно откровенно. Грибоедов никогда не был пылким юношей, если речь шла не о любовных развлечениях, а о серьезных вещах. Он имел практический опыт государственной деятельности, который и не снился Рылееву и его друзьям. Прежде всего он постарался выяснить *план* революционеров. Его не было. Рылеев и сам это признавал, расплывчато представляя себе цареубийство или отстранение императорской семьи, назначение Временного правительства, публикацию «Манифеста к русскому народу» и дальнейшее проведение необходимых преобразований. Каких именно? Член Общества Никита Муравьев, которого Грибоедов помнил по университетским годам, начал писать конституцию, по образцу английской, но недавно женился на прекраснейшей женщине и пока охладил к политическим идеям.

Все это не вдохновило Грибоедова. Он очень четко понимал, что Ермолов отнюдь не придет на помощь революции. Он знал о генерале больше, чем тот подозревал, и не сомневался в его осторожности и благоразумии. Однако в случае успеха переворота — совершенного и полного успеха — Ермолов вполне мог его поддержать. Неопределенность замыслов друзей немного успокоила Грибоедова, он не верил, чтобы они вышли за пределы голословных обсуждений. Но в то же время он знал горячий, увлекающийся нрав Одоевского, Бестужева и Рылеева — и поневоле начал беспокоиться за них. Он ни на мгновение не проникся их мечтами, но что он мог им посоветовать? Ждать и надеяться, что когда-нибудь отдаленные потомки, авось, решат вопросы, которые уже сейчас, сегодня требовали безотлагательного решения? Просить смириться с ужасами крепостного права, которые столь резко клеймил его собственный Чацкий? Просить повременить, пока годы не угасят их пыл? Такие увещания были бы и низкими, и бессмысленными — они отвратили бы друзей от него самого, но не от смелых дерзаний. Рылеев ведь и сам предвидел их обреченность и опубликовал в «Полярной звезде» на 1825 год строки, показавшиеся многим пророческими (он скрыл их от цензуры в «Исповеди Наливайко»):

Известно мне, погибель ждет
Того, кто первый восстает

На утеснителей народа...

Но он шел с открытыми глазами и самыми слабыми надеждами навстречу судьбе. Грибоедову оставалось решить, примкнуть к друзьям или порвать с ними все связи. Одно он ответил сразу: от формального членства в Обществе он отказался категорически. Едва скинув иго матери, он построил жизнь так, чтобы не оказаться в условиях слепого и безоговорочного подчинения. Даже в армии, состоя при Кологривове, он вел особую, почти неконтролируемую деятельность и, хотя был подотчетен генералу, никаких точных приказов от него не мог получать. Еще менее он зависел от Нессельроде, Ермолова и даже Мазаровича — инструкции определяли общее направление его трудов, да и то он трактовал их весьма широко, а порой действовал вопреки воле начальства (например, когда сталкивал Турцию и Персию), и всегда ответственность за дипломатическое поражение или победу лежала на нем одном. Тем более он не собирался отдавать себя в полное распоряжение Рылеева и Оболенского, хотя порядок в Северном обществе был достаточно демократичен. Однако отказ подписать какие-то бумаги о членстве сам по себе ничего не значил, и Грибоедов и Рылеев это понимали. Собственно, эти бумаги Рылеев тут же сжигал, чтобы не скомпрометировать членов в случае провала заговора. Но с Грибоедовым эта игра была ему не нужна — слово Александра связало бы его сильнее любой подписи.

Грибоедов не мог порвать с друзьями, переехав от Одоевского и прекратив всякое общение. И не только потому, что это было бы актом трусости и раболепия перед властью. Он привязался к юноше, полюбил его от души, считал своим питомцем, желал ему блага, но не мог и его просить порвать с Рылеевым и Бестужевым. Фактически он мог сделать только одно — уехать за границу наступившей весной и предоставить событиям идти своим чередом. Но кем бы он почувствовал себя тогда, услышь он о гибели Одоевского в самоубийственном выступлении?! Конечно, Грибоедов ни в коей мере не нес ответственности за судьбу юного родственника, тому было без малого двадцать три года, почти столько, сколько Грибоедову во время суда за дуэль и ссылки в Персию. Грибоедов справился с жизненными испытаниями, справится и Одоевский. Но эти рассуждения Александру не помогали: разве, думал он, Бегичев не попытался бы отвратить от него любые невзгоды, будь он зимой 1818 года в Петербурге, а не в Москве? Разве обязанности старшего друга ограничиваются молчаливым сожалением?

Грибоедов против воли вынужден был заняться делами Общества. По сравнению с пылкими друзьями он чувствовал себя умудренным опытом стариком, хотя был их ровесником, да и они высоко ценили его ум и хладнокровие. Они настолько верили в его проницательность, что однажды двоюродный брат Оболенского, член Общества Сергей Кашкин, прислал князю Евгению письмо, где сообщил о загадочной смерти общего родственника и умолял «упросить Грибоедова собрать точные сведения об этом деле. Это его обязанность — попытаться проникнуть в эту тайну». Столь же откровенно друзья просили его разобрать запутанные отношения между разными частями Общества. Прежде всего Александр вдребезги разбил надежды Рылеева на помощь Кавказского корпуса. Рассказы Якубовича о наличии в Грузии тайной организации он полностью опроверг и твердо заверил друзей, что абсолютно невозможно ему было бы о ней не знать — в конце концов, он всю жизнь занимается изучением общественных связей! А цену словам Якубовича они и сами знают — или Бестужев до сих пор верит всему, что тот наговорил ему о Грибоедове? Этот аргумент подействовал. На Кавказе не на кого рассчитывать, кроме Ермолова, а на Ермолова рассчитывать бесполезно.

Потом Грибоедов исследовал до глубочайшей глубины все планы переворотов и только один из них признал оставляющим шанс на успех — совместное одновременное выступление всех северных и южных сил при нейтралитете Ермолова, при наличии обдуманного Временного правительства и перечня хотя бы ближайших преобразовательных мер. И, конечно, без цареубийства, которое никому в стране не понравится. Все это Грибоедову представлялось химерой, но Рылеев и Бестужев справедливо указывали, что

удалась же военная революция в Испании и в Южной Америке при Симоне Боливаре. — Там силы были иные. На стороне испанской революции стояли кортесы (парламент), недовольные королем, на стороне Боливара — народ, боровшийся с завоевателями-испанцами. А что в России? Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России! Эти резкие слова Грибоедова облетели все Общество. Они были не вполне справедливы, среди членов встречались даже генералы, но суть дела от этого не менялась. Возможности заговорщиков были и в самом деле невелики. Однако, если собрать все воедино: бывшую дивизию Михаила Орлова, продолжавшую любить опального командира, корпус Дмитрия Столыпина, полки членов Южного общества, батальоны и роты Северного и всех, кого могут увлечь общий пример и страстные речи Бестужева и других ораторов, — выйдет немало!

Северяне полагали, что попробовать стоит. Грибоедов соглашался, в глубине души имея в виду, что отсутствие единства в Обществах само собой сведет выступление на нет. Однако же если действовать, то без промедления. И так уже четыре года почти публично обсуждались замыслы царевубийства — и до сих пор они не дошли до правительства в сопровождении прямых улик! Так не может продолжаться вечно. Рано или поздно в Обществе появится какой-нибудь болтун, вроде Репетилова, или Молчалин, принятый за дельного человека, а ставший предателем. Конечно, доверие дворян друг к другу — вещь прекрасная, но всякое ведь случается, достаточно какой-нибудь красавицы-шпионки... Грибоедов решил весной съездить в Киев, поговорить с Трубецким, попытаться установить связи на юге — а там, скорее всего, убедить Петербург в полной нереальности всех надежд. На всякий случай он убедил Аркадия Алексеевича Столыпина поехать вместе с ним: вдруг его брат в чем-ни-будь окажется полезен?

Разумеется, вести переговоры с южанами должны были бы члены Коренной думы, но общее безденежье не позволяло ехать за свой счет, а по делам службы ни Рылеев, ни Оболенский или Бестужев не могли придумать себе предлог для посещения Киева. У Грибоедова же он имелся — для него это был бы прямой путь к Ермолову: до Керчи и морем на Кавказ. Он не испытывал радости при мысли о возвращении на дипломатическую стезю, но этим он заплатил бы невысокую цену за помощь Одоевскому. К тому же мечты Рылеева понемногу проникли и Грибоедову в душу, он начал против всей очевидности надеяться, что, может быть, ему удастся пробудить в Ермолове демона честолюбия и вовлечь его в зреющий заговор — это была бы огромная поддержка восстанию.

Отъезд запланировали на начало мая, по просухе, но Столыпин внезапно тяжело заболел. Грибоедов ждал, а пока развлекался, как мог. Прошедшей зимой он много работал и был рад отдохнуть. Помимо политических замыслов, он вместе с Никитой и Александром Всеволожскими продолжил организацию компании по торговле с Персией, на этот раз более успешно. Теперь он должен был ехать в Грузию отчасти для того, чтобы на месте решить коммерческие вопросы. Одновременно он живо и своеобразно описал свои впечатления от петербургского наводнения для сборника, который Греч готовил к печати, но не выпустил из-за высочайшего запрещения упоминать об этом несчастье. Тогда, по просьбе Бестужева и Рылеева, Грибоедов взялся что-нибудь написать для их «Полярной звезды» на 1825 год. Он перевел «Пролог в театре» к поэме Гёте «Фауст», перевел вольно, неполно, добавляя от себя в надежде на невнимательность цензуры: в споре Директора театра, Поэта и Комического актера, в котором Гёте не принял ничью сторону, Грибоедов твердо выступил на стороне Поэта, резко отвечавшего Директору:

Поди, ищи услужников других.
Тебе ль отдам святейшее стяжанье,
Свободу — в жертву прихотей твоих?

На этом монологе Грибоедов оборвал гётевский текст, который в оригинале заканчивался приказом Директора выполнять его распоряжения без лишних слов. Отрывок

Грибоедова напечатали без возражений, и он задумался, не перевести ли всего «Фауста». Такой титанический труд занял бы его на несколько лет, но его приятели полагали, что дело это бесплодное: невозможно даже сказать, какую сцену пропустит цензура.

Зато новые друзья активно поддерживали Грибоедова в полемике по поводу «Горя от ума». Кюхельбекер еще в Москве, в своей совместной с Владимиром Одоевским «Мнемозине», первым написал о комедии Грибоедова как о произведении «истинно делающем честь нашему времени, заслуживающем уважение всех читателей, кроме некоторых привязчивых говорунов», а потом поместил в «Московском Телеграфе» очередное свое стихотворное послание к Грибоедову, которое едва не заставило Александра покраснеть от избытка похвал. Бестужев, в обзоре состояния русской словесности в «Полярной звезде» на 1825 год, первым вывел «Горе от ума» из ряда всех предшествующих пьес, что позволяло ему самому устанавливать себе законы: «Люди, привычные даже забавляться по французской систематике, говорят, что автор не по правилам нравится — но пусть их говорят, что им угодно». Орест Сомов, приятель Рылеева и Бестужева, сотрудник всех подряд журналов, первым доказал наличие в «Горе от ума» действия, не основанного на подготовленной интриге. И все, от Владимира Одоевского до Сомова, вступились за Чацкого, которого не только Писарев и Дмитриев с присными, но даже Пушкин считал болтуном, если не глупцом. Отзыв Пушкина в письме к Бестужеву, который сразу же стал известен Грибоедову, огорчил бы его (Пушкин только стихи высоко оценил: «половина войдет в пословицу»), но Пушкин услышал комедию всего раз и не сумел полностью в ней разобраться: не понял характера Софьи, ибо не имел музыкального образования, не понял Чацкого, зато понял Грибоедова и признал, что единственный умный человек в пьесе — автор. Рылеев и Бестужев не поддержали пушкинскую критику; они видели в Чацком единомышленника и с радостью приняли бы его в Общество.

Друзья Грибоедова захотели всемерно способствовать распространению точного текста «Горя от ума». Несколько дней в квартире Одоевского встречались офицеры разных петербургских полков и записывали пьесу под диктовку самого автора. Попутно и не однажды Александру делали замечания на иные неудачные слова и выражения, и он порой их исправлял. Это был самый последний этап его работы над рукописью; внеся некоторые изменения, он решительно поставил точку и больше к пьесе не возвращался. Наступившим летом, в пору офицерских отпусков, списки от Одоевского разлетелись по всей России и встречались повсюду восторженно, как самые полные и достоверные.

Но если литературная судьба «Горя от ума» счастливо устраивалась на глазах Грибоедова, его театральная судьба оставалась печальной. Нелепо было ставить на сцене один третий акт, а всю пьесу цензура не пропускала. Весной в Театральной школе молодежь, во главе с Петром Каратыгиным, братом гениального Василия, затеяла тайком от цензуры поставить комедию. Грибоедов обрадовался и с жаром отдался репетициям. Он сам проходил с учениками все роли (Каратыгин играл Чацкого) и как-то привез с собой Александра Бестужева и Кюхельбекера, которые похвалили исполнителей, чтобы не лишать их веры в себя. Пьеса оказалась слишком сложна для юнцов, зато Бестужев дал им на время свой парадный адъютантский мундир, и мальчики с упоением по очереди щеголяли в настоящей гвардейской форме, что, разумеется, не дозволялось на публичных представлениях. Спектакль назначили на 18 мая. Но невозможно же сохранить тайну, рассылая пригласительные билеты! Слух дошел до Милорадовича, и тот ухватился за возможность отомстить Грибоедову за Телешову. Представление было запрещено. И если когда-нибудь Грибоедов желал введения свободы слова и печати в России, то никогда сильнее, чем в этот день!

Тем временем Столыпин скорострельно умер. Его смерть сильно задержала Грибоедова: он не мог отказать вдове в поддержке и сочувствии, а она не отпускала его, почитая первым другом и утешителем. Александр ждал приезда ее отца, адмирала Мордвинова, который взял бы на себя попечение о дочери и ее детях. Пока же он оставался в Петербурге, но покоя не знал. Кюхельбекер переселился к Одоевскому на место Бестужева,

уехавшего в Москву по делам, и однажды разбудил Грибоедова в четвертом часу утра, на следующий день — в седьмом; оба раза он испугал Александра до крайности и извинялся до бесконечности. Но дело у Вильгельма было не шуточное!!! — побранился с Львом Пушкиным, собрался драться. Грибоедов решил, что сами уймутся, но через день, выпавшись, наконец, без помех, помирил их.

Грибоедов сумел выехать из Петербурга только в конце мая. Он не мог понять, печалит ли его расставание с Телешовой, обещал ей писать, но боль разлуки сгладилась в два дня, а через неделю тоска исчезла без следа. В Москве он не застал уже ни Бегичевых, ни родных, уехавших куда-то на дачу. (Обычай отправляться со всем скарбом в дальние имения постепенно переводился, и москвичи, если не имели подмосковных, все чаще заводили небольшие дачи.) Зато он встретил Павла Муханова, от которого получил множество просьб списать в Киеве разные древние надписи, потому что тот увлекался теперь двумя предметами: женщинами и историей. Встретил и Александра Бестужева, вскоре возвращавшегося в Петербург. Бестужев ничего не сказал, а от Муханова Грибоедов с удивлением услышал, что их общий друг дни напролет проводил у его матушки и сестры и принимался ими как родной. Настасья Федоровна могла быть любезной с молодыми людьми по одной-единственной причине, но в данном случае известие не порадовало Грибоедова. Мария могла высоко оценить прекрасные душевные качества Бестужева, но сам он знал его и с другой стороны. Он понимал теперь, почему Никита Муравьев отошел от заговора после женитьбы на Чернышовой, понимал, почему генерал Раевский потребовал от Михаила Орлова выйти из всех тайных обществ перед свадьбой с его дочерью — и не осуждал их. Одно дело самому ввязываться в революцию, совсем иное — молча обречь сестру или дочь на участь жены каторжанина. Он не стал ни о чем говорить с Бестужевым, полагая, что его сватовство, если до того дойдет, не созреет раньше заговора.

По пути на юг Грибоедов заехал к Бегичеву в Лакотцы, увидел, наконец, его крошечную дочь и шутя предложил вырастить ее ему в жены (увы! девочка вскоре умерла). Александр пробыл у Степана два дня, рассказал ему причину своей поездки и своих надежд на Ермолова: уверяя друга в честолобивых помыслах и твердости духа генерала, он и сам в них совершенно поверил, увлекшись своим красноречием и подзабыв Ермолова за два года разлуки.

В начале июня он приехал в Киев. Природа и великолепные виды с высокого берега Днепра его поразили. Он почувствовал прилив вдохновения и начал обдумывать план трагедии из времен борьбы Руси с половецкими набегами — эпохи, когда варварство и цивилизация сплелись в клубок противоречий, столь излюбленный Вальтером Скоттом и его последователями. Грибоедов охотно выполнял поручения Муханова, надеясь использовать заметки и для своего творчества. Он побывал в лавре, замечая, что хоть трепетно вступаешь под темные своды соборов, но как душе просторно, когда потом выходишь на белый свет!

В Киеве Грибоедов остановился в «Зеленом трактире» на Московской улице, недалеко от Арсенала и лавры. Он мог бы, конечно, поселиться в квартире Трубецких, но предпочел этого не делать, дабы не скомпрометировать ни себя, ни князя в случае будущих неприятностей. В трактире одновременно с ним жил несколько дней Артамон Муравьев, полковник Ахтырского гусарского полка, переведенного Аракчеевым из-под Петербурга на юг, в городок Любар. Артамон, молодой человек, начинающий полнеть, имел на правой руке наколку порохов «Vega» — имя горячо любимой жены. В эти дни она как раз приехала к нему после полугодового отсутствия, и почти все свое внимание он уделял только ей. Трубецкой познакомил Грибоедова с юношей, ровесником Одоевского, Михаилом Бестужевым-Рюминым. Он с батальоном Полтавского пехотного полка нес в Киеве караул и тотчас явился на встречу с посланником петербуржцев. Короткий разговор с Грибоедовым убедил его, что тот привез для обсуждения слишком важные вопросы, чтобы решать их без участия главы Васильковской управы Южного общества, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, подполковника Черниговского пехотного полка, стоявшего на военных поселениях в Василькове, по дороге из Киева в Любар. Бестужев-Рюмин послал к нему

нарочного с просьбой приехать хоть на несколько часов, и Муравьев-Апостол прискакал на следующий день к полудню. Все встретились у Трубецкого. Грибоедов впервые видел представителей Южного общества, и знакомство с ними произвело на него сильное и тяжелое впечатление.

Пожалуй, прежде он не задумывался об участи, выпавшей на долю его поколения. Он сам участвовал в войне, но не в сражениях; после войны много сил отдал театру; потом, хоть против воли, принял дипломатическую должность, оказавшуюся неожиданно важной, позволившую ему развить и применить к делу свои способности; потом его целиком захватили создание «Горя от ума», борьба за него, петербургская жизнь... Всегда он был в гуще столичного театрального, литературного мира, притом на первых ролях, либо же выполнял ответственные дипломатические поручения. Лишь недолгое время он провел в духовной пустыне Персии, где не находил себе никакого занятия, и в Грузии после отъезда Кюхельбекера. Он прекрасно помнил, какая страшная тоска наваливалась на него в те периоды.

Теперь он понимал, что его судьба сложилась счастливо. Разве можно ее сравнить с судьбой Сергея Муравьева-Апостола? Тот родился в Петербурге, в семье писателя и крупного дипломата, до семи лет воспитывался в Париже, потом дома в Петербурге, где получил блестящее и разностороннее образование. Семнадцатилетним юнцом он принял участие в Отечественной войне — и в первом же сражении под Красным получил золотую шпагу за храбрость. Он прошел Бородино, Тарутино, Малоярославец, Люцен, Лейпциг, Париж, заслужил отвагой и инициативностью Владимира с бантом, два ордена Анны, к двадцати четырем годам стал капитаном Семеновского полка. Он привык бороться, действовать, привык находиться в лучшем обществе Европы и Петербурга, он внес немалый вклад в победу над Наполеоном и сделал великолепную карьеру. Но всему пришел конец. После восстания Семеновского полка он был отправлен в Полтавский пехотный полк, потом назначен в Васильков. С тех пор почти пять лет он жил в глухом уезде Киевской губернии, среди военных поселян, с их женами, хозяйством и бесплодной муштрой. Ни проку, ни радости, ни даже служебного продвижения в этом прозябании не было. Все вокруг казалось чужим и отвратительным, даже собственное лицо в зеркале! Ведь гвардейские усы пришлось сбрить, пехотинцам их носить запрещали.

Что ему было делать? Выйти в отставку? Он не представлял себя вне военной деятельности, не был склонен к литературному творчеству или чему-то подобному. Уехать, как Чаадаев, в путешествие по Европе? скитаться в философических раздумьях по местам, где десять лет назад шел с боями? явиться гостем в Париж, куда когда-то вступил победителем? Никогда! Аракчеев, занимавшийся в войну интендантским делом и откровенно признававшийся, что свист ядер вызывает у него дрожь, Аракчеев мог отнять у боевых офицеров смысл жизни, но не мог отнять у них уважение к самим себе. И Грибоедов нисколько не удивлялся, что Муравьев-Апостол стал одним из основателей тайных обществ и активнейшим сторонником немедленных и решительных действий. Его воспитание, образование, юность, полная подвигов во имя Отчизны, естественно развили в нем уверенность в себе и готовность, способность, призвание к государственным и военным свершениям. А что предоставляла ему аракеевская Россия? Тупое хозяйствование в медвежьем углу, где делать было абсолютно, совершенно нечего.

И разве только Сергей Муравьев-Апостол? Все боевое поколение было внезапно и резко остановлено императором, словно конь на полном скаку. Конь в этом случае встает на дыбы и сбрасывает неловкого всадника. Неудивительно, что и лучшие представители военной молодежи, которым в 1825 году было около тридцати лет, встали на дыбы и готовы были сбросить иго бессмысленного деспотизма. Они получили образование, наиболее пригодное в общественной, политической, представительской деятельности — зачем, если в России не было ни единой общественной, политической, представительской организации? При Екатерине II была Уложенная комиссия, Царству Польскому император дал

конституцию и выборный сейм, а в России — ничего, глухое молчание. Они получили огромный военный опыт — зачем? Россия с 1815 года не вела ни единой войны, а ведь рядом кипело греческое восстание, которому так хотелось помочь. Они явились свидетелями исторического подъема русского народа на борьбу с Наполеоном, провели годы бок о бок с солдатами в сражениях и походах — теперь от них требовали издеваться над солдатами в военных поселениях. Они привыкли решать судьбы великих битв, судьбы государств, свои судьбы — теперь их отставили ото всех серьезных занятий.

Боевое поколение изнывало в бездействии. И вместе с ним отчаянно искали выход энергии совсем юные, как Бестужев-Рюмин, родственник Муравьева-Апостола, после восстания семеновцев девятнадцатилетним заброшенный в тот же Полтавский полк. Да оставайся он даже в Петербурге, разве мог бы он эгоистично наслаждаться жизнью, пока его обожаемый старший друг страдал в захолустье? И никакого просвета впереди не замечалось. При Павле I можно было решиться на убийство императора, потому что ему на смену пришел бы молодой либеральный Александр I — и цареубийство произошло. Но убивать постаревшего, закосневшего Александра не имело смысла — его должен был сменить Константин, унаследовавший от Павла все внешние и внутренние недостатки; после Константина на престол мог вступить Николай, внешних недостатков не имевший, но внутренне — истинный Павлович. Во всей царской фамилии только у Николая был сын, семилетний Александр. Но долго же придется ждать, пока настанет его черед править... И поневоле, неизбежно людям закрадывалась в голову мысль о республике.

Яснее и четче всех ее сформулировал Павел Пестель, чей жизненный путь походил на путь Сергея Муравьева-Апостола, а нынешнее положение было еще хуже. Он был сыном сибирского генерал-губернатора, отставленного под предлогом чудовищных злоупотреблений, хотя его вина состояла в попытке бескорыстно навести порядок, что многим не понравилось; его заменили Сперанским, давно переставшим бороться с неизбежным. Пестель получил превосходное домашнее воспитание, учился в Дрездене, в Пажеском корпусе, который окончил первым в выпуске. Золотую шпагу за храбрость он заслужил в девятнадцать лет на Бородинском поле, был тяжело ранен; потом участвовал в заграничном походе, получая русские, прусские и немецкие награды почти за каждую битву — Кульм, Лейпциг, переправа через Рейн. После войны, служа в Кавалергардском полку, он продолжил обучение и прослушал курс политических наук. Переведенный Аракчеевым на юг, он еще пытался действовать, трижды ездил от штаба Второй армии в Бессарабию, устанавливая связи с греческим восстанием. В конце 1821 года его сделали командиром Вятского пехотного полка, стоявшего в местечке Линцы под Тульчиным.

Сергей Муравьев-Апостол из своего Василькова мог за несколько часов доскакать до Киева, где, по крайней мере, были князь и княгиня Трубецкие, где давали какие ни на есть балы и спектакли, где бывали, хоть проездом, знакомые. Пестель же находился в тупике (кто, кроме окрестных жителей, быстро найдет Тульчин на географической карте? а местечка Линцы нет и в самом подробном атласе). Ближе всего отсюда было на тот свет. Но самоубийство как способ решения всех проблем было чуждо боевому поколению. Тот, кто вышел с честью и славой из наполеоновских битв народов, кто выжил после тяжелых ран, тот не пустит себе пулю в лоб ни при каких трудностях. Тот предпочтет бороться, тот в очередной раз попытается победить. Тот будет *действовать*.

Пестель и Муравьев-Апостол решительно полагали необходимым провести военную революцию и установить республику. Страна, которая обрекала на бездействие людей, подобных им, бесспорно нуждалась в переменах. Но они расходились в том, откуда должно начаться восстание. Пестель, что так естественно в его положении, рвался в бой и желал, чтобы сигнал к выступлению подала его Тульчинская управа. Муравьев-Апостол, живший чуть ближе к столицам, полагал необходимым согласовать свои планы с Северным обществом, однако хотел захватить императора в Василькове во время смотра южных военных поселений. Рылеев и Оболенский считали, что проводить переворот надо в

Петербурге, с тем чтобы юг его потом поддержал. Но все жаждали одного — *действия*.

Грибоедов был послан скоординировать общие усилия. В Петербурге он мечтал о том, что уговорит друзей подождать благоприятного момента. Но на юге он понял невозможность отсрочки. Рылеев в Петербурге мог чем-то заняться (стихами, освоением Аляски...). Пестель и Муравьев-Апостол ничем заняться не могли. Рылеев мог ждать. Пестель и Муравьев-Апостол у себя в Линцах и Василькове ждать не могли — нечего. Конечно, положение армейского полковника было отнюдь не плохо, и карьера Пестеля и Муравьева-Апостола складывалась вполне удачно, жаловаться им было не на что. Но карьера — это одно, дело — совсем другое. Или напрасно воспитатели с детства разжигали в них пламя высокого честолюбия? Грибоедов отлично понимал, что на их месте тоже бы чувствовал непреодолимую тягу к деятельности. Их неудовольствие проистекало не от обычной скуки захолустья, а от того, что во всей России не находилось применения их способностям. Хоть бы война какая была! Хоть бы дворянское, если уж не народное, представительство ввели! Пусть хоть на французском языке, чтобы народ не понимал речей депутатов! Но ничего не было. Причины заговоров лежали не в нынешнем монотонном существовании молодых офицеров. Они основали тайные общества уже в 1816 году, сразу после войны, живя в Петербурге. Основали потому, что в побежденной Польше вводилась конституция, сейм, в Остзейском крае отменялась зависимость крестьян. А Россия-победительница продолжала жить под гнетом самодержавия и крепостничества. Раз правительство бездействовало — они были готовы действовать сами.

Муравьев-Апостол предлагал план немедленного выступления, уже в этом году, во время сентябрьского смотра войск Александром I. Он рвался действовать один, без всякой поддержки. Грибоедов видел недостаток его сил, неподготовленность, но что он мог сказать? Он, правда, заметил резко Муравьеву-Апостолу и другим, что они дураки, если хотят бороться в одиночку. Но сделать мог только одно: передать Муравьеву-Апостолу согласие Северного общества на установление республики в случае удачного исхода переворота (прежде, под влиянием Никиты Муравьева, в Петербурге предпочитали конституционную монархию, неприемлемую для южан); смог добиться обещания Муравьева-Апостола, если император не приедет на юг и восстание начнется в Петербурге, поддержать его по получении известия из столицы; наконец, убедил Васильковскую управу ни в коем случае не выступать без предупреждения. Грибоедов пообещал было Южному обществу возможную помощь Ермолова, но Муравьев-Апостол ее отверг, опасаясь то ли недостаточной революционности генерала, то ли того, что он заберет в будущем правительстве чрезмерную власть. В остальном он принял предложения Северного общества. Положительный ответ Грибоедов переслал Рылееву, и тот немедленно отправил в Киев Александра Федоровича Бриггена (немецкий пансион в Петербурге, золотая шпага при Бородине, Владимир с бантом, кульмский крест, гвардейский полковник к 1820 году — а потом унылая жизнь в отставке в Глуховском уезде Черниговской губернии и, как естественный итог, участие в тайном обществе). Бригген ехал из столицы домой и должен был попутно урегулировать на юге практические вопросы — от состояния казны Общества, вверенной Трубецкому, до конкретных планов восстания.

В это время Грибоедов был уже в Крыму. Артамон Муравьев с женой звали его погостить в Любар, Пестель хотел увидеть его в Бердичеве на ярмарке, но Александр мечтал об уединении, чтобы попробовать что-то написать. Однако в Крыму он не нашел покоя: до самого сентября он путешествовал по полуострову, объехал его кругом — от Симферополя к Севастополю и вдоль побережья до Керчи, потом в Бахчисарай и назад в Симферополь. Его слава предшествовала ему — где-то упрасивали сесть за фортепьяно, где-то мечтали поговорить с автором «Горя от ума», которое знали уже наизусть. То и дело в пути ему попадались петербургские и московские знакомые, даже знаменитый фантазер Свиньин — можно было подумать, что Крым становится летним курортом. В коляске, если не было попутчиков, Грибоедов испытывал прилив вдохновения, хотел писать, но стоило где-то остановиться — отовсюду налетали визитеры. Он мечтал о тишине днем и о слушателях

вечером, ибо так и только так он мог творить, но со времени его жизни у Бегичева обстановка ему не благоприятствовала. В итоге он завел кучу новых друзей и не написал ни строчки, кроме путевых записок для Бегичева да просьбы к нему же о деньгах, без которых не мог уже двинуться с места (Степан, конечно, прислал). В Крыму он встретил Николая Оржицкого, путешествовавшего вместе со ссыльным польским поэтом Адамом Мицкевичем. Оржицкого, отнюдь не поляка, несмотря на фамилию, а незаконного сына графа П. К. Разумовского, воспитанного в неге, что не помешало ему отличиться в войну и вступить в Общество, Грибоедов знал по Петербургу. Они много говорили о Бестужеве и Рылееве, о необходимости республики; однако в стороне от Мицкевича — тому в спутники навязался какой-то сомнительный профессор энтомологии, в котором Грибоедов с Оржицким заподозрили — и правильно — полицейского соглядатая: вычислить его было нетрудно — профессор знал бы латынь, а этот ее не понимал, так Грибоедов с приятелем для смеху на ней и беседовали.

Грибоедов всё странствовал и не ехал к Ермолову: он ждал, начнется ли царский смотр на юге и, следовательно, восстание, и не мог предугадать, куда его занесет: в Петербург, в Сибирь или поскорее за границу. Наконец в начале сентября все удостоверились, что император не прибудет, а вместо Украины отправится в Таганрог. Члены Южного общества предполагали, что смотр отменен из-за возможного доноса на них, но не теряли надежды и отложили выступление на следующее лето.

12 сентября Грибоедов приехал в Феодосию, чтобы отплыть на Кавказ. Настроение у него было тяжелое, он чувствовал тоску большую, чем та, которая когда-то выгнала его из Грузии. Шаткое, опасное положение, в котором находились его друзья, полная невозможность им чем-то помочь угнетали его. И, как всегда, он обращался к лучшему другу за советом и сочувствием: «Тоска неизвестная! воля твоя, если это долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением; пускай оно останется добродетелью тяглого скота. Ты, мой бесценный Степан, любишь меня, как только брат может любить брата, но ты меня старше, опытнее и умнее, сделай одолжение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».

Но, конечно, Грибоедов не думал застрелиться. Задолго до того, как пришел ответ Степана, он преодолел ипохондрию. В октябре он добрался до Нальчика, где располагался штаб Кавказского корпуса во главе с генералом Вельяминовым. Ермолов воевал где-то вдали, зато здесь сидел Мазарович, отозванный из Персии для доклада. Тут же оказался Денис Давыдов, с недавних пор переведенный на Кавказ и заслуживший уважение горцев рыцарским характером, столь схожим с их собственным. Старые знакомые встретили Грибоедова радостно и шумно. Однако сразу по приезде Александр стал свидетелем кровавой сцены.

В прошедшую осень закубанцы совершили несколько дерзких набегов на Россию и с ними вместе один молодой кабардинский князь, первый стрелок и наездник, на все готовый, лишь бы девушки воспевали его подвиги по аулам. Ермолов велел его арестовать, и Вельяминов вызвал молодца в Нальчик. Тот явился в сопровождении старика отца, приверженного к России, сдаться не пожелал и заперся с оружием в какой-то комнате. Грибоедов знал, что отдан приказ стрелять, если тот попытается прорваться, и постарался встать так, чтобы загородить от отца окно во двор, куда мог выбежать сын. Это и произошло, и молодой князь был убит при попытке к бегству. Грибоедов жалел не столько его, павшего со славой, сколько старика отца, хотя не замечал, чтобы смерть сына произвела на него хоть какое-то впечатление.

Грибоедов же не только испытывал сочувствие к борющимся горцам, но даже излил его в стихах, написанных как бы от их имени:

Живы в нас отцов обряды,
Кровь их буйная жива.
Та же в небе синева,

Те же ледяные громады,
Те же с ревом водопады,
Та же дикость, красота
По ущельям разлита!
Наши — камни, наши — кручи!
Русь! зачем воюешь ты
Вековые высоты?

Стихотворение всем так понравилось, что Грибоедов отослал его Гречу и Булгарину в «Сын Отечества», где оно было, как ни удивительно, напечатано в следующем году.

22 ноября Ермолов, Вельяминов, Мазарович и Грибоедов съехались в станице Екатериноградской. Этот день был богат происшествиями. До Ермолова дошел, еще неофициальный, но, похоже, верный слух о кончине императора в Таганроге. Само собой, слух стал известен и Грибоедову, и в крайнем возбуждении он послал письмо Александру Бестужеву с вопросами, что предпринимается в связи с новыми обстоятельствами, хотя понимал, что ответ может прийти через много месяцев. Фельдгегеря из Петербурга пока не было, и Ермолов собрался продолжать войну. Грибоедов не отставал от него ни на шаг, навязавшись, против его воли, в поход. Александр хотел быть при генерале, если возникнут обстоятельства, когда надо будет подтолкнуть его к великим свершениям. А сверх того, в станице он жить не мог — его поселили в одной комнате с Мазаровичем, тот читал вслух латинский молитвенник, Грибоедов в ответ стрелял в дверь из пистолета, и в несколько дней они извели друг друга. Александр не ждал ничего приятного от похода, писал Бегичеву: «Теперь это меня несколько занимает, борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением, действие конгревов¹⁵; будем вешать и прощать и плюем на историю... Я теперь лично знаю многих князей и узденей. Двух при мне застрелили, других заключили в колодки, загнали сквозь строй; на одного я третьего дня набрел за рекою: висит, и ветер его медленно качает. Но действовать страхом и щедротами можно только до времени; одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы с знаменами победителей». По этому поводу у Грибоедова с Ермоловым то и дело возникали споры, хотя Александр старался сдерживаться до поры. Он упрекал Ермолова в деспотических замашках, а тот отвечал: «Испытай сам власть, тогда и осуждай».

Новый виток войны не успел начаться. 8 декабря прибыл фельдгегерь Экунин от Сената с официальным уведомлением о смерти Александра I и вступлении на престол императора Константина. Ермолов был невероятно доволен и в тот же день с торжеством привел к присяге корпус и гражданское население Грузии. С Константином Павловичем он был в превосходнейших отношениях, истинно дружеских, и очень радовался его воцарению. Он воспарил к небесам, в мечтах уже видел себя на месте графа Аракчеева, вершителем судеб России. Грибоедов, хотя тревожился о том, что могут замыслить его друзья, не намекал об их планах генералу, понимая, как тот воспримет сейчас подобное известие. Экунин привез Грибоедову несколько писем от петербургских друзей (конечно, фельдгегерям запрещалось возить частные послания, но этот был братом воспитанника Театральной школы, будущего мужа Истоминой, и не мог не выполнить его просьбы). Делать Александру было нечего, только переживать новости. Телешова обиняками сообщала, что, после долгих колебаний, собирается последовать совету Шаховского и принять покровительство Милорадовича («чорт с ними со всеми», — решил Грибоедов). Одоевский написал Грибоедову, сидя глухой ночью у Веры Николаевны Столыпиной, когда ее дети уже улеглись спать. Грибоедов забеспокоился за друга и просил Жандра проследить, чтобы тот не увлекся чрезмерно: «Я по себе знаю, как оно бывает опасно. Но, может быть, я гадкими своими сомнениями оскорблю и ее, и Александра. Виноват, мне простительно в

¹⁵ Конгрев — артиллерийский снаряд, назван по имени английского изобретателя.

других предполагать несколько той слабости, которая испортила мне полжизни». Но больше всего его волновало то, что может случиться из-за внезапной кончины императора: «Какое у вас движение в Петербурге!! — А здесь... Подождем». Бестужев черкнул ему наспех, что члены Общества, рассеянные по России, начали съезжаться в Петербург, прежде всего его братья Николай, Михаил и Павел и Сергей Трубецкой. Но никаких планов у них пока не было. Грибоедов тотчас сжег эту записку и с мучительным нетерпением ждал новых вестей. Прошло три недели.

24 декабря, в канун Рождества, когда Ермолов с Грибоедовым и всем штабом стояли в станице Червленной, из Петербурга прибыл новый курьер. Он вручил генералу толстый пакет, который тот вскрыл с нехорошим предчувствием. В нем находились сенатское постановление и копии документов из Успенского собора Московского Кремля: три года назад Константин отрекся от престола ради женитьбы на полячке, и Александр I утвердил своим наследником Николая. После смерти Александра I Константин не подтвердил отречение, но и не согласился править. В результате сложилось непонятное междуцарствие, которое 12 декабря Сенат прекратил, признав права Николая Павловича. Ермолову прислали указ о присяге новому императору. Генерал не мог прийти в себя, так силен был удар. Насколько отличными были его отношения с Константином, настолько дурными — с Николаем. Они поссорились еще в Париже в 1814 году из-за каких-то недостатков в форме вверенных Ермолову полков. Николай, как и его брат, ненавидел войну, потому что она портит внешний вид армии и мешает ежедневным фрунтовым учениям. Ермолов же, участвовавший в сражениях, а не в парадах, полагал, что боеспособность солдат важнее чистоты их сапог. Он высказался по этому поводу достаточно прямо и с тех пор имел основание думать, что Николай его не терпит.

Ермолов, скрепя сердце, хотел отдать приказ о присяге, но Грибоедов воспользовался удобным случаем и поговорил с главнокомандующим. Александр не сомневался, что теперь уж точно в Петербурге идет поножовщина, не знал, что произошло и кто победил, но был уверен, что Северное общество выступило. С юга, через генерала Воронцова из Крыма, не приходило никаких тревожных вестей. Грибоедов посоветовал подождать новостей из столицы. Ермолов очень охотно согласился: вдруг Константин был незаконно отстранен от власти и с помощью восстания, хотя не согласованного с ним, взойдет на престол? Генерал решил несколько дней под разными предлогами, благо он никому не был подотчетен, откладывать присягу.

Два дня Грибоедов пребывал в таком возбуждении, что совершенно не мог контролировать себя. Ермолов ходил подавленный и молчал. Офицеры, видя крайнюю напряженность двух столь хладнокровных людей, ничего не понимали и ждали каких-то событий. И наконец, до Кавказа докатилось через Крым известие о 14 декабря в Петербурге: без всяких подробностей сообщалось, что против Николая поднялись какие-то войска, были рассеяны картечью и в России начались повальные аресты.

28 декабря Ермолов привел Кавказ и Грузию к новой присяге. Теперь оставалось сидеть и ждать невесть чего. В середине января от Воронцова пришло письмо о восстании Черниговского полка под командованием Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина. Муравьева-Апостола, тяжело раненного, захватили на поле боя, его младший брат Ипполит, не желая сдаваться, покончил с собой; Пестель был арестован еще 13 декабря и Тульчинская управа не выступила.

22 января в Грозный, где стоял Ермолов, прискакал очередной фельдъегерь и подал генералу тоненький конверт. Адьютант Талызин из-за плеча Алексея Петровича прочел полученный приказ и тотчас вышел из дому. Курьера, рыжего и лысоватого, по имени Уклонский, пригласили к ужину. Тут собрались все офицеры, в том числе вернувшийся Талызин. Грибоедов чувствовал себя спокойно, хотя по взгляду Ермолова догадался, в чем дело. Он даже был рад — наконец-то неопределенность закончилась. Он не сомневался, что Талызин послал заранее оговоренный знак Грибову, чтобы тот немедленно уничтожил пакет со всеми бумагами, которые Грибоедов предусмотрительно туда складывал. Там он хранил

письма Бегичева, Кюхельбекера, Одоевского, которые не хотел уничтожать до последней минуты. Теперь эта минута наступила, но все же он предпочитал, чтобы их сожгла менее трепетная и любящая рука, чем его собственная. Ермолов затягивал ужин, давая Грибову на всякий случай побольше времени; ведь содержание бумаг могло как-то затронуть и генерала. Он прекрасно знал благоразумие Грибоедова, но новому императору достаточно было бы крошечной лазейки, чтобы обвинить Ермолова в связях с заговором. Беседа за столом касалась, естественно, событий 14 декабря. Фельдъегерь мало знал имен арестованных, но подтвердил, что затронуты все знатнейшие фамилии и что царь в совершенном бешенстве.

После ужина Грибоедов пошел в комнату, которую делил с Сергеем Николаевичем Ермоловым, молодым родственником генерала и еще двумя адъютантами. Около его постели, разложенной на полу, в изголовье невинно стояли два чемодана, оставленные им в повозке — значит, все в порядке, Грибов сделал свое дело. Товарищи по комнате стали укладываться, но Грибоедов не раздевался. Двери открылись, дежурный штаб-офицер Талызин, дежурный по отряду полковник Мищенко и фельдъегерь вошли в комнату: «Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?» Грибоедов спокойно указал на чемоданы. Их открыли: кроме рукописи «Горя от ума» там ничего не было. Талызин слегка улыбнулся за спиной фельдъегеря. Чемоданы опечатали и забрали, а Грибоедова провели в другой офицерский домик, где снаружи поставили часовых. Так он смог впервые по приезде на Кавказ получить отдельную комнату и выспаться без помех. Наутро все офицеры собрались проводить его. Многие беспокоились. Главнокомандующий вместе с уведомлением о произведенном аресте отсылал в Петербург наиболее лестную характеристику Грибоедова. Сослуживцы Александра посоветовали фельдъегерю больше никогда не приезжать на Кавказ, где его отныне очень не любят. Грибоедов успокаивал всех и беспрестанно повторял: «Пожалуйста, не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь». Фельдъегерь сел рядом с ним, и тройка помчалась по горам в Петербург.

* * *

Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.

Николай Языков.

Грибоедов не собирался беспокоиться раньше времени. Факт его ареста означал, что его имя уже названо кем-то из захваченных или просто указано среди близких знакомых Рылеева, Бестужевых, Муравьева-Апостола, Трубецкого, кого угодно. Однако Александр испытывал почти душевный подъем, он не намерен был сдаваться на милость царя, ни даже его фельдъегеря. Бояться людей — значит баловать их. Тройка неслась во Владикавказ, вокруг были по кавказским меркам неглубокие пропасти, но все не заснеженная русская равнина. Грибоедов решил извлечь из гор пользу и сообщил своему «телохранителю», что если тот желает довести его живого, так пусть делает, что угодно Грибоедову — не радость же ему в тюрьму ехать. Он прекрасно понимал, что фельдъегерь не захочет нести ответственность за гибель арестованного и не может знать, не впрямь ли тот намерен сигануть в пропасть. Уклонский вынужден был подчиниться.

По прибытии во Владикавказ курьер забрал оставшиеся здесь вещи Грибоедова с пакетом бумаг. Относительно этого пакета Александр был не совсем спокоен: ничего серьезного там содержаться не могло, но вдруг мелькнет чье-то случайное имя? Он надеялся, что сумеет так или иначе уничтожить пакет. Дорогой он требовал и получал всякие

поблажки: ночлег в непогоду, хороший обед. В одном доме, где они остановились, он увидел фортепьяно, бросился к нему, и девять часов Уклонский не мог оттащить его от инструмента. Но все же они двигались достаточно быстро и 7 февраля прибыли в Москву. Грибоедов велел ехать к Дмитрию Бегичеву в его дом на Старой Конюшенной, поскольку не знал, цел ли еще Степан, не взяли ли его как бывшего члена Союза благоденствия. Дмитрий с женой были потрясены появлением Грибоедова под конвоем. Они собирались ехать в гости к Степану, которого пока не трогали, но теперь наскоро устроили обед у себя, а Степану послали записку с просьбой немедленно явиться, если он хочет увидеть Грибоедова. Тот бросил гостей и тотчас пришел.

Он застал Дмитрия, Грибоедова и фельдъегеря в кабинете за накрытым столом. При виде курьера он переменялся в лице, но Александр весело ему объявил: «Что ты смотришь на него? Или думаешь, что это так просто курьер? Нет, братец, ты не смотри, что он курьер, он знатного происхождения: испанский гранд Дон-Лыско-Плешивос-ди Паричен-ца». Эта выходка всех рассмешила, Степан успокоился. После обеда Грибоедов отпустил Уклонского со словами: «Ведь у тебя здесь есть родные, ты бы съездил повидаться с ними». Тот с радостью ушел.

Бегичевы выразили недоумение, как это Грибоедов распоряжается человеком, который сам должен им распоряжаться, но Александр отмахнулся. Он жаждал знать, что же произошло в Петербурге, но Бегичевы мало что могли рассказать. Газеты молчали, страхи множились, в Москве со дня на день ждали, что Ермолов со своим корпусом придет захватывать власть. В этом Грибоедов их разуверил. Они же сообщили немного: из Петербурга доходили нелепые слухи. Истинно было только то, что в день присяги на Сенатскую площадь вышли роты лейб-гвардии Московского полка и Гвардейского флотского экипажа, которых привели туда братья Бестужевы, и рота гренадеров; остальных или арестовали раньше, или кто-то из офицеров не сумел выполнить обещанного. В конце концов каре восставших расстреляли, деваться с площади было некуда — за ними — стройка Исаакия, впереди — лед Невы, по нему били ядрами, и кое-кто утонул. Тотчас пошли рассказы, что один из Бестужевых захватил Адмиралтейство, второй — Сенат, третий — Академию художеств (напротив площади на другом берегу), четвертый — корабль, откуда отстреливался из пушек...

Верна в этих легендах была только огромная роль четырех братьев в восстании. После разгрома двое из них добровольно явились во дворец, а Николай Бестужев бежал до Кронштадта, но был арестован. И Александр Одоевский с помощью Жандра бежал, за ним отправили Василия Перовского, брата того Алексея, чьи внезапные университетские успехи заставили когда-то Грибоедова сдавать без подготовки экзамен на кандидата. С тех пор Алексей Перовский участвовал в войне, а недавно начал писать под псевдонимом Антоний Погорельский и стал известен сказкой «Черная курица, или Подземные жители». Василий за Бородинскую битву получил Владимира с бантом, в 1819 году был назначен адъютантом к великому князю Николаю Павловичу, что не помешало ему вместе с братом Львом вступить в Союз благоденствия. Теперь император дал ему возможность загладить вину, поймав опасного преступника. Царь, едва удержавшийся на престоле, напрасно толкал на подлости благородных людей. Василий выказал большую активность, чтобы его поручение не передоверили кому-нибудь менее щепетильному, обнаружил следы Одоевского — но сделал вид, что ничего не заметил, и с пустыми руками вернулся во дворец. Однако Одоевский сам через день сдался властям. Бежал и Кюхельбекер, но был схвачен уже около границы. Рылеев, Оболенский, Каховский, Трубецкой, Поливанов, Петр Муханов, Якушкин, все южане и многие другие, кого Грибоедов меньше знал, были арестованы. Даже Жандра посадили, но уже 31 декабря выпустили.

Александра Бестужева, Кюхельбекера и Каховского обвиняли в смертельном ранении, нанесенном графу Милорадовичу. Генерал-губернатор явился на Сенатскую площадь сразу после завтрака у Телешовой, попытался уговорить каре солдат разойтись и был кем-то то ли заколот, то ли застрелен. Виноват был один, но не знали пока, кто именно. (Грибоедов

решил, что едва ли это Кюхельбекер: не мог же он попасть в цель! это было бы слишком невероятно!) Князь Шаховской не отходил от постели умиравшего Милорадовича и подсовывал ему бумагу за бумагой на подпись — о пенсиях и прочих привилегиях разным артистам. За это князя собирались теперь выслать из Петербурга, в лучшем случае в Москву. Бегичевы ожидали своей участи. Император объявил, что виноваты не только члены обществ, но и все, кто знал о них и их планах и не донес властям! Этот указ очень не понравился дворянам. Вменить донос в обязанность благородного человека мог только правитель, который не рассчитывал впредь на поддержку дворянского сословия. Но на кого же будет опираться новый царь? На подлецов и шпионов полиции?

Вместе с Бегичевыми Грибоедов наметил линию защиты на случай, если их тоже арестуют. Уже за полночь явился его телохранитель, и в два часа ночи они продолжили путь. Теперь Александр знал масштаб происшедшего и страдал — не за себя, за других. Одоевский схвачен, все друзья в крепости. Что-то будет? И почему ничего не удалось? Бегичевы слышали, что был шанс на успех, но вроде бы Трубецкой и Якубович показали себя предателями. От хвастуна Якубовича можно было ожидать чего угодно, но в низость Сергея Трубецкого Грибоедов не верил.

11 февраля его привезли в Петербург, на гауптвахту Главного штаба. Фельдъегерь сдал его и бумаги и удалился. Пакеты лежали на столе, еще не внесенные в опись отображенного имущества, в комнате находился один дежурный офицер, которого Грибоедов вроде бы не знал, но который приветствовал его как давнего знакомого. Александр решил не упустить случай: спокойно подошел к столу, взял владикавказский пакет и сунул в карман. Офицер сделал вид, что ничего не заметил. Тотчас Грибоедова отвели на допрос к генерал-лейтенанту Левашову. Левашов встретил его очень вежливо, задал некоторые вопросы и собственноручно их записал. Грибоедов принял вид полной откровенности и совершенной невинности. Он решил не отрицать того, что легко могло быть доказано, и скрывать все, что доказать было нелегко: «Я тайному обществу не принадлежал и не подозревал о его существовании. По возвращении моем из Персии в Петербург в 1825 году я познакомился посредством литературы с Бестужевым, Рылеевым и Оболенским. Жил вместе с Одоевским и по Грузии был связан с Кюхельбекером. От всех сих лиц ничего не слышал, могущего мне дать малейшую мысль о тайном обществе. В разговорах их видел часто смелые суждения насчет правительства, в коих сам я брал участи: осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего. Более никаких действий моих не было, могущих на меня навлечь подозрение, и почему оное на меня пало, истолковать не могу».

Все это Грибоедов высказал тоном чистосердечия и подписал недрогнувшей рукой, заботясь, чтобы пакет не зашуршал в кармане. Левашов выразил ему уверенность в скором освобождении и велел проводить в помещение Главного штаба, куда сажали наименее замешанных в заговоре. Грибоедов нашел здесь самую непринужденную обстановку: в большой зале находилось несколько человек, гудел самовар, охрана оставалась за дверью и разговор велся свободно. Офицером охраны был капитан Жуковский, который давно установил с подследственными наилучшие отношения. Он охотно принимал разного рода подарки и оказывал разного рода услуги. Первым делом Грибоедова было избавиться от своего пакета. В этом ему помог Сергей Ларионович Алексеев, уже наладивший связи с городом. Через его посредство Грибоедов послал пакет Жандру с приказанием сжечь. Однако Андрей Андреевич, переживший арест и освобождение, полагал, что вторично его не побеспокоят. Его допрашивал сам император, и Жандр держался смело и ничего не скрывал. Его отпустили из-за отсутствия каких-либо улик о злоумышлениях. В конце концов, вздумай государь наказать всех, кто был коротко знаком с участниками восстания, в тюрьмы и Сибирь отправилось бы поголовно все русское дворянство — заговорщики же не в пустыне жили и отнюдь не были безродными сиротами! Поэтому Жандр ограничился тем, что на всякий случай просто убрал пакет под тюфяк.

На следующий день Грибоедов совершенно подружился с капитаном Жуковским и послал через него записку Булгарину и Гречу с требованием прислать «Чайльд Гарольда» и

журналы, а главное: «Чур! молчать!» Он знал, что о нем самом они ничего особенного не смогут рассказать, но полагал полезным напомнить им о недопустимости доносов. Булгарин лично принес книги.

Заключение в Главном штабе было совсем не то, что в Петропавловской крепости. Впервые со своего основания та была переполнена арестованными. Их сажали поодиночке, чтобы они не могли ни о чем сговориться, чтобы страдали от давящей тишины, темноты и неизвестности. Нередко их кормили только хлебом и водой, на месяцы сковывали по рукам и ногам, так, что и умыться было нельзя, не позволяли читать, не давали иногда и свечей (а в январе в Петербурге, взамен летних белых ночей, стоят черные дни). Тяжелее всего заключенным приходилось без книг; лишенные всякой пищи для ума, некоторые теряли рассудок. В Главном же штабе подследственные не только получали за свой счет обеды из ресторана Ларедо на углу, но имели право ходить туда в сопровождении конвоира. Грибоедов сразу стал пользоваться всеми поблажками: сперва читал газеты и играл на фортепьяно у Ларедо, а когда его конвойр осмелел, стал гулять по Невскому и Летнему саду и даже навещать вечерами Жандра. В конце концов конвойный стал просто оставаться в ближайшем кабачке и только передавал арестанту свой штык, дабы оружие не бросилось кому-нибудь в глаза в столь неподобающем месте. Когда Александр в первый раз зашел к другу со штыком, тот ошалел: «Зачем он тебе?» — «Да вот пойду от тебя уже ночью, так оно, знаешь, лучше, безопасней». По всяким мелким просьбам Грибоедов беспрестанно обращался к Булгарину, поскольку тот в глазах властей был вне всяких подозрений и мог действовать свободно. Фаддей Венедиктович, хотя трусил, но выполнял все поручения беспрекословно.

15 февраля, видя, что его не вызывают для допросов, но и не отпускают, Грибоедов решил надавить на Следственный комитет и сочинил откровенно резкое письмо Николаю I, написав его самым четким почерком, дабы ни одно слово не пропало:

«Всемилоостивейший государь!

По неосновательному подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника моего любимого, из крепости Грозной на Сундже, чрез три тысячи верст в самую суровую стужу притащен сюда на перекладных, здесь посажен под крепкий караул, потом позван к генералу Левашову. Он обошелся со мною вежливо, я с ним совершенно откровенно, от него отправлен с обещанием скорого освобождения. Между тем дни проходят, а я заперт. Государь! Я не знаю за собою никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то конечно и от нее не укроется. Ваше императорское величество сами питаете благоговейнейшее чувство к вашей августейшей родительнице...

Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или послать меня пред Тайный Комитет лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете.

Всемилоостивейший государь!

Вашего императорского величества верноподданный *Александр Грибоедов*».

Письмо императору не передали под предлогом, что «этим тоном не пишут государю». Дело не двигалось. Больше всего Грибоедов хотел узнать, что происходит у друзей в крепости. Кое-что могла сообщить Миклашевич, тесно связанная с семьей Рылеева. Декабристы вели себя по-разному. Одни, как Рылеев, Бестужев-Рюмин и отчасти Николай Бестужев, понимали, что 14 декабря имело историческое значение, что, если они не расскажут о себе хотя бы Следственному комитету, совершенное ими не дойдет до потомков. Поэтому они сообщали, порой даже преувеличивая, подробности о своих намерениях, причинах недовольства современностью; Рылеев и Бестужев-Рюмин восстанавливали по памяти сожженные перед арестом программные документы. Другие, как Александр Одоевский, молчали даже о том, что было с очевидностью доказано. Но все сходились в одном — имена членов общества не называть, кроме имен уже явно

замешанных лиц. Имя Грибоедова впервые прозвучало в показаниях Сергея Трубецкого, который полагал невозможным скрыть факт их давнишнего знакомства, однако выразился неопределенно, со ссылкой на Рылеева. Потом впечатлительный Оболенский, под действием изощренной психической пытки почувствовал вину перед обожаемым отцом, который на старости лет вынужден видеть сына в тюрьме, и в состоянии нервного срыва назвал шестьдесят одно имя, еще им не упомянутое — и Грибоедова. 14 февраля Комитет послал вопросы о Грибоедове Александру Одоевскому, Рылееву, Александру Бестужеву и Трубецкому: друзья Грибоедова начисто отрицали его членство в Обществе и знакомство с их планами, а Трубецкой очень изящно превратил сказанное раньше в несказанное (мол, Рылеев ему говорил, что Грибоедов к Обществу не принадлежит, но без всяких оснований Трубецкой ему не то что не поверил, просто неверно понял, и так далее). 19 февраля Комитет опросил Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля и других южан — все ответили отрицательно, а Пестель заявил, что и не слышал о Грибоедове.

24 февраля Комитет затребовал, наконец, к себе самого Грибоедова. Его перевезли по льду в Петропавловскую крепость и с завязанными глазами доставили в комнату, где за длинным столом, покрытым красной скатертью, в полной форме с мрачными лицами сидели военный министр Татищев, великий князь Михаил Павлович, четыре генерал-адъютанта и среди них П. Н. Голенищев-Кутузов. Его присутствие превращало суд в фарс, и многие, вслед за Пестелем и Николаем Бестужевым, могли бы повторить ему в лицо: «Я еще не убил ни одного царя, а между моими судьями есть цареубийца». (Кутузов участвовал в убийстве Павла I.) Грибоедов, чья вина пока не была доказана, не стал дразнить гусей мальчишескими выходками. Это было 69-е заседание Следственного комитета. Допрос закончился в половине третьего утра. Сперва Грибоедова пытались сбить напоминанием о его «Горе от ума» — он отшутился образом Репетилова, который вроде бы высмеивает «секретнейшие союзы».

Но это была просто разминка, после которой ему предложили устно и письменно ответить на град вопросов об имени, возрасте, воспитании, штрафах, если они были, знакомстве с разными декабристами и потребовали по пунктам «а), б), в)... и)» изложить все, что он знает о целях, центрах и членах Тайного общества.

Грибоедов честно назвал только свое имя. Возраст он скрыл, скрыл имена Петрозилиуса и Иона, назвав одного профессора Буле, потому что его уже не было в живых; не упомянул о следствии за четверную дуэль; заявил, что князя Трубецкого почти не знал; что Рылеев и Бестужев ему ничего не открывали; что первое его показание об откровенных с ними разговорах касалось только «частных случаев злоупотреблений некоторых местных начальников, вещей всем известных, о которых всегда в России говорится довольно гласно». Все подпункты «а), б), в)... и)» он свел воедино и, не вдаваясь ни в какие детали и оценки, твердо стоял на одном: «Ответом моим на сокровенность их предприятий, вовсе мне неизвестных, не могло быть ни одобрение, ни порицание... Я повторяю, что, ничего не зная о тайных обществах, я никакого собственного мнения об них не мог иметь».

Показания и манеры Грибоедова произвели на судей благоприятное впечатление. На следующий день они послали Оболенскому вопрос: почему он считает Грибоедова членом Общества, если Грибоедов это отрицает? Оболенский, несколько пришедший в себя, запутал ответ, чтобы не объявить ложью свои прежние показания, но и не подтвердить их правдивость. Пожилые генералы Комитета не представляли себе степень литературного мастерства и живости ума подследственных; судьи пасовали перед любыми ответами, если они не были нарочито правдивыми. 25 февраля Следственный комитет представил императору ходатайство об освобождении Грибоедова, однако высочайшего согласия не последовало. Грибоедова велели оставить в Главном штабе, впредь до получения отчета с Кавказа, куда был послан специальный исследователь. Николай I надеялся найти прямо или через Грибоедова улики о причастности Ермолова к заговору.

Не теряя оптимизма, Грибоедов сам на себя написал эпиграмму, получившую широчайшую известность в стране, ибо касалась слишком многих:

— По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб»...
— За то попался в Главный штаб
И был притянут к Иисусу!..

Только 15 марта изнывающий от скуки и неопределенности Грибоедов был вызван на следующий допрос. Из новых вопросов он понял, что Комитет выясняет его роль как связного между Северным и Южным обществами и между ними и Грузией, то есть Ермоловым. На этот раз Грибоедов увидел серьезность вопросов и их опасность решительно для всех: если бы следствие получило хоть малейшие доказательства договоренности Севера, Юга и Кавказа о совместном выступлении, это был бы ему незаслуженный подарок. Он ответил беспредельно кратко: поручений, писем и тому подобное не имел, никого не видел, никого не знал, о существовании каких-то новых лиц, о которых спрашивали, даже не подозревал. Точка.

Больше Грибоедову вопросов не задавали, на допросы не вызывали, но и не выпускали. После 15 марта он начал думать, что Комитет напал на след, а 19 марта даже послал Булгарину просьбу о деньгах на случай, если его «отправят куда-нибудь подалее» (если денег нет, чтоб прислал за адамантовым крестом Грибоедова, который можно было бы продать). После Пасхи, встреченной 18 апреля все в том же штабе, Грибоедов почти уверился, что о нем либо забыли, либо скоро отправят с фельдъегерем в Сибирь. Он много читал от скуки, но писать не мог — комната по-прежнему была переполнена сменявшими друг друга «постояльцами».

Однако о нем вовсе не забыли. На третий день после его проезда через Москву Степан Бегичев посетил его родных. Настасья Федоровна встретила весть об аресте сына «с обычной своей заносчивостью», как передал Степан, и принялась ругать сына карбонарием да тем и сем. Бегичев порадовался, что один присутствовал при этих излияниях, которые могли очень повредить Александру. К счастью, Алексей Федорович был разумнее своей сестры. Его не интересовало, виновен племянник или нет, он видел в нем только последнего продолжателя обеих ветвей рода Грибоедовых. Одно дело Нарышкины, Одоевские, Орловы, Трубецкие и прочие знатные семьи, чьи представители ввязались в заговор — у них осталось множество носителей фамилии. А Александр был единственной надеждой Грибоедовых. К тому же Мария и ее двоюродная сестра Софья умоляли Алексея Федоровича помочь Александру. Он написал старшей дочери требование добиться освобождения Грибоедова, ведь ее муж находится в величайшей чести у императора. В этом письме не было надобности. Не только сама Елизавета любила и уважала Александра, но и Паскевич относился к нему с дружеской теплотой. Он, несомненно, мог повлиять на ход следствия, но пока ничего не предпринимал. Грибоедов сидел всего лишь в Главном штабе, не испытывая ни в чем недостатка, гулял в Летнем саду и, кроме того, был умен, хладнокровен и опытен. Паскевич надеялся, что он выпутается сам, и не хотел ради него без нужды исчерпывать свой кредит у императора. Ведь Александр Одоевский, близкий родственник его жены, неопытный, пылкий юноша, сидел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, между камерами Рылеева, Николая и Михаила Бестужевых и Сергея Муравьева-Апостола — главных виновников, к коим и его причисляли. Пока что Одоевский держался твердо и ни в чем решительно не признавался, но Паскевич понимал, что его спасение почти невозможно, а для смягчения участи понадобится все его влияние.

Паскевич скрытно действовал через членов Следственного комитета, всемерно сдерживая их рвение относительно Грибоедова. Под его малозаметным нажимом множество противоречивых показаний о Грибоедове не сравнивалось, не назначались очные ставки, вопросы о нем порой просто изымались при переписывании опросных листов. В мае император начал подбирать состав Верховного уголовного суда по делу декабристов. Туда были включены Мордвинов и Сперанский, которых декабристы прочили в состав своего

Временного правительства (Дмитрий Столыпин избежал такой двусмысленной участи, скончавшись от удара во время арестов после 14 декабря). Ввели в члены суда и Паскевича. Тому выпал удобный случай заметить, что нехорошо было бы ему судить человека, родство с которым явно раскрывает девичья фамилия его жены, урожденной Грибоедовой. Родство с Одоевским было менее очевидно. 31 мая Комитет повторно отправил царю прежнее ходатайство об освобождении Грибоедова: «Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к Обществу и о существовании оно не знал. Показания о нем сделаны князем Евгением Оболенским 1-м со слов Рылеева; Рылеев же ответил, что имел намерение принять Грибоедова; но, не видя его наклонным ко вступлению в Общество, оставил свое намерение. Все прочие его членом не почитают». Последняя фраза была написана под давлением Паскевича: членом Общества Грибоедова называли Сергей Трубецкой, Оржицкий и Бригген (правда, все трое признавали его только в числе знакомых, а о членстве ссылались на Рылеева). В конечном счете отрицательное показание Рылеева стало решающим. Николай I написал на ходатайстве о Грибоедове резолюцию: «Выпустить с очистительным аттестатом» и велел дать следующий чин и годовое жалованье не в зачет.

2 июня последовал приказ об освобождении Грибоедова. 3 июня он перебрался к Жандру. В спрятанном владикавказском пакете они не нашли ничего предосудительного, кроме одного письма Кюхельбекера, но и этого бы хватило: Вильгельм не признавался даже в светском знакомстве с Грибоедовым, смертельно боясь хоть чем-то повредить обожаемому другу. 6 июня Грибоедов представлялся императору в числе нескольких освобожденных и получил предписание отправиться по месту службы, то есть назад к Ермолову.

9 июня ему выдали под расписку очистительный аттестат: «По высочайшему Его Императорского Величества повелению комиссия для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по изысканию найдено, членом того общества не был и в злонамеренной цели оно участия не принимал». 10 июня Грибоедов получил у военного министра подорожную и прогонные деньги до Тифлиса (на трех лошадей за 2662 версты).

Однако он не спешил с отъездом. Отчасти его задерживал долг вежливости: необходимые благодарственные визиты к Паскевичам, к капитану Жуковскому, дружеское общение с Жандром и В. С. Миклашевич, Николаем Мухановым, который как мог помогал ему в заточении, с Булгариным. После представления во дворце он почувствовал себя опустошенным, зашел к Булгарину, которого дома не оказалось, расположился у него по-хозяйски и оттуда послал Миклашевич свежее мнение о государе: «он, во-первых, был необыкновенно с нами умен и милостив, ловок до чрезвычайности, а говорит так мастерски, как я, кроме А. П. Ермолова, еще никого не слыхивал». Андрей Андреевич и Варвара Семеновна заключили из этой записки, что их друг не составил благоприятного суждения о новом императоре.

Больше всего Грибоедов желал сейчас одиночества. Он попросил Булгарина открыть дачу в Стрельне и переехал туда, никого не желая видеть, потом несколько дней без цели странствовал по побережью:

Луг шелковый, мирный лес!
Сквозь колеблемые своды
Ясная лазурь небес!
Тихо плещущие воды!

Мне ль возвращены назад
Все очарованья ваши?
Снова ль черпаю из чаши
Нескудеющих отрад?..

Грибоедов терзался сердцем за Одоевского:

О, мой Творец! Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?..

Допустил...

10 июля 1826 года был объявлен приговор декабристам. По чести, им нельзя было предъявить никакого серьезного обвинения: никто из них не нарушил присяги (ибо не присягал Николаю), не выступил против законного монарха (ибо его еще не было либо им был Константин, с именем которого солдаты шли на площадь). В худшем случае некоторые из них были виновны в нарушении субординации, поскольку вывели роты без согласия старших офицеров. За поднятие Черниговского полка можно было строго наказать, но большинство арестованных не были даже на Сенатской площади; Пестеля арестовали до всех событий — 13 декабря. Его и других обвиняли только в *мыслях*, не нравящихся царю. И за эти *мысли* расправа была жесточайшей.

Всего влияния Паскевича достало только, чтобы перевести Одоевского из осужденных 1 разряда, по которому полагалась казнь, замененная двадцатью годами каторги, в IV (двенадцать лет каторги, в августе сокращенных до восьми).

13 июля, на рассвете, барабанный бой несколько часов раздавался с кронверка Петропавловской крепости. Вопреки отечественным законам, со времен Елизаветы Петровны запрещавшим приводить в исполнение смертную казнь, Николай I приговорил к повешению осужденных вне разрядов Рылеева, Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Каховского, ответственного за убийство Милорадовича.

Российские палачи давно разучились вешать, но не вызывать же специалистов из Англии, где казнь такого рода была повседневным явлением? По России пошли страшные, и на этот раз верные слухи, что трое осужденных — Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Рылеев — сорвались, но их повесили вторично. Этот барабанный бой будет веками отдаваться в России, тревожа незачерствецшие души. Он произвел тяжелейшее впечатление на юношество, надломив в нем силы до начала взрослой жизни. Новое поколение зрело, ощущая обреченность любых усилий, любой тяги к чему-то лучшему. И старики чувствовали невыносимую грусть. Велики были потери и потрясения; многие семейства оплакивали близких умерших и живых покойников.

И только на одних людей барабанный бой не оказал никакого влияния — на самих декабристов. Повешенные — повешены, живые не собирались поддаваться отчаянию. Собранные страхом Николая в одном руднике Петровского завода, дабы не взбунтовали всю Восточную Сибирь, они оказались в родном кругу, с жадностью набросились на книги, которых были лишены полтора года, переводили со всех языков, делали научные доклады, сочиняли, изобретали, строили, спорили, основали целую «Казематную академию», где было 120 профессоров, по совместительству и учеников. Когда по истечении лет разряд за разрядом выходил с каторги на поселение среди бурят и крестьян, кое-кто плакал и рвался назад, в круг образованных друзей и единомышленников.

Грибоедов ничего этого почти не знал. Узникам запретили писать родным, и редкие вести доходили от них в Россию, переписанные, как бы от своего имени, нежными ручками дам, последовавших в Сибирь за мужьями, женихами и братьями. Пытаясь помешать им в этом жестокими и низкими условиями, новый император восстановил против себя даже московских старух, убежденных, что долг жены — быть с мужем. Они косо смотрели на жену Артамона Муравьева, так и не уехавшую к мужу из-за нежелания бросить детей. Но еще более они возмущались царем, который старался разорвать семьи, ибо он нарушал тем неписаные законы русской жизни. (И он таки изменил прежние представления: молодое поколение выросло с мыслью, что совершенное декабристками — подвиг. Сами они так не считали.)

Только одна весточка дошла до Грибоедова от друзей: на пушкинское послание в Сибирь «Во глубине сибирских руд» ответил Александр Одоевский:

Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард, цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Таинственная сила слухов и списков разнесла стихи по всей стране. Грибоедов был рад узнать, что его милый Александр не пал духом, что он окружен единомышленниками и вместе с ними продолжает надеяться не только на собственную свободу, но и на освобождение Отечества от рабства и деспотизма. В Петровском заводе декабристы не чувствовали себя одинокими.

А вот в России без них стало пустынно. Грибоедов с горечью оглядывался вокруг: пять человек, из которых только Пестеля он не знал лично, повешены; Кюхельбекер заточен в тюрьму, Александр Бестужев поселен в Якутске, его братья Николай и Михаил Бестужевы, Никита Муравьев, Одоевский, Петр Муханов — на каторге, Поливанов умирает в Петропавловской крепости. Правда, уцелели Бегичевы и Жандр, и Никита и Александр Всеволожские, и остальные Мухановы. Круг друзей Грибоедова не вовсе разрушился, он сможет, наверное, найти новых.

И все же он покидал столицу безо всякого сожаления. Жить в деревне, уехать за границу, уехать хоть на Кавказ — но в Петербурге благородному человеку больше нечего было делать. Все, кто только мог, разъехались из столицы. Отныне здесь будут главенствовать чиновники, и мундиры жандармов из новосозданного III Отделения С. Е. И. В. Канцелярии сменят мундиры блестящих гвардейцев Отечественной войны.

Страна, которая отправила талантливейших своих людей на эшафот, на каторгу, в крепость, по-прежнему нуждалась в переменах. Но бороться за эти перемены стало пока некому...

Глава VIII МИРОТВОРЕЦ

Пускай Фортуною от детства достоин,
Он будет судия, министр иль в поле воин, —
Но музам и себе нигде не изменит.
В самом молчании он будет всё пиит.

К. Батюшков

Грибоедов приехал в Москву в середине июля. Город был на удивление полон людьми, никто почти не разъехался по имениям и дачам. Древняя столица готовилась к коронации нового императора, и отсутствовать в такой момент — значило объявить себя противником власти. Однако радости на лицах он не заметил, повсюду царила похоронная атмосфера. Театры были закрыты, балов не давали, дворяне носили глубокий траур по случаю кончины сперва Александра I, а потом — его жены императрицы Елизаветы Алексеевны. Обязательный траур как нельзя точнее выражал подавленное состояние общества: какое

семейство не было затронуто роковой катастрофой 14 декабря? кто не лишился заживо погребенных родственников и друзей? кого не потрясла расправа с декабристами? Мало кто приветствовал победу правительства. Даже самые лояльные старухи возмущались государем, который, против всех отечественных установлений, препятствовал женам ссыльных выполнять свой долг и мстил не только заговорщикам, но и их еще нерожденным детям. Если же находился кто-нибудь довольный зияющими брешами, пробитыми в гвардии и теперь предназначенными для него, ничтожного (как Михайла Дмитриев, например, внезапно ставший придворным), то и он не смел открыто веселиться. Александр I увлек за собой в могилу многих, чьи имена были небезразличны Москве и России — приходилось оплакивать и их. Помимо императрицы, умер граф Федор Васильевич Ростопчин, который, может быть, и сжег Москву в двенадцатом году, но и много для нее сделал. Умер Николай Михайлович Карамзин, не дописав свою «Историю», сгорев в волнениях междоусобицы и следствия.

Умер граф Николай Петрович Румянцев, оставив после себя знаменитую Румянцевскую библиотеку.

Москва осознала, что ее прошлое уходит без возврата. Приезд двора никого не вдохновлял, и назначенная на август коронация, призванная поскорее изгладить тяжелое и грустное впечатление, произведенное недавними страшными событиями, не пресекала слухов, что император воцаряется незаконно, против воли старшего брата. Конец этим толкам положил только приезд из Варшавы Константина Павловича. Зато не пришел конец тому, что затрагивало всех без исключения — росту цен на жилье и припасы. Сперва думали, что вздорожание временное и пройдет по отъезде двора, но этого не случилось: слишком переменялась Москва. Словно повторились павловские времена: многие переехали сюда из Петербурга, подальше от престола; за вельможами потянулись провинциалы и поставщики; дома и наряды стали заметно роскошнее; расплодились наемные экипажи, трактиры и квартиры; обед отодвинулся к пяти часам — своеобразная полудеревенская простота московского быта потихоньку исчезла. И лишь одно осталось от прежних времен: противостояние Москвы казенному отныне Петербургу, но не по-старому невинное, а все более серьезное.

Только здесь — в Московском университете, в просвещенных гостиных, в Английском клубе — еще велись политические разговоры, обсуждались политические идеи, составлялись политические проекты. В Английском клубе правил Чаадаев. Он вернулся из-за границы и попал под подозрение в связях с декабристами, был допрошен, но отпущен. Из баловня фортуны и дам, короля балов и светского льва он под бременем неудач и долгов превратился в угрюмого нелюдима, облысел, ни с кем почти не виделся, никого не принимал и выезжал только в клуб. Там он создал совершенно особенную атмосферу свободы слова, не допуская, правда, революционных высказываний и ратований за насильственные действия, в которых разуверился. Но он не допускал и никаких гонений на ораторов, никаких доносов начальству и полиции. Нравственное и интеллектуальное могущество Чаадаева действовало облагораживающе на окружающих, и остатков дворянской чести хватало, чтобы обходиться без наущничества. Пожалуй, Английский клуб в России один оставался оплотом *общественного мнения*, и сам Николай I вынужден был прислушиваться к его суждениям. Всевидящее и всеслышающее III Отделение не смело, да и не могло сюда соваться.

Однако летом 1826 года Москва еще стояла на перепутье: прошлое умирало, будущее пока не вырисовывалось. Огромные и безжизненные здания Большого и Малого театров уныло смотрели на огромную и безлюдную площадь, зачем-то огороженную канатами, через которые никто не смел переступить, кроме бездомных собак. Бессмысленные запреты, всеобщая тишина и подавленность знаменовали начало нового царствования.

Грибоедов провел в этой обстановке неделю. После долгого перерыва он остановился в родном Новинском. Настасья Федоровна ничем не могла отравить ему настроение; в кои-то веки она была довольна: сын был оправдан, получил годовое жалованье и ехал к месту службы. Правда, Александр с негодованием узнал, что матушка занялась чем-то,

смахивающим на ростовщичество: по крохам собрала у знакомых деньги, даже у полунинного Владимира Одоевского нашла что выпросить, и дала с процентами довольно крупную сумму братьям Всеволожским. Эти богачи часто нуждались в оборотных средствах, ибо их отец, хотя выделил им часть капиталов, все же сохранил за собой контроль над основным семейным состоянием. Александр крайне встревожился очередной неблагоприятной авантурой матери, которая могла окончательно разорить семью и поссорить его со всеми близкими друзьями. Но, как обычно, ему было сказано, что это не его дело. Мария почти не замечала брата, погруженная в себя, в тоску и в музыку. И не она одна. Даже приезд вместе с двором новых гвардейцев не слишком ободрил московских барышень — многие из них сожалели о прежних поклонниках.

В Москве Грибоедов нашел Каверина, Чаадаева, Шаховского, Вяземского. В духовной пустоте России он стал более ценить их общество. А вот Алябьева не было. Под дурным влиянием Толстого-Американца он совсем распоясался и вместе с Шатиловым убил в драке за карточным столом своего партнера, за что уже год сидел под судом. За политические проекты в России расправа была коротка — полгода от ареста до виселицы, а за убийство наказывали нескоро, да и не так жестоко.

Грибоедов с каким-то мрачным удовлетворением ехал на Кавказ: позади не осталось ничего дорогого, впереди ждали друзья, всегда жившие в Тифлисе или сосланные после разгрома восстаний. Он покинул Москву перед прибытием императора, задолго до коронационных торжеств, но двигался не спеша, стараясь испытанными средствами — дорожной усталостью и дорожными невзгодами — подавить в себе все чувства. Несколько дней, как у него повелось, он провел в деревне у Бегичева; беседа с другом немного утешила его.

28 августа он был уже у Владикавказа, где столкнулся с Денисом Давыдовым, ехавшим из Москвы и нагнавшим его дорогой. Они вместе перевалили через Кавказский хребет.

3 сентября въехали в Тифлис. Все те, кто три года назад тепло провожал Грибоедова, клянясь ему в вечной дружбе, теперь тепло его встретили, сохранив обещанную дружбу. Он сразу же навестил Прасковью Николаевну Ахвердову. Ее дом по-прежнему был полон людьми, детьми и музыкой, по-прежнему шумен, весел и гостеприимен.

Но за его пределами жизнь изменилась. На Кавказе разыгрывалась новая игра, поувлекательнее привычного ермоловского виста, игра под названием «русско-персидская война». Колоду карт поставили персияне: усилиями англичан они помирились с Турцией, усилиями англичан нашли повод для недовольства Россией и 16 июля 1826 года, без объявления войны, перешли через Аракс. Игроков было четверо: Ермолов, Паскевич и Денис Давыдов (присланные «в помощь» наместнику Кавказа) и Мазарович, недавно женившийся на русской и собравшийся в отставку.

Мазарович проиграл до первого расклада карт: оставшись после отъезда Грибоедова единоличным главой персидской миссии, он обязан был вовремя предупредить Ермолова о подготовке Персии к войне — и не сделал этого. По общему мнению, Грибоедов бы на его месте не прозевал сборов иранских войск и стягивания их к границе: взбешенный Ермолов справедливо замечал, что сборы эти по персидским порядкам были продолжительными. Конечно, Мазарович не имел такого опыта разведывательной деятельности, как Грибоедов, но на Кавказе все полагали, что любой честный человек, которому не застилало бы глаза золото Аббаса-мирзы, не мог бы не заметить воинственных намерений иранцев. Оправдываясь, Мазарович по оплошности объявил не ту масть и тем спутал карты своего партнера Ермолова: он уверил главнокомандующего, что персидские войска теперь не те, что прежде, когда полчища их отступали перед горсткой русских, что ныне, вооруженные и обученные англичанами, они не уступают русским солдатам. Бестолковые донесения поверенного, ничего не смыслящего в военном деле, смутили Ермолова, он с излишней осторожностью отнесся к наступающим персиянам и демонстрировал удивительную нерешительность.

Первые взятки в игре Ермолов начисто проиграл: за месяц военных действий он

потерял все Восточное Закавказье, весь центр с городом Елизаветполем, а Баку оказался в осаде. Тут карты пошли в руки Давыдова и Паскевича: с их прибытием ситуация коренным образом изменилась. Отряды Дениса Васильевича отстояли Грузию, Паскевич разбил самого Аббаса-мирзу под Елизаветполем, стряхнувший оцепенение Ермолов с небольшим войском освободил Баку. К приезду Грибоедова все русские владения в Закавказье были очищены от неприятеля, и в сражениях наступил перерыв до весны. В довершение удач дипломатическая миссия князя А. С. Меншикова, посланная в Тегеран в тщетной попытке предотвратить войну и захваченная там в заложники, выбралась из Ирана и относительно цела-невредима вернулась в Россию.

Давыдов и Паскевич, казалось, поровну распределили козыри в отложенной партии. Однако, как полагали знающие люди, у последнего в рукаве был пятый туз: предписание императора сместить Ермолова и занять его место в любой момент, по усмотрению Паскевича. Пока что он им не пользовался и играл честно. Ермолов же понимал шаткость своего положения, но не знал, как его укрепить. Вокруг основных игроков толпились заинтересованные зрители. Они не могли повлиять на расклад карт, но в большинстве ставили на Ермолова. Он десять лет был вершителем судеб Кавказа и Грузии, почти всех офицеров и гражданских чиновников сам принял на службу (если их не сослали цари), и все они боялись, что смена власти ухудшит их положение. Некоторые, как Николай Николаевич Муравьев, пытались усесться на два стула, но выходило это неловко: легче было упасть, чем удержаться.

Грибоедов не мог позволить себе роскошь остаться сторонним наблюдателем в разыгрывающейся партии. Никто и не дал бы ему этой возможности. Ему заранее уготовили роль джокера в карточной колоде, который не принадлежит ни к одной масти и может выступить на любой стороне. Естественно, каждая сторона надеялась, что он присоединится именно к ней. Паскевич, чувствовавший себя очень неуверенно посреди враждебной ему ермоловской администрации и армии, рассчитывал на поддержку родственника, которого недавно спас от суда, а может быть, даже от каторги. Ермолов и особенно ермоловцы считали, что Грибоедов обязан благодарностью генералу, который дал ему время сжечь бумаги и тем избежать кары. (Правда, наместник в тот момент заботился и о собственной безопасности, но об этом все успели позабыть.) Денис Давыдов, вытребованный на Кавказ Ермоловым и почти не имевший надежды остаться здесь при Паскевиче, называл любую помощь последнему предательством.

Грибоедов некоторое время не обращал внимания на распри генералов. Ермолов и Паскевич были равно влиятельными, и он не хотел ссориться ни с тем, ни с другим. Не ради себя. Он считал своим долгом любой ценой помогать сосланным друзьям. На Кавказ попали младшие братья Бестужевы — Петр и Павел; попал его временный товарищ по заключению, бывший поручик лейб-гвардии Финляндского полка Александр Александрович Добринский; попал бывший преображенец Николай Васильевич Шереметев; попал Николай Николаевич Оржицкий, сибарит, с которым Грибоедов вместе путешествовал по Крыму; здесь же был прощенный Владимир Вальховский, соученик Кюхельбекера и Пушкина по лицу; наконец, сюда перевели из крепости Ивана Щербатова, которого Александр не видел лет десять, но встретил с радостью. Грибоедов почти ничем не мог помочь томящимся в казематах Александру Бестужеву, Одоевскому и Кюхельбекеру (только собрал правдами и неправдами три тысячи рублей и переслал их Вильгельму в тюрьму, зная бедность его семьи, которая не могла его содержать), но помочь ссыльным он мог. Общение и переписка с ними были крайне опасны и могли повредить и ему, и им. И все же он изыскивал средства незаметно отправить и незаметно получить письма; снабдить их книгами и журналами. Одно его сочувствие, возможность поговорить о прежних единомышленниках, обменяться впечатлениями о книгах с равным себе много значили для тех, кто внезапно оказался в необразованной солдатской среде. Но он старался быть им еще полезнее: хлопотал перед Ермоловым и Паскевичем о переводе разжалованных в полки, действующие против неприятеля, где легче было выделиться и храбростью заслужить офицерский чин и прощение

вместо орденов. Большого для них сделать было нельзя.

Эти заботы немного отвлекали Грибоедова от собственных тяжелых раздумий. Одно радостное известие пришло к нему и из Москвы: его сестра наконец собралась замуж. После очень долгих колебаний Мария приняла-таки предложение Алексея Михайловича Дурново, своего самого давнего и преданного поклонника! Несмотря на несходство характеров, музыка и время помогли Дурново добиться цели, и на этот раз даже Настасья Федоровна не возражала, хотя жених был беден, нечиновен и незнатен.

Новости из России доходили до Александра редко. Он не мог даже переписываться по почте с друзьями, поскольку боялся скомпрометировать их. Жандру он не писал ни строчки: переписка двух недавних подследственных была совершенно невозможна. Но с Бегичевым он не имел силы порвать связи. Приходилось ждать верной okazji, а они случались так редко! Теперь не отправишь частное письмо с фельдъегерем — это был бы вернейший способ переслать его прямым в III Отделение! Все же Грибоедов умудрялся поддерживать связь со Степаном. Старший друг, как всегда, ободрял его и давал дельные советы: встряхнуться и перестать сидеть взаперти, оплакивая невозвратимые утраты. 9 декабря Александр рапортовал об исполнении его приказаний:

«Милый друг мой! Плохое мое житье здесь. На войну не попал: потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья летят... — Я принял твой совет: перестал умничать; достал себе молоденькую девочку, со всеми выдаюсь, слушаю всякий вздор, и нахожу, что это очень хорошо. Как-нибудь дотяну до смерти, а там увидим, больше ли толку, тифлисского или петербургского...

Буду ли я когда-нибудь независим от людей? Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и, может статься, наперекор судьбы. Поэзия!! Люблю ее без памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить? И, наконец, что слава?..

Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием...

Тебя, мой милый, люблю с каждым годом и месяцем более и более. — Но что проку. Мы не вместе. И жалеть надобно меня. Ты не один».

Выйдя из зимнего затворничества, Грибоедов только один дом посещал с истинным удовольствием — дом Ахвердовой. За прошедшие годы здесь ничего не переменилось, только дети подросли. Старшее поколение представляли Софья Ахвердова, падчерица Прасковьи Николаевны, Нина Чавчавадзе, в свои четырнадцать лет почти уже сформировавшаяся, как это свойственно восточным женщинам, и Маико Орбелиани, ее двоюродная сестра. Младшими были Даша Ахвердова, единственная дочь Прасковьи Николаевны, Катинька Чавчавадзе, жившая в одной комнате с Дашей, и совсем маленькие Давид Чавчавадзе и Сопико Орбелиани. В доме говорили почти исключительно по-французски, потому что здесь жили гувернер Давида месье Равержи с незамужней дочерью Жозефиной, снимал комнату главный компаньон шелковичной фабрики месье Дюелло, и приходила учить детей танцам прелестная мадам Кастелло, жена другого пайщика фабрики. Кроме танцев и французского языка дети знали рисование, поскольку Прасковья Николаевна была отличной художницей, — и больше почти ничего. Во-первых, местные учителя были не из первоклассных (дьячки и капельмейстеры), а главное — все дети, кроме Сони, были поголовно ленивы.

Грибоедову нравилось у Ахвердовой. Порой он приходил сюда мрачным и молчаливым, долго импровизировал печальные мелодии, но понемногу отходил, становился

весел, разговорчив и вечером звал девочек в зал: «Enfants, venez dancer»¹⁶. Он непременно садился так, чтобы видеть их забавные движения, и играл обычно что-нибудь красивое, но сложное. Когда девочки уставали, он продолжал играть для себя. Сопико Орбелиани, очарованная неведомыми звуками, всегда старалась подойти вплотную к клавишам. Александра это раздражало, но он не прерывал концерт, и только после финального аккорда непременно ударял легонько пальцем по ее выставленному животу. Сопико огорчалась и убегала под смех Даши и Кати, но на следующий день все повторялось.

Грибоедов пытался улучшить музыкальную технику девочек, но слушалась его, да и то без восторга, лишь Нина, и он сосредоточил усилия на ней. Зато все старшие охотно ездили с ним верхом, составляя картинную кавалькаду. Младшим оставалось ждать их возвращения, чтобы немного покататься по двору.

Прасковья Николаевна относилась к Александру как к родному сыну или любимому племяннику. В ее доме он чувствовал себя свободнее, чем в матушкином Новинском. Она во всем на него полагалась, не раз оценив полезность его советов. После смерти мужа она делила ответственность за воспитание детей с Александром Чавчавадзе, назначенным опекуном Сони и Даши, но тот отличался подлинно княжеской беспечностью и давно привел оба семейства далеко за грань полного разорения. У Ахвердовой были дом и сад в Тифлисе, на которых висело долгу не то сорок, не то восемьдесят тысяч рублей — она этого не знала, поскольку ни ту ни другую сумму никогда бы не смогла выплатить. В России у нее имелся какой-то дом и пять дворов крестьян, доход с которых не стоил расходов на пересылку в Грузию. У Чавчавадзе было только великолепное Цинандали, имение роскошное, но совершенно не приносящее прибыли.

И тем не менее Софья Ахвердова и Нина Чавчавадзе считались первыми невестами в не богатом барышнями Тифлисе. Обе были красавицами в грузинском роде. Соня унаследовала от матери, урожденной княжны Юстиниани, редкостно величественное достоинство, прямо царское, так что ее прозвали Порфирородною. Нина была нежнее, но еще красивее. Кроме них, в городе жила Александрина Перфильева, польская панночка из шляхетской нищей семьи, очень кокетливая и капризная; жили Маико Орбелиани и дочь князя Бебутова — обе не сравнились бы с тремя главными красавицами. Вокруг Софьи, Нины и отчасти Александрины увивалась вся военная молодежь, но девушки оставались незамужними. Полное отсутствие у них приданого отпугивало столь же бедных молодых людей, которыми был полон Кавказ, а богачи (настоящие, не жулики вроде грека Севиниса) сюда не заглядывали.

Первым женихом почитал себя Николай Николаевич Муравьев, который, достигнув тридцати двух лет и надежд на генеральский чин, вознамерился жениться. От роду не питая пылких страстей, он действовал методически: попросил Мазаровича разузнать относительно приданого барышень, получил самые неутешительные сведения, но решил, что в России ему ничего лучше не найти. Он был хотя хорошего рода, но совершенно без средств: его отец, основатель московской Школы колонновожатых, был еще жив и умирать не собирался, но дать сыну денег не мог, ибо имел четыреста перезаложенных душ нераздельно с дочерью, младшим сыном и его женой. Старший брат Николая имел с женой шестьсот душ и сто тысяч долгу. Притом оба брата оказались замешаны в восстании, и, хотя оправдались, Николай не решался покинуть Кавказ в такое смутное время.

Полагаясь на свои будущие генеральские эполеты, Муравьев не мог и помыслить, что встретит отказ где-нибудь, куда соизволит посвататься, хотя нельзя сказать, что пользовался малейшим успехом у девиц. Поэтому он с презрением смотрел на толпу молодежи, которую почитал неприлично веселой и наглой, ибо все ездили к Ахвердовой без серьезных намерений. Но больше всего он негодовал, видя дружескую короткость, с которой Прасковья Николаевна принимала Грибоедова. Александр Сергеевич, с его нищенским жалованьем и

¹⁶ Дети, идите танцевать (фр.).

незавидным чином, тоже не был женихом и тем сильнее раздражал Муравьева.

После долгого рассудочного колебания Муравьев остановил свой выбор на Соне, решив, что ее ум и воспитание превосходят Нинины. Он начал сватовство тайком, ибо слегка опасался отказа, хотя знал, что Софья, не колеблясь, отдаст руку тому, кто окажется способен помочь ее обожаемой мачехе. Замечая, что Грибоедов много внимания уделяет Нине, Муравьев решил его позлить, заявив ему как-то со смехотворным фатовством, что все еще сомневается, кого осчастливить своим предложением, потому что Нина-де ему нравится больше Сони. Александр в тон ему ответил, что равнодушен к Софье, но жениться не намерен: понимай как хочешь. Муравьев отстал, но с этого момента начал проявлять довольно явную ненависть к Грибоедову, стараясь всячески повредить ему в общественном мнении. Впрочем, его не очень слушали. 22 апреля 1827 года он женился на Соне, но Прасковья Николаевна всегда считала его чужеродным элементом в ее семье и не относилась к нему и с крошечной долей того доверия, которое питала к Грибоедову.

Подготовка к Сониной свадьбе, толкотня модисток и беготня женщин снова оставили Грибоедова в одиночестве. Еще с осени он пытался немного сочинять. Вдохновленный местами, куда занесла его судьба, он задумал написать пьесу на сюжет из армянской истории, взятый из «Анналов» Тацита и отчасти из «Истории Армении» Моисея Хоренского. На эту тему была написана классическая трагедия Кребийона-старшего «Родамист и Зенобия», пользовавшаяся огромной популярностью во Франции и в России. Грибоедов не собирался состязаться с французским автором, но его привлекал теперь мрачный, глубоко трагический взгляд на мир. Веселость его умерла, о комедии он не мог и думать.

Александр сперва набросал все важные ему факты из источников, располагая их по сценам и актам. Он следовал Шекспиру, широко рисуя панораму дворцовой и народной жизни, изображая и сталкивая разнообразные характеры. Но вскоре руки его опустились: воспоминания о недавнем неудачном заговоре, о недавних неудачных, нервных попытках цареубийства, об отсутствии планов и веры в народ — все накладывалось на древнюю историю, придавая ей злободневнейший характер. Не было смысла писать такую пьесу. Если уж в прошлое царствование, кажущееся теперь таким либеральным, с цензурой мягкой, по сравнению с Новым «чугунным» уставом 1826 года, не пропустили в печать почти невинный перевод «Венцеслава», выполненный Жандром, ныне не стоит и пытаться показывать кому-нибудь трагедию о заговоре против жестокого царя Родамиста, попытке его убить, восстании народа... На плане третьего акта Грибоедов остановился, отбросил перо и на словах «Заговорщики ссорятся о будущей власти, в эту минуту устремляется на них Родамист» прекратил писать, подавленный горечью минувшего. Почему друзья не позволили народу участвовать в их деле — будто он и не существовал? Устами своего героя он не оправдывал их, он говорил, что нетерпение губит; что слишком много участников движения, в которых он не уверен, и что надобна решимость, ибо боязливое медленное нападение обречено. Но теперь уже было поздно. Все было в руках его друзей! Они сами упустили победу. Грибоедов это отчетливо осознал. И глубоко сожалел о неудаче и бесплодных жертвах.

Тем временем на Кавказе продолжалась борьба за власть. Весной он невольно оказался в нее втянут. Раздоры и склоки генералов нравились ему не больше, чем в декабре, но он полностью сохранял объективность и ясно видел, что большинство интриг исходит из лагеря Ермолова, а Паскевич, напротив, на редкость благородно не пользуется властью, дарованной ему императором и недавними победами. Не то чтобы Иван Федорович не мечтал о командовании, но откровенно боялся занять самостоятельный и ответственный пост. В нем было что-то от выскочки, хотя род его существовал по крайней мере сто лет: он чувствовал неуверенность в своих силах, в своих правах на управление целым краем. Эта неуверенность проявлялась в излишней резкости с подчиненными, в желании приписать себе одному все заслуги, в натянутости и надменности движений, даже во взгляде, напряженном и застывшем. От неуверенности Паскевич взял себе в адъютанты Ивана Осиповича Карганова,

прозванного на Кавказе Ванькой-Каином за склонность к вредоносному и подлому доносительству. Карганов много способствовал укреплению взаимной ненависти генералов, он даже почти убедил Паскевича в намерении Ермолова отравить его! Грибоедов, долго отсутствовавший на Кавказе, вынужден был сперва общаться с Ванькой-Каином, чтобы убедиться в его низости. Эти встречи очень повредили ему в глазах Дениса Давыдова и многих других. Однако, убедившись, он не стал бессильно злобствовать вдали, как прочие, а посоветовал Паскевичу (чтобы не сказать «потребовал») выгнать Карганова. Грибоедов так себя поставил, что когда он что-нибудь говорит, ему должно верить. Карганов был отставлен, несмотря ни на какие попытки улестить Александра Сергеевича, и потерял влияние на Паскевича, признавшего тем самым свою ошибку.

А вот Ермолов ошибок не признавал. Даже Муравьев, при всей своей мнительности расположенный к Алексею Петровичу, не мог не признать, что тот не умел себя вести в сложных обстоятельствах: имея всех за себя, видя участие, которое в нем принимали, он был малодушен, то жаловался, то сердился, то смеялся, то употреблял выражения, неприличные ни сану его, ни летам, и не хранил того спокойного величия, коим бы мог сразить своих врагов.

Грибоедов, в отличие от Муравьева, давно заметил недостатки Ермолова как правителя и еще год назад, когда его положение казалось наипрочнейшим, упрекал его в деспотизме и предвидел, что когда-нибудь с ним рассорится. Ныне же война показала недостатки Ермолова и как военачальника. Странно, но при великолепной репутации он за всю жизнь не выиграл ни одного крупного или даже среднего сражения. В этом смысле он был в чем-то схож с Кутузовым. Слава обоих как истинно русских командиров посреди остзейской военщины далеко опережала их заслуги. Александр откровенно написал Степану: «Старик наш человек прошедшего века. Несмотря на превосходство, данное ему от природы, подвержен страстям, соперник ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоил».

Грибоедов всегда считал, что Ермолов упрям, как камень, что ему невозможно вложить в голову какую-нибудь идею. И всегда сознавал, что Кавказ нуждается в переменах: необходимо меньше произвола и казней, больше правосудия и заботы о местных жителях. Теперь у него была возможность влиять на человека, вполне следовавшего его советам и готового проводить политику, которую родственник считал полезной и правильной. Однако ни Паскевич, ни Грибоедов не хотели действовать за спиной Ермолова или смещать его недостойным путем.

В результате император рассердился уже на Паскевича за нерешительность и медлительность: с какой стати тот не берет власть в свои руки? или думает, что государь послал его терпеть Ермолова? В январе царь уведомил Паскевича о скором прибытии начальника Главного штаба генерала Дибича, которому были даны широчайшие полномочия. Дибич приехал, провел расследование, не нашел поводов для отстранения Ермолова за какие-нибудь служебные промахи и занял самую неожиданную для всех позицию. Он гораздо больше сошелся с Ермоловым, чем с Паскевичем, и попросил разрешения... самому возглавить край, чтобы Ермолов тут оставался почти на прежней роли, а Паскевич вернулся бы в Петербург, где ему, «с характером благородным, но чрезвычайно чувствительным», самое место. Чувствительный генерал! Император, однако, лично и давно знал Паскевича, равно как и Дибича.

12 марта он потребовал от Дибича вручить власть Паскевичу: «Он сумеет, я отвечаю за него, выполнить мои желания». Ермолов на всякий случай жег бумаги, но нужды в этом не оказалось. Император приказал обойтись без шума и скандала: «Я воспрещаю всякое оскорбление самым положительным образом и делаю вас всех ответственными; пусть все совершится в порядке, с достоинством и согласно точному порядку службы».

28 марта генерал Паскевич занял пост, прежде принадлежавший Ермолову. Дибич уехал разочарованный. Ермолов и Денис Давыдов проиграли. Последний пытался

удержаться при новой власти, просил себе хоть какую-нибудь команду, но Паскевич был непреклонен. Он видел в Давыдове прежде всего родственника и приверженца Ермолова, и тут даже Грибоедов не сумел его убедить в полезности Дениса Васильевича на войне. Паскевич полагал, что на войне-то он и сам справится.

А вот во всем прочем помощь ему была нужна. 4 апреля он официально отдал в распоряжение Грибоедова дипломатические сношения с Ираном и Турцией и уведомил Нессельроде о том, что любые награды Грибоедову Паскевич сочтет личным себе одолжением, так что пусть министр не упустит шанса. Неофициально он свалил на Грибоедова всю работу по гражданскому управлению краем, все переговоры с горцами, англичанами, всю деловую и даже частную переписку (ибо сам был очень неграмотен на всех языках). Грибоедов отказался только писать за него сугубо личные письма к портным и тому подобные.

Прежде чем Александр в полной мере оценил размах предоставленных ему полномочий, он был несказанно обрадован приездом Льва Пушкина. Этот повеса принимал самое серьезное участие в событиях на Сенатской площади, помогая Одоевскому в командовании заградительной цепью, однако, несмотря на заметную внешность, несмотря на родство с опальным поэтом, умудрился выйти сухим из воды и огня. Он даже не привлекался к следствию, и на Кавказ явился добровольно юнкером в поисках приключений и заодно подальше от кредиторов. По безалаберности он забыл привезти Грибоедову рукопись нового сочинения своего брата — «Бориса Годунова», — уже запрещенную цензурой. Точнее, император, назначивший себя личным цензором всех трудов Пушкина, посоветовал ему переделать драму в роман в стиле Вальтера Скотта. Пушкин ответил, что оно, конечно, было бы недурно, но уж пусть остается, как есть. Слава «Годунова» от этого только усилилась, и Грибоедов давно мечтал его прочитать. Рассердившись на невнимание Лёвушки и от души радуясь его приезду, он вспомнил былые шутки и принял его по-неприятельски: усадил между собой и выходом и во все время визита стрелял в дверь из пистолетов, пробив ее насквозь сверху донизу. Однако Льва такие мелочи не могли смутить, и он просидел у друга долго, прочтя ему наизусть — в виде извинения — начало «Бориса» (он знал на память все, написанное братом).

Отпустив его с пальбой в полк, Грибоедов занялся делами. Он сразу понял, что перед ним внезапно развернулся небывалый простор для деятельности истинно государственной. Персидская его торговля, совместная с Александром Всеволожским, пошла прахом с началом войны, терпела убытки и разорилась бы, не будь Всеволожский так богат. Но на смену ей Грибоедов получил в управление весь Кавказ и Закавказье, притом без всякой ответственности, лежащей на Паскевиче. Теперь он мог посылать любые письма с фельдъегерями, под видом официальных, ибо Паскевич подписывал все, что ему подавал родственник, не читая (а иной раз в избытке усердия подписывал даже то, что не следовало: например, записки, обращенные к нему самому, — получались доклады к Паскевичу за подписью Паскевича же!). 16 апреля Грибоедов отправил Булгарину срочное требование: «Пришли мне, пожалуйста, статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции или Германии, или Италии (а именно Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и обустроенного), на каком хочешь языке, и адресуй в канцелярию главнокомандующего на мое имя. Очень меня обяжешь, я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал нашим окружным начальникам, с кадрами, которые им надлежит наполнить. А то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь, и сами они ничего знать не будут. При Алексее Петровиче у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. Авось теперь с Божиею помощью употреблю это в пользу».

В какой-то момент Грибоедов решил, что его неофициально сделали гражданским губернатором Тифлиса! Он предложил Паскевичу создать орган официальной печати в Грузии — газету «Тифлисские ведомости», которая сообщала бы населению более точные

сведения о делах и намерениях властей, чем обычные базарные слухи. Это не могло устроиться быстро, поскольку требовало одобрения Петербурга. Он реформировал, по просьбе Паскевича, Тифлисское благородное училище. Он составил проект отстройки города на случай очередного мощного землетрясения; при этом настаивая на следовании местным архитектурным образцам, с балкончиками и лоджиями, вместо возведения домов унылого петербургского вида. Затем он сочинил таблицы по болгаринским образцам и разослал их начальникам, чтобы выяснить состояние экономики края. Однако смена экономического курса в Закавказье, решительно направлявшегося Грибоедовым на освоение, а не разорение Грузии, была не столь неотложна, как смена политического курса.

19 апреля он написал для Паскевича памятную записку «О способах вступить в сношения с частными персидскими владельцами»; 8 мая затребовал у окончательно уезжавшего Мазаровича копию Гюлистанского договора и все его записи и отчеты за предшествующий период, а заодно и подробнейший атлас края, проанализировал все сделанное Ермоловым и к 12 мая, перед самым началом весенней военной кампании, составил принципы новой иранской политики и отослал их Нессельроде от имени Паскевича.

Ермолов в своей внешней политике исходил из трех основных положений. Во-первых, он считал, что закавказских ханов, не вполне лояльных к России, надо всемерно сердить, выживать и гнать в Иран, а вовсе не пытаться склонить на свою сторону. Он был убежден, что помощь от них невелика, и лучше, если они не смогут вредить России, находясь на ее территории. Во-вторых, Ермолов категорически не хотел признавать Аббаса-мирзу, ставленника англичан, наследником иранского престола, а в пику ему поддерживал его старшего брата, надеясь на его будущую благодарность России за возведение на трон. В-третьих, на присоединенных территориях он почитал необходимым устанавливать российскую администрацию и российские законы, превращая всяких прапорщиков в судей над местным населением.

Грибоедов давно полагал, что все эти позиции недальновидны. Во-первых, Аббас-мирза и его наследники имеют в удел Южный Азербайджан, непосредственно граничащий с Россией, и, кто бы ни был иранским шахом, этот удел у них никто не отнимет. Следовательно, с Аббасом-мирзой полезнее установить добрососедские отношения, дабы он не грозил постоянными набегами в русское Закавказье. К тому же Грибоедов был убежден, что, обещав принцу покровительство, его легко оторвать от англичан, поскольку и он больше заинтересован в союзе с близкой Россией, нежели с менее ему важной Ост-Индией.

Во-вторых, Грибоедов мечтал перейти к «политике влияния», которую всегда успешно проводили англичане в своих колониях. Зачем ссориться с кем бы то ни было, даже с ханами, если без большого труда с ними можно жить в мире? Более того, например, армянские ханы и разные кочевые племена отнюдь не были особыми приверженцами Каджарской династии, их можно было бы привлечь на сторону России в войне с персами. Заодно было бы полезно выявить всех, недовольных положением дел в самом Тавризе, и обеспечить их помощь. Правда, император непреклонно выступал против всяких попыток вести прорусскую пропаганду среди властителей и вождей племен. Он считал, что эта пропаганда будет «нелегитимной», направленной на подрыв отношений между законным персидским монархом и его подданными. А Николай I, как прежде его брат Александр I, старался всегда поступать «легитимно». Он, правда, решился, наконец, поддержать греческое восстание, сочтя, что семь лет освободительной борьбы являются достаточным показателем волеизъявления греческого народа, не желающего подчиняться турецкому игу. Но, сделав над собой такое усилие, не соглашался еще и на отвлечение от Ирана подвластных ему лиц и племен. Генерал Дибич перед своим отъездом с Кавказа от имени императора приказал: «Всякие средства, клонящиеся ко взбунтованию провинций, нами еще не занятых, при всей вероятности успеха должны быть решительно устранены».

Грибоедов считал эту игру в легитимность смехотворной и вредной: почему занятие территорий армией законно, а привлечение их без кровавых боев и жертв с обеих сторон —

незаконно? Он понимал, что Нессельроде никогда не даст согласие на распространение прокламаций среди народов, по землям которых вскоре пойдет война, поэтому собирался действовать без его согласия. Он хотел объяснить жителям Армении и Южного Азербайджана, что русское правительство воюет не с ними, а с шахом и его сыном и что в ходе военной кампании русские войска не тронут жизни, собственности, религии, законов и обычаев этих народов. Убедив Паскевича, что предварительная разъяснительная работа с местным населением и ханами сэкономит много сил и солдат, Грибоедов добился от него согласия действительно выполнить обещанное: то есть ни в коем случае не свергать местные власти, а оставлять их исправлять прежние обязанности под общим контролем русского главы края — так, как это делали англичане в Индии. Паскевич думал, что это будет временная мера, удобная на период войны, но Грибоедов утверждал, что присоединяемые земли только тогда будут приносить истинную пользу, когда станут управляться по своим обычаям, независимо от русского министерства.

Раздумывая, на кого бы опереться в «политике влияния», Грибоедов внезапно вспомнил о давнишнем приятеле, армянине Лазаре Лазареве, когда-то скрашивавшем ему скуку пребывания в Брест-Литовске. С тех пор Лазарев дослужился до полковника и был на отличном счету у начальства. В преддверии завоевания армянских ханств его помощь, даже просто его имя, уважаемое среди армянского народа, могли принести огромную пользу. По совету Грибоедова Паскевич вытребовал Лазарева к себе в качестве чиновника по особым поручениям. Приезд представителя известной армянской семьи служил доказательством искреннего расположения России к местным жителям. Лазарев серьезно содействовал Грибоедову, устанавливая связи с населением, отыскивая надежных проводников и агентов.

Паскевич выдал Грибоедову *carte blanche* : «что он скажет, то и свято». У него были для этого свои причины.

Накануне выступления он получил донесения, что Эриванская и Нахичеванская области обезлюдели, жители или сами ушли, или их силой угнали за Аракс. Генерал больше всего боялся не неприятеля, а голода и жажды в опустевшем крае. Поэтому он предоставил Грибоедову право действовать вопреки приказам императора. Начиная с 12 мая Грибоедов по мере продвижения войск рассылал к ханам и старейшинам кочевых племен прокламации от имени русского командования. Они имели огромный успех. Племена не спрятались в горах, а, напротив, охотно доставляли русской армии припасы. Грибоедов строго следил, чтобы солдаты за все платили и не допускали никаких обид. Даже Паскевич был доволен, что удалось внушить горцам «высокую мысль о нашем правосудии, которое нигде так не ценится, как на Востоке, ибо здесь оно реже, нежели где-нибудь». 8 июня карабахский хан Мехти-Кули со всеми подданными перешел на сторону России, был прекрасно принят и тем внушил многим персиянам доверие к покровительству русских. Шадилинский султан со своими четырьмя племенами последовал его примеру, за ним еще несколько мелких правителей. Армяне встречали русских без всякой ненависти, поскольку искренне не любили Каджарскую династию из Азербайджана. Грибоедов иронически заметил, что война идет самая человеколюбивая. Она бы ему сильнее нравилась, если бы не чудовищные перепады температуры: в горах снег и ледяные ветры, на равнинах жара до 47 градусов, пыльные бури и блохи на ночлегах. Он спал в палатке посреди дворов или совсем в стороне от деревень, чтобы хоть как-то оградить себя от назойливых насекомых. Паскевич не выдержал и заболел горячкой. Грибоедов по обязанности родственника и Муравьев по обязанности подчиненного несколько ночей провели у постели главнокомандующего, поскольку врач не понимал французского языка генерала, а тот в бреду или бессильной ярости забыл русский.

Без серьезных стычек войско 12 июня дошло до Эривани. Паскевич не стал брать город, а сразу направился на Нахичевань и Аббас-абад, лежавшие почти на берегу Аракса. Эту идею подал Грибоедов, поскольку имел основания полагать, что Аббас-абад сдастся без боя — он провел для этого подготовительную работу. Нахичевань заняли без усилий, и Грибоедов отыскал себе лучшее помещение в городе: хотя с выбитыми окнами, зато с видом на крепость Аббас-абад.

27 июня он сидел у себя, сочиняя от имени Паскевича огромный пакет к Нессельроде об успехе Эриванского похода, но временами брал подозрную трубу и наблюдал, как Муравьев, посланный с казачьим отрядом в рекогносцировку, попал в окружение и затеял перестрелку. Грибоедов попросил послать ему подкрепление, но Паскевич отказался: «Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен и пускай погибает!» Грибоедов мысленно возопил: «Господи Боже, ну и генералы тут у нас! Можно подумать, что они нарочно созданы для того, чтобы все больше и больше укреплять во мне отвращение, которое я питаю к чинам и высоким званиям». Паскевич все же поднял кавалерию, но, упустив время, не сумел захватить персиян, преследовавших Муравьева. Естественно, он обвинил во всем подчиненного, тем более что тот не привез сведений о крепости. Муравьев ответил вдвое, и они великолепно разругались. Грибоедову пришлось вечером их мирить, ибо он обещал Ахвердовой заботиться о ее зяте, потом он не спал до рассвета, ожидая, пока перепишут набело его тексты и Паскевич их правильно подпишет. Он страшно устал, а утром уже началась пушечная пальба.

Грибоедов смотрел на нее как на забаву: военного смысла в ней не было, но зрелище ему понравилось. Он сидел верхом рядом с князем Суворовым, внуком великого полководца. Вдруг ядро контузило лошадь князя, а конь Грибоедова шарахнулся в сторону. Александр рассердился на себя: вот первое сражение, где он участвует, хоть наблюдателем, а у него то ли конь дрожит, то ли он сам. Неужели он трус в душе? — мысль нестерпимая! Он решил проверить себя: подъехал к самой линии огня и переждал 124 залпа подряд. Паскевич, увидев его издали, в ярости несколько раз присылал приказ отъехать подальше. Но Грибоедов развернулся не раньше, чем полностью изжил робость, если она ему не померещилась прежде.

Впрочем, и битвы, и ссоры военачальников были нелепы. Победу Грибоедов уже обеспечил, и все это знали: он вступил в сношения с Эксан-ханом, командовавшим в Аббас-абаде нахичеванской частью гарнизона и питавшим давнюю ненависть к Каджарам. Отцу Эксан-хана первый Каджар, безумно жестокий Ага-Мохаммед, выколол глаза, и Эксан-хан с детства мечтал отомстить. Он поднял восстание в крепости, напав на другую часть гарнизона, и 7 июля впустил в город русских. Прямой путь на Тавриз был открыт.

Одновременно Паскевич разбил Аббаса-мирзу; победа была важной, но не впечатляющей, поскольку принц фактически уклонился от боя. Генерал очень хотел донести об успехе с возможно большим пафосом, но это долго не удавалось. Сперва он поручил составить реляцию Вальховскому — разорвал, потом Грибоедову — даже им остался недоволен, ибо тот не позволил себе откровенного вранья. Паскевич попросил сочинить ее Муравьева, но в результате едва не велел его арестовать: тот, мол, указал трех пленных ханов, а их захватили семь. В палатке с пленными действительно сидели семь человек, но в числе их были прислужники. Никто не сумел объяснить этого Паскевичу — он не верил, кричал, что Ермолову бы приписали тридцать ханов, а его подвиги затмевают, его оскорбляют, ему вредят!

Грибоедов едва его успокоил, но генерал злился не попусту. Его заслуги в кампании были малы, и случая отличиться могло уже не представиться: начинались переговоры о мире. Паскевич понимал их важность. Русско-персидская война была для него первой, которую он вел в звании главнокомандующего, и он очень хотел превзойти Ермолова и всех своих предшественников на Кавказе не только на полях сражений, но и за столом переговоров.

Любая война завершается миром, но мир не является простым завершением войны. Генералы выигрывают или проигрывают битвы — результаты их записывают дипломаты. Порой полбаночки чернил сильнее влияют на исход войны, чем реки крови. Ошибки генералов можно исправить — ошибки дипломатов исправлять уже поздно. Ум и таланты дипломатов смягчают в мирных договорах последствия крупнейших поражений, их глупость и бездарность сводят на нет последствия крупнейших побед. Когда Петр I попал со всем

войском в плен к туркам, дипломаты вызволили царя уступкой не половины страны, а всего лишь пары крепостей. Когда русские войска захватили всю Пруссию с Берлином, дипломаты по приказу Петра III отдали все территории без малейшей компенсации. И сколько подобных примеров можно найти в истории!

Паскевич не имел никакого опыта составления международных документов, и никто в его окружении — даже Грибоедов — не владел необходимым юридическим языком. В мае ему в помощь прислали из Петербурга Александра Михайловича Обрезкова, потомственного дипломата, успевшего послужить в Штутгарте, Вене и Константинополе и к тридцати семи годам заслужить высокий чин действительного статского советника. Предполагалось, что Обрезков возьмет в свои руки переговоры с Персией, однако он прибыл в Тифлис в таком состоянии, что ему трудно было взять в руки даже самого себя. Назначение в самый удаленный край Российской империи, в действующую армию он отнюдь не воспринял как удачу, хотя миссия была почетной и ответственной. Многие, в том числе Паскевич, бывший благодаря жене в курсе петербургских сплетен, догадывались, почему именно Обрезкову доверили дело, к которому он был мало подготовлен. Все знали, что невеста Обрезкова, прелестная фрейлина Наталья Соллогуб, неожиданно удостоилась «особой милости» императора. Жениха отправили проветриться на Кавказ. Он не стал разыгрывать Фигаро и покорно уехал, но был все же достаточно хорошего рода и воспитания, чтобы чувствовать позор и горечь своего положения. Он не мог расторгнуть помолвку: император приходил в ярость, если кто-то отказывался жениться на его фрейлинах, а Обрезков не был героем и не желал жертвовать карьерой, а то и свободой. Он мечтал об одном — расправиться со всеми делами и немедленно вернуться в столицу. Ему было совершенно безразлично, на каких условиях заключать мир, лишь бы заключить его возможно быстрее. Однако Паскевич слишком заботился о своей славе, чтобы предоставить торопливому дипломату переговоры, требовавшие исключительного терпения и такта. Не спросив ни императора, ни Нессельроде, главнокомандующий самовольно отстранил Обрезкова и направил к Аббасу-мирзе Грибоедова, в чьих разнообразных способностях успел убедиться.

20 июля Грибоедов выехал из крепости Аббас-абад вместе с постоянным своим спутником, переводчиком и другом, азербайджанцем Аббасом-Кули Бакихановым. Дорогой они развлекали друг друга стихами персидских поэтов, которых оба прекрасно знали и любили, и к вечеру прибыли в опустевшую деревню Каразиадин, где, к своему удивлению, не нашли ни принца, ни его войска. В скудном военном лагере Грибоедова встретили с величайшей пышностью и вежливостью, закармливая словами и сластями до излишества. Аббас-мирза с армией явился на следующее утро, и вся долина покрылась палатками его воинов.

В этот же день, в час полудни, в самое пекло Грибоедова пригласили к принцу, почти без всяких церемоний. Разговор велся наедине, если не считать переводчика, однако Грибоедов угадал за занавесом спрятавшегося человека и вызнал через слуг, что там стоит Аллаяр-хан, главный советник Аббаса-мирзы, приставленный к нему шахом вместо страшного мирзы Бизюрка, умершего в 1822 году. Это подслушивание показалось Грибоедову смешным, а Аббас-мирза то и дело оборачивался к занавеске, то повышая голос, то понижая — в зависимости от того, говорил ли он вещи, приятные советнику или неприятные. Старые знакомые встретились чуть ли не друзьями: пошли расспросы о здоровье, воспоминания о прежних временах, принц жаловался на Мазаровича, бывшего, по его мнению, одним из зачинщиков войны. Грибоедов ответил, что неудовольствия были обоюдными, но военные действия начал все-таки Аббас-мирза, а не Россия.

— Ваше высочество, — сказал он, — сами поставили себя судьей в собственном деле и предпочли решить его оружием. Не отнимая у вас ни благоразумия, ни храбрости, ни силы, замечу одно только: кто первый начинает войну, никогда не может сказать, чем она кончится.

— Правда, — вздохнул Аббас-мирза и пустился в восхваление силы и твердости духа российского императора, о которых он наслышался от англичан и разных агентов. Грибоедов

внимал этим славословиям не без удивления; большей частью истории о величии царя были вымышлены, но он не преминул ими воспользоваться, чтобы упрекнуть принца в захвате миссии князя Меншикова и прочих недостойных поступках:

— Как, с таким понятием о могуществе нашего государя, вы решились оскорбить его в лице посланника его величества, которого задержали против самых священных прав, признанных всеми государствами? Теперь, кроме убытков, нами понесенных при вашем нападении на наши области, кроме нарушений границ, оскорблена личность самого императора — а у нас честь государя есть честь народная!

Аббас-мирза при этих словах как-то переменялся в лице, и самому Грибоедову понравилось, как они прозвучали. Принц начал так усердно каяться и бичевать себя, что добавить уже было нечего. После всех бесконечных извинений Аббас-мирза даже согласился выслушать условия, на которых предлагал ему мир Паскевич. Бакиханов зачитал их: Россия требовала себе Эриванскую и Нахичеванскую области, уже почти захваченные ею; выплаты контрибуции в 30 миллионов рублей серебром; преимуществ в торговле с Ираном; выдачи пленных и перебежчиков обеими сторонами.

Аббас-мирза несколько раз порывался прервать переводчика, но Грибоедов каждый раз просил его дослушать до конца, иначе он уедет, не выполнив поручения. Едва Бакиханов умолк, принц вскочил с места:

— Так вот ваши условия. Вы их предписываете шаху иранскому как своему подданному! Уступка двух областей, дань деньгами! Но когда вы слышали, чтобы шах персидский сдавался подданным другого государя? Он сам раздавал короны. Персия еще не погибла.

— И Персия имела свои дни счастья и славы, — спокойно возразил Грибоедов, — но я осмелюсь напомнить вашему высочеству о Гуссейн-шахе, который лишился престола, побежденный афганцами. Предоставляю собственному просвещенному уму вашему судить, насколько русские сильнее афганцев.

— Кто же хвалит за это шаха Гуссейна? Он поступил подло — разве и нам следовать его примеру?

— Я вам назову великого человека и государя, — продолжал убеждать собеседника Грибоедов, — Наполеона, который внес войну в русские пределы и заплатил за это утратою престола.

— И был истинный герой: он защищался до самой крайности. Но вы, как всемирные завоеватели, все хотите захватить — требуете областей, денег и не принимаете никаких отговорок.

— При окончании каждой войны, несправедливо начатой с нами, мы отдаем наши пределы и вместе с тем неприятеля, который бы отважился переступить их. Вот отчего в настоящем случае требуется уступка областей Эриванской и Нахичеванской. Деньги — также род оружия, без которого нельзя вести войну. Это не торг, ваше высочество, даже не вознаграждение за претерпленные убытки: требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время.

Эти слова крайне поразили Аббаса-мирзу, а Грибоедов про себя подумал, что избавил будущих дипломатов от труда исчислять вместе с персами итоги военных издержек — он ясно объяснил, что сумма контрибуции не связана с расходами и потерями России. Однако же дело пока не сдвинулось. Грибоедов никогда раньше не видел принца в такой готовности к любым соглашениям, в таком горячем раскаянии; никогда и в самое мирное время его самого не принимали так радушно — и все же он сомневался, что за словами Аббаса-мирзы последуют какие-то решения.

22 июля Грибоедов составил проект договора о перемирии, но обсудить его не успел, потому что слег в жестокой горячке. Он сам удивился своей болезни — он считал себя приспособившимся к здешнему климату, ни разу не поддавшись ему за трехлетнее пребывание в миссии Мазаровича. Но тогда он сознательно поддерживал в себе бодрость духа, надеялся на будущее — с тех пор треволнения следствия, потрясения и потери, ссылки

и казни друзей подорвали его жизненные силы. Он не вынес колебаний температуры, когда в полдень термометр показывал 40°, а ночью — едва 8°. Три дня он провел в постели, но придворные и советники Аббаса-мирзы не отставали, толпились вокруг него, словно надеясь воспользоваться нездоровьем дипломата и вырвать какие-нибудь уступки. Однако они не только не преуспели, но еще и поддались на убеждения Грибоедова, высказанные еле слышным голосом, и отказались от некоторых своих предложений.

25 июля, оправившись от приступа, Грибоедов снова встретился с Аббасом-мирзой, на сей раз в наиторжественнейшей обстановке. Он полагал, что в присутствии всего двора условия мира будут либо публично отвергнуты, либо хотя бы обсуждены. Но получилась обычная персидская говорильня без толку. Грибоедов убеждал принца принести сейчас требуемые жертвы, поскольку в противном случае Россия продолжит войну, и потери Персии станут ощутимо больше. Но его слова не действовали. Зато он услышал от шах-заде приятную ему высокую оценку новой политики на Кавказе: «Самым опасным оружием генерала Паскевича я почитаю то человеколюбие и справедливость, которые он оказывает мусульманам, своим и нашим. Мы все знаем, как он вел себя против кочевых племен от Эривани до Нахичевани, — солдаты никого не обижали, и он всех принимал дружелюбно. Генерал Ермолов, как новый Чингисхан, отомстил бы мне опустошением несчастных областей, велел бы умертвлять всякого, кто ни попадется, — и тогда у меня две трети Азербайджана стали бы в ружья, не требуя от казны ни жалованья, ни прокормления».

Грибоедов тактично ответил, что Ермолов тоже заботился о пользе государства, но что можно одной и той же цели достигать разными путями... После приема он приватно побеседовал с советниками принца, узнал, как ждет Персия мира, как не хочет воевать, как жестоко ненавидит шаха, дошедшего до крайней старческой скупости и выжимавшего последние деньги у населения. Но при всем при том он видел, что невозможно надеяться, что мир будет заключен на предлагаемых условиях. При Аббасе-мирзе сильнее всего звучали голоса Аллаяр-хана, возбудившего войну и боявшегося расплаты за неудачи, и эриванского сардаря, надеявшегося вернуть свою область. Грибоедов решил четко объяснить Паскевичу, что только падение Эривани и Тавриза способно вынудить персиян к миру.

Он не забыл поэтому, в отличие от Мазаровича, провести обычную военную разведку. По числу палаток и пушек он определил размер и состав войска, поговорил с персидскими караульными и случайными солдатами — и пришел к убеждению, что такое большое войско не станут держать в бездействии, чтобы оно не разбежалось и не занялось грабежами. 26 июля он прекратил переговоры за полной их бесплодностью.

Грибоедов нашел Паскевича в лагере у селения Карабаба, расположенном на полпути между крепостью Аббас-абад и Эриванью. Он представил главнокомандующему великолепное донесение о ходе встреч с Аббасом-мирзой, которое сознательно написал по-русски со всем драматургическим блеском. Иван Федорович не стал и пытаться разобрать малознакомые буквы, а сразу, не читая, распорядился направить отчет императору. Грибоедов на словах, понятным французским языком, повторил родственнику все, что тому важно было знать, и прежде всего твердо посоветовал готовиться к походу на Эривань. Паскевич согласился и принялся разрабатывать план осады. В этом ему не требовалась помощь Грибоедова, но генерал не отпускал его от себя, несмотря на повторяющиеся приступы лихорадки: лагерь находился в самом пекле, термометр даже ночью не опускался ниже 33°, а днем зашкаливал за 50°; жара порой доводила до обмороков, тем более что освежающей реки рядом не было, и вообще с водой случались перебои. Грибоедов пытался вырваться хоть в Тифлис, хоть в окрестные горы, повыше, к прохладе. Но Паскевич остро в нем нуждался: ближайшей неотложной задачей командования была разработка «Положения об управлении Азербайджаном», наполовину занятом русскими войсками, — оставшуюся часть собирались занять в осеннюю кампанию, и необходимо было составить для будущей администрации такие правила действия, которые позволили бы избежать волнений и сопротивления в тылу русских войск.

Грибоедов впервые получил возможность создать образ правления на территории

целой провинции или даже страны. Все то, о чем он только мечтал при Ермолове, он мог теперь реализовать. Он всегда сознавал, что большинство мятежей на завоеванных землях вспыхивает не столько от угнетения и поборов (в этом смысле русские, без сомнения, будут мягче Каджаров), сколько от введения иного порядка, вообще от перемен, которым никакой народ добровольно не подчиняется. Он и раньше пытался объяснить Ермолову, что «одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей». Ермолов его не понимал, а вот Аббас-мирза сумел постичь правильность такой политики. Однако правосудие может иметь разный вид, и Грибоедов для азербайджанских и армянских земель выдвинул главный принцип устройства власти: «Нельзя дать себя уразуметь здешнему народу иначе, как посредством тех родовых начальников и духовных особ, которые давно уже пользуются уважением и доверием, присвоенным их званиям».

Он нисколько не сомневался, что местные чиновники без возражений станут выполнять прежние свои должности, все равно — при русском или иранском верховном надзоре. Через своих агентов он имел самые точные сведения о настроениях населения в уделе Аббаса-мирзы. Поэтому он предложил создать Главное управление Азербайджанской областью и городом Тавризом, куда бы вошли самые влиятельные лица края и все старшины Тавриза — при этом они не подчинялись бы русскому военному коменданту, а действовали бы вполне самостоятельно.

Затем он предписал снизить все налоги на четверть, принимая во внимание разорение страны. Главным вопросом оставалось судопроизводство. Он хотел, чтобы оно было равным и единым для русских и персиян. Но примирить законы шариата и русские законы оказалось никак невозможно. Он вынужден был воспользоваться английским методом: мусульмане между собой судятся своим судом, русские — своим, а столкновения мусульманина и русского разбираются по российским законам, но права у каждого из них равные, и наказанию они подвергаются на равных основаниях. Соответственно, приговоры не могут быть более строгими, чем в самой России — ни палочных ударов, ни отрубания голов, ни пыток.

Паскевич принял «Правила» Грибоедова без обсуждения и передал генералу Остен-Сакену, которого назначил главой Азербайджанского правления. Остен-Сакен разбирался в политических вопросах не лучше главнокомандующего, но при нем служил сосланный на Кавказ по делу декабристов Иван Григорьевич Бурцов, ровесник Грибоедова, участник Отечественной войны, заслуживший Владимира с бантом. Его карьера прервалась после восстания, хотя он отошел от движения тогда же, когда и Бегичев, — после распада Союза благоденствия. Однако перевод на Кавказ прежним чином полковника позволил ему широко развернуться и фактически руководить всеми военными операциями, проводимыми от имени Остен-Сакена. Бурцов сразу понял замысел Грибоедова и, по мере того как развивались успехи русского оружия, последовательно проводил его в жизнь. В рапорте Остен-Сакена Паскевичу, который написал Бурцов, а прочитал Грибоедов, было искренне признано, что «от Правил зависел весь последующий успех». В Кавказской армии многие именно «Правилам» приписывали отсутствие в занятых областях не только волнений, но даже беспорядков.

Составив «Правила», Грибоедов получил, наконец, возможность хоть немного отдохнуть и 15 августа отправился на железные воды, открытые в ущелье неподалеку от лагеря. Около вод располагалась часть русских войск под командованием генерала Симонича. Александр посетил его, но не ради генерала — он узнал, что к нему от Муравьева перешло фортепьяно-путешественник, прошедшее с Грибоедовым по горам Кавказа и Персии! Он встретился с дорогим другом, как с родным, но злодей Симонич не предложил гостю поиграть, а Александр чувствовал себя слишком усталым, чтобы обойтись без разрешения.

Прохлада и минеральные воды оживили его, и через месяц он не без интереса принял участие в походе Паскевича на Эривань. 19 сентября, после четырехдневного обстрела, войска взяли крепость Сардар-абад, а 1 октября в грохоте жесточайшей шестидневной

канонады была разрушена и пала Эривань. Паскевич и весь его штаб пребывали в чад победы. В завоеванном городе силами офицерской самодеятельности был дан спектакль — «Горе от ума»! Офицеры обошлись без цензурного разрешения, и Грибоедов впервые увидел свое детище на импровизированной сцене во дворце сардаря. Он был глубоко тронут и, словно в благодарность, сочинил такую реляцию о взятии Эривани, что Паскевич на сей раз пришел в восторг¹⁷.

3 октября передовой отряд под командованием генерала князя Эристова на волне общего одушевления овладел крепостью Меренд, а 14 октября без сопротивления и слишком быстро занял Тавриз, к огорчению Паскевича, шедшего по причине болезни с главными силами и надеявшегося первым вступить победителем в столицу Аббаса-мирзы. Грибоедов ехал с передовым отрядом, под предлогом помощи в сношениях с местными жителями. На самом деле он хотел лично проследить, чтобы заслуги его добровольных агентов в Тавризе были должным образом вознаграждены. Они успешно подготовили население к признанию власти России. Солдат встречали невероятно торжественно, чуть ли не как освободителей: вдоль всего пути их движения резали баранов, как жертвоприношение победителям. Аббас-мирза ушел куда-то вглубь страны. Вечером, упоенный шумом и восхвалениями, восторженный, почитающий себя чуть ли не выше Цезаря, Эристов спросил Грибоедова:

— А что, брат, Паскевич будет доволен?

— Не знаю, — ответил Грибоедов, думая о завистливости родственника, — это еще посмотрим.

— Ничего, брат! Тавриз взял, шах-заде прогнал! А что, брат, — не унимался Эристов, — как ты думаешь, что скажет Европа?

Грибоедов засмеялся:

— Э, ваше сиятельство! Европа не Катерина Акакиевна¹⁸, она мало заботится о Тавризе и кто его взял.

Паскевич, однако, не стал выражать неудовольствие. Пока Грибоедов улаживал тавризские дела, генерал послал Обрезкова договариваться с каймакамом Аббаса-мирзы о месте проведения новых переговоров о мире. Дипломат добился согласия персиян на встречу в Дей-Каргане, где расположилась ставка Паскевича. Комендантом главной квартиры был назначен Лазарев, наиболее полезный в деле обеспечения высоких гостей всем необходимым и желательным.

Пока Обрезков обсуждал место будущей конференции, Грибоедов имел удовольствие принять в Тавризе нового посланника Ост-Индской компании в Персии сэра Джона Макдональда Киннейра. Прежде они не встречались и при первом знакомстве понравились друг другу. Макдональд оказался человеком просвещенным, начитанным и, для англичанина, общительным. В свою очередь он не скрыл восхищения умом и живостью Грибоедова. Однако при всей искренней любезности речей оба твердо отстаивали почти противоположные позиции стран, которые они представляли. Макдональд, как выразитель интересов Компании, проводил ее традиционную политику и стремился всемерно затягивать войну между Россией и Ираном, которая удерживала бы Россию от пугающего вторжения в Индию. В то же время он ни в коем случае не имел права ставить Иран на грань поражения: падение династии Каджаров или даже одного Аббаса-мирзы, преданного англичанам, свело бы на нет все прежние достижения Компании. К своему сожалению, Макдональд не располагал средствами, которые были у его предшественников: Компания почти обанкротилась и ее система подкупов рухнула. Посланник должен был проявить

¹⁷ Реляция Грибоедова произвела на императора сильнейшее впечатление, и через несколько месяцев он присвоил Паскевичу титул "графа Эриванского". Спустя годы, объезжая свои новые владения, Николай I лично повидел Эривань, обнесенную обычными стенами из необожженной глины, и изволил милостиво высказаться: "Да это же просто глиняный горшок, не стоило давать за него графа!"

¹⁸ Е. А. Снаксарева, пользовавшаяся благосклонностью князя.

дипломатические способности, чтобы, после падения Тавриза, устроить мирные переговоры России с Персией, но заставить персов оттягивать решение любых вопросов.

Из слов Макдональда Грибоедов сделал вывод — впрочем, и без того очевидный, — что англичане гораздо больше персиян соболезнают участи Аббаса-мирзы: с его поражением они лишались главного союзника в Персии. Английский дипломат пытался убедить Грибоедова умерить предъявляемые иранцам требования и предлагал свое посредничество на переговорах. Однако Грибоедов вежливо отклонил это предложение: мол, русское командование высоко оценивает усилия Макдональда привести русско-иранский конфликт к наилучшему исходу, но император приказал не принимать какого-либо иностранного вмешательства в отношения России со странами Востока. Макдональд не менее вежливо ответил, что точка зрения императора, без сомнения, основательна и он ни в коем случае не собирается навязываться. В результате они расстались друзьями, а открытое участие представителей Компании в начинавшихся переговорах было предотвращено.

6 ноября в ставку Паскевича прибыл Аббас-мирза со свитой. Его встретили сам главнокомандующий со свитой, Обрезков и давние знакомые — Грибоедов и Амбургер, которые наконец-то снова действовали сообща. Вдвоем они совершенно оттеснили Обрезкова, который плохо понимал происходящее, не знал персидского языка и в бессильной ярости проклинал тягучие персидские обычаи. Паскевич, в свою очередь, злился на нетерпеливость Обрезкова, вредящую без того нелегкому делу. Паскевич участвовал только в общих парадных заседаниях, назначаемых для обсуждения кардинальных вопросов, и при необходимости шумел и грозно стучал по столу по подсказке Грибоедова. Собственно пункты договора обсуждались на конфиденциальных заседаниях, где генерал не появлялся, Обрезков обычно тоже (или, фигурально говоря, грыз ногти, стараясь не сорваться на людях). Амбургер, по старой памяти, благоговел перед любым мнением Грибоедова. Так что ответственность за ход переговоров легла на плечи Александра Сергеевича.

Он готов был справиться со своей задачей, но, к его сожалению, не одни только персы и англичане препятствовали успеху дела. У иранцев имелось одно-единственное оружие — медлительность, медлительность и еще раз медлительность. Они надеялись, что, если отложить решение какой-нибудь проблемы, авось, времена переменятся и ее совсем не потребуются решать. У них были основания так думать: 8 октября 1827 года в знаменитом Наваринском сражении русско-английский объединенный флот разгромил турецкую эскадру и создал благоприятнейшую возможность для провозглашения независимости Греции. Президентом Греческой республики был избран бывший русский министр иностранных дел граф Каподистрия. Все это до крайности обострило отношения России и Турции. Две державы стояли на грани войны, и турки уже посылали в Иран эмиссаров с обещаниями через недолгий срок помочь шаху против русских. В этих условиях персы не желали заключать невыгодный мир и платить контрибуцию. Воевать они не могли, но ждать могли бесконечно долго.

Однако Россия не хотела ждать. По той же самой причине, в преддверии новой войны с Турцией, стране нужны были не пустые договоры, а реальные деньги, и их следовало выбить из персов в максимально сжатые сроки. Грибоедов прекрасно это понимал, он вполне мог этого добиться, опираясь на завоевания Паскевича и на свое знание местной ситуации. Но Николай I и Обрезков изо всех сил, хотя непредумышленно, вредили ему.

В октябре — ноябре, благодаря грибоедовской пропаганде и исключительно корректному поведению русских солдат, весь Азербайджан полностью отложился от Ирана и больше всего боялся снова очутиться под властью шаха: жители с ужасом ждали в этом случае жесточайших казней и налоговых кар. Грибоедов полагал, что надо идти навстречу их чаяниям и провести границы России по хребту Кафлан-ку, отделявшему Азербайджан от остальных частей Ирана. Но император категорически запретил Паскевичу даже обсуждать подобный вариант, который может «охладить дружественные наши связи с первенствующими державами в Европе». Грибоедов не мог понять, чем так уж важна дружба Англии, чем так уж страшна ее вражда, чтобы внешняя политика России постоянно

согласовывалась с желаниями британского кабинета. Но проводить собственную линию вопреки высочайшему приказу он не имел права. 10 ноября он получил согласие Аббаса-мирзы на уступку Эриванского и Нахичеванского ханств, причем позаботился оставить за Россией правый берег Аракса, чего Петербург не предусматривал, но что было крайне важно в стратегическом отношении. Англичане с ужасом смотрели на карту: Россия перешла Аракс! теперь ни одна водная преграда, ни одна серьезная горная цепь не отделяли ее от берегов Инда!

Решив территориальный вопрос в три дня, Грибоедов не возрадовался: впереди был камень преткновения в виде контрибуции. Главная трудность состояла в том, что казна Аббаса-мирзы была совершенно опустошена войной, а шах ни за какие блага мира не хотел расставаться со своим золотом, предпочитая отдать сына и наследника на растерзание врагам. Фетх-али-шах впал в старческое слабоумие, золото стало смыслом его жизни, руки его дрожали при виде золотых вещичек. Англичане щедро дарили ему золотые подарки и легко добивались от старика согласия на все их требования. Тем охотнее шах последовал их совету не отдавать любимые сокровища. Впрочем, будь он и в здравом уме, он предпочел бы ту же тактику борьбы за отсрочки и льготы в надежде на близкую Русско-турецкую войну.

Грибоедов, хоть и сказал летом Аббасу-мирзе, что вопрос о контрибуции не повод для торга, действовал так, как положено действовать на восточном базаре. Он хорошо знал обычаи персидских купцов и покупателей и понимал, что шах и его сын, может быть, ни разу не бывавшие на базарах, мыслят сходно. Когда они слышат запрашиваемую цену, они сразу стремятся сбить ее втрое или больше, им даже в голову не приходит, что эта цена окончательна — в их краях это не принято, согласие сразу заплатить запросную цену выдает на их базарах дураков-иностранцев. Обычно же начинается долгий торг, ко взаимному удовольствию обеих сторон, и наконец они сходятся на золотой середине. Европейцы не находят в этом ритуале особого развлечения, сердясь в своей извечной торопливости на пустую трату времени. Но Грибоедов не мог переменить в одночасье психологию персов — ему оставалось ее использовать в интересах России. И он повел переговоры по базарной схеме. Петербург хотел получить от Ирана 10 миллионов рублей серебром, то есть пять куруров по-персидски. Поэтому 11 ноября Александр Сергеевич предъявил Аббасу-мирзе требование выплатить пятнадцать куруров, причем первый взнос в одну треть необходимо прислать Паскевичу до истечения срока перемирия! Аббас-мирза в ответ попросил от имени шаха сокращения суммы.

И потек торг. Шаг за шагом Грибоедов снижал цифру, неуклонно настаивая только на немедленной выплате первых пяти куруров. Общую сумму он сперва спустил до двенадцати куруров, потом до десяти (но все еще вдвое больше, чем хотел Петербург). На этом он остановился, с согласия Паскевича он даже стал распространять слухи, что император недоволен чрезмерной снисходительностью генерала к недавним врагам. Под таким нажимом Аббас-мирза согласился на отправление в Тегеран русского офицера, который должен был ускорить выдачу и доставку первого взноса. Это важнейшее и неблагодарное дело Грибоедов поручил Вальховскому, который, хоть и был соучеником и сверстником Кюхельбекера и Пушкина, с детства отличался серьезностью, целеустремленностью и мог выполнить ответственную миссию.

Вальховский уехал, переговоры тянулись. Ни по одному из оставшихся пунктов договора персы не противоречили русским, во всем соглашались на словах, но ничего не принимали окончательно и бесповоротно. Из Петербурга пришло неожиданное требование включить в трактат статью о передаче России древней персидской Ардебильской библиотеки со старинными рукописями. Идея принадлежала профессору-востоковеду и одновременно заливчатскому журналисту О. И. Сенковскому. Аббас-мирза с недоумением спрашивал Грибоедова: «Зачем, ради Аллаха, вашему государю понадобились такие книги, которых никто уже не читает? Я справлялся и уверяю вас, что это все — дрянные книги, прескучные. Если вашему царю нужны книги, так, пожалуй, я велю для него сочинить сколько угодно новых историй, блестящим новейшим слогом! Удивитесь сами, как мы нынче, по милости

Аллаха, умеем сочинять!» Грибоедов внутренне рассмеялся и, проклиная Петербург за вздорность, вычеркнул статью из трактата. Но библиотеку все-таки получил без статьи. Такие смешные и нелепые недоразумения еще сильнее затягивали дела. Грибоедов так и ждал, когда же его попросят изложить историю мира от потопа до наших дней?

7 декабря у Обрезкова не выдержали нервы. Он не мог смириться ни с задержками (вот уже восемь месяцев как он уехал из Петербурга, еще через месяц он может уже получить известие о рождении у его невесты ребенка, которого ему же и придется воспитывать!), не мог смириться и с тем, что младший чином фактически отстранил его от дел. Он сидел на заседаниях с отсутствующим и отрешенным видом, с пустым взглядом и даже не делал вид, что слушает осточертевшее повторение двадцать раз пройденного. Обрезков попробовал надавить на Паскевича, которому официально считался равным, и представил ему в письменной форме свои предложения насчет мирного договора. Он настоятельно советовал подписать трактат, не дожидаясь денег, а вместо них потребовать в виде залога какую-нибудь территорию.

Паскевич, по своему обыкновению, передал записку Грибоедову для изучения, чем до крайности оскорбил Обрезкова — где видано, чтобы соображения старшего чиновника ревизовались младшим? Однако ни генерал, ни Грибоедов не собирались пестовать его тщеславие. Паскевич к тому времени уже не переносил императорского ставленника, почитая его заносчивым и самовлюбленным болваном. Грибоедов составил специальный меморандум, где резко, по пунктам раскритиковал идеи Обрезкова. Паскевич меморандум подписал и приложил к делу. Главное возражение Грибоедов сформулировал в риторическом вопросе: «Когда деньги будут в руках у нас, кто их станет у нас оспаривать? Но провинции, если нам их не захотят уступить, всегда остаются залогом спорным».

Обрезков замолчал, тем более что в середине декабря ему стало казаться, что договор вот-вот подпишут. Все было согласовано, беловой текст готов. Он сам сделал то, ради чего его и прислали в Персию, — перевел словесные договоренности и черновые записи, которые Грибоедов вел в ходе заседаний, на язык официальных международных документов. Все ждали только возвращения Вальховского с деньгами. 13 декабря он прислал Грибоедову письмо, где, по его просьбе, подробно описал состояние дорог и крепостей на пути к Тегерану: Грибоедов не исключал возможности продолжения войны. Предчувствия его не обманули.

17 декабря вместо известия о передаче пяти куруров Паскевич получил донесение о выезде к нему уполномоченного от шаха, мирзы Абул-Хасан-хана, для ведения новых переговоров, теперь уже от имени шаха, а не его сына, которым шах будто бы был недоволен. Эта изощренная выдумка принадлежала английскому доктору Макнилу, с недавних пор почти жившему в гареме шаха и с успехом влиявшему на политику Ирана. Он сперва хотел заморочить голову Вальховскому и предложил ему оставить деньги на сохранение в британской миссии, с тем чтобы они были переданы России после ухода ее войск из всего Азербайджана. Молодой человек отказался, поскольку это означало бы согласие на посредничество англичан, давно отвергнутое Грибоедовым. Тогда Макнил толкнул шаха на прежний путь задержек и затяжек.

22 декабря взбешенный и растерявшийся от неожиданности Обрезков подал Паскевичу новую записку с рассуждениями насчет заключения мира. На сей раз он и сам сознавал, что не владеет местной ситуацией. Он предложил два варианта развития отношений с персами: либо подписать договор с Аббасом-мирзой до уплаты денег, разъехаться и ждать Абул-Хасан-хана для переговоров о деньгах; либо ничего не подписывать, разъехаться и ждать. Для Обрезкова ключевым словом было «разъехаться», он даже соглашался ждать. Грибоедов неожиданно занял противоположную позицию. Ему словно передалось всегдашнее нетерпение Обрезкова, но причиной был не тезис петербуржца «Хочу домой!». Грибоедов знал, когда надо ждать, а когда уже не следует этого делать. Он мог с бесконечным терпением обсуждать условия договора, но, после того как тот был, наконец, составлен, бросить работу и начать все заново значило бы проявить глупую слабость.

«Больно сказать, — заметил он Паскевичу, — но мы после военных удач делаемся посмешищем побежденного неприятеля». Александр Сергеевич твердо потребовал не принимать посланника шаха. «Перемирие уже слишком продолжается, — убеждал он, — и если рассчитывать время в смысле персиян, то перемирие надлежит заключить на шесть, на десять, на сто лет». Грибоедов настаивал на разрыве с Аббасом-мирзой, что не отдалит, а ускорит присылку денег: «Вступать в переговоры с Абул-Хасан-ханом ни в коем случае не должно, это — единственно трата времени, пища нерешительности, и завлечет нас в пустые, вздорные, нелепые толки, которыми персияне забавлялись над нами в течение слишком пятидесяти дней». Тут Обрезков в кои-то веки от всей души поддержал младшего коллегу. Однако вывод Грибоедова поверг его в шок: «Никаких нет средств согласить на наши предложения Абул-Хасана, кроме оружия».

Паскевич усомнился в возможности новой военной кампании. Со всех точек зрения, это была бы авантюра. Император очень рассердился бы за захват Тегерана, сочтя этот шаг политически неверным. Кроме того, переваливать горные хребты зимой было опасно, но куда хуже было бы оказаться на Султанейской равнине в период весеннего таяния снегов в горах. Войска не смогли бы выбраться в Россию из-за распутицы, вынуждены были бы ждать лета, а летняя невыносимая жара и неизбежные эпидемии уничтожили бы больше солдат, чем самые кровопролитные сражения, которых, впрочем, не предвиделось. Паскевич возражал против войны, но Грибоедов стоял на своем и клялся, что заключит договор до распутицы. Рождество прошло в спорах, но к Новому году Грибоедов победил. Дабы удержать Паскевича в принципах твердости, он написал ему памятную записку, с тем чтобы тот заглядывал в нее в минуты возврата нерешительности. Никогда раньше Грибоедов не позволял себе обращаться к родственнику в повелительном наклонении, но тот не обиделся, прочел записку, принял к сведению и даже приписал внизу кое-что от себя:

«На память».

Не принимать посланников неприятельских без подписанного шахом согласия на все наши условия, которые ему уже известны.

Не принимать их с большим уважением, покуда нет ручательства, что военные действия не возобновятся.

Угрожать им бунтом за бунт, который они у нас возбудили. Они больше ничего не страшатся, когда еще остается им Испаган, Шираз и пр., куда бежать можно. — Довольно того, что мы не прибегнем к возмутительным средствам, и по заключению мира скажем им, что это верное орудие мы имели в руках наших, но против их не обратили.

На словах и в переписке не сохранять тона умеренности, персияне его причтут к бессилию, к истощению средств, к невозможности далее простирать наши завоевания.

Угрожать, что возьмем провинции по Кафланку, с моря овладеем Астрабадом и пр. То же при случае объявить англичанам (не на письме однако).

Условия предварительных соглашений: уплата немедленно наличной суммы, возвращение всех наших пленных. Не позабыть также статью в пользу тухменцев, Кельб-бея, и прочих, которые по нашему внушению делали набеги против персиян, следовательно, предать их мщению неприятелей будет бессовестно».

6 января Абул-Хасан-хан прибыл в ставку Паскевича. 7 января ему были вручены декларация о разрыве и проект трактата, в котором, как заявил Паскевич, не будет переменено ни слова. 10 января тремя колоннами русские войска вышли из Тавриза, направляясь на крепость Урмию на западе, Ардебиль на востоке и на сам Тегеран на юге. Грибоедов жалел только, что не подвиг Паскевича на войну еще в декабре. Вальховский, по его мнению, не вполне справился с поручением — слишком много общался с персами и англичанами, слишком много проявил ненужной инициативы, чуть ли не пытался устанавливать новые правила выплат. 11 января он уведомил о высылке денег из Тегерана, но Грибоедов в ответ посоветовал ему быть менее доверчивым и смотреть зорче: наверняка транспорт воротился в столицу через другие ворота; для того чтобы пресечь подобные персидские шутки, Вальховский и был послан к шаху — он обязан был бы лично и

неотлучно сопровождать транспорт. Выразив молодому офицеру свое и генерала неудовольствие, Грибоедов постарался смягчить упрек словами, что «все мы очень, очень желаем вас видеть, по мне, так и без денег», и тотчас дал несколько советов, как приехать все же с деньгами.

В этот момент Грибоедов счел необходимым полностью иметь представление о ситуации в персидских и английских верхах: по его распоряжению его агенты в Тегеране перехватывали всю переписку Макнила с Макдональдом и персидских вельмож между собой, пересылали ему копии, а он, уже следил за их переводом и представлял Паскевичу. Эта истинно дипломатическая игра позволяла вполне точно следить за сменой курса шаха и английской миссии и решать, когда и куда наносить решающие удары.

15 января пала Урмия, 25-го — Ардебиль (тут и захватили пресловутую библиотеку), Паскевич взял Миане на самых подступах к Тегерану. Несмотря на мороз, сильнейший ветер и гололед в горах, солдаты не жаловались: что ни говори, но русской и даже кавказской армии легче воевать в зимних снегах, чем в раскаленном летнем мареве в безводной полупустыне. Испугался ли шах внезапного и резкого продвижения русской армии, но англичане испугались за него. Возникла весьма вероятная угроза падения Каджарской династии и перехода всего Азербайджана под власть России. Правда, Николай I этого не хотел и не допустил бы, но он был далеко, а Грибоедов усиленно распространял подобные слухи, велел их и Вальховскому в самом Тегеране распространять, даже Паскевич вошел во вкус и порой подбрасывал идеи, что бы такое еще распространить.

Англичане сдались. 6 февраля в местечке Туркманчай — против которого Макдональд и Макнил возражали, ибо оно стояло на главном тегеранском тракте, но Паскевич на нем настоял — съехались высокие договаривающиеся стороны. Помимо Аббаса-мирзы и Абул-Хасан-хана, в персидской делегации появился казначей шаха — главный евнух Манучер-хан. Его молчаливое присутствие заранее свидетельствовало о капитуляции шаха. Переговоры пошли как по маслу. Обсуждать теперь было нечего: Персия под угрозой полной катастрофы принимала мирный договор, сформулированный месяц назад в Дей-Каргане. Контрибуция благополучно прибыла в Тавриз, и Грибоедов съездил ее принять. 9 февраля была проведена общая и окончательная конференция, и Аббас-мирза попросил позволения подписать трактат ровно в полночь на 10 февраля, потому что его астролог вычислил этот момент как наиболее благоприятный. Европейцы не стали уточнять, для кого момент благоприятен, и не воспротивились. С последним ударом часов Паскевич и Обрезков поставили свои подписи под Туркманчайским договором, Аббас-мирза и Абул-Хасан-хан приложили свои личные печати, сто один залп русских орудий возвестил окончание очередной — и последней! — Русско-иранской войны.

Россия получила земли до Аракса и часть его правого берега, пять куруров (и еще пять обещанных), исключительное право держать военный флот на Каспийском море, все торговые привилегии с Ираном; со своей стороны, она признала Аббаса-мирзу наследником персидского престола. По настойчивому требованию Грибоедова Персия обещала возврат всех пленных, полное и безоговорочное прощение жителям Азербайджана и полную свободу для желающих переселиться на русские территории после того, как Южный Азербайджан будет возвращен Аббасу-мирзе. Кроме того, Грибоедов, помня свои с Александром Всеволожским коммерческие замыслы, развил в дополнительный трактат пункт главного договора о торговых отношениях: русские и иранские купцы взаимно получали выгодные привилегии, при этом русские подданные имели экстерриториальный статус и судились своей консульской службой, что при торговых спорах было им выгодно.

Англичане с ужасом читали договор. Россия не просто перешла через Аракс; она добилась для себя режима наибольшего благоприятствования в политическом и даже в экономическом отношении. В Тегеране упорно ходили слухи, что Аббас-мирза готов вовсе отложиться от отца и перейти под покровительство русского императора. Иран ускользал из сферы интересов Великобритании. В правящей партии тори разразился кризис. Состоялись новые выборы, и премьер-министром стал герцог Веллингтон, победитель Наполеона при

Ватерлоо. Назревали серьезные перемены в английской внешней политике.

* * *

В набросанных с небрежностью стихах
Ты не ищи любимых мной созданий:
Они живут в несказанных мечтах;
Я их храню в толпе моих желаний.

П. А. Плетнев.

И снова Грибоедов ехал через Персию, через Кавказ, через всю Россию. Но теперь он был не чиновником в отпуске, не подозреваемым в заговоре — он ехал посланником победоносного генерала, везя императору известие о триумфальном завершении первой войны его царствования. К глубочайшему негодованию Обрезкова, именно Грибоедову Паскевич доверил торжественную миссию доставки Туркманчайского договора в Петербург. Естественно, ему предшествовали многочисленные курьеры, предупредившие государя о необходимости подготовить достойную встречу вестнику мира. Паскевич порывался отправить их тотчас по подписании трактата, но Грибоедов всячески затягивал составление донесений, а когда все же отпустил гонцов, посоветовал им не слишком торопиться, поскольку дороги в скверном состоянии. Он сознавал, что чем раньше примчатся курьеры в столицу, тем дольше придется царю ждать его самого. А он, как и в юности, не почитал себя фельдъегерем и не желал проводить дни и ночи в возке.

Грибоедов выехал из Туркманчая 12 февраля, успев убедиться, что одержанная победа подействовала на Паскевича излишне сильно. Он начал глядеть Наполеоном и бесстыдно приписывать себе общие заслуги, соглашаясь сделать некоторые исключения только для Обрезкова — из тактических соображений, и для Грибоедова — из опасения лишиться его поддержки: не вернется он на Кавказ, что будет без него делать Паскевич?

Грибоедов двигался достаточно быстро, но все же не так, как следовало бы ревностному чиновнику. День он провел в Тифлисе, наскоро обняв многочисленных друзей и побывав у Ахвердовых. Он не знал, когда увидит их снова. Он любил Грузию, но совсем не стремился служить в Персии или на Кавказе. Он по-прежнему мечтал об отставке, о возможности отдаться литературному труду и жить где-нибудь в деревне. Своего имени у него не было, но он всегда мог найти приют у Бегичева или у сестры, вышедшей замуж за Дурново. Как бы он хотел провести ближайшее лето так же спокойно, как в 1823 году у Степана в Лакотцах! Там он мог бы обдумать замысел, зревший в его уме, но пока не выплескивавшийся на бумагу. Прошедший год он провел то в походах, то в поисках союзников и агентов, то в дипломатических битвах; был занят непрерывно и не читал и не писал иных текстов, кроме деловых и официальных. Он страшно устал. И теперь, сбросив бремя ответственности, с удовольствием глядел на мрачные пейзажи зимнего Кавказа, когда-то пугавшие его. Сейчас он наслаждался безлюдностью ущелий, грохотом обвалов и водопадов, ревом Терека и глубиной пропастей. Освободившаяся фантазия рисовала ему таинственных духов, по повериям грузин живущих на недостижимых высотах. Он придумывал сюжет трагедии, где в земные отношения людей вмешивались бы али — богини зла и мщения. Романтическая тема несколько не соответствовала всему, что он создал прежде, — и казалась ему от этого особенно интересной. Он всегда умел невероятной концентрацией мысли погрузиться в то, что было для него в данный момент важным, понять любую прежде неведомую область знания и достичь в ней всего, что хотел. Занимаясь чем-то одним, он не отвлекался ни на что другое и мог повторить вслед за своим Чацким:

Когда в делах — я от веселий прячусь,

Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Он был музыкантом — за фортепьяно, кавалеристом — на лошади, дипломатом — на переговорах, актером — на сцене, мыслителем — в кабинете, оратором — в обществе, поэтом — в душе и драматургом во все оставшиеся мгновения жизни.

К сожалению, таких мгновений выдавалось очень мало. В экипаже он только размышлял, а Петербург все приближался, и, пожалуй, он испытывал сожаление, что явится к оставшимся там немногим друзьям с пустыми руками, ничего не написав. Что за дело Жандру или Вяземскому, что все его время без остатка уходило на огромную переписку Паскевича и на общение с восточными народами и вельможами? Кто в Петербурге мог отличить Армению от Азербайджана? Кто знал, где течет Аракс? Кто понимал, почему присоединение его правого берега к России способно вызвать кризис в английском парламенте? Никто, не исключая министра иностранных дел Нессельроде! И меньше всего писатели — ни один из них так и не побывал на Кавказе.

Все, что в Персии казалось Грибоедову важным, было далеко от интересов и забот литературного Петербурга. Он же по-прежнему считал себя принадлежащим к литературному и театральному миру и не желал уходить из него в мир дипломатических и чиновничьих интриг. В голове его, под звон колокольчиков троек, сами собой начинали складываться стихотворные строки — речи али:

В парках вечерних, перед восходом
Печальной девственной луны
Мы выступаем хороводом
Из недозримой глубины.
Таятся в мрачной глубине
Непримиримых оскорбленья
И созревают в тишине
До дня решительного мщенья;
Но тот, чей замысел не скрыт,
Как темная гробов обитель,
Вражды вовек не утолит,
Нетерпеливый мститель.

Путешествие шло необыкновенно приятно. Грибоедов прежде не представлял, как услужливы и подобоострастны могут быть станционные смотрители. Лучшие тройки, к его неудовольствию, уже ожидали его приближения: он предпочел бы немного отдохнуть и обогреться на станции. Он проехал Москву: театры, конечно, были закрыты по случаю Поста, Мария уехала в имение мужа и уже ждала ребенка. Александр повидал Бегичева, заехав к нему часа на два. Но и в такой короткий срок Степан смог понять душевную неудовлетворенность друга, его искреннее желание бросить службу и уехать в деревню. Конечно, Бегичев сказал, что будет рад принять его у себя, хоть на всю жизнь.

Грибоедов считал, что едет весьма быстро, но император придерживался иного мнения. Потеряв терпение, он даже выслал ему навстречу курьеров, чтобы выяснить, не заблудился ли дипломат, не согласится ли он ускорить движение?

12 марта Грибоедов въехал в столицу. Его встретили представители Министерства иностранных дел и двора и препроводили в апартаменты Демурова трактира, где два дня обсуждали с ним церемониал встречи. Десятки чиновников, придворных, слуг и портных толклись в его номере, совершенно оглушив и ошелолив.

14 марта 1828 года грохот двухсот залпов Петропавловской крепости возвестил Петербургу приезд вестника мира с Персией. В роскошном экипаже, по тщательно

очищенной от полурастаявшего снега и грязи Дворцовой площади Грибоедов в парадном мундире торжественно проехал в Зимний дворец, поднялся сквозь ряды лакеев и камер-юнкеров по Главной лестнице и двинулся по анфиладе огромных покоев к Большому тронному залу. Перед самым его входом он неожиданно оказался в узкой и длинной, нарочито полутемной галерее, все стены которой были покрыты плотно висевшими портретами. Он успел увидеть слева от двери огромное, в рост, изображение Кутузова и рядом с ним до боли знакомую физиономию Дениса Давыдова. Он понял, что и на всех других портретах изображены генералы 1812 года, но не успел осознать величие замысла и талант живописца, как был с невероятной пышностью введен в Тронный зал. Здесь, в присутствии двора и высших чинов всех войск и министерств России, он, согласно оговоренному протоколу, вручил императору экземпляр Туркманчайского договора. Государь был необыкновенно милостив: не вспоминая об их предыдущей встрече, он с семейным участием расспросил его о Паскевиче, императрица с присущей ей холодноватой добротой осведомилась о здоровье его двоюродной сестры, жены генерала, и их детях. Едва окончилась официальная часть, со всех сторон к Грибоедову кинулись знакомые и незнакомые, Нессельроде и вся его свита. Все восторгались Паскевичем, победами, миром... «Царь хорош, так и все православие гремит многие лета», — иронически думал Грибоедов. Он был глубоко поражен приемом. Во всей толпе, во всем Петербурге, во всей России за пределами Кавказа он один понимал несоразмерность наград свершениям. Он даже начал думать, не создает ли царь истинное значение победы, не празднует ли он разгром сильной, находящейся на взлете Британии, а не слабой, раздираемой противоречиями Персии? Но все же не верил в это. Более вероятно, что Николай был просто доволен командиром, принесшим честь началу его царствования.

Были объявлены награды: Паскевичу пожаловали титул графа Эриванского и миллион рублей ассигнациями (250 тысяч серебром) — сумма фантастическая, просто неслыханная! Обрезков не сам, а через невесту (чтобы не забыл жениться!) получил 300 тысяч рублей; генералы Кавказской армии — по 100 тысяч, прочие чины — по нисходящей. Никто не был забыт. В публике Паскевич затмил Суворова, Наполеона; о Ермолове и не вспоминали, разве что с жалостью. Грибоедов, заранее просивший представить его только к денежной награде, которая могла бы поправить полностью расстроенные дела его матушки, получил чин статского советника, Анну второй степени с бриллиантами на шею и четыре тысячи золотых червонцев. Он был очень рад. Заложив орден (а ничего лучшего тот не заслуживал: подумать только, доктор Макнил, старательно и изобретательно затягивавший переговоры, получил от императора такой же!) и разменяв червонцы на серебро, он смог бы расплатиться со своими и матушкиными долгами и впервые в жизни обрести независимость от семейных обстоятельств. Но более всего он был счастлив, что его давний петербургский и крымский приятель, Николай Николаевич Оржицкий, разжалованный в солдаты на Кавказ после восстания 14 декабря, по ходатайству Паскевича, на котором настоял Грибоедов, был произведен в прапорщики — хоть одного из друзей он смог вернуть на привычное место в обществе!

Петербург ликовал. У Грибоедова голова шла кругом от атмосферы всяких великолелий; его рвали на части; без сомнений, он стал человеком дня. 15 марта он присутствовал во дворце на персидском молебстве, куда дамы явились одетыми в русское платье. Потом великий князь Михаил Павлович принял его у себя в новеньком Михайловском дворце, долго расхваливал ему Паскевича и несколько раз заверил в искреннем к нему расположении. Грибоедов понял, что любая просьба генерала о любом представлении его родственников и протее к любым местам будет с радостью уважена. В этот же день он получил медаль за персидскую кампанию, которой награждали почти всех участников сражений — этим военным знаком отличия он возгордился больше, чем своими гражданскими орденами.

Он разрывался между праздничными обедами и вечерами. Его пригласили на обед в Зимний, на обеды ко всем видным сановникам и генералам, всюду пили за здоровье графа

Эриванского, и несколько дней он регулярно просыпался с головной болью. Утром у него появлялись друзья и старые приятели: Вяземский, Владимир Федорович Одоевский, Жандр, Николай Муханов. Чаще всего у него бывал Пушкин, поскольку жил тут же, у Демута. Они, наконец, по-настоящему узнали друг друга и сдружились. Они не виделись лет десять, за это время разница в возрасте стерлась, а славой оба были равны, потому что выступали в совершенно разных областях: Пушкин, несмотря на «Бориса Годунова», не претендовал на звание драматурга; Грибоедов никогда не считал себя поэтом. Характером оба были схожи — горячие, ветреные, склонные к сарказмам, но благородные. Они порой крепко ссорились, почитая самолюбие уязвленным насмешками, но быстро отходили и всюду бывали вместе.

Естественно, Булгарин почти не выходил от Грибоедова. Он с вожделением глядел на груды золота, небрежно лежавшую на столе у Александра, и советовал отдать червонцы ему на сохранение, с тем чтобы он пустил их в рост. Грибоедов согласился, боясь, что иначе растратит деньги прежде, чем успеет разменять. Владимир Одоевский, зайдя к другу как-то утром, не без удивления увидел Булгарина, считавшего монеты в отсутствие хозяина. Кроме того, Фаддей ссудил Грибоедову пять тысяч рублей на первое обзаведение — все это делалось, конечно, по-дружески, без расписок, и Александр не заметил, как лишился 36 тысяч рублей. Кроме того, он передал Булгарину тщательно выверенный список «Горя от ума» с просьбой протолкнуть его через цензуру, как это удалось с третьим актом в 1825 году. Но тут Булгарин потребовал письменных полномочий. Александр небрежно надписал: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов».

16 марта закружившийся Грибоедов был приглашен на экзамен в Училище восточных языков при Министерстве иностранных дел, устроенный для чиновников, учивших языки частным образом. Нессельроде хотел, чтобы великий знаток персидского языка и нравов поглядел на будущих дипломатов, призванных работать в этой стране. Отказаться Грибоедов не мог, хотя меньше всего желал сидеть на испытаниях в роли важной чиновной особы. Он надеялся, что сумеет выйти в отставку и не ему придется впоследствии служить вместе с этими юношами. Вначале ему показалось интересным наблюдать за их страхами и сосредоточенностью — как это не походило на собственные его университетские испытания, которые он сдавал с полной беспечностью, без мысли о предварительной подготовке! Но он быстро соскучился. К счастью, рядом с ним оказался профессор Сенковский, чьи фантазии об изъятии персидских манускриптов замедлили ему составление Туркманчайского договора. Осип Иванович был еще совсем молодым человеком, чья жизнь как бы раздваивалась: на кафедре Петербургского университета он являлся прекрасным знатоком восточных языков, а среди журналистов был известен неистощимой веселостью, скатывавшейся до балагурства, издевательской критикой всего и вся и нелепым псевдонимом «барон Брамбеус». Сенковский заговорил с Грибоедовым о восточной литературе, которую ученики неплохо переводили, и Александр Сергеевич, не долго думая, на подвернувшемся листе написал свою обработку известной грузинской песни о душе, полюбившейся ему в Тифлисе:

Жива ли я?
Мертва ли я?
И что за чудное виденье!
Надзвездный дом
Зари кругом
Рождало мир мое веленье!
Нет, поживу
И наяву
Я лучшей жизнью, беспечной:
Туда хочу.
Туда лечу,
Где надышусь свободой вечной!

В голове его сложилась и мелодия, и он решил наиграть ее вечером Глинке, поскольку тот интересовался у него восточной музыкой. Листок со стихотворением Грибоедов, вставая после экзамена, конечно, забыл на столе, но Сенковский взял его себе — пригодится.

После недели-другой сплошных празднеств и торжеств Грибоедов сократил светские визиты. Во-первых, они редко доставляли ему удовольствие. Только однажды, в незнакомом доме, он, по своему обыкновению, сел около фортепьяно и неожиданно получил предложение радушной хозяйки сыграть с ней в четыре руки Пятую¹⁹ симфонию Бетховена. Грибоедов не знал ни способностей дамы, ни этого произведения великого немецкого композитора, поскольку оно носило пасторальный характер, не отвечавший его вкусу. Госпожа Леонтьева усомнилась, сможет ли он сыграть с листа?

«Попробуем», — беспечно ответил он — и сыграл, к вящему изумлению своих друзей. Но это был исключительный случай, обычно же ему казалось скучно на балах и в больших собраниях.

Еще хуже было то, что с конца марта с Кавказа стали приходить на редкость единодушные, постоянные и достоверные свидетельства недопустимой заносчивости графа Эриванского. К Грибоедову стали обращаться за разъяснениями, как к родственнику и правой руке генерала. Что он мог ответить? Он не хотел сплетничать за спиной Паскевича, хотя признавал в душе возможность подобного его поведения. Он не мог этого понять и оправдать. Ермолов когда-то сказал ему: «Испытай власть, потом и осуждай». Власть не власть, но Грибоедов был на самой вершине славы в 1824–1825 годах, когда Россия восторженно приветствовала его «Горе от ума»; был на вершине славы и сейчас. Он не светил отраженным блеском чужих побед — все, кто хоть немного его знал, были уверены, что без него не был бы Паскевич графом, не добилась бы страна столь выгодного трактата. Вяземский, еще не встретившись с ним по возвращении, считал его главным тружеником мира, потому что он во сто раз умнее других и знает персидский народ. Но, несмотря на двойное испытание общим восхищением, Грибоедов не замечал в себе перемены и никто из друзей не находил ее в нем, напротив, удивлялись, видя его таким же, как всегда.

Он решил прямо, по-дружески, выразить Паскевичу свой упрек и сел за письмо. Он начал его известнейшими словами из «Сида» Корнеля — «A moi, Comte, deux mots»²⁰, — с которыми Родриго обращается к отцу своей невесты, намереваясь вызвать его на смертельную дуэль. После всех поздравлений, восхвалений и благодарностей Грибоедов указал родственнику, что не всех усердных помощников он представил к наградам, не со всеми вел себя достойно: прежде всего он оскорбил пренебрежением генерала Сипягина, военного губернатора Тифлиса, и Константина Христофоровича Бенкендорфа. Последний был братом главы III Отделения, но человеком превосходнейшим; Грибоедов имел случай его оценить, застряв с ним вместе на несколько дней в карантине на Кавказе. В Петербурге Бенкендорф-старший долго говорил с Грибоедовым об отношении Паскевича к подчиненным. Александр постарался успокоить его, утверждая, что главнокомандующий поступает неосознанно и его поведение скоро переменится.

Из этой беседы Грибоедов извлек важнейшую для себя пользу: он попросил разрешения написать Александру Одоевскому. Каторжанам была строжайше запрещена переписка со всеми без исключения; только письма ближайших родственников пропускались к ним через III Отделение под видом писем к женам декабристов. Бенкендорф не дал прямого согласия, но не запретил оставить письмо в его канцелярии. Грибоедов хотел именно этого; он не столько мечтал послать другу весточку, сколько сочинял истинно литературное послание, где несколькими фразами нарисовал образ благороднейшего юноши,

¹⁹ Первоначальное название Шестой.

²⁰ Ко мне, граф, на два слова (*фр.*).

втянутого в благороднейший (Грибоедов не нашел в себе сил поклеветать на бывших единомышленников), но заведомо обреченный замысел (тут он был искренен). Он не надеялся, конечно, что отношение царя к Одоевскому переменится при чтении этого письма, но рассчитывал, что хотя бы Бенкендорф проявит некоторое внимание к родственнику Паскевича, от которого зависела сейчас карьера Константина Христофоровича. Отчасти поэтому, отчасти из чувства справедливости Грибоедов настойчиво убеждал графа Эриванского изменить поведение. Свое первое письмо к нему он не успел толком завершить, его то и дело прерывали, и он не успел перечислить и половины промахов генерала.

Зато следующее письмо он писал не торопясь: «Множество толков о том, что ваш характер совсем изменился, что у вас от величия голова завертелась и вы уже никого не находите себе равного, и все человечество и подчиненных трактуете как тварь. Это хоть не прямо, а косвенно до меня доходило, но здесь бездна гостиных и кабинетов, где это хором повторяется». Он добавил, что, конечно, старается защитить родственника в глазах общества, но намекнул, что сами обвинения не делают тому чести: «В своей защитительной речи я силюсь дать понять, что, возвеличившись во власти и славе, вы очень далеки от того, чтобы усвоить себе пороки выскочки». И снова прямо и твердо потребовал дать награды тем, кто этого заслужил. Он попытался объяснить генералу, что явная и искренняя любовь к нему императора создает ему столь неколебимое положение, к тому же оправданное его успехами на полях сражений, что бессмысленно, глупо и низко вести себя не так, как подобает благородному человеку.

В те же дни сам Николай I послал своему «отцу-командиру» ясный и дружественный совет не забывать о дворянском достоинстве и обязанностях высокого сана. Ни то ни другое послание, судя по слухам с Кавказа, не оказали действия: Паскевич просто не контролировал себя. Но, в сущности, Грибоедова это мало волновало. Он не собирался возвращаться к генералу. Он даже переехал от Демута на снятую квартиру в доме Косиковского, на углу Невского и Мойки. Он намеревался устроиться в Петербурге надолго. Его Александр Грибов чувствовал себя в упоении от величия барина. Это величие поднимало слугу в собственных глазах. Он с небывалым франтовством носил фраки Грибоедова, играл «Барыню» на фортепьяно в его отсутствие (что было ему запрещено) и держал себя едва не вызывающе со всеми посетителями. Грибоедов сам чувствовал, что донельзя разбаловал слугу, но на все упреки такого рода отвечал, что тот — сын его кормилицы или даже его молочный брат. Это не было правдой, Грибов был моложе, но кто стал бы проверять? Грибоедов только посмеивался над дерзостями и самоуверенностью парня.

Сам он чувствовал себя в Петербурге прекрасно. Мрачные воспоминания о 1826 годе стерлись даже у тех, кто не уезжал из столицы. Он же с удовольствием окунулся в жизнь большого города. Нессельроде пытался послать его в Персию с ратифицированным договором, но Александр Сергеевич отговорился болезнью. Он не был болен, однако лихорадки, трепавшие его все прошедшее лето, не прошли бесследно. Его волосы, прежде густые и волнистые, распрямились и поредели, хотя залысин нигде не образовалось; легкий румянец, всегда игравший на лице, исчез. К тому же он сильно загорел под южным солнцем, и загар не вовсе сошел за зиму. Бледным петербуржцам он казался какой-то непонятной желтизной, и некоторые думали, что Грибоедов страдает разлитием желчи. Он охотно использовал общее заблуждение в своих целях. Даже Нессельроде поверил, что он не может пока принять новое назначение, и попросил по крайней мере составить инструкцию для своего, еще неизвестного преемника в Персии.

Грибоедов согласился: он понимал, насколько его советы облегчат будущему дипломату проникновение в сущность иранской политики; но главное — он хотел их довести до сведения самого Нессельроде или хотя бы главы Азиатского департамента Константина Константиновича Родофиникина, сменившего на этом посту Каподистрию. Министр иностранных дел по-прежнему был убежден, что международная политика вершится в Европе, а прочие страны обязаны с покорностью принимать европейские решения. Он совершенно не желал задумываться, чем так важны Англии Индия и Персия, и относил все

восточные интересы британцев на счет их известного чудачества. Грибоедов больше не надеялся его переубедить, но думал, что Родофиникин, родом грек, может оказаться проницательнее. Поэтому в своей «Инструкции» он больше всего подчеркивал необходимость любой ценой поддерживать мирные, политически и экономически взаимовыгодные отношения с Аббасом-мирзой и предотвращать всякое вмешательство Ост-Индской компании, имеющей целью «повсеместно давать чувствовать восточным державам присутствие силы и казны ее». Поскольку только что началась Русско-турецкая война, он советовал также привлечь Иран к борьбе против его заклятых соседей.

Дела в департаменте поглощали у Грибоедова почти каждое утро; к счастью, он располагался прямо в здании Главного штаба, и до него от новой квартиры не было и трех минут ходьбы. Вечерами Грибоедов отдыхал душой. Театры были еще закрыты, но репетиции уже шли. Дидло готовил увлекательный балет «Смерть Кука» с туземными плясками и чуть ли не сценой каннибализма, оперная труппа ставила «Волшебную флейту» Моцарта, а из Москвы сообщали, что Шаховской стряпает огромный бенефис для Ежовой: драматическую поэму (лавры «Годунова» ему не давали покоя) «Фингал и Розкрана» по шотландским поэмам Оссиана, с поединками и музыкой волынок, романтический водевиль «Три дела» по восточным сказкам и индийским басням и аллегорию «Меркурий на часах» с представлениями всех жанров театрального искусства. Все это не увлекло Грибоедова. С началом нового царствования русские сюжеты полностью исчезли из репертуара. Огромная сцена Большого театра в Москве использовалась для постановок убогих французских мелодрам и водевилей вроде «Жоко, бразильской обезьяны». Загоскин, Жандр, Варвара Семеновна Миклашевич, Сергей Тимофеевич Аксаков и Шаховской перешли на переводы и переделки; Писарев умер от чахотки в день приезда Грибоедова в Петербург. Просвещенные зрители не очень охотно смотрели в переводе то, что можно было увидеть в подлиннике у французских актеров. Поэтому драматурги ориентировались на малообразованную публику и завлекали ее в театр любыми средствами, хоть каннибализмом.

Грибоедов попробовал исправить ситуацию и набросал план пролога — излюбленного жанра Шаховского, с хорами, балетом, эффектными картинами, скрепленными драматическими сценами. Он посвятил его 1812 году, а главным героем сделал простого солдата-ополченца, крепостного крестьянина. В первом отделении, помимо рассказов о Смоленском и Бородинском сражениях, он изобразил Архангельский собор, усыпальницу царей, где вставали тени великих правителей прошлого — Владимира Мономаха, Ивана Грозного, Петра I — делились военным опытом, пророчествовали новые победы России. Под хор бесплотных духов они поднимались ввысь сквозь расступавшиеся своды храма. Подобное соединение реализма с фантастикой было бы, конечно, немыслимо ни в каком роде искусств, кроме пролога-балета, где Дидло с радостью поставил бы сцену вознесения героев. Реалистическая часть строилась на противопоставлении мужественного русского крестьянина и не менее мужественного французского офицера, на горьких размышлениях благородного русского дворянина об оставленной Москве. Балетные сцены представляли пожар, зимние страдания французов, подвиги народа. Но эпилог получился безрадостным: после победы началась борьба за чины, искательство, крестьянин вернулся к прежним мерзостям, под палку господина и в отчаянии дошел до самоубийства... Трагический финал пришелся бы по вкусу зрителям, готовым смотреть «Смерть Кука» и резни у Оссиана, но снова Грибоедов отбросил перо: — конечно, цензура не допустит ополченца на сцену. Заменить его офицером? Отказаться от эпических картин народного подъема? Не выводить представителя династии Романовых Петра I (ибо и это запрещено)? Что же останется? Прав Шаховской — да здравствует Жоко, бразильская обезьяна!

25 марта наступила долгожданная Пасха. В первый праздничный день знаменитый лгун Павел Петрович Свиньин дал литературный обед для всех известнейших писателей и журналистов. Грибоедов пришел туда вместе с Пушкиным, увидел толпу народа, глазевшую на него, — все ждали от него чего-то необыкновенного, хотя бы рассказов о персиянах. Он почувствовал раздражение и начал рубить сплеча все, что ни подвертывалось в разговоре, и

так едко, остро и живо, что остальным пришлось замолчать. После обеда, когда разошлись назойливые поклонники, он успокоился и прочел Пушкину, Вяземскому, Крылову, Гречу, Булгарину и нескольким молодым людям отрывки из «Грузинской ночи». Кое-что он сочинил урывками в прошедший месяц, но больше всего импровизировал и просто рассказывал сюжет: он строился на страшной мести матери проданного крепостного юноши семье князя, отказывавшегося его вернуть, мести с помощью духов апи, мести, обратившейся на саму старуху и ее сына, которого она случайно убивает из ружья. Романтическая тема, столь чуждая прежнему творчеству Грибоедова, многих поразила; Пушкин больше всех увлекся лишенной сказочного ореола восточной жизнью. Отовсюду слышались изъявления восторга; все надеялись вскорости приветствовать появление необыкновенной трагедии, хотя сомневались, дойдет ли она до сцены: слишком сюжет был нов и смел. Некоторые стихи, совсем еще не отделанные, всем показались превосходными, в духе Шекспира:

О, люди! Кто назвал людьми исчадий ада,
Которых от кровей утробных
Судьба на то произвела,
Чтоб были гибелью, бичом себе подобных!
Но силы свыше есть! Прочь совесть и боязнь!..
Ночные чуда! Али! Али!
Явите мне свою приязнь,
Как вы всегда являли...
Слетайтесь, слетайтесь,
Отколе в темну ночь исходят привиденья,
Из снежных гор,
Из темных нор,
Из груди тьмы и разрушенья.
Из сонных тинистых зыбей,
Из тех пустыней многогробных,
Где служат пиршеством червей
Останки праведных и злобных.

Наконец 1 апреля открылись театры! Грибоедов не был на спектаклях с весны 1825 года. Большой театр дал «Гамлета» Шекспира, в переводе с французского, что почти убило пьесу, но Василий Каратыгин все равно был прекрасен. Зато Дидло выдохся и удручил своим Куком. А «Волшебную флейту» Моцарта исполнили так скверно, что Грибоедов не смог решить, кто хуже — оркестр или певцы. Музыка радовала его только в салонах — у Виельгорских, у Владимира Одоевского. Тот стал теперь семейным человеком, занимал тесную квартирку под самой крышей, играли у него редко, чтобы не тревожить младенцев, зато Грибоедов с хозяином по-прежнему пускались в заоблачные выси музыкальной теории, до крайности раздражая этим прочих посетителей, не понимавших ни слова. Несколько раз он бывал на музыкальных утрениках у великой пианистки Марии Шимановской, которой восхищался весь Петербург. По ее просьбе он подарил ей один из своих вальсов (As-dur), который когда-то зачем-то частично записал и не выбросил.

18 апреля Грибоедову выпал один из лучших вечеров его жизни: вместе с Пушкиным и Вяземским он был зван к Жуковскому, жившему во флигеле Зимнего дворца в качестве воспитателя наследника престола. У него оказался только Крылов, обычных докучливых посетителей велено было не принимать. Пять великих русских писателей (если Вяземского можно так именовать), равно остроумных и просвещенных, провели время в необыкновенно приятной беседе. Они возмечтали продлить удовольствие. Вяземский предложил вчетвером, без Жуковского, связанного должностью, пуститься в заграничный вояж. Они могли бы показываться в европейских городах, как жирафы — где еще увидишь столько русских

писателей зараз? — посетили бы Париж, Лондон, сочинили бы совместные путевые записки и продали бы их какому-нибудь журналисту, хоть Булгарину или Полевому из «Московского телеграфа». Глядишь, и слава, и деньги. Мысль всем очень понравилась: славой никто из них не был обделен, но что касается денег... К тому же Пушкин, Грибоедов и Крылов никогда не были в Европе и очень желали ее увидеть. Крылов даже готов был расстаться с привычной ленью.

Грибоедов в третий или четвертый раз в жизни готовился в душе к путешествию в желанные края. Но судьба была категорически против. Он получил приглашение на аудиенцию к императору. Николай уделил ему целых полчаса и очень внимательно, с глубоким пониманием расспрашивал о состоянии духа Паскевича, пытаясь решить, чем можно исправить генерала. Он все схватывал на лету, демонстрировал свое расположение и заботу. Грибоедов как мог защищал родича, а сам думал о другом. Вот он наедине с царем, тот сам призывает его к душевному общению — упустив такой шанс, он стал бы корить себя всю жизнь за трусость. Он по-дипломатически тонко свернул беседу в сторону, заметив: «Ваше величество хорошо понимает, что, помимо суверенной власти, нет ничего, подобного обязанностям главнокомандующего. И совершенно справедливо хочет указать любезному Ивану Федоровичу, что *прощать великодушно*, притеснять же без причины — *неблагодарно*». И тотчас дал понять, что плохое в командующем плохо и в суверене; Паскевич не сознает прочность своего положения и проявляет излишнее недоверие и грубость, но и император не видит всеобщего сейчас восхищения собою. Он вредит себе в глазах общества неоправданной жестокостью к каторжанам. Какой восторг, какое обожание окружили бы его, если бы он согласился дать столь желанную всем амнистию! Неужели он опасается, что, в ореоле побед, встретит что-нибудь, кроме бесконечной благодарности за милосердие к людям, может быть, виноватым перед ним, но не перед отечественными законами? Грибоедов не упоминал никаких имен, опасаясь в случае неудачи сильнее повредить ссылкой, но молчать он не мог. Он понимал, что его речь самоубийственна, но совесть призывала его высказаться, чтобы впредь не сомневаться, что жестокость царя объясняется его характером, а не недостатком здравых советов. При первом его намеке на людей, которых Николай всю жизнь с непроходившей ненавистью именовал «своими друзьями 14 декабря», император напрягся и побелел, но слушал, не прерывая, и, ничего не ответив, отпустил Грибоедова со словами, что очень доволен, что побыл с ним наедине...

Александр Сергеевич вышел из дворца в сильном волнении. Он чувствовал, что не принес никому вреда; теперь монарх будет по крайней мере знать, что голос правды и чести никогда не смолкнет в России. Но как на нем самом отразится его немыслимо смелая выходка? Ему не пришлось долго пребывать в неведении.

На следующий же день Нессельроде вызвал его к себе и с настойчивостью, которой прежде не выражал, предложил ему назначение поверенным в делах в Персию. Грибоедов возразил, что Россия должна держать там чрезвычайного посла и полномочного министра (дипломатический ранг на ступеньку ниже собственно посла, но выше поверенного), чтобы ни в чем не уступать английскому посланнику. Министр кисло улыбнулся, как десять лет назад, когда Грибоедов потребовал себе повышения на два чина, но признал основательность соображения. Грибоедов подумал, что туча прошла мимо и чаша сия его минует, назначат кого-нибудь починовнее. Однако спустя короткое время за ним снова прислали из министерства. Нессельроде объявил ему, что его требование удовлетворено, и по высочайшей воле он назначен чрезвычайным послом. Требование! Словно он просил о чем-то!

Грибоедов молчал, сотни мыслей теснились у него в голове. Отказаться сейчас, после всех наград и внешних милостей государя, значило немедленную отставку без всякого шанса когда-либо поступить на какую-либо службу в пределах Российской империи. Всего влияния Паскевича, наполовину растерянного, не хватит, чтобы добиться для него прощения того, что император — и общество — сочли бы черной неблагодарностью: должность посла при его чине не могла рассматриваться иначе как почесть. Мог ли он позволить себе отвергнуть

ее? Он, правда, хотел оставить службу и уехать в деревню к Бегичеву, но, конечно, не думал об этом всерьез. Одно дело гостить у друга сколь угодно долго, хоть годами; другое дело переехать к нему или сестре навсегда, словно бедному родственнику, без всякой надежды устроить свою судьбу, без всякой надежды жениться. А он мечтал жениться, в его годы это желание становилось все сильнее. Ехать в Персию, где огромное большинство населения и властей имело основания ненавидеть в нем главного творца Туркманчайского договора, значило искушать судьбу. Но Грибоедов понимал, что настойчивость Нессельроде объясняется не восхищением его дипломатическими способностями, которые сам он считал небольшими. Он, правда, лучше всех в России знал обычаи и нравы персиян, а, как показал опыт Обрезкова, даже неплохой дипломат встречает трудности при общении с иранцами, если не подготовлен к ним заранее. Поэтому министр мог искренне считать, что высочайший выбор пал на чиновника, наиболее способного к исполнению важной должности посла в Персии. Но все-таки знание языка — преимущество незначительное и преходящее. Дело было в другом. Совсем недавно Грибоедов разговаривал с императором и получил серьезные основания подозревать, что государь хочет отныне видеть его подальше от обеих столиц. Все это не радовало.

С другой стороны, пост полномочного министра имел немалую привлекательность. Грибоедов получал великолепное жалованье и прочное положение в дипломатическом и светском мире. Он становился вполне независим по службе и свободен от забот о матери. Он мог смело предложить руку любой избраннице и почти не бояться отказа. Он должен был ехать в Иран, но сперва ведь в Грузию, где с недавних — а может быть, давних — пор оставалось его сердце, где он давно лелеял судьбоносные замыслы... И, во всяком случае, имеют ли смысл колебания, не все ли уже решено за него? Приказ о его назначении уже подписан, хотя он все же может еще разрушить свою жизнь и карьеру.

Нессельроде терпеливо ждал.

Грибоедов согласился...

.....

Первой его заботой было собрать вокруг себя единомышленников, на которых он мог бы полностью положиться в своей необыкновенно трудной миссии. Во главе Кавказского корпуса стоял Паскевич, что было прекрасно — каковы бы ни были его расхождения с подчиненными, Грибоедов не сомневался, что найдет с ним общий язык и заставит его действовать в общих интересах. Генеральное консульство России в Тавризе возглавлял Амбургер, давний товарищ, чью надежность и преданность Грибоедов проверил во множестве испытаний. Оставалось выбрать секретарей посольства. Александр Сергеевич попросил дать ему молодого Николая Киселева, состоявшего при Паскевиче во время Дей-Карганских переговоров и оказавшегося достаточно полезным. Он был младшим братом Павла Дмитриевича Киселева, пользовавшегося расположением царя, и Нессельроде отказал Грибоедову: «Я берегу маленького Киселева для большого посольства в Риме или Париже, он в совершенстве знает французский язык. У него есть такт, у него приятный характер, и он всюду сумеет приобрести друзей». Грибоедов почувствовал себя уязвленным: разве его французский язык, такт и обаяние хуже, чем у Киселева? Почему же вот уже десять лет его вместо Рима или Парижа держат в Персии? И что значит «берегу»?

Вместо Киселева министр предложил Грибоедову немца Карла Аделунга, сына директора Училища восточных языков, который уже три года осаждал Азиатский департамент просьбами направить его именно в Персию, чей язык великолепно знал. Грибоедов решительно не мог понять, что заставляет юношу проситься в отдаленный, дикий и нездоровый край? Сам он в его возрасте воспринял назначение в Иран как кару за «четверную» дуэль, а сейчас считал свою миссию политической ссылкой. Однако с практической точки зрения увлеченность молодого человека могла принести большую пользу. Представленный новому послу, Аделунг весь светился радостью и восхищался возможностью служить при столь прославленном дипломате.

Другого секретаря Грибоедову навязали сверху. Иван Сергеевич Мальцев происходил

из богатой семьи, недавно возведенной в дворянство и владевшей знаменитым хрустальным заводом в городе Гусе. В Персию его отправляли по той же причине, по которой год назад послали туда Обрезкова. Двадцатилетний юноша был почти помолвлен с недавней выпускницей Смольного института фрейлиной Александрой Россети (или Россет, как она называла себя на французский лад). После возвращения Обрезкова любвеобильный император, на которого сухоощавая болезненная жена не имела никакого влияния, перенес свое внимание на очаровательную черноглазую полуитальянку. Мальцев, не обладая наследственной дипломатической проницательностью Обрезкова, кажется, оставался в неведении относительно своей участи и считал новую должность вполне соответствующей своим чаяниям и заслугам. Впрочем, Александра Россет была не только красива, но и очень умна, дружила с Пушкиным, Жуковским и многими великими людьми и писателями, и перешли ли ее отношения с государем некую грань, осталось навсегда неизвестным.

Грибоедов задумался, кого предложить вместо себя на должность дипломатического советника при Паскевиче. Он имел не так уж много знакомых коллег, которым мог безоговорочно доверять. Кюхельбекер сидел в крепости, Пушкин оставил службу. Он вспомнил о дальнем родственнике, Федоре Хомякове, старшем сыне хмелитского соседа, который избрал дипломатическое поприще и с которым Грибоедов изредка встречался с многолетними перерывами, но всегда дружески. Он не сомневался, что ходатайство Паскевича о прикомандировании к нему Хомякова будет без возражений удовлетворено, тем более что Федор приходился ему родственником по жене. Правда, молодой человек не выразил восторга при известии о назначении в Тифлис. Он успел послужить в Париже и теперь мечтал о месте в походной канцелярии императора, отправлявшегося в армию к границам Турции. Однако Нессельроде прельстил его на Кавказ тем же, чем десять лет назад Грибоедова, обещая, что в новой должности он будет зависеть от одного главнокомандующего, выгоды в продвижении будут значительны, а климат уже известен и можно принять необходимые предосторожности; в то время как в канцелярии государя для него нет места, а армейские лекари могут оказаться хуже тифлиских. Федору пришлось, скрепя сердце, согласиться.

Разобравшись с будущими сослуживцами, Грибоедов почувствовал, что сделал все, что мог. Он просидел с Нессельроде и Родофиникиным до глубокой ночи, разбирая дела департамента — теперь уже всерьез. После этого бдения он стал питать истинное презрение к Родофиникину, явно недостойному своего поста. От них он поехал не к себе, где одиночество навалилось бы на него невыносимым грузом, а на Михайловскую площадь к Жандру, поднял его с постели — с какой стати тот улегся так рано? — и огорошил сообщением: «Прощай, друг Андрей! Я назначен полномочным министром в Персию, и мы более не увидимся». Грибоедов так и остался ночевать у друга, а утром послал Бегичеву письмо с тем же известием. Степан в ответ постарался его утешить: по его мнению, никто не мог бы принести на этом посту большую пользу России, чем Александр. Все так, но мрачное настроение не оставляло Грибоедова.

Задуманная поездка великих русских писателей сорвалась: Пушкину ответили, что, как русский дворянин, он имеет право ехать за границу, но что государю будет это неприятно; Вяземскому посоветовали и не проситься — его умеренно-либеральные взгляды далеко превосходили уровень вольномыслия, дозволенный после 14 декабря. Князь только вздохнул: «Эх, да матушка Россия! попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее...» Грибоедов вместо Парижа должен был ехать в Тегеран. Крылов вернулся к прежней лени, в которой видел единственное безопасное убежище.

А между тем возвышение Грибоедова произвело небывалый шум в столице; юное поколение было в восторге; литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествовали. III Отделение с удовлетворением отмечало, что это выдвижение знаменитого человека во цвете лет купило тысячи голосов в пользу правительства. В обществе праздновали победу над предрассудками и рутиную, праздновали награждение дарования,

ума и усердия в службе. Везде кричали: «Времена Петра, Екатерины!» Отныне все признали, что «человек с талантом может всего надеяться от престола, без покровительства баб, без ожидания, пока длинный ряд годов не выведет его в министры».

Даже Вяземский и Пушкин завидовали другу и обещали непременно навестить его следующим летом, когда он вполне устроится в Персии. Грибоедов один не разделял общего одушевления. Его голоса правительство не купило. В ответ на поздравления он неизменно твердил одно: «Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них, и главное, не знаю сам отчего, мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых». Впрочем, в глубине души, не признаваясь самому себе, чтобы не потерять бодрости духа, он прекрасно сознавал, почему опасается «старых знакомых». Он старался наслаждаться немногими оставшимися днями. Нессельроде торопил его со сборами, но Грибоедов отговаривался тысячей причин: он хотел ехать со всем багажом, от книг и фортепьяно до парадного мундира посла, чтобы благодаря обилию экипажей двигаться как можно медленнее. А сколько времени надо, чтобы сшить у лучшего петербургского портного особый, расшитый серебром посольский мундир!

16 мая он присутствовал с Вяземским на чтении Пушкиным все еще запрещенного «Бориса Годунова» у графов Лаваль, где встретил крымского знакомого — польского поэта Мицкевича и кучу светских лиц. Все слушали внимательно и выразили свое удовольствие, хотя даже Вяземский мало что понял, несмотря на то, что слышал трагедию не впервые. Однако стихи и многие яркие, сильные сцены понравились всем. Замечаний никто не высказал, и Грибоедов взял критику на себя. Он издавна интересовался русской историей, изучал ее не только по Карамзину, но и по древним летописям и манускриптам, когда им случалось попадать в его руки. Вкус к старинным сочинениям ему привил Буле в университете, хотя с тех пор Александр редко имел возможность заниматься. Он заметил Пушкину, что патриарх Иов, один из героев трагедии, в действительности был очень умен, а автор, по недосмотру, сделал из него глупца. Насколько выиграла бы драма, следуй он исторической правде: ведь изображать умного человека всегда интереснее, чем дурака — Грибоедову ли этого не знать! Пушкин признал свою ошибку и даже сожалел о ней, оценив верность замечания. Во всяком случае, он нисколько не обиделся.

25 мая, вместо несостоявшегося путешествия за границу, Вяземский, Пушкин и Грибоедов в большой веселой компании семейства Олениных отправились в Кронштадт поглядеть на флот, готовившийся к выступлению на Турцию под командованием адмирала Сеньявина, участника войн еще екатерининского царствования. Крылов, несмотря на давнишнее знакомство со старшим Олениным, президентом Академии художеств, отказался встать с дивана ради поездки в пределах Российской империи. Зато Пушкин был счастлив возможности провести целый день рядом с Анной Олениной, за которой тогда ухаживал. Грибоедов один имел к флоту прямой интерес: от побед моряков зависел отчасти успех его дипломатической миссии. Ехали на пароходе, чего Грибоедов никогда прежде не делал; погода стояла благоприятная. Погуляли по Кронштадту, все вокруг казалось красивым и интересным, Пушкин увивался вокруг Анны; молодежь шумела, юные сыновья Оленина успели напиться так быстро, что Вяземский даже удивился; Грибоедов смотрел на лица моряков.

Наконец вернулись к пристани, но вдруг поднялся сильнейший ветер, разразилась гроза, ливень, по морю пошли волны. Пароход все-таки отчалил, но в тесноте и темноте страдающие морской болезнью пассажиры сбились в непривлекательную кучу. Пушкин сидел надутый и хмурый, как погода. Вяземский и Грибоедов не ощущали невзгод от качки. Их внимание привлекла прелестная молодая англичанка, испытывавшая жестокие страдания. Пушкин счел, что она похожа на героинь Вальтера Скотта. Тут к ней подошел муж, красивый мужчина, которого Грибоедов, к своему удивлению, узнал. Это оказался капитан Джон Кемпбелл, советник британской миссии в Персии, участвовавший в Туркманчайских переговорах и с тех пор съездивший в Англию жениться на давней избраннице. Теперь он

ехал с нею обратно в Тегеран. Он, конечно, тоже заметил Грибоедова и знал уже о его новом назначении. Дождавшись, когда тот останется один, англичанин подошел к нему и бросил — не то с угрозой, не то в виде предупреждения: «Берегитесь! вам не простят Туркманчайского мира!» И тотчас отошел.

Грибоедов ничего не ответил и не сказал ничего Вяземскому. Что-то переломилось в нем: чувство опасности не исчезло, но теперь оно бодрило, как перед боем. В Персии его и без того ждали многие сложности, а тут еще и англичане грозят. (Кемпбелл, конечно, произнес свои слова с умыслом, хотя цели его были неясны.) Но мог ли Грибоедов поддаться предчувствию, которое даже друзья сочли бы трусостью? Однажды он стоял под дулом пистолета, наведенного на него с шести шагов; потом, не колеблясь, выдержал огонь ста двадцати четырех залпов персидских батарей. Неужели он отступит перед угрозами?! В Иране многое будет в его руках, он едет туда не бараном на заклание. Он не закрывал глаза и трезво глядел в лицо будущему. Но оно не пугало его.

Глава IX МИНИСТР

Любовь правильнее всего сравнить с горячкой: тяжесть и длительность той и другой нисколько не зависят от нашей воли.

Ларошфуко

Грибоедов покинул Петербург 6 июня 1828 года, после самого настойчивого требования императора «чтобы скорее ехал». Накануне Жандр устроил прощальный ужин, где собрались все друзья Александра. Веселья не получилось: когда Грибоедов грустил, все вокруг невольно заражались его настроением. Он мог сказать им одно: «Прощайте! Прощаюсь на три года, на десять лет, может быть навсегда». Пушкин, проникшись тяжелым предчувствием, мучившим его тезку, написал стихотворение, так и назвав его «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Утром Жандр и братья Всеволожские проводили Александра, как водится, до Ижор. Он не оглядывался с тоской на Петербург, как десять лет назад, но с сердечной болью думал, что оставляет не столицу — он говорит: «Прости, Отечество!»

Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О! не обманывайся, сердце!
О! призраки, не увлекайте! —
Нас цепь угрюмых должностей
Опутывает неразрывно.
Когда же в уголок проник
Свет счастья на единый миг.
Как неожиданно! как дивно!
Мы молоды и верим в рай, —

И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.
Постойте!.. Нет его! угасло!..

9 июня он был уже в Москве. Настасья Федоровна встретила его с большой радостью, прямо не могла нагордиться на сына. Первые ее вопросы касались денег, полученных им от государя. Узнав, что большую их часть он оставил Булгарину, с тем чтобы тот покупал для него книги и пересылал в Персию, она разволновалась. Но сведения об оборотливости и деловых качествах Фаддея Венедиктовича так ее успокоили, что она даже решилась написать ему письмо с просьбой не оставлять ее сына дружескими заботами, ибо сам он не умеет и не хочет печься о собственных интересах. В Новинском Грибоедова ждало письмо от сестры и зятя с пометой «Письмо самое нужное». Мария, в отличие от матушки, горько сожалела о новом назначении брата: «Сердце мое обливается кровью при мысли о твоём отъезде. Когда же наступит счастливое время и мы опять сблизимся? Муж мой тебя обожает: единственное его желание — видеть тебя с нами. Для нас это было бы величайшим счастьем — видеть между нами нашего обожаемого брата. Лыщусь этою надеждою, она поддерживает мое существование».

Александр с нежностью читал эти строки; привязанность сестры согревала его душу. Она дала ему, наверное, величайшее в мире доказательство своей любви, которую разделял и ее муж. В конце апреля Мария родила сына; неопытность матери и неопытность няни едва не погубили младенца, но заботы просвещенной соседки его спасли. Все же мальчик был слабеньким и успел уже подхватить ветрянку. Мария с мужем назвали его Сашей, в честь ее брата, но не крестили. Соседи беспокоились, священник увещевал молодых родителей, но те твердо готовы были пожертвовать бессмертной душой и вечным спасением первенца, но не давали его крестить никому, ожидая приезда Александра. Дурново приписал от себя в конце письма жены: «Любезный друг и брат, всегда с восторгом получаю твои письма; последнее тем более меня восхитило, что надеюсь скоро с тобой видиться. Ради Бога, приезжай скорее: мы с Машенькой считаем все минуты и часы. Сашка наш нас очень занимает и делается мил; только жаль, что все болен, что нас и задержало в Богородске долее, чем мы желали; кроме тебя, никто его крестить не будет, я непременно сего желаю. С нетерпением тебя ожидаем. Прощай, мой неоцененный!»

Мария, предвидя, что брат сперва заедет в деревню Бегичева, упрашивала его там не задерживаться, а просто взять Степана с собой, ибо она и ее муж будут только счастливы его принять.

Грибоедов провел в Москве два дня, ожидая некоторые официальные бумаги. Не желая сидеть с матерью дома, он бродил в свободное время по городу, повидал милую кузину Соню и прочих родственников. Дом в Новинском казался ему чужим, как станция: «Проеду, переночую, исчезну!!!» Он испытывал величайшее раздражение на все подряд, и то и дело позволял себе такие выражения, которые обычно не употреблял. В университетской библиотеке он нашел своего давнего наставника Петрозилиуса, трудившегося над составлением каталога — главного дела его жизни, позвал к себе и познакомил с Аделунгом, чей отец хорошо был известен в ученом мире.

Город был, конечно, пуст; театры закрыты на лето. Грибоедов с горечью подумал, что так и не был внутри ни Большого, ни Малого театров. Он счел долгом вежливости навестить Ермолова. Опальный генерал принял прежнего подчиненного с нескрываемой неприязнью — он не хотел простить ему дружеских отношений с коварным Паскевичем. Грибоедов даже подумал, что Алексей Петрович воспринял визит как оскорбление: мол, явился хвастать высоким назначением! Старик напрасно сердился, но переубедить его было невозможно. Грибоедов сам обиделся и огорчился и после жаловался Бегичеву, что для Ермолова он — вечный злодей!

12 июня, предоставив Аделунгу и Мальцеву потихоньку двигаться к Ставрополю, он налегке выехал к Туле. 13-го, совершив перегон со скоростью, которой никогда не показывал

на царской службе, он приехал в Лакотцы. Анна Ивановна находилась на последнем месяце, и, чтобы не тревожить ее, друзья проводили часы напролет в той беседке, где Грибоедов с таким удовольствием писал «Горе от ума». Он отдал Степану все свои путевые записки, которые вел для него в Грузии и Персии, но рассказать, вспомнить о пережитом было уже некогда. Бегичев спрашивал о его планах, Грибоедов прочел ему кое-что из «Грузинской ночи», но разговор на литературные темы не клеился. Видя чрезвычайную мрачность друга, Степан стал его увещевать:

— К чему эти мысли и эта ипохондрия? Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал.

— Я знаю персиян, — возразил Грибоедов, — Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира.

И все же Бегичев не принял всерьез подавленность Александра. Тот и сам понимал, что боевой офицер, участвовавший, пусть и давно, в крупнейших битвах, сочтет его предчувствия вздором, если не трусостью. Степан заметил, что десять лет назад Александр точно так же ожидал смерти перед поездкой в Персию и писал ему из Новгорода, размышляя о гибели Александра Невского, что, «может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святыне!». Грибоедов вспомнил свое настроение той поры и слегка повеселел. Может быть, и впрямь все будет в Персии не так страшно, как ему кажется издали? Выжил же он там в первые три года!

Он посадил Степана с собой, и они вместе покатали к Дурново. Несмотря на внешнее спокойствие, которым Бегичев надеялся поддержать друга, ему передалась тоска Александра, и он хотел как можно дольше не расставаться с ним. Уже отъехав далеко от Лакотц, Грибоедов вспомнил, что вместе с путевыми дневниками оставил у Бегичева и все свои планы, и наброски незаконченных сочинений, в том числе «Грузинской ночи». Но он не пожелал возвращаться и не очень переживал. Большая часть черновиков не стоила гроша, а сцены из трагедии были столь незначительны и неотделанны, что выйдут лучше, если он их запишет заново.

Они нашли Дурново в крошечном имении в невесть какой глуши. Алексей, дослужившись всего лишь до поручика, вышел в отставку и стал заниматься хозяйством. Он жил в той же Тульской губернии у городка Чернь, по виду совершенной деревни без всякой промышленности. Но вокруг лежали плодороднейшие черноземы, и Алексей устроил у себя сахарный завод. Со временем тот мог приносить отличный доход (дело было очень прибыльное), пока же Дурново находились в больших долгах. Приданое Марии ее матушка растратила задолго до замужества дочери, супруги старались вести хозяйство очень экономно, и Грибоедов привез сестре несколько тысяч, о которых она просила в письме, обещая непременно вернуть с процентами.

Александр понравился у сестры: все вокруг было чисто, опрятно, трудолюбиво и весело. Зять занимался заводом, садом и музыкой. Все вечера проходили в беседе под звуки рояля и флейты, самых дорогих вещей в доме Марии и Алексея. Грибоедов наконец смог окрестить Сашку. Отроду не имея дела с младенцами, он забавлялся его фигурой, точно у лягушки. Через двое суток он расстался с Марией, уверившись в ее семейном счастье, которого она так заслуживала. Степан проводил друга, сколько позволяли лошади. Они больше не заговаривали о предчувствии вечной разлуки, но расставание вышло печальным как никогда.

Теперь Грибоедов ехал один, догоняя сослуживцев, уже неделю ждавших его в Ставрополе. Мухи, пыль и жара до одури раздражали его на проклятой дороге, по которой он в двадцатый раз проезжал без удовольствия, без желанья — потому что всегда против воли. Он хотел бы пустить на свое место какого-нибудь франта с Невского, охотника до почетных назначений, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность. В пути он услышал весть о взятии Анапы, чему в Ставрополье все радовались, поскольку избавлялись тем самым от набегов закубанцев. Чем далее от Петербурга, тем более важности приобретало его «павлинское звание». В Предкавказье его уже встречали как родню и друга графа Эриванского, как посла к важнейшей из окрестных здесь держав. Во всех городах

чиновники, окружные начальники и полицмейстеры являлись на станции засвидетельствовать ему почтение, отзывались о Паскевиче как о человеке ласковом, приятном, внимательном и так далее и тому подобное. Грибоедов думал про себя с непроходимым ожесточением: «У нас чиновники — народ добрый, собачья натура, все забыли прошедшее, полюбили его и стали перед ним на задние лапки. Но жребий людей всегда один и тот же. О дурном его нраве все прокричали в Петербурге и, верно, умолчат о перемене: потому что она в его пользу». Ко всему плохому, у него разбились часы, новых купить было негде, он узнавал время по небесным светилам и тем, шутя, оправдался перед заждавшейся молодежью.

Вечером 26-го он добрался до Ставрополя, послал за своими секретарями, накормил их роскошным ужином, который приготовил повар, взятый им из Петербурга, напоил чаем и совсем очаровал, особенно Аделунга. Утром он отправил молодых людей вперед, а сам выехал по холодку, под предлогом, что столько лошадей на станциях все равно не достать. Впрочем, к ночлегу он догнал их, ибо теперь путь стелился перед ним ковром и попробовали бы зрители не найти тройку для полномочного министра! Грибоедов с каждым днем все ближе сходил с Аделунгом, который восхищался приближавшимися горами, красотой мест и благоговел перед великим дипломатом. Понемногу, под влиянием пережитых трудностей над пропастями Военно-Грузинской дороги и под воздействием дружеской короткости Грибоедова, Карл перестал дичиться. У станции Коби, на самой вершине Крестового перевала, их уже встречали посланные офицеры из Тифлиса. Внизу, в Грузии, к никогда не виданному здесь полномочному министру на каждой смене лошадей приходили с поклонами местные власти в парадной форме, со всей своей смешной для петербуржцев напыщенностью и с корзинами огурцов, почитавшихся тут дорогими фруктами. Аделунг, как прежде Амбургер, скоро научился смотреть на мир глазами Грибоедова, поэтому нелепые церемонии и дары его только забавляли. А вот с Мальцевым Александр Сергеевич не находил пока общего языка, как и Аделунг; первый секретарь держался в стороне.

5 июля, к вечеру, Грибоедов въехал в Тифлис. Ему отвели комнаты в доме Паскевича, где жила только его двоюродная сестра Елизавета с детьми; сам генерал находился в действующей армии. Молодых секретарей поселили в какой-то квартире без мебели и оконных рам, и на следующий день, узнав об этом, Грибоедов велел перевести их тоже к Паскевичам. С первого же дня по приезде на него обрушилось столько дел и неприятностей, что у него не осталось времени вспоминать о своей меланхолии. Нессельроде так торопил его именем государя, что он покинул Петербург без верительных грамот посла и без жалованья за месяц, которое задолжал ему департамент. Родофиникин божился, что дошлет все в Тифлис, однако ни о том, ни о другом не было слуху. Без грамот Грибоедов не мог ехать дальше и особенно не опечалился бы, если бы они и вовсе потерялись в пути, но деньги были необходимы. Он считал долгом держать стол à la Ministre: шампанское, ананасы, мороженое для сослуживцев и избранной компании. Однако из Петербурга ничего не приходило.

Не приходило ничего и с другой стороны. Он не нашел в Тифлисе никаких донесений от Амбургера из Тавриза или от Паскевича из армии, которые сообщили бы ему состояние сношений с Ираном на нынешний момент. Даже военный губернатор Тифлиса генерал Сипягин (женатый на сестре Всеволожских) не имел никаких точных известий от главнокомандующего в течение последних двух недель. Грибоедов собрал в городе все возможные слухи, говорил с верховным муллой, с архиепископом, со всеми своими бесчисленными знакомыми, но ничего толком не выведал. Он узнал только достоверно, что Персия истощена войной, а Амбургер в отчаянии от характера иранцев. Но это можно было предвидеть. В конце концов, как говорил всем Грибоедов: «Мы их устроили, но не перевоспитали. И задача эта наскоро решиться не может». Приходилось самому ехать за новостями в Главную корпусную квартиру, вроде бы находившуюся у только что взятой сильной турецкой крепости Карс. В армии, по последним сведениям, бушевала чума, занесенная пленными турками, по пути стояли карантинные пункты и окуривали всех, едущих туда и

обратно.

Грибоедов послал несколько частных и официальных депеш Родофиникину, где несколько не скрыл своего более чем нелестного мнения о непосредственном начальнике. Он полагал, что, если за неучтивость его отзовут из Персии, это будет не слишком страшной карой. Родофиникин грамоты все-таки прислал 12 июля, но жалованье не выплатил ни Грибоедову, ни прочим дипломатам. Грек так отчаянно придерживал деньги, словно сэкономил собственные средства — впрочем, вероятно, они и впрямь шли из казначейства в его карман. Грибоедов был уверен, что не казна отказывается их выдавать, поскольку император, безусловно, заинтересован в успешной деятельности посольства. Но совсем взбесило Александра Сергеевича, что его собственные вещи, частично отправленные ему вдогонку Булгариным, попали заботами Родофиникина в Астрахань! Грибоедов проклинал идиотов, которые считают, видимо, что любой южный город находится рядом с любым другим южным городом. А из Астрахани в Тифлис только на орлах легко долететь; по морю же и по горам едва можно пробраться из Баку: «Покорно благодарю за содействие ваше к отправлению вещей моих в Астрахань. Но как же мне будет с посудой и проч.? Она мною нарочно куплена в английском магазине для дороги. Нельзя же до Тегерана ничего не есть. Здесь я в доме графа все имею, а дорогою не знаю, в чем потчевать кофеем и чаем добрых людей».

При такой непристойной невнимательности, вдобавок не платя денег, Родофиникин еще имел наглость требовать, чтобы посланник немедленно ехал в Персию. Грибоедов отвечал ему откровенно резко, чтобы даже грек его понял: «Я думаю, что уже довольно бестрепетно подвигаюсь по делам службы. Чрез бешеные кавказские балки переправляюсь по канату, и теперь спешаю в чумную область. По словам Булгарина, вы, почтеннейший Константин Константинович, хотите мне достать именное повеление, чтобы мне ни минуты не медлить в Тифлисе. Но ради Бога, не натягивайте струн моей природной пылкости и усердия, чтобы не лопнули».

Министерство, видимо, не понимало, что, прежде чем очертя голову бросаться в Персию, посланнику полезно узнать местную и международную обстановку, коли уж никто не брал на себя труд разведать ее для него. 13 июля, оставив Аделунга переводить на персидский верительные грамоты (Петербург и этого не мог сделать заранее!) и захватив с собой Мальцева, Грибоедов отправился в коляске разыскивать Паскевича в неведомом направлении. Однако дороги, размытые недавним ливнем, оказались крайне скользкими, скверные лошади не тянули в гору, и с третьей станции он, злой до последней степени, повернул назад, отправив Паскевичу уведомление о своем прибытии и просьбу не предпринимать теперь никаких действий, пока им не удастся встретиться и все обговорить.

Возвратившись в Тифлис, Грибоедов не стал никому, даже Аделунгу, сообщать о себе. Со всеми он накануне распростился и хотел, чтобы ему дали успокоиться. И прибег к старому, никогда не изменявшему средству: отправился на целый день к Ахвердовым. В предыдущую неделю он виделся с ними очень коротко, занятый официальными беседами и хлопотами. Теперь он решил ото всего отвлечься. Сначала, как повелось, долго играл на рояле, импровизировал полюбившуюся ему музыкальную форму — сонату, которых в России почему-то не сочинял ни один композитор. За обедом он сидел против Нины Чавчавадзе и отдыхал душой, глядя на ее прелестное личико. Он знал ее с детских лет и всегда очаровывался ее необыкновенным обаянием, веселостью, нежным голосом и милым, кротким нравом. Он был вдвое старше и никогда не думал о ней иначе как о восхитительном ребенке. Теперь он заметил, насколько она повзрослела и расцвела, даже по сравнению с их последней встречей. Все произошло внезапно. Он задумался, сердце вдруг забилося; необыкновенно важная служба, обременившая его, как-то придала ему решимости. Выходя из-за стола, он взял ее за руку и повел в сад со словами: «*Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire*»²¹. Нина послушалась, как давно привыкла, полагая, что он усадит ее за

²¹ Пойдемте со мною, я должен вам кое-что сказать.

фортепьяно. Однако он прошел с ней к ее дому, видя, что Прасковья Николаевна с матерью и бабушкой Нины уселись на крыльце.

Нина смотрела на него с доверчивым удивлением, дыхание его занялось, он перестал понимать, что говорит и как, только все живее и живее... Он изучил женщин, умел обыкновенно понимать, приятен им или нет, но никогда прежде он не делал предложения полуребенку — и предложения всерьез. Он не знал, как будет принят. Нина слушала его, совершенно ошеломленная: человек, на которого она всю жизнь смотрела снизу вверх, перед гением и добротой которого она преклонялась, объяснялся ей в любви! Она никогда не смела и мечтать о нем! Она вдруг заплакала, потом засмеялась — это был самый красноречивый ответ... и он поцеловал свою невесту...

Следовало испросить согласие ее родных, в котором Грибоедов, впрочем, не сомневался. Весь дом пришел в необыкновенное волнение. Прасковья Николаевна была счастлива, что ее любимейшая питомица выходит за лучшего друга ее семьи. Мать и бабушка Чавчавадзе в восторге приветствовали удачнейшую партию дочери и внучки, ставящую ее в родство с самим главнокомандующим Грузии. Если в России свататься за шестнадцатилетнюю девушку было не совсем прилично, то в Грузии этот возраст считался более чем подходящим для брака. В Тифлисе трудно было отыскать достойного жениха, и мать Нины давно уговаривала ее выйти за Сергея Ермолова, человека прекрасного, но лицом несколько похожего на татарина, его отдаленнейшего предка. Или же за Николая Сениявина, старшего сына адмирала, чей флот Грибоедов видел в Кронштадте. За Ермолова ходатайствовал Муравьев, Сениявин готов был ради Нины на любые жертвы и подвиги, но она оставалась к ним равнодушна и подчеркнуто холодна, как и ко всем прочим поклонникам. Теперь ее мать и бабка перестали беспокоиться за судьбу своей красавицы. Князь Чавчавадзе находился в армии, возглавляя осаду крепости Баязет, но все были уверены, что и он не откажет. Одна Софья Муравьева чувствовала себя немного встревоженной, зная, что ее муж относится к Грибоедову едва ли не с ненавистью, и предвидя возможные столкновения в семье, ибо сама она радовалась за Нину. Младшие девочки носились по дому. Даша Ахвердова недоумевала, как это Нина так мало боится Александра Сергеевича, что даже решается выйти за него замуж? Даше и Катиньке Чавчавадзе, донашивавшим по бедности семейств вещи сестер, обещали сшить к будущей свадьбе красные атласные башмачки, и они ждали этого события как праздника.

Посреди всеобщего ликования Грибоедов с Ниной ни на что не обращали внимания. Весь вечер и весь следующий день он почти не отпускал ее от себя; уединившись в укромном уголке, он учил ее целоваться все крепче и крепче. Но счастье было мимолетным. На второй день после помолвки он должен был снова ехать на розыски Паскевича.

Снова он с Мальцевым пустился в путь, теперь уж верхом во весь опор. На дороге к Гумрам они, к своему счастью, встретили гонца от генерала с сообщением, что вся армия движется из-под Карса к крепости Ахалкалаки; а в самих Гумрах Грибоедова ждал самый благоприятный ответ от князя Чавчавадзе. Еще дальше они натолкнулись на отряд человек в шестьсот, составленный из разных рот и выздоровевших, назначенный для усиления главного корпуса, но не знавший, где этот корпус находится. Грибоедов прихватил солдат с собой, вспоминая свой переход с русскими перебежчиками из Тавриза. Мальцев наконец оттаял и пришел в восхищение, воображая, что попал на войну. Кроме того, они нагнали Федора Хомякова, тоже блуждавшего в поисках места службы. Грибоедов был рад, что сможет лично представить генералу своего преемника. 25 июля он прибыл в Ахалкалаки, уже занятые русскими войсками. Паскевич принял его превосходно. Заносчивость генерала, на которую столько жаловались прежде, совершенно исчезла с началом войны с Турцией: перед новыми сражениями бесполезно было хвастать старыми победами. Зато Муравьев, мельком увидев Грибоедова в палатке главнокомандующего и узнав о его помолвке с Ниной, столь ясно дал понять свое величайшее неудовольствие, что Паскевич поспешил отправить

его с важным заданием подальше от Ахалкалаки. Сергей Ермолов, чьи надежды на благосклонность Нины были навсегда разбиты, напротив, принял известие безупречно, как подобало истинно благородному человеку; Сенявин перенес свое внимание на подрастающую Катю Чавчавадзе²².

Грибоедов имел в ставке графа три важных дела: обменяться ратифицированными договорами с послом шаха — персидский трактат он взял, пренебрегши его отличием от русской редакции, но свой решил отвезти лично; выяснить состояние сношений с Персией — все было замечательно, иранцы соблюдали со всеми русскими официальными лицами самый покорный тон; наконец, уговорить Паскевича двинуть армию на завоевание Батуми, единственного пригодного черноморского порта на всем побережье Кавказа. Граф не имел таких полномочий, но сразу оценил стратегическую и коммерческую важность Батуми и обещал начать подготовку к экспедиции. Уладив все, Грибоедов поспешил назад — не только ради Нины, но и потому, что взял с собой совсем мало вещей, дабы противочумное окуливание не испортило ему сразу весь гардероб.

4 августа к вечеру он вернулся в Тифлис и сразу отправился к Ахвердовым. Но и на этот раз он не успел насладиться счастьем более одного дня. 6 августа он почувствовал приближение лихорадки, с которой намучился в прошлом году. Он немедленно ушел от Нины, сказав в свое оправдание какой-то предлог. Дома он узнал, что и Мальцев слег. Ахалкалаки лежали на высоком нагорье, в зоне холодных дождей и сильных ветров со снежных вершин. Резкая перемена жары на холод сама по себе вредила здоровью, но, главное, вокруг Тифлиса находилось достаточно заболоченных, болезнетворных мест; оттуда и выползала болотная лихорадка, или малярия, как ее называли врачи. В некоторых частях Закавказья она в три-четыре года уничтожала полностью русские гарнизоны. Грибоедов всегда строго соблюдал простые правила: не пил некипяченую и вообще холодную воду, следил за чистотой рук слуг, не говоря о своих. Это уберегало от холеры и даже чумы, но от малярии спасения не имелось. Той ночью Грибоедов пережил самый тяжелый приступ горячки, какой когда-либо его трепал. Из-за военных действий в Тифлисе не осталось ни одного хорошего врача. К нему вызвали доктора Прибеля, тот дал лекарство, но оно не подействовало. Так Грибоедов вынужден был выздоравливать с помощью одной природы и собственных, не совсем еще растраченных молодых сил.

Болотная лихорадка — особая болезнь. Сильнейший жар сменяется сильнейшим ознобом, но весь припадок длится не более нескольких часов; больше организм не выдерживает и либо погибает, либо перебарывает недуг. Потом в течение нескольких суток человек не испытывает никаких симптомов, кроме общей слабости — и снова все повторяется. Так можно болеть без конца. Грибоедов находился в этом состоянии две недели. Если бы он мог перебраться в Россию, в Пятигорск, в Боржоми, он поправился бы вмиг, но у него не было сил сесть верхом и куда-то ехать, а в экипаже по Военно-Грузинской дороге или по дороге в Персию проехать было невозможно — он это уже проверил. Удушающая жара и пыльные бури Тифлиса несколько не способствовали выздоровлению. Этим летом малярия свирепствовала повсюду. Константин Христофорович Бенкендорф заболел и в две недели скончался. Грибоедов сожалел о нем, как-то не опасаясь той же участи, а Паскевич прямо порадовался смерти человека, к которому относился недоброжелательно. Грибоедов считал долгом послать соболезнования старшему брату Константину Христофоровичу, невзирая на то, что дружеская переписка с главой III Отделения могла бы вызвать неодобрение братьев Бестужевых и многих других достойных людей. Он пренебрег этими опасениями, зная, как любил Александр Христофорович своего брата, и желая почтить память умершего.

Сам он мог только лежать, страдать, думать и принимать гостей. Сначала он не хотел,

²² Он умер, не дождавшись счастья, а Катя вышла замуж в 1839 году за владельца Мингрелии князя Давида Дадияни.

чтобы Нина увидела его, истощенного лихорадкой. Он даже просил Прасковью Николаевну скрывать от нее причины его отсутствия. Но это не могло продолжаться долго: Нина узнала о его болезни и добилась права проводить у него все дни. Он не позволял ей ухаживать за ним, но ее присутствие придавало ему сил. Прежде он всю жизнь говорил с ней по-французски, как того требовал светский этикет. Но после помолвки он перешел на русский — язык его любви, дружбы и творчества. Он предполагал жениться не раньше зимы, когда Паскевич вернется из армии, а сам он — из Персии. Теперь же он начал думать, что нет смысла откладывать свадьбу, лишь бы ему поправиться. Он предложил Прасковье Николаевне подготовить все к бракосочетанию, и Нине стали срочно шить свадебные туалеты.

Принять такое внезапное решение было легче, чем его осуществить. По закону всякий служащий обязан был получить разрешение на брак от непосредственного начальника. Грибоедов должен был бы писать самому Нессельроде. Конечно, вице-канцлер не возразил бы против его женитьбы на грузинской княжне, но на эту переписку ушло бы два месяца. Венчаться вовсе без разрешения было нельзя. Грибоедов попросил Паскевича поддержать его своей властью. Ни один священник не осмелился бы нарушить приказ самого главнокомандующего. Паскевич без раздумий согласился, взяв на себя и извинения перед Нессельроде за превышение полномочий. Генерал был уверен, что по военному времени не вызовет на себя особого негодования. Теоретически государь мог признать свадьбу незаконной, но, бесспорно, он не захотел бы нанести столь жестокого оскорбления родственнику графа Эриванского и самому графу, давшему согласие на бракосочетание.

В отсутствие Нины Грибоедову не давали скучать. Его посещали генерал Сипягин, Аделунг, юные братья Бестужевы, ненадолго воссоединившиеся в Тифлисе, — как всегда, Грибоедов притягивал самых разных людей. Даже доктор Макнил нарочно приехал из Тегерана для свидания с послом России, выставив предлогом проводы жены в Англию. Несмотря на прежние их стычки, Макнил старался установить с Александром Сергеевичем наилучшие отношения, а миссис Макнил нанесла визит Нине.

Больше всего времени у Грибоедова проводил Петр Демьянович Завелейский. В марте они мельком виделись в Петербурге, когда молодой чиновник Министерства финансов только что получил назначение на видный пост гражданского губернатора Тифлиса. Грибоедов почувствовал, что в Грузии они смогут успешно сотрудничать, и сразу решил передать Завелейскому свои заметки о возможностях преобразования экономики Закавказья. Он давно их вынашивал одновременно с собственными коммерческими проектами и теперь, когда посольское звание невыразимо подняло его в глазах закавказцев, собирался действовать. Завелейскому он предложил разделить ответственность и успех.

По приезде в Тифлис он не имел минуты на то, чтобы узнать, как далеко тот продвинулся в обработке полученных бумаг, но предполагал, что недалеко. Разбор финансовых дел Верховного грузинского правительства, вверенных попечению Завелейского, явно не оставлял ни на что другое времени и сил. И вот болезнь, уложив Грибоедова в постель, но сохранив ему ясность рассудка, оказала благотворное влияние. Он ощущал себя отвратительно беспомощным — и в такой момент! Не свое теперь, а будущее доверившегося ему существа зависело от его трудов. Семейная жизнь пугала неизвестностью. И он рад был возможности поупражнять ум, создавая нечто прежде небывалое и общепольное. Серьезная работа и поднимала дух, и отвлекала от беспокойных размышлений.

Так, наконец, он вплотную взялся за составление «Записки об учреждении Российско-Закавказской компании» и устава предприятия. Идея целиком принадлежала Грибоедову, но он понимал, что воплотить ее один уже не успевает. Даже и сейчас приходилось что-то диктовать между приступами, что-то Завелейский сам писал по его наброскам. Важно было подать проект Паскевичу на предварительное утверждение до отъезда посольства в Персию. Ясно, что главнокомандующий подпишет проект не читая, но в отсутствие Грибоедова он может с этим затянуть, а ведь еще следует отправить бумаги

Компании в Петербург и ждать высочайшего решения. Между тем хотелось бы уже весной начать коммерцию. Завелейский чувствовал необходимость спешки и всемерно помогал, генерал Сипягин, Аделунг, Петр Бестужев изредка присутствовали и слушали, — но осознать гениальную простоту замысла Грибоедова им было нелегко.

«При внимательном рассмотрении Закавказского края каждый удостоверится, что там природа все приготовила для человека; но люди доселе не пользовались природою». В этом никто не возражал. Причиной являлись и бесчисленные войны, терзавшие Грузию много веков, и беспечное хозяйствование дворян вроде Чавчавадзе, и безнадежно отсталое крестьянское землепользование. Страна теперь успокоилась, но разве возможно научить грузин новейшим способам ведения хозяйства? Собеседники Грибоедова просто смеялись! да его будущий тесть оскорбится совету жить не по-княжески, а по-купечески и извлекать выгоды из своих имений! А кто другой возьмет на себя эту неблагодарную миссию? Ведь ни у кого больше нет достаточных средств и даже знаний. Правительство же имеет средства, но не знания; кроме того, идущие из Петербурга деньги очень легко могут попасть не туда, куда предназначались, а попросту в карманы казнокрадов. Недавно пришло 5 миллионов рублей — и где они? Да и что способно принести доход? Конечно, здесь производят великолепные вина, качеством не ниже знаменитых бордоских, — но кому они известны за пределами Грузии? Здесь некогда возделывали сахарный тростник, хлопок, масличные деревья, табак, ценные лекарственные растения — но все теперь заглохло. Французы недавно восстановили шелкопрядильни, но все равно вина, шелк, сахар, табак и прочие тропические культуры Россия за баснословные деньги покупает у Англии. На это тратится ежегодно около 119 миллионов рублей по таможенным росписям, неужели же Закавказье готово начать производство товаров хотя бы на четверть этой суммы? В конце концов, чего ради стараться?

Все эти возражения Грибоедов отmel. Естественно, поднять экономику края разрозненными усилиями частных лиц невозможно. Необходимо соединить в общий состав массу оборотных капиталов, или, лучше сказать, в одно общество достаточное число производителей-капиталистов; учредить Компанию земледельческую, мануфактурную и торговую, которая могла бы заняться добыванием всех тех богатств природы, которых производство, обрабатывание и усовершенствование, равно и сбыт в самые отдаленнейшие государства, превышает возможности каждого частного лица отдельно. Тогда возникнет монопольная Компания по образцу Ост-Индской или Русско-Американской. Монополии вредят промышленности, если она уже существует, но способствуют ей, если ее нет и в зачатке. Для возможного успеха Компания должна получить полную свободу действий в ближайшие пятьдесят лет; все заброшенные и пустынные земли Закавказья по символической цене, как, кстати, и предусмотрено указом от 8 октября 1821 года; все казенные сады, совсем забытые правительством; ныне турецкий Батуми с правом порто-франко. Работать на землях и фабриках Компании смогут прежде всего привычные к климату армяне; они теперь во множестве переселяются из Персии по условиям Туркманчайского мира, им обеспечены свободы от налогов, но где они найдут наделы земли? Закавказье стонет от их наплыва, Компания же даст им средства к существованию. Если их окажется недостаточно, акционеры смогут покупать крестьян в России, с тем чтобы эти переселенцы и все их потомство получили бы свободу, а через пятьдесят лет, по истечении привилегий Компании, и надел земли. Обработка земель не только оздоровила бы край, ликвидировав малярийные болота, но оздоровила бы всю жизнь Кавказа и Закавказья — если у людей есть важное и выгодное общее дело, это сплачивает их лучше, чем любые правительственные меры. Улучшение хозяйствования повысит доходы края, что всего яснее докажет местному населению благодетельность пребывания под властью России. Наконец, в руках Компании будет сосредоточена вся караванная торговля. Сейчас персидские караваны обычно отклоняются на юг, к портам Персидского залива, где продают восточные товары англичанам. И иранцам, и русским будет взаимно выгодно перенести торговлю на север, что необычайно ускорит ее оборот.

Ошеломленные слушатели попытались возразить Грибоедову, что правительство

никогда не передаст Компании такие фантастические, огромные полномочия! не в бреду ли мерещатся ему его планы? Он ожидает от России всемерной охраны экономических прав и таможенных привилегий Компании, военного приращения ее территории, включая завоевание Батуми, проведения дорог, обеспечения безопасности, — словом, попросту предлагает создать государство в государстве и взамен обещает в отдаленном будущем поставку южной продукции на русский рынок! Неужели он надеется, что император откажется от малейшей частички своей власти ради кучки капиталистов во главе с совершенно непригодными лицами? И неужели Грибоедов полностью утратил чувство реальности и знание Востока, которое так недавно блестяще проявил на переговорах, перестал быть самим собой и всерьез готов предложить правительству заведомо неприемлемый, безумно дорогой, совершенно авантюрный, вызывающе дерзкий по отношению к российскому императору проект переустройства Кавказского края? На что он рассчитывает? На авторитет Паскевича при царе? Но не он ли рассказывал, что этот авторитет почти упал из-за неумного и заносчивого поведения генерала после победоносной войны?

Но Грибоедов был уверен в своей правоте, он заранее рассчитывал на успех, он даже закупил в Петербурге труды по экономике, зная, что прочтет их в персидском безделье и употребит на благо Компании. И император, несомненно, согласится поддержать проект, поскольку тот бесспорно обладает характером поистине «позволенным, желаемым и требуемым правительством». Александра Сергеевича несколько беспокоило, что его слушатели и даже его соавтор Завелейский не сразу улавливали суть идеи, но он надеялся, что в написанном виде она станет понятнее.

А она была до крайности проста — ничего не менять! На прежних местах останутся прежние чиновники и военные, назначаемые и сменяемые Петербургом. Деятельностью чиновников будут руководить те же министры, выбранные императором. Поместья останутся в руках тех же дворян-землевладельцев, которые будут вправе хозяйствовать по своему разумению, никому не подчиняясь. Торговля будет вестись теми же армянскими купцами. Военные действия останутся в ведении императора, мир станут заключать его дипломаты. Словом, никому не придется делать ничего, что он не делал бы прежде.

Изменится лишь одно — появятся акции. Их раздадут землевладельцам под залог имений, продадут купцам по какой-то небольшой цене, их получают чиновники всех рангов под «залог» должности. Последнее немаловажно, так как привлечет их внимание к нуждам вверенного им края, чего никогда не бывало: «До сих пор заезжий русский чиновник мечтал только о повышении чина и не заботился о том, что было прежде его, что будет после в том краю, который он посетил на короткое время. Он почитал Тифлис, или какой-либо другой город за Кавказом, местом добровольной ссылки».

Соответственно, помещик, повышая доходность имения внедрением новых культур и орудий; предприниматель, заводящий фабрику на местном сырье; торговец, расширяющий связи; и, наконец, чиновник, обеспечивающий общий порядок и контроль, — все окажутся связанными взаимной выгодой. Со свойственной ему трезвостью мышления и изобретательностью Грибоедов собирался построить всеобщее процветание не на добродетелях, а на пороках людей: «Сперва корысть (ибо в общем деле Компании всякий вкладчик будет видеть частную свою пользу) заохотит многих из них и более познавать, и самим действовать. Таким образом, просвещение появится как средство вспомогательное, подчиненное личным видам; но вскоре непреодолимым своим влиянием завладеет новыми искателями образования, и чувство лености, равнодушия к наукам и искусствам, бесплодное, всему вредящее своелюбие уступят место порывам благороднейшим — страсти к познаниям и стремлению самим быть творцами нравственно улучшенного бытия своего».

Но это упования на будущее. А что получают ныне живущие? Сплоченность Закавказья общими интересами. «Ничто не скрепит так твердо и нераздельно уз, соединяющих россиян с новыми их согражданами по сю сторону Кавказа, как преследование взаимных и общих выгод». Крестьяне на землях Компании избавляются от личных податей и казенных

повинностей, но это, разумеется, не означает, что они вовсе ничего не станут платить. Напротив, налоги на каждого жителя даже со временем вырастут, поскольку «если сличим платимое им в казну с тем, что бы он мог вносить легко и безропотно при малейшем улучшении его хозяйства, то увидим, что государственные доходы могут быть впятеро увеличены». Эти налоги стала бы собирать Компания и, уделяя казне определенную плату с десятин, торговых оборотов, таможенных сборов и прочего, остальное оставляла бы себе. Но что значит «себе»? Ведь во главе Компании встанут одновременно четыре президента: главнокомандующий, тифлисский военный губернатор, российский министр внутренних дел и министр финансов, в чьем ведении и находится казна! Не стоит беспокоиться, государство не лишится доходов, они просто останутся внутри края, идя целиком на его нужды, а избыточные средства станут распределяться между акционерами после публикации годовых отчетов английского образца.

Неужели не очевидно, что государь охотно поддержит проект? Самоокупаемость имперских частей его весьма привлекает. Он сохранил «военные поселения», хотя они зарекомендовали себя с наилучшей стороны еще в предыдущее царствование. Его величество жестоко пресек бы любые попытки ограничить его самодержавную власть, чему недавно все были свидетелями, но Компания на нее и не покушается. Она не угрожает и доходам государства, поскольку уменьшение прямых налоговых поступлений в казну должно полностью компенсироваться сокращением расходов на край и Кавказскую армию. Если бы этого не произошло, это означало бы только, что богатое ресурсами Закавказье не в силах само себя обеспечить при тех людях и чиновниках, которые направлены туда императором. В этом случае придется что-то изменить: либо прекратить привилегии Компании и вернуть край в общую структуру империи (что предусмотрено проектом), — либо менять что-то в самой системе управления империей.

Все это прекрасно и убедительно, но неужели держатели акций, по преимуществу грузинские и русские дворяне, впрямь озаботятся увеличением их доходности? Да! Несмотря даже на всеобщее нежелание. Попытка какого-нибудь чиновника нажиться на вредной краю деятельности встретит сопротивление его же собратьев и подчиненных, которые не смогут не узнать о его намерениях снизить их доходы. Нежелание землевладельца улучшить дела в имении будет преодолеваться нажимом его более предприимчивых соседей или чиновников, чьи доходы сокращает его бездеятельность. На Кавказе ведь служат, как правило, безземельные русские дворяне вроде Николая Муравьева. Эти бедные и в достаточной степени решительные люди, конечно, не откажутся иметь в *дополнение* к жалованью еще и доходы с акций. Оставив службу, они передадут акции преемникам, а сами возвратятся в Россию с нажитыми капиталами, — тем самым и деньги выйдут из Закавказья в остальную часть империи. А что всего важнее, попытка провести грандиозное ограбление края объединенными силами местных чиновников разобьется далекими от их нужд вершителями судеб — петербургскими министрами и самим императором. Вот недавно французский консул разворовал полученные в аренду сады и явно намеревается сбежать. Но уж бегство Николая из страны никак невозможно! В лице своего наместника он станет наилучшим гарантом благополучия дел Компании, так что и из его абсолютной власти можно извлечь некую пользу. Пожалуй, в несамодержавном государстве такой проект был бы менее надежным. Нет сомнений, великий князь Михаил Павлович будет счастлив получить в независимое управление большую территорию, по примеру Константина Павловича, а не надобно забывать, что в его глазах Паскевич остался безупречным!

Небольшой группе просвещенных лиц Грибоедов оставлял только просветительские функции, наподобие иностранных «ученых практических обществ». Они ни в коем случае не встали бы во главе Компании, а только советовали бы земледельцам, где и какие культуры и прочее разумнее приобрести; выпускали бы сельскохозяйственные газеты; выписывали бы лучших специалистов, не давая простора жуликам; основывали бы школы...

Но заработает ли такая система? — Бог весть! оттого-то на приобретение опыта в каждой отрасли хозяйствования и отводится по проекту пятнадцать лет. Во всяком случае,

она не причинит вреда! Здесь продолжают жить и работать те же люди, которые жили и работали в этих краях до создания Компании; над ними будут стоять те же власть предержащие; их стремление к наживе или безделью, безответственность и глупость, разгильдяйство и взяточничество останутся при них, — однако их бесконтрольному проявлению будет положен некий предел.

Петр Бестужев восторженно приветствовал новые замыслы человека, который успел стать его кумиром. Юноша считал, что Грибоедов принадлежит к числу тех людей, которые, хоть и не носят короны, предназначены для преобразования мира к лучшему. Грибоедов в ответ выражал сомнения, стоит ли мир изменений: если уж на него самого давят обстоятельства, вынуждая жертвовать творчеством ради службы, то чем же жертвуют ей менее сильные духом?! От этой мысли он приходил в расстройство, но не в отчаяние. Окончательно оформив свой проект, Грибоедов послал сведения о нем братьям Всеволожским, с нарочным от их зятя генерала Сипягина для ускорения доставки письма. Ответ пришел незамедлительно. Не только Александр Всеволожский не испугался масштаба предлагаемой деятельности, не усомнился в ее осуществимости, но Никита — прежний красавец и кутила Никита! — просил найти ему какое-нибудь место при Паскевиче или Сипягине, чтобы он мог лично из Тифлиса контролировать ведение дел. Всеволожские готовы были поддержать Компанию всеми своими свободными деньгами. Просьба Никиты была тотчас исполнена, хотя Паскевич крайне удивился причуде, которая гонит петербургского щеголя и богача в Грузию. 7 сентября Грибоедов отправил свой проект на утверждение Паскевичу.

А до того он женился на Нине. Он очень жалел, что не может попросить Бегичева быть у него на свадьбе, но приезд друга заставил бы отложить ее слишком уж надолго. Грибоедов надеялся, что сможет обвенчаться в перерыве между приступами лихорадки, но 22 августа, в среду, когда Грибов уже одел его к венцу, он внезапно почувствовал начало нового припадка. Это было ужасно — хоть отказывайся, что, конечно, вызвало бы неудовольствие приглашенных и, может быть, навлекло бы на Нину насмешки. Он превозмог себя и поехал в Сионский собор, где собрались самые близкие родственники и знакомые, всего человек пятьдесят. Сбрав все свое мужество, которое обычно скрывал под маской небрежной беспечности, сжав зубы, чтобы они не стучали в ознобе, он заставил себя выдержать церемонию. Он перенес весь приступ на ногах, что было настоящим подвигом, но ничего не запомнил из событий того вечера.

Следующие две недели он то болел, то праздновал. Он выслушал хор бесчисленных поздравлений, однако не все выражали полную уверенность в будущем счастье первой красавицы Тифлиса. Те, кто помнил прежнее повесничанье Грибоедова, полагали, что из него просто не может получиться верного мужа. Конечно, прямо молодой чете этого никто не говорил, да Нина и не услышала бы. Она светилась от счастья; Грибоедов же, напротив, чувствовал себя и выглядел очень плохо; ни капли здоровой крови в нем, кажется, не осталось. Тем не менее в пятницу он дал обед с танцами, в воскресенье генерал Сипягин устроил в честь молодоженов бал с фейерверком. Одновременно Мальцев с Аделунгом все подготовили к отъезду, так что посольство могло отправиться в путь в любой момент. Грибоедов задерживался не только из-за болезни и семейных дел. Он велел Амбургеру распространить в Тавризе слух, что посол вовсе не прибудет, если Аббас-мирза не выплатит восьмой курур. По словам Макнила, дипломатический маневр удался; Аббас-мирза выжал из своей казны все, вплоть до алмазных пуговиц своих жен; остальное же обещал дать ценными вещами, вроде ковров и тому подобного. Теперь уже можно было ехать.

9 сентября Грибоедов решил выступать. Его толкал в Персию не только долг, но и любопытство — он узнал о вспыхнувшем на востоке Ирана мятеже знати против шаха, который мог сильно изменить ход дел. Нина очень волновалась, несмотря на присутствие любимого: она впервые покидала родной дом, родной город и ехала в страну, о которой в Тифлисе нельзя было услышать ничего хорошего. Ее мать решила проводить дочь до самой границы, а в Эривани с ними должен был встретиться ее отец. Грибоедов впервые

путешествовал по горам Закавказья в женском обществе. Это оказалось сложно: если Нина ездила верхом, то ее мать и служанки не имели привычки к седлу. Пришлось взять четыре коляски, кроме того, из Тифлиса министра с женой провожала до первой станции целая кавалькада всадников, не говоря о слугах и выючных лошадях. Поезд получился необыкновенно красивым и внушительным, но скорость его оставляла желать очень многого. Впрочем, никто не рвался душой в Персию, кроме Аделунга, мечтавшего поскорее увидеть край своих грез. Он изнывал от нетерпения в Тифлисе и теперь радостно несся вперед. У городского шлагбаума вслед отъезжающим играл полковой оркестр.

Путешествие протекало спокойно. Везде Грибоедова встречали сообразно его высокому статусу и популярности в Закавказье. Уже 10 сентября, по мере того как дорога шла в гору и холодало, он почувствовал себя лучше, а 11-го смог сесть на лошадь. Он с удовольствием показывал Нине места, столь хорошо ему знакомые, которые она и ее мать видели впервые; дам ждали и неизведанные переживания: обед на траве, ночлег в сакле и палатке. Грибоедов как мог облегчал им путь, но сделать можно было немного. Впрочем, Нина не жаловалась, была по-прежнему весела и беззаботна.

Ее присутствие и радовало, и тревожило Грибоедова. Черные пророчества тифлисских знакомых действовали на него, и он сам начал задумываться: «А независимость! которой я такой был страстный любитель, исчезла, может быть навсегда, и как ни мило и утешительно делить все с прекрасным, воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди как темно! неопределенно!! Всегда ли так будет!!» В эчмиадзинском монастыре, на подступах к Эривани, он взялся было написать о своей женитьбе петербургским друзьям, Жандру и Миклашевич. Нина сидела рядом, смотрела ему в глаза, мешала писать, сердясь, что он уделяет свое время другой женщине, пусть далекой, старой и уродливой, а не ей! Внезапно она вскочила и закружилась по комнате: «Как это все случилось! Где я, что и с кем!! будем век жить, не умрем никогда». Александр улыбнулся — вот доказательство, что ей шестнадцать лет. Миклашевич подождет — он забыл о письме...

18 сентября добрались до Эривани. Навстречу послу выехали разные эриванские ханы, воинские отряды, приветствовавшие его дикой скачкой и показательной стрельбой. Это представление напугало не только дам, но и Аделунга, оказавшегося нечаянно в гуще перестрелки. В городе посольство остановилось на несколько дней отдохнуть и пожить по-европейски. Приехал князь Чавчавадзе, радостно приветствуя зятя и дочь, которых не видел очень давно. Ему предшествовал его родственник, который гордо встретил Грибоедовых на самой вершине Базобрала со знаменами павшего Баязета. Ко всему прочему, Чавчавадзе, зная интерес зятя к персидским древностям, сообщил ему, что завоевал множество манускриптов, и Грибоедов взялся переслать их через Паскевича Сенковскому в Петербург. В Эривани Нина рассталась с родителями.

За несколько дней пути Грибоедов успел увидеть столько всяких глупостей и безобразий, что не сдержал возмущения: неужели во всей России никто, кроме него, не способен охватить взглядом все закавказские проблемы и решить их, заботясь не о собственных нуждах, не об узких местных интересах, а о крае в целом?! 23 сентября он стал посылать отношение за отношением Паскевичу и никак не мог исчерпать все вопросы. Он вынужден был — не властью, которой не имел, но убеждениями — изгнать из Эривани персидского чиновника, без всяких полномочий управлявшего бывшим ханством на персидский лад; ему пришлось на основании Туркманчайского договора остановить переход новых русских подданных в Иран, который наносил ущерб интересам России; он потребовал от Паскевича запретить пограничным начальникам напрямую списываться с Аббасом-мирзой — в пору, когда устанавливалась новая граница России, это было прямой изменой; он заставил скорее проводить пограничную линию; разведал причины и ход бунта в Иране; смягчил недовольство русских дипломатов, английских дипломатов, персидских дипломатов...

Но хуже всего оказалось в Нахичевани. У переправы через Аракс, оставляя окончательно Россию, Грибоедов снова отправил Паскевичу письмо об ужасной ситуации в

армянских землях. Он с цифрами в руках доказал генералу, что если жители бежали из России в Персию, виною тому были не происки иранских чиновников. Переселение армян из Южного Азербайджана устроили так плохо, что в Нахичеванской области в разных ее частях на каждых двух старожилов приходилось не менее одного переселенца. Естественно, край не мог выдержать такого наплыва людей, которым требовались жилье, питание и которые, к негодованию местных, по трактату освобождались от налогов на шесть лет. Грибоедов представил генералу точнейшие сведения и потребовал, чтобы до зимы часть семейств вывели к северу, где их готовы принять, где им есть работа; в противном случае новые провинции России окажутся на грани голодного бунта.

В Нахичевани его обступили беки и султаны, справедливо ропща на разные притеснения и требуя немедленной помощи. Отговориться было нечем. Положение в области никак не относилось к сфере прямых обязанностей посла в Персии, но Грибоедов понимал, что здесь любого начальника считают представителем власти, который вправе распределять все блага и удовлетворять все просьбы. Он почел лучшим отвести в сторону двух самых влиятельных вельмож и с выражением наибольшего доверия разъяснить им, что нынешнее положение случайно и скоропреходяще, что все будет исправлено и что им надлежит, по их обязанности, распространять в народе доверие к правительству. Отличие, оказанное им, подействовало замечательно; они тотчас почувствовали себя выше прочих и добросовестно принялись успокаивать нижестоящих. Однако Грибоедов решительно просил Паскевича устранить беспорядки, перестать назначать русских прапорщиков на место мусульманских судей («...у беков и ханов мы власть отнимаем, а в замену даем народу запутанность чужих законов»). Необходимо вернуться к правилам, которые он установил полтора года назад для Азербайджана и которые столь хорошо себя зарекомендовали. И ко всему прочему, не забывать тех, кто оказал большую помощь в предыдущую войну. Эксан-хан помог овладеть Аббас-абадом, но ни он, ни его престарелый родственник не получили знаков внимания от главнокомандующего, а хорошо бы хоть старику назначить пенсию, что произвело бы в крае выгодное для правительства впечатление, ведь иногда присылка халата с почетным русским чиновником более действует, чем присутствие войска, строгие наказания и прочие принудительные меры. Но почему все эти вопросы должен решать Грибоедов? Он не жаловался, но недоумевал. Он привык к хаосу. Но в Польше, в театре или в министерстве хаос был менее опасен, чем в Закавказье, где он накладывался на хаос местной жизни.

* * *

Прощай — иду... в чужих странах терпеть,
Любить тебя, любить и умереть.

В. И. Туманский.

6 октября, потратив добрый месяц на путь из Тифлиса до Тавриза, на который обычно уходило всего несколько дней, Грибоедов прибыл в столицу Аббаса-мирзы. Амбургер встретил его с распростертыми объятиями, предоставив самое удобное помещение. Однако скупость Родофиникина не дала ему возможности обставить дом посла хоть несколько сносно. Персидский принц принял посольство, надев на грудь портрет российского императора. 9 октября под гром пушек Грибоедов вручил шах-заде ратификацию Туркманчайского договора. Но это все были внешности, и он ими не обольщался: когда речь заходила о делах, тотчас начинались затруднения.

Главная проблема, как всегда, заключалась в англичанах. Александр Сергеевич узнал дорогой из иностранных газет, что новый премьер-министр герцог Веллингтон начал с того, что послал в Ирландию, тихую и покорную, войско, при появлении которого она явно

должна была взбунтоваться.

Грибоедов подумал, что по логике герцога следовало бы и России напасть на Польшу, отнять у нее конституцию и заняться русификацией. Он прочел, что английский король в речи на открытии парламента призвал русского царя отречься от права войны на Средиземном море. И это после того, как русская эскадра во многом предопределила победный исход Наваринской битвы! Впрочем, дело было именно в этом: англичане злобно смотрели на успехи России, а помешать им ничем не могли.

Грибоедов встретил в Тавризе всех старых знакомых: Макдональда, Макнила, Кемпбелла, секретаря посольства Стюарта — сплошь компания шотландцев по происхождению. Однако их положение по отношению к Великобритании изменилось. Макдональд находился в трудной ситуации. Он представлял интересы Ост-Индской компании, но одновременно и парламента, поскольку другого посла в Персии не держали. Между тем стремления Компании и правительства совершенно разошлись. Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо, был человек резкий, вспыльчивый и горделивый, что несколько не удивительно при необыкновенной славе, окружавшей в Англии его имя с самого 1815 года. Он считал, что разные заигрывания с местными правителями, столь любимые Компанией, противоречат чести британского оружия, и полагал единственно правильным завоевывать все территории, которые оказывались в сфере интересов его государства. Тридцать лет назад, нанявшись с собственным полком на службу к Компании, Веллингтон (тогда еще Артур Уэлсли) совершенно переменял ее полумирную политику и несколькими мощными ударами, включая знаменитый штурм Серингапатама, завоевал для нее половину Индии. С тех пор его воинственный пыл не угас, и, будучи уже в пожилых годах, он не отказывал себе в удовольствии драться на дуэлях. Естественно, премьер-министр требовал от Макдональда снова сравить Россию с Персией, чтобы тем легче было английским войскам захватить ослабленный Иран и выгнать из него ослабленную Россию. Председатель Контрольного совета по делам Индии лорд Элленборо, назначенный парламентом, также был отъявленным русофобом. Он беспрерывно подсчитывал количество русских войск в Закавказье и количество миль от Аракса до Инда и беспрерывно уверял английское общественное мнение, что только одно может спасти Индию от нашествия русских — превентивная война: надо напасть раньше, чем нападут на нас! Не на берегах же Инда встречать врага! В британской прессе в 1828 году началась настоящая истерия; журналисты призывали правительство расправиться с ненавистной Россией. В Персии доктор Макнил активно поддерживал именно эту точку зрения и заодно пугал шаха скорым падением его власти под ударами северного соседа.

Однако большинство акционеров и чиновников Компании, в том числе Макдональд и Джон Кемпбелл, сын председателя Совета директоров Компании, придерживались противоположных взглядов. По их мнению, ввиду падения платежеспособности Компании, ввиду слишком невыгодного для нее Туркманчайского мира следовало поставить крест на Иране и перенести линию стратегической обороны от Аракса в Афганистан. Торийское правительство не собиралось даже рассматривать такой вариант: уступить Персию русским? лишиться такого важнейшего рынка сбыта фабричных тканей? Не бывать этому! Макдональд стоял за мир в Иране; он жил в Тавризе, в столице Аббаса-мирзы, который тоже мечтал о мире. Макнил стоял за войну между Персией и Россией, которая заставила бы русских бороться на два фронта; доктор жил в Тегеране, в гареме шаха и пестовал в нем враждебность к царю.

Грибоедов, как и раньше, имел возможность играть на противоречиях англичан, шаха и его наследника. Возможность — но не полномочия. Он получил от министра инструкцию действовать очень жестко и прежде всего выколотить из персов восьмой курур. Он не считал это справедливым. Первоначально Петербург хотел получить пять куруров, что он и сумел обеспечить, применив чисто восточную хитрость. Но аппетит Петербурга возрос, когда Нессельроде и К^о увидели в Туркманчайском договоре цифру в десять куруров. Они захотели их получить. К приезду Грибоедова в Тавриз четыре пятых восьмого курура

находилось уже в руках Паскевича, вместо оставшейся одной пятой Аббас-мирза дал в залог алмазы, кроме того, Макдональд лично поручился за выплату этих денег. Англичанин не имел на то разрешения ни своего правительства, ни Компании: в итоге его расписка обеспечивалась только его собственным состоянием, естественно, недостаточным. Как бы то ни было, Аббас-мирза и Макдональд сделали действительно все, что могли; ни в казне, ни у населения никаких средств больше не было. Грибоедов потребовал от Паскевича вывести войска из Хойской области, удерживаемой в обеспечение восьмого курура, поскольку персы свои обязательства выполнили, хотя вместо части денег дали алмазы. Паскевич, однако, просил устроить так, чтобы армия могла зимовать в Хое, поскольку было уже поздно ее выводить. Грибоедов даже с этим справился, договорившись с принцем, что налоги с Хои будут отныне собирать персы, а русские солдаты станут содержаться за счет своего правительства. Удержание Хои за Россией не замедлило получение контрибуции. Макдональд вздохнул с облегчением и был искренне благодарен Грибоедову; он очень боялся оказаться в вечной кабале у русского правительства или же навлечь безудержный гнев собственного правительства за несанкционированное поручительство.

Аббас-мирза, желая поскорее заслужить благосклонность русского императора, перелил в слитки золотые украшения дворца, отдал золотой трон, одна отделка которого стоила дороже золота. Некогда богатый дворец шах-заде был разорен, тем более что Компания перестала поддерживать принца своими субсидиями в наказание за сближение с Россией. Русское посольство жило еще беднее. Родофиникин платил так мало и нерегулярно, что Грибоедов открыто ругал его и в частных письмах, и в официальных отношениях. Грек был жаден не только на деньги. Секретарю Амбургера Иванову, отлично работавшему в Тавризе, он шесть лет не давал нового чина, так что молодой человек взбесился и потребовал отставку. Грибоедов признал справедливость его жалобы, перевел его в штаб Паскевича и послал Родофиникину упрек, что глупость начальника лишила посольство опытного и способного чиновника. По той же причине и Амбургер просился в отставку, но его потеря была бы столь серьезной для Грибоедова, что он написал Паскевичу просьбу похлопотать о немедленном повышении ему оклада до пристойной суммы прямо перед императором, минуя проклятого грека. Что касается невыплачиваемого жалованья, то Александр Сергеевич самовольно взял недостающие деньги из курура, уведомив грека, что рад бы их вернуть, но надо же что-то есть!

Вскоре по прибытии перед Грибоедовым встала еще одна сложная задача. Аббас-мирза рвался в Петербург, желая лично выразить свое нижайшее почтение великому императору. Англичане решительно этому противились, опасаясь полностью потерять всякое влияние на принца. Нессельроде вслед за ними также противился этой поездке под предлогом, что принц захочет просить отсрочку в уплате девятого и десятого куруров. Грибоедов признавал, что это более чем вероятно, но если не позволить шах-заде поездку, его нынешнее расположение и покорность могут смениться враждебностью. Он просил министра прислать официальное приглашение, а уж Грибоедов позаботится пустить его в ход только тогда, когда принц не будет иметь физической возможности к путешествию из-за каких-то дел. Его вынужденный отказ окажется в этом случае на его совести, а дружеские отношения двух стран не пострадают.

Аббас-мирза, побуждаемый вековой ненавистью персов к туркам, мечтал вступить с ними в войну, несмотря на полное разорение своих земель. Принц вел сложную и невразумительную игру. Турецкий султан отправил тайного посланника к шаху, призывая выступить вместе против России; Аббас-мирза одновременно и без согласования с отцом послал своего агента к султану с тем же предложением (гонимые, переодетые купцами, разминувшись в пути). Шах рассердился на сына за излишнюю самостоятельность, ибо не хотел ни с кем воевать. Одновременно различные мятежные паши Османской империи то и дело присылали к шах-заде или приезжали сами, обещая что угодно, вплоть до выплаты за него двух оставшихся куруров, лишь бы он помог им хоть малым войском и пушками. Принц сам запутался в своих интригах, не понимая, стоит ли он за султана или за пашу, за

отца или за императора. И Грибоедову без труда удалось выбрать для него единственный вариант и заставить твердо его придерживаться, а именно — без колебаний встать на сторону России. Грибоедов десять лет считал, что сталкивать Иран и Турцию — политика самая правильная. Паскевич так считал. Более того, общественное мнение России тоже так считало! Булгарин однажды в письме упрашивал Грибоедова направить Аббаса-мирзу против турок. Александр Сергеевич мог только ответить в бессильном негодовании: «Любезный друг, знаешь ли ты, имею ли я на то разрешение. Коль служишь, то прежде всего следуй буквально ниспосылаемым свыше инструкциям. Я, брат, из своей головы готов изобретать всякие наступательные планы, но не исполнять, покуда мне же, наоборот, не предпишут поступать так, а не иначе».

В каждом послании Нессельроде, Родофиникину и Паскевичу Грибоедов настаивал, что надо велеть Аббасу-мирзе драться с турками. Но даже граф Эриванский не мог добиться согласия Министерства иностранных дел. Грибоедов просил его писать прямо императору, поскольку иначе, как в 1821 году, он, может быть, решится взять всю ответственность на себя: Паскевич, как тогда Ермолов, его похвалит, Нессельроде раскроет, а на чьей стороне будет нынешний царь? Грибоедов хотел быть уверен, что министр проводит политику, удобную государю. Ведь могло быть и так, что депеши посла в Персии оставались совершенно неизвестны Николаю. Знает ли он, что посланник имеет предписание любой ценой удерживать Аббаса-мирзу от возможных военных действий? Нессельроде, как и раньше, боялся вызвать гнев Англии. Грибоедова это приводило в отчаяние. Девять лет назад он добился Ирано-турецкой войны; и что же? разве это хоть как-то повредило русско-английским отношениям? Пошла ли Британия войной на Россию или хоть на Иран? Нет, она спокойно вступила в союз с Россией против Турции и сражалась, пусть и нехотя, при Наварине. Так чем она опасна России?

Наконец, была еще одна, самая деликатная, дипломатическая задача. Туркманчайский договор обеспечивал возврат России всех пленных и перебежчиков. Тут, как и десять лет назад, Аббас-мирза был непреклонен. Он не желал распускать свой батальон русских бегахдыран. Хуже того, среди пленных было немало женщин, захваченных персами и запертых в их гаремах. Невозможно было узнать, что думают пленницы о своем нынешнем положении: довольны ли судьбой или рвутся на родину? Грибоедов не мог позволить себе не думать вовсе об участии соотечественниц; но как узнать их настроение? Родственники пленных из Тифлиса, Эривани и самого Тавриза умоляли посланника вернуть их потерянных детей и жен. Некоторые армяне даже собрались ехать с ним в Тегеран, чтобы помогать в розысках. Грибоедов, однако, не представлял, как даже с помощью широчайших армянских связей проникнуть в персидские гаремы?

Борьба с собственным министерством и персами изводила Грибоедова. Своему старому кавказскому другу Петру Сахно-Устимовичу он признался: «У нас здесь скучно, гадко, скверно. Нет! уже не испытать мне на том свете гнева Господня. Я и здесь вкушаю довременно все прелести тьмы кромешной». Одна Нина служила ему утешением. Он видел в ней жену, сестру и дочь в одном милом личике; с ней он мог говорить об оставленных в России друзьях, которых ей предстояло узнать и полюбить. Но и за нее приходилось беспокоиться: она очень тяжело переносила первые месяцы беременности, а хороших врачей вокруг не было. Грибоедов с начала мая пытался добиться присылки к нему знаменитого астраханского доктора Семашко, но переписка разных ведомств никак не приходила к концу. Он захватил с собой из Эривани немецкого доктора Мальмберга, более или менее разбиравшегося в местных болезнях. Но в сложных случаях приходилось обращаться к англичанам. А те оказывали помощь бесплатно, по-дружески, что, естественно, налагало на посла ответные обязательства. Он постоянно ставил этот вопрос перед Родофиникиным, но тому-то что до болезней дипломатов?!

Из России Грибоедов почти не получал приятных вестей. В ответ на его сообщение о женитьбе матушка, вместо поздравлений, прислала такое гадкое письмо, что он не выдержал и, хоть обиняком, пожаловался Паскевичу как родственнику: «Держите это про себя и не

доверяйте даже никому в вашем семействе. Мне нужно было *вам* это сказать, сердцу легче».

Из Тифлиса пришло известие о внезапной скоропостижной смерти генерала Сипягина. Зато туда приехал Никита Всеволожский. Проект Закавказской компании был близок к осуществлению. Паскевич, лично его прочитав, был несколько напуган размахом Грибоедова и впервые направил его сочинение на рассмотрение других лиц: полковника Бурцова и генерала Жуковского, наиболее умных людей Закавказья после отъезда Грибоедова. Бывший декабрист в общем одобрил идею, но тоже ужаснулся столь огромному предприятию. Жуковский едко разругал устав по всем пунктам, но общий вывод его оказался неожиданно в высшей степени положительным: «Компания, устроенная на обдуманных правилах и составленная из одних русских акционеров <то есть российских подданных, включая грузин>, принесет великую пользу государству: она не допустит в сем краю применения капиталов чужеземных и тем всю прибыль, ожидаемую от возрастания капиталов, сюда внесенных, обратив в недра нашего отечества, послужит к обогащению оно́го». Сам Паскевич сомневался только, стоит ли заводить в Грузии фабрики: «Не должно ли смотреть на Грузию как на колонию, которая доставляла бы грубые материалы для наших фабрик, заимствуя от России мануфактурные изделия? В противном случае, при учреждении в Грузии таковых же мануфактур не ослабнет ли естественно взаимная связь оной с Россией?» Но общественное мнение, и прежде всего Всеволожский, переубедило генерала, признававшего, что он, конечно, слабо разбирается в политической экономии. Он послал проект Грибоедова на утверждение императору.

Грибоедов узнал об этом в октябре и порадовался, что хоть одно дело успешно движется. Аделунг уже предвкушал с воодушевлением, что следующим летом поедет в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец. Теперь Грибоедов мог толкать Паскевича на новые подвиги. Победы графа Эриванского над турками доставили ему славу, далеко затмившую славу Суворова. Император ни в чем не мог ему отказать. И Александр обратился к родственнику с самой настойчивой, самой важной для него просьбой: «Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского. Вспомните, на какую высокую степень поставил вас Господь Бог. Конечно, вы это заслужили, но кто вам дал способы для таких заслуг? Тот самый, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее грома побед, штурмов и всей нашей человеческой тревоги. Может ли государь отказать в помиловании двоюродного брата вашей жены, когда двадцатилетний преступник уже довольно понес страданий за свою вину, вам близкий родственник, а вы первая нынче опора царя и отечества. Граф Иван Федорович, не пренебрегите этими строками. Спасите страдальца».

Грибоедов не забывал и о прочих ссыльных на Кавказе, просил и им помочь, но через других влиятельных лиц, чтобы на Паскевича и императора давили со всех сторон. Он не мог знать, конечно, приведут ли к чему-нибудь эти просьбы. Надежды на создание Компании позволили ему грозить Паскевичу, что в случае, если все вопросы не будут вскоре удовлетворительно разрешены, он просто выйдет в отставку, удалится в Цинандали и займется хозяйством. Это теперь было осуществимо.

Но пока ему настала пора уезжать в Тегеран, к шаху, чтобы склонить его к помощи сыну в уплате куруров и заставить выдать пленных, угнанных вглубь страны. С собой он взял почти весь штат посольства: Мальцева, Аделунга, доктора Мальмберга, переводчика Шахназарова, естественно, своего Грибова, местных слуг для ухода за лошадьми и прочим и казачий конвой — всего сорок человек. Аделунг был в совершенном восторге. Грибоедов обещал по прибытии в Тегеран немедленно представить своих секретарей к персидским орденам. И юный немец предвкушал, как он явится в Петербург персидским кавалером и станет рассказывать восхищенным друзьям о путешествиях в сказочные Тегеран, Исфагань, Персеполь, Кашмир... Грибоедов смотрел на него снисходительно; он никогда не был таким, как этот юноша. Свой орден Льва и Солнца он сроду не надевал, а тотчас заложил в ломбард, чего Аделунг, конечно, ни за что бы не сделал.

Грибоедов оставлял Нину в Тавризе, на попечении леди Макдональд и миссис Кемпбелл, ибо она не могла выдержать дорогу из-за своего состояния, а при молодой миссис Кемпбелл, находившейся в том же положении, ей обеспечили бы умный и бережный уход. Дамы искренне полюбили юную жену, остававшуюся в полнейшем одиночестве посреди пугающих ее персиян. Они клялись, что ни за что не лишат ее своих забот. Грибоедов поручил и Амбургеру помогать Нине всем, что понадобится. Он расставался с любимой с тяжелым сердцем и великой грустью. Но он обещал по возможности скорее вернуться. Он даже взял с собой только зимние вещи, уверенный, что не задержится в Тегеране до весны. Мрачное предчувствие, преследовавшее его в России, исчезло. Он совсем о нем забыл.

Он покинул Тавриз 9 декабря и каждую свободную минуту думал о любимой и писал ей при малейшей возможности. Его письма были полны такой нежности, что он сам себе удивлялся. Еще недавно он боялся, что заботы, может быть, заставят его — не разлюбить ее, нет! — но оставить: «Сперва по необходимости, по так называемым делам, на короткое время, но после время продлится, обстоятельства завлекут, забудусь, не стану писать, что проку, что чувства мои во мне неизменны, когда видимые поступки тому противоречат. Кто поверит!!!»

Теперь он проверял свою верность, в которой так сомневались друзья и недруги в Тифлисе, расстоянием и откровенно признавался Нине как самому близкому существу: «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя — и тоска исчезала, теперь чем дальше от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться». Он описывал ей местные достопримечательности, надеясь в будущем году увидеть их с нею вместе. Он невыносимо страдал от одиночества — так и всегда было, но сейчас сильнее, чем когда-либо прежде.

В Казбине его задержали надолго пленные: одних не выдавали, другие сами не хотели возвращаться. Так он отпраздновал печальное Рождество. Тотчас после него он по снегу и холоду поскакал галопом в Тегеран, к великому неудовольствию его мехмендаря Назар-али-хана Авшарского, который считал неприличным для посла терять степенность, даже если он замерзает до костей. На подступах к столице Грибоедову был оказан самый пышный прием. Зато ни одного англичанина в Тегеране не оказалось! Макдональду и не полагалось здесь пребывать, но отсутствовал и Макнил. Это было странно. Обычно — да что обычно! всегда — англичане непременно находились возле любых русских чиновников и дипломатов, опасаясь пустить персидские дела на самотек. Неужели теперь они сдались перед русским полномочным министром?

Грибоедов хотел удивиться, но не успел. Его ждала депеша от Нессельроде, где сообщалось о прибытии в Петербург нового английского посла, старого его знакомого Генри Уиллока. Министр выражал надежду, что в Персии им удастся установить добрые отношения. О Макдональде в письме говорилось с похвалами, напоминавшими панегирик почившему. Грибоедов оставил три недели назад Макдональда живым, хотя и нездоровым, и если бы тот и умер внезапно, в Тегеран такое важное известие пришло бы, конечно, раньше, чем к Нессельроде или в Лондон. Грибоедов немедленно написал Макдональду, прося разъяснить эту странную ситуацию. Фактически он предупреждал уважаемого коллегу о приезде его соперника и недруга, ибо Макдональд и Кемпбелл с давних пор ненавидели интригана Уиллока. Макдональд был благодарен за предупреждение и немедленно принял меры: Уиллок действительно был назначен послом, но назначил его не Веллингтон, а его предшественник лорд Годрич. Пока Уиллок не торопясь ехал к месту службы, власть в Англии переменилась, и теперь он был самозванцем. Естественно, по выяснении сути дела, Уиллока заставили вернуться домой. Однако один из его младших братьев, Джордж Уиллок, против которого Макдональд ничего не имел, так и продолжал служить в Иране. По сравнению со всеми прочими европейцами он считался старожилом, ибо находился в Персии с 1811 года! Никто не продержался здесь так долго. Грибоедов с трудом представлял себе,

как можно вынести восемнадцать лет в стране, где и три года казались ему невыносимо тяжелым сроком.

Русскому посольству отвели большой дом, пустовавший за смертью хозяина, с баней и тремя обширными дворами, куда выходили двери всех комнат. Тегеранским мехмендарем посольства был назначен Абул-Гуссейн-хан, племянник министра иностранных дел Абул-Хасан-хана, подписывавшего Туркманчайский мир. Но и тавризский Назар-али-хан остался при Грибоедове, ибо вскоре должен был сопровождать его на обратном пути. Оба мехмендаря долго суетились, размещая членов посольства. Грибоедов выбрал себе покои в глубине третьего двора, Аделунг и доктор Мальмберг поселились поблизости, а вот Мальцев почему-то предпочел комнаты в первом дворе, более шумном и людном, рядом с комнатами Назар-али-хана. При доме не оказалось конюшни, и лошадей посольства увели в конюшни британской миссии, которые были свободны из-за отъезда всех англичан. Грибоедов хотел пошутить, что лошади теперь в полной безопасности. Ведь территории иностранных миссий в Персии обладали священным правом беста, то есть любые преступники, достигшие их, получали тут убежище, и под страхом небесной и земной кары никто не мог их схватить, а иностранцы не могли их выдать. Конюшни британцев издавна служили цели беста, поскольку в жилые помещения миссии англичане не хотели пропускать местных злодеев. Так что русские лошади находились под сенью беста.

На следующий день по прибытии Грибоедов принимал и отдавал визиты первых вельмож и министров, а на третий день представился шаху в точном соответствии с церемониалом, расписанным в Туркманчайском договоре. Как и при Ермолове, посол входил во дворец в обуви и сидел в присутствии шаха. Это вызвало некоторое неудовольствие придворных, но правила, сколь ни были для них неприятны, составляли часть трактата, и откаться от них было поздно. Грибоедов вел себя вполне непринужденно. Шах приветствовал представителя великого русского императора со всей восточной торжественностью и со всей любезностью. Грибоедов получил очередного Льва и Солнца с алмазами и золотое ожерелье, молодым секретарям пожаловали ордена низших степеней, и даже свите были розданы медали и подарки.

Грибоедов со своей стороны вручил Фетх-али-шаху верительные грамоты, но с подарками от императора вышла пренеприятнейшая история. Скупостью Родофиникина они были отправлены по Волге в Астрахань, как и личные вещи посла, ибо сплавливать их по реке выходило дешевле, чем везти сушей. Это произошло в июле, и Грибоедов был уверен, что до зимы все должно дойти до Тегерана и ждать его на месте. Однако, приехав в столицу Ирана, он, к своему гневу и ужасу, ничего там не обнаружил. Являться к златолюбивому шаху с пустыми руками было нелепо и, по восточным понятиям, оскорбительно. Он послал одного из своих людей в сторону Баку, выяснить, что случилось. Он отказывался верить, что императорский груз задержался на полгода просто по лени и беспечности портовых работников. На месяц-два, но не на полгода! Посланный вернулся с сообщением, что дорога непроездна, так что нет смысла разузнавать, все равно дары не придут до весны. Грибоедов, в который уже раз, проклял жадность грека, сэкономившего на сухопутном транспорте, — ведь по Военно-Грузинской дороге всегда можно было проехать. Он имел с собой пригоршню платиновых монет, которые начали чеканить в России с прошлого года по инициативе купцов Демидовых. Платина была очень редка, не находила никакого применения, и Демидовы, добывавшие ее в большом количестве, хотели извлечь из нее хоть какую-то пользу. Грибоедов предполагал раздарить монетки персидским сановникам в качестве уникального, занятного, но в сущности пустякового сувенира. Теперь же, из-за халатности неведомых ему лиц, он вынужден был вручить монеты самому шаху, в ожидании настоящих даров. Шах проявил подобающую вежливость, но, конечно, задержка императорских подарков была ему крайне досадна. Грибоедов уведомил Паскевича о своем прибытии в Тегеран и здешних делах и послал предельно едкое отношение Родофиникину, унижившему Россию перед шахом.

Тем не менее Грибоедов добился всего, чего желал. Шах издал строжайший указ

выдать русскому посланнику всех пленных, удерживаемых в Казеине, Тегеране и окрестных городах. Фирман шаха выполняли очень плохо. Пленные принадлежали к трем категориям: либо это были женщины и девочки, попавшие в гаремы, либо мальчики, превращенные в евнухов, либо просто рабы, купленные на рынках. Трудно сказать, кого из них персы могли бы отпустить с меньшим сожалением. Евнухи, знавшие всю подноготную домашней жизни вельмож, рассматривались ими почти как жены; о самих женах и говорить нечего — святость гарема неприкосновенна; а отдавать рабов, за которых заплачены деньги, казалось просто глупым. Вельможи охотно приглашали Грибоедова на свои пиры, которых он предпочел бы избежать для пользы пищеварения, но никакого содействия в поиске пленных и не думали оказывать. Даже если с помощью армян он узнавал точное местонахождение пленных, к появлению его людей рабов и гаремы переводили куда-нибудь за город. И все же он мало-помалу выцарапывал бывших русских подданных из домов иранцев. Разумеется, каждый раз он выяснял, хотят ли они сами возвратиться на родину. Большинство отказывалось, но и тех, кто мечтал о возвращении, находилось немало. Обычно он их сразу передавал родственникам, сопровождавшим его из Тавриза. Однажды в посольство привели из гарема самого Аллаяр-хана двух женщин-армянок, которых сумели там разыскать соплеменники. Некогда всемогущий министр, битый по пяткам после заключения Туркманчайского мира, Аллаяр-хан стал злейшим врагом Грибоедова, Аббаса-мирзы и даже шаха. Он поддерживал в пику им всем одного из сыновей шаха, прозванного Зилли-султан (тень султана) за необыкновенное сходство с отцом. Аллаяр-хан хотел, чтобы нынешнему шаху наследовал Зилли-султан, а не Аббас-мирза, излишне преданный России. Политика Аллаяр-хана соответствовала желаниям англичан, поэтому они всячески способствовали осуществлению его намерений.

Грибоедов не очень хотел принимать женщин Аллаяр-хана, тем более что среди членов посольства находился некий Рустем-бек, грузин, лично захвативший в плен Аллаяр-хана во время взятия Тавриза войсками князя Эристов. Но отправить их назад он, как посол, не имел права; к его удивлению, Аллаяр-хан не выразил никакого протеста, да и никто не обратил на уход женщин ни малейшего внимания. Им отвели обособленное помещение в русском посольстве и тут же о них забыли. Наконец Грибоедов сумел добиться почти невероятного: шах предписал Аббасу-мирзе выдать России пресловутого Самсона Макинцева, бессменного начальника батальона бекадыран. Выполнит ли принц приказ отца — оставалось неясным, но фирман шаха был ему отправлен.

Сделав все возможное, Грибоедов собрался назад в Тавриз. Он рвался к Нине, он не мог жить без нее, без ее писем. 15 января он послал ей в подарок чернильницу, приказав выгравировать на ней по-французски: «Пиши мне чаще, мой ангел Нина. Весь твой А. Г.». Сам он писал ей постоянно и каждый день с нетерпением ждал ответа. Но разлука длилась уже слишком долго. Он решил уехать, оставив в столице Мальцева для приема и вручения даров, когда те, наконец, придут. Шах дал прощальную аудиенцию, лошади и верблюды были уже заказаны.

Ночью, за два дня до отъезда, Грибоедова, мучившегося бессонницей, потревожил слуга, сказав, что в ворота стучится второй евнух шахского гарема²³ Мирза-Якуб, прося взять его в Эривань на основании трактата, ибо он прирожденный армянин, Якуб Маркарян. Грибоедов не поверил ушам. Он велел передать просителю, что ночью прибежища ищут только воры, а министр российского императора оказывает покровительство гласно и что те, кто имеет к нему дело, должны являться к нему открыто, днем, а не ночью. Это происшествие своей несуразностью и абсурдностью встревожило Грибоедова. Он не имел хороших агентов в Тегеране. В этом городе он был очень недолго в 1818 году вместе с Мазаровичем. Не зная еще персидского языка, плохо понимая местную жизнь, страдая от резкой перемены в своей судьбе, он не завел тогда дружеских связей. Теперь же он носил

²³ Второе лицо в казначействе.

сан, не позволявший ему, не унижая своего достоинства в глазах персиян, общаться с ними на улицах и базарах. Донесения коллег, слуг, конвойных казаков, Грибова ему мало помогали, поскольку все они разбирались в ситуации еще хуже него. Все же инстинкт и опыт разведывательной работы подсказывали ему, что вокруг что-то идет не так. Точнее, все шло слишком хорошо, слишком быстро и гладко, и тем-то и беспокоило его. В Тавризе библиотека британской миссии была заполнена романами Вальтера Скотта, которого Макдональд и прочие шотландцы почитали как национального героя, а Макнил был ему даже сродни. Грибоедов тоже ценил Великого северного волшебника, как его величали благодарные читатели всего мира, хотя больше любил его поэмы, а не прозу. Однажды он полистал новейший его роман, только что вышедший и привезенный Кемпбеллом из Англии, — «Пертская красавица». Там он натолкнулся на эпизод, как целый день шотландскому принцу сопутствует полнейшая удача, малейшие его желания выполняются свитой и судьбой — но то был последний день в жизни принца, обреченного на смерть заговорщиками из его свиты. Шотландцы называли состояние, когда все так великолепно, что просто не может длиться долго, словом *feu*. Грибоедов подозревал, что его нынешние удачи сродни удачам принца Вальтера Скотта. Его принимали с невиданными почестями, шах мгновенно, без задержек и затяжек, выполнял любые его просьбы, вельможи наперебой угощали, даже враг Аллаяр-хан не возражал против увода женщин его гарема — может ли все это быть правдой? Аделунг выражал восторг — Грибоедову не нравилось происходящее.

Происходящее понравилось ему еще меньше, когда на следующий день, едва рассвело, Мирза-Якуб снова явился в посольство с той же просьбой. Грибоедов принял его, пытаясь разобраться в истории, имевшей очень дурной вид. Он не знал лично второго евнуха, поэтому не мог решить, действительно ли перед ним сам Мирза-Якуб. Посетитель имел при себе некоторые бумаги и вещи, но это ровно ничего не доказывало. Очевидно, только реакция шаха подтвердит его личность. Но если это и в самом деле Мирза-Якуб, какая сила гонит его в Россию? У таких людей трудно понять возраст, но он был захвачен в плен в первую Русско-иранскую войну, около 1804 года, когда едва ли был старше десяти-двенадцати лет; значит, теперь ему могло быть лет тридцать пять — сорок: о расцвете сил у евнуха говорить не приходится, но все же это еще не те годы, когда человек испытывает непреодолимое желание возвратиться и умереть у могил предков. Его, конечно, не может влечь назад к семье, хотя он и не порвал с ней связей, помогал деньгами, благо вел бухгалтерию шаха; все же он должен был понимать, что обстоятельство, дающее ему огромные привилегии в шахском дворце, на родине вызовет одно презрение. Грибоедов постарался ясно объяснить это просителю и отговорить его, но тот твердо стоял на своем. Почему? Находясь под особым покровительством шаха, второй евнух мог не бояться совершенно никого. Неужели он боится самого шаха? Он может быть виноват перед своим повелителем лишь в одном: в значительной растрате казенных денег, которая, как он опасается, раскроется, когда начнется выплата двух оставшихся куруров. Но и это объяснение не выдерживало критики: год назад казначейство выдало пять куруров и, разумеется, провело ревизию всех средств. Тогда Мирза-Якуб не пострадал. Можно ли поверить, что с тех пор он серьезно проворовался, зная, что вскоре предстоят новые расходы по контрибуции? Совершенно невероятно. Даже если предположить иное — что в глубине души он остался православным и мечтал открыто исповедовать отеческую веру, если надеялся купить уважение соотечественников нажитыми на шахской службе деньгами, все равно его поведение казалось странным. Он столько разъезжал по делам шаха, почему бы не исчезнуть из страны незаметно и без скандала?

Грибоедов сознавал, что, приняв под покровительство российского флага доверенное лицо шаха, он окажется в тяжелом положении. Он очень не хотел ввязываться в гаремные интриги, которые, видимо, привели к нему этого человека. Но «давши слово — держись». Он собственноручно внес в Туркманчайский договор статью о возвращении пленных, он добивался перед шахом их выдачи, его отказ одному просителю позволит персам не выдавать никого и унизит Россию как государство, неспособное выполнять данные

обещания. Он принял Мирзу-Якуба в дом посольства.

Тотчас он убедился, что либо Мирза-Якуб не самозванец, либо шах участвует в его непонятной игре. Двор возопил, посланцы по двадцать раз на дню являлись в русскую миссию с требованием вернуть беглеца. Шах страшно боялся, что Мирза-Якуб расскажет посланнику о состоянии казны и о делах гарема — двух государственных тайнах, охраняемых наиболее тщательно. Грибоедов отвечал, что тот теперь русский подданный и посланник не имеет права выдать его или лишить своего покровительства. Однако он не отказывался обсудить дело. Сперва он отправил сопротивлявшегося гостя к Манучер-хану, главе казначейства и его недавнему непосредственному начальнику. Он велел сопровождать его переводчику Шахназарову, участвовавшему в Туркманчайских переговорах и знавшему Манучер-хана в лицо. Грибоедов видел в этом визите единственный смысл: убедиться в самой личности Мирзы-Якуба. Насколько он мог заключить, тот был действительно тем, за кого себя выдавал. Однако оставались неясными его побуждения. На упреки главного евнуха он ответил странно: «Точно, я виноват, что первый отхожу от шаха; но ты сам скоро за мною последуешь». Мирза-Якуб и Манучер-хан вместе попали в плен (последний был грузин из рода Ениколоповых), вместе росли и служили. Какая же причина могла вызвать их недовольство или страх? Их положение в Персии считалось высочайшим для придворных, в их руках была казна, на родине их ждали оскорбления и издевки. Чего ради они жертвовали должностью и состоянием? Из религиозных побуждений? Манучер-хан, правда, еще не просился в Эривань, но Мирза-Якуб почему-то был уверен, что это может вскоре произойти. Грибоедов извлек из появления евнуха одну пользу: тот мог точно указать местонахождение христианских пленниц гаремов. Опираясь на его сведения, посланник потребовал их выдачи, если они выразят желание возвратиться к родным, но отложил на несколько дней расследование их судеб.

На следующий день состоялся духовный суд, на который Мирзу-Якуба сопровождал Мальцев, получивший точные указания от Грибоедова. Сначала муллы и судьи пытались укорять Мирзу-Якуба в вероотступничестве, но Мальцев поклялся, что тот не скажет ничего обидного для ислама, если и ему ничего обидного не скажут. Тогда Манучер-хан обвинил своего подчиненного в краже многих тысяч туманов из казны. Грибоедов предвидел возможность подобной претензии и заранее спросил Мирзу-Якуба, виновен ли он. Тот, разумеется, ответил отрицательно и даже вызвался подтвердить свою правоту, если ему вернут бумаги, оставленные им дома и захваченные людьми Манучер-хана. По указанию Грибоедова Мальцев потребовал официально засвидетельствованных документов кражи: векселей с печатями. Таковых не оказалось; главный казначей ссылаясь на показания свидетелей и простые расписки, но Мальцев не без удовольствия сразил его наповал, велел прочесть II статью дополнительного, коммерческого акта к Туркманчайскому трактату: «Если одна из двух сторон, не будучи снабжена документами письменными и засвидетельствованными и долженствующими иметь силу во всяком судебном месте, начнет иск на другую сторону и не представит других документов, кроме свидетелей, таковой иск не должен быть допущен, разве ответчик сам признает оный законным». Персидские чиновники онемели от удивления; Мирза-Якуб заявил о своей невиновности. «Если так, — сказал Манучер-хан, — то духовного суда по этому делу быть не может; пусть все остается, как есть».

На другой день Грибоедов получил аудиенцию у шаха, где согласился на разбор дела Мирзы-Якуба самим верховным муллой, главным знатоком шариата муджтехидом Мирзой-Месихом. Однако тот оттягивал встречу, а когда Мальцев с Мирзой-Якубом сами пришли к нему, не принял их, отговорившись нездоровьем. Грибоедов видел, что последствия невероятного по персидским понятиям бегства второго евнуха можно считать преодоленными. Казалось, шах готов даже отказаться от состояния Мирзы-Якуба, которое по закону после его смерти возвращалось в казну. Грибоедов снова назначил день отъезда.

29 января он получил от своих осведомителей, которых уже сумел найти, сообщение, что муллы будоражат народ и что посланник окажется в величайшей опасности, если не

выдаст Мирзу-Якуба. Грибоедов оставил совет без внимания, отчасти полагаясь на страх перед российским императором, на святость права беста, а главное, не веря, что жители Тегерана и муллы, издавна ненавидящие Каджаров и лично шаха, захотели бы вдруг возмутиться из-за сбежавшего казначея, который был им известен как нещадный сборщик налогов. Однако он слышал собственными ушами призывы мулл, понимал, что шах их не останавливает, и вечером продиктовал Мальцеву ноту к Абул-Хасан-хану, где угрожал немедленным отъездом в Россию и, следовательно, разрывом отношений между двумя государствами: «Убедившись, из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должною приязнью, но даже и личною безопасностью, он испросит у великого государя своего всемилостивейшее позволение удалиться из Персии в российские пределы». Мальцев должен был утром отправить ноту министру иностранных дел шаха.

30 января Грибоедов проснулся, когда уже давно рассвело. Ему доложили, что оба мехмендаря куда-то ушли, вроде бы по вызову Зилли-султана, губернатора Тегерана; что базар закрыт, а народ собрался в мечетях; что муллы накануне вечером получили от Мирзы-Месиха приказ бунтовать людей, чтобы те шли к дому русского посольства и вырвали из рук неверных Мирзу-Якуба, Рустем-бека, которого ненавидел Аллая-хан, а заодно и женщин из гарема этого вельможи.

Шум толпы был уже слышен; в посольство вбежали двое купцов-грузин, крича об опасности; за ними вдруг появился племянник Манучер-хана князь Меликов, состоявший на русской службе: он, задыхаясь, передал просьбу дяди немедленно отпустить Мирзу-Якуба. Грибоедов с обычным хладнокровием и иронией ответил: «Если кто-нибудь приходит под русское знамя и находится под его покровительством, я не могу его выгнать из посольского дома, но если Якуб сам добровольно уйдет, я мешать не буду». Разумеется, Мирза-Якуб не выразил ни малейшего желания пойти навстречу приближающейся толпе.

Александр Сергеевич велел подать себе парадный мундир: возможно, вид посольских регалий напугает нападающих о дипломатической неприкосновенности членов миссии; если же нет, умирать в мундире приличнее, чем в домашнем одеянии. Потом он приказал запереть ворота и поставил казаков в переднем дворе. Караул, данный ему шахом, при первых признаках волнения тихонько исчез. Шум и вопли стали нестерпимо громкими; ворота затрещали под ударами камней, и в посольство ворвались несколько сотен человек. Священное право беста было попрано. Грибоедов успел заметить, что толпа вооружена камнями и палками, впереди бегут мальчишки и только несколько человек, с перекошенными лицами, явно находящиеся в состоянии наркотического возбуждения, размахивают обнаженными саблями. Не успел он отдать приказ стрелять холостыми и отступить во второй двор без кровопролития, как один казак и несколько слуг были убиты; сквозь дикие крики прорезался громовой голос: «Схватите Мирзу-Якуба и назад!» Несчастный евнух сам бросился в гущу толпы, то ли жертвуя собой и защищая русских, то ли увидев человека, на чью защиту надеялся. Одновременно кто-то схватил женщин Аллая-хана — и вдруг народ повалил назад и все стихло.

Осажденные перевели дух. Грибоедов оглянулся по сторонам. Около него собрались Аделунг, князь Меликов, доктор Мальмберг, Шахназаров, Рустем-бек, его Грибов, петербургский повар Яков Захаров, канцелярист князь Колобов, несколько грузинских и армянских курьеров и пятнадцать казаков конвоя. Недоставало Мальцева и нескольких слуг. Они жили в первом дворе — уцелели ли в диком нашествии?

Аделунг предложил пойти выяснить их судьбу, но Грибоедов не позволил: теперь надо было держаться вместе, народ еще бродил вокруг посольства, ворота стояли сломанные, появление европейца в переднем дворе могло вызвать новую вспышку ярости. Насколько можно было судить из глубины дома, толпа не вламывалась во внутренние помещения, так что Мальцев, если не попал нечаянно под саблю, скорее всего, жив; возможно, в наступившей тишине он присоединится к сослуживцам; если же он почему-либо считает это нежелательным для себя, то пользы от него все равно не будет.

Во дворе послышался голос, звавший князя Меликова. Это кондитер, личный поставщик Манучер-хана, прибежал именем дяди умолять молодого человека, пока есть время, воспользоваться свободным путем. Видя, что тот колеблется, памятуя о своей службе России, посланец главного евнуха стал предлагать убежище у себя или в соседней армянской церкви и всем членам посольства. Он уверял, что в городе творится что-то неслыханное, к кварталу стягивается новая толпа, но теперь не из лавочников, черни и мальчишек, а из снабженных огнестрельным оружием ожесточенных фанатиков; необходимо немедленно бежать. Грибоедов только пожал плечами — вот совет, достойный кондитера! Тот, кто побывал на войне, знает, что даже поголовная гибель всего личного состава не избавляет полк от позора, если его знамя попало в руки врага. А тут над головами осажденных развивался государственный стяг. Нечего и думать оставить его. Грибоедов никогда бы не осмелился показаться на глаза друзьям, сохранив жизнь ценой чести своей и чести родины. Меликов, одушевленный мужеством посла, к тому же зятя грузинского князя и генерала, который сжил бы со свету юношу за проявленную трусость, отказался последовать за кондитером, и тот исчез, сожалея о бесполезности своих настояний.

Ужасные крики все приближались; вооруженная толпа снова ворвалась во двор. Теперь ее цель могла быть только одна — убийство европейцев, другой причины не было. Казаки начали стрелять боевыми зарядами, проявляя неколебимое стремление спасти своего начальника. Но силы были неравны, и они медленно отступали к последнему двору.

Члены посольства собрались у комнат Грибоедова. Аделунг выразил надежду, что, может быть, им на помощь придут войска. Грибоедов покачал головой: Тегеран маленький город, четверть часа шагом из конца в конец, дворец шаха и казармы его гвардии расположены поблизости — если бы их хотели спасти, помощь давно бы пришла. Одно из двух: или Фетх-али-шах сам подбил народ на нападение, или он заперся у себя в гареме, опасаясь, как бы ненависть тегеранцев не обратилась и против него. Но зачем ему нужна смерть российского посланника? Грибоедов лучше других сознавал, что Нессельроде не пожелает развязать новую войну с Ираном, даже если посольство будет целиком вырезано; и Паскевич не сможет отомстить — у него нет ни прав, как у Ермолова, ни сил, оттянутых на турецкий фронт. Неужели шах решил воспользоваться благоприятным моментом? Но для чего? Мирзу-Якуба уже убили, состояние его возвратилось в казну, а питать недобрые чувства лично к Грибоедову шах не должен, ибо не за что. Убийством посла он не сэкономит оставшиеся куруры, скорее придется платить еще больше.

Аллаяр-хан? Он может ненавидеть Рустем-бека, но против него не надо поднимать мятеж, достаточно было бы удара ножом на улице. Грибоедов, правда, опозорил его, добившись Туркманчайского мира, но разгром русского посольства не смоем этот позор — уж хоть извинений и наказаний виновным за гибель посла император, несомненно, потребует, и Персия не сможет в этом отказать — у нее тоже нет сил на новую войну. Хочет ли Аллаяр-хан быть посаженным на кол?

Англичане? Их не было в Тегеране, и это сразу показалось Грибоедову странным. Но неужели они пытались таким наивным образом доказать свою непричастность к антирусскому выступлению, когда весь мир знает, что у доктора Макнила и Дж. Уиллока есть в столице и гареме шаха сотни надежных связей? Уиллок, кажется, даже детей имеет, прижитых от местных армянок. Отсутствие в городе не даст им ни малейшего алиби. Да и зачем им восстание? В 1805 году англичане попросту отравили наполеоновского посланника в Иране Ромье — конечно, доказать ничего не удалось, но общественное мнение обвиняло их открыто. А лет десять назад уже иранский посланник в Индии был убит в случайной драке — не придерешься. С какой стати они изменили бы образ действий? Ведь возмущение черни — палка о двух концах. Почувствовав вкус крови, чернь может когда-нибудь обратиться против других врагов. Уверены ли англичане, что никогда не поссорятся с Ираном?

Казаки почти очистили от толпы двор, усеянный телами защитников и нападающих. Но толпа просто изменила тактику: озверевшие фанатики с остановившимися взглядами и страшными взлохмаченными бородами взобрались на плоские крыши и начали пробивать их

кинжалами и прикладами. Неожоженный кирпич долго не выдержит...

Ах, Нина, Нина! Ее ждет страшное известие. Сумеет ли она родить ребенка? Останется ли после него сын? или ему суждено оказаться последним в роду? Хорошо, если Макдональды о ней позаботятся. Макдональд? У него имелся повод для неприязни: идея Закавказской компании, о которой он узнал своими путями, его очень рассердила. Грибоедов обнаружил в бумагах недавно умершего французского фабриканта шелка Кастелло проект, направленный против Компании с полного одобрения англичан. Ост-Индии был неприятен мощный конкурент. Но ведь Компания еще не создана, император может ее и не поддержать. Если же поддержит, смерть Грибоедова ничего не изменит. Найдутся люди, которые прекрасно заменят его, — Всеволожские, например. Не собираются ли и их уничтожить? Кстати, их зять Сипягин недавно скоропостижно скончался... Но если предположить, что генерал был отравлен, почему бы не использовать по старинке яд и против Грибоедова?..

Удары и топот ног над головой все усиливались. Грибоедов скрестил руки. Он переживал не за себя, за других. Посол не вправе оставить посольство, как солдат не вправе оставить пост у знамени. Но его сотрудники — теперь уже соратники — гибли ни за что. Доктор Мальмберг, циник как большинство врачей, ободрял товарищей, убеждая, что смерть не так уж страшна — ему ли не знать, он столько на тот свет спровадил. Аделунг стоял с обнаженной шпагой. Грибоедов с сожалением смотрел на юношу: что-то он теперь думает о стране своих грез? Ради такого ли конца он мечтал о ней три года? Но что бы тот ни думал, он, конечно, не позволил бы себе проявить слабость на глазах у таких стойких духом, как доктор и сам посланник. Пора было браться за оружие. Крыша скоро окажется пробита, и лучше умереть в бою, чем быть перебитыми в мышеловке.

Ах, Нина, Нина! Все-таки сбывается его мрачное предчувствие. Бегичев будет удручен, что не поверил ему. Но кто же стоит за этой толпой? Нельзя верить, что она поднялась сама по себе. О Мирзе-Якубе все уже успели забыть, а другого повода для ненависти к русским у тегеранцев нет. Выплата контрибуции их, в сущности, не коснулась — шах и без того тянул из них последние гроши. А раны, нанесенные войной, уже зарубцевались — год прошел...

Доктор, выхватив свою жалкую парадную шпагу, бросился через двор, куда врывались новые толпы, ободренные ослаблением огня. Грибоедов велел слугам заряжать ружья погибших казаков и сам стал стрелять в гущу людей. Доктор вернулся в комнату — без одной руки, сорвал драпировку, замотал рану и кинулся назад с неугасающей отвагой. Аделунг дрался с немецкой храбростью и немецкой жесточенностью. Но напор людей был так силен, что защитников втолкнули назад в комнату, в которой продолжал крошиться потолок. Персидские слуги и курьеры замешались в толпу, стремясь сойти за своих и избежать конца. Знать бы, кто виноват в нападении, можно было бы что-то придумать и оставить сообщение для тех, кто придет потом из России. Но понять нельзя — и никто, вероятно, этого не поймет. Слишком много подозреваемых, слишком мало смысла в убийстве.

В крыше образовалась дыра, показались перекошенные бородатые рожи. Собравшиеся в комнате, человек пятнадцать, начали стрелять вверх. Но и сверху в пролом просунулись ружья. Грибоедов увидел, как упал его Александр, ставший ему почти братом. Пули свистели, впиваясь то в пол, то в стены, то в людей; еще и камни посыпались. Кто ж это все замыслил и зачем?

Еще пуля. Ах, Нина...

.....

Эпилог НАСЛЕДНИКИ

Но подлые мои враги

Уж не сотрут клейма презренья,
Клейма общественного мненья
Со лба наёмного слуги.

С. Т. Аксаков

Паскевич больше месяца не имел от Грибоедова никаких известий. Это было ему непонятно и неприятно. Если даже в Тавризе не происходило ничего, достойного описания, все же генерал не хотел надолго прерывать переписку с посланником. Федор Хомяков, сменив Грибоедова на дипломатическом посту при штабе графа Эриванского, не вполне сумел его заменить; зимой же у него обострилась давно мучившая его грудная болезнь, и 15 января он скончался. Паскевич сообщил об этом Грибоедову, прося различных указаний, но ответ не приходил. Обычно Грибоедов бывал ленив в частной переписке, но официальными бумагами он никогда не пренебрегал. Тифлиские родственники и друзья не получали от него и от Нины вестей с Рождества. 6 февраля к Паскевичу неожиданно прибыл посланный от Аббаса-мирзы, уведомлявший, что принц не смог больше сопротивляться своему неистребимому желанию посетить русского императора и, пренебрегши необходимым приглашением, уже выехал из Тавриза к Тифлису. Генерал был в недоумении: еще неделю назад он послал Грибоедову просьбу непременно удержать Аббаса-мирзу от поездки, ибо император никак не может его сейчас принять. Неужели Александр Сергеевич не сумел этого добиться? Совершенно невероятно. 8 февраля граф отправил нарочного, чтобы остановить принца и выяснить, что происходит в Тавризе.

В середине февраля в Тифлисе тихонько и без особой настойчивости стали распространяться слухи, что русское посольство в Тегеране разгромлено разъяренной толпой. Паскевич не давал им веры и распорядился пресекать как злонамеренную ложь. Во-первых, он полагал, что посол находится в Тавризе; во-вторых, немислимо, чтобы слухи пришли раньше официальных донесений от Амбургера, англичан, хоть от кого-то: неужели все европейцы в Персии были перерезаны? 28 февраля графу доставили письмо от Амбургера и огромный пакет от английского посланника Макдональда. В самых приличествующих случаю, даже душевных выражениях сэр Джон сообщал трагическое известие, прилагал копию своей ноты персидскому правительству с изъяснением протеста против нарушения основополагающих норм международного права, копии личных ответов на нее шаха, его министра иностранных дел и его первого министра; а также выдержки из отчета Рональда Макдональда, посланного братом на два дня в Тегеран для расследования происшедшего.

Макдональд излагал ход событий, как он в тот момент представлялся, и уведомлял, что из всего состава русской миссии спасся один Мальцев, спрятавшийся при первом появлении толпы в покоях мехмендаря Назар-али-хана и просидевший там в неподвижности все три часа сражения. С исключительным присутствием духа, как он это называл, секретарь за большие деньги упробил нескольких не особенно разгоряченных нападавших встать у дверей и говорить всем, что это квартира мехмендаря, благодаря чему и уцелел. Вместе с ним в комнате не то в кровати, не то под кроватью пролежал один курьер и тоже остался жив; еще один курьер, весь израненный, был подобран на поле битвы. Остальные тридцать семь членов посольства и конвоя погибли, причем нескольких слуг толпа обнаружила в конюшнях британского посольства и убила, заодно уведя и лошадей. В своей ноте протеста Макдональд, однако, не стал касаться факта нарушения неприкосновенности английской территории. Тела защитников посольства, после спада безумства толпы, были погребены армянами в общей могиле за стенами Тегерана, у крепостного вала, без должных церемоний. Тело Грибоедова, изувеченное до неузнаваемости, было опознано по левому мизинцу, когда-то простреленному Якубовичем, и уже находилось на пути в Тавриз. Мальцев, семнадцать дней дрожавший за свою жизнь, поддакивавший шаху во всем, был отпущен с миром в Тавриз после настойчиво выраженного желания англичан.

Макдональд высказывал убеждение, что шах ни в коей мере не был виновен в возмущении; шахская гвардия тяжело пострадала, пытаясь прорваться сквозь толпу на помощь русским; даже шахского сына толпа прогнала с оскорблениями, когда он попытался ее уговорить. Английский посланник клялся, что невинность Аббаса-мирзы и его полнейшее неведение обо всех событиях, которые прямо или косвенно вели к этому прискорбному происшествию, лично для него вне всяких сомнений. Расстояние, которое отделяло принца от места действия, его искреннее изумление и непритворное горе, его готовность на любое искупление и вознаграждение оскорбленному императору — все это веские свидетельства в пользу того, что принц никоим образом не замешан в преступлении, заклеившем его соотечественников печатью позора. Макдональд также уверял, что Нина Грибоедова находится в его доме, на попечении его жены, в полной безопасности, и просил указаний относительно нее. Он заключал свое письмо уверением: «Более чем кто-либо другой я могу засвидетельствовать благородный, смелый, хотя, быть может, несколько непреклонный характер покойного. Будучи долгое время с ним в искренней дружбе и постоянно сталкиваясь в делах служебных и частных, я имел немало возможностей по достоинству оценить многие замечательные качества, которые украшали его душу и ум, и убедиться, что высокое чувство чести руководило им во всех его поступках и составляло его правило во всех случаях жизни».

Сведения Амбургера не добавляли ничего нового, кроме сообщений, что к домам русских и англичан приставлен усиленный караул. Генеральный консул явно не успел еще осознать происшедшее. Фирман шаха только выражал надежды на советы по поводу того, как искупить совершившееся зло. Первый министр уверял в исключительной дружественности отношений персидского и русского правительств, в благодарности русским за сдержанность и справедливость во время и после минувшей войны и полностью отменял любые обвинения, что персидский двор мог быть заинтересован в гибели посла России. Министр иностранных дел оправдывался внезапностью происшедшего, волей небес, предначертаниями рока и тоже просил помочь смыть позор с его страны.

Паскевичу понадобилось немало времени, чтобы осознать прочитанное. Никаких более точных фактов не было; с каждым днем только множились слухи, все дальше отходя от истины. Не имелось ни одного прямого очевидца событий. Донесения Мальцева, написанные им не раньше, чем он достиг русской границы, не содержали ничего, виденного и слышанного им лично, кроме описаний исключительно радушного приема, оказанного в Тегеране русскому послу. Все прочее он повторял с чужих слов. С персидской стороны никто из нападавших не пожелал, разумеется, дать показания, да едва ли они и могли бы это сделать, действуя под влиянием религиозного и наркотического опьянения. Паскевич переслал все документы Нессельроде, написав от себя, что, по-видимому, персидское правительство действительно не виновато; что, в любом случае, в Закавказье недостаточно войск для войны на два фронта; но что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении, ибо они равнодушно смотрели на перевес русского министерства в Персии и на уничтожение собственного их влияния.

Во всяком случае, писал он Нессельроде, «если персидские министры знали о готовившемся возмущении, то, несомненно, это было известно и английскому посольству, у которого весь Тегеран на откуп».

До начала весны все равно нельзя было ничего предпринять, поэтому генерал решил подождать отклика из Петербурга, прежде чем так или иначе действовать. Он с нетерпением ждал приезда Мальцева, которому готовил прием по заслугам: вел ли тот себя как предатель или как трус, эти качества друг другу сродни; на Кавказе более, чем где-либо, умели их оценить; Паскевич очень хотел заставить Мальцева пожалеть о своей сохраненной неведомо как жизни! Иван Федорович был по-настоящему взбешен и потрясен. Он никогда не выказывал особой симпатии к Грибоедову, но в глубине души признавал его умственное, нравственное превосходство, а порой и стратегический талант. Потеряв его так недопустимо, нелепо и страшно, Паскевич почувствовал, насколько ему будет не хватать советов

великого родственника. Он постарался взять себя в руки и впредь поступать так, как поступил бы на его месте Грибоедов. Видимо, тот прежде всего разослал бы повсюду полученные известия и собрал бы все свидетельства о неслыханном событии.

И поскакали курьеры, везя скорбную весть из Тифлиса.

Первой ее услышала графиня Паскевич. Она горько оплакала двоюродного брата: семья Грибоедовых не была затронута войной или даже болезнями, и для Елизаветы Алексеевны это была первая серьезная потеря. Ей выпала печальная обязанность сообщить правду Ахвердовым и Чавчавадзе. Прасковья Николаевна долго плакала, мать Нины билась и кричала, ее бабка пролиwała слезы в тишине, молча перенося скорбь. Все родственники тревожились о бедственном положении Нины. Князь Чавчавадзе просил разрешения съездить за дочерью, но Паскевич не позволил — переход генерала действующей армии, начальника Эриванского округа через границу мог быть воспринят как знак объявления войны. Паскевич не возражал против войны, но ему требовалось сначала подкрепление. По настоянию женщин Чавчавадзе за Ниной послали ее двоюродного брата Романа; леди Макдональд согласилась отпустить свою гостью, понимая беспокойство ее родных, хотя горные дороги были ей очень опасны: нерожденный ребенок был единственным, что еще оставалось Нине от любимого супруга. Она об этом не знала. Ей сообщили, что Грибоедов не пишет ей по чрезвычайной занятости и просит ее переехать в Тифлис, не надеясь увидеться с ней так скоро, как ожидал. Нина не знала английского или персидского, и можно было не опасаться, что она поймет что-нибудь из разговоров, но леди Макдональд следила даже за выражением лиц слуг, дабы нечаянно не открыть будущей матери трагическую истину. Нина не вполне верила тому, что ей говорили, но по привычке слушалась тех, кто выступал от имени ее мужа и отца; она боролась с охватившей ее тоской, с неясной тревогой и раздиравшими ее предчувствиями. Роман Чавчавадзе молчал и старался казаться веселым; это плохо ему удавалось, но он довез Нину до Тифлиса невредимой, к величайшему облегчению ее родственников. Они тоже не сказали ей ни слова, оберегая будущего ребенка Грибоедова...

Курьеры проскакали по Тифлису — и достоверность слухов была официально подтверждена. Николай Николаевич Муравьев не опечалился, узнав о гибели человека, которого считал во всем превосходящим себя. Но его ревность умерла вместе с Грибоедовым и, освободившись от ее гнета, Муравьев нашел в себе силы открыто признать: «Грибоедов в Персии заменял нам единым своим лицом двадцатитысячную армию и не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места. Он был бескорыстен и умел поработать умы если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством Персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед отъездом своим одержав совершенную победу». Муравьев полностью отверг малейшие подозрения, что возмущение толпы было спровоцировано самим посланником: он не просто верил, он твердо знал, что Грибоедов не мог совершить ничего неправильного или недостойного. Кто-то, не имея фактов, но помня всегдашнее его недоброжелательство к Грибоедову, пытался ему рассказать, что-де посол не защищался от толпы, но Муравьев резко оборвал клевету: «Это невероятно: не в подобном случае упал бы дух в сем человеке, мне довольно известном». Самолюбие, пронизательность и честность странно сочетались в Муравьеве; он так никогда и не покинул Кавказ, в следующую войну России с Турцией, в 1854–1856 годах, сделался наместником Кавказа и получил титул графа Карского за взятие мощной турецкой крепости; военной славой он сравнивался с Ермоловым и Паскевичем, но очень немногие его уважали и почти никто не любил.

Людей, пытавшихся очернить память Грибоедова, на Кавказе нашлись единицы. Юный

Петр Бестужев верно заметил, что «человек сей кажется выше всякой критики, и жало клеветы притупляется на нем». Общее мнение склонилось к мысли, что настойчиво и неустрашимо отстаивая права армян как русских подданных, Грибоедов отстаивал достоинство русского имени, что на Востоке всегда сопряжено с опасностью для жизни и требует особенного мужества и нравственной силы. Офицеры были убеждены, что отказать армянам в убежище было неpolitично, выдать их персиянам — значило покрыть себя вечным позором. Грибоедову не оставалось иного исхода, как отразить силу силою и лечь на месте, защищая святое дело права и человечества. Им казалось, что любой из них поступил бы точно так же. Они хором обвиняли Мальцева в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым — но обвиняли за глаза, ибо лично с ним вообще никто не желал разговаривать. Муравьев пытался без одушевления его оправдывать тем, что тот не военный, не конвойный, не обязан был умирать при начальнике. Но никто его не слушал, в пользу Мальцева не говорил ни один самый мелкий факт его жизни или черта его характера. На Кавказе ему сразу уготовили участь изгоя.

Курьеры скакали дальше. Кругами расходилась от них трагическая весть, никого не оставляя равнодушным: автор «Горя от ума» больше никогда ничего не напишет! Курьеры скакали, скакали и въехали в Москву.

Настасья Федоровна приняла сообщение о гибели сына чрезвычайно болезненно и в одном восклицании выразила всю силу своих материнских чувств. Она стала рвать на себе волосы и кричать, что несчастнее ее нет никого на свете и что гораздо было бы лучше, если бы у нее умерла дочь! Эти слова очень повредили ей в глазах тех немногих, кто еще сохранял к ней остатки уважения. И даже Мария, знавшая матушку, готовая простить ей многое, никогда не простила смерти брата. Мария и ее муж были уверены, что Александр не поехал бы в Персию, если бы не настояние Настасьи Федоровны, которая никогда его не понимала. Они были не правы: свое решение Грибоедов принял не под влиянием матери, но верно было то, что она отравила ему даже последний месяц жизни своим гадким письмом. Настасья Федоровна, впрочем, не обращала внимания на общее молчаливое осуждение. Она была озабочена тем, чтобы выбить деньги из всех, кто, как она предполагала, мог быть что-нибудь должен ее сыну. Она предъявила иск Никите и Александру Всеволожским, которые никак не могли вернуть ей данные в рост деньги, ибо вложили их в Закавказскую компанию; они рассчитывали на будущие прибыли, но Настасья Федоровна не стала ждать и обратилась в суд.

Алексей Федорович был по-иному огорчен смертью племянника: с ним пресекался род Грибоедовых. Старик умер в 1833 году, завещав Хмелиты старшей дочери; Елизавета Алексеевна в 1859 году оставила имение единственному сыну — Федору. Паскевичи поддерживали поместье, сохраняли школу для крестьян, но никогда здесь не бывали, даже наездом. Уже в 1855 году от Хмелит остались лишь заросший парк да полуразвалившийся дом.

Дочери Алексея Федоровича не могли пожаловаться на судьбу. Графиня Эриванская была богата, любима в семье, почитаема в свете, добра и обходительна со всеми; ее обращение, лишенное притязаний, восхищало тех, кто помнил о ее высоком положении. Ее сводная сестра Софья необыкновенно счастливо вышла замуж за младшего сына известнейшей Марьи Ивановны Корсаковой Сергея. Супруги всю жизнь провели в Москве, воспитали многочисленных детей и в середине века являлись общепризнанными хранителями лучших традиций старого московского быта — веселости, праздничности, радушия и хлебосольства.

Бегичев, услышав об убийстве друга, молча повернулся и ушел в кабинет. Анна Ивановна, сама питавшая глубокую привязанность к Грибоедову, запретила кому-либо тревожить его. Степан Никитич вышел от себя через два дня — весь седой... Он умер тридцать лет спустя и до конца дней упрекал себя, что не остановил друга на последнем роковом пути, пренебрег его предчувствием, невольно толкнул в Персию, хотя знал, что его

мечтой было поселиться в деревне и посвятить себя литературе. Годы шли, но ничто не стирало его грусти, ничто не развлекало. Он свято сохранял каждый клочок бумаги, исписанный рукой Грибоедова; его черновую тетрадь, забытую в Лакотцах, он только перед смертью передал Жандру; а с рукописью первой редакции «Горя от ума» так и не нашел сил расстаться. Более чем полувеком спустя его дочь решила подарить ее Историческому музею. Степан в неприкосновенности сохранял и ветхую беседку, где Грибоедов писал свою комедию. Бегичеву не понадобилось защищать память друга, ибо никто не пытался ее чернить, но однажды он все же взялся за перо, чтобы сообщить о Грибоедове то, что считал важным для потомства: он написал его биографию, очень коротко, очень сдержанно — и предельно точно. Многолетняя скорбь не убила в нем жизненных сил, он оставался истинным представителем своего поколения. И даже когда он стал стар и глух, юноши, глядя на него, невольно вспоминали строчки Лермонтова:

Порой обманчива бывает седина:
Так мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина.

Дмитрий Бегичев в 1831 году выпустил свой первый роман «Семейство Холмских», где все герои были названы именами персонажей «Горя от ума» и комедий Шаховского. Автор изобразил двадцать семей, словно бы хорошо знакомых читателям, и только одна из них была счастлива. Скромный успех его произведения побудил Дмитрия Никитича сочинить еще несколько книг — конечно, анонимно. Одновременно он продолжал службу и достиг сенаторского звания. Степан и Дмитрий прожили жизнь так, как хотели, и были бы вполне счастливы, если бы не тоска по Грибоедову...

Курьеры скакали дальше и наконец достигли Петербурга.

Друзья Грибоедова очень болезненно отреагировали на привезенное известие. Вяземский испытал подлинное потрясение: «Я был сильно поражен ужасным жребием несчастного Грибоедова. Давно ли видел я его в Петербурге блестящим счастливецом, на возвышении государственных удач; давно ли завидовал ему, что он едет посланником в Персию, в край моего воображения, который всегда имел приманку чудесности восточных сказок, обещал ему навестить его в Тегеране и еще на днях, до получения рокового известия, говорил жене, что, не будь войны на Востоке, я нынешним летом съездил бы к нему. Как судьба играет нами, и как люто иногда! Я так себе живо представляю пылкого Грибоедова, защищающегося от иступленных убийц, изнемогающего под их ударами. И тут что-то похожее на сказочный бред, ужасный и тягостный».

Пушкин отнесся к этому иначе. Он искренне верил, что быстрая смерть в расцвете лет лучше долгого старческого угасания: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Пушкин выполнил обещание, данное покойному другу: без государева разрешения он поехал летом на Кавказ, хотя Грибоедов уже не мог принять его там. Знакомые пытались его отговорить:

— Ах, не ездите! Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова.

— Так что же? — возражал Пушкин. — Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал «Горе от ума».

Пушкин опубликовал историю своего путешествия в Арзрум — первое прозаическое описание Кавказа и Закавказья, по которому красной нитью проходила тема Грибоедова. Он сказал о нем так же мало, как Бегичев, в отличие от него очень неточно, — просто ни слова правды — и в то же время создал непревзойденный художественный образ великого писателя, брошенного властями один на один с вероломными персиянами.

Общество хором осудило низость Мальцева. Может быть, немногие на его месте поступили бы иначе, но никто в этом не признавался. Молодой Киселев, которого Нессельроде «сберег» для Парижа и Рима, возмущался: «Я бы не прятался так подло, как Мальцев, я бы дал себя изрубить, как Грибоедов, во-первых, потому что я его любил и еще потому, что это значило умереть на посту, как часовой». Александра Россет оборвала всякие отношения с Мальцевым, и император ее за это не осудил. Впоследствии он выдал ее замуж за Н. Н. Смирнова и под именем Смирновой-Россет она вошла в русскую литературу как адресат писем и посланий писателей двадцатых — сороковых годов, от Жуковского и Пушкина до Лермонтова и Гоголя.

Жандр никак не отозвался на гибель друга. Но он расстался с творческой ленью, в которой его так часто упрекал Грибоедов, начал писать самостоятельные вещи, стихи и даже роман в стихах. Варвара Семеновна Миклашевич сочла своим долгом закончить оставленный было роман «Село Михайловское», первые главы которого одобрил Александр Сергеевич. История мрачного преступления крепостника-помещика была запрещена цензурой, но роман стал известен в списках, и в одном из его героев, Рузине, современники находили черты Грибоедова. После смерти Миклашевич Жандр, будучи почти шестидесяти лет, женился на ее молодой воспитаннице и обзавелся кучей детей, которых отчаянно баловал. Он стал сенатором и пользовался всеобщим почтением; был бодр и подтянут, на службу и домой ходил пешком, но карета ехала рядом — так было приличнее. «Черновую тетрадь» Грибоедова, полученную от умершего Бегичева, он передал Дмитрию Александровичу Смирнову, сыну Вари Лачиновой, который с юных лет и до конца жизни, преодолевая тяжелейшую болезнь, постоянно борясь со смертью, собирал любые свидетельства о жизни великого дяди, разыскивал его еще живых знакомых. Смирнов опубликовал тетрадь — и вовремя: она сгорела при пожаре его имения Сущево, где Грибоедов когда-то поправлялся после лихорадки в 1813 году. Жандр, Бегичев, Сосницкий очень много рассказывали Смирнову о Грибоедове; рассказы эти тот записал — не всегда достоверные, они донесли до нас голоса друзей Грибоедова, порой и его собственный живой голос.

Еще один человек попытался передать слова и мысли Грибоедова — Фаддей Булгарин. Уже в 1830 году он в своем «Сыне Отечества» разразился слезливо-элегическими «Воспоминаниями о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове». Как он старался изобразить себя лучшим другом великого писателя, как рыдал и бил себя в грудь! «Грибоедова любили многие, но, кроме родных, ближе всех к нему были: С. Н. Бегичев, Андрей Андреевич Жандр и я. Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив его дружбою, жил новою жизнью в другом, лучшем мире и осиротел навеки!..» В этих записках нашла свое незаконное место и история юнкера Генисьена, и были изложены речи Грибоедова. Уж на что Загоскин мог считаться едва ли тремя баллами выше Булгарина, а и то не сдержал возмущения: «Он, потеряв Грибоедова, осиротел навеки! Фаддей Булгарин осиротел навеки!! Ах он собачий сын! Фаддей Булгарин был другом Грибоедова, — жил с ним новой жизнью!! — как не вспомнить русскую пословицу, в которой говорится о банном листе».

Всеобщее негодование не остановило Булгарина, он и дальше продолжал в том же духе, навязываясь в друзья Пушкину, Крылову, когда они уже не могли отвергнуть его притязания.

К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный.
В живых ни одного он друга не найдет.
Зато, когда из лиц почетных кто умрет,
Клеймит он прах его своею дружбой грязной —

отозвался на эти происки Вяземский.

Что ты несешь на мертвых небылицу,
Так нагло лезешь к ним в друзья?
Приязнь посмертная твоя
Не запятнает их гробницу! —

от имени молодого поколения воскликнул Н. Ф. Павлов.

Булгарин окончательно потерял лицо, связавшись с III Отделением, и оказался на задворках литературы. Он полагал себя известнейшим автором, поскольку его романы выходили огромными тиражами. Но читали их те, кто не составит писателю чести и славы. Литературные пристрастия кухарок и лабазников исчезают без следа; любовь к «Евгению Онегину» и «Горю от ума» — наследственна.

И все же Булгарин по-своему выразил сожаление о смерти того, кого — может быть, искренне — считал своим другом. Среди тех, кто близко знал Грибоедова, только двое — Ермолов и Катенин — восприняли его кончину с долей злорадства. Ермолов так и не простил ему близость к Паскевичу и дал понять в беседе с Пушкиным, что Грибоедова не жалко, плохой, мол, поэт, от его стихов скулы болят. Этот отзыв тем более разителен, что Алексей Петрович глубоко почитал литературу и впоследствии возмущался убийством Лермонтова: «Таких людей надо беречь!» — хотя его творчество было мало понятно старшему поколению.

Катенин тоже завидовал, но его зависть не умерла вместе с Грибоедовым, подобно чувству Муравьева, ибо «Горе от ума» осталось бессмертным. Он с обидой глядел из своей костромской деревни на взлет карьеры Грибоедова; узнав же о его гибели, намекнул, не покарало ли его Провидение за забвение старых друзей (хотя оба раза сам прервал с ним переписку): «Смерть Грибоедова может маловерного поколебать: нет ли, мол, Провидения? только...»

Весть о тегеранской резне достигла, разумеется, и высочайших ушей. Это была первая насильственная смерть русского писателя в царствование Николая I (если не считать казни Рылеева — но то особый случай). Когда вслед за Александром Грибоедовым погиб Александр Пушкин, погиб оттого, что император силой удерживал его при дворе, даже несуетливый Александр Бестужев, взявший после восстания псевдоним Марлинский, решил, что скоро настанет его черед. Когда Александр Бестужев таинственно погиб на Кавказе; когда в солдатском лазарете умер от малярии Александр Одоевский; когда тюрьма и кандалы умертвили Александра Полежаева, — многие подумали, что имя «Александр» вредно для русских поэтов. И только гибель Михаила Лермонтова, наиболее угодная царю, которую он сознательно ускорял, посылая его на верную смерть в обреченный на уничтожение полк, только эта гибель доказала, что не имя, а участь поэта вредна для русского человека. Кюхельбекер в одном из последних своих, предсмертных, стихотворений вспомнил всех тех, кого он любил и пережил, написав, как всегда, негладко, неудачно, но очень умно:

Участь русских поэтов

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму.
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадёжной ссылки...
Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлет пулю их священному челу;
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,

Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную.

Николай I не любил писателей, если они не выражали постоянно верноподданнических чувств. Его прямо и косвенно обвиняли в смерти Пушкина, Лермонтова, Бестужева... Но смерти Грибоедова он не хотел!

Автор «Горя от ума» был ему неприятен, но этот автор давно ничего не писал, по слухам, задумывал трагедию из грузинской жизни. Это не было бы страшно императору. Зато убийство русского полномочного министра наносило престижу России и ее государя удар небывалой силы. Николай не встречал в России признания своих достоинств и заслуг ни в одном слое общества, кроме как среди чиновников, доносчиков и жандармов. Он желал хоть блестящими победами добиться уважения подданных. И вдруг он был смертельно оскорблен, презрен в лице своего посла! Император жаждал мести.

Но Нессельроде думал иначе. Верный своей нелепой про-британской политике, министр больше всего опасался недовольствия англичан, если Россия проявит излишнюю резкость в отношении Персии. Ничего еще не зная, ничего и не желая знать, граф заранее решил свалить всю вину за тегеранскую катастрофу на самого Грибоедова, благо тот не мог ответить. Даже глава III Отделения А. Х. Бенкендорф, в память о своем младшем брате хорошо относившийся к Грибоедову, счел необходимым под видом собранных пересудов представить Нессельроде твердое убеждение общественного мнения, что посланник пал жертвой политической интриги. Но министр тотчас ответил, что мнение сие непрозорливо, что Грибоедов, «несмотря на пребывание в течение нескольких лет в Тавризе и непрерывные сношения с персами, плохо узнал и неверно судил о народе, с которым имел дело».

Кто ж судил вернее? В России не было лучшего знатока персидских дел и нравов. Не иначе как Нессельроде имел в виду англичан, чье суждение, конечно, единственно правильное. Но Бенкендорф не стал — да и не мог — вмешиваться в вопросы международной политики. Он постарался сделать то, что было в его власти. Настасья Федоровна к тому времени начала дело и против Булгарина, требуя вернуть деньги, взятые из награды Грибоедова. III Отделение, заменив собой суд, велело Булгарину отчитаться о тратах. Тот доказывал, что издержал огромную сумму на покупки книг, посуды, одежды и всего, что послал Грибоедову через Астрахань. Он даже выдавал надпись Грибоедова на списке «Горя от ума» («„Горе“ мое поручаю Булгарину») за дарственную и на этом основании просил признания своих прав на пьесу. Бенкендорф не стал его слушать, а просто приказал возратить весь долг, а о «Горе от ума» не смей и мечтать. Но не Настасья Федоровна унаследовала сыну. Около двух лет все, что осталось от наград и жалованья Грибоедова, хранилось в Опекунском совете. Надо отдать справедливость Бенкендорфу, он сумел разобраться в ситуации. В августе 1832 года сонаследниками Грибоедова были признаны его жена и сестра; им же были переданы все права на «Горе от ума». Они получили небольшие средства, ибо пьесу так и запрещено было издавать, но их хватило для скромной, независимой жизни. Грибоедов, хотя бы после смерти, сумел обеспечить спокойное существование двух самых дорогих ему женщин.

Правительство лишило наследниц драматурга (не говоря о книготорговцах) доходов от публикации «Горя от ума». Нина и Мария не сожалели о деньгах, зная, что слава великой комедии незыблема, книготорговцы брали свое, печатая Булгарина.

Правительство не пропускало пьесу и на сцену, лишая актеров великолепных ролей. Они не собирались с этим мириться. Во главе с Сосницким и братьями Каратыгиными, которые ближе всех были к Грибоедову, они начали битву за «Горе от ума». 2 декабря 1829 года Сосницкий ввел комедию на подмостки с черного хода: представил часть первого акта внутри большого дивертисмента, под видом репетиции. Крыша театра не обрушилась, революция не произошла, правительство несколько образумилось. 26 января 1831 года, почти через два года после тегеранской катастрофы, «Горе от ума» вышло на сцену Большого театра Петербурга в бенефис Брянского. Чацкого играл великий Василий

Каратыгин, пользуясь указаниями, когда-то полученными его братом от самого Грибоедова. Петр Каратыгин играл Загорецкого; Нимфодора Семенова — Софью; Брянский — Горича; жена Василия, дочь актрисы Колосовой, — молодую супругу Наталью Дмитриевну; Ежова — старуху Хлестову; Сосницкий — Репетилова. Цензура, конечно, зверствовала; один остроумный зритель заметил, что из пьесы исчез весь ум, осталось одно горе. Пропуски зрители восполняли по памяти, но спектакль все равно не понравился. За прошедшие годы читатели успели сродниться с героями Грибоедова, привыкли к ним как к живым, а актеры в большинстве играли по старым канонам, как декламаторы, и выглядели ненатурально в пьесе совершенно нового типа. Только Ежова и особенно Сосницкий снискали всеобщие похвалы. Для Сосницкого роль Репетилова на всю жизнь стала коронной и любимейшей. С тех пор «Горе от ума» разрешили ставить, и ставят до наших дней...

Курьеры остановились, но слух о гибели Грибоедова проникал в самые потаенные уголки России. Он проник в Динабургскую крепость, где был заключен Кюхельбекер. Собственные страдания не охладили сердце Вильгельма. Всю жизнь в одиночных камерах, в сибирских деревнях он вспоминал великого друга, посвящал его памяти стихи, цитировал его слова, обдумывал его произведения. Грибоедов остался с ним навсегда

...насмешливый, угрюмый,
С язвительной улыбкой на устах,
С челом высоким под завесой думы,
Со скорбию во взоре и чертах!

Слух достиг Якутска, куда был сослан Александр Бестужев. Он больше не писал стихов, но откликнулся литературными воспоминаниями о первых встречах с Грибоедовым, где были только рассуждения о Байроне, Гёте, о женщинах, — но и их не пропустили в печать.

Слух достиг Петровского завода, где содержались большинство декабристов. Александр Одоевский написал не стихотворение — крик души, неотделанный, необдуманый, как погребальный плач:

Где он? Кого о нем спросить?
Где дух? Где прах?... В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить,
Ее согреть моим дыханьем;
Я с ненасытимым страданьем
Вопьюсь очами в прах его,
Исполнюсь весь моей утратой,
И горсть земли, с могилы взятой.
Прижму — как друга моего!

Достойнейшие люди России в бессилии оплакивали убитого друга; литература в лице Пушкина спокойно перенесла утрату драматурга; государство не собиралось мстить за посла. И лишь один человек требовал расплаты виновным. Паскевич получил от Нессельроде нервные указания вести себя сдержанно и мольбы «беречь англичан и не давать веры слухам, которые распространяются про них». Паскевич проигнорировал эти просьбы, зная, что может писать напрямую императору, и не сомневаясь, что сумеет оправдать целесообразность своих действий. Он твердо потребовал прислать в Астрахань 10 тысяч солдат в подкрепление его армии. Он не собирался воевать, поскольку это было бессмысленно — мир лучше Туркманчайского никто уже не мог бы заключить. Но он собирался жестко надавить на Персию. Петербург соглашался принять извинения шаха из

рук простого посла — граф Эриванский настаивал на приезде в Россию одного из сыновей или внуков шаха. Персы по обыкновению тянули время.

В середине апреля Амбургер самовольно покинул Тавриз, чтобы обеспечить встречу траурному кортежу Грибоедова. Генеральный консул доехал до Нахичевани и там остался, ожидая скорбную процессию. Паскевич, узнав о его приезде в Россию, сперва рассердился, а потом оценил выгоду от поступка дипломата. Он приказал Амбургеру оставаться в России; тем самым фактически произошел разрыв дипломатических отношений двух государств — а подкрепления уже прибыли в Астрахань! Нессельроде в Петербурге бесился, требовал возвращения Амбургера, но граф Эриванский объяснял, что не отпустит консула, пока шах не пришлет искупительную миссию. Нессельроде от отчаяния снарядил посольство в Персию во главе с князем Николаем Александровичем Долгоруковым. Тому вменялось в обязанность заменить Грибоедова и одернуть Паскевича. Главнокомандующий возразил против этого посольства, которое показало бы персам, что Россия в них нуждается. Долгоруков приехал в Тифлис, но дальше Паскевич ему просто не позволил ехать! Попутно Иван Федорович не упускал случая напомнить Мальцеву, что по нему Персия плачет и что его отправят туда сразу же, как возникнет такая возможность. Мальцев молил о пощаде, твердил, что ему невозможно воротиться туда, где его жизнь ежеминутно будет подвержена опасности, где ему придется испить до дна горькую чашу ненависти и мщения; он умолял отослать его в Петербург, где он мог бы ожидать назначения в одну из европейских миссий и был бы избавлен от когтей персиян. Он отчаянно взывал к правосудию и милости Паскевича. Но тот отказывал ему во всем — кроме правосудия. В мае Мальцеву прислали из Петербурга Владимира четвертой степени «во внимание к благоразумию, оказанному во время возмущения в Тегеране». Эта награда вызвала бурю негодования повсюду, и Паскевич при первой же okazji отправил Мальцева в Тавриз. Его не убили там, даже не тронули, он успешно служил в Министерстве иностранных дел, заботился о своих хрустальных заводах, но везде и всюду оставался изгоем — семьи не имел, жил нелюдимо, под конец сделался скупым, угрюмым стариком. Он сохранил жизнь ценой чести — и жизнь ему этого не простила.

Паскевич вел невиданно твердую линию: он требовал от Персии начать войну с Турцией, наказать виновных в тегеранской резне, прислать все мыслимые извинения. Его исключительно резкое письмо Аббасу-мирзе вызвало величайший переполох в Петербурге и Лондоне: «Не употребляйте во зло терпение российского императора. Одно слово моего государя — и я в Азербайджане за Кафланку, и может статься не пройдет и года, и династия Каджаров уничтожится. Не полагайтесь на обещания англичан и уверения турок... С Турцией Россия не может делать все, чего желает, ибо держава сия нужна и необходима для поддержания равновесия политической системы Европы. Персия нужна только для выгод Ост-Индской купеческой компании, и Европе равнодушно кто управляет сим краем. Все ваше политическое существование в руках наших, вся надежда ваша в России, она одна может вас свергнуть, она одна может вас поддержать».

Дипломатический и военный демарш Паскевича имел успех. Шах провел в Тегеране массовые казни не столько виновных в разгроме русского посольства, сколько подвернувшихся под руку преступников. Глава духовенства мирза Месих был изгнан; Аллаяр-хан получил назначение подальше от столицы. Декорум был соблюден. В мае в Тифлис прибыл любимый сын Аббаса-мирзы принц Хосров-мирза, европейски образованный, необыкновенно одаренный, весьма красивый, только исключительно низкого роста. Генерал с ходу дал ему почувствовать, что «он явился не в гости, а с повинной». Однако в прочих городах России вплоть до Петербурга перса встречали как особу царственной крови, задавали балы и обеды. Но виноваты ли местные власти, если даже мать Грибоедова приняла его и вместе с ним «горько поплакала» над судьбой сына! Настасья Федоровна умерла в 1839 году, никем не оплаканная.

12 августа 1830 года на торжественной аудиенции в Зимнем дворце Николай I предал «вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Обрадованный Нессельроде

продолжал и впредь свою недальновидную и вредоносную проанглийскую политику. Она привела Россию к поражению в Крымской войне, и бессменный в течение тридцати пяти лет министр иностранных дел был с позором отправлен в отставку. Впрочем, он и до того не пользовался уважением честных людей. Вяземский, например, с ним даже не здоровался. Николай I не пережил бесславного конца своего бесславного царствования; он умер под грохот британских пушек у Петербурга и всех прочих портов России, и никто о нем не пожалел.

Паскевич, в течение года после смерти Грибоедова словно унаследовавший его энергию и ум, скоро их растратил. Он свято выполнил все, о чем просил его погибший родственник. Он совершил истинный подвиг, сумев добиться высочайшего учреждения Закавказской компании. В январе 1831 года «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили о ее создании, напечатав список акционеров, куда вошли Паскевич, генерал Жуковский, Завелейский, Всеволожские и многие другие. Но в 1830 году вспыхнуло восстание в Царстве Польском, и император перевел Паскевича туда — в виде чести, дал ему титул князя Варшавского, однако подспудно был рад, что лишил «отца-командира» избытка власти, которой тот слишком вольно распоряжался на Кавказе. В 1832 году вспыхнуло восстание грузинских князей, поднятое князем Чавчавадзе, на которого смерть зятя подействовала очень сильно. Мятеж, конечно, подавили и изменили после него систему управления краем. Компания тихо сошла на нет, лишившись прав и грибоедовского гения; Паскевич до конца жизни завяз в Польше. Но он не забывал своих обещаний Грибоедову. С 1829 года Иван Федорович постоянно хлопотал за Александра Одоевского, но только в 1837-м император согласился перевести его в Кавказский корпус рядовым без права выслуги. Грибоедов даже после смерти помогал друзьям. «Благороднейшая душа! — вздыхал Бестужев. — Свет не стоил тебя... по крайней мере, я стоил его дружбы и горжусь этим».

Память о Грибоедове сохранялась не только в сердцах тех, кто и сам вскоре умер, в стихах и воспоминаниях, которые немногие пожелают прочесть. Она сохранилась в алмазе «Шах», который ни один невежда не дерзнет уничтожить. Хосров-мирза преподнес его Николаю I во искупление персидских грехов. Если бы можно было назначить цену за этот алмаз, можно было бы узнать «цену крови» Грибоедова. Но такие явления не имеют цены...

Нине Грибоедовой сначала не хотели открывать правду, но потом решили, что это необходимо: ведь она могла нечаянно услышать о трагедии просто из разговоров за окном. Лучше бы она осталась в Тавризе! Она не помнила, кто сообщил ей страшное известие — Ахвердова ли, мать или Елизавета Паскевич. Несколько недель Нина находилась в бреду; ее ребенок — мальчик! — родился недоношенным, был окрещен Александром в честь отца, но умер через час... Нина выздоровела, но жизнь ее остановилась. Ей было только семнадцать лет, но она не смотрела вперед; год за годом она перечитывала строки из письма мужа: «Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться». Теперь она понимала их иначе: в собственных глазах, в глазах всех, кто ее окружал, она навсегда осталась женой, не вдовой Грибоедова. Она тихо и безропотно ждала встречи с любимым за гробом. Никто не смел нарушить ее скорбный покой. Даже Лёвушка Пушкин склонился перед ней, к великому удивлению старшего брата, не ожидавшего, что этот повеса способен испытывать высокие чувства. Нина побывала в России, увидела в Малом театре «Горе от ума», познакомилась с Марией Грибоедовой. Но все прочее прошло мимо нее. Ее не задело самоубийственное восстание отца, его ссылка в Тамбов, конфискация Цинандали. Нина жила в Тифлисе, около могилы мужа. Его похоронили в церкви Святого Давида, на Святой горе, в выбранном им когда-то месте. В 1833 году Нина вложила все деньги в памятник, рядом с которым сама упокоилась в 1857-м. По мнению людей самых разных народов, слоев, понятий, она была идеальной женщиной. Как часто великие писатели женились крайне неудачно и коверкали собственную жизнь и творчество. Грибоедов нашел совершенную жену — их счастье длилось три месяца...

Нина оставила после себя всего две строчки на надгробии Грибоедова: странные и

высокие слова, впечатавшиеся в камень и сердца:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,
Но для чего пережила тебя любовь моя!»

* * *

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли, —
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали.

Ф. Тютчев.

Грибоедов погиб. Если бы какой-нибудь автор сочинял классический детектив «Дело об убийстве посла» или хотя бы политический триллер «Кровавый полдень Тегерана», его гениальный сыщик, вероятно, рассуждал бы следующим образом.

Он полностью отверг бы предположение о стихийности возмущения. Тот факт, что письма Грибоедова и даже Аделунга не дошли до адресатов с момента их отъезда из Тавриза, неопровержимо свидетельствует, что убийство было заранее запланировано, причем на время не позже 30 января — 6 февраля. Письма из России Грибоедов получал, и это естественно — иначе бы он заподозрил неладное. Поэтому с начала февраля он мог уже встретить в них недоуменные вопросы, почему от него нет вестей. Его письма доходили только к Нине (15 января он послал ей чернильницу, безусловно, с письмом, — и подарок дошел) и к Макдональду. Паскевич, Нессельроде и Родофиникин их не получали. Никто из них даже не знал, что посольство выехало в Тегеран. Совершенно непонятно, зачем кому-то понадобилось перехватывать корреспонденцию посольства: ведь сразу по приезде в Тегеран Грибоедов не мог еще обнаружить ничего, что послужило бы впоследствии уликой против его убийц. Может быть, кто-то боялся, что Паскевич узнает о выезде посольства из Тавриза? Но чем этот факт был опасен? Как бы то ни было, перехватывать письма можно было только в Тавризе. Раз в две недели курьер от Грибоедова отправлялся к Амбургеру, а потом возвращался назад. Курьера нельзя было убить — это стало бы известно; можно было подкупить — но Грибоедов с его опытом и проницательностью мог это заметить; проще всего было позволить ему доехать до Тавриза и вытребовать письма у подкупленного служащего консульства России. Нина и Макдональд получали письма, Амбургер — нет. Он мог бы начать удивляться, но его как раз часть времени не было в Тавризе, он ездил инспектировать проводимую границу. Так Грибоедова изолировали в Тегеране, о чем он не мог узнать.

Кто виноват? Главных подозреваемых четверо. Это не шах, который мог предполагать, что Россия не начнет новую войну с Ираном, но не мог быть уверен, что Россия не увеличит размер контрибуции в отместку за убийство посланника; для шаха же золото было намного важнее безопасности государства и даже собственной династии. Это не Аббас-мирза: до приезда Грибоедова он вел двойную или тройную игру, но Грибоедов заставил его склониться на сторону России, и принц следовал сделанному выбору, ибо собрался ехать в Россию 2 февраля, еще не зная об убийстве. Это вряд ли Аллаяр-хан: он был бы рад совершить личную месть, он мог бы организовать мятеж толпы, но он почти не мог бы устроить перехват официальной корреспонденции, не смог бы ее прочитать ни по-русски, ни по-французски или немецки; к тому же шах мог его казнить, если размер контрибуции был бы и впрямь увеличен. В любом случае, Аллаяр-хан был настолько связан с англичанами, что не являлся самостоятельной фигурой; все, что он задумывал и затевал, не могло не быть им

известно. Это, конечно, не Амбургер: он был мало доволен своим положением генерального консула, мог бы метить на место Грибоедова, но по невысокому положению и происхождению своей семьи не мог претендовать на ранг посла и прекрасно это понимал; в сущности, он уже достиг максимума возможного в карьере.

Зато это Ост-Индская компания: Макдональд вел себя безукоризненно по отношению к Нине Грибоедовой, однако проект Закавказской компании более, чем любые другие действия Грибоедова, бил по интересам его представительства. Он мог надеяться, что со смертью Грибоедова планы преобразования Закавказья будут оставлены. Против этой версии есть только одно, хотя слабое, возражение: если убийство было запланировано еще до отъезда посольства из Тавриза, мог ли Грибоедов продолжать испытывать расположение к Макдональду, как бы тот ни притворялся? неужели не заметил бы его двуличности? И могла ли Нина сохранить добрые чувства к его жене?

Другой подозреваемый — парламент. Совершенно невероятно, чтобы горячий и донельзя гордый аристократ герцог Веллингтон мог отдать приказ об убийстве посла или хотя бы обсуждать эту идею. А вот лорд Элленборо, надзиравший за Ост-Индской компанией от имени правительства, предстает в своих дневниках и публикациях настоящим маньяком, помешанным на «русской опасности». Это он прямо заявил: «Азия моя!» Он мог связаться с братьями Уиллоками и доктором Макнилом, также весьма нервно глядевшими в сторону России, хотя не осмелившимися бы действовать без указаний сверху. Против этой версии есть существенное возражение: зачем им убийство? Генри Уиллок почти год провел около Нессельроде, а министр иностранных дел столь явно выполнял во всем волю англичан, что возникает мысль о его подкупе в какой-то форме. Нессельроде, безусловно, не согласился бы начать войну с Персией; Уиллок и парламент не могли этого не знать, так какая им выгода в смерти Грибоедова? Тот был влиятельнейшей фигурой на Востоке, но худшее для них он уже сделал — заключил Туркманчайский мир, а ничего большего собственное министерство не позволило бы ему совершить.

Среди подозреваемых на одном из первых мест — турецкий султан. Он очень хотел, чтобы шах или Аббас-мирза выступили на его стороне против России. Грибоедов не только этому препятствовал, но толкал принца против Турции. Султан был прямо заинтересован в физическом устранении русского посланника; оно настолько ухудшило бы отношения Ирана с Россией, что поставило бы их на грань войны. Если бы война и не разразилась, она отвлекла бы часть сил Паскевича на персидскую границу и, может быть, это помогло бы Порте одержать победу в Русско-турецкой войне. Но с другой стороны, Турция ни разу не побеждала Россию со времен Екатерины II и едва ли питала серьезные надежды на успех, к тому же султан пользовался советами английских агентов и, следовательно, мог знать, что Нессельроде не станет бороться на два фронта.

Есть и четвертый серьезный подозреваемый — армяне, единые как народ, хотя разбросанные по разным государствам. В руках их богатых купцов была сосредоточена вся торговая деятельность в Закавказье; за прошедшие века они сумели разграничить сферы влияния с Ост-Индией, и вдруг создается новая компания, угрожающая их доходам и налаженным связям. Кто лучше армян мог бы спровоцировать переход Мирзы-Якуба под покровительство российского флага? Правда, Грибоедов был искренним и главным покровителем армян-переселенцев, он отстаивал их интересы при заключении мира, при Паскевиче, при шахе — но какое это имело значение там, где роль играли огромные деньги?

Какими уликами располагал бы детектив? Существует всего два свидетельских показания о происшествии 30 января 1829 года (кроме мальцевских, удостоверяющих факт события, но не его подробности, повторенные с чужих слов). Одно дано армянским курьером, спасшимся, несмотря на многочисленные раны. Его напечатал анонимный автор в газете «Мшак» в конце XIX века, когда бывший курьер едва ли был жив; само его существование известно лишь из этой публикации. В своем рассказе курьер объявляет себя последним защитником Грибоедова, но автор сообщает, что его отыскивали под грудой тел: последний защитник никак не мог оказаться «под грудой» тел. В любом случае курьер не

видел смерти Грибоедова, а только слышал о ней от нападавших — и сведения его, мягко говоря, невероятные.

Другое показание было в 1830 году передано Дж. Уиллоком и доктором Макнилом в редакцию шотландского журнала «Blackwood's Edinburgh Magazine», в котором у Макнила были давние связи. Эта «Реляция происшествий...» была написана от лица персидского секретаря мехмендаря, сопровождавшего Грибоедова от Тавриза в Тегеран, однако имя автора и персидский оригинал неизвестны, а сам текст не имеет ни малейших следов персидского, а не европейского происхождения; с таким же успехом Уиллок и Макнил могли сочинить его сами. Цели англичан понятны: к 1830 году повсюду, от Тегерана до Лондона, ходили слухи об их причастности к убийству. Макдональд даже жаловался на них Паскевичу, а герцог Веллингтон делал соответствующее представление русскому послу в Лондоне. Нессельроде оба раза постарался заверить британцев, что император вполне ими доволен. «Реляция», которую опубликовали шотландцы, не была лишена противоречий и нелепостей, но выглядела достаточно убедительно. В тех частях, где она пересекалась с донесениями Мальцева, она вторила им настолько, что кажется, будто они вышли из-под одного пера. Что ж, Мальцева спасли и отправили в Россию не для того, чтобы он свидетельствовал против истинных убийц.

Если бы на судебном заседании устроили очную ставку автору «Реляции» и спасшемуся курьеру, их показания признали бы недостоверными: секретарь мехмендаря, перечисляя некоторых героических защитников, нигде не упомянул этого курьера; курьер ничего не сказал о секретаре, будто бы находившемся при Грибоедове почти до конца. И ни один из них не видел самой смерти Грибоедова. Вопрос не в том, кто лжет, а в том, говорит ли хоть один правду? И все же приходится полагаться на данные секретаря, наиболее полные, ибо без них не останется никаких фактов о тегеранской резне. (Отсутствие точных свидетельств о смерти Грибоедова позволило кое-кому выдвинуть версию, что он не был убит, а ушел пророком в Индию и т. д. Это не только невероятно, ибо Грибоедов не бросил бы любимую жену через полгода после свадьбы в самом отчаянном положении; но это и слишком уж неоригинально: еще древние египтяне сочиняли такие легенды о героях, пропавших без вести.)

Кого же обеляют имеющиеся свидетельства? Всех подозреваемых. Секретарь обвинял в происшедшем самого Грибоедова и его слуг, но это не выдерживает критики. Кто же тогда перехватывал письма? Грибоедов их, безусловно, писал; по крайней мере, уведомил бы Паскевича и Родофиникина о своем прибытии в Тегеран — это было его обязанностью, и он не мог ею пренебрегать в течение месяца. Писал и Аделунг, с каждой почтой отправлявший отцу свои письма в виде дневника и местные сувениры, вроде мяты и т. п. Они писали, но следов писем нет; значит, кто-то их уничтожил. Дело не в том, что они не дошли до нас: они не дошли и до Паскевича, который полагал Грибоедова оставшимся в Тавризе. Можно было бы счесть, что раз Макнил передал «Реляцию» в журнал, он и способствовал так или иначе ее созданию, следовательно, был в ней заинтересован; следовательно, он и главный виновный. Но он мог и искренне заблуждаться на ее счет, получив ее от уважаемого лица, хоть от Макдональда.

Раз улики молчат, а свидетели противоречат себе и друг другу, детективу осталось бы рассмотреть последствия убийства — кому оно принесло выгоду? Шаху и Аббасу-мирзе — Николай снял с них выплату одного курура. Но шах не мог заранее на это надеяться; а Аббас-мирза и его сын Хосров-мирза жестоко пострадали за связи с Россией: после внезапной и странной смерти Аббаса-мирзы и смерти шаха Хосров-мирза проиграл борьбу за трон; его старший брат выколол ему глаза, и принц влачил жалкое существование. Это было прямым следствием гибели Грибоедова: по Туркманчайскому миру Россия обязывалась поддерживать права Аббаса-мирзы и выбранного им, а не шахом наследника. Россия этого не сделала, Хосров-мирза лишился власти, чего Грибоедов, вероятно, не допустил бы.

Султан ничего не получил: Иран не вступил в войну с Россией, Турция ей проиграла. Выгадали армяне и Ост-Индия, но случайно: Закавказскую компанию все-таки создали, а не

развернулась она по вине грузинских князей и поляков, из-за которых Паскевич покинул Кавказ; и если мятежу в Грузии англичане еще могли бы поспособствовать, восстанию в Польше — никак.

Парламент остался при своем, что в создавшейся ситуации было почти победой. Князь Долгоруков, заменивший Грибоедова в Иране, был достоин всяческого уважения, ибо его миссия казалась очень опасной; он сумел сохранить то влияние, которого достиг уже Грибоедов от лица России, но не сумел его расширить — по единодушному мнению современников, даже Муравьева, Грибоедову это бы удалось. Политическое положение России в Иране десятилетиями оставалось на уровне Туркманчайского договора (только о выводе пленных долго не было и речи), но «торговую войну» Россия проиграла англичанам начисто. И это тоже было на руку парламенту.

Итак, кто из тех, кто был заинтересован в гибели Грибоедова, мог перехватывать его письма, организовать возмущение и при этом выиграл от его смерти не благодаря случайному стечению обстоятельств, а по определению? — кажется, только парламент, представленный в Иране доктором Макнилом. Недаром он оказался в Тавризе, где ему быть не следовало: он не столько обеспечивал себе алиби, сколько устраивал перехват корреспонденции. У него были мотив, возможность, средства, он получил прямую выгоду и постарался обелить себя в «Реляции». Действовал он не от своего имени, а от имени Элленборо и правительства — недаром в 1839 году он был награжден одним из почетнейших орденов Великобритании, орденом «Бани» первой степени, и всю жизнь считался высшим авторитетом в восточных проблемах. Он, несомненно, состоял в преступном сговоре с теми, кто должен был ему помочь: с Уиллоками, Аллаяр-ханом, духовенством, может быть, и шахом. Когда первый налет на русское посольство не принес ничего, кроме захвата Мирзы-Якуба, кто-то же позаботился, чтобы начался второй приступ. И в этом тоже виден продуманный план. И убивал Макнил не посла России, а лично Александра Сергеевича Грибоедова. Он знал, что Россия не вступит в войну с Ираном, в ее политике ничего не изменится. Грибоедов же был главным проводником экономического сотрудничества двух стран и торгового проникновения России в Индию. Это было опасно английским фабрикантам, их представителям в парламенте и правительстве — и Грибоедов был убит.

Конечно, доктор Макнил мог бы многое сказать в свою защиту; с помощью умного адвоката он оправдался бы в суде. Но круг подозреваемых в тегеранском злодеянии ограничен и, кажется, только на Макниле и парламенте совпали все характеристики. Господа присяжные, ваш вердикт?

Грибоедов погиб. А если бы не погиб? Что ожидало бы его в России? что он бы дал России? или прав был Пушкин, и автор «Горя от ума», достигнув бессмертия, мог умереть и не стоит жалеть о его смерти? Предположим, Грибоедов прожил бы весь срок активной человеческой жизни в семьдесят лет, то есть примерно до 1865 года. На дипломатическом поприще при Нессельроде он никогда бы не получил назначения в европейскую страну, но весьма вероятно, что через несколько лет был бы переведен на более высокий пост — послом в Константинополь. Россия в ту пору боролась за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, важными для ее торгового и военного флота. В 1833 году она его получила, в 1841-м — потеряла по вине Нессельроде. А потом была Крымская война, когда Россия потеряла все и надолго. Будь Грибоедов, а не бездарный князь Меншиков в ту пору в Турции, он бы или предотвратил войну, или — что вероятнее — развязал бы ее на пять лет раньше, когда России пришлось бы воевать только с турками, а не с коалицией европейских государств, потому что в 1848–1849 годах все они страдали от серьезнейших внутренних кризисов — революций. Россия смогла бы выиграть войну, и в новое царствование Нессельроде сменил бы не лицейский товарищ Пушкина князь А. М. Горчаков, а, может быть, Грибоедов. Выше этого он не взлетел бы, но министром иностранных дел и канцлером, как Горчаков, стать бы мог.

Экономические его замыслы также могли быть удачны. Человек, который сумел заинтересовать в развитии Закавказья богатых предпринимателей, военных и гражданских

лиц края, самого императора, — такой человек сумел бы и поддержать интерес к своему предприятию. Раз Закавказская компания была создана, под управлением Грибоедова она бы сохранилась, отъезд Паскевича в Польшу ему бы не помешал. При нем Чавчавадзе не поднял бы бессмысленное восстание — зять отговорил бы его. Грибоедов мог поддерживать замыслы декабристов, ибо они имели шансы на успех, и окажись он 14 декабря в Петербурге, он, возможно, не позволил бы их бездарно растратить. Но мятеж грузинских князей никаких шансов не имел, и Грибоедов предотвратил бы его. Он собирался досконально изучить политическую экономию и современное состояние Востока и выписал в Тавриз множество книг по этим вопросам. Книги пришли, но некому уже было их читать. Грибоедов всерьез собирался заняться государственным и экономическим переустройством региона, и что-то, несомненно, ему бы удалось. У Грибоедова, как возможного главы огромного предприятия, было одно исключительное качество — бескорыстие. Оно позволило бы ему думать о деле так, как не удавалось с тех пор, может быть, никому. Но и в случае краха компании он сохранил бы Цинандали за семьей Чавчавадзе, вышел бы в отставку, жил бы там с Ниной, и в этом красивейшем месте Кахетии его не могло бы не посещать вдохновение.

Грибоедов ничего не написал после «Горя от ума». Он не мог творить, как Лермонтов — на клочке бумаги в перерыве между боями и балами. Пушкину для творчества нужны были осень и одиночество. Грибоедову требовались оседлая жизнь, уединение днем, внимание просвещенных слушателей вечером. С 1823 года он не находил сочетания этих условий. Современные литературоведы придают значение его плану «драмы» о 1812 годе. Но «драмой» ее назвал Дмитрий Смирнов, публикатор «Черновой тетради». Конечно же, ни в одной серьезной драме тех лет не могло бы быть сцены вознесения героев сквозь расступающиеся своды собора. Это до такой степени явная балетная композиция в духе Дидло, что удивительно, как этого никто не заметил. Сам Грибоедов возлагал большие надежды на «Грузинскую ночь». Живя в Цинандали, посреди грузинской природы, грузинской семьи, грузинских легенд, он, несомненно, закончил бы трагедию. Стала бы она шедевром, равным «Горю от ума»? Отложим пока этот вопрос.

Все это наметки того, кем Грибоедов мог бы стать, продолжись его жизнь по прежнему руслу. Однако этот человек был непредсказуем, как никто другой. Погибни он от пули Якубовича, кто бы, изучая его салонные пустяки, решил, что это погиб автор национальной комедии? Отправь его император в рудники, кто бы предположил, что автор «Горя от ума» не менее чем на два века предотвратит всякие столкновения России с Ираном, до того ее постоянным врагом? Погибни он от одного из ста двадцати четырех залпов персидских батарей, кто бы предположил, что следующим его созданием будет грандиозная торгово-промышленная компания? Кто может сказать, на каком неисповедимом пути остановили его тегеранские убийцы?

Грибоедов погиб. Его сын не выжил. Остались ли у него наследники, которые смогли воспринять разные стороны его необыкновенных способностей? Возродился ли в ком-нибудь его ум и гений? В Иране дипломаты различных эпох и убеждений сумели сохранить достигнутое им влияние, но не расширили его и не придумали ничего нового. И отступили там, где он не отступил. Его экономический и государственный проект опередил свое время почти на два века. Лишь в наше время намеком возникает идея акционирования целых территорий. Однако те, кто создает нечто подобное, по-видимому, далеки от грибоедовского бескорыстия.

А вот в литературе у Грибоедова нашелся наследник. После «Горя от ума» появилось множество пьес, продолжений и пародий, написанных вольным разностопным ямбом. Они исчезли без следа. Лишь одно произведение в вольных стихах держится на современной сцене — трагедия Лермонтова «Маскарад». Кроме формы, ее роднит с «Горем от ума» афористичность слога. «Маскарад» не разошелся целиком на пословицы, как «Горе от ума», но в нем встречаются великолепные фразы, которые часто цитировали, забыв об источнике:

«Диана в обществе... Венера в маскараде»; «Он из полка был выгнан за дуэль//Или за то, что не был на дуэли»; «Жизнь банк, рок мечет, я играю//И правила игры я к людям применяю...» и много других. В сюжете Лермонтов ни в чем не следовал за Грибоедовым, что не помешало цензуре запретить «Маскарад», ибо он тоже был слишком современен. Напротив, Гоголь в «Ревизоре» целиком заимствовал идею «Горя от ума»: Грибоедов вывел в пьесе все типы общества, Гоголь — всех чиновников любого городка по списку должностных лиц. Правда, у него они получились вариантами одного и того же образа, а у двух из них вообще «одно лицо на двоих» — бессмысленная трата материала или оригинальный авторский прием? Недаром Николай I, которого чтение по необходимости Пушкина, Лермонтова и других великих писателей невольно образовало в литературе, спокойно пропустил «Ревизора» на сцену — он не увидел в нем обобщающего смысла. Гоголя никак нельзя назвать наследником Грибоедова. Но можно сказать, что им стал Лермонтов.

Они не встречались, хотя могли бы; но в окружении Лермонтова были люди, прекрасно знавшие Грибоедова: Прасковья Николаевна Ахвердова, родственница его бабушки, которую он знал с детства; Александр Одоевский, с которым поэт близко сдружился на Кавказе и которому посвятил чарующие стихи; и, наконец, его закадычный друг и родич Монго-Столыпин. Сын Аркадия Алексеевича Столыпина, в квартире которого Грибоедов переживал петербургское наводнение и с которым собирался ехать в Крым к декабристам, Алексей Столыпин, по прозвищу Монго, намертво к нему приставшему, в детстве восторгался Александром Сергеевичем. Его брат Николай стал дипломатом; брат Дмитрий стал композитором-любителем, автором романсов на стихи Лермонтова и одновременно экономистом; сестра Мария просто выросла красавицей, вышла замуж за поэта И. А. Бека (переводчика «Фауста», отложенного Грибоедовым), и ее портрет с дочерью на руках рисовал сам Карл Брюллов. Монго стал офицером, воплощением чести, благородства, красоты и мужества, хранителем дуэльного кодекса, первым переводчиком «Героя нашего времени» на французский язык. Все дети Аркадия Алексеевича в чем-то шли по стопам Грибоедова. В таком окружении Лермонтов не мог не заинтересоваться личностью Грибоедова, тем более что всю жизнь — в бабушкином доме, в Московском пансионе, в Московском университете, в гусарском полку, на Кавказе — встречал его имя. Лермонтов даже хотел написать роман, где бы вывел его среди героев. Но не успел. Зато он написал «Демона». Эта гениальная поэма, имеющая, кстати, драматические включения, показала, что и «Грузинская ночь» могла бы стать шедевром — сюжет из чуждой России жизни не был бы этому помехой. Конечно, Грибоедов написал бы трагедию по-другому: как поэт Лермонтов превосходил его неизмеримо; но Грибоедов был велик как драматург.

И все же никто не проявил себя так блистательно в сферах столь далеких друг от друга, как Грибоедов. Может быть, не стоило ему распыляться, но ведь он и не хотел — его заставляли: не пускали в литературу и на сцену, толкали в дипломатический мир, не платили жалованья... Пушкин сумел сосредоточиться на одной поэзии. Грибоедов же был драматургом, музыкантом, дипломатом, экономистом, государственным деятелем и даже военным. И всюду сумел преодолеть тысячи препятствий, восторжествовать над серьезнейшими противниками и проявить не только талант и гений, но и качество, которое первым и главным отмечали в нем все друзья и недруги — ум. Нина Грибоедова двумя печальными строчками выразила свою печальную судьбу. Александр Сергеевич Грибоедов выразил свою двумя словами:

«ГОРЕ УМУ».

ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

При подготовке второго издания «Грибоедова» автору пришлось победить искушение переписать весь текст заново, в соответствии со своими нынешними вкусами, измененными опытом художественного творчества. В таком варианте книга стала бы, вероятно, увлекательнее, — но была бы уже другой.

При переиздании прежде всего исправлены различные недочеты. Внесена определенная стилистическая правка. И здесь хочется осуществить давнее желание и искренне поблагодарить О. Н. Агееву, чья дружественная твердость вот уже пятнадцать лет ведет автора по тернистому пути российской словесности. Самые существенные изменения коснулись девятой главы в части, посвященной Проекту Закавказской компании. Собственные изыскания автора после выхода «Грибоедова» в свет заставили прийти к выводу, что традиционные для историографии трактовки, в лучшем случае относящие проект к числу ошибок, если не пятен на репутации в остальном гениальной личности, нельзя счесть окончательными. Неожиданно обнаружилось, что проект блестящ и реалистичен, более того, ключевая мысль Грибоедова животрепещуще актуальна именно для наших дней! Особенности популярного издания не позволили включить в него научную аргументацию. Желающие подробнее ознакомиться с нею найдут ее в статье автора²⁴. Тем же, кому захочется побольше прочитать о персонажах и идеях «Горя от ума», можно рекомендовать научно-популярную работу «Исторический анализ литературного текста»²⁵.

В предисловии к первому изданию автор выразил надежду, что исторически достоверное изображение главного героя будет, кроме того, и интересным. Эта надежда отчасти сбылась: автору приятно сознавать, что книга привлекла внимание самых разных читателей. Но в публицистике, особенно телевизионной, А. С. Грибоедов по-прежнему неоправданно рисуется нервным, терзаемым противоречиями, грубо ошибающимся, унылым и злоязычным человеком. Конечно, отрицательный образ легче создавать, чем положительный; еще легче с высоты векового опыта указывать историческому лицу на его промахи и давать запоздалые советы. Но неужели такова природа биографического жанра?

Не современный критик, а его герой жил и действовал *тогда и там*, он совершал поступки, он за них и отвечает. Но отвечать он должен по законам своего времени, а не нынешнего, в меру собственных знаний, а не открытий будущего. Среди биографов так и не утвердилась непреложная для настоящих артистов заповедь — любить своего героя. Любить отнюдь не с детства и на всю жизнь, а всего лишь на время работы над ролью, даже на время ее представления, притом ни минуты не смешивая себя с этим лицом. Хорошим актерам необходимость любви к персонажу кажется очевидной, ибо без любви нет понимания, без понимания — объяснения, без объяснения — сопереживания публики. Отсюда следует очень простой вывод: если не можешь проникнуться сочувствием к какому-нибудь историческому деятелю, не можешь хоть ненадолго взглянуть на мир его глазами — не берись за его изображение.

Спору нет, в истории есть и отвратительные фигуры, и непривлекательные люди, чьи биографии тем не менее поучительны как предостережение новым поколениям. Поллюбить таких героев невозможно. Однако они-то себя любили! и часто даже стремились по-своему творить благо! Предоставьте им говорить за себя — и они покажутся страшнее, чем при безудержной брани со стороны.

Те же, кому посчастливилось принести человечеству настоящее добро и радость, тем более вправе говорить в своих биографиях собственными голосами, а не голосами снисходительного критика или отстраненного судии. Пусть не автор, а читатели вместе с Историей вынесут им приговор. И, выводя героя на этот суд, да будет биограф адвокатом, а не прокурором! Прокуроры найдутся.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

²⁴ Цимбаева Е. Н. Государственный проект А. С. Грибоедова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 2004. № 2.

²⁵ Цимбаева Е. Н. Исторический анализ литературного текста. М.: УРСС, 2005.

Палаты бояр Романовых. Со старинной гравюры

Одежда бояр и боярынь XVII века. Со старинного рисунка

Братья Г. Г. и А. Г. Орловы во время московской чумы 1771 года

Усадьба Грибоедовых Хмелиты. Современное фото

Н. М. Карамзин. Дж. Б. Дамон-Ортолани. 1805 г.

И. А. Крылов. С портрета Р. Волкова. 1812 г.

«Лизин пруд» в Москве. С гравюры начала XIX в.

Граф М. Ф. Каменский. С портрета А. Осипова

П. Д. Еропкин, московский генерал-губернатор

Гулянье под Новинским. Рисунок Делабарта. 1799 г.

Грибоедов-отрок. С портрета неизвестного художника

П. А. Плавильщиков

Е. С. Сандунова

Гулянье в Сокольниках. С гравюры начала XIX в.

Московский университетский благородный пансион. Акварель начала XIX в.

И. Д. Якушкин. Рисунок П. Соколова. 1810-е гг.

П. Я. Чаадаев. Неизвестный художник. 1814 г.

Граф Ф. В. Ростопчин

Пожар Москвы в 1812 году. *Рисунок Х.-И. Олдендорфа*

С. Н. Бегичев. *1810-е гг.*

Генерал А. С. Кологривов. *1810-е гг.*

Возвращение гвардии в Петербург 31 июля 1814 года. *С гравюры 1810-х гг.*

Симеоновский мост в Петербурге. *М. Ф. Дамам-Демартре. 1813 г.*

Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) в Петербурге. *А. Е. Мартынов. 1810-е гг.*

П. А. Катенин. *1820-е гг.*

А. А. Жандр. *1830-е гг.*

А. А. Шаховской

П. П. Каверин. *1820-е гг.*

Большой театр в Петербурге. *1810-е гг.*

И. И. Сосницкий. *Конец 1810-х гг.*

Я. Г. Брянский. *С рисунка В. Баранова*

М. И. Вальберхова. *С рисунка В. Баранова*

Е. С. Семенова. *С гравюры А. Осипова*

Сады Черномора. Декорация к балету Дидло «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника»

Н. В. Всеволожский. *С портрета работы А. Дезарно. 1817г.*

Н. И. Хмельницкий. *Конец 1810-х гг.*

М. Н. Загоскин. *1820-е гг.*

Е. И. Истомина. *С миниатюры А. Винтергальдера 1815-1820 гг.*

А. И. Якубович. *С акварели Н. Бестужева*

В. В. Шереметев

А. С. Грибоедов. *С акварели Горюнова (?)*

М. Воробьев. *Почтовый тракт. 1819 г.*

Дом Грибоедовых на Новинском бульваре (после пожара). *С литографии начала XIX в.*

Генерал А. П. Ермолов. *Портрет работы Дж. Доу. 1820-е*

Вид Тифлиса. *Н. Г. Чернецов. 1839 г.*

П. Н. Ахвердова. *С акварели 1820-х*

В. К. Кюхельбекер. *С рисунка П. Каратыгина*

Фетх-Али-шах

Аббас-Мирза

Вид на город Тегеран. *С гравюры начала XIX в.*

Кузнецкий мост в Москве. *С рисунка Деруа*

А. А. Алябьев. 1820-е гг.

А. В. Всеволожский. 1820-е гг.

М. И. Римская-Корсакова

Е. П. Янькова

Княгиня Н. П. Голицына. Б.-Ш. Митуар. Начало XIX в.

П. Ю. Кологривова

Музейный автограф комедии «Горе от ума»

П. А. Вяземский. С гравюры К. Афанасьева

А. Н. Верстовский. С рисунка П. Соколова

Дом Погодина в Петербурге, где Грибоедов жил в 1824 году

Наводнение в Петербурге 7 ноября 1824 года. Ф. Алексеев

К. Ф. Рылеев. С миниатюры неизвестного художника

А. А. Бестужев. С акварели неизвестного художника. 1824 г.

А. И. Одоевский. С миниатюры И. И. Фридрица. 1823 г.

Е. А. Телешева. С рисунка О. Кипренского

Генерал М. А. Милорадович

Ф. В. Булгарин

Рукописные списки комедии «Горе от ума». 1820-е гг.

Киев. Вид с левого берега Днепра. С рисунка М. Сажнина. Середина XIX в.

С. И. Муравьев-Апостол. 1820-е гг.

М. П. Бестужев-Рюмин. Рисунок А. Ивановского

Крым. Гурзуф. К. Рабус. 1820-е гг.

А. Мицкевич. С гравюры 1820-х

Н. Н. Оржицкий. 1820-е гг.

Крепость Грозная, где был арестован Грибоедов. С гравюры середины XIX в.

Дом С. Н. Бегичева в Москве

Заседание следственного комитета по делу декабристов. С рисунка А. Ивановского. 1826 г.

Здание Главного штаба в Петербурге. Литография К. Бегрова. 1822 г.

А. С. Грибоедов. Гравюра с портрета Рабильярда

Граф И. Ф. Паскевич- Эриванский. Портрет работы Дж. Доу

Император Николай I

А. С. Грибоедов. С акварели В. Машкова

Граф К. В. Нессельроде

Большой театр в Петербурге. С гравюры 1820-х гг.

Д. В. Давыдов. *Портрет работы Дж. Доу. 1820-е гг.*

Н. Н. Муравьев. *С литографии В. Ф. Тимма. 1856 г.*

Русско-персидская война. 1826—1828. Вступление русских войск в Аббас-Абад. *С рисунка В. Машкова*

Штурм крепости Эривань в 1827 году. *С рисунка В. Машкова*

Встреча И. Ф. Паскевича с Аббас-Мирзой в Дейкаргане 21 ноября 1827 года (пятый справа Грибоедов). *Гравюра с картины В. Машкова*

Заключение Туркманчайского мира. 10 февраля 1828 года. *С картины В. Машкова*

Вальс ми минор Грибоедова

Обед персиян. *С литографии А. Орловского. Начало XIX в.*

Персиянин на прогулке со своими женами. *С литографии А. Орловского. Начало XIX в.*

Персиянин, курящий кальян. *С литографии А. Орловского. Начало XIX в.*

Князь А. Г. Чавчавадзе. *1820-е гг.*

Княжна Н. А. Чавчавадзе. *С акварели В. Машкова (?). Около 1829 г.*

А. С. Грибоедов. *Рисунок П. Ф. Бореля с оригинала П. Каратыгина*

Сионский собор в Тифлисе, где венчался Грибоедов. *Современное фото*

Горы в Южной Грузии. *Современное фото*

И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич в Летнем саду. *С этюда Г. Чернецова. 1832 г.*

Последнее письмо Грибоедова жене. *Автограф*

Могила А. С. Грибоедова и Н. А. Грибоедовой

Памятник А. С. Грибоедову на территории российского посольства в Тегеране

Афиша первого представления «Горя от ума»

Сцена из спектакля. В роли Репетилова И. И. Сосницкий

Памятник А. С. Грибоедову в Москве на Чистых прудах

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ А. С. ГРИБОЕДОВА

1795 год, 4 января — родился в Москве²⁶. Отец — отставной секунд-майор Сергей Иванович Грибоедов из дворян Владимирской губернии, мать — Настасья Федоровна, дочь бригадира Федора Алексеевича Грибоедова, владельца имения Хмелиты Смоленской губернии.

1795–1802 — живет в деревне матери Тимирёво во Владимирской губернии.

1802, осень — возвращается в Москву в дом матери в Новинском. В дом принимают гувернера И. Б. Петрозилиуса.

1803, сентябрь — декабрь — учится в Благородном пансионе при Московском университете. 22 декабря получает награду по музыке в «меньшем возрасте».

1803–1805 — учится дома у Петрозилиуса и приходящих учителей, в том числе из Московского университета. Знакомство с А. В. и Н. В. Всеволожскими.

1806–1808 — посещает своекоштным студентом словесное отделение Московского университета.

1808, июнь — сдает экзамен (без диссертации) на звание кандидата словесности.

1808/09 — посещает вольным слушателем частные лекции профессора И. Т. Буле по словесным, этико-политическим, историческим и философским дисциплинам вместе с братьями П. Я. и М. Я. Чаадаевыми и князем И. Д. Щербатовым.

1809/10 — посещает вольным слушателем лекции этико-политического отделения. Петрозилиус покидает дом Грибоедовых; в дом принимают студента И. Г. Иона для помощи в занятиях.

1811/12 — посещает своекоштным студентом этико-политическое отделение.

1812, весна — пишет шуточную трагедию «Дмитрий Дрянской».

13 июня — начало Отечественной войны.

26 июля — вступает корнетом в ополченский Московский гусарский полк графа П. И. Салтыкова.

1 сентября — полк отступает к Казани.

Сентябрь 1812 — июнь 1813 — болеет во Владимире.

1813, июнь — возвращается в полк, переименованный в Иркутский гусарский полк и

²⁶ По другой версии — 1794 год: обе даты равно возможны и равно недоказуемы; 1792 и 1793 годы невозможны, так как в июне 1792 года родилась его сестра Мария; 1790 год невозможен, так как его мать была еще не замужем и нет никаких оснований считать его внебрачным ребенком; 1791 год возможен, но никакие свидетельства современников или современные открытия его даже не упоминают и никакие факты не подтверждают.

включенный в состав 3-й резервной армии, стоящий в городе Кобрине в Царстве Польском.

21 июля — прикомандирован к штабу командира кавалерийских резервов генерала А. С. Кологривова с формулировкой «для производства письменных дел» и переведен в Брест-Литовск. Знакомство с С. Н. Бегичевым.

1814, февраль — умирает С. И. Грибоедов.

Весна — работает над комедией «Молодые супруги».

Август — печатает в «Вестнике Европы» «Письмо из Брест-Литовска к издателю» с отчетом о празднике в честь победы над Наполеоном.

Октябрь — печатает в «Вестнике Европы» статью «О кавалерийских резервах».

Декабрь — получает отпуск в Петербург. Знакомство с А. А. Шаховским.

1815, март — возвращается в Брест-Литовск.

Июнь — получает новый отпуск в Петербург.

30 июня — подписывает отказ от наследства отца в пользу сестры Марии.

29 сентября — первое представление комедии «Молодые супруги» в Петербурге. Знакомство с П. А. Катениным, А. А. Жандром, П. П. Кавериным, С. П. Трубецким и другими.

20 декабря — подает прошение об увольнении из военной службы в статскую.

1816, 25 марта — получает отставку.

Июль — пишет в «Сын Отечества» критическую статью «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады „Ленора“».

1817, 11 июня — зачислен в Коллегию иностранных дел. Знакомство с А. С. Пушкиным, В. К. Кюхельбекером.

Июль — пишет комедию „Студент“ совместно с П. А. Катениным. *Сентябрь* — пишет пять сцен для будущей комедии Шаховского „Своя семья, или Замужняя невеста“.

Октябрь — пишет комедию „Притворная неверность“ и стихотворение „Лубочный театр“.

12 ноября — участвует в четверной дуэли. А. П. Завадовский убивает В. В. Шереметева. Дуэль Грибоедова и А. И. Якубовича отложена.

1818, 11 февраля — первое представление „Притворной неверности“ в Петербурге. Пишет „Пробу интермедии“.

12 апреля — получает назначение секретарем русской миссии в Персию. *16 июня* — принимает должность.

29 августа — выезжает из Петербурга. Знакомство с А. К. Амбургером.

3 сентября — присутствует в Москве на представлении „Притворной неверности“.

21 октября — приезжает в Тифлис.

23 октября — дуэль с А. И. Якубовичем. Грибоедов ранен в руку.

Зима — знакомство с семьями Ахвердовых и Чавчавадзе.

1819, 28 января — выезжает из Тифлиса в Персию.

Февраль — август — живет в Тегеране и Тавризе.

4 сентября — 2 октября — выводит из Тавриза отряд пленных русских солдат.

1820 — живет в Тавризе.

1821 — живет в Тавризе. Начало Ирано-турецкой войны.

Ноябрь — возвращается в Тифлис.

1822 — назначен чиновником по дипломатической части при А. П. Ермолове. Сближение с Кюхельбекером. Начало работы над „Горем от ума“.

Лето — трижды сопровождает английских путешественников в поездке по Кавказу и Закавказью.

1823, 20 февраля — получает отпуск и уезжает из Тифлиса в Москву. *Март — апрель* — знакомство с П. А. Вяземским и другими.

Июль — сентябрь — живет в поместье С. Н. Бегичева. Работа над первой редакцией „Горя от ума“.

20 сентября — возвращается в Москву в дом Бегичева. Продолжает работу над

комедией.

Ноябрь — декабрь — пишет водевиль „Кто брат, кто сестра“ совместно с П. А. Вяземским.

1824, 24 января — первое представление водевиля в Москве.

30 мая — выезжает из Москвы в Петербург. Цензурные хлопоты о постановке „Горя от ума“.

Лето — зима — знакомство с А. А. Бестужевым, А. И. Одоевским, К. Ф. Рылеевым, И. Ф. Паскевичем, Ф. В. Булгариным и другими. *15 ноября* — цензурное разрешение альманаха „Русская Талия“ с отрывками из „Горя от ума“.

15 декабря — принят в Общество любителей российской словесности.

1825, 18 мая — запрещено представление „Горя от ума“ в Петербургском театральном училище.

Конец мая — приезжает в Киев для свидания с членами Южного общества декабристов С. И. Муравьевым-Апостолом, М. П. Бестужевым-Рюминым и другими.

Июнь — сентябрь — путешествует по Крыму.

Октябрь — возвращается на Кавказ к А. П. Ермолову.

14 декабря — восстание декабристов в Петербурге.

1826, 22 января — арестован в крепости Грозный.

11 февраля — заключен в Главный штаб в Петербурге. Следствие по делу Грибоедова.

2 июня — освобожден с очистительным аттестатом, получает предписание отправиться к месту службы.

16 июля — начало Русско-персидской войны.

Конец июля — покидает Петербург.

3 сентября — приезжает в Тифлис.

1827, 28 марта — Паскевич назначен главнокомандующим Кавказским корпусом и главноуправляющим Грузии вместо Ермолова.

4 апреля — Грибоедов получает в ведение дипломатические сношения с Турцией и Персией; реорганизует русскую политику в Закавказье; организует газету „Тифлиссие ведомости“ и Тифлисское благородное училище.

Конец июля — ведет переговоры с Аббасом-мирзой об условиях русско-персидского мира.

Август — разрабатывает „Положения об управлении Азербайджаном“; вступает в сношения с местными ханами, вождями и т. д.

2 октября — в честь падения Эривани офицеры Кавказского корпуса ставят „Горе от ума“.

Ноябрь — участвует в переговорах в Дей-Каргане, вырабатывает проект мирного договора.

1828, январь — продолжение Русско-персидской войны.

10 февраля — подписание Туркманчайского мирного договора с Персией.

14 марта — Грибоедов приезжает в Петербург, вручает текст договора Николаю I.

Март — апрель — общение с А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, И. А. Крыловым. Обдумывает трагедию „Грузинская ночь“. Планирует путешествие по Западной Европе. *Начало апреля* — получает аудиенцию у Николая I и высказывается за прощение сосланных декабристов.

15 апреля — назначен полномочным министром в Персию.

25 мая — путешествие в Кронштадт с Пушкиным, Вяземским и другими.

6 июня — выезжает из Петербурга, посещает С. Н. Бегичева и сестру М. С. Дурново в их усадьбе.

5 июля — приезжает в Тифлис.

16 июля — делает предложение Нине Александровне Чавчавадзе.

18 июля — выезжает из Тифлиса к Паскевичу на театр Русско-турецкой войны, получает персидскую ратификацию Туркманчайского договора.

Август — болеет малярией в Тифлисе; составляет проект и устав Российско-Закавказской компании.

22 августа — женится на Н. А. Чавчавадзе.

9 сентября — выезжает с женой и всем посольством из Тифлиса.

7 октября — приезжает в Тавриз.

9 декабря — оставляет жену в Тавризе и выезжает с посольством в Тегеран.

1829, 30 января — разгром русского посольства в Тегеране; убийство Грибоедова.

18 июля — похоронен в Тифлисе в монастыре Святого Давида.

1831, 26 января — первое представление „Горя от ума“ в Петербурге.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные источники и общие работы

Грибоедов А. С. Сочинения. М.; Л., 1959.

Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988.

Грибоедов А. С. Горе от ума. Текст Жандровской рукописи. М., 1912.

Грибоедов А. С. Горе от ума. Литературные памятники. М., 1987.

* * *

А. С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. Л., 1929.

Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929; М., 1980.

А. С. Грибоедов. 1795–1829. Сб. статей. М., 1946.

А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977.

А. С. Грибоедов. Материалы к биографии. Л., 1989.

Проблемы творчества Александра Сергеевича Грибоедова. Смоленск, 1994.

Грибоедов и Пушкин. Хмелитский сборник. Вып. 2. Смоленск, 2000.

Пролог

Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 1209. Дела молодых лет, Вязьма, д. 19/10927.

Ф. 286, оп. 1, кн. 390.

Ф. 286, оп. 1, кн. 497.

Ф. 388, оп. 1, кн. 93, д. 50.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. VII. Т. 13–14. М., 1962.

Русская поэзия XVIII в. М., 1972.

Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XVI–XVII вв. М., 1975.

Кулаков В. Е., Максимов А. А. Хмелиты — родовая усадьба Грибоедовых // История СССР. 1973. № 4.

Овчинников Г. Д. К родословной А. С. Грибоедова // Отечественные архивы. 1999. № 6.

Глава первая

Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Пиксанов Н. К. Грибоедов и старое барство. М., 1926.

Глава вторая

Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955.

Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. М., 1989.
Мещеряков В. П. А. С. Грибоедов. Литературное окружение и восприятие (XIX — нач. XX в.). Л., 1983.

Главы третья и четвертая

Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Л., 1961.
Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах. Л., 1926.
Никсонов Н. К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л., 1934. *Орлов В. Н.* Грибоедов. Очерк жизни и творчества. М., 1954. *Фомичев С. А.* Грибоедов в Петербурге. Л., 1982.

Главы пятая и восьмая

Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Т. III. СПб., 1891.
Шадури В. С. Грибоедов и грузинская культура. Тбилиси, 1946. *Ениколопов И. К.* Грибоедов в Грузии. Тбилиси, 1954.
Ениколопов И. К. Грибоедов и Восток. Ереван, 1974.
„Там, где вьется Алазань...“ / Сост. В. С. Шадури. Тбилиси, 1977.
Шостакович С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М., 1960.
Попова О. И. Грибоедов — дипломат. М., 1964.
Воинова А. Грибоедов — музыкант // Советская музыка. 1979. № 5.

Глава шестая

Пиксанов Н. К. Творческая история „Горя от ума“. М., 1971. *Борисов Ю. Н.* „Горе от ума“ и русская стихотворная комедия. Саратов, 1978.
Фомичев С. А. Комедия Грибоедова „Горе от ума“. Комментарий. М., 1982.
Цимбаева Е. Н. Исторический анализ литературного текста. М., 2005.

Глава седьмая

Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. Декабристы-литераторы. Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1–2. М., 1956.
Щеголев П. Е. А. С. Грибоедов и декабристы. СПб., 1905.
Тимрот А. Д. В мятежные годы. Грибоедов в кругу декабристов. М., 1976.
Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977.
Нечкина М. В. Следственное дело А. С. Грибоедова. М., 1982.

Глава девятая

Сосновский Т. А. (П. П. Каратыгин). А. Грибоедов. Биографический очерк по подлинным его письмам // Русская старина. 1874. № 5–6.
Цимбаева Е. Н. Государственный проект А. С. Грибоедова // Вестник Моск. ун-та. Серия 8. История. 2004. № 2.

Эпилог

Бегичев Д. Н. Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян. М., 1832.

Миклашевич В. С. Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия. СПб., 1908.
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.